Исхак Машбаш

РАСКАТЫ ДАЛЕКОГО ГРОМА







Исхак Машбаш

РАСКАТЫ ДАЛЕКОГО ГРОМА

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН



Авторизованный перевод с адыгейского Е. Карпова

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1982



В конце XVIII столетия в Адыгее произошло крестьянское восстание против князей и дворянства, в результате которого простые землепашцы — тфокотли — добились равноправия. В новой книге талантливого адыгейского писателя лауреата Государственной премии РСФСР Исхака Машбаша, давно известного всесоюзному читателю по романам «Сто первый перевал», «Оплаканных не ждут», «Тропы из ночи», «Метельные годы», «Сотвори добро», ярко нарисованы жизнь, быт крестьянства, события, приведшие к знаменитой Бзюикской битве, следствием которой было крестьянское самоуправление.

Историческая достоверность и масштабность повествования, глубина авторской мысли, самобытные характеры героев органично сочетаются с национальными обычаями и традициями.

ХУДОЖНИК ВАЛЕРИЙ ЛОКШИН

М $\frac{4702050000-212}{083(02)-82}$ 264—82



Глава первая

1

Солнце еще не поднялось из-за горы Пепау, а в просторном дворе Наго Шеретлукова уже собралось много народу. Съезжался весь многочисленный род Шеретлуковых, пришли и тфокотли, свободные, незакрепощенные крестьяне. Одни были одеты в праздничные, другие — в дорожные одежды, при оружии. Напротив широких ворот, сплетенных из лозы, у коновязей горячились оседланные кони: гремели удилами, били в нетерпении копытами крепкую землю. Вдоль длинного навеса кунацкой, оборотясь лицом к горе Пепау, вершина которой, словно яркая белая войлочная шапка, возвышалась над цепью дальних гор, стояли мужчины, несколько в стороне — женщины.

Благоговейно ждали появления солнца.

Ждал этого, затихнув, весь аул Бастук.

Сегодня аталык[1] Наго провожал своего воспитанника Алкеса Хаджемукова в отчий дом.

Родительская всепрощающая любовь — плохой союзник мальчику, который должен стать сильным мужчиной, храбрым воином, поэтому знатные адыги отдавали своих сыновей в аталычество — на воспитание проверенным людям, славным родом и честью. Вот и великий князь Бжедугии Кансав Хаджемуков отдал сына Алкеса в семью Наго Шеретлукова. С тех пор прошло восемнадцать лет.

Из-за горы показался розовый краешек солнца.

Словно задохнулись в трепетном благоговении люди, смолк шепот, разговоры.

---

[1] А т а л ы к — воспитатель.

Наго вскинул руки к небу и неистово, щемящим сердце голосом воскликнул:

— О мое Солнце, о мой Бог! Разреши нам, грешным, с добром и надеждой смотреть в твое светлое лицо. Благослови нас, детей твоих, в дальнюю дорогу, пусть она будет нам по воле твоей удачной и счастливой!.. — Вздрогнула толпа. Насторожились, прядая ушами, кони. — Да не покинет нас твоя доброта...

Негромко повторяя слова, сказанные Наго, люди молились солнцу, небу, прося их милости.

В те давние времена ислам с трудом входил в души адыгов. Веруя в аллаха, они все еще не хотели расставаться со своими древними языческими богами. Вот и теперь Наго обращался к Солнцу и Небу.

Эффенди Шалих рассердился на Шеретлукова и отвернулся от него, отвернулся от солнца: «О великий аллах, всем дающий и ни у кого не просящий, вечно заботящийся о правоверных мусульманах, ты слышишь, что говорит этот несчастный человек? Он не понимает, о великий аллах, что все дела на земле тщетны без тебя, все только прах, если нет на иное твоей воли. Огнем и мечом, милостью твоей и благодатью мы вселяем в шапсугов имя твое, а им — медом не корми — только дай помолиться своим старым богам. И этот несчастный Наго болтает о солнце и небе лишь для того, чтобы угодить толпе. Он всегда во всем так: на людях один, а в душе — другой».

Отвернулся от солнца и от молящихся эффенди Шалих, но, когда все опустились на колени, пришлось это сделать и ему: не торчать же его голове над толпою.

Вышло солнце из-за горы — озарило долину, аул и молившихся во дворе с воздетыми к небу руками. Высветило и молодого князя Алкеса — его тонкие, длинные пальцы, красивое лицо с едва темнеющей полоской будущих усов, твердые решительные губы, еще юношеские, но уже по-мужски крепкие плечи. Был радостен и печален Алкес. Радовался тому, что возвращается в отчий дом, печалился расставанием с аталыком Наго Шеретлуковым, который стал ему вторым отцом, с Али-Султаном, своим молочным братом и другом.

Али-Султан сидел сейчас слева от Алкеса. Хотя они и были одногодками, но по обычаю адыгов воспитанник считался старшим,— потому-то Али-Султан и обязан всегда стоять, когда сидит Алкес, находиться всегда только слева от него — и на молитве, и в компании, и во время выезда.

Али-Султану нечему было радоваться, и он молился растерянно, с тоской думая о разлуке с братом.

Закончилась молитва. Поднялся с колен Наго, вслед за ним поднялись и остальные.

Заговорили, но негромко, еще не ушла молитвенная робость, еще не отволновались души людей.

— Какой хороший сегодня день выдался, какую хорошую погоду послало нам небо,— тихонько проговорил кто-то.

— А скажи, эффенди Шалих, какой у нас сегодня день милостью божьей? — спросил Наго.

Шалих, сухонький, небольшого росточка человек, похожий на сморщенный корешок, старался в глазах у правоверных казаться значительным и теперь раздвинул узкие плечи, выпятил грудь и торжественно, с достоинством заговорил:

— Сегодня, если сказать по хиджре, сэпэт альфин смаэтин отэманин осэбин, сум эль-эбиа, этани ильищрун мин зу-эльхиджа. Да сочтет нас великий аллах истинными мусульманами и благословит дорогу нашим путникам.

— Аминь! — вразнобой подхватили аульчане.

Арабского в ауле никто не знал, никто не понял арабских слов. Не понял их и сам Наго. Он смущенно улыбнулся и спросил:

— Эффенди Шалих, а как это сказать на нашем языке, чтобы могли уразуметь тфокотли? — О себе он умолчал, ведь он — Наго Шеретлуков!

— Грешно повторять на адыгском языке сказанное на языке великого аллаха, всем дающего, ни у кого не просящего, но мой великий аллах простит мне в этот раз, я уповаю на его милосердие и даю клятву за свое прегрешение десять раз перечитать коран. — Шалих вскинул маленькую голову с жиденькой бородой к небу и торжественно изрек: — Сегодня у нас одна тысяча семьсот шестьдесят четвертый год, третий месяц весны, двадцать седьмое число, среда... Да сочтет нас великий аллах истинными мусульманами и благословит дальнюю дорогу наших путников. Аминь, мой аллах!

— Аминь! — теперь уже дружно подхватили все слова эффенди.

— Вот это другое дело. Сказал — и все понятно. Мудрый ты человек, эффенди. Какой хороший сегодня день! Видишь, помолились, и бог услышал нашу молитву.

Наго сказал это таким тоном, будто только благодаря ему спустилось на землю погожее утро. Воздев руки, он воскликнул:

— Благодарю тебя, Солнце, спасибо тебе, Небо, всем сердцем к тебе приникаю, о великий аллах, благодарю за твое милосердие к нам, правоверным мусульманам. — Помолчав, собравшись с мыслями, обратился к мужчинам: — Пора трогаться, дорога в Бжедугию хоть и не длинная, но и не короткая. В час добрый!

Зашумел двор. Женщины и возницы стали рассаживаться по телегам с подарками Алкесу, великому князю Бжедугии, его жене и родственникам. Всадники пошли к коновязям.

Наго, подхватив полу черкески, как крыло птицы, взлетел на коня, которого ему подвели, и уже с седла скомандовал:

— На коня, Алкес!

Княжичу подвели сахарно-белого, вздрагивавшего от нетерпения скакуна. Наго купил его у абадзехов и целый год холил, готовил для этого торжественного дня.

Алкес погладил красавца по лбу и только хотел вскочить в седло, как тот взвился на дыбы.

Али-Султан замахнулся плетью на тфокотля:

— Эй, Хагур, я вижу, у тебя чешется спина, ротозей!..

— Ну-ка, уймись, парень! — прикрикнул на своего вспыльчивого сына Наго. И тут же смягчился: — Не надо в такой день поднимать плетку. Хагур не виноват. Просто этот гордец такой же строптивый и горячий, как и абадзехи, продавшие мне его.

Тфокотль Хагур сделал вид, будто ничего не произошло, направился к телеге, запряженной быками, и лишь оттуда сердито покосился на Али-Султана.

Во дворе началось веселье.

Заиграл оркестр из двенадцати музыкантов.

Люди стали в круг.

На середину выскочил лихой весельчак — джегуако [1] — в черкеске с подоткнутыми за пояс полами и, кружась, пританцовывая, запел старинную песню, с которой обычно провожали воспитанника в отчий дом. В ней хвалили молодого джигита за ловкость и смелость, желали ему удачи и мужества, называли опорой отцу и защитой матери.

И пешие, и конные, и те, что сидели на повозках, дружно подхватили песню. Женщины, извечно воспитываемые в робости и скромности, особенно в присутствии мужчин, и те запели свободно и громко. Какая же мать не радуется, видя, как ее мальчик становится мужчиной. Ведь в нем ее надежды на будущее, в нем самая великая материнская радость — продление рода. Рожая ребенка, женщина выполняет свой долг перед предками, давшими ей жизнь.

Взоры всех были обращены на Алкеса, сидевшего на коне рядом с Шеретлуковым-старшим. Слушая величальную песню, он думал, что аульчане не просто провожают его к отцу, а благословляют в далекий и трудный поход, полный опасностей. Он держал поводья и чувствовал в руках жар, чувствовал жар своего коня,— казалось, дай ему волю, и он птицей помчит на врага. Забыл Алкес на минуту о своем княжеском достоинстве, только слышал напутственную песню и с нетерпением ждал команды Наго-аталыка.

И вот шествие наконец тронулось, растянулось на полверсты.

Путников провожал весь аул. Мужчины стояли у плетеней и не без зависти смотрели на всадников, на горячих коней. Старухи у ворот прощально кивали седыми головами в платочках. Невестки тайком выглядывали из-за занавесок, любовались мужчинами. Мальчишки воробьями сидели на плетнях и криками, восторженным визгом выражали свои чувства, свое одобрение и восхищение.

---

[1] Джегуако — распорядитель празднества.

Наго и Алкес — впереди, а все остальные — и пожилые, видавшие виды, и молодые, еще не знавшие смертельных, кровавых схваток в боях,— чуть-чуть сзади, почетным эскортом, надежной защитой.

Бжедуги, темиргойцы, шапсуги, абадзехи, убыхи, бесленеевцы, кабардинцы — дети одной земли, все одного адыгского корня, а не умели объединиться и жить одной семьей, дружно защищаться от неприятеля. Ссорились между собой князья из-за земель, из-за власти, не давало им покоя честолюбие и тщеславие. Ссорились князья и ссорили ни в чем не повинных крестьян, проливали их кровь. Враждовали годами, десятилетиями. Вот поэтому-то опасными были дороги адыгской земли, поэтому мужчины не расставались с оружием, даже когда возделывали поля, с детства учили своих сыновей владеть винтовкой и саблей, крепко держаться в седле.

Наго залюбовался Алкесом. Ловок и красив был его воспитанник, будто родился для этого прекрасного коня, для лихих скачек. Увидит сына великий князь Кансав Хаджемуков и оценит его, Шеретлукова, оценит его верность и дружбу.

Потом Наго посмотрел на своего сына — и словно увидел в нем свою юность и удаль. Доброго, доброго наследника воспитал он. Истинного потомка старинного рода Шеретлуковых. Придет время, и Наго женит Али-Султана. Приедут к нему на свадьбу именитые гости из Кабарды, Темиргойи, Бесленеи, пожалует сам великий князь Хаджемуков. Пир будет, какого еще не видела земля адыгов.

Солнце уже высоко поднялось в небе.

В полдень к Шеретлуковым должны присоединиться знатные шапсуги Наурзовы, Абатовы и Шикушевы. Пусть бы пораньше они сделали это, подумал Наго, все безопаснее и веселее было бы двигаться лесом. Но теперь уж ничего не поделаешь...

На расстоянии двух голосов от Бастука начался Тхамезский лес.

Всадники, изготовив ружья, разбились на три группы. Одна пошла впереди, другая осталась с обозом, а третья прикрывала шествие сзади.

Алкес хотел уйти вперед со своими сверстниками, ему не терпелось испытать то острое чувство опасности, которое ощущает идущий впереди, однако Наго не разрешил:

— Останься со мной, так будет лучше. Что ждет нас здесь, знает лишь Мэзитх[1]. Я молился ему прошлой ночью, просил его о милости, и все-таки тебе лучше быть со мной. Помнишь, что произошло здесь прошлой весною? Когда мы возвращались из Темиргойи?

Алкес благодарно улыбнулся своему воспитателю. Он хорошо помнил тот день.

---

[1] Мэзитх — бог лесов и покровитель зверей.

В Шапсугии да и во всей адыгской земле, чтобы стать знатным и почитаемым человеком, мало иметь скот и земли, надо быть мужественным, храбрым. Шрам на левой щеке Наго, рубцы на плечах и спине — следы схваток, из которых он всегда выходил победителем. О его храбрости много рассказывается интересных историй.

Прошлой весной Наго возил Алкеса в Темиргойю учиться джигитовке у лучших наездников, а когда возвращались домой, здесь, в Тхамезском лесу, на них напали грабители.

Конечно, можно было убежать, но это постыдно, и Наго с двумя молодыми парнями ринулся на пятерых грабителей. Алкес и Али-Султан показали себя отважными и умелыми бойцами. Это для Наго было высшей наградой. И хотя Али-Султана ранили в руку, разбойники позорно бежали, а вся Шапсугия узнала о мужестве сыновей Наго. В Бастуке их встречали с почетом, разговоров хватило на целую неделю.

Наго с гордостью посмотрел на сына и воспитанника: да, если придется, они покажут свою удаль, они — надежная защита ему, седому отцу, матери, всей Шапсугии.

Окончился лес, и всадники, спустившись с крутого холма, оказались в степи, заросшей высокой и сочной травой. Трава да низкий кустарник — ничего не тревожило взора, до самого горизонта спокойная, привольная степь. А на юге, где расположена страна абадзехов, выстроились в ряд горные вершины.

Вилась, пылила по степи дорога, уводя Наго Шеретлукова с его спутниками все дальше от родного дома.

Громко звенели кузнечики, рассыпали трели жаворонки, где-то высоко, чуть ли не у самого солнца, кружил орел, словно вечная отметина на вечном небе.

На опушке леса Наго поджидали знатные шапсугские семьи. Родственники, друзья и просто знакомые.

Веселые возгласы приветствий.

Рукопожатия.

Шутки.

Наго спросил, что делать дальше.

— Твое слово — наше слово, твое дело — наше дело, Шеретлуков,— сказал, выйдя вперед, Казджерий, старший из Абатовых, смуглый, плотный, крепкого сложения человек. — Если хотите передохнуть, давайте передохнем. Расположимся вместе: наше оружие — твое оружие.

Потом Казджерий повернулся к старшему из Наурзовых и почтительно спросил:

— Что скажете вы, какой будет ваш совет?

— Слово зятя — и наше слово,— не заставил себя ждать Хаджумар. Он приветливо поглядывал на свою сестру Дарихат, жену Шеретлукова, которую не видел с прошлого года. Про себя отметил — постарела сестра, грузнее стала. Улыбнулся племяннику Али-Султану: молодец парень, джигит!

— Да будет аллах доволен тобою, зиусхан [1],— ответил Наго, с заметным удовольствием подчеркивая слово «зиусхан», так как знал, что, хотя у шапсугов нет князей, родовитые любят княжеское обращение. — Да ответят вам Шеретлуковы стократно за вашу заботу.

Сверкали на солнце золотые и серебряные украшения на платьях женщин, богато отделанные кинжалы, звенело серебро наборных поясов.

Призывно ржали и били копытами кони — их возбуждал людской гомон, передавалась приподнятость настроения, торжественность.

Тфокотли, перегонявшие скот, который Шеретлуков подарил своему воспитаннику, стояли в сторонке, и хоть их одежды не так нарядны, как у богатых, сейчас они тоже выглядели празднично. Настроение было хорошее, походное — поход во все времена возвышает мужчин, делает их более значительными и самостоятельными.

Старшие, посоветовавшись, решили не задерживаться в пути, ведь так понятно нетерпение собравшихся, все ждут не дождутся, когда отец и сын наконец-то встретятся и торжество завершится добрым угощением, играми и состязанием джигитов.

Солнце уже клонилось к закату, когда всадникам, поднявшимся на невысокий холм, открылась просторная поляна. Она уходила вдаль и сливалась с возвышенностью, поросшей густым старым лесом. Раскинулись там и многовековые дубравы, буковые рощи.

Внизу, омывая подножие холма, текла река Бзюик. За нею до самого горизонта простирались земли великого бжедугского князя.

Наго придержал рысака и сказал спутникам:

— Не следует нам заявляться к великому князю на ночь глядя. Свалимся как снег на голову. Нехорошо это. Переночуем здесь и явимся в погожее утро. Я думаю, аллах пошлет нам такое утро, удвоит радость великого князя от встречи с сыном.

Расседлали коней, распрягли волов, и только выгнали скотину пастись, как на склоне показалось трое всадников, в надвигавшихся сумерках еще можно было рассмотреть их лица.

Увидев всадников, мужчины взялись за оружие, готовясь встретить незваных гостей как подобает.

Кто они?

Остановились и всадники.

Тихо стало вокруг.

Люди настороженно всматривались друг в друга.

Наго, не выдержав наконец напряженного молчания, недоброй, как ему показалось, тишины, крикнул:

---

[1] З и у с х а н — уважительное обращение к представителю княжеского рода.

— Эй, кто вы такие?!

Всадник в серой черкеске звонко и насмешливо ответил:

— Ты меня не узнал, Наго? Ну что ж, пусть тебе расскажут обо мне твои спутники. — Пришпорил коня так, что тот взвился на дыбы, и бросил в галоп.

Ускакали, унеслись, будто гонимые ветром, трое всадников.

— Шепако! Это же Шепако! — не то испуганно, не то удивленно воскликнул младший Абатов.

Шеретлуков и сам узнал того, о котором говорят: встретишь Шепако, не жди добра от дороги, лучше вернись обратно. Узнал и забеспокоился: что нужно этому коварному человеку, не задумал ли он чего худого? Надо поостеречь всех, пусть ложатся спать с оружием. Летняя ночь, хоть и коротка, не менее опасна, чем зимняя.

Однако уже стемнело, значит, подошла пора жечь костры, рассказывать сказки, интересные истории.

Вскоре костры запылали.

Тфокотли жгли свой поодаль от родовитых. Вели неторопливую беседу. Вспоминали родной аул: чем-то заняты сейчас их домашние? Все ли там ладно? Загадывали, как встретит их великий князь Бжедугии Кансав Хаджемуков, каким покажется ему родной сын, которого он не видал столько лет?

— Богатые подарки великому князю везем,— заметил кто-то,— расщедрился Наго.

Непаш Тхахох достал кисет, угостил товарищей добрым молдавским табаком — янтарно-желтым, душистым. Набил свою трубку и, раскуривая ее, неторопливо сказал товарищам:

— Не беспокойтесь, Наго и паршивого теленка не отдаст, чтобы не получить взамен трех быков. Целовать воспитанника в глазки его заставляет жажда богатства. Байки о жадности Наго известны не только в Шапсугии, гуляют они и по земле Бжедугии.

— Что верно, то верно,— согласился Хагур, подправляя поленья и вздымая к небу стада искр,— однако Наго хитрее и мудрее, чем мы думаем. Вряд ли бы он стал только из-за богатства воспитывать княжича Алкеса, так любовно его пестовать. Родство с великим князем для Наго куда важнее. Особенно если он хочет держать в повиновении тфокотлей, хочет, чтобы другие чувствовали его силу. В наше время в беспокойной адыгской земле каждому нужна сила, нужен крепкий союзник.

Вот наконец и аул, где родился Алкес, где живут его отец с матерью.

Курились утренними дымками плетенные из тонкой лозы печные трубы-онджеки, стоял запах вареного мяса, жареных лепешек, острых приправ — люди готовились к большому празднеству.

Увидев аул, заговорили, быстрее зашагали путники. Приосанились мужчины, стали поправлять прически женщины.

Предчувствуя отдых, ускорили шаг, весело заржали лошади.

Наго велел Алкесу, как того требует обычай, стать по левую руку от себя, а Али-Султана поставил рядом со старшими знатных шапсугов, хотя по возрасту ему и не подобало там находиться. «Ничего, стерпят,— подумал Наго,— ведь недаром говорится, каким увидят, таким и встретят, каким встретят, таким и покажешься. Покажешься маленьким, мелким, таким и будешь. Надо уметь держать себя высоко. Иначе нельзя».

Из аула выскочил на взгорок всадник, увидел гостей и тут же поскакал обратно.

— Заметили нас, увидели! — обрадовался Наго.

Мальчишки с утра сторожили дорогу, каждому хотелось первым сообщить великому князю радостную весть, чтобы получить от него подарок. Да что подарок, одно слово князя обладает такой силой, что может любого сделать богатым.

Во весь опор скакал мальчишка к княжескому дому, боясь, как бы его не опередили, проскакал мимо коновязей, где уже горячились верховые кони, лихо соскочил с рысака и вьюном пробрался сквозь толпу у ворот. Задыхаясь, вбежал в княжеские покои, бросился на колени:

— Едут!.. Везут Алкеса, зиусхан! Ты обещал подарок за добрую весть...

Встал князь, знаком велел подняться с колен и мальчишке:

— Да будешь ты настоящим мужчиной, приносящим в дом радость, мой мальчик. Ты чей будешь?

— Я сын твоего старшего байколя [1] Мерзабеча,— бойко ответил мальчик, гордясь тем, что называет имя отца.

Истый мужчина не должен показывать другим ни своего горя, ни радости — он всегда должен быть строг и сдержан. Не показал своей радости и князь Кансав, спокойно распорядился:

— Дайте сыну Мерзабеча выбрать в моем табуне коня, который ему понравится. Велите сшить для него черкеску и сплести хорошую плетку.

Молитвенно приблизив ладони к лицу, князь торжественно произнес:

— Пусть все, кто может вдеть ногу в стремя, встречают на конях моих гостей. Пусть музыканты и танцоры не жалеют себя. Пусть мой праздник станет праздником и для друзей, и для недругов моих. Аллах! Прими все, что я сказал, как доброе слово и помоги мне, будь милостив ко мне, о великий аллах!

Закончив молитву, князь взмахом руки велел выполнять его волю. В мгновение ока опустели княжеские покои, ни одного коня не осталось у коновязей. Лавиной устремились конники

---

[1] Байколь — воин-телохранитель.

навстречу гостям. За ними, сверкая пятками,— мальчишки. Заторопились и женщины, придерживая подолы просторных юбок. Заторопились, но старались держаться достойно, степенно.

Грянул оркестр. Запели величальную песнь по случаю возвращения сына в отчий дом.

И вот наконец встретились спешившие друг к другу люди. Приветствовали друг друга словами радости. Под чистым высоким небом загремели выстрелы.

Мирные выстрелы.

Аул был похож на разбуженный рой.

Все куда-то неслось, кружилось.

Музыка.

Песни.

Вскипали огненные пляски.

А в небе яркое солнце, звонкие птицы.

Праздник, веселый праздник на всей земле Бжедугии...

Великий князь бжедугский Кансав за восемнадцать лет видел сына только два раза. Первый — когда Шеретлуковы обрили Алкесу голову, второй — когда ребенок стал ходить. И оба раза князь не успел даже хорошенько разглядеть младенца.

Когда Алкес родился, Кансав направился в покои княгини, но она не позволила ему войти: что разглядишь, что поймешь в только что родившемся ребенке? Да и сама-то великая княгиня Тлятаней видела младенца лишь несколько раз. За ним ухаживала кормилица, а когда малышу исполнился месяц и семь дней, его отвезли к Шеретлуковым.

Мельком, за восемнадцать лет дважды, видел Кансав сына, единственного наследника великого княжества Бжедугии.

Родила Тлятаней Кансаву сына, и князь чувствовал себя самым счастливым. Он щедро одарил княгиню и ждал, что она родит снова. Хорошо бы, думал князь, иметь еще и дочь, чтобы потом через нее породниться с темиргойскими князьями или с каким-нибудь другим сильным княжеским родом.

Ждал Кансав, ждал, но тянулись годы, а княгиня все не рожала. И какие только знаменитые лекари не побывали у нее, каких только мудрых старух не приводили в ее покои. Они лечили княгиню и заморскими травами, и привязывали к ее животу половинку тыквы, и кормили на ее животе квочку — ничего не помогло.

И затосковал князь. Тосковал по Алкесу, беспокоился, каким растет наследник его трудов, каким он окажется, будущий правитель Бжедугии? Хоть и передавали Кансаву, что аталык Наго растит его сына заботливо и мудро, что Алкес — крепкий парень, ловкий и красивый, но слова — только слова. Недаром говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Тосковал князь по детям, которых не хотел посылать ему аллах. Что такое один сын? Достаточно удара вражеской сабли, шальной пули, чтобы Бжедугия лишилась нового великого князя, осиротела.

Тосковал князь Кансав, но говорят: если ты настоящий мужчина, то всякой печали рано или поздно придет конец, придет по твоей воле. Вчера княгиня Тлятаней наконец-то сказала мужу, что она беременна, а сегодня войдет в отчий дом Алкес.

Много грустил князь Кансав, а сегодня он радовался стократной радостью. Счастье словно морским прибоем вливалось в его дом. Он слышал, как гудела земля под копытами сотен скакунов, слышал, как этот гул, веселый говор людей, песни становились все ближе и ближе. Все ближе и ближе был к родному дому Алкес.

Уже совсем рядом.

Стоявший у окна князь Шерандук воскликнул:

— Ты счастливый человек, Кансав! Посмотри, какой красавец едет! Ну да, он рядом с Наго, конечно же это Алкес. Ах, какой джигит. Как красиво сидит он в седле. Истинно великим князем держится. И статью, и взглядом, и обличьем в тебя пошел.

Кинуться бы опрометью к окну, посмотреть на этого красавца, на сына, но Кансав не шелохнулся на своем почетном княжеском месте: не смей поддаваться соблазну, не показывай себя слабым ни в горе, ни в радости, ведь ты — мужчина, ты — великий князь. И он только вытянул шею, чтобы лучше слышать разговор у себя за спиною, только горели его карие глаза. Празднично сверкали шитые золотом сафьяновые чувяки на его ногах, сверкали серебряными наконечниками газыри, достойно покоился у пояса кинжал дорогой работы. Наверное, от отцовской радости Кансав помолодел, даже папаха на его небольшой голове казалась выше. А чтобы легче было справляться с радостью, князь стал внимательно рассматривать старинные кинжалы и сабли, пистолеты и ружья, развешанные на дорогих коврах. Рассматривал так, будто видел их впервые.

Ему хотелось еще и еще слушать о сыне, и князь Шерандук, будто понял это, стал рассказывать, как восхищенно все смотрят на Алкеса, какой под ним великолепный конь и как Алкес уверенно ведет горячего скакуна, сдерживая его шенкелями и богато отделанной уздечкой.

— А девушки, девушки! Они с него глаз не сводят... Иди, князь, встречай сына-богатыря, гостей встречай.

У дверей Кансав остановился и почтительно склонил голову в знак того, что пропускает старшего первым.

Шерандук благодарно улыбнулся, однако в дверь не прошел:

— Разве ты забыл, князь Кансав, адыгский обычай?

— Как забыть, зиусхан? Потому и пропускаю впереди себя старшего, уважаемого мною князя Шерандука.

— Спасибо,— приложил руку к груди Шерандук,— как старший я и должен предостеречь тебя от ошибки. Сегодня твой праздник, ты встречаешь своего сына, будущего великого князя Бжедугии, а потому должен идти впереди.

Они вышли из дома, спустились по ступенькам во двор.

Улица была полна народу: пешие и конные, старые и малые.

Через широко открытые ворота вошел Наго с Алкесом и Али-Султаном и направился к дому, где у веранды стояли Кансав и Шерандук. За Наго — все родовитые шапсуги.

Вслед за гостями вошли и встали поодаль князья и родовитые бжедуги.

Восемнадцать лет назад, когда провожали на аталычество маленького Алкеса, этому были свидетелями семь человек со стороны князя Кансава Хаджемукова и семь со стороны Наго Шеретлукова. Перед тем как увезти малыша, свидетели обменялись башлыками, и вот теперь они возвращали их друг другу, показывая тем самым, что их свидетельское дело окончено.

Руководил этой церемонией младший из Хаджемуковых, и, когда свидетели возвратились на места, он сказал, поклонившись Кансаву:

— Зиусхан, наше почетное и важное дело закончилось добром. Мы рады, что сын великого князя Бжедугии Алкес возвращается в отчий дом настоящим мужчиной, достойным своего отца и всего рода Хаджемуковых. Мы желаем вам счастья. Пусть враги ваши узнают, что отныне в доме великого князя двое защитников великого княжества Бжедугии.

Потом на середину вышел Наго. Он, как подобает правоверному мусульманину, поднял в приветствии правую руку и возвысил свой голос:

— Салам алейкум, уважаемые хозяева, славящиеся добрыми делами не только в Бжедугии, но и по всей земле адыгов. Салам алейкум! А тебе, великий князь, желаю увидеть счастье твоего сына, доблесть его и мужество. Пусть он будет любим матерью и отцом, пусть своей нартской саблей защищает их покой и древнюю, славную землю Бжедугии. И еще пусть хоть изредка вспоминает нас, нашу прекрасную шапсугскую землю, а для меня он как родной сын, я всегда рад его видеть и никогда не забуду, какой бы долгой ни была наша разлука,— тихо закончил Наго дрогнувшим от волнения голосом.

В толпе женщин всхлипнули.

Эффенди Шалих был очень доволен тем, что Наго приветствовал бжедугов не по-язычески, а как правоверный мусульманин.

Родовитым шапсугам тоже понравилась речь Наго: она как бы отделяла их от сбившихся за воротами в кучу тфокотлей, возвышала над ними, не хотевшими принимать ислама. Конечно, хороша вера отцов, мир их праху, но время движется, жизнь идет, и кому, как не им, самым могущественным из адыгов, покончить с дикостью и невежеством своего народа. Земля и скот дают родовитым власть над тфокотлями, а новый бог — аллах — даст власть над их душами.

Наго кончил говорить.

Шапсуги расступились, образовав проход для княжича.

Алкесу надо было сдержать волнение, показать свое княжеское мужское достоинство. А как это сделать, если тебе всего восемнадцать лет, если перед тобою отец, мать, которых ты, собственно говоря, не знаешь, даже не помнишь. И двор, и дом, и сотни людей, и небо, и дальние горы — теперь это твое. Навсегда.

Жар прилил к лицу Алкеса, когда он шагнул вперед, сердце до того гулко забилось, что показалось, гул этот слышат все. Но длилось это недолго — успокоился княжич, пока шел к середине двора.

— Пусть будет добрым ваш день, высокочтимые,— негромко обратился он с шапсугским приветствием.

Князь Шерандук, пряча улыбку под густыми усами, подумал: выдал княжич своих воспитателей — аталыков, неисправимых язычников.

Вознегодовал эффенди Шалих: «Каков наставник, таков и воспитанник. Зря понадеялся на него старый князь. Наго хочет угодить и аллаху и старым богам, хочет угодить язычникам-тфокотлям. Рабам хочет угодить — значит, и сам раб. Не кончит, не кончит добром Наго». Эффенди даже не подозревал, что судьбе будет угодно (словно она подслушала его мысли) исполнить его угрозу.

Между тем княжич направился к именитым бжедугам, чтобы поприветствовать каждого из них.

Встревожился Кансав: хорошо ли знает сын порядок, не оплошает ли, не опозорится? То, что другому человеку простится и забудется, сыну великого князя будут помнить всю жизнь. И Кансав не отрываясь смотрел на Алкеса, словно хотел помочь ему силой своего взгляда.

К кому он подойдет прежде всего? Неужели негодник Наго не объяснил ему этого?

Слава аллаху, как и полагалось, Алкес подошел сначала к Шерандуку, старейшему князю Бжедугии, а потом, миновав отца, будто не заметив его (ах, какой молодец!), стал приветствовать остальных князей, строго соблюдая старшинство.

Теперь самое трудное. Как подойдет он к отцу, не выкажет ли мальчишеской слабости?

Нет не выказал: был сыновне-уважителен и по-княжески сдержан.

Наконец-то отец и сын подали друг другу руки, посмотрели друг на друга не украдкой, как в первую минуту встречи, а открыто и все-таки смущенно опустили долу зеленовато-карие глаза.

Алкес почувствовал такое волнение, какого за восемнадцать лет ни разу не испытал перед Наго. Все тело как-то расслабло, сладко закружилась голова. Видимо, это и есть то, что называют зовом крови.

Но недолго находился княжич в плену непривычных ощущений. Опомнился, взял себя в руки. Успокоился.

Поклонился отцу и отошел от него. Ждал.

Все это время стояла глубокая тишина — в толпе никто не проронил ни звука, не шелохнулся. Не сегодня возник этот церемониал встречи — складывался веками. Недаром говорят: «Что сложило время, не сдвинешь рукой. Оно вечно, как сам народ».

Счастливый князь, словно благодаря собравшихся за то, что пришли на его праздник, окинул всех довольным взглядом. Взыскательным оком оглядел усадьбу и тоже остался доволен: добрая усадьба достанется в наследство сыну.

А за усадьбой — поле. И над ним чистое голубое небо. Ни одна тучка не заблудилась сегодня в ласковой глубине небес, чтобы не омрачить торжества.

Прекрасна земля великого князя Бжедугии, сладка подаренная ему аллахом жизнь. И дней в ней было так же много, как много скота в его гуртах и лошадей в табунах. А сколько в отарах овец с золотым руном, он и счет потерял. Не сосчитаешь и табуны, стада, отары, не обойдешь поля пшеницы.

Прекрасен мир великого князя Кансава. И ни разу князь не спросил аллаха, за что он так милостив к нему и щедр, почему так скуп к тфокотлям? Почему у него все, а у них ничего, кроме натруженных рук? Не спрашивал об этом Кансав у аллаха и не спросит, зачем донимать его такими вопросами, если аллах так сам создал, если во всем его высокая воля. Не спрашивал отец Кансава, не спросит и его сын. Зачем омрачать свой душевный покой?

В благоговейной тишине замерли люди, ждут княжеского слова, чтобы продолжить торжества, чтобы веселиться. Если человек хочет веселиться, значит, он счастлив — да будет так во веки веков.

Улыбнулся Кансав:

— Да будет вами доволен аллах, родовитые Шеретлуковы. Добро, сделанное вами, никогда не забудет наш древний род и стократно ответит добром и любовью. Да будет доволен аллах и вами, родовитые Наурзовы, Шикушевы, Абатовы, заботившиеся о нас и нашем сыне. Дай бог, чтобы и им мы ответили стократным добром. Милости просим, дорогие гости: мой дом — ваш дом.

Заиграл оркестр.

У двора образовался круг. На середину вышел джегуако, приглашая лихих танцоров на состязание, вызывая девушек.

Так начались семидневные торжества по случаю возвращения сына великого князя Бжедугии в отчий дом.

Спустя некоторое время после того, как гости вошли и сели за пиршественный стол, князь Шерандук сказал:

— Что же ты, Кансав, прячешь от нас сына? Мы хотим поближе рассмотреть твоего богатыря.

— Не достоин он еще того, чтобы войти в такой круг, к таким почетным гостям. Мальчик еще.

— Не скажи, Кансав. Помнишь, когда нам было столько же лет, сколько сейчас Алкесу, какой шум подняли мы у дверей крым-хана? — с явным удовольствием спросил Шерандук.

Кансаву тоже было приятно вспомнить молодость:

— Это когда нам дали по носу? Помню. Нашим коням хвосты завязали, вот мы и подняли шум. Глупые были.

— Всему свое время: и печальной мудрости, и веселой глупости. Однако давайте нам княжича. Хотим рассмотреть, пока нас не разобрала буза. Шеретлуковы, покажите своего воспитанника. Что ж это вы?

Наго промолчал. Он обиделся на Кансава за то, что тот назвал Алкеса мальчиком. Что он знает о нем? Только родил его, а мужчиной-то его сделал Наго. Не раз он водил Алкеса в дома знатных темиргойских князей слушать беседы старших, отправлял состязаться в силе и ловкости с лучшими наездниками. Мальчик даже в детстве проявлял живой и подвижный ум, а отец почему-то теперь, когда Алкес уже взрослый человек, считает его несмышленышем. Вдруг Наго понял, что раздражается против князя не потому, что тот сказал неприятное, несправедливое, а потому, что он, Наго, любит Алкеса, сроднился с ним за долгие годы, вложил в Алкеса частицу своей души и теперь прощается не с юношей, не с сыном великого князя, а словно с родным ребенком. Грустно это, больно. И князю Кансаву вряд ли это понять.

— Хорошо,— ответил Шерандуку Кансав,— если настаиваешь, он войдет. Но смотри, князь, парень в такой высокой компании может растеряться, осрамиться перед старшими, так что ты уж будь ему защитником и помощником.

Но Алкес не нуждался ни в чьей помощи, вел он себя довольно уверенно и даже непринужденно. И происходило это, наверное, потому, что Алкес был занят делом куда более важным, чем эти смотрины,— он увидел в толпе девушку. Позже Алкес рассмотрел ее прекрасное лицо, прямой и гибкий, словно ореховый прут, стан. Случалось, что ему нравились девушки, но чтобы вот так кто-то взволновал — еще не было. Чья она сестра, чья дочь? Как увидеться с нею?

II

— А Наго Шеретлуков сделал вид, будто не узнал меня,— укоризненно качнув головой, сказал Усток, когда три всадника въехали в лес.

— Это потому, что в нем дерутся лисья душа и волчье сердце,— ответил Ахмед Шепако так, будто ждал этих слов, и повернулся к угрюмо молчавшему весь путь соседу, ехавшему слева.— Довольно, брат, не убивайся, мы сумеем помочь твоему парнишке, если уж пустились с тобой в такую дальнюю дорогу.

— Я тоже так думаю, Ахмед,— поднял глаза Анзаур Ахеджак и, облизнув обветренные губы, уже веселей добавил: — Надеемся на бога, а после него — только на тебя. Все отдам, лишь бы не остался хромым мой мальчик. Ведь он у меня единственный сын... Слепой, что ли, накладывал повязку на его ногу, раз кость срослась кривой?

Услышав о костоправе, Ахмед сказал:

— Наш бедный отец говаривал: о костоправе до тех пор хорошая молва, пока у его больных правильно срастаются кости, а если, не дай бог, кто-нибудь останется хромым, люди сразу перестанут ему верить. Видимо, и твоего сына плохой костоправ пользовал, хотя и у доброго мастера может быть неудача, человека лечить — не телегу ладить.

— Мы не в обиде на костоправа,— заторопился Анзаур, беспокоясь, как бы не подумали, что он охаивает лекаря или жалуется на него, что вообще не к лицу тому, кто носит папаху:— На Шеретлуковых у нас большая обида. Али-Султан во время игры ударом палки сломал ногу моему мальчику. Я пошел к Наго поговорить, а он на меня же и набросился. Пусть, мол, твой щенок скажет спасибо, что Али-Султан его совсем не прибил. Как ты смеешь, говорит, жаловаться на моего сына!

— Ну, а ты что?! Не дал ему по скуле?! — вскипел Усток.

— О чем ты говоришь? Какие у нас права! Все права у того, у кого богатство. Ничего уж тут не поделаешь.

— А тфокотлей с тобой там не было, они не могли за тебя постоять?

— А если бы и были, что бы они сделали? Сила пока на стороне Шеретлуковых. Вот подрастет мой мальчик, сядет на коня, тогда посмотрим, кто кого... — Анзаур снизил голос и негромко добавил: — Пшеницу Шеретлуковым я поджег. Славно горела. Это только задаток, а полная расплата впереди. — Густо заросшее, давно небритое его лицо посуровело.

Они долго ехали молча. Каждый думал о своем. В стране шапсугов далеко не один Анзаур чувствовал себя обездоленным. Всем тфокотлям живется все хуже и хуже. Не сегодня началось это и не завтра кончится. Шеретлуковы, Наурзовы, Абатовы, Шикушевы — будто черная туча над Шапсугией. Тяжелая, неодолимая, начиненная бедами. Она может грянуть на головы тфокотлей огненными плетями молний или обрушиться градом, послать ураган и сгубить поля, уничтожить жилища.

Прекрасно небо Шапсугии, щедры ее поля и луга, да не для всех. Богатому солнце улыбается, а бедного оно палит. Одного морозец бодрит, другому от него зябко, неуютно. И для тех, кого ласкает небо, нет ни порядков, ни законов, они хозяева и судьи всему, на них не найдешь управы.

Пустив поводья, обо всем этом размышлял Ахмед Шепако. Его старинный род из натухайцев. Его предки спустились с гор, но окончательно не покинули их, поселились на склонах, так,

чтобы окна смотрели на восток, а за спиною стояли надежные горы. Шепако возделывали землю, растили скот, считались людьми добрыми, работящими и честными, но честность, доброта и трудовые руки не приведут к богатству. Шепако были людьми среднего достатка. Жили по-разному. Не только из ласковых солнечных лучей соткано небо над их головами. Приходилось не только пахать землю, но и браться за кинжал, чтобы защищать себя и свою семью.

Но почему люди ссорятся между собою, разве мало у них других забот? Разве им тесно под небом? Чем натухайцы хуже абадзехов или бжедугов? Ведь все они принадлежат к одному корню — корню адыгов.

Долгое время Ахмед верил в то, что князья произошли от Луны, поэтому должны править другими, возвышаться над ними, как Луна над землей и даже над небесами.

Люди говорили, что Ахмед — удачливый костоправ, что его дар от бога, но он-то знал, что если бы не отец, то ничего бы у него не получилось. Да он без отца просто не рискнул бы заняться врачеванием. Таков мир: вода не удерживается на возвышенности, а низменность не терпит пустоты, потому-то и скатывается вода, орошая поля. Даже в полдневный зной ветер охладит тебя, если ты не побоишься пустить коня вскачь. Не вырастет пшеница, если ты ее не посеешь.

— Послушай, Ахмед,— неожиданно прервал размышления Шепако Анзаур,— ты назвал меня младшим братом, а мне кажется, что мы с тобою ровесники.

— Ты так считаешь?

— Ты моложе Устока на два года, я тоже на два. Усток говорит, что он родился во время большой черной оспы, а два года спустя появился перед восходом солнца и я. Мать говорила, что в тот год был очень хороший урожай арбузов. Вот в ту самую арбузную пору она меня и родила, доля моя вроде бы должна быть сладкой, а я пока этой сладости не видел.

Усток рассмеялся:

— То-то я гляжу, у тебя голова круглая, как анэ[1]. И большая, как добрый арбуз, а что сладости ты еще не видел, не горюй, успеешь всего попробовать. А главное, если нахлебаешься горького, то арбуз — даже кислый — покажется просто медовым.

Ахмед придержал коня:

— Вот как нехорошо получилось: я младше Устока, а еду посредине, как старший. Узнают об этом люди — позор. А все из-за тебя, Усток... Почему ты не занял своего места? Но я не сержусь на тебя. Давай становись посередине, а ты, Анзаур, слева.

Всадники тронулись. Изрытое оспой лицо Устока расплылось в добродушной улыбке:

---

[1] Анэ — круглый треногий столик.

— Признаться, Ахмед, мне подумалось, что твоя серая черкеска будет лучше смотреться в середине, поэтому я и уступил тебе старшинство. Да и Шеретлуков тебя лучше знает, чем меня. Ты заметил, как мы его ошарашили? Уж нас-то он не ждал, наверно, потом всю дорогу чертыхался.

— Не любит он меня и боится. Знает, что я не позволю себя унизить и сумею отстоять свое достоинство. А насчет черкески... О человеке часто судят по одежде, но старые люди говорят: умное слово легко может сорвать папаху с глупой головы, так что в другой раз меньше думай о моей красивой черкеске, ведь я из-за нее мог и честь потерять. Или я неправильно говорю, Анзаур? Скажи.

— Все правильно, мой младший брат. Не надо сердиться.

— Вот и хорошо! — Ахмед рассмеялся и дал шенкеля своему скакуну.

Всадники перешли на легкую веселую рысь и замолчали. Жара спала. С гор скатилась прохлада и радовала все живое. Уже совсем близко был лес, к нему-то, свернув на тропинку, направлялись всадники. Большое красное солнце коснулось вершины дальней горы, будто после долгого утомительного пути присело отдохнуть.

Путники спрыгнули с коней и затихли.

Они молились солнцу. Благодарили за хороший день и просили, чтобы завтрашний тоже был добр к ним. Пусть будут счастливы честные люди, пусть в их семьях рождаются счастливые дети...

Молились люди солнцу.

И все вокруг словно внимало их молитве — такая стояла тишина. Даже лошади замерли, будто понимали своих хозяев.

В горах темнота начинает властвовать над землей сразу же после захода солнца. Так было и сейчас — лик наступившего вечера начал быстро шириться по холмам и долинам, давая отдых всему, что трудилось днем. И когда конники вошли в лес, темнота уже властвовала там.

— Послушай, Анзаур, как поживают те девять братьев, на которых ты надеешься как на своих защитников? — спросил Ахмед.

— Живут с горем пополам. Копаются в земле, мокнут под дождями. Старший в прошлом году женился, уже родился мальчишка.

— Я знаю, что у Бороко есть сынишка. А Черим?..

Анзаур горестно усмехнулся:

— Ты знаешь, у них на девятерых одна шапка. Кто идет на улицу, тот и надевает. Не сразу узнаешь, кто в этой шапке. Иногда встречаю их мать, Ляшину, и думаю, как она могла вы́ходить такую ораву? Сколько надо иметь силы, терпения, любви? И никогда не пожалуется. Да еще такая веселая, радостная, будто не воз тяжелый волочит, а налегке идет...

— Но теперь ей немного полегче,— заметил Ахмед. — Старший-то уже отделился, должно быть, помогает матери.

— Е-о-ой! Какая от него помощь! Пустой человек, да еще и болтун. Говорит, что родовитые рождены ездить на иноходцах, тфокотли на кобылах, словно не от рук родовитых Абатовых погиб его отец. Еще мать побаивается, а то бы совсем продался Шеретлуковым. Мы должны, говорит, уважать родовитых, так все на земле сотворил аллах.

— Вот тебе и старший из братьев! — возмутился Ахмед. — Чему же он младших научит? Гнуть и гнуть спину, пока она не лопнет, забыть, что ты мужчина! С ума он сошел, что ли?

— Валлахи, не знаю. Может, потому он таким стал, что Наго подарил ему к свадьбе верхового коня?

— А что тут особенного? Это добрый старый обычай адыгов. Каждый должен помочь молодой семье стать на ноги. Старики говорят: «Помогая другим, помогаешь этим и себе». И еще говорят: «Если сделал кому-нибудь добро и потом требуешь благодарности, значит, открываешь двери беде». Ну, а как Мос? По-прежнему батрачит у Наго?

— Хороший парень. Он из всех братьев, по-моему, самый крепкий и порядочный. Сила в нем есть и гордость. Говорят, в отца пошел.

— Не пришлось мне отца увидеть, но тфокотли Абатовых до сих пор рассказывают, каким он был мужественным и честным человеком. Жалко, очень жалко, что такой достойный мужчина безвременно покинул этот мир. Да и семья теперь бедствует.

— Ничего, вырастут братья Хагуровы, станут мужчинами, как их брат Мос, каким был отец, покажут себя обидчикам, тогда я не позавидую не только Абатовым, но и всем родовитым шапсугам,— сказал все время молчавший Усток.

— Хорошо, если братья Хагуровы будут дружны, стеной будут стоять, а то ведь Шеретлуковы хитры, как лисы, и коварны, как змеи,— заговорил Анзаур. — Вот они что сделали с братьями Хутами: поссорили, и те живут теперь в Бастуке врагами. Вот тебе и родные братья! Да и у Хагуровых уже есть трещина, этот старший, Бороко, подпевает Наго...

В полночь всадники подъехали к Бастуку.

Аул не уместился в неширокой горной долине, выплеснулся из нее на склон.

Светила яркая луна, и спавший аул был хорошо виден.

Анзаур нашел взглядом свой дом:

— У меня не спят, светятся окна. Наверно, мать с больным парнишкой мается.

...А мальчишка уже и не маялся особенно, не нуждался даже в сиделке. Кость срослась, и он хоть сегодня мог бы ходить по комнате, даже на улицу смог бы выйти, но старшие

не велят. Особенно бабушка. Она смотрит за каждым движением внука, готова день и ночь сидеть у постели, подавать ему еду, питье. Измучилась за это время, но от своего не отступается. И все ругает Шеретлуковых, поносит их на чем свет стоит.

Ахмед стал осматривать больного. Недовольно качал головой, хмурился:

— Уж не слепой ли тебя лечил, парень? Как ты думаешь?

— Нет, не слепой,— серьезно ответил мальчик. — Он что-нибудь сделал плохо?

— Ему бы сподручнее работать в кузнице молотобойцем. Грохай себе и грохай, где кузнец укажет. И чем сильнее, тем лучше.

Мальчишке неловко, что из-за него приехал издалека этот человек, неприятно, что ругает костоправа. И тревожно: что же дальше, не зря ведь за этим лекарем ездили. Как он будет поправлять ногу, чем станет ее лечить?

— Как тебя зовут, молодец? Может, мы с тобой тезки? — Ахмед погладил мальчишку по свежевыбритой голове.

— Мое имя — Натар. Тебя тоже так зовут? — удивился мальчишка. Ему показалось, что гость немножко похож на волшебников, о которых рассказывается в сказках.

— Ах, какая жалость! — искренне воскликнул Ахмед. — Самую малость не совпали наши имена. Зовут меня Ахмедом из рода Шепако. Может, слышал?

— Нет. А он чем-нибудь знаменит, твой род?

— О да! Мы земледельцы. Пашем землю, сеем хлеб, растим скотину.

— Сами пасете скот и поле пашете? — насторожился Натар.

— О да! Никому не доверяем. Все делаем сами, делаем лучше всех.

— Тогда вы тфокотли,— разочаровался Натар.

— Конечно! Мы те, без которых не может обойтись ни родовитый, ни князь, ни даже заморский царь. Мы, тфокотли,— начало и конец всему. Запомни это, Натар, и гордись тем, что ты земледелец, а не родовитый бездельник. Ну, а теперь скажи: ты уже вставал, ходил немного по комнате?

— Я хочу походить, да бабушка не велит.

— Что ты, добрый человек, что ты! — забеспокоилась бабушка. — Ему рано вставать, он может повредить себе.

— Успокойся, мать, раз уж мы с тобой, здесь ничего плохого не случится. Мальчик должен вырасти джигитом, и мы поможем ему. Завтра займемся, а сегодня всем спокойной ночи.

В кунацкой для мужчин уже собрали ужин.

Анзаур ждал, что Ахмед заговорит о сыне, о его ноге. Тревожился, но спросить не решался: может, ему надо еще раз посмотреть мальчика, подумать, как лечить ногу?

Хотя спать легли далеко за полночь, Шепако и Усток поднялись рано. Хозяева встали и того раньше.

После завтрака Ахмед сказал Анзауру:

— Теперь займемся мальчиком. Мне кажется, я смогу поправить ногу. Обязательно поправлю, но это будет не просто и трудно... для мальчика. У меня к тебе просьба: пусть женщины уйдут из дома. Может, к соседям... Надо им уйти, а тебе придется остаться. Без хозяина нам не обойтись. Убери с кровати всю постель. Положи хорошо пропаренную доску и подушку. Доска должна быть широкой и толстой. Во всю кровать. Остальное мы сделаем с Устоком сами. Еще одна просьба: приведи того, кто лечил Натара.

— Он уже здесь. Узнал, что приехал ты, и пришел. Пойду займусь кроватью и пришлю лекаря.

Вошел лекарь. Это был рослый, немного неуклюжий молодой парень со страдальческими глазами. «У лекарей часто бывают такие глаза»,— подумал Ахмед.

— Да будет добрым ваш день! — несмело поздоровался парень, вскинув руку. — Мне передали, что я тебе нужен, Ахмед. Вот и пришел. Ты мне что-то хотел сказать? Или...

— Садись, раз пришел.

— Нет, я постою,— парень остался у двери.

— Ты знаешь, что я хочу сделать с мальчиком?

— Если скажешь, буду знать,— немного смелее пробасил парень. — Я сделал все, что мог, да вот... не получилось. Даже у костоправов постарше меня иногда не получается, а мне-то всего двадцать. Научусь. Вот и ты поучишь. О тебе все говорят как о большом мастере.

— Я решил опять сломать Натару ногу,— несколько смутившись от похвалы, перебил парня Ахмед.

Молодой костоправ вытаращил глаза:

— Я не слышал, чтобы кто-нибудь такое делал... Что по воле аллаха свершилось, то свершилось, и мы тут не вольны, но самим ломать... Лучше бы не трогать мальчишку, Ахмед Шепако!..

— Если ты так будешь рассуждать, из тебя никогда не выйдет хорошего костоправа. Аллах дал человеку разум и благословляет все доброе, что он может сделать с помощью своего разума. Аллах благословляет, а делает-то человек, и делать доброе дело очень трудно. Намного труднее, чем злое. Ты назвал меня мастером, сказал, что хочешь кое-чему поучиться. Я постараюсь научить тебя тому, чему учили меня мой отец и дед. Пойдешь со мной к мальчику и будешь помогать.

— Нет. Я не выдержу этого. Не принуждай, Шепако.

— Я тоже знаю, что такое боль! И своя и чужая. А чужую иногда труднее перенести, чем свою. Именно поэтому мы с тобой должны пойти и помочь мальчику, если не хотим, чтобы его всю жизнь дразнили хромым Натаром!..

— А если то, что мы сделаем, обернется не добром, а злом? Что мы скажем ему потом?

Ахмед рассердился было на молодого костоправа, но тут же взял себя в руки, подумал, что от этого никому не станет легче, своей горячностью он может принести парню зло: ведь люди потом много лет будут говорить о нем: это тот, который испортил ногу Натару, а Ахмед Шепако поправил? И тогда хоть пропади, убегай на край света, в ауле не будет ему житья.

Шепако спросил:

— Как зовут тебя в ауле, брат мой?

— Шабаном Патарезовым, мой старший брат.

— Забудем сегодня, Шабан, о худшем и будем надеяться на лучшее. Без надежды нечего браться за дело. Даже за самое легкое. Сердце говорит мне, что нас с тобой ждет удача. Двое таких джигитов да еще с помощью Устока — неужели мы не сделаем, что хотим? Вот и хозяин идет; наверно, Натара уже подготовили.

И они направились в комнату к мальчику.

Отец остановился у двери, а Ахмед с помощниками подошел к Натару, который уже лежал на голой доске и настороженно, в ожидании чего-то непонятного и страшного, смотрел в глаза Шепако, словно спрашивая: что ты хочешь сделать со мною, скажи, мне будет больно, скажи?

Ахмед засучил рукава, глядя себе под ноги, чтобы не встретиться глазами с Натаром...

Потом достал из кармана тряпицу, развернул ее — там был пучок травы.

Подержал траву в кипятке, пока по комнате не пошел едкий запах, протянул ее Шабану:

— Возьми. Дай понюхать мальчику и сам понюхай, если боишься не выдержать.

Шабан покраснел от обиды и стыда:

— Я мужчина, Ахмед. Зачем ты со мной так разговариваешь? Я дам понюхать только Натару.

Тем временем Усток заслонил собою от мальчика Ахмеда. Навалился на его грудь, прижал к доске и...

Ни отец Натара, ни Шабан не успели ничего сообразить, как Ахмед Шепако быстрым, сильным и точным движением сломал Натару ногу в том месте, где она неправильно срослась. Раздался негромкий, глухой стон, затем тяжелый выдох: у Натара катились из глаз слезы и выступила капелька крови на прокушенной губе.

— Ты — настоящий мужчина. Ты будешь нартом,— сказал Ахмед Натару.— Молодец, мой мальчик, успокойся, теперь уже не будет больно, теперь будет все хорошо.

Шабан, бледный, с широко открытыми глазами, ошеломленно и вместе с тем восхищенно смотрел на Шепако.

Как разными путями по просторным долинам и тесным ущельям торопятся к морю малые и большие речки, так вот уже третий день стекаются подводы, всадники, пешие на весенний базар в Пшаде, который раскинулся на побережье Черного моря. Спешат не только шапсуги. Если прислушаться к разговорам, услышишь и убыхскую речь, и абадзехскую, и бжедугскую, и темиргойскую, и бесленеевскую, и даже ногайскую. Для ногайцев, едущих из верховьев Кубани, черноморская земля чужая, неприветливая, и едут они по ней неуверенно, настороженно озираясь, как бы ожидая подвоха.

Чем у́же становится долина, тем теснее в ней и конным и пешим, громче крики людей, скрип подвод, ржанье лошадей.

Речушке неуютно в теснине; спотыкаясь о валуны, ударяясь об утесы, она громко шумит и старается поскорее выскочить на простор. И хотя ее скоро поглотят седые морские волны, она радуется своей судьбе: разве плохо, вырвавшись из каменных объятий, погулять с ветром в обнимку по морским просторам!

Едва над дальними горами занялся бледный рассвет, двое всадников, спустившись по узкой крутой тропе, перешли вброд речку. По вспотевшим лошадям можно было догадаться, что путь этих всадников далек и непрост,— видно, торопились кого-то настичь, а может, сами уходили от преследования. У каждого из них было по пленнику. Пленники лежали перед всадниками в мешках и, казалось, были бездыханными — так измучила их дорога.

Конники перешли речку и пошли вдоль берега, смешавшись с другими путниками.

Вскоре взошло солнце, пригрело затылки и спины всадников, а навстречу им подул ветерок — свежий, пахнувший морем, которое уже манило синевой.

— Макай! — позвал тот, что ехал впереди.

— Что, Мамруко?

— Все забываю тебя спросить,— ты же абадзех, живешь в горах, значит, должен знать,— что это за камень? Вон тот, огромный, как копна сена. А на нем еще один, видишь, будто крыша дома. И дыра прямо как вход в дом. Сам он таким получился или сделал его кто?

— У вас, у темиргойцев, нет камней-испэун [1], потому ты и не знаешь. Это дом испа, карлика, о котором рассказывается в сказках.

— А-а, вот в чем дело! — воскликнул Макай.— Я о них немного слышал. Видать, бог не наделил этих самых испов ни ростом, ни силой. И как только они жили в таких домах?!

— Они в них не жили.

— Что же тогда?..

---

[1] Испэун — дольмен, погребальное сооружение из камней.

— Хоронили в них покойников.

— Так бы и сказал сразу... Слушай, Макай, и мы с тобой тоже маленькие люди, проживем маленькую короткую жизнь, а потом нам на могиле поставят камень. Зачем мне почести после смерти? Пока живешь, Макай, наслаждайся жизнью, а потом пусть у тебя на могиле хоть плачут, хоть танцуют.

— Тоже правильно, Мамруко. И все-таки хочется, чтобы и после смерти тебе оказали уважение. Хоть ты его и не почувствуешь, и на том свете оно никак не пригодится, сердце об этом болит. Почему так?

Мамруко только рассмеялся в ответ и махнул рукой,— мол, провались все пропадом,— а потом призадумался и серьезно сказал:

— Не хочу того света! Всего хочу здесь. Все говорят, говорят о том свете, а кто там был, кто его видел, кто может поручиться, что он есть? Эффенди только бородой трясет, а толком тоже ничего не скажет. Э, будем делать свое земное дело, это вернее...

С осени прошлого года турецкие торговые суда редко приставали к побережью адыгской земли. Мертвый сезон, пусто на берегах, в прибрежных аулах: нет турецких судов, значит, нет и торговли, нет базаров. Правда, случалось, что и зимой приставал какой-нибудь парусник, но базара он не собирал. Ведь люди не знали, что он приплывет, да и товара у него немного. Что может привезти один парусник? А сегодня народ валил со всех концов — и с гор, и с равнины, и из далеких степей. Люди посматривали на корабли, стоявшие на якорях вблизи берега, на дальние, показавшиеся из-за горизонта паруса.

Горцы привезли товары, что скопились за целый год и ждут заморских купцов. Стоят вдоль берега повозки, груженные тюками овчин и шерстью, мешками пшеницы и бочками с маслом, медом, воском.

Уже много и народа и товара, но торги еще не начались, купцы пока присматриваются друг к другу, узнают цены — как бы не продешевить.

Ржут лошади, уставшие ждать.

Мычат, равнодушно жуют волы.

А молодежь, пока старшие заняты делами, веселится. Устроила скачки, стрельбу из пистолетов и винтовок по мишеням.

Тут и там снуют дельцы-посредники, предлагая, спрашивая.

Старики сидят в тени кустов и степенно беседуют. Велика адыгская земля, и каждому хочется знать, что случилось в ее пределах за прошлый год? Что нового? Справляются о своих старых знакомых — живы ли, здоровы? Кто с кем поссорился, кто помирился?

На полянке под развесистым осокорем гремит бубен, играет музыка. Там затеяли пляску.

А в стороне от всех, на солнцепеке, сидят под охраной женщины, дети, мужчины, которых продадут туркам в рабство.

Тоска, печаль, обреченность на их лицах. Будто и не светит солнце, не шумит, весело играя, морская волна.

Тут же, на берегу, и эффенди. Он уселся за анэ, на котором лежит коран. Рядом с эффенди с десяток мешков соли. Это пошлина, которую он взимает с заморских купцов. Когда закончится базар, соль развезут по аулам.

К берегу пристала шлюпка, груженная окованными сундуками. Ее встретили двое всадников и проводили хозяина к эффенди, который вежливо, с достоинством поздоровался по-турецки, а потом, держа перед собою коран в сафьяновом переплете, строго спросил:

— Нет ли на твоем судне товаров, которые запрещено ввозить в адыгскую землю?

— Нет у меня таких товаров.

— Клянись на коране.

— Клянусь кораном, клянусь аллахом всемогущим, всеведущим и милосердным, что ничего запретного на своем судне я не привез.

— Клянись, что среди вас нет людей, болеющих заразными болезнями!

— Клянусь! Все мои люди здоровы. Никаких дурных болезней на землю черкесов[1] мы не привезли.

— Если так, добро пожаловать, дорогой гость,— эффенди положил коран на анэ, обнялся с гостем и пригласил его сесть рядом с собою на ковер.— Вижу, Дакташ, милостью аллаха ты жив, в добром здравии. Дела, похоже, идут успешно — новый парусник у тебя.

— Новый, новый, в трудах добываем хлеб наш.

— Какие новости, с позволения аллаха, на вашей стороне? Не случилось какой ли беды?

— Нет, благодаря аллаху, у нас все спокойно, все хорошо.

— А как поживает Хасан-Мурад? Что-то давно не показывался он в наших краях.

— И Хасан-Мурад в добром здравии и благополучии. Увидишь, если соскучился. Следом за мной идет его корабль. Думаю, к вечеру будет здесь.

Утром следующего дня началась торговля, шел обмен товарами — на базаре кипела жизнь.

Серые овчины, кожи и шерсть меняли на хром, сафьян, на толстые выделанные подошвы.

Продавали масло и мед, пробуя на зуб золотые монеты заморской чеканки.

Продавали пшеницу и покупали порох, ружья, пистолеты. Так было устроено на адыгской земле — без оружия не посеешь

[1] Так в прошлом называли адыгов.

хлеб, не прокормишь детей, не обеспечишь спокойную старость отцам.

Люди продавали хлеб.

Люди продавали людей.

— Не плачь, брат мой,— успокаивал мальчишку, рукавом утиравшего слезы, молодой тфокотль.— Будем надеяться, что хозяин, купивший нас, не хуже того, который продал в чужую землю... Не надо плакать, лучше смотри на небо, на горы, чтобы они жили потом в нашей памяти. Старые люди говорят, память о родной земле очень помогает на чужбине. Не плачь, брат мой, смотри, как красива наша земля!

— Куда бы вас ни увезли, дети аллаха, всюду помните об отце своем изначальном, о господе нашем,— наставительно сказал эффенди, воздев очи к небу,— поклоняйтесь господу, который сотворил вас и тех, кто был до вас, который сделал землю ковром для вас, а небо — прекрасным зданием, и низвел с неба воду, и напоил ею плоды, и дал вам пропитание...

Женщина, сидевшая рядом с плачущим мальчиком, воскликнула:

— Если бы аллах отнял у тебя сейчас язык, это было бы его самое лучшее дело! Дай нам спокойно попрощаться со своей родиной.

— Что ты, женщина, сказала? — не расслышал эффенди.

— Она сказала — заткнись! И не ерепенься — нам уже нечего терять, большего горя, чем принес нам Мамруко с помощью твоего аллаха, быть не может. А ты, Мамруко,— обратился молодой тфокотль к тому, кто продал его в рабство,— не забывай, что я обещал вернуться и посчитаться с тобой. Рука, которую ты перебил мне, к тому времени срастется и от ненависти к тебе станет сильнее, чем была... И ты, Макай, щенок мамруковский, тоже жди меня с заморскими «подарками».

Мамруко и Макай сделали вид, будто не слышат тфокотля, и пошли вдоль берега,— может, поглазеть, а может, и купить чего-нибудь, ведь теперь деньги у них были.

Мамруко увидел знакомого турецкого купца:

— Салам алейкум, Хасан-Мурад! Не узнаешь, что ли?

Хасан-Мурад закончил отмеривать покупателю золотую парчу, поднял глаза и обрадованно воскликнул:

— Алейкум салам! А я думаю, кто это меня окликает, кому я понадобился? Салам, салам! Рад тебя видеть, дорогой Мамруко. Как жив-здоров, что делаешь, чем пробавляешься? А Шеретлуковы? Все ли у них хорошо?

— Спасибо, Хасан-Мурад, на жизнь не жалуемся. И солнце над нами светит, и дожди не обходят наши поля. Шеретлуковы тоже живы-здоровы. У них большая радость.

— Али-Султан женился?

— Нет, ему еще рано. Они отвезли в Бжедугию своего воспитанника. Может, помнишь Алкеса?

— Как не помнить! Отца его, великого князя Кансава Хаджемукова, я знаю лучше, чем Наго Шеретлукова.

— Великий князь остался очень доволен воспитанием сына и всячески обласкал Наго, так что теперь, считай, Шеретлуковы возвысились, у них крепкая рука в Бжедугии, а это дорого стоит. К тому же Алкес любит Наго, считает вторым отцом и сделает для него все что понадобится — и словом, и делом, и саблей. Согласись, Хасан-Мурад, это немало, если подумать, что Алкес только еще входит в силу.

— Верно, верно. Я рад за Кансава.

— Послушай, если ты так хорошо знаешь великого князя, почему он не пригласил тебя на торжество?

— О! Если бы князь Кансав знал, что я здесь, он прислал бы за мной своих людей. Давно было торжество?

— Позавчера.

— О, совсем недавно. Хорошо, очень хорошо! — воскликнул Хасан-Мурад, что-то прикидывая.

— Ты, кажется, что-то придумал, а?

Хасан-Мурад ничего не ответил, только подмигнул — дескать, есть кое-что.

IV

В то же утро в Бастуке стало известно, что к Натару привезли костоправа, что он будет опять ломать сросшуюся ногу. Все понимали, что мальчику очень тяжело, и поэтому каждый считал своим долгом навестить больного и помочь ему, хотя стояла страда и дел было столько, что не хватало дня,— прихватывали у короткой, едва дающей сомкнуть глаза летней ночи.

Издавна адыги считали, что человека надо лечить не только снадобьями, но и радостью, весельем, которое передается больному и своей силой изгоняет хворь. Эти своеобразные увеселительные игры у постели больного адыги называли «чапщ». Здесь пели веселые песни, плясали, затевали разные игры, состязались в борьбе, ловкости, остроумии. Пели особую песню, в которой просили Тлепша [1], покровителя воинов, выковать больному крепкое здоровье, без которого мужчине никак нельзя.

Труднее всего справляться с недугом ночью, поэтому больше всего людей приходило вечером, и только с восходом солнца, когда свет окончательно побеждал мрак, больного можно было оставить,— теперь сон будет светлым, приятным, живительным.

Такой чапщ сегодня и в доме Анзаура Ахеджака. Весь день приходили и уходили люди. Мальчишек, друзей Натара, было столько, что они не умещались в комнате товарища и затевали веселые игры во дворе, шумели так, чтобы Натар слышал их,— пусть это поможет ему одолеть страдания.

---

[1] Тлепш — легендарный кузнец нартского эпоса.

Особенно много народу собралось к вечеру. И все больше старики, уважаемые в ауле мужи.

У дверей стояла наковальня с молотом. Каждый, кто переступал порог дома, должен был ударить по ней. Звоном этим отпугивали нечистую силу и призывали кузнеца Тлепша на помощь и как бы заранее благодарили его за добро.

Люди сидели и во дворе, и на веранде, и в гостиной, и у постели Натара. Под звон наковальни рассказывали разные истории. Вспоминали и бжедугов, и абадзехов, и самых дальних из адыгов, темиргойцев, бесленеевцев и кабардинцев. Вспоминали и о турецкой земле, о крымском хане. Потом заговорили о казаках, которые издавна селились на Тереке, а теперь вот оседают ближе к Кубани. Адыги называли их баткелями [1].

— Слышно, новые станицы строят над самой Кубанью и Лабою. Не к добру это, не к добру. Похоже, опять урысы [2] будут воевать с турками.

— Так и будет. Тут уж ничего не поделаешь: мы слишком маленькие люди, чтобы помешать этому.

Шабан, можно сказать, весь день простоял у дверного косяка, ни разу не присел — он тяжело переживал неудачу в лечении Натара. Ахмед понимал это и хотел как-то помочь парню — несколько раз просил его сесть, но тот, не желая умалять своей вины, отказался.

— Послушай, Шабан,— снова обратился к парню Ахмед,— я прошу тебя, посиди немного рядом со мной.

— Спасибо, мой старший брат, я моложе других, постою.

— Правильно, моложе, но когда тебя просят старшие, надо уважать их просьбу! — рассердился Усток. — Целый день упрямствуешь. Верно ведь говорят: в ногах правды нет,— так что садись, а то и упасть можешь.

— Нет, мой старший брат, я не упаду, у меня очень крепкие ноги, они привыкли целый день стоять в кузнице у горна.

— Но тут же не кузница! — возразил кто-то из сидевших.

Услышав о кузнице, Ахмед Шепако вспомнил свои слова, что лекарю, который лечил Натару ногу, только и работать молотобойцем в кузнице, а не людей врачевать. Вспомнил и испытал неловкость, будто еще раз обидел Шабана.

Теперь Ахмед посмотрел на парня иначе. Про себя отметил, что тот крепкого телосложения, крепко стоит на мускулистых ногах, настоящий кузнец. Черты лица крупные, губы толстые, длинные, мозолистые руки висят почти до колен. На короткой мощной шее круглая, крупная голова. Уши похожи на подгорелые лепешки. Черная войлочная шапка на бритой голове едва держится, явно мала...

Облик такой, словно родился он молотобойцем. У природы, видно, не хватило времени хорошенько над ним поработать. Но

---

[1] Баткель — от украинского слова «батько».
[2] Урыс — русский.

именно это-то и нравилось Ахмеду: видимо, прямодушный и честный, можно на него положиться. «Будет, будет из него хороший костоправ, потому что глубоко переживает, ему сейчас больнее, чем Натару,— так и должно быть».

А наковальня все звенела и звенела, значит, приходили новые люди, приносили с собою радость, веселье, добротой своей души помогая мальчику. Что ж, может быть, потом, когда вырастет, и он поможет кому-нибудь из них землю от врагов защитить. Так по-разному люди смеются, плачут, едят, поют, ходят, любят и отвечают на любовь! И это так хорошо! Вот даже наковальня каждый раз говорит другим голосом, потому что у одного удар быстрый и легкий, у другого увесистый, у третьего переливчатый, какой-то трепетный, у четвертого словно застенчивый...

— Оказывается, ты кузнец, Шабан! — сказал Ахмед.

— Милостью Тлепша — кузнец, мой старший брат. Тебя это удивляет?

— Нет, я просто так,— уклонился Ахмед.

Но Шабан все-таки понял, почему Ахмед об этом спросил его. Немного погодя послышался его глуховатый бас:

— Вот какая беда может случиться с человеком, если он берется не за свое дело... Увидел я горе Ахеджаковых, увидел несчастного мальчика, и захотелось помочь им. Видел я, как отец лечил переломы, вправлял вывихи. Помогал ему несколько раз, а сам никогда не пробовал, не пришлось. И вот... Не надо было мне браться за лечение, да не устоял, уж очень жалко стало парнишку. И еще подумал: может, хоть как-то помогу ему? Ведь как знать, мог и умереть малыш. И пал бы позор на мою голову. Из-за глупой самоуверенности и жалостливого сердца.

Выслушал Ахмед кузнеца и корил себя: «Вот и суди человека! Ведь Шабану важно было спасти парнишку, он и не думал о своей чести. Конечно, мальчик наверняка погиб бы, если б не кузнец. Случай этот будет добрым уроком». И чтобы хоть немного загладить свою вину, Ахмед обнял Шабана за плечо и громко, чтобы слышали все, сказал:

— Не слабое, а сильное у тебя сердце, брат мой, ты очень мужественный и добрый человек. Патарезовы могут гордиться тобою. Ты спас мальчика — это главное. Думаю, Ахеджаки тоже так считают. Ну, а теперь мы с тобой вместе доведем дело до конца. Верно я говорю или нет? — обратился Ахмед к Анзауру.

— Да, да, молодец Шабан... Когда случилась у нас эта беда, мы думали, к кому пойти, у кого искать помощи? Ты прав, Ахмед, если бы не Шабан, мальчик мог погибнуть. Начала бы пухнуть нога — и конец ему. Так вот, когда пришла беда, мы решили идти к Шабану. А Патарезовы — люди основательные, мастеровые. Лучше кузнецов в Шапсугии, пожалуй, не найдешь. А отец Шабана еще и лекарем был. Наших отцов лечил.

Подумали, что Шабан, может, чему-то научился у своего отца. Ну и попросили его.

— Нет, лучше я буду только кузнецом. Свое-то дело я знаю крепко,— буркнул Шабан.

— Конечно, конечно,— согласился Ахмед.— Быть настоящим мастером — это большое дело, но ведь и кузнецом ты стал не сразу, наверно, долго учился у своего отца.

— Учился, а как же!

— Вот видишь, значит, научишься и людей лечить. У тебя чуткое сердце. Как пшеничный колос — ветерок чуть дохнет, а он уже клонится...

Анзаур слушал Ахмеда и думал, что Шепако еще молод, а рассуждает будто пожилой, мудрый человек. Слава о нем идет по всей Шапсугии — и не только как о костоправе, много говорят о его мужестве, а качество это среди адыгов ценится выше всего. Трусость, малодушие скоры на ногу. Люди быстро распознают их, и чем больше людей о них знает, тем быстрее их бег, а мужество... О-о, как неторопливо и недоверчиво оно! Как долго и многократно пытает оно человека. А главное — мужество не верит слову, ему подай дело. Много надо свершить дел, чтобы люди наконец поверили, что человек воистину мужествен. Надо заметить, что мужеству всегда противостоит мужество. Испытывая свое мужество, Ахмед Шепако много раз встречался с мужеством других. Наго Шеретлуков очень силен, перед ним дрожит вся округа, да и шашкой, кинжалом он владеет не хуже других. И его сын Али-Султан — ловкий и сильный парень. Но однажды случилось так, что Ахмед один поскакал навстречу Наго и его сыну. Наверное, в его взгляде, в том, как он скакал, было столько силы и угрозы, что они, пришпорив коней, бросились наутек. Ахмед догнал Наго и отхлестал его плеткой по спине и плечам, а потом смотрел вслед и хохотал до слез... Об этом скоро узнали в Бастуке, и Наго поклялся памятью предков отомстить тфокотлю Ахмеду Шепако...

Вспомнив эту историю, Анзаур восхищенно посмотрел на Ахмеда и подумал о сыне, недаром сам Шепако приехал врачевать его, столько аульчан пришло! Все хотят, чтобы Натар выздоровел и стал мужчиной. И он станет: разве мальчик кричал от боли, когда Ахмед ломал ему ногу, разве был в его глазах страх? Нет, он вел себя достойно. Об этом говорили и Ахмед, и Шабан с Устоком. И другим рассказывали, это делает свои первые шаги мужество Натара...

Мужчины поднялись, Анзаур тоже встал, но в комнату к сыну не пошел. Они попрощались с Натаром и ушли. Каждый еще раз постучал молотком по наковальне, а Шабан двумя молотками устроил такой перезвон, что во дворе кое-кто пустился в пляс.

Гостей в комнате Натара осталось уже немного. На подоконнике горела и громко трещала жировая коптилка. Ее неяркий свет падал на бритую голову Натара, на бледное лицо. Ле-

жал он на жестком топчане, только под головой была большая пуховая подушка.

Посередине комнаты с потолка свисал на шнурке большой цельдао[1]. На табуретке стоял небольшой таз с водой. Каждый, кто входил, окунал руку в воду и кропил больного, желая ему быстрейшего выздоровления.

Окунул пальцы в воду и Ахмед Шепако, и только он хотел покропить Натара, как тот отвернулся к стене.

— Ты не хочешь, Натар, чтобы я окропил тебя и пожелал доброго здоровья? Ну, посмотри на меня хоть раз. Не можем же мы с тобою без конца враждовать,— пошутил Ахмед.

— Не буду смотреть на тебя, зачем ты опять ногу сломал?— проворчал Натар, не поворачиваясь.

— Ты должен обижаться на Али-Султана, я ведь здесь совсем ни при чем.

— При чем, при чем! — воскликнул Натар.

— Ну, если мы так громко разговариваем, значит, наши дела пошли на поправку! — обрадованно сказал Ахмед. И вдруг неожиданно попросил одного из гостей посостязаться с ним у пирога. Это была древняя игра.

Они стали на колени, заложили руки за спину.

Цельдао раскачали, и Ахмед стал ловить его ртом, чтобы откусить кусок. Пытался сделать это и его соперник. В то же время каждый старался сильнее оттолкнуть пирог губами, чтобы тот ударил противника или пролетел мимо. Случалось, цельдао давал такие шлепки, что разбивал губы в кровь. А неловкие смешно падали, не смея помочь себе руками, набивали синяки на лбу. Но никто не жаловался на боль, это большой срам. Наоборот, каждый должен казаться веселым, смешнее ловить пирог, падать, чтобы повеселить больного.

Ахмед играл очень смешно. Он падал, корчил невероятные рожи. Натар все еще обижался на Ахмеда и сначала сдерживался, а потом не удержался и стал хохотать:

— Больно тебе, больно? — спрашивал он у Ахмеда.

— Конечно, больно.

— Теперь ты меня лучше понимаешь.

— Я всегда тебя понимал лучше, чем другие, и мне было очень больно от твоей боли, но было бы еще больнее, если б ты остался хромым и не смог стать джигитом. Не сердись.

— Ты меня так развеселил, что я уже не сержусь.

Утром следующего дня Ахмед с Анзауром и Устоком решили прогулять застоявшихся за трое суток коней. Покинув Бастук, они направились в сторону гор.

Хотя солнце еще и не очень высоко поднялось, уже припекало.

Стояла страда — убирали пшеницу. Урожай выдался добрый,

---

[1] Цельдао — круто замешенный и запеченный круглый пирог.

и хлеборобы торопились убрать его — в здешних местах в эту пору случаются такие ураганы и градобои, что опомниться не успеешь, как тучное поле будет втоптано в грязь. Работают крестьяне от темна до темна. Работают все, включая стариков и детей.

Миновав перелесок, всадники оказались на краю большого поля, урожай с которого убрал огонь. Страшное, черное поле.

Анзаур сказал Ахмеду:

— Это я сжег. Отомстил Наго за оскорбление.

— Да, хорошо ты отомстил Шеретлуковым,— удрученно сказал Ахмед,— а заодно и тфокотлей наказал. Ведь не Наго, а они пахали и сеяли, пот проливали на этой земле.

— Но все равно им бы этот хлеб не достался! — возразил Анзаур.

— Хлеб есть хлеб! У меня рука не поднялась бы, чтобы высечь огонь и сжечь поле, а потом... Наго малую толику, но дал бы тфокотлям, теперь же они не получат ничего. Выходит, ты наказал не одного Шеретлукова. И еще я хочу тебе сказать: один ты ничего путного не сделаешь ни с Шеретлуковым, ни с другими богачами, на которых тфокотли гнут шею.

— Твоя правда. Но что же тогда делать?

— Думать, хорошо думать. Всем вместе. Только тогда хоть что-нибудь у нас может получиться,— Ахмед дал шпоры своему скакуну, который сразу же взял хорошую рысь.

И опять им попалось неубранное поле, но уже не такое широкое, как поле Наго,— значительно меньше.

Тяжелые колосья клонились долу и роняли перезревшие зерна на сухую землю.

— Плачет поле,— вздохнул Ахмед,— тоскует по своему хозяину. Чье оно? Почему не убирают?

— Непаш Тхахох уже вторую неделю убирает пшеницу Наго. И ночует в поле.

— Вот ты, Анзаур, спрашивал, что же нам делать? Я тебе так скажу: князья, родовитые очень крепко держатся друг за друга, помогают, если надо, и деньгами и оружием, не оставляют друг друга в беде. А мы? Вот нас трое сильных мужчин, и мы, видите ли, прогуливаемся. А почему бы нам не помочь Непашу? Своему брату, а? Тут и работы-то на полдня, а Непашу хлеба на всю зиму. А то ведь дунет хороший ветер и обобьет зерно...

В то давнее время адыги не косили пшеницу, а только срывали колосья специальными развилинами. Вскоре Усток и Анзаур привезли из аула развилины, корзины — и работа закипела. Солнце едва успело перевалить через полдневный хребет, а поле было убрано.

Кони мирно паслись, а их хозяева, уставшие, разомлевшие от жары и работы, лежали в тени старого бука, отдыхали.

— Скажи, мой брат Ахмед,— заговорил Усток, глядя в высокое, казавшееся ему невиданно голубым небо,— что это зна-

чит? С тех пор как я помню себя, работаю в поле, и всегда самым любимым делом была уборка хлеба, но почему сегодня я испытывал какую-то другую радость, чем обычно? И работал так, как не работал никогда. Иногда казалось, что переломится спина, что упаду от усталости, а работать спокойнее не мог, не хотел, не мог насытиться работой, будто в жаркий день пил ключевую воду. Почему так, мой старший брат?

Ахмед улыбнулся:

— Может, потому, что сегодня ты бескорыстно работал для другого и, главное, мы трудились вместе и чувствовали нашу общую силу. И общую радость. В народе говорят: нет большей печали, чем общая печаль, но нет и большей радости, чем общая радость.

Поговорили, отдохнули, и только собрались в обратную дорогу, как пришел Непаш. Он очень удивился увиденному.

— О-о! Неужели это сам Ахмед Шепако, о котором так много говорят?

— А что же о нем говорят? — залившись краской смущения, спросил Ахмед.

— Родовитые да с тугой мошной боятся его и считают, что он дурной человек, а тфокотли хвалят — дескать, Ахмед Шепако душевный и очень добрый человек. Но скажи, Ахмед, неужели ты приехал сюда из своего Натухая за многие и многие версты только затем, чтобы убрать пшеницу?

— Нет, мы все трое пришли сюда, чтобы у тебя хоть раз в жизни были работники,— пошутил Ахмед. — Чтобы и ты почувствовал себя настоящим хозяином.

— Если бы все тфокотли поступали так, жилось бы намного лучше, мы и в самом деле стали бы настоящими хозяевами,— сказал Непаш.

— Вот и поступайте так, кто вам не велит? Ну, час добрый тебе, Непаш, а нам пора трогаться в путь...

Они вернулись в Бастук.

Ахмед осмотрел мальчишку: жар спал, боль в ноге почти стихла.

Ахмед и Усток напоили коней и отправились домой. Анзаур, как того и требует обычай гостеприимства, проводил их далеко за аул, до самого Тхамезского леса.

V

Узнав о том, что к князю Кансаву вернулся сын, что у него праздник, Хасан-Мурад уже не сомневался, что поедет в Бжедугию. Он не стал тянуть, тем более что нашлись добрые попутчики — Мамруко и Макай. Добрые попутчики в дороге — всегда хорошо, а если ты в чужой стране да еще в такое неспокойное, смутное время, то это просто благо.

Хасан-Мурад и Кансав Хаджемуков водили знакомство уже много лет, еще с тех дней, когда Хасан-Мурад только-только

начинал здесь торговлю. Каждый раз, когда судно его приставало к кавказским берегам, он обязательно навещал великого князя, преподносил ему заморские подарки. Это была не только дань уважения властителю Бжедугии. Однажды Кансав спас Хасан-Мураду жизнь...

В то давнее время Хасан-Мурад еще не знал толком ни законов, ни обычаев адыгских племен. Молодой, горячий и дерзкий, он занимался выгодным, хотя и очень опасным, промыслом — скупал пленников, крепостных крестьян, переправлял их из дальних степных районов к побережью, а оттуда — в Турцию. Он был таким ловким и удачливым, так крепко наладил необходимые связи, что чувствовал себя почти хозяином на всем побережье. Как говорят адыги, рубашку носил с расстегнутым воротом, а в седле скакал со свободно пущенными поводьями. Но однажды...

Вспомнил сейчас об этом Хасан-Мурад и спросил у Мамруко:

— В Натухае был один парень, звали его Ахмедом Шепако. Не знаешь, жив еще, никто не снес ему голову?

— Шепако, говоришь? Вроде бы слышал о таком,— неохотно ответил Мамруко. Он не хотел показывать, что знает Шепако. — На земле адыгов живет много славных людей, но много и дурных. Иной едва успеет родиться, а не терпится, чтобы все услышали стук копыт его коня, заговорили о нем как о джигите... Не люблю я таких сопляков и, если встречаюсь с ними, даю подзатыльники.

— Ты прав, Мамруко, но я слышал, Ахмед мужественный человек, хотя и молодой еще.

— Не обидел ли он тебя?

— Как сказать... Не всем нравятся те, кто торгует живым товаром, не нравится это и Ахмеду. Однажды он обозвал меня при народе самыми скверными словами, а потом связал и повез к степным ногайцам, хотел продать им. Узнай, говорит, и ты вкус горьких слез, попробуй, как сладка доля тех, кого ты продал в рабство. Наверно, так и случилось бы, да аллаху было угодно, чтобы мы встретились с Кансавом. Князь со своими джигитами и освободил меня. Пусть вечно будут светлыми нескончаемые дни великого князя... Потом я раза два слышал об этом Ахмеде. Много добрых слов говорят о нем, особенно тфокотли. Помню, с Ахмедом был тогда еще один натухаец. Лицо его изрыто оспой. А сам веселый такой, все улыбается. Мне и раньше говорили, что натухайцы не любят турок, а в тот раз я испытал это на собственной шкуре.

Мамруко едва удержался от усмешки. Вспомнил Ахмеда и Устока, представил, как они вязали этого турка и потом, бросив его на холку коня, скакали к ногайцам, и, втайне злорадствуя, возмущенно воскликнул:

— Валлахи, о заморский гость, эти рыжие натухайцы воистину нанесли тебе тяжелое оскорбление! Что же ты раньше

молчал?! Это позор всей адыгской земле! Надо же так оскорбить заморского гостя! Ну, Шепако, я никогда тебе этого не прощу!

Талат — работник Хасан-Мурада, его толмач — переводил разговор с одного языка на другой и негодовал. Сколько в их кошельках золота, и все оно омыто слезами невольников, кровью адыгских девушек, которые не вынесли позора и покончили с собой в гаремах. Кровь и слезы, горе и страдания, а эти люди говорят о своем богомерзком ремесле как о достойной работе, о добром деле. Как может быть делом торговля людьми? В душе негодуя, Талат покорно переводил адыгскую речь на турецкий язык и наоборот.

— Я отомщу, отомщу за тебя, Хасан-Мурад, подлому Шепако,— грозился Мамруко.

А тот жеманился:

— Зачем?.. Не надо, уважаемый Мамруко! Из-за меня ничего затевать не надо!

— Ты боишься этого гадкого человека?

— Не-ет, просто не хочу быть замешан.

— А ты и не будешь замешан, я сам все сделаю.

— Ну-у... если так, поступай как знаешь.

— Валлахи,— все кипятился Мамруко,— не потерплю, чтобы на адыгской земле так оскорбляли гостей! Я ведь тоже родился здесь, и честь моей родины — моя честь, ее позор — мой позор! И не беспокойся, о тебе никто слова не скажет, птица не прощебечет, ветер не прошумит. Не понимаю, что в том плохого, если ты покупаешь детей тфокотлей, этих грязных щенков? Пусть радуются, что их покупают и везут жить в прекраснейшую из стран, великую Турцию. Кто смеет обижаться, если ты всегда платил лучше других? Я-то, как деловой человек, понимаю, ценю это, а тфокотли — неблагодарные бараны, вот что я скажу, гость. И будь спокоен, я отомщу за тебя.

Горячо говорил Мамруко, а сам думал: «Как же, дождешься, чтобы мой конь и конь Ахмеда сошлись грудь в грудь...»

— Да будет аллах тобою доволен! — Хасан-Мурад молитвенно сложил руки. — И я благодарю тебя. Если такие храбрые и верные люди, как ты, станут моими защитниками, между адыгами и турками установится истинная дружба. И наши страны станут богаче и сильнее. Когда я без устали мотаюсь по пыльным дорогам, то думаю не только о себе, но и об адыгах, об их нуждах. Лучше жить в чужой стране, но в благополучии, чем у себя дома, но в нищете. Да и разве Турция — вам чужая? Ведь и мы — правоверные мусульмане. Наши мечети, наши святые места славятся на весь мир. Поэтому я и думаю, что, увозя бедных, несчастных адыгов в достойные семьи Турции, приношу им добро. Думаю, что многие из них люди разумные и благодарят меня и будут благодарить. Или я не прав, Мамруко?

— Верно, верно говоришь! Заботишься о наших адыгах, заботишься не только об их теле, но и о душе.

— О, мой аллах,— воздев руки к небу, сказал Хасан-Мурад,— пусть благословенная земля адыгов будет одарена твоими милостями, пусть никогда не оскудеют ее леса, поля и горы.

— Спасибо, Хасан-Мурад, и мы будем молить за тебя великого аллаха.

Улыбнулся Хасан-Мурад, поклонился благодарно, а сам подумал: «Знаю, знаю, ты такой же, как все, только еще хитрее. С тобой ухо надо дежать ох как востро...»

Лошади шли неторопливо, стояла прохлада, легкий ветерок ласкал путников, доносил аромат лугов.

Талат переводил их речи и думал: «При случае вы перережете друг другу глотки, не вспомнив аллаха, лишь бы остался доволен ваш главный бог — золото. Если бы адыги знали, как ты наживаешься, скупая по ничтожной цене их товары, как богатеешь, они разорвали бы тебя на части и были бы правы и перед своей совестью, и перед аллахом. Вон какие медовые у тебя уста! И это говорится при мне, который знает все. Несчастье свело меня с тобой, несчастье держит в твоих лапах. Но ничего, ветер еще переменится, опустит твои паруса и наполнит другие! Ох, как туго тогда тебе придется! И уж никто не поможет — ни великий князь Бжедугии, ни тем более эти пройдохи, такие же разбойники, как ты».

Наконец путники наговорились. Ехали молча, жмурились от яркого солнца, слушали трели птиц, отдыхали от суеты. Каждый остался наедине со своими мыслями.

Долгое молчание утомило Мамруко. Он подъехал к Талату и спросил;

— Ты хорошо говоришь по-адыгски, где научился нашему языку?

— Адыгские мальчишки научили.

— Здесь, у нас, мой младший брат? У тебя — бжедугский выговор. Значит, жил где-то в Бжедугии?

— Я никогда здесь не жил, а вашему языку научился дома. Рос в одном дворе с детьми адыгов, проданных в Турцию.

— Не помнишь, откуда они? Из каких аулов?

— Те, кто вырос у нас, уверяют, что по памяти могли бы узнать свой аул, но, как он называется, не знают. А язык не забыли, на нем говорят и их дети, у которых я и научился.

— Удивительное дело,— произнес Мамруко,— забрось человека на самую верхушку дерева, на острую вершину ели, он и там сумеет устроиться. Вот видишь, наши адыги и на чужбине обзаводятся семьями. Значит, бывают свадьбы, веселье. Помнят свой язык, обычаи далекой родины, радуются солнцу, славят аллаха. Какая разница, где жить, лишь бы не нуждаться в куске хлеба.

Не выдержал Талат и с горечью сказал:

— Но разве не грех отнимать у матери ее дитя?! Что, если бы у тебя отняли твоего сына?..

Насупился Мамруко, ничего не ответил.

— И еще ответь, ты видел где-нибудь селенье красивее того, где родился? Разве есть на земле речка, лужок или полянка, что знакомы тебе с детства? Земли адыгские — райский уголок по сравнению с нашими. Но я ни за что не согласился бы прожить здесь всю жизнь. Я умер бы с тоски по своему родному селу. Аллах свидетель, как я тоскую по Турции, в каком бы красивом краю ни оказался!

— Валлахи, не знаю, мой младший брат, по-моему, все равно, где жить, по какой земле, под каким небом ходить, они всюду одинаковы,— и Мамруко рассмеялся громко, неприятно. Талату показалось, что смех его похож на карканье вороны, потерявшей свою ветлу...

Близится вечер. Потемнели горы. Осело туманное марево, и все стало четче, определеннее.

Показался аул Туабго. На его околице было много народа. Взбивали пыль соревновавшиеся в джигитовке мужчины. Они то взлетали над скакавшими во весь опор конями, то, перегнувшись, доставали рукой до земли, срывая цветы, то, лихо размахивая саблями, рубили тонкую лозу.

Путники приблизились, и один из свиты Хаджемукова узнал Хасан-Мурада. Поприветствовал, как полагается приветствовать важных гостей, и попросил его пожаловать в дом великого князя.

Во дворе Кансава тоже полно народу: быстрыми птицами в танце носились парни, величаво шли по кругу девушки. В сторонке, опершись на посохи, сидели старики, любовались молодежью и, может быть, вспоминали молодость, потому что их глаза были грустными.

Едва гости вошли во двор, все расступились перед ними, образовав коридор. Навстречу вышел джегуако. Сложив руки на груди, поклонился и сказал:

— Почтенные гости из далекой Турции, мы просим вас со счастьем войти в наш круг и танцевать с нами. В дом великого князя вернулся его сын,— он показал на Алкеса, стоявшего неподалеку в белой черкеске,— разделите с нами эту радость.

Хасан-Мурад подтолкнул Талата — мол, станцуй, покажи, как умеют танцевать в Турции...

Вышел Талат.

От группы девушек, стоявших напротив мужчин, отделилась Джансура. Она украдкой взглянула на Алкеса и поплыла по кругу. Талат — за ней. Танцевал и по-турецки и по-адыгски: по-турецки, чтобы показать себя, по-адыгски — свое уважение к хозяевам.

Затем гостей повели в другую часть княжеской усадьбы. Там на верхушке смазанного жиром столба висели сафьяновые полусапожки. Каждому хотелось их достать. Пытались многие, но добраться никому не удавалось.

Одни, скатываясь, шлепались на землю, над ними от души хохотали. Затаив дыхание следили за более удачливыми, но потом разочарованно вздыхали.

К столбу подошел Хагур:

— Так что, люди добрые, и в самом деле можно снять те сапожки и забрать себе?

— Забирай, шапсуг, забирай!

— Снимай, если сможешь.

— Только смотри штаны не потеряй.

Хагур подошел к столбу, взглянул на сапожки, и робость холодком тронула его сердце.

— Смелее, парень, смелость сродни орлам! — подбадривал Талат.

До середины столба Хагур добрался легко — у него были сильные и крепкие руки и ноги, но дальше лезть становилось все труднее.

Толпа внизу разделилась: одни подбадривали, другие злословили, насмехались. Осталась самая малость, но Хагур боялся, что руки и ноги не выдержат напряжения. Решил сделать маленькую передышку, совсем маленькую, может быть, чтобы только обмануть мышцы. И это удалось. Вот они словно окаменели на несколько мгновений, а потом — рывок! И заветные сапожки в руках!

Когда катился вниз, казалось, качался на тихой морской волне.

— Твой добрый голос был громче остальных,— сказал Хагур, обращаясь к Талату,— возьми сапожки, носи на здоровье.

— Спасибо, спасибо!.. Ты совершил мужественный поступок, а мужество надо беречь, хранить, как честь. Пусть эти сапожки, пока будешь их носить, помогут тебе совершить еще не один мужественный поступок.

— Я думаю, мой младший брат, тут я проявил больше ловкости, чем мужества.

— Нет, ты не совсем прав, мой старший брат. В том, что ты сделал, действительно много ловкости и силы, но если бы ты осрамился на этом празднике, при всем народе? Только мужество помогло тебе победить.

— Спасибо, гость, за добрые слова. Я принимаю твой совет, постараюсь носить эти сапожки достойно.

Талат и Хагур крепко пожали друг другу руки.

VI

Истекли, истаяли те семь дней, когда поток гостей к Хаджемуковым не прекращался с утра до позднего вечера.

Приходили и те, кто был приглашен на торжество, но опоздал к началу, и те, кто слышал о торжестве где-нибудь в дороге. Всем нашлось место в просторном доме великого князя. Ведь недаром говорят: гость в дом — радость в дом. А разде-

лишь радость, разделишь и горе. Кто знает, что ожидает впереди юного княжича, что может случиться с ним завтра, потому и спешил старый князь Кансав заручиться поддержкой родовитых семей, влиятельных людей адыгейской земли уже сегодня.

Он мудр, старый Кансав.

Род Хаджемуковых — один из самых древних родов Бжедугии. Княжеский титул они носят не со вчерашнего дня: в аулах не осталось седобородых старцев, которые помнили бы, как разбогатели первые из этого рода. И сами Хаджемуковы не помнят, потому что, как ни богаты были их предки, ни от смерти, ни от забвения не откупишься. Умирали старики, и память о жизни княжеской семьи поглощало ненасытное время. Отправляясь в дальние странствия по ту сторону лучезарного дня, никто из них не взял с собой ни скота, ни золота, ни даже гордого титула, но, уходя, наказывал сыновьям и внукам сохранять и увеличивать подаренное дедами.

И сыновья сохраняли и увеличивали богатство, а с ним и могущество рода.

В дальних и ближних аулах люди многое говорили о Хаджемуковых, да не радостно было их слушать: в одних речах звучала зависть, гнев и осуждение высказывали другие.

Фамильной чертой Хаджемуковых стало стремление к власти. Из поколения в поколение вырабатывался и характер: выдержка, спокойствие, целеустремленность, сила и натиск. Все было приемлемо, лишь бы добиться своего. Приемлемо было и доброе слово, и злое дело, и честный поединок, и тайные сети интриг. Даже само имя аллаха они заставляли служить своим земным делам. Первым понял значение мусульманской веры отец Кансава. Он был уже в преклонном возрасте, когда сказал сыну:

— Мусульманская вера говорит людям то же самое, к чему призываем их мы и уорки. Она учит смирению и покорности, без которых на земле никогда не будет счастья.

Он сходил пешком в Каабу и вернулся оттуда в чалме, к своему великому княжескому титулу добавил священный — хаджи. Хоть прошло много лет, Кансав хорошо помнит это. Протекли годы, словно горная река, протекли, омочили сухие обветренные губы, но не уняли жажды.

«Не забывай аллаха, сын мой, храни его в сердце своем,— до сих пор звучат в памяти Кансава слова отца, сказанные перед самой смертью.— Говорю это не только для того, чтобы ты помнил мой завет. Мало помнить — надо использовать силу, которую несет мусульманская вера, использовать свои знания, иначе они станут похожи на клад, зарытый в землю. И еще помни: тфокотли испокон веков кому-нибудь служили — это их доля, их путь на земле. Они служили богу и вечно будут служить ему, а значит, будут вечными слугами князю».

Кансав и сам хотел побывать в Каабе. Славен для сына пример отца. Вот и мечтал Кансав о дальнем странствии в бла-

гочестивый город, о чалме, господнем украшении головы. Долго не решался он поведать отцу о тайном желании, наконец выбрал подходящее время...

Над аулом уже низко стояло солнце. Великий князь посмотрел на него с грустью. О чем он подумал тогда — кто знает. Может быть, о том, что и его жизнь закатывается, как солнце этого дня закатывается над широкой и вольной степью?

С мягкой улыбкой взглянул старик на сына.

— Когда я покину этот мир, передай свое желание первому из будущих наших как осет[1]. Думаю, корни рода Хаджемуковых станут крепче, если после смерти одного хаджи появится другой. Но не тебе, сын мой, стать хаджой: в одном улье двум маткам не ужиться.

И Кансав смирил свое сердце. Смирил и поклялся выполнить волю отца. После смерти старого князя Кансав женился и, когда княгиня Тлятаней родила ему сына, с облегчением вздохнул: вот кто станет новым хаджой в старинном княжеском роду, вот кому суждено продолжить фамильные традиции...

Со дня рождения Алкеса прошло восемнадцать лет...

Всякой работе бывает конец.

И празднику наступает конец.

Разъехались гости, нарядные одежды сменились будничными, люди вернулись к своим обязанностям.

Как ни велико было обоюдное желание отца и сына остаться наедине, чтобы открыть друг другу свои сердца, удалось это не сразу: в своем поведении они строго следовали извечным законам. Нельзя спешить в таком важном деле, как серьезный разговор отца с сыном, так велит старинный обычай.

И Кансав не спешил, исподволь присматриваясь к сыну, неторопливо обдумывая слова, которые должен сказать и скажет княжичу.

Присматривался.

Прислушивался.

По мнению старшего байколя Мерзабеча,— это заметили и другие,— Алкес вел себя странно.

Тфокотли держались перед княжичем почтительно, как и требует обычай, молчаливо прислуживали ему, если требовалось, склонялись в поклонах, а Алкес, вместо того чтобы по-княжески снисходительно принимать все это, разговаривал с тфокотлями так, будто они ему ровня, дружески шутил. Тфокотли, правда, очень смущались, пугливо посматривали на Мерзабеча, изгибались под его взглядом, словно под ударами плетки.

Алкес знал, что шапсугские тфокотли вели себя куда достойней, чем здешние, бжедугские. Они брались за оружие, если их оскорбляли, не гнули спин в поклонах перед богатеями.

---

[1] Осет — завещание.

Уорки говорили княжичу, что разговаривать и тем более вот так запросто обращаться с тфокотлями унизительно для него, но Алкес почему-то не чувствовал никакого унижения, наоборот, ему казалось унизительным разговаривать свысока. Правда, и отец, и мать, и уорки — все обращались с тфокотлями очень грубо. Покрикивали на них, а то могли и дать тумака или пощечину. Алкесу это не нравилось, но он видел, как и на него косились, когда он обращался с тфокотлями хорошо. Особенно Мерзабеч — он просто выходил из себя, но сердиться на княжича было небезопасно, поэтому Мерзабеч свою злобу вымещал на тфокотлях. Сколько раз он говорил им, чтобы они не смели стоять рядом с княжичем, но они, в навозе рожденные, то и дело попадались ему на пути, даже осмеливались разговаривать с ним. У-у, с каким наслаждением Мерзабеч отхлестал бы эти согбенные спины нагайкой со свинцовой начинкой. Он долго думал, как лучше сделать, чтобы пресечь непозволительные отношения между княжичем и тфокотлями. Мысль пожаловаться великому князю пришла ему неожиданно.

Князь Кансав не любил показываться на усадьбе, считал недостойным иметь дела с тфокотлями, поэтому поручил их старшему байколю Мерзабечу. Пусть он роется в навозе, а княжеское дело — направлять хозяйство по нужному и верному пути, как повелевает аллах.

Князь сидел в своей комнате.

Тихо во дворе, дворовые боятся обеспокоить великого князя — движутся бесшумно, разговаривают вполголоса.

И в большом просторном доме — тихо, словно нет в нем никого и живых людей в нем нет. Ничто не мешало Кансаву думать, а думал он о предстоящей встрече с сыном. Недаром в народе говорят: семь раз отмерь — один раз отрежь. Прежде чем произнести слово, семь раз повтори его про себя, обдумай, только потом скажи.

Думал великий князь и о завещании отца, о том, как заговорить с сыном о священном городе. Захочет ли Алкес отправиться в далекое и нелегкое путешествие, захочет ли стать хаджой? В роду Хаджемуковых еще не было случая, чтобы сын не повиновался отцу, но и отцу не хотелось неволить сына.

Бесшумно раскрылась дверь, показалась голова Мерзабеча, похожая на голову сома:

— Нижайше молю о прощении, зиусхан, что нарушил твой покой. Если бы не важное дело, не решился бы. Разреши войти.

— Входи, раз уж открыл дверь,— холодно ответил Кансав, заметив, что старший байколь чем-то встревожен.

Мерзабеч вошел и несколько секунд стоял, словно в рот воды набрал. На него вдруг напал такой страх, что он едва не онемел. Ах, как необдуманно поступил он, прибежав жаловаться на княжича! Конечно, князь примет сторону сына, и гнев обоих Хаджемуковых раздавит каждого, с удвоенной силой обрушится на того, кто посмеет внести разлад в семью, встать ме-

жду двумя владыками. «Не моя, вовсе не моя забота учить княжича,— терзался-каялся Мерзабеч, лихорадочно пытаясь придумать, о чем бы заговорить с великим князем и тем самым отвести беду, которую сам накликал на свою несчастную голову. — Но о чем, о чем заговорить? И молчать нельзя, коль нарушил покой князя. О тфокотлях? Но это не княжеское дело, как они живут и что делают».

Молчание становилось неловким. И Мерзабеч наконец решился:

— Не знаю, зиусхан, с чего начать, может, я и не прав. Но если я решился к вам прийти, то только из-за княжича.

— Что же такого он натворил? — чуть заметно улыбнулся Кансав.

— О князь, да продлятся дни твои! Княжич ведет себя так, будто он не из благородных и будто дворовые — его родственники или близкие друзья. — Сказал это и почувствовал, как в сердце закипела обида за Алкеса. — Твой сын, князь, веселится с конюхами. Разве я могу оставаться равнодушным?

— Правильно, не можешь! — совсем не обидевшись, сказал князь. Он сразу подумал, что есть хороший повод для серьезного разговора с сыном. Кансава мало заботило то, что он узнал о сыне. Княжич молод, многое, чем живет сегодня, пройдет с годами. Отец научит его всему. Это даже хорошо, что сын кое-чего еще не знает, не понимает. Его можно повернуть куда надо, закалить мужскую волю, чтобы потом уже никакие обстоятельства не смогли его сломить и погубить.

— Пусть сын войдет ко мне,— повелительно произнес великий князь и откинулся на спинку стула.

Мерзабеч поклонился, но почему-то не уходил, видно, хотел еще что-то добавить. И это рассердило Кансава. Какую неприятность принес еще этот раб?

— Ну что еще! — не сдерживая гнева, выкрикнул Кансав. Ему захотелось встать и дать этому мерзкому байколю пинка, чтобы он выкатился из комнаты. «Держу его около себя, кормлю, милостями осыпаю,— все больше раздражался князь. — Ну, так служи верной собакой и не суйся, куда тебя не просят, а то можешь и без головы остаться!» Но больше ничего не сказал: ведь и княжеский гнев для рабов милость, которой нельзя одаривать слишком часто.

Кансав взмахнул рукой, указывая на дверь.

Мерзабеч, низко кланяясь, вышел.

Вскоре за дверью послышались торопливые шаги.

— Можно войти, зиусхан? — промолвил смущенно Алкес и, войдя в комнату, закрыл за собою дверь. — Ты меня звал, отец?

— Звал. — Кансаву было приятно, что Алкес назвал его отцом, и, забыв свое недавнее раздражение, князь глянул на сына с любовью. Наконец-то сбылись его мечты — он был наедине

с сыном. Пусть мальчик сядет, так ему будет спокойнее. Пусть не волнуется, перед ним отец, пусть хорошенько вникнет в отцовские слова.

— Садись, сынок,— продолжал князь, и волна нежности согрела его сердце, ведь он впервые произносил эти слова. Впервые за много лет ожидания. — Если старший велит садиться, ты должен выполнить его волю,— все так же мягко и ласково продолжал Кансав, готовясь к разговору.

Алкес поправил кинжал, слегка съехавший набок, сел и приготовился слушать.

— Много лет назад,— начал князь,— я был таким же, как ты: ни морщинки на лбу, ни седого волоса на голове... Е-о-ой, как быстро летит время! Но не о времени я жалею. Зачем жалеть, если оно вернуло мне как будто самого себя, мою молодость — моего сына! Совсем крошечным мы отдали тебя в семью Шеретлуковых, потому что так велел нам древний обычай. Не я придумал его, и не мне менять обычаи предков, хотя и тяжело было расставаться с тобою и ждать долгие годы... У тебя был хороший наставник, сын, только не забывай, что ты из рода Хаджемуковых, и, вернувшись домой, чувствуй себя хозяином. Не в Шапсугии тебе жить, а в Бжедугии — она твой дом... Ты, наверно, ничего не знаешь о своих предках? А род у тебя славный, старинный.

— Как же мне не знать своего деда? — удивился Алкес тому, что отец плохо думает о его воспитателе. — В семье Наго мне много раз рассказывали о Хаджемуковых. И если когда-либо называли имя настоящего мужчины из Бжедугии, так это было имя моего деда. Много добрых слов о нем, о его мужестве слышал я от шапсугов.

Кансав обрадовался, хотя знал, что по законам адыгов все именно так и должно быть.

— Ну, дай бог здоровья Шеретлуковым,— добродушно улыбнулся он,— пусть будет доволен аллах и теми шапсугами, которые не забыли добрые дела твоего деда. Не только в Бжедугии, но и по всей земле адыгов славится наш старинный род. Помни об этом и в молитвах к аллаху, и в добрых делах, а сейчас я хочу рассказать тебе о нашем роде подробнее. Пришло время...

Не упустив ни одного факта, ни одного события, великий князь поведал о завещании деда, о своей несбывшейся мечте.

Алкес слушал внимательно, не возражал, вроде бы соглашался с тем, что ему надо свершить по завету деда. Так показалось Кансаву, и он облегченно вздохнул, будто все уже решено волей аллаха.

Некоторое время отец с сыном сидели молча.

Алкес обдумывал сказанное.

Отец радовался, что сын не торопится с ответом: мужчина в важных делах не должен быть опрометчивым.

И все-таки молчание сына вселяло тревогу: «Кто знает, чего можно ожидать, ведь он, в сущности, мальчик? Понял ли он, может ли понять выстраданное отцом?»

— Получается, что из потомков нашего великого княжеского рода я первый должен исполнить завет деда,— ответил наконец Алкес. Сказал неторопливо, раздумчиво.

— Если это дошло до твоего ума и твоего сердца, тогда ты — действительно достойный продолжатель рода Хаджемуковых, мой сын. Спасибо. Я сказал тебе все, что обязан был сказать, и теперь дело за тобой. С сегодняшнего дня я считаю, что клятву, данную отцу, сдержал, дело нашей фамилии в надежных руках — молодых и сильных.

Но для Алкеса разговор с отцом был полной неожиданностью. Он мечтал о свободе, думал, что жизнь его пройдет в седле, в дальних походах и сражениях. Он надеялся, что когда-нибудь женится, у него будет сын, который унаследует мужество предков и его, добытое в походах, но вот отец сказал, что он должен стать хаджой, и Алкес растерялся. Стать хаджой! Что это такое? Сумеет ли он с этим справиться? И кому это нужно, чтобы он свою жизнь посвятил аллаху? Ведь княжич и так верен ему в молитвах и делах, он — правоверный мусульманин.

Алкес помолчал, а потом робко проговорил:

— У меня были другие планы, отец. И если мне идти в священный город Каабу, надо бы известить об этом моего воспитателя.

Последние слова сына пришлись не по душе Кансаву:

— Это дело Хаджемуковых, а не Шеретлуковых! Я хочу, чтобы ты сразу понял это! — резко, может быть, слишком резко произнес великий князь и, заметив, что сын изменился в лице, уже спокойнее добавил: — Я не требую, чтобы ты забыл своих воспитателей, но Хаджемуковы всегда жили своей головой. Я просто не хочу, чтобы ты выглядывал из-за чужой спины. Не обижайся на мои слова. Кто тебе их скажет, если не отец?

Алкес склонил голову:

— Я понял тебя, отец. А насчет Каабы не могу ответить сейчас. Хочу все обдумать один, и, если можно, мы поговорим об этом немного позже.

Он хотел идти и выжидательно смотрел на отца, не зная, отпустит он его или задержит.

Кансав угадал мысли сына.

— Сейчас отпущу. Мне хотелось бы попросить тебя... — голос князя стал совсем ласковым, он подчеркнул слово «попросить». — Ты уже дома и, пожалуйста, говори по-бжедугски.

— Прости, отец, шапсугский говор берет пока надо мною верх, но я одолею его. Буду следить за собою. Твоя просьба для меня — закон. — Княжич снова взглянул на дверь.

— И еще,— задержал его князь,— на тебя жалуются, что ты дружишь с тфокотлями, привечаешь конюхов. Так ли это?

— Мерзабеч пожаловался? — вопросом на вопрос гневно откликнулся княжич.

— Мерзабеча остерегайся,— любуясь гневом сына, предупредил князь. — Мерзабеч — поганый пес. И хоть мы дали ему звание уорка, держи его от себя подальше. Пока его держишь в узде и манишь пряником, он не укусит.

Глава вторая

1

Прошел год после того, как Алкес вернулся в отчий дом, а у Шеретлуковых все скучали по княжичу, всем казалось, будто кого-то в доме не хватает. Правда, весной, как всегда, было очень много работы, поэтому времени для размышлений и грусти оставалось мало...

Кончилась весна.

Стало клониться к закату лето. После полуденного зноя с гор тянуло прохладой. По сравнению с прошлым годом на усадьбе Шеретлуковых больше скирд сена. Возвратившись в прошлом году из Бжедугии, Наго расширил скотный двор почти вдвое; пригнал с собою много скота.

С самого утра, целыми днями Наго осматривал горные пастбища. Заприметил место, где стояли невывезенные стога, и соблазнился мыслью перевезти их ночью, тайно, к себе во двор. «Все, что плохо лежит,— мое,— подумал он, воровато оглядываясь по сторонам,— не с меня это началось и не мной кончится, а упустить добро — грех».

Наго смутно сознавал, что грех-то как раз и заключается в обратном, но всячески старался заглушить свой внутренний голос:

«Если я не возьму — обязательно возьмет другой. И каким же дураком после этого буду выглядеть я!»

Наго не хотел выглядеть дураком. Дурак тот, кто ничего не имеет, Наго же — слава аллаху — имеет все и хочет иметь еще больше. И скотину он пригнал не только из-за мяса, разве семья его голодает? Дороже всего кожа, которую он получит. Если есть кожа, всегда можно приобрести порох, ткани, даже соль. Приобретешь — и возвысишься над теми, у кого этого нет. Если достаточно зарядов для ружья и пистолета, заставишь прийти с поклоном гордеца, поставишь на колени любого, все тебя боятся. Торговцы из Турции сами придут в дом, только скажи, что у тебя много кож. А чтобы было много кожи, нужно много скота, скоту же, как известно, необходимо хорошее сено. Побольше сена. Стало быть, нечего доброй копне оставаться под открытым небом...

Тфокотли, с утра хлопотавшие на усадьбе Шеретлуковых, удивились, что хозяин так быстро вернулся. Увидели его и за-

суетились. Чаще, энергичнее застучал топор дровокола, женщины, возившиеся у котла, подобрали подолы и скрылись в доме, разбежались на всякий случай мальчишки. Только старый пес продолжал спокойно грызть большую воловью кость да красный петух с достоинством прогуливался по двору.

Наго торопливо прошел в комнату жены. Вслед ему метнулось несколько пытливых и осторожных взглядов.

Хагур и Тхахох удивленно переглянулись. Не к добру это, подумали они, провожая взглядами Наго, не то чем-то озабочен, не то растревожен хозяин.

Из приоткрытой двери доносился негромкий стон — это Дарихат драла за косу и била свою служанку.

— Ну, что там случилось? — сердито крикнул с порога Наго. Дело не в том, что Дарихат била слабенькую девушку, пусть бьет, если ей хочется, но зачем же столько шума?

Дарихат, в ночной сорочке, распатланная, рассвирепевшая, показалась ему отвратительной.

«Ведьма, чистая ведьма»,— подумал Наго и топнул, но жена не обратила на это никакого внимания. Разжиревшая и злая, она уже задыхалась, но не переставала колотить служанку по голове.

Окончательно разозлившись, Наго крикнул:

— Прекрати ты это! Прекрати!.. Я сейчас вернусь... Чтоб тихо было!

И он почти выскочил из дома. Чтобы унять свой гнев, хотел ускакать в поле, но только вдел ногу в стремя, как подошел Тхахох:

— Наго, это же позор, что творится в покоях госпожи! Как ты можешь допускать такое?

— А тебе что за дело?! — громыхнул Наго и с трудом сдержался, чтобы не ударить тфокотля.

— Как?! — удивился Тхахох. — Разве девочка, которую истязает Дарихат, не человек, разве ее не жалко?

Наго не выдержал и взорвался:

— Скоты вы все! Распустили вас, собачье отродье! — замахнулся кнутом.

Тхахох, наливаясь кровью, схватился за палку.

Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы рядом не оказался Али-Султан: он стал между ними и перехватил руку Тхахоха.

В это время подошел Хагур.

— Не дело это,— сказал он. И непонятно было, к кому обращены его слова и кого он осуждает — то ли друга, то ли хозяина.

Наго оскорбляло не только и не столько то, что тфокотль вмешивался не в свои дела, а то, как бесцеремонно он это делал, обращался к хозяину без всякого почтения.

— Тхахох и ты, Хагур,— бросил он слугам,— не смейте меня называть «Наго». Разве мы дети одной матери? Называй-

те меня зиусханом. Слышите — зиусханом! И не только меня, но и моего сына. И внука тоже так будете называть!

Тфокотли молча ушли.

— Ты куда собрался, отец? — спросил Али-Султан.

Наго ничего не ответил. Вскочил в седло и тронул коня легкой рысцой, направляясь в сторону гор. Али-Султан, подтянув подпругу, отвязал свою лошадь, догнал отца и поехал с ним рядом.

Потускнели, будто полиняли от жары небеса, стали легкими, высокими.

Поблекли листья на деревьях, таинственными, тревожными голосами шептались о чем-то неизбежном и скором.

Шелестела листва, молча ехали всадники.

Наго спешился, пустил коня пастись на поляну, а сам сел на корягу, которая свесилась над быстрой горной речкой.

Такими же, что и листва, таинственными голосами шептались бежавшие мимо волны. Будто знали то, чего не знает ни Наго, ни Али-Султан, стоявший рядом с отцом.

Вокруг — ни души.

Отец и сын так долго молчали, что молчание стало тягостным.

Али-Султан знал, что именно сюда приезжал отец, когда бывал во гневе или чем-нибудь озабочен.

Не нравилось юноше это место. На первый взгляд, оно может показаться даже красивым: река, поляна, горный лес. Но потом взгляд упрется в высокий, суровый берег. Трухлявые пни сползают до самой воды. Мрачное ущелье. Сырое и узкое. Над ним постоянно клубится пар, словно ущелье тяжело дышит.

Птицы огибают это место, крутыми разворотами меняя направление полета, словно пугаясь ущелья, его мрачных скал.

Даже кусты орешника рядом с угрюмыми валунами кажутся ожившими сторукими существами, которые грозятся каждому, кто к ним приближается, грозятся схватить и утащить в свое логово.

Али-Султан присел на край коряги рядом с отцом.

Наго сидел неподвижно, смотрел на быстрое течение реки.

— Хагур и Тхахох могут подумать, что мы их испугались,— сказал Али-Султан.

Наго продолжал смотреть в воду. Перед глазами снова встала жена, избивающая девочку. Не раз видел он такие сцены, но до сих пор слуги не вмешивались в дела его дома, в дела Дарихат. Молчали.

Молчали...

У-у, как гневно посмотрел на хозяина Тхахох! Был похож на дикого чернорогого быка, если бы мог, наверно, втоптал бы Наго в землю, растерзал... Наго вспомнил, что выменял Тхахоха за один пистолетный заряд, когда Тхахох был еще совсем мальчишкой. Вспомнил и пожалел, что сделал это.

Выменял мальчишку за пистолетный заряд. В этом почудилось что-то нехорошее, предостерегающее.

У-у, как горели сегодня глаза у Тхахоха!

Раньше-то он был послушным. Только намекни, и уже все понял, тут же берется за дело, тут же спешит выполнить распоряжение хозяина. Что же произошло? Или он забыл, что вырос и стал мужчиной в доме Шеретлуковых, их хлеб-соль ел? Он так нравился Наго, что хотелось сделать его свободным, вольным крестьянином, но теперь! Надо еще крепче зажать его, чтобы не смел пикнуть!

— Что же ты молчишь, отец? — удивился Али-Султан.

— Правду ты сказал, не надо было так поспешно уходить со двора, а то ведь и в самом деле подумают, что мы испугались и убежали от них. Но ты-то знаешь, твой отец никогда не был трусом, он никогда не уходил битым.

— Верно, отец, ты всегда умел постоять за себя, за нашу старинную фамилию,— с гордостью сказал Али-Султан.— Твой сын будет достоин своих предков, но нельзя же безнаказанно оставлять хамство этих скотов. Надо сделать так, чтобы впредь они не смели поднять головы, не смели возвысить голос в присутствии хозяина.

— Но и ссориться с ними из-за пустяков, как твоя мать, тоже нельзя,— возразил Наго.— Эта женщина не хочет меня слушать, будто я уже не хозяин в доме. Ей надо носить шапку, а не шаль. Ей хочется быть великой княгиней, как Тлятаней Хаджемукова!

Али-Султан часто вспоминал Алкеса и тосковал по нему, как по родному брату. Но ведь они не были братьями: Алкес — княжеского рода, и, хотя сам он этого никогда не подчеркивал, происхождение давало себя знать, даже против его воли.

Наго понял, о чем подумал сейчас сын, и в нем проснулась обида и за него, и за самого себя:

— Думаешь, Хаджемуковы появились на свет князьями? Разве они богаче нас? Мы не князья только потому, что у шапсугов вообще нет князей. Это несправедливо. Княжеское звание украсило бы наш род, и тфокотли стали бы куда смирнее и податливее, чем сейчас. А если бы они были смирнее, спокойнее стало бы на нашей земле.

— В Абадзехии тоже нет князей...

— Куда им, этим бородатым дикарям! — пренебрежительно отозвался Наго. — Им бы только драться, грызться, как собакам за старую кость. Это они умеют. А нам, родовитым и богатым, нельзя без титула. Мы с тобой должны добиться княжеского достоинства. Первыми в нашем роду, первыми в Шапсугии.

Отец и сын помолчали.

— Тфокотли тоже не все одинаковые,— продолжал свою мысль Наго.— Одних, обласкав, надо приближать к себе, других гнать подальше, держать в крепкой узде. Здесь нужен ум и чутье. Как я жалею сейчас, что грубо обошелся с Анзауром

Ахеджаком, когда ты палкой перебил ногу его сынишке. Вместо того чтобы тебе дать подзатыльник, я сделал Анзаура своим врагом. А потом и сын его подрастет, думаешь, простит нам с тобой? Правильно говорят в народе: посеешь одного врага, пожнешь десять. Мне сказали, что Ахмед Шепако лечил маленького Ахеджака и поминал нас недобрым словом. А слово это услышали другие и понесут его дальше. Помни, сын, нельзя допускать, чтобы о тебе гуляла недобрая молва.

— Нужно укоротить язык этому Шепако,— сердито сказал Али-Султан. — Подстеречь его в лесу и поговорить с ним по-мужски.

— Он силен, как бык. Кроме того, у него еще слава костоправа, а слава в одиночку не ходит. Ахмед никогда не бывает один — с ним вечно какие-то спутники, друзья. Запомни это и будь крайне осторожен. Возьмись лучше за Хагура. Этому надо укоротить не язык, а голову, он хоть и молчалив и язык его безвреден, но хитер и дерзок. Братья Ахеджаки приблизили его к себе. Для начала надо помириться с братьями.

Али-Султана передернуло: неужели отец не понимает, что не может он идти на поклон к мужикам — это все равно, что плюнуть себе в глаза.

— Я не пойду к ним мириться,— решительно возразил Али-Султан.

Наго посмотрел на него долгим пристальным взглядом. Он очень хорошо понимал сына, но понимал и то, что это нужно сделать для его же пользы, для всех Шеретлуковых. Он согласно покачал головой, устало улыбнулся...

У него созрел, как ему подумалось, интересный план...

В один из вечеров, в час, когда солнце висело над землей так низко, что его, казалось, можно было потрогать, тфокотли собрались поговорить о новостях, посудачить.

Али-Султан подъехал верхом ко двору Анзаура Ахеджака, где беседовали тфокотли, ведя в поводу оседланного скакуна.

— Зачем он ведет оседланного коня? — спросил кто-то. — Может, случилась какая-нибудь беда?

— Нет! — догадался другой. — Это шалопай Шеретлуковых привел коня Ахеджакам, чтобы помириться с ними. Иди, Анзаур, встречай гостя.

— Что б он сгинул, этот гость! — воскликнул Анзаур. — Не нужен мне ни он сам, ни его конь. Видишь, чем хочет расплатиться за страдания, которые перенес мой мальчик.

Али-Султан шел неторопливо, даже настороженно. Он знал, что среди тфокотлей находится и Анзаур, знал, что тот, как велит обычай, должен выйти ему навстречу, а он все не выходил, и это задевало самолюбие Али-Султана.

Хагур улыбнулся:

— Мучения, которые сейчас испытывает хозяйский сынок, стоят целой сотни коней. Пусть бы мне сломали ногу, чем быть в его теперешнем положении,— у-у, как он лютует, что мы не оказываем ему должного почтения... Иди, Анзаур, бери коня. Что тебе жалко богатства Шеретлуковых? Дают — бери, не дают — отбери!

Все рассмеялись.

Видимо, Али-Султан догадался, что смеются над ним, и отвернулся. Щеки вспыхнули от обиды.

Неохотно, будто повинуясь чужой воле, отошел Анзаур от плетня и направился к Али-Султану. За ним двинулся и его младший брат.

II

На землю опустилась ночь. Черная, густая. Как шатер, натянула небеса, украшенные звездами. А луны еще нет, она взойдет позже.

Тишину ночи изредка нарушала печальным криком птица. О чем она кричала? Неведомо. Но в ее крике слышалась такая тоска и боль, словно кричала, жаловалась чья-то душа, для которой нет убежища на этой земле в эту темную безрадостную ночь.

По полевой дороге быки медленно тащили телегу. С каждым шагом явственнее ощущалась прохлада леса, его пряные запахи.

Тянулась и тянулась дорога.

Сонно брели волы, только метались из стороны в сторону их хвосты да бодали тьму рога.

Вот уже миновали и поля Шеретлуковых, ехали старой заброшенной дорогой, держась вдоль опушки леса. Вчера эта дорога, которой Наго привел Хагура к трем стогам сена, была вроде короче. Наверно потому, что вчера они прискакали сюда на рысаках, а сегодня ползли на быках. Конь по сравнению с быком все равно что летящая пуля — с ползущей по небу тучей.

Крестьяне ехали в тягостном молчании, словно на их настроение влияла эта мрачная, темная ночь, тоскливый крик птицы.

— Мы едем по земле племени гуаев,— заговорил Тхахох. Обычно нетерпеливый, порывистый и словоохотливый, на этот раз он был сдержан, угрюм. Он неторопливо достал кисет, высек ловким ударом из кремня искру и раскурил трубку...— Сено, за которым мы едем, Шеретлуковым не принадлежит.

— Не знаю, чье это сено. Наго говорил мне, что купил его,— ответил Хагур.

— Отдал за него жеребца,— язвительно заметил Тхахох. И они невесело засмеялись.

— Соврать умно и то лень. Дался ему этот жеребец... Если сено куплено, почему мы должны перевозить его с луга в воров-

ское время? Вот поймают нас гуаи, отберут быков да еще и бока намнут, плетками отхлещут.

— И правильно сделают,— согласился Тхахох. — Это было бы справедливо. Но есть ли в мире справедливость? Ты видел ее? Я — нет. Правда, прожил пока еще не так много, но я знаю стариков, спрашивал у них, и они ответили, что тоже не видели, будто ее и вовсе нет на белом свете... Грустно это — дожить до седых волос, умереть, не дождавшись счастливых дней, не увидеть справедливости. Неужели все счастье на земле предназначено только лишь родовитым?

— Родовитые тоже не один мед пьют. Есть у них и свои заботы, и свое горе, и свои беды,— нехотя откликнулся Хагур. Он понял, куда вел разговор Тхахох, и не хотел продолжать его. В памяти слишком живо было недавнее столкновение с Наго, все еще горячила кровь бессильная злость. А злость — плохой советчик.

Но упрямый Тхахох все-таки гнул свою линию и снова заговорил о Шеретлуковых.

— Не надо было тебе меня сдерживать, пусть бы и моя палка прошлась по спине хозяина, как плетка его жены гуляла по спине бедной девочки Акозы. Нельзя смириться, когда тебя оскорбляют. Даже когда оскорбляют не тебя, а слабого, беззащитного человека, нельзя стоять в стороне. Сказать по правде, мне непонятно твое поведение. Я знаю, ты не трус, но если бы я не знал этого, назвал бы трусом.

Хагур только печально усмехнулся на запальчивые слова Тхахоха. В самом деле, что могли сделать он или его друг, действуя в одиночку? Нет, Шеретлуковых голыми руками не возьмешь, на их стороне власть, сила. Они скрутят тебя в бараний рог, для них это просто, потому что за их спиной все родовитые семьи Шапсугии, богатеи Абадзехии, сам великий князь Бжедугии. А за плечами тфокотлей только ненависть к ним. Вот если бы все тфокотли собрались вместе и в один голос сказали свое слово! Услышанное всеми, оно имело бы силу. Но каждый тфокотль живет сам по себе. Тот, у кого нет лошади, хочет ее приобрести. У кого есть — хочет вторую, а на чужое горе сил не хватает.

Хагуру вспомнилась его собственная беда. Ему исполнилось всего пятнадцать лет, когда погиб отец. Это было дело рук богатеев Абатовых. Об этом говорили в ауле — плыл испуганный шепоток от очага к очагу. Плыл низко, как тяжелые дождевые тучи. Давил и еще ниже пригибал и без того согнутые горем материнские плечи.

В ту ночь, когда отца нашли на дороге мертвым, Хагур, узнав об этом, пробрался во двор Абатовых и поджег скирды сена. Яркое пламя весело выплясывало, поднявшись к небу, и освещало землю и дрожавшего от страха подростка.

Когда из аула сбежались на пожар люди, он, маленький, юркий, отполз в сторону, а затем бросился наутек. Казалось, не

бежал, а летел гонимый полыхавшим пламенем, гулом людей, ржанием испуганных лошадей. Он убежал далеко в лес и, сломленный усталостью, пережитым, уснул под кустом на сырой земле.

Проснулся, когда уже высоко поднялось солнце и громко пели птицы.

Ветер ласкал ветви деревьев, шептался с ними.

Мальчик успокоился душой.

Ему захотелось есть, и он пошел домой.

Лесом, лесом.

Но хитро переплетенные тропинки кружили его, увлекали дальше от дома и наконец совсем сбили с дороги. Лес становился все темнее и мрачнее. Птицы уже не пели, а, казалось, зловеще кричали.

Пни и корни деревьев цеплялись за ноги.

Наступила новая ночь, и опять уставший беглец уснул под открытым небом, под звездами, которые смотрели на него сквозь листву деревьев.

И снова пришло утро.

Он решил идти прямо на солнце, ведь в ауле, где остались его маленькие братья и мать, солнце светило ему прямо в лицо. И он пошел на солнце, питаясь ягодами, кореньями и орехами.

Долго шел и оказался в бжедугском лесу. Там он встретил такого же, как он, скитальца, но то был взрослый человек.

Они остались жить в лесу и прожили вместе год.

Мужчина, с которым жил Хагур, был молчаливым и грубоватым на вид человеком. Он много видел в своей жизни горя и зла — они отучили его улыбаться и радоваться миру. Иногда он рассказывал подростку сказки, в которых всегда побеждало добро... Он не умел приласкать его, и, может быть, сказки или грустные, протяжные песни, которые он пел, и были своеобразным проявлением его отеческих чувств.

Не долго продолжалась дружба этих двух гонимых людей. Выследив, на них напали княжеские байколи. Они схватили и увели друга Хагура неизвестно куда.

Подросток успел спрятаться от байколей, и, когда стихли вдалеке грозные крики и топот лошадей, он побежал следом. Пытался найти своего старшего товарища, но это ему не удалось. Он обошел много аулов, батрачил у разных хозяев.

За эти годы вытянулся, возмужал.

Вместе с ним выросла тоска в его сердце. Она и погнала на родину.

Хагур нашел мать и братьев. Они ушли от Абатовых и стали жить и работать в ауле Наго Шеретлукова.

Вскоре Хагуру исполнился двадцать один год, а пережитого горя, унижений хватило бы на три жизни.

— Я испытал столько бед, что худшего для себя не жду,— сказал Хагур,— и если в моем сердце остался страх, то не за себя, а за других. За тебя и тебе подобных.

Хагур никому не рассказывал свою горестную историю, держал ее в тайниках сердца.

Работал он пастухом, угонял скот подальше от людских жилищ, и там, на вольном просторе, у него зрели мысли о человеческой доле, о несправедливости жизни, о счастье. Прошло время раздумий, сомнений и надежд на лучшее, и Хагура стало тянуть к людям. Он искал с ними встреч, подолгу беседовал.

Но Тхахох об этом ничего не знал, даже не догадывался, поэтому порой им было нелегко вместе, как двум быкам в одном ярме, которые тянут его в разные стороны.

— Я знаю, ты не трус, но если бы не знал этого, то обязательно назвал бы тебя трусом,— повторил Тхахох.— Ты предлагаешь терпеть издевательства, сдерживая справедливый гнев?

— Я предлагаю не горячиться и не делать в горячке глупостей. Глупое мужество — это вовсе не мужество, оно хуже трусости. А у тебя, слава аллаху, не только шапка, но под шапкой есть еще и голова.

— Не горячиться?! — вспылил Тхахох.— Ты думаешь, что у меня нет сердца. Скажи, чего хорошего я могу дождаться, покорно подставляя спину под хозяйскую плетку? Наго только и ждет покорности, только ее от нас и добивается. Скотина и та брыкается, если ее угостить плеткой. И голова дана человеку не для того, чтобы он тихо-мирно превратился в бессловесное животное. Нет, Хагур, видно, нам с тобой не по пути. Можешь ехать дальше сам и воровать для хозяина сено, угодничать перед ним.

— Опомнись, Тхахох, что ты говоришь!.. Только бабе пристало трепать язык на ветру, а ты джигит. Не поедешь за сеном ты, Наго пошлет другого, и все равно будет так, как решил хозяин. Я много думал обо всем этом, и мне кажется, правда на моей стороне.

Тхахох ничего не хотел слушать. Он соскочил с телеги, взял свои вилы и решительно зашагал назад.

— Вернись, я тебя прошу! — позвал его Хагур.

Но Тхахох даже не оглянулся.

III

Люди не часто видели Дарихат веселой, но сегодня она проснулась с улыбкой на лице.

Что случилось? Может, Шеретлуковы справляют свадьбу своего сына? Или одна из кобыл принесла сразу трех жеребят?

Нет, ничего особенного не случилось в этот будний день, но почему легко и проворно бегают служанки, поют во весь голос птицы, даже старый петух прокричал свое «ку-ка-ре-ку» задорно и по-молодому?

Очень просто: у хозяйки дома — хорошее настроение.

Сам Наго поднялся рано. Оделся, стараясь не шуметь. На цыпочках прошел через комнату.

Дарихат наблюдала за мужем, чуточку приоткрыв глаза. В узкие щелочки глаз она видела всю его осторожно двигавшуюся фигуру. Поймала на себе его ласковый взгляд и крепче зажмурилась. В душе родилось такое чувство, будто она — невеста и вся жизнь, все счастье — впереди.

Едва Наго закрыл за собою дверь, в спальню пришла Акоза. Она осторожно расчесала, а потом заплела длинные косы госпожи, принесла ей завтрак.

Дарихат села к столу и с удовольствием ела, макая теплый свежий хлеб в мед, смешанный с маслом.

Потом хозяйка вышла на порог и стала любоваться дальними горами в белоснежных шапках. Дарихат подумала, что ее красота сродни красоте гор. Белизна ее лица под стать белому облаку, а темневший вдалеке лес схож с черными дугами бровей.

Она села на скамейку под грушей и занялась рукоделием — вышивала серебром кисет.

Спелые янтарные груши качались среди листьев и, казалось, звенели от переполнявшего их сока, от солнечных лучей, игравших на их крутых боках.

Созрели груши, значит, кончилось лето.

И лето Дарихат тоже клонилось к закату, как когда-то закатилась юность. Но разве новая пора жизни менее прекрасна? Она щедра своими плодами, высоким небом над головой и все еще по-летнему теплым солнцем. Правду говорят старые люди: красив сад, когда он стоит в цвету, но цену этой красоте узнаешь только во время сбора урожая.

Легко было на сердце у Дарихат, даже петь хотелось. Да вот беда — все песни перезабыла. Когда-то у нее была мать, она пела ей хорошие песни. Но в памяти остался только ласковый материнский голос, а слова песен забылись. И Дарихат стала тихонечко напевать, подражая мелодии, которую слышала давным-давно. Со стороны можно было сказать, что большая сытая кошка развалилась на солнышке и мурлычет от удовольствия. Вот только сказать этого некому — каждый занят своим делом. Поблизости находилась только Акоза, но разве ей могло прийти такое в голову.

— Поди сюда, девочка,— позвала томно Дарихат. — Посмотри, какие красивые узоры получаются у меня на кисете.

Акоза остановилась в недоумении, так на нее подействовало неожиданно мягкое обращение хозяйки. Особенно удивилась она слову «девочка», очень непривычному для ее слуха. Даже Хагур, случайно проходивший мимо, остановился от неожиданности. Он всегда задерживал шаги, если видел Акозу, так приятна была она его взору. Вот и снова поднялась в груди горячая, обжигающая волна нежности. И он почувствовал, как дорога ему Акоза, как боится он за нее. Подумал так и тут же вспомнил слово Тхахоха «трус». «Разве трус боится за другого, чу-

жого ему человека, не родного, как брат или сестра? — спросил он себя. — Трус дорожит только своей шкурой, а я рад отдать всю свою кровь по капле, только бы с этой девушкой ничего дурного не случилось...»

Акоза тем временем разглядывала узоры на кисете. В ее глазах было неподдельное восхищение.

Дарихат тоже смотрела на свою работу и радовалась. Но вот ее взгляд невольно поднялся с узорной вышивки вверх, скользнул по плечам служанки и остановился на лице. Сердце Дарихат вздрогнуло и мелко-мелко забилось: Акоза была красива, как это шитье серебром, как небо и горы, красивее своей госпожи! Раньше Дарихат этого почему-то не замечала. Знала возле себя покорную, боязливую замарашку — и вдруг!..

Белый свет померк в глазах Дарихат, и она, уронив руки на колени, на минуту застыла в полной неподвижности.

«Змею, змею пригрела на своей груди!» — неслышно шептали ее губы.

— Что ты понимаешь в красоте, вонючка?! — закричала тонким, противным голосом Дарихат. — Что суешься не в свое дело?! Ты должна чистить котлы, пасти скотину. Скройся с моих глаз, бесстыдница, лентяйка! И, не жалея рук, хорошенько вычисти большой котел, а то он весь в саже. Пока будешь здесь болтаться, он и вовсе лопнет от грязи. Убирайся!

Акоза испуганно вздрогнула и почувствовала, что готова сквозь землю провалиться от стыда. Сердечко ее забилось как птица, нечаянно залетевшая в комнату и не находящая выхода. И тут же захлестнула обида: за что? Что она сделала плохого? Ведь хозяйка сама позвала ее и велела посмотреть вышивку!

— Чего же ты стоишь, дармоедка? — истошно закричала Дарихат.

Хагур все это видел и слышал. Ему было обидно и больно за бедную, ни в чем не повинную девушку.

Придя в себя, Акоза рванулась с места, будто ее ветром сдуло.

Огромный двадцативедерный котел, к которому она направилась, был предназначен для праздников. Когда собиралась не одна сотня гостей, в нем готовили жирный, остро приправленный перцем лилепс[1]. Он был такой тяжелый и так оброс гарью, что даже крепкий мужчина не смог бы справиться с ним один, а эта девочка... Она стояла с трепещущими веками и чувствовала себя одинокой тростинкой в огромной, дикой степи. И вокруг никого, только злой ветер трепал ее и трепал, а огромный чугунный котел — чудище, которое ей надо побороть.

Но как?

Опустив руки, прикусив розовые губки, она стояла в растерянности...

Неожиданно появился Хагур.

---

[1] Лилепс — мясной суп.

Он шел по двору прямо к ней. В глазах его было сочувствие, а ноги ступали по земле крепко и твердо, словно он здесь полновластный хозяин.

Акоза стала выделять Хагура из всех парней только этим летом, когда на усадьбе Шеретлуковых скирдовали сено. Он тогда чуть не упал с вершины скирды, но каким-то образом удержался. Акоза бросилась было к нему на помощь. Хотя чем она, худенькая девочка, стоявшая на земле, могла помочь этому дюжему парню, который находился на скирде?..

С тех пор он стал часто попадаться на ее пути. Слишком часто, но ей хотелось, чтобы это случалось еще чаще. Поймав себя на этом желании, она каждый раз краснела, пугалась, а забывшись, снова желала того же самого. Ей непонятно было, что с ней творится. Во всем этом была тайна — волнующая и радостная.

Вот и сейчас, когда Хагур шел к ней, она ощутила глубокое волнение и ту таинственную радость, которая, казалось, летала вокруг и задевала ее своим белым крылом.

— Не грусти, Акоза,— Хагур выкатил котел из кучи золы.— Я принесу тебе воды, песку и меч, чтоб скоблить этот котел, будь он неладен.

Акоза повеселела. Ей даже показалось, что у нее много силы, что теперь она легко справится с котлом. Она потуже завязала платок на голове, засучила рукава линялого платья и принялась за дело.

Вскоре Хагур принес воду, потом песок и старый меч.

«Почему он так смотрит на меня? — испугалась Акоза. — Наверно, потому, что я такая замарашка. Да еще и руки оголила при мужчине. Бесстыдница, просто бесстыдница».

— Скобли не спеша. Если тебе понадобится, я еще принесу и воды и песку,— улыбнулся Хагур, заметив, как Акоза старательно прятала за спиной открытые выше локтя руки. Поняв, что она смущается, он старался не глядеть на нее, хотя это ему почему-то не удавалось. Тогда он ушел.

Акоза чистила котел, старалась изо всех сил, а из головы не выходил Хагур. «Какой он внимательный, заботливый,— думала она. — И, не в пример другим, скромный. Иные мужчины откровенно пялят глаза, а Хагур...» Ее не обижал его взволнованный взгляд. «Мог и подольше посмотреть!» — неожиданно рассердилась Акоза, но тут же спохватилась, испугалась своих мыслей и оглянулась по сторонам, словно ее мог кто-нибудь подслушать. Поистине с ней творилось что-то необъяснимое.

Дарихат видела, как Хагур подходил к девушке, как он принес воду, выволок из золы котел, но все это прошло мимо ее сознания. Как все себялюбивые люди, она замечала только то, что непосредственно относится к ней, уверенно считая себя центром подлунного мира. Если и не всего мира — аллах велик,— то своего небольшого мирка в ауле уж точно! Дарихат

не могла представить, что кроме нее кто-то может нравиться мужчинам, ведь она — красивейшая из женщин, госпожа. Повод так считать был. Многие до сих пор заглядывались на нее, а бывший жених Казджерий все еще страдает любовным недугом.

Вспомнив Казджерия, Дарихат представила его высокую, крепкую фигуру, его горячие, яркие глаза. И зачем только она пошла за низкорослого Наго, у которого даже усы жиденькие, некрасивые. Вот если бы над нею склонился Казджерий, щекоча ее щеки пышными усами, то... Представить до конца, что с нею было бы, Дарихат все-таки не смогла. Не посмела...

Слегка вспыхнув — не от смущения, которого давно уже не знала, а от тайных своих желаний, Дарихат снова принялась за кисет.

Наступит вечер, и они лягут с мужем в постель и, конечно, уснут не сразу, Наго любит перед сном поговорить. Поговорят они, поговорят, а потом она незаметно достанет из-под подушки кисет и покажет мужу. Наго любит подарки. Пусть даже пустячные. Он останется очень доволен кисетом и обнимет свою женушку, приласкает... Ну, а потом будет гладить ее пышные, распущенные на ночь волосы.

Разве Дарихат хуже, чем эта девчонка в дырявом, заплатанном платьишке? Разве замарашка может сравниться с единственной дочерью родовитых Наурзовых. Как ее воспитывали, как холили! Пылинка, бывало, не сядет на белые руки. Служанки убирали комнаты, одевали утром и раздевали на ночь, подавали еду и убирали со стола. В жаркие дни они стояли рядом с нею и опахалами освежали воздух.

Наго недаром обивал порог дома Наурзовых, он знал, что Дарихат принесет ему счастье. И конечно же надежда его оправдалась.

Но теперь хватит! Она перестанет рожать детей, поживет в свое удовольствие. Слава аллаху, сумела сохранить и красивую фигуру, и красоту лица. До сих пор выглядит невестой.

И ей захотелось посмотреться в зеркало, чтобы убедиться в этом. Кликнула Акозу и приказала принести зеркало. Заморское, в красивой серебряной оправе.

Акоза держала перед госпожой зеркало. Дарихат смотрелась и так и эдак, очень нравилась себе. Потом взглянула на Акозу и облегченно вздохнула: куда там девчонке до нее! Да она, плюгавая, и в подметки ей не годится.

— Ты можешь хорошенько держать зеркало? — прикрикнула Дарихат на девушку, но безо всякой злобы, а просто, чтобы показать власть и лишний раз указать замарашке ее холопское место.

И опять испуганно вздрогнула Акоза от зычного голоса хозяйки.

Как нехорошо все устроено на земле! Синее, далекое небо одинаково щедро посылает всему живому и солнечный свет, и

звездный. Для всех одинаково дует ветер, идет дождь или снег. А разве сама земля отдает кому-нибудь предпочтение, когда принимает в свое широкое лоно умерших? Почему же тогда страдает от обид и унижений Акоза, будто она не такая, как все, не такая, как ее госпожа? Разве у нее в груди нет сердца, чтобы чувствовать любовь и ненависть, разве ее тело меньше боится голода и холода, палящего зноя?

Почему же все так плохо устроено на земле, кто в этом виноват?

Хагур и Акоза стояли рядом у котла, когда во дворе появился Тхахох. Он въехал на кобыле, которой пользовались для работы только тфокотли. Шеретлуковы — каждый для себя лично — держали самых лучших лошадей.

Дарихат давно покинула место под грушей: налюбовавшись собой, она ушла спать и лежала сейчас в мягкой постели.

Тхахох был неприятно удивлен тем, что увидел Хагура рядом с Акозой, за которую он недавно пытался вступиться перед хозяином. Странно было и то, что двор пуст. Тхахоху никогда не удавалось остаться наедине с Акозой, здесь всегда кто-нибудь или работал, или просто болтался, а Хагуру смотри как повезло — стоит с девушкой прямо посередине двора, и кругом ни души, будто они где-нибудь в лесу или в поле, так спокойно разговаривают. Но что нашли эти двое интересного в старом котле Шеретлуковых? Э, да они вовсе и не смотрят на него, кажется, они видят только друг друга... Когда Дарихат колотила Акозу, Хагур не вступился за нее, а теперь — поди ж ты! И Тхахоху стало обидно: почему не он рядом с девушкой, а этот всегда спокойный разумник? Ему захотелось, чтобы те двое наконец увидели его, и он так саданул кулаком в бок бедную кобылу, что она заржала.

Они повернулись к нему, а он сделал вид, что не замечает их, и повел лошадь к конюшне.

— Добрый день,— робко сказала ему вслед Акоза.

— Почему ты не идешь к нам? — спросил Хагур.

— А что, я тоже должен чистить котел? — резко ответил он, не оборачиваясь.

Но Хагур не обиделся:

— Слава богу, хоть так, но все-таки заговорил. Значит, у тебя есть язык.

Тхахоху показалось, что Хагур насмехается над ним.

— Нет у меня языка! — совсем рассердился он, но понял, что сморозил глупость, и смутился.

Хагур и Акоза весело рассмеялись.

— Он так всегда шутит,— успокоилась девушка. — Ты ведь знаешь, Мос, он любит пошутить, особенно с женщинами. Я не раз это замечала.

— И с тобой тоже? — выделяя слово «с тобой», спросил Хагур.

— И со мной.

Теперь, кажется, черная туча прошла над головой Хагура. Почему кто-то еще шутит с Акозой? Значит, она и ему нравится, значит, он может отобрать ее у Хагура? «Нет, я этого никому не позволю,— решительно сказал он себе,— я никому ее не отдам».

Акоза будто прочитала тайные мысли Хагура, они были ей очень приятны, и девушка ободряюще ему улыбнулась.

«Она улыбнулась мне. Одному. И я ни разу не видел, чтобы она улыбалась кому-нибудь из мужчин»,— радостно подумал Хагур, и нежность к девушке захлестнула его.

Однако сколько же можно чистить этот котел? Он уже блестел, как медный.

— Отдыхай, Акоза, пока хозяйка спит. Отдыхай, ей все равно не угодишь.

— Я не осуждаю Дарихат,— Акоза опасливо посмотрела на скамейку под грушей. — Такой уж она уродилась. Иногда мне бывает ее жаль.

Вот это да!

Забитая служанка, чья горькая судьба известна всему аулу, и вдруг жалеет свою деспотичную хозяйку!.. Как же это понимать? Неужели рабская покорность дается человеку от роду, как сила и гордость?

— Ей самой тяжело,— между тем продолжала девушка,— ей самой нет покоя, вот и мечется по комнатам. Все ей надоело: нарядные шали, платья, которых у нее чересчур много. Надоели муж, сын и дочь. Ей нечего делать, вот она и лезет везде, во все вмешивается. Я бы на ее месте с ума сошла от безделья.

— Перекормленная собака обрастает жиром и потом бесится,— резко перебил Хагур. — Это и произошло с Дарихат. И не только с ней. Но и они не рождаются такими. Эта мерзость к ним приходит со временем, с привычкой командовать, кричать на кого захочется, драться. Ведь они не встречают отпора, никто ни разу не поставил Дарихат на место, никто не отплатил ей той же монетой. Чего ее жалеть? Если она захочет — исполосует тебе спину, а то и совсем прибьет. А то продаст или подарит кому-нибудь, как овечку.

Услышав последние слова, Акоза испугалась. Она вспомнила, как недавно Дарихат говорила мужу, дескать, что-то давно к ним не показывались торговцы «живым товаром». Акозе не один раз приходилось видеть, как купцы вели через аул мальчиков и девочек. Они увозили их на побережье и там перепродавали чужеземцам. Какой бы горькой ни была жизнь, как бы ни били, ни оскорбляли, только бы не продали ее в рабство на чужбину. Не дай бог, не дай бог ее продадут! Не дай бог ее разлучат с родной землей, разлучат с Хагуром, она никогда не увидит его улыбки, не услышит голоса. Нет-нет, лучше умереть, чем испытать такое!

Погрузившись в тяжелые раздумья, Акоза замолчала, молчал и Хагур. А может, им просто хотелось постоять молча, но тишину нарушила Дарихат:

— Проклятые мухи! Нет от них никакого спасения! Я хочу спать и хочу, чтобы они не мешали мне. Проклятые мухи!..

Акоза, виновато и в то же время испуганно взглянув на Хагура, бросилась в дом выгонять мух, ублажать госпожу.

Хагуру до того стало обидно за Акозу, что он даже побледнел, заскрипел зубами.

Солнце медленно клонилось к закату. Вот и еще один день уходил из жизни — такой же, как все остальные дни. Одинаковые, будто братья-близнецы.

Хагур протер меч, которым они с Акозой чистили котел. Протирая, он, как ему показалось, ощутил тепло рук девушки. И такая тоска взяла, хоть плачь. Он повернулся и побрел по двору. Ему не хотелось встречаться с Тхахохом, никого не хотелось видеть.

Кончался день.

Кончалось лето.

Когда-нибудь окончится его жизнь.

А что будет дальше? Не знал Хагур. Никто не знал. Да и зачем думать об этом?..

Одиночество хорошо тем, что можно бездумно смотреть, слушать. Отдыхать.

Зачем вспоминать о смерти?

Хагур сидел в тени под скирдой. Хорошо здесь. Прямо перед глазами поднимается в небо вершина горы Пепау. Отсюда ее видно лучше всего. Она кажется живой, живущей своей особенной жизнью. Хагур наделял ее теми достоинствами, которые ему дороги в людях: гордостью, умом и великим терпением. Ведь горы стоят веками, обнажив под солнцем голову, и только изредка какое-нибудь бродячее облачко овеет великанов прохладой.

Что человеческая жизнь, если солнцем и ветром разрушаются даже горы...

Ну вот, опять его мысли уходят тропой печали. Он сердится, обрывает их и думает о Тхахохе. Как-то странно он себя ведет в последнее время: ходит хмурый, грубит. Правда, потом сам мучается.

Что с ним?

А Тхахох в это время томился мыслями об Акозе. Почему последнее время он беспрерывно думает о ней? Как это случилось? Раньше он проходил мимо нее, лишь иногда задевая шуткой. Но он любил пошутить со всеми, никого особенно не выделяя. И вдруг она стала центром его внимания, другие рядом с нею как-то померкли, как меркнут звезды, когда всходит

солнце. И такой же свет, как от солнца, стал исходить от этой девушки. Казалось, уйди она — и мир утонет во тьме.

Но вот рядом с нею стал Хагур.

Тхахох любит друга, не желает ему зла. Наоборот, если понадобится, отдаст все силы, всего себя, чтобы защитить его.

Все?

И Акозу?

Нет.

Только не это.

Между друзьями легла, зазмеилась трещина.

Она еще не так широка, еще можно было одолеть ее, еще не поздно подать друг другу руки, но Хагур повернулся к Тхахоху спиной. Друзья — и в то же время соперники? Как сказать, отчего тяжело на сердце? Хагур сам должен догадаться.

В народе говорят: если два друга ссорятся из-за женщины, то оба недостойны называться мужчинами. Но что делать: мудрость мудростью, а жизнь жизнью, она богаче, шире и беспощаднее.

Конечно, думает Тхахох, Хагур красив, строен и силен, он умеет поговорить, добр сердцем и конечно же нравится Акозе, поэтому он, Тхахох, далек от Акозы. Так она хочет. Но как ему быть, как? Разве сердцу прикажешь? Ведь оно рвется навстречу счастью.

Тхахох никогда и ничего не скажет ни Хагуру, ни Акозе. Если аллаху будет угодно, Акоза сама, без его слов, все поймет.

Недоволен Тхахох Хагуром и из-за украденного сена, из-за того, что он чрезмерно осторожен в отношениях с Шеретлуковыми, но главное — Акоза.

И Хагур обижается на своего друга за грубость, за то, что он оставил его одного на лугу. Правда, он не знал, что Тхахох не покинул его: не захотел воровать сено, но за друга душа болела: спрятался неподалеку в кустах, а потом провожал до самого дома, оберегая от возможной беды. И об этом Тхахох никогда никому не скажет, пусть аллах надоумит Хагура.

«Неужели я потеряю не только любимую девушку, но и доброго товарища? — горько спрашивал себя Тхахох. — Если это случится, я останусь как одинокое дерево и жизнь моя будет печальна».

Куда идти Тхахоху, у кого просить совета? Стук копыт вывел его из задумчивости — вернулся хозяин.

Вот он уже подъезжает к воротам. Кто-то идет его встречать. Неужели Хагур?

— Эй, вы! Бездельники! — сердито кричит Наго. — Вы что, спите, дармоеды?!

Наго любил, чтобы его встречали прямо-таки толпой, и, увидев, что в этот раз у ворот только один человек, рассвирепел и орал во весь голос.

Верно, встречать вышел Хагур, но он не раболепствовал перед хозяином, вел себя достойно. Это он сказал тфокотлям, чтобы не прерывали работы, не устраивали хозяину никчемной встречи, а хозяйский гнев взял на себя. Тхахох решил ему помочь, тоже вышел к воротам, пусть и на него покричит Наго.

— Али-Султан не возвращался? — все еще злился Наго.

— Его с утра нет,— скупо ответил Хагур.

Наго налился кровью:

— Ты что? Не знаешь, как надо ко мне обращаться? Я же велел вам называть всех наших родовитых, а значит, и меня — зиусханом.

Хагур молча, с едва заметной усмешкой смотрел в налитые кровью глаза Наго.

— Мы еще не привыкли к этому слову. Так скоро не привыкнешь,— ответил Тхахох.

Наго был не так наивен, чтобы не понять Тхахоха, но ничего не поделаешь, наверное, он прав. Без толку ссориться с тфокотлями. Кулаками тут ничего не докажешь — нужна хитрость. Надо немного выждать.

— Если не привыкли — привыкайте,— понизил голос Наго,— я подожду. Я добрый, вы это сами знаете. И хочу, чтобы все мы жили в мире. Но я не стану ждать слишком долго!

В словах его прозвучала скрытая угроза. Тфокотли поняли это и ответили хозяину угрюмым, мрачным взглядом.

«Надо бы еще мягче с ними. Пока мягче, а там...»

— Клянусь жизнью своего отца, Тхахох прав,— стал изворачиваться Наго,— конечно, человек не сразу становится на ноги, как появится на белый свет. Он многому должен научиться. Сначала сидеть, потом на четвереньках ползать, а уж с помощью аллаха поднимется и на ноги. Однако не только аллах, но и мы, старшие, у которых есть опыт, должны помогать вам. И мне все вы — дети. Если не я, кто же научит вас мудрости, добру? Вот я сказал вам слова, а вы обиделись на меня, но разве можно обижаться на отца, разве этого вы ждете от своих детей? Великий грех обижаться на отца, даже если он и поругает. Вы — джигиты, и мне обидно, что некоторых важных вещей не знаете. Почему, скажите мне, у бжедугов, у темиргойцев есть князья, а у шапсугов нет? Разве аллах обидел их землями, пастбищами, скотом? Разве в Шапсугии нет мужчин, достойных носить княжеский титул? Если любишь свою родину, должно быть обидно, что в ней нет порядка, нет хозяина. Если не так — ты не сын своей земли. Вот и мне обидно за свою землю, я хочу гордиться ею, ее народом, его силой, честью. Я в первую очередь забочусь о благе всей нашей земли, нашей родной Шапсугии. Забочусь о вас, детях моих.

Замолчал Наго.

Осторожно обвел взглядом лица стоящих перед ним батраков, которые подошли, заметив, что хозяин о чем-то долго говорит с Хагуром и Тхахохом. Наго увидел, что одни смутились,

другие смотрели на него настороженно, не понимая, к чему он клонит.

— Не смотри на меня так грозно, Хагур, я сказал чистую правду. А к тебе обращаюсь отдельно, потому что ценю твой ум. Ты умный, ты должен меня понять... Князья есть у всех. Разве что у бородатых абадзехов их нет, но кто же будет брать пример с этих безбожников, позорящих древний род адыгов. Мы не должны на них равняться. Мы — шапсуги! Слава аллаху, с нами считаются, нас уважают все племена адыгской земли, к нам с уважением приезжают и заморские гости. Мы должны быть достойными своей славной земли, наших славных предков... А теперь довольно слов, расходитесь и подумайте. Потом еще поговорим, мы должны научиться понимать друг друга.

Никто из присутствующих не выразил ни одобрения, ни осуждения. Расступились, давая дорогу князю-самозванцу. Проводили его темными, недоверчивыми взглядами. Да и сам Наго придавал своим словам значения не больше, чем любым другим, брошенным на ветер. Ему бы только уйти, чтобы они не подумали, будто он испугался их. Когда набрасываются собаки чабанов, надо стоять смирно, иначе могут разорвать на куски. А тфокотли разве не собаки? Хуже собак! Последнее время Наго стал испытывать перед ними тайный страх. Из вчерашних мальчиков выросли на его усадьбе такие парни, что не моргнув глазом оторвут голову любому. Они уже сейчас готовы обнажить кинжалы. Как удержать их в покорности? Наго вспомнил хмурые лица. Вспомнил Тхахоха.

«Нет, Тхахох не опасен. Он слаб душой, его можно согнуть в дугу. А вот Хагур — враг! Кусачую лошадь не держат в табуне, Хагура надо куда-нибудь услать. Услать с глаз, пока не случилось беды. Если сделать его свободным крестьянином, дать ему лошадь, он, занявшись хозяйством, перестанет быть опасным. Ведь каждый прежде всего старается только для себя, хочет, чтобы был достаток в доме. Плевать ему на соседа. Надо хитростью, тихонько обезопасить себя, а не хвататься чуть что за плетку, как это делает глупая баба Дарихат. Надо с нею поговорить, уж слишком она вспыльчива, как бы ей не поплатиться за это».

С этими мыслями Наго и вошел в дом.

IV

Наступил вечер.

Тихо в Бастуке и в других шеретлуковских аулах. Не шумят детишки, не гомонят женщины. Наступил час вечернего намаза.

Дома с длинными верандами, крытые осокой, потеряли в сумерках свои очертания и выступали в серой мгле вечера как призраки. Слабо мерцали в окнах коптилки, разливая жидкий, болезненный свет.

По одной всплывают звезды в высоком небе.

Всплывают.

Разгораются все ярче, но не могут рассеять ночную мглу.

Вот и гора над аулом стала совсем черной, положила на землю такую же тень.

Все замерло в ауле. Слышится иногда только храп скота в загонах, да прокричит филин и снова надолго затихнет.

Кончился трудовой день, пришла пора подумать о боге, о душе...

Эффенди Шалих торопливым шагом, словно боясь опоздать, подошел к мечети, построенной Шеретлуковыми после возвращения из Бжедугии.

Пока у двери не было ни одной души.

Высоко и тоскливо вздымался к небу минарет.

Тяжело было на душе у эффенди: он стоял один перед богом, и бог будто спрашивал его, где же остальные слуги царя небесного?

Хотел эффенди пожаловаться аллаху, хотел рассказать, как трудно ему уговаривать упрямых тфокотлей ходить в мечеть. Родовитые и несколько свободных зажиточных крестьян явятся, конечно, сами, как обычно. Но Шалиху хочется, чтобы на молитву приходили все взрослые мужчины аула, чтобы ни один человек не оставался без милости божьей, который конечно же одинаково любит и богатых и бедных.

Правда, богатых намного больше. Кто построил такой красивый дом аллаху? Шеретлуков. Кто больше жертвует на божьи дела? Шеретлуковы и другие богатые люди. А что возьмешь с голытьбы? За душой ни гроша, а гордости хоть отбавляй! Каждый из этих голоштанных думает, что обойдется сам по себе, без бога. А того не понимает, что гордость от лукавого, который хочет их погибели, радуется их грехам.

Почему они не слушаются его, эффенди, посредника между богом и простыми смертными? Шалих доволен одним-единственным тфокотлем — Анзауром Ахеджаком. Тот не пропускает ни заутреню, ни обедню, ни вечернюю молитву. Молится горячо и искренне. Он, видимо, всем сердцем принял и поверил в аллаха. Да продлит аллах ему дни!

Эффенди достал серебряные часы, которые бережно носил в кармане, поиграл цепочкой. В темноте стрелки все равно не увидишь, не разберешь, сколько они отсчитали часов и минут. А откуда тфокотлям знать, сколько сейчас времени? Ведь ни у кого из них нет часов.

И все-таки эффенди не обижается — приятно служить богу, приятно за эту службу иметь нечто вещественное, а не только слова благодарности, звук которых легко тает в воздухе.

Шалих вспомнил поездку в Бжедугию. Вот где поистине рай. Все жители аула Туабго вместе с великим князем обращаются к богу с молитвами. Когда же настанет такое время, чтобы вся Шапсугия повторяла за своим эффенди слова, обращенные к

аллаху? Доживет ли он до этих благословенных дней? «Но если доживу,— думал Шалих,— значит, на небе зачтут мои добрые дела. Разве мало я положил труда, разве мало посвятил времени для обращения язычников в мусульманскую веру? Трудно мне одному, но видит бог, я не ропщу и не требую лучшей доли, хотя требования были бы вполне справедливыми. В мечети аула Туабго пол устлан коврами, там удобно и мягко преклонять колени перед богом. Не-ет, видимо, я все-таки мало старался, и поэтому дом божий у меня такой бедный. Разве аллах не заслужил хорошей мечети, богатых ковров в нашем ауле, а вместе с ним и я, ибо я здесь — его уста?»

Однако пора открывать двери, вот-вот начнут собираться правоверные.

Первым, как всегда, показался Анзаур.

— Салам алейкум, эффенди!

— О, алейкум салам! — обрадовался Шалих. Ему очень понравилось, что к нему обратились с мусульманским приветствием. — Ты пришел раньше других, сын мой, аллах тебе этого не забудет. Мы ведь с тобою сегодня виделись?

— Не виделись, эффенди. Я был сегодня у гуаев.

— Как дела у гуаев, божьей милостью?

— Хорошо. В этом году у них богатый урожай.

— Это аллах им так щедро помог,— важно сказал Шалих.

— Я этого как-то не заметил,— живо возразил Анзаур,— а мозоли на их руках я видел. У, какие мозоли!

— Мозоли тоже посылает аллах. Разве ты им не говорил об этом?

— Клянусь, говорил! Но они не стали меня слушать. А хозяин дома наступил мне под столом на ногу и заставил прекратить разговор. Сказал, что, если я не замолчу, они сделают со мной то, что сделали со своим эффенди.

— Что такое они сделали с ним? — испуганно спросил Шалих. У него даже руки задрожали и сердце заколотилось.

— Рассказывают, его, связанного, посадили на осла, лицом к хвосту и привязали к хвосту дохлую кошку,— обстоятельно доложил Анзаур.

— О мой аллах! Да пребудет со мной твоя добрая воля, твоя милость! — воздел руки Шалих.— Сделай злого добрым, а доброго расположи ко мне. Когда небо упадет на гуаев, они поймут, что жили во грехе, будут стонать, будут просить защиты. Но, аллах, не вздумай сжалиться над ними. Разве можно жалеть разбойников, которые оскорбляют служителей неба! Плохо тогда придется гуаям, весь скот у них погибнет, вся земля их потрескается от страшной жары, умрут их дети, а жены не смогут рожать других детей. И род гуаев кончится на земле. И не только гуаев — так будет со всеми, кто посмеет ослушаться небесного отца и поссорится с ним!

Анзаур выслушал длинную речь Шалиха молча, опустив очи долу.

Эффенди говорил с таким жаром, что бедному тфокотлю стало страшно. Он не раз ездил к гуаям, среди них были его друзья. Он видел там славных детишек, красивых девушек, видел добрых старых матерей, которым эффенди грозил божьей карой. «Неужели аллах так обидчив и мелочен? — засомневался Анзаур. — Пусть он накажет виновных, но зачем же губить ни в чем не повинных ребятишек, добрых, честных людей?» Подумал так Анзаур, но ничего не сказал эффенди, промолчал.

А Шалих тем временем взобрался на минарет и, взявшись за мочку уха, стал призывать правоверных к молитве.

Как только раздался протяжный козлиный голосок божьего слуги, в разных местах аула ему дружно отозвались собаки.

В верхней части селения это завывание раздавалось глуше, а ближе к мечети — отчетливей и тоскливей.

И вой собак, и голос Шалиха подействовали на Анзаура возбуждающе. Чувства его так обострились, будто он хватил добрый рог крепкой бузы. Но если буза веселит и гонит прочь печаль, то здесь получилось наоборот: сердце его тоскливо сжалось, настроение упало.

В небе, хранящем свои вечные тайны, мигали звезды.

В ауле тоже все как будто напряглось в ожидании чего-то неведомого и страшного.

— Меня тяготит этот вечерний намаз,— сказал Наго, услышав призыв к молитве. — Этот эффенди так кричит, будто хочет накликать на нас беду. А как жутко воет собака! Слышишь? Интересно, чья?

— Не к добру, не к добру этот вой,— испуганно вздрогнула Дарихат, отодвигая таз с водой, в котором омыл ноги ее муж. — Кажется, так страшно воет собака соседей. Семь дьяволов ей в глотку, чтобы она подавилась! Дай только дожить до утра, я угощу проклятого пса хлебом с иголкой. Уж я это сделаю обязательно, можешь не сомневаться.

— А как насчет других собак? — усмехнулся Наго. — Хватит ли у тебя на всех иголок?

— Ты смеешься надо мною?! — вспылила Дарихат. — Хватит! И для тебя одна останется!..

— Остынь. Я шучу... Я думал, ты улыбнешься, а ты рассердилась.

Дарихат недоверчиво посмотрела на мужа, с сомнением покачала головой...

Очень не хотелось Наго идти в мечеть, но делать нечего — надо. Когда они с Али-Султаном подошли к мечети, там было уже довольно много людей.

Наго не удивился, увидев Анзаура, а вот что Хагур здесь появился — это удивительно. Он пришел первый раз, а все, что происходит впервые, рождает тревогу. Почему он пришел на ве-

черний намаз, если не приходил ни на утренний, ни на полдневный?

А Шалих обрадовался: будет ходить в мечеть Хагур, значит, за ним потянутся и его друзья-приятели, которых у него довольно много. Сбудется, сбудется мечта Шалиха: шапсугские тфокотли, как послушные овцы, пойдут за своим поводырем, за своим пастырем. И правильно сделают: разве рай господень уже перестал быть раем, местом вечного блаженства? Э-э, каждому хочется туда попасть!

Хагур и раньше пытался понять, что несет его землякам мусульманская вера? Как рассказывают в кунацких, темиргойцы всей душой приняли ее, не отстали от них и бжедуги. В прошлом году Хагур был на празднествах у Хаджемуковых и видел своими глазами. Да, в Бжедугии набожный народ. Если другие адыгейские племена приняли мусульманскую веру, то примут ее и шапсуги. От этого некуда деться, потому что все племена одного корня и судьба у них должна быть одна.

Хороши, а главное, привычны старые боги, которым поклонялись деды и прадеды, так зачем же менять их на нового, непонятного бога? Чем он лучше? Не-ет, новый бог — чужестранец. Он и говорит на чужом, непонятном адыгам языке, и живет очень высоко, попробуй до него дотянуться. Разве поговоришь с ним по душам, если не понимаешь его языка, если он недосягаем? Шеретлуковым, конечно, это сделать легче — у них есть золото, а аллах, оказывается, любит золотишко, совсем как богатые. Любит, чтобы ему строили большие дома, устилали их коврами. Он с Шалихом заодно, эффенди тоже очень любит ковры, ему не нравятся простые козлиные шкуры, брошенные на пол. Со временем, наверно, не понравятся и ковры, захочет чего-нибудь побогаче, пороскошнее, может быть, серебра и золота.

Племя гуаев сопротивляется мусульманской вере. Хорошо это или плохо? Надо ли шапсугам брать с них пример? Даже богатые Наурзовы и Абатовы не порвали до конца с прежними верованиями, хотя поклоняются и аллаху. Считают, наверно, что это выгодно: ведь недаром говорят — ласковый телок двух маток сосет. Но разве можно служить одновременно двум господам? Это, пожалуй, может плохо кончиться, привести людей к ссорам, кровопролитию.

Когда зашли в мечеть для совершения намаза, эффенди стал впереди всех. Наго — по правую сторону от него, хорошо помня, что именно так становился во время молитвы великий бжедугский князь. А Наго хочется подражать ему во всем. Да будет аллах милосерден к Шеретлуковым за их старание, покорность и неустанные молитвы.

Али-Султан тоже находился в первом ряду и в точности повторял движения эффенди: то приседал, то поднимался. Слова

молитвы Шалих произносил на чужестранном языке. Остальные должны были повторять их вслед за ним. Чужой язык и есть чужой. Язык ветра и тот куда понятнее — бушует, сердится ветер, тихонько что-то нашептывает, ласкает...

Шалих между тем вскрикивал все громче, закатывал глаза, впадал в непонятное неистовство.

«Притворяется он или в самом деле так переживает? — подумал Хагур, наблюдая за Шалихом. — Если я не понимаю слов, как они могут тронуть мою душу? Если бы эффенди проповедовал по-шапсугски, я бы знал, почему Али-Султан так старается, что он хочет выпросить у аллаха. Такой человек, как он, ничего не будет делать бескорыстно, даже служить богу».

Наго вел себя сдержанно. Он достаточно хитер, чтобы не выказывать своих настоящих чувств. Он и аллаху их не выкажет, обязательно утаит, но сделает так, чтобы бог услышал именно то, что хочет сказать ему Наго.

Закончился вечерний намаз.

— Приходите завтра утром, обязательно приходите,— обратился к прихожанам Шалих,— я буду учить вас словам молитвы, не пожалею сил, и, когда будете знать молитвы наизусть, вы станете настоящими детьми аллаха, правоверными мусульманами, на вас снизойдет господня благодать. Салам алейкум.

— Алейкум салам,— ответили вразнобой прихожане.

Наго возвращался домой более веселым.

«Я сделал благое дело,— думал он по дороге,— посетил мечеть, преклонил колени, стоя рядом с последним бедняком моего аула. Это ли не пример для подражания?»

Дарихат поджидала мужа, сидя перед зеркалом.

— Знаешь, дочь Наурзовых, кого я встретил в мечети? — спросил Наго, снимая пояс с серой черкески. И, не дожидаясь ответа, добавил: — Хагур приходил на намаз.

— О! — удивилась Дарихат. — Что бы это значило? Теперь, пожалуй, многие из наших тфокотлей станут ходить в мечеть и примут мусульманскую веру — у Хагура полно друзей. И не только в нашем ауле, по всей Шапсугии... Но скажи мне, Наго, за что можно уважать такого лодыря, разбойника и хама?

— Не знаю, что это может значить, но думаю, пришел он не случайно. Помнишь, я заставил Али-Султана отвести Ахеджакам коня? Слух об этом разошелся по всем аулам. Доброе дело всесильно. Хагур это понял и на наше добро ответил добром. Я так полагаю. А потом, совсем недавно я говорил с ним и другими тфокотлями о том, что меня следует называть зиусханом. И они, должно быть по совету Хагура, согласились с этим. Кому охота считать себя дикарем, у которого нет князя, нет всесильного бога? Каждый хочет думать, что он лучше другого. А я напомнил им о длиннобородых абадзехах, которые

не верят ни в бога, ни в черта, у которых нет своих князей. Вот наши дурни теперь и стараются показать, что они не хуже других. Хотя ты сама знаешь, разницы между абадзехами и нашими хамами нет никакой. Стадо скотов и только...

Но Дарихат уже не слушала Наго, занималась постелью. Укладывая в изголовья большой деревянной кровати подушки, взглянула на мужа и тайком сунула под свою расшитый кисет. Хотела потушить светильник, но дарить кисет в темноте не хотелось. Наго должен хорошенько рассмотреть его, восхититься и... тогда Дарихат выпросит свое. Она знает, как сделать, чтобы мужчина не отказал в просьбе и выполнил все прихоти, все женские капризы.

Наго устало растянулся на супружеском ложе. Не хотелось ни говорить, ни двигаться. Но с чего это Дарихат так ласково гладит его плечи, заглядывает в глаза? Если ей нужно новое платье, пусть скажет, к чему эти хитрости? И не обязательно в постели, когда ужасно хочется спать, а завтра утром.

— Нет, мой миленький, мне не надо нового платья,— угадав его мысли, продолжала ластиться Дарихат,— мне ничего не надо, у меня есть все. Я самая счастливая жена. Разве, имея такого мужа, можно просить у судьбы еще чего-нибудь?.. Твой кисет уже очень старый, и я решила подарить тебе новый. Посмотри, как я красиво расшила его серебром. Посмотри, мой дорогой!

Она достала из-под подушки кисет и не без гордости подала его мужу.

Наго и вправду любил подарки. Тем более приятно, что такую заботу о нем проявил не кто-нибудь, а Дарихат. Не так уж часто дарила ему норовистая Дарихат кисеты и особенно — улыбки.

Наго с благодарностью потянулся к жене, обнял ее, почувствовал, как напряглось его тело.

— Давай потушим светильник,— сказал он,—зачем нам свет, когда я чувствую тебя всем своим телом, а ты меня.

Но Дарихат не шевельнулась.

— Наго,— наконец прошептала она,— мне надо тебе коечто сказать.

— Потом скажешь,— прошептал Наго, теснее прижимая жену к груди.

— Нет, сейчас,— Дарихат села в постели. Ночная рубашка сползла с плеча, обнажив грудь случайно или нарочно. Наго смотрел на жену с нетерпением.

— Наго,— начала она,— в нашем доме выросла бесстыдница. Я говорю об Акозе.

Наго поморщился: «Опять какая-нибудь сплетня. И чего они воюют между собой, будто нет более приятных занятий?»

— После, после об этом.

— Нет! Не после!.. — крикнула Дарихат. — Дождешься, когда будет поздно, поэтому пообещай мне сейчас: как только в

нашем доме появятся купцы, ты продашь им Акозу. Пока ты мне этого не пообещаешь, я не смогу спать спокойно.

— И чего это ты вдруг надумала? — недоумевал Наго. Ему хотелось поскорее кончить разговор и потушить свет. Он пообещал бы что угодно, но ее требование было таким неожиданным, что решить тут же он не мог.

— Что ты надумала? — передразнила мужа Дарихат. — А то надумала, что скоро мы опозоримся из-за своего сына. Не видишь, как он с нею любезничает? Но разве ты, слепой от рождения, можешь что-нибудь увидеть? Я ночами не сплю, меня изводят страхи. Эта девка загубит нашего сына, она такая бесстыдница, что ей это ничего не стоит. Мой мальчик, мой добрый мальчик, горе мне с тобою... — И Дарихат с притворным стоном упала на подушку.

В эту ночь светильник в доме Наго горел очень долго.

Глава третья

I

Над аулом Туабго опрокинулось блеклое небо.

Уже наступила осень, но всюду еще хранились следы недавнего зноя. Солнце поднимается медленно, оно устало за долгие месяцы работы и не спешит приниматься за дело. Наверное, поэтому осенние дни кажутся такими долгими. Притих и лес. Поникли желтые листья, смотрят вниз, словно выискивают место для долгого зимнего сна. Листья больше не шепчутся, они погружены в нерадостные думы.

Так же и человек в старости, на пороге смерти, печально задумывается о пролетевших днях своей весны, своего лета.

На усадьбе Хаджемуковых сегодня людно. Тфокотли везли великому князю долю нового урожая. Везли пшеницу, просо, кукурузу и ссыпали их в турлучные амбары, хорошо подготовленные к приему зерна, чисто выбеленные.

Лениво мычали волы, скрипели телеги. Весело и звонко ржали лошади. Огромная дворняга громыхала цепью и тоскливо повизгивала — ей не хотелось сидеть на цепи, когда во дворе так много народа.

Наполнив зерном княжескую меру, тфокотли относили ее в амбар, высыпали — и снова к мешку. Взад-вперед, взад-вперед ходили хлеборобы, будто маятники качались. Свой хлеб, свою любовь к полю, тревогу и пот, печаль и радость отдавали они в чужие руки, ненасытному великому князю.

Бдительно и придирчиво следил старший байколь Мерзабеч, чтобы меры были полными, чтобы лучшее зерно привозили тфокотли. Не в его закрома ссыпалось зерно, не ему испекут пышные хлебы из золотой пшеницы, так почему же он с таким рвением наблюдает за крестьянами и столько алчности в его гла-

зах, когда он смотрит на поток зерна? Да потому же, почему и пес, который стережет не своих, а хозяйских овец, бросается на каждого, кто хочет угнать их, готов погибнуть за хозяйское добро. Собачья верность хозяину отличала Мерзабеча от тех, кто хоть и служил князю, но все-таки оставался человеком.

— А-а-а! — вдруг завопил байколь, ему показалось, что один из тфокотлей наполнил меру на палец меньше. — Среди белого дня обкрадываешь великого князя! Посмотрите, люди добрые, что делает этот нечестивец! Ах, бессовестный, ах, мерзавец! Аллах свидетель, что я заслуженно награжу нечестивца плеткой со свинцовой начинкой!

Мерзабеч и в самом деле замахнулся плеткой, но ударить не удалось, тфокотль отскочил в сторону.

— Ах, негодяй! С горкой, с горкой насыпай зерно! И еще пригоршню добавь, а то заставлю тебя сыпать две меры, а посчитаю за одну!

— Я честно сыпал,— робко возразил тфокотль,— все видели.

Стоявшие рядом согласно закивали головами и придвинулись к байколю поближе. Раздался осуждающий шепот. Недобрым светом вспыхнули глаза хлеборобов...

И в прошлом году свирепствовал Мерзабеч, плеть резво плясала в его руках. Потом тфокотли не выдержали, разбили меру, рассыпали немало хозяйского зерна, и дело едва не дошло до смертоубийства. Положение спас Кансав: мягко, даже ласково поговорил с тфокотлями, при них обругал Мерзабеча скотиной и таким образом притушил чуть было не разгоревшийся пожар.

Вот и теперь затевалось нечто нехорошее и опасное. Мерзабеч сообразил это и стал глазами искать князя, стал пятиться к дому.

Услышав шум, Кансав вышел на веранду и нарочно встал так, чтобы его все хорошо видели.

Но это не остановило тфокотлей — они мрачной стеной двигались на управляющего, пока не приперли его к стене амбара. Он был похож на загнанного, рассвирепевшего хорька.

— Эй, Мерзабеч, есть ли у тебя совесть?! — выкрикнул кто-то. — Почему поступаешь так, будто ты нам первый враг и рожала тебя не женщина, а волчица?! Почему? Что за радость тебе в нашем горе, скажи!

— Чего вы на меня набросились? — испуганно взвизгнул Мерзабеч. — Ничего дурного я вам не сделал и не собирался. А ошибиться я могу, как и каждый из вас. Мне показалось... Но я не утверждаю наверняка, не придирайтесь к каждому моему слову. Грех вам, грех! Чего вы прижали меня к стене? Пропустите, дайте уйти! Не век же мне здесь стоять!

Тфокотли увидели, что Мерзабеч струсил. Улыбнулись, но не улыбками дружеского расположения или нечаянной радости, которая иногда случается в их трудной жизни,— улыбнулись насмешливо, едко и горько, сознавая, что лишь на миг одержали победу над княжеским прислужником.

И все же глаза их, еще совсем недавно отливавшие блеском кинжала, потеплели.

Расслабились, обмякли плечи.

Они расступились перед управляющим — убирайся вон по-добру-поздорову.

Тяжело отдавать зерно, политое собственным потом, но что делать? И отцы отдавали, и деды — так уж заведено.

И снова — взад-вперед, взад-вперед — носили свое зерно в чужие закрома.

Мерзабеч увидел, что тфокотли успокоились, никуда не ушел, опять стал верным псом следить, чтобы сполна отдали князю княжеское.

Тфокотли успокоились, а князь Кансав все не находил себе места от возмущения. Кровь в нем закипела, и он быстрыми шагами ходил по веранде, чтобы остудить, успокоить ее.

Тфокотлей во дворе становилось все меньше. Наконец и последний уехал на скрипучей телеге с пустыми мешками.

Солнце поднялось и пригревало нежарким осенним теплом.

Князь направился к амбару, держа на прицеле фигуру управляющего. Мерзабеч по походке князя понял, что добра ждать от хозяина не приходится, и побежал навстречу, угодливо кивая головой.

— Пусть будет добрым твой день, зиусхан. Довольно много зерна принес тебе этот год. Твои покорные рабы отдали не меньше, а даже больше положенного. Ты можешь быть доволен ими. И я ради твоего благоденствия постарался.

Слушая заискивающие речи байколя, князь чувствовал, что раздражение не проходит, а усиливается, что кровь распирает жилы, гнев сдавливает горло.

— Ну-ка, дай мне свою плетку,— сказал он преувеличенно спокойным тоном, от которого у тех, кто знал князя, холодело в груди.

Мерзабеч покорно, но в то же время опасливо протянул плетку.

Князь взял ее и, хорошенько размахнувшись, ударил управляющего, не столько с бешенством, сколько с расчетливой злостью.

— Собачье отродье! Я уже учил тебя не приставать к тфокотлям в день, когда они везут зерно в мои закрома. Они и без того злобятся, а тут еще ты со своей рабской глупостью! Когда-нибудь придет день, и тфокотли не принесут того, что положено отдавать князю! И случится это по твоей вине! Но я не буду ждать этого злополучного дня, лучше спущу твою поганую шкуру и повешу ее на кол — пусть все видят ее!

— Мой зиусхан...

— Молчи и слушай, что я тебе говорю! — загремел князь, швырнув плетку в лицо управляющему, и пошел прочь.

В дом идти не хотелось. Он направился в сад.

Урожай уже собрали, только в самом конце сада на яблонях и грушах дозревали осенние плоды.

Грустно в саду.

Пожелтевшие листья словно затихли, ожидая, когда ветер уронит их на землю, где им лежать, пока и они не превратятся в землю.

Кансав подошел к топчану, на котором любил отдыхать в жаркие летние дни, хотел прилечь, но на душе было беспокойно. Он не знал, чем унять свое разгоряченное сердце.

Нагнул до самой земли толстую ветку, померялся с ней силой, а потом отпустил, ветка взметнулась, осыпав его дождем из листьев. Покружившись, листья улеглись на земле, затихли, недолго подрожав, замерла и ветка.

В стороне от других, особнячком, как девушка, отбившаяся от стайки подруг, стояла молоденькая яблонька в пестром наряде. Кансаву захотелось сорвать свою злобу на ней — согнуть, вырвать с корнем.

«И что за блажь напала,— удивился князь сам себе,— ведь, кажется, не мальчишка, а со стороны, наверно, смешно посмотреть».

Вспомнил, как побил Мерзабеча, и какой-то горький смех вырвался из его уст.

«Совсем мальчишка».

И хоть он упрекал себя, было приятно сознавать свою силу, власть над людьми, знать, что никто не посмеет возразить, даже если он делает глупости.

«Человека старят не годы, а нужда и горе. И если он подчиняется несчастливо сложившейся доле, значит, он бессилен, он — старик. Я же еще молод и силен, хотя мне уже далеко за сорок. А Мерзабеча надо почаще учить плеткой. Хорошенько учить, чтобы рубашка на плечах разлезалась. Этот самодовольный дурак не понимает, что, когда тфокотлей много, их нужно гладить по головке, а бить поодиночке. Именно так мой покойный отец держал их в постоянном страхе и покорности... Все думают, что Мерзабеч предан мне. Чепуха! Он только там сноровист, хитер и верен мне, где видит собственную выгоду. Думает, я не догадался, как получилось, что именно его сын пришел в мой дом с радостной вестью о возвращении княжича и получил в подарок коня. Лучше бы лошадь стояла в конюшне или досталась тому, кто служит мне по велению сердца, чем этому мерзавцу!»

Кансав обогнул колодец и на выходе из сада увидел двух всадников, которые спешились у его ворот.

Что за люди? Вроде нездешние.

Присмотревшись, князь узнал их. «В прошлом году, когда приглашали на торжество, они не приехали. Зачем же теперь пожаловали? С дурной или хорошей вестью?» Но гости есть гости, и он, как того требует обычай, приветливо улыбнулся и воскликнул:

— Кого я вижу!.. О, добро пожаловать, дорогие соседи. Натухайцы нам как родные братья, недаром наши земли граничат с вашими. Эй, кто-нибудь, возьмите коней у дорогих гостей и хорошенько их накормите! Проходите, проходите: мой дом — ваш дом!

— Пусть добрым будет твой день, князь,— приветственно поднял правую руку Ахмед Шепако. Это был именно он, знаменитый костоправ, человек большого мужества. Всадники, видно, прошли немалый путь — так были запылены их черкески, устали лица.

Гостей повели в дом, тут же принесли им тазики с водой, чтобы умылись, освежились. Забрали черкески и унесли чистить.

Проводив Шепако и Устока в комнату, Кансав тут же вышел, чтобы они могли привести себя в порядок, и вернулся лишь после того, как им возвратили вычищенные черкески.

— Я вижу, вы прошли длинный путь, дорогие гости? — издалека начал князь.

— Так тебе показалось, князь? — вопросом на вопрос ответил Усток.

Князь понял, что они не собираются посвящать его в свои дела, и обиделся: их приняли как порядочных людей, оказали почет и уважение, а они... Да и вообще, кто такой этот Ахмед? Ну, ладно, хороший костоправ, но известен и своей ненавистью к богатым, возмущается тем, что бедных продают в рабство. Особенно ненавидит турок, торгашей, скупающих за бесценок несчастных людей... Но какое ему дело до всего этого? Его самого никуда не увозили, его родные и близкие никем не обижены. Так нет же — лезет в чужие дела. Ишь какой благодетель нашелся, как печется за других, будто кем-то уполномочен! Недавно об этом был разговор у мечети, и эффенди сказал, что Ахмеду за его смутьянство вечно гореть в аду. Лучше бы он сгорел здесь, на земле, другим бы жилось спокойнее.

Молчание было недолгим.

Принесли четлибж с мамалыгой, с красным соусом, крепко приправленным чесноком, и Ахмед, приступая к еде, сказал:

— Князь, мы заехали в Туабго, чтобы поздравить тебя с возвращением сына. Правда, уже прошло порядочно времени, как Алкес приехал в родной аул, но все-таки прими от нас самые лучшие пожелания. Мы не смогли приехать вовремя по твоему приглашению, находились далеко от дома, занимались важными для нас делами, но, тем не менее, адыгские обычаи обязывают нас не проходить мимо человека, который находится в беде,— это делает наш народ красивее, благороднее, а потому и сильнее. Радоваться люди тоже должны вместе. Радость скрепляет дружбу, она, как солнце, должна светить всем. Если этого нет, тогда радость будто щербатый горшок. — И Ахмед почтительно склонил голову перед князем.

Кансав с удовольствием выслушал эти слова. Они польстили его самолюбию, но тут же закралось подозрение: не может быть, чтобы эти мужики приехали просто так, бескорыстно. Ведь и сам Кансав ничего не делал просто так. Бескорыстны только круглые дураки.

Откуда было знать великому князю, что Ахмед далеко не «круглый дурак», а один из тех людей, которые свято чтут древние обычаи адыгов, если эти обычаи идут на пользу всем. Ахмед говорил: под любыми одеждами — шитыми серебром или грубыми, простыми нитками — человек, который чувствует боль, любит ласку, боится смерти и одиночества. И когда все люди поймут это, они объединятся друг с другом и станут счастливыми.

— Я бы показал княжича гостям,— не зная, о чем дальше говорить, сказал Кансав,— но он сейчас на побережье. Как некстати я его отпустил...

— Если княжич уже способен сам отправляться в такие дальние и опасные походы, тогда мы будем говорить о нем как о настоящем мужчине,— откликнулся Усток. — Я бы...

Он не успел договорить — внезапно раздался отчаянный женский крик.

Все вскочили.

— Что случилось, кто так кричит и почему? — спросил Ахмед.

Кансав явно смутился. Даже слегка побледнел, а потом вдруг покраснел.

Но вот крик повторился.

— Да не оставит аллах мой дом,— выдавил князь,— не знаю, как и сказать. — И, окончательно смутившись, князь умолк.

Ахмед успокоился и понимающе улыбнулся:

— Нелегка, нелегка женская доля... Пойдем, Усток. А ты, князь, от нашего имени пожелай великой княгине счастливо освободиться от бремени.

Не только Ахмед и Усток покинули усадьбу великого князя, ушли все мужчины — стар и мал — таков обычай...

Хоть Кансав и смутился, но и он, и княгиня Тлятаней долго ждали этого дня, и вот он наконец наступил.

Княгиня уже не молода, поэтому князь не находил себе места, опасался за исход родов, за жизнь жены... Время для него двигалось медленно, будто раненое, истекающее кровью.

— О аллах, не оставь своей милостью мой дом,— молился князь.

Ахмед и Усток еще находились в окрестностях аула, когда у Хаджемуковых родился сын. По ружейным выстрелам они узнали, что родился человек, который будет носить папаху. Весело переглянулись, потому что рождение человека — всегда радость, всегда победа над смертью, праздник продолжения жизни.

II

По сравнению с прошлым годом Алкес чувствовал себя сейчас на усадьбе отца увереннее, но память о доме Шеретлуковых не умирала. Стоило ему остаться одному, как он мысленно начинал бродить по Бастуку, вспоминал, как они с Али-Султаном дразнили соседскую собаку, просовывая палку через плетень, как уходили с сыновьями тфокотлей в горы, скрываясь от Наго и Дарихат, которые запрещали ему водиться с детьми низкорожденных. Вспоминались орлиные гнезда, найденные в горах, драки с мальчишками соседнего аула и конечно же веселые скачки на резвых скакунах. От этих воспоминаний его охватывало теплое чувство. А когда на землю спускалась ночь, какие сказки, какие страшные истории ему рассказывали! Он думал о прошлом, и сердце его начинало биться с таким же волнением, как и в те давние ночи на лугу или под скирдой.

Счастливая пора детства! Чего бы только не отдал Алкес, чтобы снова вернуться к старым друзьям, взглянуть на гору Пепау.

Но детство ушло и его никогда, ни за что, ни на минуту не воротишь. Тревожная грусть особенно сильно охватывала Алкеса, когда на околице Туабго он любовался шапсугскими горами. Он с трудом удерживался, чтобы не вскочить на коня и не умчаться к тем горам искать следы прошедших лет.

Совсем другого рода тоску наводили на него бжедугские степи. Куда ни кинешь взор — ровная, гладкая поверхность. Если подует ветер — негде укрыться, если взойдет солнце — за день пути не отыщешь тени. Ленивые равнинные реки не ласкают глаз горца — это не то что бурные холодные потоки воды, не умолкающие ни днем ни ночью, ворочающие на своем пути камни. Кажется, реки степей и не текут вовсе, остановились в безмолвии.

Но, несмотря на то что княжичу было неуютно в Бжедугии, он сознавал, что именно здесь раздался его первый крик, здесь искони живет род Хаджемуковых. Его род, его корень.

Когда Алкес всем своим существом уносился в Шапсугию, это ощущение подсознательно останавливало его, внутренний голос твердил: не уходи, здесь твоя родина, лучше этого места ты нигде не найдешь, хоть всю землю обойди. Как дерево засыхает без корней, так и ты засохнешь без родной земли, на которой покоятся могилы твоих предков.

С того времени как привезли княжича в Бжедугию, две мысли не давали покоя его воображению. Первая — завещание деда о путешествии в Каабу.

Забота эта свалилась на него нежданно-негаданно и ходит за ним как верная тень. Он знал: отец ждет его решения. И Алкесу надо решиться, чтобы князь Кансав сдержал слово, которое он дал отцу.

Сомнения Алкеса в необходимости поездки в Каабу имели причины. Воспитанный в Шапсугии, сердцем княжич не был готов принять мусульманство, которому верой и правдой служил его дед. Все восемнадцать лет, что бы ни случалось с ним, Алкес обращался к шапсугским богам, и теперь ему было страшно отвернуться от них, он боялся расплаты за отступничество. Алкес старался сочетать веру в старых богов с верой в аллаха, но это ему пока удавалось плохо.

Он не знал, что отец его догадывался о борьбе в душе сына и не торопил его, давая время все хорошенько обдумать. Кансав был уверен, что сын примет аллаха.

А время шло.

Слушая призыв эффенди с минарета, Алкес постепенно привыкал к мысли, что так и должно быть, что аллах един и всемогущ. Особенно по вечерам, когда загорались звезды и перед изумленным взглядом распахивались глубокие пространства небес, сердце его трепетало так, словно он прикоснулся к тайне мироздания. Хотелось найти опору, защиту — и эту защиту, эту опору обещал эффенди, призывая правоверных в мечеть на молитву.

А когда эффенди читал коран, за совершенно непонятными словами, сказанными на чужом языке, все-таки угадывался высокий смысл, и тогда Алкесу казалось, что на него снисходило господнее благословение.

В кунацких рассказывали, что в шапсугских аулах стали строить мечети, и это радовало Алкеса. И еще ему казалось порой, что тень деда витает над ним на незримых крыльях, чертит круги и не успокоится до тех пор, пока Алкес не выполнит его просьбу.

Вторая неотвязная мысль — о Джансуре, дочери князя Шерандука.

Алкес танцевал с нею, когда возвратился в дом отца, и с тех пор нежно хранил в груди вспыхнувший огонь.

Второй раз он увидел ее, побывав у князя в гостях. Но увидел только издали. Не может быть, чтобы у такой красавицы не было женихов. Наверное, не один джигит сохнет по ней. Алкес тосковал по Джансуре, но не смел открыть своей тайны. Ни ей, ни кому-нибудь другому. Если он уйдет в Каабу, девушку могут просватать, и тогда солнечный день в глазах Алкеса станет черным. Пусть Кааба подождет младшего, только что родившегося брата Батчерия. Если у отца два сына, они должны поровну разделить и любовь к нему, и обязанности перед ним. Батчерия уже увезли из дома, как в свое время Алкеса, и привезут через восемнадцать лет. Алкес устыдился своих мыслей: точно так же, как ему когда-то, еще не рожденному на белый свет, оставили завещание, он сейчас пытается навязать крошечному ребенку свой долг, взвалить на другие плечи свою ношу.

Лучше сегодня же сказать отцу, что больше не надо оттягивать, пора отправляться в Каабу.

Сказать.

Но как?

Ведь сын не имеет права заговорить с отцом первым, надо надеяться на случай или ждать, когда отец заговорит сам. Но он-то молчит, и неизвестно, сколько может промолчать.

Но случай как будто только и ждал от самого Алкеса решимости, в этот же день отец позвал его:

— Я приказал оседлать коней, поедем разомнемся немного.

Со смешанным чувством радости и тревоги бросился Алкес в конюшню, вывел своего белого красавца и ждал великого князя.

Всадники выехали из аула и поскакали не разбирая дороги. Скакали рядом, стремя в стремя.

Обоих тревожила одна мысль, но высказать ее было трудно, и каждый выжидал. Чтобы скрыть волнение, заговорили о пустяках, но из этого ничего не вышло: разговор скоро угас.

Вокруг расстилалась степь, теперь она уже не казалась Алкесу такой пустынной и безжизненной. Вот перебежал дорогу суслик, вон там, разбежавшись, тяжело взлетела дрофа. Кричали перепела, весело стрекотали кузнечики. Выжженные травы были похожи на седые волосы отца и бились под ветром.

— Отец, что же ты не спрашиваешь меня о Каабе? — не выдержал наконец Алкес.

Князь приостановил коня:

— Я сказал тебе все, что хотел, теперь дело за тобой.

— Я готов отправиться хоть сейчас,— ответил Алкес, испытывая при этом какой-то необъяснимый восторг.

— Спасибо, сын мой, других слов я от тебя и не ожидал. Но это не значит, что ты должен отправляться в путь немедленно. С этим нельзя торопиться — надо хорошенько подготовиться... Поездка в Каабу — не наказание, а, наоборот, доверие, оказанное тебе всем нашим древним родом. Тебе надо научиться понимать жизнь, повидать свет. Сначала, как говорят, наберись ума и приобрети мужество, и мы все поможем тебе в этом.

— Это же очень хорошо! — обрадованно воскликнул Алкес. — Значит, у меня есть еще время,— он подумал о Джансуре, и ему показалось, что его мечта может стать явью.

Отец и сын пришпорили рысаков и опять понеслись в распахнувшийся перед ними простор.

А вдалеке стояли горы. Величественные, недоступные и манящие.

III

На собственной шкуре узнал Мерзабеч силу своей плетки и никак не мог забыть, как бил его великий князь. Ему казалось, что спина до сих пор горит от ударов. Если бы Кансав ударил его раз-другой в гневе, Мерзабеч стерпел бы и тут же забыл: ведь бьют и своего ребенка, когда тот ослушается, введет роди-

теля в гнев, и ребенок недолго обиду помнит. Но князь бил его не в гневе, не разгорячась, а расчетливо — так бьют только врага. Тяжелый взгляд Кансава до сих пор преследует старшего байколя, снится ему по ночам.

Мерзабеча били и раньше, когда он был тфокотлем. Потом он выслужился, стал управляющим, научился уважать себя, ценить собственное достоинство и вдруг — такой позор!

Что делать?

Высоко вознесен великий князь, не дойдет до него боль обиды управляющего, и местью его не достанешь, значит, выход у Мерзабеча один — терпение. Надо молчать.

Но сердце-то молчать не хочет. Оно так настойчиво стучит в груди, словно требует: «Выпусти меня, дай мне свободу, и я само рассчитаюсь с обидчиком».

А как его выпустить, если оно в груди — как птица в крепкой клетке. И сам Мерзабеч как птица в клетке: он не волен сделать то, что хочется, не волен распрямить свои крылья. Кто посадил сердце в клетку? Кто придумал клетку для самого Мерзабеча?

Клетка. Но в этой клетке тепло и уютно, в ней есть корм и питье. Только неразумный может сломя голову бросить клетку, соблазниться небом. Но оно такое огромное, что в нем очень легко затеряться. Там гуляют такие ветры, что могут сломать крылья и потом швырнуть на землю. В поисках свободы можно легко и просто погибнуть в неистовом пространстве.

Можно жить и под замком. Можно научиться тайком открывать дверцу и улетать, чтобы потом, насладившись полетом, обязательно вернуться в клетку.

Вот такой дверцей и показалась Мерзабечу возможность повстречаться лицом к лицу с тфокотлем, из-за которого начались неприятности. Он-то не княжеского рода, они легко померятся силами. И тогда уж никто не скажет, что старший байколь трус, малодушен.

Тфокотля, послужившего причиной ссоры князя с управляющим, звали Ламжием.

— Да будет, о великий аллах, мой гнев справедлив, да обратится он на голову презренного Ламжия,— молился каждый вечер перед сном Мерзабеч.

Он ждал, когда настанет пора осенней вспашки полей, знал, что одним из первых в ауле выйдет на работу трудолюбивый Ламжий. Небольшой участок его расположен в низине, недалеко от леса, который принадлежит абадзехам. Никто не придет на помощь тфокотлю, никто не услышит его, и Мерзабеч вволю потешит свое сердце. Он еще не знал, что сделает с врагом: может, просто поколотит, а может, придумает что-нибудь остроумнее. Скажем, запряжет его вместо быка и заставит пахать землю, а чтобы слух об этом не пошел по аулам, отрежет тфокотлю язык. Пожалуй, именно так он и поступит! Поделом этому мерзавцу!

Дожди, которые пригнали в Бжедугию северо-западные ветры, наконец закончились. Установились погожие дни. Грустные, щемящие, чем-то напоминающие дни весны. Бывает в природе такая пора, когда осень и весна похожи, как сестры-близнецы, но продолжается эта пора недолго, она мимолетна.

Мерзабечу не сиделось на месте, не терпелось поскорее встретить Ламжия, но все получалось не так, как хотелось. Пахарей в поле было много. Ламжий все время держался поближе к людям, будто что-то предчувствовал. Но в один из дней случилось то, чего ждал Мерзабеч: Ламжий поехал в поле один.

Никого, кто мог помешать задуманному, поблизости не должно быть.

Вскочив на коня, Мерзабеч ринулся в поле. Подъезжая к тфокотлю, байколь услышал пение: Ламжий шел за плугом и пел. Пел так, что на его песню отзывалась степь, солнце в небе, ветер. Словно в такт песне качал своими верхушками лес, стоявший темной стеной. А борозды, уходившие к лесу, казались мелодией — протяжной, незатейливой и немного грустной.

Мерзабеч подскакал к пахарю:

— Что, Ламжий, пашешь?

— С божьей помощью.

— Поешь?

— Пою, да поможет мне аллах.

Рукава рубашки Ламжия закатаны, обнажены сильные загорелые руки. Крепкие ноги обуты в просторные домашние чувяки из коровьей кожи. Пот на лице смешался с пылью, широкий розоватый лоб блестел на солнце.

Мерзабеч вдруг почувствовал какую-то слабость в руках, во всем теле. Этот мужик не даст себя в обиду. Он сам может запрячь управляющего в плуг и пахать на нем, если до того дойдет. Сила у Ламжия прямо-таки бычья.

Мерзабеч на коне, а тфокотль пеший, но не только не кажется маленьким — наоборот, такое ощущение, что смотрит на байколя свысока.

— Аллах свидетель, Ламжий, не знаю, что тебя развеселило,— невольно приглушив голос, почти ласково заговорил Мерзабеч,— гляжу я на тебя — веселый ты...

— Веселый, потому что работаю,— откликнулся Ламжий,— видишь, сколько уже вспахал. Разве это не радость?

— Верно, верно... — Мерзабеч вспомнил, что и он, когда пахал свое поле, очень радовался сделанной работе. Разве забудешь радости и горести, связанные с землей? С тех пор, как Мерзабеч стал управляющим, он ни разу не держался за ручки плуга, но вот стоило вдохнуть теплый, густой запах только что вспаханной земли — и в сердце шевельнулась тоска по этой земле, извечная человеческая тяга к ней. Так, наверно, никогда не забывается мать, какой бы долгой ни была разлука.

Мерзабечу захотелось стать к плугу и пойти бороздой, вспомнить прошлое, когда он, хоть и не был сыт, был спокоен и ве-

сел, вот как этот Ламжий, и, как Ламжий, случалось, пел за работой. Конечно, Ламжий не понял байколя, его странное поведение, как и вообще не понимал: управляющий бывал то хитер, как лиса, то жесток, как голодный волк, а то, случалось, робок, как младший сын в семье. Правда, дело здесь не столько в самом Мерзабече, его характере, сколько в его должности. Если бы Ламжий стал управляющим, он, вероятно, был бы таким же, как Мерзабеч. Может, немного лучше, а может — хуже. Возделывать землю и служить великому князю — о, какая это разница!

— Кажется, тебе попалась мягкая земля, так легко идет плуг,— уже заискивал перед Ламжием Мерзабеч.

— Кого ласкаешь, тот всегда становится мягким и податливым,— ответил Ламжий. Он все еще не понимал, зачем здесь вертится управляющий, чего он хочет. Мерзабеч ему не страшен. Пусть только попробует сунуться, Ламжий может вместе с конем вышвырнуть его с поля, может защитить себя и свое поле. Недаром он чувствует в руках такую силу, какой не бывает ни у тех, кто вместо плуга держит меч, ни у тех, кто держит плеть надсмотрщика... Ламжий даже слегка пожалел этого человека: какое зло заставило его стать княжеским приспешником, добровольным рабом над рабами? Ведь настоящее счастье — это жить под вольным небом, не забывая своего человеческого имени, работать в поле не разгибая спины и, собрав урожай, отдыхать, веселиться, тешить своих детей до новой весны, пока не повторится все сызнова.

— Дай-ка я попашу немного,— не выдержал наконец Мерзабеч.

Удивился Ламжий, но молча уступил байколю место у плуга, с любопытством стал следить за ним.

Хорошенько поплевав на ладони, Мерзабеч взялся за поручни плуга и, широко расставив ноги, пошел за волами, оставляя за собой широкую черную борозду.

Взлетели, загорланили грачи!

Глубоко ушел в землю лемех плуга. Похрапывали от натуги волы.

У Мерзабеча от напряжения проступили на руках синие жилы, а в глазах зажглись огоньки азарта.

— Ну, как я пашу? Умею работать, скажи честно? — крикнул он на повороте.

— Аферем[1]! — искренне похвалил Ламжий. — Хорошо пашешь, глубоко. Вот соберу урожай и угощу тебя за добрую работу.

— Го-го-го! — от души хохотал Мерзабеч и все шагал и шагал за плугом.

Ах, как хорошо быть пахарем! И тебе радостно, и земле.

[1] «Аферем!» — возглас одобрения, по смыслу близок к слову «молодец».

Словно и она дышит всей грудью, недаром от нее исходит теплый, душистый пар.

Пахарь и земля сейчас, казалось, были едины — одна плоть, одна кровь. И волы тянули, не чувствуя усталости,— ведь больше всего устаешь от безделья, а не от доброй работы.

Хорошо на душе у Мерзабеча, и ему захотелось сделать что-нибудь приятное тфокотлю.

— Если хочешь,— предложил он,— бери моего коня и скачи, прогуляйся! Не пожалеешь — конь мой быстрый как птица. Скачи! Забудь ради аллаха нашу недавнюю ссору. Ссориться — бабье дело, джигитам это не пристало. Бери коня, скачи!

— Нет,— отказался Ламжий. — Не нужен мне чужой конь, какой бы он ни был быстрый!

Наверное, Ламжий был прав, ведь радость, что живет в собственном сердце, быстрее самого лучшего скакуна. У нее есть крылья. И у Мерзабеча были когда-то крылья, пока он сам не обломал их. А обиды Ламжий не помнит, если байколь первый заговорил об этом. Главное, чтобы Мерзабеч понял свою вину, понял, что был несправедлив.

Дойдя до межи, разделявшей бжедугские и абадзехские земли, Мерзабеч остановил волов, огляделся по сторонам, ничего не понимая: вспаханный участок Ламжия пересекал межу и тянулся по абадзехской земле.

— Этот кусок земли пустовал, бузина да бурьян на нем росли,— пояснил Ламжий, видя замешательство Мерзабеча,— вот я его и запахал: зачем землю обижать, отдавая ее сорнякам?

— А что скажут абадзехи?

— Они никогда ее не пахали, значит, она не нужна им.

Вытирая со лба пот, смотрел Мерзабеч на чужие земли. Вдалеке виднелись горы, покрытые лесами.

Не знавшая плуга, не тронутая скотиной земля, которую начал пахать Ламжий, тянулась до леса и словно уходила в небо над горами.

«Узнают абадзехи, убьют Ламжия. Как пить дать, убьют. И поделом! — злорадно подумал Мерзабеч. — Ишь ты, сколько земли запахал, разбогатеть решил, быдло!» Байколь даже не удивился тому, что у него вместо недавнего доброго чувства вдруг вспыхнула злоба.

— Аллах свидетель, ты правильно поступил,— сверкнув глазами, сказал управляющий. — Эта земля когда-то принадлежала нашим отцам и дедам, но пришли волосатые абадзехи и отняли ее у нас мечом и огнем.

— Среди абадзехов есть мои дядья и двоюродные братья,— пылко воскликнул Ламжий. — Зачем же ты говоришь о них плохо? И я вовсе не думаю, что они обидятся на меня за этот клочок заброшенной земли.

— А чего им обижаться? — сменил тон Мерзабеч. — Они еще спасибо должны тебе сказать, тем более что они твои родственники.

— И я так думаю. Грех землю томить сорняками — она ведь всем кормилица. Не злое, а доброе дело сделал я, но если они скажут — не трожь, я отступлюсь. Но неужели они так скажут, как ты думаешь?

— Не скажут,— хитрил Мерзабеч,— но только не забудь о княжеской доле, когда будешь собирать новый урожай. Позови меня, чтобы я сам увидел, сколько соберешь зерна.

Говорил байколь и радовался, что так хорошо все решилось: не взял греха на душу. Пусть этого мужика покарают руки таких же, как он, пусть абадзехи спустят с него шкуру, а уж они это сделают, надо только шепнуть им о захвате земли. Вот будет кровавая потеха!

IV

Не раз заговаривал Кансав с сыном о белом коне, подарке Шеретлуковых.

— Чем тебе не нравится мой конь? — наконец прямо спросил Алкес. — Наго с большим трудом нашел для меня такого красивого и резвого коня. Он объездил всю Шапсугию, посылал в Темиргойю и только в нижней Абадзехии отыскал этого красавца. Я знаю, хороший конь дорого стоит, но не только в этом дело: мой конь легкий, быстрый, ни разу не подводил меня.

Слушая, как княжич хвалил скакуна, Кансав понял, что конь очень дорог ему — это хорошо, джигит должен любить своего друга.

«Хорош, хорош у меня сын, наградил меня аллах достойно»,— думал великий князь, любуясь Алкесом. Лицо у княжича — белое, взгляд карих глаз — прямой, твердый. И черкеска, и кинжал на поясе, и коричневая каракулевая шапка — все ему идет, все его украшает. Отцовского в нем больше, чем материнского. Так и должно быть: пусть дочери наследуют материнскую красоту, а сыновья должны наследовать отцовское мужество. В любой толпе Алкес будет выделяться врожденным благородством движений, осанки. Щедро наградила его природа, вот только житейского ума, хитрости не дала, уж очень простодушен, но ничего, хитрость — дело наживное. И когда это придет к княжичу, из него получится настоящий великий князь Бжедугии.

Кансав помолчал, а потом сказал:

— Ты должен помнить, Алкес, я никогда не говорил, что конь плох, я говорил, что для настоящего джигита, отправляющегося в дальний поход, он не годится. Как ты думаешь, почему я так говорил?

— Не знаю, отец, но мне конь нравится. Может, плохо, что он белый?

— Вот ты и догадался, аферем! Конь хороший, не спорю, но тебе предстоят сложные и трудные дела, а то и просто рискованные, где будет испытываться твое мужество, и зачем тебе белый конь, по которому тебя всюду узнают. А иногда может статься тебе придется уходить от погони.

— Согласен, отец. Однако Наго может обидеться, если я откажусь от его коня. Как тут быть?

Глаза Кансава полыхнули огнем, как уже случалось однажды, когда сын слишком уважительно и даже подобострастно говорил о своем воспитателе.

— Да не держи ты в голове Шеретлуковых! Я заплатил им за твое воспитание, я дал им столько скота, сколько Наго не нажил бы за всю свою жизнь. Мы сделали их богатыми, а они вместо благодарности возгордились: «Чем мы хуже Хаджемуковых?! Нам тоже нужен княжеский титул!..» Но разве этот пучеглазый Наго, рожденный в грязи, не знает, какая кровь течет в жилах Хаджемуковых! Оттого, что сам себя назовешь зиусханом и заставишь это делать тфокотлей, князем не станешь. Титул не купишь ни за какие богатства, он дается от рождения, он от аллаха! И не думай, сын, что, отдавая тебя на воспитание Наго, я не знал его дурного характера, знал, но, когда он перед всем аулом попросил меня об этом, я не отказал ему, решил сделать для Шеретлуковых доброе дело. И вот тебе на! Не торопись, остерегайся делать добро. Делающий добро похож на того, кто близко сидит к костру: может согреться, но может и обжечься.

— Выходит, Шеретлуковы как бы соперничают с нами? — удивился Алкес.

— Пусть соперничают, — уже успокоившись, сказал Кансав, — я не против соперничества. Пусть все стараются стать лучше, богаче, иначе жизнь станет пресной, даже скучной. Но Наго мне не соперник, он просто наглец и очень неумный человек. Для меня главное — научить тебя жить, сделать достойным преемником великого княжества. Хотелось бы, чтобы ты не только слушал меня, но и следовал моим советам.

— Да, конечно, отец, — с готовностью отозвался Алкес. Он чувствовал, что многого не знает, и хотел узнать. Доверие отца ему льстило.

— Мужество приходит не к тому, кто сидит за чужой спиной. Знаешь ли ты это, сын мой?

— Да. Знаю.

— Надо всегда быть впереди, пусть трусы, слабые люди прячутся за твоей спиной. Но нельзя и сломя голову лететь вперед. Уйдешь слишком далеко, оторвешься от тех, кто составляет твою поддержку, силу, и погибнешь. Хитрость — тоже признак мужества, его обязательное качество, которым надо умело пользоваться, чтобы, опять же, не перехитрить самого себя... Не сторонись людей, не отталкивай тфокотлей, но и слишком к себе не подпускай. Умей, когда это выгодно, согласиться с ними, но умей и заставить их согласиться с тобой. Опять-таки если это надо тебе. Главное — не разменивайся по пустякам, как это иногда делает наш глупый Мерзабеч... Старайся, чтобы в голосе твоем всегда звучала твердая убежденность. Даже если говоришь неправду. У адыгов хорошая традиция — глубокое уваж-

ние к старшим, скромность молодых в присутствии старших, но не считай себя слишком молодым, не позволяй оттеснять себя в самый хвост. Во-первых, возраст у тебя на лбу не написан; во-вторых, ты князь, а это поважнее седой бороды простолюдина.

Глядя на сына, Кансав понял, что говорил слишком долго, слишком много обрушил на голову молодого человека, поэтому сменил тему разговора:

— Пойдем в конюшню, если хочешь увидеть коня, который заставит тебя позабыть своего белого красавца. Только знай, никто твоего прежнего любимца не обидит, аллах свидетель. Ты будешь показываться на нем в дни торжеств, на свадьбах, будешь участвовать в состязаниях.

Алкес вскочил — ему очень хотелось увидеть нового коня, ведь новое всегда интересно, возбуждает, тем более если это новый друг, твой спутник на трудных дорогах.

У конюшни коноводы подвели Алкесу вороного скакуна с подтянутым животом. Конь выкатывал крупные глаза, раздувал ноздри, вскидывал небольшую голову, рассыпая роскошную гриву. На его груди не было лишнего жира, ноги — крепкие, стройные и нетерпеливые. Казалось, дай коню волю, он оттолкнется и взлетит.

— Посмотри, зиусхан, на завитушки волос по бокам шеи, под нижней челюстью,— обратил внимание княжича коновод.

— А что они означают?

— Это, зиусхан, верный признак резвости скакуна, он говорит, что конь быстрый как ветер. — Коновод опустился на корточки: — Посмотри и на эти костяные сосочки у копыт — это тоже знак того, что скакун очень быстр на бегу.

И все-таки белый конь был красивее. Правда, Алкесу и в голову не приходило, что есть такие признаки породы. Он не знал, есть ли они у белого коня. Да и не это главное, надо посмотреть коня в деле...

Кансав угадал мысли сына и сказал тфокотлю:

— Все твои слова бесполезны,— не такой уж мой сын простак, чтобы поверил на слово. Седлай-ка обоих коней, посмотрим их в деле.

Оседлали.

Алкес сел на своего любимца, а тфокотль — на второго.

— А теперь скачи, зиусхан, вперед. Когда доскачешь до того кривого дерева, я поскачу за тобой и догоню.

— Да нет уж,— возразил Алкес. — Ты скачи первым, а потом поскачу я, и там посмотрим, кто кого,— не без обиды возразил он.

— Не обижайся, зиусхан, но лучше попробуем так, как я сказал. Если не догоню, значит, твой конь быстрее.

Алкес согласился, поднял коня на дыбы и бросил его в галоп. Ветер засвистел в ушах у княжича, пригнули головы испуганные травы. Летел он и думал: никогда никому не догнать

их, зря похвалялся паршивый тфокотль, но... Что такое? Его обходит вороной конь! Обошел, оставил далеко позади!

Алкес рассвирепел, но гнев прошел быстро: ведь и этот, вороной, тоже принадлежит ему. Его новый друг!

Обменявшись конями, они вернулись.

Ах, как легок на ходу вороной, как послушен всаднику!

V

Род Шепаковых — один из самых древних на шапсугской земле. Род этот невелик, но корни пустил прочно. У Ахмеда пятеро старших сестер. Они уважают его и чтут как единственного, кто носит в их семье шапку: такой обычай — мужчина всегда старший, все женщины семьи обязаны уважать его волю.

Во всей Шапсугии не было искуснее костоправа, чем отец Ахмеда, покинувший этот мир в прошлом году. Слава о нем разнеслась за пределы родной земли, к нему приезжали за советами из Убыхии, Темиргойи, Бесленеи, Кабарды. Прекрасно знал он и лекарственные травы, знал, как лечить ими. В народе о нем говорили: «К кому прикоснется мудрая рука Дамеза Шепако, тот выздоровеет, обретет вторую жизнь. Если ты не знаешь Дамеза, зря живешь на свете».

Вот таким удивительным человеком был Шепако-старший. И недаром бог дал ему после пятерых дочерей сына, утешение на старости лет, наследника его делам. Рано привлек старый Дамез мальчика к своему лекарскому делу. Ахмед вырос, окрепло его мастерство... Добрую славу отца нетрудно разменять на худую. Э-э, сколько таких примеров знает жизнь! Но Ахмед кроме знаний, унаследованных от отца, обладал мужеством — это позволило ему приумножить добрые дела всего их трудового рода.

Мать Ахмеда — высокая, худая женщина. Очень подвижная, хотя пожилая. Вот уже минуло полвека, как пришла она в этот дом хозяйкой. Взяли ее из верхней Абадзехии, но никто в ауле не помнил, чтобы она говорила на абадзехском диалекте. Ничем не отличалась белолицая жена Дамеза от женщин этого аула. Он ласково называл ее абадзешкой, и это ей нравилось. Дамез любил свою жену, долгие годы прожили они в любви и мире, хотя всякое приходилось переживать, терпеть... В ауле до сих пор помнят, как она сломала ребро мужику, который напал на нее, когда вместе со старшей дочкой она несла мужу обед в поле. Незнакомец бросился на нее — то ли затем, чтобы отнять еду, то ли обидеть. Она так отшвырнула его, что, упав на придорожный валун, он сломал себе ребро. Женщина помогла ему подняться и, когда он пришел в себя, отпустила на все четыре стороны.

Вот какой была мать у Ахмеда, который и статью, и честью,

и добротой походил на нее,— ведь недаром говорят: яблоко от яблони недалеко падает.

Полдень.

Все утро Ахмед убирал кукурузу, ломал початки.

Жарко.

Издалека так заманчиво доносилось журчание горной речки, что хотелось пойти искупаться, смыть пот и сбросить усталость. Но усталость была сильнее желания — не хотелось даже двигаться.

Рядом мальчишки играли в гур. Четверо были постарше и посильнее, захватили ямки и гоняли младшего, не давая ему забросить деревяшку в пятую, свободную ямку. Малыш сопел, смахивал со лба пот и сопел, злился на шапку, которая то и дело падала с головы, а какой джигит позволит, чтобы шапка покинула хозяйскую голову. Только если голова покинет шею.

Ахмед улыбался, глядя на детей. Когда-то он сам любил поиграть и в гур, и в другие игры. Ах, если бы повернуть время вспять и пуститься взапуски по лужайке. С визгом, со смехом! Да так, чтобы только пятки мелькали.

Мальчишка, которого совсем загоняли, наконец выдохся и бросился на землю. Он, кажется, даже заплакал от обиды.

— Эй, парень! Дай-ка мне твою шапку, я повожу за тебя деревяшку, пусть попробуют меня погонять. Я им покажу, как надо играть в гур! — крикнул Ахмед.

Отозвался не мальчик, а Усток:

— Эй, Ахмед, неужели ты станешь возиться с детьми? Если хочешь, вставай против меня. Давай померяемся силой.

Разговор старших устыдил ослабевшего мальчишку, придал ему силы:

— Я никому не дам свою шапку. Сам отыграюсь!

— Ишь ты! Молодец! Хорошо, что у тебя есть гордость. Никому не позволяй тебя унижать. Крепко держись на ногах и береги шапку, не позволяй ей слетать с головы,— подбодрил Ахмед малыша и повернулся к Устоку: — Чем это ты занимаешься, что тебя так давно не видно? Может, женился да скрываешь от друзей? Может, у тебя медовый месяц?

Усток вспыхнул, как девушка. Всему аулу известно, что он хочет жениться, да никак не справится со своей застенчивостью. Мать его уже устала жаловаться соседкам: «Совсем стара я стала, ослабла, жду невестку в дом, помощницу, а сын шарахается от женщин, как конь от плетки,— будто и не джигит».

— Да отстань ты от меня! — с досадой воскликнул Усток. — Как ты можешь говорить такое? А еще другом называешься.

— Неужели еще не женился? — не отставал Ахмед. — Или собираешься остаться бобылем?

— Не-ет. Не надо так говорить,— попросил Усток. Разговоры на эту тему его мучили и в то же время волновали.

— А если не хочешь быть бобылем, я помогу тебе найти невесту. Мы привезем ее прямо в твой дом, только скажи.

— Не привезете,— уныло ответил Усток. — Где вы возьмете невесту?

— Свою отдам! — подзадоривал друга Ахмед.

Неизвестно, как долго бы они говорили об этом, если бы на дороге не появился всадник. Перед ним, взбивая дорожную пыль, трусила телка.

— Не Анзаур ли это? — недоуменно спросил Ахмед.

Всадник тем временем подъехал совсем близко, спешился. Это и в самом деле был Анзаур.

— Входи, гость! — широким жестом приветствовал его Ахмед и, возвращаясь к прежнему игривому тону, спросил: — Ты, наверно, подрядился разыскивать пропавшую скотину и доставлять ее хозяевам всех аулов благословенной Шапсугии? Может быть, хвала аллаху, ты нашел и телку вдовы Мастана, которую в прошлом году задрали волки?

— Это твоя телка, Ахмед,— ответил гость.

— Мать,— позвал Ахмед, оборачиваясь к дому,— разве у нас пропадала когда-нибудь телка? Выйди, помоги мне признать эту скотину. Может, я и вправду ее хозяин?

— Не напрягай память, Ахмед, я пригнал эту телушку в благодарность за то, что ты вылечил моего мальчика,— спокойно ответил Анзаур.

— Ты же знаешь, что я не беру плату за лечение.

— Знаю. Но это не плата, а благодарность.

— Благодарность в душе человека,— начал сердиться Ахмед. — Я и не знал, что это чувство имеет рога и копыта. Ты меня обижаешь. Не возьму я эту телку.

— Что же, гнать ее назад? — испугался Анзаур. — Может, ты и прав, говоря о благодарности, но на этом настояла мать. Попробуй ослушайся. Если я вернусь обратно с телкой, она не даст мне житья. Нет уж, поступай как знаешь, а скотину назад я не погоню, хоть убей меня на месте.

Усток, молчаливо наблюдавший эту сцену, наконец не выдержал:

— Не обижай гостя, Ахмед. Прими подарок.

Ахмед знал, что такое принять подарок. В следующий раз ему постараются вручить что-нибудь подороже: двух телок или коня, а может, штуку сукна или сумку пороха. И не будет этому конца, потому что молва бегает по свету быстрее самых быстрых скакунов. И те, кто не смогут принести подарка, просто не придут к нему за помощью, это им будет не по карману. А отец, умирая, завещал помогать людям, не различая, в богатой или бедной они одежде. Если Ахмед уступит хоть раз, он не сумеет выполнить завет отца, тогда боги и отец, с которым он встретится на том свете, не простят ему. Что страшнее такой участи? Почему же друзья не понимают этого? Если они не поймут, кто поймет? Как ему жить тогда?

Он грустно огляделся вокруг.

Все так же ясно светило солнце, журчала вдалеке речка, бегали, резвились пацанята.

— Эй,— позвал Ахмед того самого мальчишку, который был слабее своих товарищей,— поди сюда.

Мальчик подбежал.

— Видишь эту телку? — серьезно спросил Ахмед. — Сумеешь пригнать ее к себе домой?

— А что ж тут такого! Конечно,— мальчишка приподнялся на цыпочках, чтобы казаться выше.

— Так вот, бери ее и гони домой. Скажешь матери, что Шепаковы дарят ей эту телку.

Анзаур слышал весь разговор Ахмеда с мальчиком. В его сердце боролись два противоположных чувства: обида и восхищение бескорыстностью друга. Чувство восхищения победило. Не так уж часто приходится встречать такого человека, как Ахмед...

Мать Ахмеда накрыла на стол и пригласила пообедать чем аллах послал.

Усток и Ахмед сели за стол и принялись было за еду, но увидели, что Анзаур молитвенно поднял руки и стал что-то шептать, шевеля губами.

Друзья тоже сложили молитвенно руки и слушали Анзаура. Лица их стали серьезными.

Окончилась молитва.

— Ты прямо волшебник, Анзаур,— сказал Усток,— без единого слова заставил нас делать то, что делал сам. Наверно, твоя вера добрая и искренняя и не нуждается в насилии. Ты — чистый эффенди.

— Какой из меня эффенди! — смущенно возразил Анзаур. — Даже сам Шалих, хотя и учился в Мысыре[1], еще не знает всех тонкостей богослужения. А что обо мне говорить? Хоть меня и назначили муэдзином[2], я — простой крестьянин и знаю свое место. Но мне бы очень хотелось служить аллаху. И не за вознаграждение, а потому, что этого просит душа. Она, моя душа, принадлежит аллаху, как и твоя, и всех людей в подлунном мире.

— А кому принадлежит тело? — вмешался Ахмед. — Тело, которое так хорошо знал и умел лечить мой отец. Оно тоже принадлежит аллаху?

— Аллах всемогущ,— ответил Анзаур,— без его позволения ни один волос не упадет с головы человека, но тело принадлежит земле. Оно из праха взято и в прах возвращено будет, только душа бессмертна.

— Как-то не заметил я, чтобы люди придавали такое большое значение душе, какое они придают телу. Его кормят, оде-

---

[1] Мысыр — так адыги называют Египет.

[2] Муэдзин — помощник эффенди.

вают, лелеют и оплакивают именно его, когда душа отлетит на небо. А разве ты сам введешь в дом девушку, будь она калека или уродина? Значит, в ней ты прежде всего ценишь тело, а не душу. Да и самой душе нужно тело сильное, красивое, а слабое, больное она быстро покидает. И тогда нет человека. Я считаю, что душа и тело едины. — Так закончил свою неожиданно долгую речь Ахмед. — Прости, если я как-то оскорбил твои чувства. Я не умею говорить так сладко, как твой эффенди, но у меня тоже есть свои мысли и своя вера.

— У каждого должна быть вера,— ушел от прямого ответа Анзаур.

Ахмед был возбужден темой разговора, и ему захотелось его продолжить:

— Скажи, а кому принадлежат мечети?

— Мечети принадлежат тому, кто их построил,— осторожничал Анзаур.

— Выходит, что между родовитыми и аллахом прямая связь. Тогда получается, что тфокотли здесь ни при чем. Они лишние.

— Как ты можешь такое говорить?! — удивился Анзаур. — Все мы дети одного отца: и бедные и богатые. Аллах не делает между нами разницы.

— Ты не хочешь смотреть правде в глаза, твоя вера ослепила тебя. Ведь ты не хуже меня знаешь, что Наго Шеретлуков недавно выгнал тфокотлей из мечети, сказав, что там нечего делать всякой рвани. Только он и ему подобные могут ходить в мечеть, совершать намаз и тем самым готовить себе место в раю. Наго не хочет быть в раю вместе со своими работниками и слугами. Может, существуют два рая и два бога?

— Ты богохульствуешь, Ахмед,— совсем растерялся Анзаур. — Бог один, и рай у него один. Каждый может удостоиться милости аллаха, если будет служить ему и не искушать уста нечистыми речами. Наго совершил ошибку, он будет наказан за нее. Но не нам, смертным, судить человека — это божье дело. Тфокотли возвратятся в мечеть. Эффенди уже увещевал Наго, и тот понял, что совершил ошибку. Шеретлуковы испугались не соседства с тфокотлями, а того, что они, собравшись вместе, почувствуют свою силу. Все вместе они конечно же сильнее любого родовитого. Но аллах не позволит обратить их силу во зло против родовитых. Любая власть, богатство и бедность, счастье и страдание — все от аллаха.

Ахмед устало махнул рукой, он почувствовал, что они с Анзауром, хоть и говорят об одном и том же, не понимают друг друга.

— Почему же от бога? — переспросил он. — Вот ты сегодня подарил мальчику свою телку, ты дал ему власть над этим животным, принес достаток в дом, но ты человек, а не бог.

— Это не я дал, а ты,— улыбнулся Анзаур. — Это твое доброе дело, оно тебе и зачтется.

— Да разве я затем это сделал, чтобы мне зачитывалось на небесах? Я на земле живу, и земные дела меня волнуют больше, чем небесные.

— Что ж, Ахмед, разве ты не хочешь признать мусульманскую веру? — спросил Анзаур и впервые за всю беседу строго посмотрел в глаза Шепако.

— Это другое дело,— Анзаур ответил прямым и твердым взглядом. — Почему же мне не признать ее, если в ауле признали все? Одинокий всадник далеко не ускачет.

Анзаур облегченно вздохнул. Его тоже мучили многие вопросы, на некоторые из них не мог ответить даже Шалих, но его вера была горяча и искренна. Он винил свое невежество и думал, что аллах вечен, мудр, а люди слабы и ничтожны, им трудно понять мудрость небесного отца, но когда-нибудь они все же научатся его понимать и многие мучившие их вопросы разрешатся сами собой.

— Да,— вспомнил Анзаур,— прости меня, но эти бородатые абадзехи, которым ты приходишься племянником,— неразумные и жестокие люди. Сегодня я услышал неприятную новость: какой-то тфокотль бжедугского князя работал в поле и распахал участок брошенной абадзехами земли. Она пустовала и веками ничего не давала людям. И вместо того чтобы порадоваться богоугодному делу, абадзехи жестоко избили тфокотля, сломали ему ребро, хотя он, говорят, сильный и мужественный человек. Видимо, на него напало несколько человек. Одному или двум с ним не справиться. Вот только имя этого тфокотля я забыл: не то Ламжий, не то Шаджий.

— Ты говоришь о Ламжии, сыне моей тетки,—побледнел Ахмед. — Откуда ты узнал об этом?

— По пути к тебе встретил бжедугского тфокотля, он и рассказал мне эту историю.

Ахмед взволнованно поднялся:

— Что же ты так долго молчал, может быть, Ламжию нужна моя помощь? Нельзя медлить, если человеку плохо. Не знаю, поможет ли ему аллах, а помощь лекаря очень нужна.

Тотчас встали Усток и Анзаур.

Вскоре за тремя всадниками заклубилась серая дорожная пыль.

VI

Великий князь Кансав не ошибся, подарив сыну этого коня. Он сам выбрал его в табуне. Поначалу прошел мимо неказистого на вид животного: «На него не только князь, но и уважающий себя тфокотль не сядет».

С коня еще не сошла прошлогодняя шерсть, мохнатая, неухоженная, он робко переступал с ноги на ногу, будто боялся упасть. Только одно привлекло тогда внимание Кансава: заслы-

шав даже самый легкий шум, лошадь совершенно преображалась: настораживалась, вытягиваясь в струну, как охотничья собака делает стойку. Стойка была красивой — тело напряженное, мускулистое.

Хорошо, что князь послушал конюха и не прошел мимо скакуна, который и в самом деле оказался крепким и быстрым конем.

Сегодня князь с улыбкой наблюдал, как Алкес то и дело подходил к лошади, ласково гладил ее, разговаривал с ней. Кансав знал, что мужество джигита проверяется и добывается в седле.

С улицы донесся какой-то шум. Князь увидел, что сын тоже смотрит в ту сторону. Не понимая, что бы это могло означать, Кансав вышел на веранду. С вилами наперевес куда-то бежали тфокотли. Их обогнали несколько всадников. Схватив вилы, бросился за ними и конюх, стоявший во дворе рядом с Алкесом.

— Да что там случилось? — раздраженно спросил князь.

Отвечать было некому: Алкес тоже сел на коня, намереваясь догнать всадников.

— Алкес, вернись!

— Я хотел посмотреть, что там произошло,— ответил сын, с трудом сдерживая горячившегося коня.

— Аллах знает, что там происходит! Не смей вмешиваться в это дело. А где Мерзабеч? Пусть он сходит и все выяснит.

— Он с утра не показывался.

— А ты тоже хорош! Без байколя, без оружия и туда же! Горячая голова — плохой советчик. Вернее сказать — никакой не советчик...

Вскоре с двумя всадниками прискакал Мерзабеч. Он понимал, что провинился перед князем, и виновато начал:

— Я был там, зиусхан, где люди подняли переполох...

Князь молчал, хотя его и мучило любопытство.

Молчал и Мерзабеч, дожидаясь, когда князь спросит о причине переполоха. И не дождался:

— Вчера вечером, зиусхан, абадзехи напали на твоего тфокотля, избили его до полусмерти...

— Как звать тфокотля? — равнодушно спросил князь.

— Ламжий, зиусхан.

— Почему же я до сих пор не слышал, что случилось на моей земле с Ламжием?

— Вчера вечером тебя не было, зиусхан, и я не смог сказать тебе об этом.

— А сегодня утром?

— Ты отдыхал, и я не посмел беспокоить тебя, зиусхан.

— А князю Алкесу ты не доверяешь? — едва сдерживая себя, спросил Кансав. Впервые в разговоре с байколем он назвал сына князем. — Разве не все равно, кому доложить: мне или Алкесу? Или ты думаешь, в этом доме нет хозяина? Нерадивый

слуга — позор для господина! И мне нетрудно догадаться, почему с Ламжием случилась беда,— он всегда больше старался для самого себя, чем для своего зиусхана.

— Ламжий вспахал землю абадзехов, зиусхан, и расплатился за это кровью,— почтительно вставил Мерзабеч.

— Пусть каждый знает границу своей земли и не протягивает руки к чужому добру. С ним поступили правильно. Я бы сделал то же самое, если бы какой-нибудь соседний князь решил отобрать мои пастбища или моих слуг.

Потом князь обратился к сыну:

— Я правильно сказал тебе, не надо вмешиваться в суету, пока не узнаешь правды и сути дела. Аллах знает, что творит, а мы, простые смертные, не перестаем удивляться его великой мудрости. Пойдем, Алкес, у нас есть свои дела.

— Но, зиусхан, наши тфокотли хотят идти бить абадзехов, хотят воевать! — вскричал Мерзабеч.

— Кто с кем хочет воевать?! — лицо князя стало напряженным и злым.

— Бжедуги с абадзехами,— испугался Мерзабеч.

— Разве у них нет князя? — грозно и в то же время вкрадчиво начал Кансав, и глаза его вспыхнули, как у рыси, готовящейся к прыжку. — Разве нет аллаха на небе, если эти, рожденные в навозе, норовят сесть на княжеское место?.. Выходит, нет,— сам себе ответил Кансав. — Однако власть в моих руках. Распорядись, Мерзабеч, послать за князем Шерандуком. Да скажи, пусть он оповестит обо всем соседних князей. Вели уоркам седлать коней.

— Сообщи и Шеретлуковым,— подсказал Алкес и выжидательно посмотрел на отца.

— Нет нужды сообщать Шеретлуковым,— ответил отец, не глядя на княжича. — Им бы самим совладать с огнем, который бушует...

...Абадзехи живут на юге адыгской земли, в горах, поросших лесами. С запада они граничат с шапсугами, на востоке с темиргойцами. Абадзехи — горцы. Горы для них — дом родной. Крутые нравом, мужественные, они обходились без князей. И Кансав всегда думал об абадзехах с опаской: «Если у племени нет князя, оно неуправляемо, от такого народа всего можно ждать».

Конечно, и бжедуги не лишены мужества, у них есть оружие и сила в руках, чтобы держать его. Проучить нечестивцев огнем и мечом — дело богоугодное.

Но Кансав умен и понимает, что покорить абадзехов ему не удастся, он не сможет завоевать их земли, скорее потеряет свои. В Бжедугии холмистые степи, укрыться негде, а абадзехов укроют горы. Если бы князю нужна была добыча, он выбрал бы более слабое, незащищенное племя. Однако даже в этом случае идти одному небезопасно, надо объединиться с другими князь-

ями. А объединившись, надо делить с ними и славу и добычу...

Да и не нужно всего этого великому князю. Если его крестьяне станут воинами, узнают вкус крови, потом их не остановишь. Дать им в руки оружие — значит быть готовым к тому, что это оружие в любое время может повернуться против самого великого князя. Тфокотли и так уж слишком вольничают — вон какое серьезное дело задумали, не сказав ему ни слова, не спросив его совета. Это опасно. Очень опасно!

«Что мне абадзехи, если собственные тфокотли не менее опасны, чем они», — думал Кансав.

Прискакал бжедугский эффенди Мербах.

— Что за тревога, зиусхан, поднялась в ауле? — спросил он, спешившись у ворот. Эффенди смуглолиц, крепок. На вид ему лет тридцать пять, хотя на самом деле намного старше. Видно, сладкая жизнь у служителя аллаху: сытно ест, мягко спит, и никаких забот.

— Пойдем, эффенди, сами узнаем, что там стряслось, — ответил князь. Он не сомневался, что эффенди прежде него все узнал, но хитрит, юлит.

— Оказаться среди разгневанных людей, зиусхан, все равно что попасть в грозу. Я уже слышу раскаты грома.

Было ясно, эффенди трусит, хочет избежать неприятностей.

— Раскаты грома не так страшны, Мербах, — возразил князь. — Будет плохо, если молния ударит и подожжет нашу землю.

Эффенди не нашел, что добавить к словам князя. Они молча сели на коней и отправились в верхнюю часть аула, где затевалось нечто грозное.

На пустыре, раскинувшемся напротив дома Ламжия, собрались тфокотли со всего аула. Гневные голоса крестьян сливались с перестуком деревянных вил на их плечах. Кое-где виднелись и ружья. Несколько пеших и конных тфокотлей были вооружены луками.

Женщинам передалась тревога мужей и сыновей. Они стояли кучками чуть поодаль и тоже шумели, как растревоженные пчелы.

Толпа мужчин напоминала стаю воронов. Вот так же в предчувствии наступающих холодных ветров и снега кричат эти птицы, летают, садятся группами в поле, тревожно кружатся и кричат, кричат, возбуждаясь все больше.

Кансав взглянул в ту сторону, где были расположены аулы князя Шерандука, но никого из тех, за кем он послал, пока не было видно.

Все ближе тфокотли.

Все громче их голоса.

— Надо заставить абадзехов извиниться, иначе они не дадут нам житья!

— Правильно, надо!
— Хватит терпеть их оскорбления!..
— Кровь за кровь!
Когда великий князь приблизился к тфокотлям, эффенди выехал вперед, остановился перед толпой и поднял руку:
— Уймитесь, правоверные! Едет сам великий князь! — Тфокотли притихли. Ближние сняли с плеч вилы. Некоторые из конных спешились, однако большинство не выказало особого почтения к великому князю. — Чтящие великого аллаха мусульмане! Что за тревога охватила вас? — продолжал эффенди, возвышая голос.
— Посмотри, что абадзехи сделали с Ламжием! — раздались из толпы крики. — Он едва в живых остался. Всем нам нанесли кровную обиду, которую мы не можем и не хотим простить!
И грянуло:
— Кровь за кровь!
Кансав до боли в глазах всматривался в степь. Наконец он заметил всадников — вероятно, это князь Шерандук.
А в стороне абадзехов все было спокойно: мирно возвышались горы со снежными вершинами, ветерок доносил оттуда запах трав. Край, объятый тишиной, был красив, строг. Один вид его внушал ощущение покоя. Да, люди сами не хотят жить спокойно: ссорятся, обижают друг друга. Вид крови раздражает их, как хищных зверей.
Ах, как неразумны дети добрых гор, степей, лесов!
— Говорят, кто съел обиду, тот съел и голову обидчика. Чтящие бога, послушайте меня и смягчите свои сердца. Сейчас совсем не время для объявления войны абадзехам: аллах требует, чтобы мы жили в мире. Князь подтвердит мои слова,— умиротворяюще говорил эффенди. — Когда аллах захочет покарать неверных вашими руками, он даст знак, и ваш князь поведет вас в бой. Тогда аллах дарует вам победу. Но сейчас не идите против аллаха, против воли князя и моего благословения. Иначе — горе вам! Горе вам, вашим женам и детям, если вы ослушаетесь нас!..
Между тем всадники князя Шерандука приближались. Кансав с надеждой посмотрел в их сторону.
— В ком горит пламя обиды, кто хочет воевать, пусть выйдет вперед и станет передо мною! — твердо произнес князь. Потом грозно добавил: — Получается, что у бжедугов нет великого князя!..
Ни один из тфокотлей не вышел вперед.
Стало тихо. Так тихо, что было слышно, как стрекотали в траве кузнечики, как переступал с ноги на ногу чей-то конь.
В это время подоспели байколи и уорки князя Шерандука и встали рядом с великим князем бжедугским.
Тфокотли начали неторопливо и неохотно расходиться.

Глава четвертая

1

Наго знал Мамруко давно. Когда-то, возвращаясь из Крыма, он заехал на базар в Каплу и там познакомился с торговцем. Ехали с базара вместе, а потом Мамруко много раз навещал Шеретлукова.

Никогда еще не спешил Мамруко так, как в этот вечер, пробираясь Бастукской возвышенностью. Он был не один, но спутник его выглядел странно — сидел в седле связанным.

— Куда мы приехали, Мамруко? — спросил юноша.

— А тебе-то чего? — грубо отозвался Мамруко. — Или так уж не терпится покинуть родные края, что и помолчать не можешь?

Тон торговца был насмешливым, а на лице играла довольная улыбка.

— Язык-то у меня пока свободен, хоть этим попользоваться. Вот развязались бы веревки на руках и ногах, чтоб я мог свернуть тебе шею, как паршивой овце. Вырвать бы твое проклятое сердце и бросить его шакалам. Будь ты проклят людьми и богом!.. Но запомни, Мамруко, куда бы ты меня ни продал, хоть в Турцию, я буду жить. Мне не себя жаль, жаль, что ты свободно гуляешь по земле. Я не успокоюсь, пока за кровь моего отца не пролью твою поганую, пока не задушу тебя собственными руками. Это желание поможет мне выжить, в какой бы тяжелой неволе я ни был. И я извещу тебя, когда соберусь напасть, не буду, как ты, набрасываться сзади.

Мамруко громко рассмеялся. Его давно уже не трогали и тем более не пугали жалобы и проклятия жертв.

Несчастный юноша, измученный душой и телом, сплюнул и отвернулся.

Гора Пепау, розовая от заходившего солнца, казалось, была почти рядом. До нее будто рукой подать, но разум подсказывал, что глаза ошибаются, им нельзя верить — гора далеко.

Так и желанная свобода может обманывать, дразнить своей близостью, доступностью, а на самом деле оставаться далекой и несбыточной.

Впереди простирались бесконечные леса. Над дорогой нависали огромные валуны. Обнаженные корни, напрягшись, будто мускулы таинственных рук, вцепились в склоны. В родной Темиргойе ему такого видеть не доводилось, а все, что чуждо, что внове человеку, пугает воображение. Но пленник, видимо, был не из робких. Он с жадностью смотрел по сторонам, стараясь запомнить дорогу.

В разные стороны разбегались ущелья. Возносились стремнины.

Все чужое, но только небо — такое же голубое и светлое, как над родным аулом.

— Ты, я вижу, силен! — уже без насмешки сказал Мамруко, размышлявший все это время над словами юноши. — Если бы ты мог убить меня, то наверняка бы убил. Не пожалел. А с виду ты еще такой молодой. Прямо мальчик.

— Я — мужчина! — отрывисто бросил пленник. — Меня зовут Дзепш. Запомни это имя.

— Ну, Дзепш так Дзепш, какое мне дело до твоего имени,— примирительно ответил Мамруко. Мысли его перекинулись на другое: пора было позаботиться о безопасности — впереди лежал аул. И Мамруко беспокоился, как бы этот хвастливый мальчишка не поднял шума, как бы не набежали на крик из аула люди.

А Дзепш все смотрел по сторонам и запоминал. Когда он увидел в самом низу долины пашню, то задрожал от волнения. Пот крупными каплями выступил на лице. Он вспомнил отца, убитого позавчера в борозде. Беда свалилась неожиданно, когда они пахали свое поле. Отец так и остался лежать неподвижно, поливая кровью свой крохотный участок земли, а Дзепша связали и вот уже вторые сутки везли неизвестно куда. Он даже не успел проститься с отцом, как велит обычай, и это мучило не меньше, чем сама смерть отца и собственный позор.

За время пути никто не попадался на глаза, стороной объезжали аулы.

О, если бы кого-нибудь увидеть и поднять шум! Люди помогли бы ему освободиться.

Горный аул, показавшийся вдалеке, придал пленнику силы. Он весь подобрался, будто изготовился к прыжку.

Достигнув поворота, Мамруко остановился.

«Что он задумал?»— у Дзепша екнуло сердце... Осмотрелся: тихо, пустынно вокруг, только призывно маячил дымками аул.

Солнце уже зашло, и в долине стало темнеть. В домах загорелись огоньки — трепетные, ласковые. И только Дзепш собрался всей грудью свободно вздохнуть, как Мамруко ловко засунул ему в рот кляп.

— Мне думается, что так будет спокойнее и тебе и мне. Не сердись,— рассудительно произнес он. — И не шевелись. Если будешь вертеться в седле, отсеку башку. Камнем упадет она к ногам твоего коня. И тогда уж прощай не только свобода, но и белый свет. Умрешь без покаяния, значит, и на том свете покоя не будет, в джеханам [1] попадешь. Так что лучше веди себя смирно.

Дзепш все понял. Мамруко так и поступит, ведь, если люди увидят его с пленником, другого выхода у него нет.

«Как Мамруко догадался о моих мыслях? Прочитал их, что ли? О аллах, сжалься надо мною, помоги мне. Неужели не слышишь молитвы, неужели этот разбойник тебе дороже, чем, я истинно правоверный мусульманин? Если я и согрешил когда-

---

[1] Джеханам — ад.

нибудь, то по неведению, по глупости и неразумной молодости. Прости мой грех. Я всегда почитал отца и мать, никого не обижал, почему же ты отвернулся от меня? Все говорят — ты справедлив и милосерден, о мой аллах. Освободи меня. И я всегда буду служить тебе и всем рассказывать о твоей великой милости».

Мамруко повернул лошадей к аулу.

По шуму воды Дзепш догадался, что они едут недалеко от берега реки. Прошло некоторое время — тягучее, загадочное.

Скоро подъехали к усадьбе. Три скирды выплыли из темноты, припав к земле, как три спящих великана.

Мамруко спешился:

— Наго!

Раздался собачий лай.

Из дома вышел Али-Султан и заспешил к воротам.

— Кто?

— Отец дома?

— Проходите,— вежливо пригласил Али-Султан. Он не узнал всадника, но закон гостеприимства требовал, чтобы он пригласил путника в дом.

— Позови отца,— настаивал Мамруко, не трогаясь с места. Однако Наго уже сам торопился к воротам.

— Мамруко, что ты стоишь, я всегда тебе рад. Проходи.

— Я спешу! — откликнулся Мамруко.

Наго понял, что гость не хочет говорить о деле при постороннем, и отослал сына в дом.

— Кто долго ждал, тот может и еще подождать. Заходи. Да и дочь Наурзовых обидится, если не увидит тебя. На днях вспоминала. По делу.

— Нет! — твердо ответил Мамруко. — Я очень тороплюсь. Да и не один я, а тот, кто привязан к моему седлу, сегодня ночью должен быть на побережье. Я заехал к тебе по делу, а не ради праздных разговоров... Послушай, Наго... — Мамруко спешился, подошел ближе к воротам и понизил голос: — Вчера я должен был встретиться с одним человеком, ждал долго, но он не пришел. Хочу попросить тебя съездить завтра в Тхамез и разыскать его там. Ты прекрасно знаешь, где происходят такие встречи. Если выполнишь мою просьбу, считай меня своим должником, за услугу я всегда плачу услугой.

— О ком ты говоришь? — осторожно, почти шепотом спросил Наго.

— Ты его не знаешь, он не из местных. Скажешь, что от меня. Найдешь по приметам: рыжий, рябой, сильно заикается. Он придет в назначенное время, к обеду. Не ошибешься? И знай: ты оказываешь мне важную услугу, я о ней не забуду... Скажешь ему, что я поехал на побережье, в условленное место. Пусть поторапливается — еще сможет догнать.

В вечерней тяжелой мгле прозвучал голос муэдзина, призывавшего правоверных на молитву.

Собаки тут же подняли неистовый лай.

Пленник в седле зашевелился, замычал, пытаясь вытолкнуть кляп.

Правоверные стали собираться в мечеть, чтобы преклонить колени перед своим повелителем. Но он был равнодушен к людским мольбам, их мечтам и надеждам.

Наго велел, чтобы ему оседлали коня, и поехал с Мамруко. По обычаю, он обязан был побеспокоиться о безопасности своего гостя, обязан был проводить его. Он делал добро, как велели ему предки. А рядом с ним трясся в седле связанный человек, над которым Мамруко чинил насилие. Но он был не гостем, а пленником гостя, и обычай на него не распространялся.

II

Адыги всегда глубоко чтили гостей. Об этом свидетельствуют коновязи у каждых ворот, кунацкие в жилищах. Двери кунацкой открыты и днем и ночью, чтобы гость с дороги, не спрашивая разрешения, мог войти прямо в комнату. В углу кунацкой стоит тазик с водой для омовения, на спинке кровати висит полотенце.

Кунацкая тфокотля лишена роскоши, но все равно это лучшая комната в доме, здесь есть самое необходимое: кровать, стол, стулья, на полу для совершения намаза лежит коврик. Над кроватью висит мухобойка из коровьего хвоста.

Просторны и светлы кунацкие князей, уорков. Мебель красивая, удобная. На ковре — дорогое оружие.

В кунацкой Анзаура в этот вечер собрались аульчане. Узнав, что он вернулся из Натухая, к нему пришло много людей. Старшие сидели, младшие стояли за их спинами, готовые услужить, оказать почтение.

— Расскажи, Анзаур, как живут божьей милостью натухайцы? — спросил Тхахох.

— Ни одной ночи я не провел в Натухае,— начал Анзаур. — Тфокотль из Туабго, некий Ламжий, о котором говорили, что он убит абадзехами, оказался племянником Ахмеда Шепако. Узнав о том, что с ним произошло, мы в ту же ночь поскакали в Бжедугию. Насколько я успел заметить, жизнь у натухайцев не очень отличается от нашей. На тыкву в этом году небывалый урожай. Что еще? Лучше идут дела у тех, кто договорился работать вместе. Каждый знает, как трудно работать поодиночке, отвоевывая у леса землю, корчевать пни.

— Ты говоришь, у них хороший урожай тыквы? — переспросил кто-то. — Что ж они тыквой мышей кормить станут, если ее так много? Излишки-то, наверно, будут продавать или обменивать? Не говорили об этом?

— Не будут натухайцы с нами торговать. Потому что у них вместо голов тыквы.

В кунацкой рассмеялись.

— Среди натухайцев есть мой друг — Ахмед. Я не хочу, чтобы о нем говорили с насмешкой,— обиделся Анзаур.

— Что ты! — зашумели гости. — Кто посмеет обидеть Ахмеда?! Этот человек обладает мудростью и мужеством ста настоящих мужчин.

— Когда он узнал о несчастье своего родственника, ночью поскакал в Туабго. Я был с ним. Наши кони летели как птицы. Мы очень торопились,— продолжал между тем Анзаур. — В ауле поднялся большой шум. Тфокотли решили отомстить обидчикам, наказать абадзехов, но, как только показался их князь и прикрикнул на них, разбежались, как трусливые зайцы, да простит мне аллах. Я не хочу сказать, что князь поступил плохо — всякая власть от бога, но мне было обидно за несчастного Ламжия. Я вместе с ним пережил позор, проглотив обиду.

— Значит, ты уже дважды в своей жизни пережил позор, съедая обиду,— раздался вдруг голос из дальнего угла кунацкой. Говорил кто-то из молодых, хотя Анзаур не знал, кто именно. — Разве это не позор, когда на твоих глазах Наго выгнал тфокотлей из мечети, а ты не вступился за них?

Анзаур, застигнутый врасплох, ничего не ответил.

Гости молча переглянулись.

Пламя светильника, колебавшееся прежде от дыхания резких голосов разговаривающих, успокоилось и вытянулось в ровный язычок. Стало слышно, как потрескивал огонь.

Тишина длилась недолго. Кто-то заерзал на скамейке, кто-то шумно вздохнул, кто-то переступал с ноги на ногу. Анзауру показалось, что он не в своей кунацкой, а в мечети, так живо вспомнилось ему то, что произошло там недавно.

В тот вечер многие из находившихся сейчас в кунацкой толпились после намаза в мечети, собираясь расходиться. Анзаур стоял в стороне от других, когда раздался крик почему-то разгневавшегося Наго:

— Убирайтесь сейчас же с моих глаз! Эту мечеть строил я, и я один здесь хозяин! Я не собираюсь терпеть соседство всякой рвани! Тем более что эта рвань берется обсуждать мои дела, как будто ровня родовитым. В мечеть приходят молить аллаха о милости, а не бунтовать против хозяина!

Эти оскорбительные слова слышали все. Слышал их и Анзаур.

Непонятно, как случилось, но Анзаур принял почему-то сторону родовитых. Он ли не уверял потом, что ничего особенного в мечети не произошло и тфокотли, окончив намаз, ушли сами, по доброй воле? А гнев Наго объяснял тем, что крестьяне шептались, шумели и тем самым мешали богослужению...

А теперь...

— Не помню, говорил ли я такую чепуху,— начал Анзаур. Он не решился полностью отказываться от своих слов. Он ведь

хорошо помнил сказанное в мечети, но признаться в этом было нестерпимо стыдно. — Может, я и сказал какую-то глупость, не помню... не знаю...

На него было жалко смотреть.

— Нет особой разницы между бжедугскими и шапсугскими тфокотлями,— произнес Хагур. — Живут, испуганно склоняя головы при окриках родовитых. Может, это случайное совпадение, что шапсуги побежали толпой после вечернего намаза, но все-таки не надо было выскакивать из мечети и нестись, как побитая собака. Испугались грозного лица Шеретлукова и его гневных слов? Если хочешь знать, Анзаур, постыднее зрелища я еще не видел. Это недостойно мужчин! Абадзехи и темиргойцы уже прослышали об этом. Как теперь смотреть людям в глаза?

Никто не отозвался.

Анзаур, оказавшийся в положении человека, стоявшего сразу на двух берегах, ответил что-то невразумительное, будто боялся упасть и утонуть в речке. Остальные — как в рот воды набрали. Но когда речь зашла о другом, все разговорились, словно избавились от чувства неловкости.

Адыги любят рассказывать друг другу сказки, легенды. Рассказывают мастерски, ярко, так что слушатели забываются, все их существо переносится в прекрасный мир.

В сказках адыг побеждает страшного великана, убивает самого хитрого и коварного злодея. Он придумывает такую сладкую жизнь, которой нет и не может быть на земле. Сказочный рай адыги создали в незапамятные времена. Он приятнее россказней эффенди. И адыгский дженет[1] куда красивей и веселей, чем мусульманский. За мусульманский рай надо перед аллахом платить пошлину молитвами — скучными и неинтересными. Адыги же поселяют в дженет людей за мужество, доброту, за помощь слабым и за любовь к свободе.

В сказках и ковер летает, и крылатый конь перепрыгивает через море. Вон сколько чудес! А у аллаха чудеса страшные: то целый город уничтожит вместе с детьми и стариками, то поразит людей ужасной болезнью. И главное — непонятно, зачем он все это делает? Какая ему от этого польза? Если аллах сильный, всемогущий, всеведущий и справедливый, то почему он допускает несправедливости, почему несчастны самые справедливые, самые добрые люди?

В сказке все понятно: убивают дракона, который отнял у людей воду, потом возвращают ее добрым и честным; сбивают птицу, которая закрыла своим крылом солнце, и возвращают миру свет!

Адыги любят не только сами сказки, любят их рассказывать, любят и песни петь. Старинные песни, которые пели еще их деды и прадеды. Особенно хорошо поет их Тхахох. И откуда

[1] Дженет — рай.

в его щуплой груди такой сильный голос? Когда он поет, Хагур каждый раз сильно волнуется, вздыхает, смахивает слезу. О радости и гневе, печали и тоске, счастье и несчастье обездоленных умеет рассказать в старинных песнях Тхахох.

Но почему люди так мужественны, так справедливы только в сказках и песнях? Почему в жизни этого так мало? Неужели Шеретлуковы страшнее и сильнее дракона, выше птиц, закрывающих солнце? Зачем люди выдумывают себе красивый мир, вместо того чтобы своими руками, своим сердцем и разумом создавать его на земле?

В последнее время Хагур все чаще с Тхахохом наедине поверял ему горькие свои мысли.

Тхахох очень изменился, его будто подменили: уже не задирался, как раньше, больше молчал, слушал других. Об Акозе не вспоминал — наверное, это чувство в нем уже перегорело. И теперь, когда он пел в кунацкой, Хагур особенно остро чувствовал, как дорог ему Тхахох, как дороги все сидящие здесь. Хагур сейчас ко всем испытывал любовь — это его люди, его народ.

III

На рассвете Наго вышел во двор и застал там сына.

— Пойду-ка я еще раз на то место, которое указал Мамруко,— словно советуясь с ним, произнес он.

— Если вчера не приехал, то сегодня уж вряд ли,— усомнился Али-Султан.

— Не всегда получается так, как хочется. Мало ли что могло задержать его в пути! Вообще жизнь иногда как дремучий лес, где не только дорог, даже тропинок нет... А ты куда направляешься?

— С тобой, отец.

— Нечего тебе там делать. Я быстренько посмотрю, что и как, и тут же вернусь.

— Не говори так, отец, я не отпущу тебя одного. Это опасно!

Отец пытался возражать, но Али-Султан настоял на своем. Да Наго особенно и не упорствовал. Он был даже рад, что сын так печется о нем. «Что ж, мне, как говорится,— думал Наго,— не тащить его на себе. Увидит то, что надо знать, приобщится к делу. Я ведь тоже учился жить, глядя на отца, а отец брал пример с деда. Предки учат любить нашу грешную жизнь, уважать в человеке мужество. Пора и Али-Султану быть мужчиной. Отец любил повторять: кто рано встает, для того рождается жеребенок. Я за всю свою жизнь так и не узнал сладкого заревого сна, не потягивался, прижимаясь к теплому и ласковому телу жены. А как хорошо ранним утром, когда аул еще спит,— кругом тишина, покой,— вдохнуть свежий, отстоявшийся за ночь воздух. Нет ничего лучше, чем вдыхать всей грудью

этот воздух, поднимая руки к небу, и чувствовать себя хозяином на своей земле. Сильным, могущественным человеком».

Наго огляделся по сторонам:

— Поедем, сын мой, поедем! Посмотри, как ласково смотрит на нас вечная гора Пепау.

Всадники поднялись на пригорок. Чем выше они взбирались, тем светлее становились их лица, резвее шли кони.

Осенняя роса жемчужной россыпью сверкала на придорожной траве, на гладких камнях и ветвях деревьев.

Было прохладно, но пальцы не зябли, кони шагали по-утреннему ходко и бодро. Где-то за горами всплывало солнце, воздух теплел, в душе поднималась надежда.

«Хорошо. Хорошо, о великий аллах! Благословен твой день, благословенна твоя милость»,— восторгался Наго.

Али-Султан тоже любовался горами. Они были словно нанизаны на огромную невидимую нить и тесно по-братски прижимались друг к другу. Казалось, они не упирались каменными основаниями в твердую землю, а парили в небе вместе с облаками. И лес с опадающими листьями, и увядшие цветы, и стога сена остались где-то далеко внизу. В горах было тихо, словно они о чем-то возвышенно и отстраненно грустили. О чем? Бог весть. Может, о бренности земли, из лона которой вышли и они... Внизу шумела Иль, брызги ее взлетали вверх, словно и она хотела нести свои воды высоко и свободно.

Али-Султан не смог сдержать восторга и воскликнул:

— Когда я вижу такое, мне хочется взлететь! Как это несправедливо, что аллах не дал людям крыльев!

— Это хорошо, сын мой, что у тебя такое сердце. В молодости я тоже был пылким, а теперь посмотрю на вершины — и кружится голова. Да что! Мне даже трудно смотреть на того, кто стоит передо мной, если я сижу... Ну, это еще не беда... Видно, забыл нас Алкес, что так давно не появляется,— вдруг вспомнил Наго и вздохнул.

— Мы же были с ним на побережье.

— Побережье, сын мой, это побережье. Я хочу, чтобы он приезжал к нам в Шапсугию, не забывал земли, давшей ему вторую жизнь, а то ведь что получается? Позовем его на побережье — приедет, не позовем, так и не увидимся. А я жду от него другого. Почему бы ему не навестить нас, не полюбоваться Шапсугией, не порадовать нас? Пожаловал бы со своими байколями и тфокотлями, и все наши недруги, все наши взбалмошные мужики увидели бы, какая сила на нашей стороне. А у кого сила, у того и правда... Я тебе должен сказать, что неспроста знаюсь с Мамруко. Другие пугаются даже имени его, потому что он человек безжалостный. А этот Макай, из-за которого мы сейчас в пути?.. Он тоже не лишен мужества, дерзости и тоже может пригодиться. Ты видел, как тфокотли вели себя в мечети? Да если бы у них была сила, они бы и не вспоминали аллаха, а задушили бы и меня и тебя. Видишь, сколь-

ко опасностей нас подстерегает. Только наша сила, сила наших друзей способна обеспечить доброе здравие и благополучие. А я еще и сам чуть не подлил масла в огонь...

— Ты жалеешь, что прогнал тфокотлей из мечети?

Наго не торопился с ответом. Ему показалось, будто конь зашагал быстрее, но это только показалось, просто сильнее забилось сердце. Наго разволновался:

— Ты не одобряешь моего поведения в мечети или не понимаешь, почему я так поступил? Что сказано, то сказано.— Наго искоса взглянул на сына. — Что рублено саблей — заживет, что отрезано словом — не затянется, как говорят люди. Как же теперь исправить это?

Али-Султан думал: «Жалеет, жалеет отец. Валлахи, странный у него характер. Один шаг сделает вперед, а три назад. Кто станет уважать такого человека? Если ты сидишь на спинах тфокотлей, не спрашивай, больно ли, тяжело ли им, а хорошенько погоняй. Конечно, Хагур и его друзья поблагодарить за это не могут. Ох, как они вскинутся, дай только им волю! За горло схватят!..»

Но сказать-то этого отцу Али-Султан не мог. Сказал другое:

— Ни о чем не жалей, отец. Я готов сделать то же самое, что сделал ты в тот вечер. Я понял: чем выше взвивается плетка, тем ниже сгибаются тфокотли.

— Мудро... Но если тому, кого бьешь, уже не больно?

— Не больно только тому, у кого глаза уже закрыты навсегда.

— И опять ты хорошо сказал...

Первый раз Али-Султан разговаривал с отцом таким тоном и так серьезно. Впервые показал ему, что он умен и силен духом. От этого ему почему-то стало нехорошо — померкло утреннее солнце, горы показались угрюмыми. Рвануть бы коня, кинуться на простор, вон на ту горную снежную вершину, только ветер бы засвистел в ушах. Но нет, древний закон предков не велит ему восставать против воли отца, требует покорности старшему. Али-Султан сник, плечи опустились.

Всадники прошли под огромным, нависшим над дорогой камнем и въехали в лес. Повеяло запахом прели, потянуло прохладой, объял лесной полумрак.

Стук копыт стал глуше, ход лошадей — мягче.

От крика растревоженной сойки кони настороженно прядали ушами и пофыркивали.

Все глуше становился лес, гуще мрак.

Вчера они ехали этой же дорогой, но Али-Султан почему-то не находил деревьев, которые отметил. Вскоре тропинка завела их в дебри, и Али-Султан понял, что они сбились с дороги. Сказать бы об этом отцу, но он почему-то постеснялся и промолчал.

Однако лошади двигались быстрым и уверенным шагом, значит, шли этой дорогой не впервой. И верно — вскоре блес-

нула речка и знакомый брод. Всадники переправились на другую сторону, спешились и тронулись, ведя коней в поводу. Вот и шалаш под большим старым дубом. Около него, как и вчера, лежала охапка хвороста для костра. На большом пне вверх дном глиняная тарелка.

— Ни вчера, ни сегодня сюда никто не приходил,— Али-Султан осмотрелся по сторонам.

— Я тоже так думаю,— согласился отец.— Делать нечего, подождем, раз приехали.

— Можем прождать долго и без толку.

Наго присел на пень, снял шапку, вытер вспотевшую голову и, взглянув на сына, улыбнулся: «Хоть внешне ты и похож на Шеретлуковых, но горячность твоя — от Наурзовых. В твоих жилах больше течет материнской крови. Наурзовы не могут обойтись без того, чтобы не съязвить. Даже в разговоре с близкими их речь пропитана ядовитой желчью. Язвят, все что-то доказывают друг другу, а на самом-то деле пустословы!.. Смотри, что затеяла дочь Наурзовых насчет Акозы и Али-Султана! Говорит, что сын якшается с девчонкой! Глупости! Сколько ни присматриваюсь, ничего не замечаю. Может, спросить сейчас у Али-Султана? Нет, не надо. Зачем огорчать парня? Девчонка меня не беспокоит, а вот Хагур все время глядит исподлобья. Ничего, вернется Мамруко, подумаю и об Акозе. Кстати, соль уже кончается. Может быть, и махнемся».

Али-Султану не нравилось молчание и сумрачность отца — должно быть, обиделся, что сын слишком вольно разговаривал с ним. «Видимо, он прав, непочтительно, совсем непочтительно я говорил, погорячился»,— подумал Али-Султан.

— Кажется, я обидел тебя, отец? — ласково спросил юноша.

— Нет, сын, не обидел,— довольный сыновней мягкостью, улыбнулся Наго.— Если по пустякам обижаться, перестанешь быть мужчиной. Просто меня беспокоит тот, кого мы ждем. Не случилась ли с ним беда?

IV

Столько лет прошло после гибели мужа, вот и сыновья уже выросли, а Ляшина все помнила свою беду, сердце ее надрывалось от горя. Когда погиб муж, весь аул ей сочувствовал. И не только на словах, но и на деле. Вернулась она с детьми в отчий дом, к старшему брату, и тфокотли позаботились о ее семье: построили на берегу речки турлучный дом, сарай, в зиму принесли зерна, привели двух овечек, теленка. И Шеретлуковы прислали воз кукурузы, овцу. Конечно, не по доброте своей сделали они это, а потому, что так требовал древний обычай. Она ни за что не взяла бы от Шеретлуковых ни зернышка, но родственники сказали: «Кто ударит тебя камнем, тому ответь мягким куском сыра. Не копи в душе зла, оно только старит человека».

Тяжело, очень тяжело было ей первые годы, но теперь, когда старшие сыновья стали опорой семьи, а Бороко женился и живет в ладу с семьей, стало полегче. Скорей бы женить младших сыновей и потом нянчить внуков. Ребята, хоть и поднялись без отца, выросли славными, работящими парнями, не брезгуют и домашней работой, помогают по хозяйству.

Довольна, довольна Ляшина сыновьями. Правда, хоть и ждет их женитьбы, а все же немного тревожится: удачно ли сложится их жизнь, ведь от нее можно ждать чего угодно — и доброго и дурного. Бороко живет отдельно, но не успеет слово матери на землю упасть, а он уж тут как тут, готов помочь... Вот только уж слишком тянется к родовитым. Е-о-ой, от родовитых добра не жди! Богатство в чистые руки идет неохотно, а матери невмоготу видеть сына с запачканными руками, слышать о нем худые слова.

Ляшина сидела, погрузившись в раздумья, и вдруг услышала, что кто-то позвал ее. От неожиданности она вздрогнула. Подняла глаза и увидела у калитки Акозу:

— Заходи, сипшаш[1], добро пожаловать!

— Спасибо! Дай бог тебе здоровья, Ляшина. Дарихат просила тебя прийти к ней. Пусть, мол, не посчитает за труд.

— Зачем я понадобилась той, которая прислала тебя? — настороженно спросила Ляшина.

— Не знаю. Велела позвать, вот я и пришла.

Пока женщины говорили, с вилами на плече показался Хагур. Он несколько замедлил шаг, а потом решительно направился к дому.

— Здравствуй, Акоза, рад видеть тебя.

— Добрый день, Мос! — Акоза опустила глаза, стыдливо зарделась,— Дарихат просила, чтобы я заглянула к вам... Ну, мне пора.

И ушла.

Ляшина, позабыв, что рядом сын, глядела ей вслед. Она залюбовалась девушкой:

— Счастлив будет тот, кому она достанется в жены. И красива, и скромна, и трудолюбива.

— Зачем приходила Акоза, мать?

— Дарихат хочет меня зачем-то видеть.

— И чего она к тебе привязалась?

— Не знаю.

— Не ходи.

— Да я и не собираюсь.

— Хватит с Шеретлуковых того, что я на них спину гну. Что может быть общего у матери тфокотлей и родовитой Дарихат Шеретлуковой? Не ходи. Я не хочу, чтобы ты унижалась перед ними. Пусть не забывают — мы помним, что они сделали с нашим отцом. Бороко может пресмыкаться перед ними, буд-

[1] Сипшаш — ласковое обращение к девушке.

то он не сын своего несчастного отца, а от меня они не дождутся... Вечером я пойду к Шеретлуковым убирать конюшню и скажу, что ты приболела.

Прошло несколько дней.

Хагур хлопотал во дворе Шеретлуковых.

На веранду вышла Дарихат. Увидев его, она вспомнила, что Ляшина так и не пришла, и вспыхнула злобой. Язвительно спросила:

— Как поживает твоя заносчивая мать, Хагур? И откуда это у нее такая гордость? Я просила ее прийти, я оказала ей уважение, пригласив к себе, а она!..

— Я же говорил, что мать была больна,— спокойно, скрывая неприязнь, ответил Хагур.

— Я потом еще посылала, но она опять не пришла. Пусть не считает нас своими врагами и не очень-то заносится. Подумаешь, девять сыновей, так она уж и земли под собой не чувствует...

V

Анзаур, услышав звон наковальни, решил сходить в кузницу. Там, видимо, собрались тфокотли, а ему надо было поговорить с ними. Да и Шабана Патареза давненько не видел. Хоть молодой кузнец и потерпел неудачу, когда лечил сына, Анзаур все равно испытывал к нему симпатию. Лекарь плохой, а кузнец — первоклассный! В его кузницу приезжали не только со всей Шапсугии, но бывали с заказами и абадзехи и убыхи.

Кузница Патареза стоит на краю аула, над самым берегом. С трех сторон обнесена высоким каменным забором, с четвертой — речка. Она вроде крепости, однако широкие плетенные из ивняка ворота днем и ночью распахнуты настежь, словно приглашают каждого путника — зайди, побывай у нас, послушай веселые песни молотка и наковальни, полюбуйся нашим огнем, погляди, как вздыхает мех, раздувающий в горне огонь.

Во дворе лежит большой круглый камень, похожий на коренной мельничный жернов. На нем ремонтируют тележные колеса. Рядом — ободья, ступицы, спицы. Сама кузница без дверей. Просторный вход. Крыша вырублена из плоского камня, выступающего из прибрежной скалы. А над крышей — труба, сплетенная из ивняка. Дымит, дымит труба, будто поет свою неслышную, но внятную всем песню. За версту видно, что это кузница, что там кипит работа, человек подчиняет там своей воле раскаленное железо.

Надежда Анзаура встретиться в кузнице с тфокотлями не оправдалась: во дворе было необычно пусто. Одиноко, грустно стояли коновязи.

Может, люди в кузнице? Но и внутри Анзаур никого не увидел, кроме Патареза.

А дым клубился.

А наковальня и молоток вызванивали свою веселую песню.

Но вот все смолкло. Из кузницы вышел Патарез, разгоряченный работой и огнем, с засученными по локоть рукавами.

— Добро пожаловать, Анзаур! Заходи, гостем будешь.

— Слушай, у тебя всегда много зевак, которые мешают работать, а сегодня — пусто. Что бы это могло означать?

— Не знаю, с утра — ни души.

— Ты так отчаянно и звонко орудовал молотком, что я решил: в кузнице происходит что-то небывалое, куешь, наверно, какую-нибудь невидаль.

— Нет, обычная работа. Но почему ты пешком? Странно.

— Ты хотел видеть меня на коне? Почему?

— Думал, ты привел коня, которого тебе подарил Шеретлуков. Я приготовил для него особые подковы,— не то пошутил, не то упрекнул Патарез.

— Э, ей-богу! Хватит вам про эту лошадь! И чего вы привязались к ней!

— Ты сердишься?

— Нет, что ты! — натянуто улыбнулся Анзаур. — Чего тут сердиться? Да пропади она пропадом, эта лошадь, вместе с седлом и уздечкой.

— Верно! Не надо было тебе принимать подарка от Шеретлуковых. Они ведь всегда такие: оскорбят человека, дадут пощечину, потом подсластят ее. Только сладость эта ядовита.

— Правда твоя, Шабан, правда! Я ненавижу ту лошадь и даже у себя во дворе не держу ее. Это все Хагур с друзьями. Пристали: возьми да возьми. А теперь вот... Однако меня не столько волнует подарок, сколько то, что Наго считает меня теперь своим должником. При встречах он говорит со мной как-то уж очень вежливо. Даже когда в его доме бывает гость, он зовет меня к себе в кунацкую. Как-то вечером я пошел к нему, поддавшись глупому соблазну, а потом проклинал себя. В тот вечер я был похож на того, о ком говорят: дошел до дверей княжеского дома, ухватился за дверной косяк да так весь вечер и провисел на нем. Наго любит унизить человека, сажая его на самый край гостевого стола, откуда ни еды не достать, ни гостя хорошенько рассмотреть...

Они вошли в кузницу.

Горн дремал. Угли покрылись серым, скучным пеплом. Из-под притухших углей торчал кусок железа.

Шабан взмахнул несколько раз ручкой мехов — и огонь ожил. Выбросил сноп искр, взвился яркими языками пламени.

Потом, ловко орудуя молотком, стал ковать раскаленное железо.

Что он ковал? Похоже, кинжал. Но уж очень он длинный. Саблю? Но она коротковата.

— Слушай, что это за диковинка? Кинжал не кинжал, сабля не сабля.

— Верно: ни то ни другое. Это будет меч. Я хочу его сделать таким, чтобы он входил в дерево, как в масло, а камень не мог его зазубрить. Пусть он будет достоин руки того, для кого я его делаю. Пусть воин не побоится назвать моего имени, меч его не посрамит.

— Дай бог, чтобы исполнилось твое желание. Для кого же ты куешь его?

— Скажи, кто, по-твоему, заслуживает такого меча?

— В Шапсугии достойны многие.

— Правда твоя, но я делаю его для Ахмеда Шепако.

— Это он заказал?

— Не заказывал. Он даже об этом не знает. С тех пор как я познакомился с ним у кровати твоего мальчика, сказал себе: обязательно приготовлю ему хороший подарок. Долго думал — какой? И решил выковать меч. От отца мне остался кусок редкой стали, вот из нее-то я и кую меч. С первого дня нашего знакомства я поверил в Ахмеда, хочу дружить с ним. Ахмед из тех, которые не оставляют людей в беде, для которых честь и совесть важнее всего.

— А как ты смотришь на Устока?

— Он — друг Ахмеда, и этим сказано все. И ты его друг.

— Спасибо, Шабан. Мой отец любил говорить: друг — это твое большое счастье. Пусть же аллах широко раскроет двери дженета перед Ахмедом Шепако.

Анзаур вспомнил, как они из Натухая ездили в Бжедугию и Абадзехию. Куда бы ни приехал Ахмед, везде у него были друзья. Его узнавали не только мужчины, ему почтительно кланялись и старые женщины, и юные, и дети. Каждый, кто встречался с ним, почтительно уступал дорогу, сворачивая на обочину. Бывали и такие, которые то ли из страха перед ним, то ли от ненависти к нему сводили коней с дороги, по которой ехал Ахмед. Что ж, в народе говорят: не иметь врага — все равно что быть мужчиной и не носить папаху.

— Анзаур, я тебя прошу, не говори Ахмеду о моем подарке. Кто знает, а вдруг меч не получится таким, каким я его задумал.

— Получится, у тебя обязательно получится! Ты прав — не надо засучивать штаны за версту до брода... Я ничего не скажу Ахмеду.

И все-таки тфокотли собрались во дворе кузницы. Они пришли в полуденный час. Расселись на солнышке, курили, балагурили, делились новостями, которые, как говорят, сорока на хвосте принесла. И только Патарез все гремел и гремел.

— Ханан! — обратился курносый тфокотль к соседу, пыхтя трубкой. — Расскажи-ка, как абадзехи съели уразу.

— Расскажи, расскажи! — поддержали его и другие. — Как они блюли великий пост и ели мясо.

— А что, и расскажу. Только скажите, шапсуги, нет ли среди нас абадзехов? Нет? Ну, и хорошо, тогда слушайте. Нашим соседям всегда кажется, что их чем-то обделили, чего-то им не досталось на белом свете, вот они и стараются при случае ухватить побольше. Так вот, старший из абадзехов велел младшему: «Сходи к шапсугам и узнай, когда они начинают уразу, чтобы нам вовремя сделать то же самое и не прогневить аллаха». Пошел младший, а когда вернулся, то рассказал вот что. «Спустился,— говорит,— я с горы, а шапсуги почему-то сидят у реки, моют ноги, руки и зачем-то мокрыми пальцами ковыряют в ушах. И уши моют, что ли? А потом вперед вышел какой-то угрюмый человек, велел всем стать на колени и начал выкрикивать непонятные слова. Все стоявшие на коленях повторяли их вслед за ним и зачем-то долбили лбами землю. Так он довольно долго гонял шапсугов и затем стал произносить разные страшные слова про джиханам, про великий пост уразу». —«Значит, пора начинать эту самую уразу?»— спросил старший. «Пора»,— ответил младший. А в это время в котле уже сварился баран, и они его съели. И все хвалили уразу.

— В великий пост, днем съели барана? — давясь смехом, спросил рыжий и курносый.

— Съели барана, а вместе с ним и уразу,— ответил Ханан.

Все рассмеялись. И тут увидели трех всадников, въезжавших во двор кузницы. По посадке было видно — абадзехи ехали, трясли головами в такт шагу коней. На смуглых лицах — густые брови и пышные усы. Приблизившись к кузнице, они спешились и приветствовали хозяев. Те поднялись и почтительно поздоровались.

— Мы хотим видеть Патареза,— сказал старший из абадзехов.

— Это я,— ответил кузнец, выходя навстречу гостям.

— Нам нужен твой отец.

— Вы его не найдете,— ответил Шабан. — Он давно уже там, где покоятся все наши предки. Скажите, зачем приехали, и я помогу вам.

— Да вот Салим-старший прислал нас к тебе за кинжалами.

Шабан вынес из кузницы два кинжала, завернутые в пеструю тряпку, и отдал абадзехам:

— Передайте Салиму-старшему мой салам.

— О алейкум салам! Передадим. Будьте здоровы, шапсуги!

И абадзехи уехали.

Кое-кто не удержался от смеха.

— Перестаньте зубоскалить,— строго сказал Анзаур,—позор нам, если они услышат.

Абадзехские всадники —широкоплечие, квадратные — вскоре скрылись за поворотом.

VI

Вот уже три дня, как Дарихат ходит вне себя: если что попадается под ноги — пинает, под руки — отшвырнет. Никто не знает, что с ней случилось. Не только женщины, прислуживающие ей, но даже старый белый кот, всегда спящий на ее постели, и тот стал ей не мил.

— Прочь, паршивец, строишь из себя неженку! — ударила она кота, который начал тереться об ее ногу. — Акоза, Акоза! — выкрикнула из своей комнаты разъяренная Дарихат. — Где ты пропадаешь, негодница?!

Девушка прибежала мгновенно.

— Подай шаль!

Акоза посмотрела на шаль, висящую на спинке кровати, и перевела взгляд на госпожу. Ей было страшно подойти к Дарихат, она чувствовала, будет беда. Так оно и вышло.

Когда служанка протянула шаль, Дарихат схватила Акозу. Держа в одной руке шаль, другой вцепилась ей в волосы. Дарихат хотелось, чтобы Акоза кричала от боли, просила отпустить, плакала, но девушка терпела из последних сил, прикусив губы. Тогда госпожа отпустила косу и стала щипать ее за груди.

Акоза закричала.

Услышав крик, из мужской половины вышел Али-Султан.

— Что здесь происходит?

— В нашем доме есть языкастая белоручка, которая вывела меня из терпения,— злобно глядя на Акозу, ответила Дарихат.

— Беру небо в свидетели, Али-Султан, что я ни одного слова не сказала твоей матери,— заплакала Акоза.

— Прочь с моих глаз, бесстыжая! — Дарихат сорвала с головы шаль — первое, что попалось под руку, и бросила в Акозу.

Девушка, вся дрожа, убежала. Али-Султан, не понимая происходящего, посмотрел на мать, потом на дверь, подобрал шаль и повесил ее на спинку кровати.

— Нельзя, мать, так поступать с девушкой. Это нехорошо.

— Значит, ты свою мать считаешь хуже дворовой девчонки? — набросилась Дарихат на сына. — Я знаю, что твой отец и ты не уважаете меня, я никогда не знала с вами радости, только одно горе. Будь проклят тот день, когда я пришла сюда родить и воспитать сына, если к моим словам не прислушиваются, со мной не считаются!

— Мать, я сказал, чтобы ты не приставала к девочке каждый раз, как только она попадается тебе на глаза. Что здесь такого?

— Для тебя она не девочка, а дворовая девка! — снова крикнула Дарихат. — Я не хочу слышать от тебя такие слова и не позволю защищать ее! Ни ее, ни тебя не пожалею! Ты забываешь, что ты княжич, а она — ничто, пыль под твоей ногой. Только дочь князя тебе ровня, а не эта проходимка, кото-

рая уже научилась строить глазки и завлекать мужчин. Вот и ты попался на ее удочку. Тоже бегаешь за ней, как дворовые псы — Хагур и Тхахох. Стыд-позор на мою голову!

— Тян... [1] — Али-Султан наконец понял, в чем его обвиняют, и смущенно умолк.

— Да, мать! — совсем разошлась Дарихат, увидев, что сын испуган и смущен. — А если я тебе мать, так ты должен меня слушать. Я не болтаю зря, если я что-то говорю, значит, есть на это причины. Учти, что я все о тебе знаю, все твои тайные мысли, не прикидывайся дурачком, как это делает твой отец...

Сначала Дарихат сама не понимала, за что возненавидела девчонку. Ей все не нравилось в Акозе — как она работает, как разговаривает, стоит, сидит. Даже в отсутствии Акозы она находила причины ругать ее. Каждый раз искала повод, чтобы придраться. Потом наконец осознала причину своей ненависти. Не только Дарихат, но и все остальные заметили вдруг, что Акоза расцвела, как внезапно расцветает молоденькое вишневое дерево. Словно соревнуясь с девушкой, Дарихат начала внимательно приглядываться к своему лицу, фигуре, тщательнее наряжаться. Но Акоза была молода, и старая госпожа не могла за ней угнаться. Пришла мысль отделаться от служанки. И она придумала повод. Со временем Дарихат сама поверила своей выдумке, и чем больше она рассуждала об этом, тем достовернее казалась ей ложь. А то, что Наго не хочет ее выслушать, уходит от разговора, называет ее глупой женщиной, только подливало масла в огонь. Значит, муж на стороне Акозы, ему тоже нравится эта смазливая служанка и он сам не прочь позабавиться с ней.

Дарихат уже не верила ни мужу, ни сыну. Все мужчины одинаковы — им бы только гоняться за каждой новой юбкой.

— Не говори, тян, такого,— сказал Али-Султан, стыдясь ее слов.

— Буду говорить, потому что вынуждаешь! Ты думаешь, отец тебе что-нибудь скажет? Ему нет до тебя дела. Где он все время пропадает — уходит на рассвете, приходит в полночь? Что ни скажу — поворачивается спиной. Я ему уже не нужна, только мешаю,— жаловалась Дарихат.— Я не рабыня! Он не купил меня, а надо мной издеваются кому не лень. Сейчас же вели запрягать лошадей, уеду в дом своего отца.

— Как можно сейчас ехать, мать, уже полдень,— возразил Али-Султан. — Лучше завтра поедем, если тебе так хочется. И отца надо дождаться.

— Кому нужен твой отец?! — заупрямилась Дарихат. — Одна доберусь. Для родителей и ночь, если я приеду, как день. Только там еще и любят меня, и ждут. Вели собираться в дорогу. Да крикни этой бессердечной, чтобы уложила мои платья, увезу ее с твоих глаз и сердце успокоится.

[1] Тян — мать.

Солнце стояло уже в самом зените, когда повозка Дарихат выкатила со двора.

Стоял погожий осенний день, но глаза Дарихат заволокло туманом. Ей жестко даже на мягком сене, накрытом шубой. Повозка трясется, колеса скрипят, на дорогах — выбоины и камни, все ополчилось против Дарихат, весь мир. В душе нарастало отвращение ко всему, раздражали даже волы, которые шли в упряжке, напрягая грузные тела.

— Хагур, — злобно спросила она, — ты хорошо смазал колеса?

— Поскрипывают немного? Наверно, не очень хорошо. Но скоро перестанут скрипеть — масло еще не разошлось.

— Ты совсем их не смазал. Ты забыл их смазать!

— Да не приставай ты, Дарихат. Смазал я колеса, слышишь, хорошо смазал.

Дарихат не успела ответить, не успела сказать Хагуру, что он лентяй, что ему наплевать на здоровье госпожи, — волы, словно поняв намерение хозяйки, рассердились на нее и вдруг заторопились, ходко пошли по каменистому косогорчику. Телегу стало бросать из стороны в сторону.

Дарихат повалилась на живот, ухватившись за уключину, и застонала предсмертным стоном. Акоза, сидевшая сзади, улыбнулась, глядя, как смешно трясется Дарихат.

— Ты что делаешь, джинеуз [1], убить меня хочешь?! — закричала Дарихат, но у нее перехватило дыхание, и она умолкла. Только тихонько, по-детски постанывала.

Телега спустилась с косогорчика и пошла мягко.

Дарихат повалилась на живот, ухватившись за уключину, и будто на косогоре из нее вытряхнуло всю злобу, которая скопилась за эти последние дни.

Тихо было в небе.

За острие скалы зацепилось пушистое облачко, остановилось и тоже притихло, будто обрадовалось долгожданному свиданию с вечно неподвижным, а потому тоскливым утесом.

Дарихат засомневалась: не погорячилась ли она, уехав из дому? Обрадуются или огорчатся ее приезду? А вдруг родственников не окажется дома, вдруг они куда-нибудь уехали? Тогда придется возвращаться. Как после этого встретит ее Наго? Ее своеволие может его разозлить, а когда мужчина гневается, женщине приходится трудно. Она чувствует свою слабость и беззащитность, мужской бунт пугает и будто пригибает ее к земле. И не хватает силы разогнуться. Хуже того, женщине всегда почему-то хочется прижаться к разгневанному мужчине, хочется ублажить его и увидеть ласковым.

— Хагур, остановись-ка, — приказала Дарихат. Когда повозка остановилась, обратилась к Али-Султану: — Послушай, сыночек, возвращайся домой.

---

[1] Джинеуз — сумасшедший.

— Почему? — удивился Али-Султан.

— Очень прошу тебя вернуться... Пустились мы в путь, а дом бросили на тфокотлей, на них ведь нет никакой надежды. Да и что скажет отец, когда вернется и не найдет нас дома. Он, бедный, будет тревожиться. Возвращайся, сынок, я поеду без тебя. Не волнуйся — со мной останутся трое тфокотлей, они не дадут меня в обиду... Я побуду у родителей дня два-три и вернусь. Скажи отцу, чтобы не беспокоился.

— Мне очень хотелось поехать с тобой, мама. Я так давно не видел дядю Хаджумара, по братьям соскучился,— погрустнел Али-Султан.

— Ничего, сыночек, еще увидишься. Поезжай домой, я тебя прошу! — Трудно было поверить, что такие мягкие и ласковые слова произносит вечно ворчливая Дарихат. — Я обязательно передам дяде Хаджумару и твоим братьям, какое у тебя доброе сердце, что ты скучаешь о них. Им это будет очень приятно. Они ведь тоже любят тебя, тоже, наверно, соскучились. Это хорошо, когда родственники так относятся друг к другу. Вокруг столько жестоких людей, а родственники — наша опора, наш покой.

Али-Султан с большой неохотой повернул обратно.

И Акоза и всадники удивились поведению Дарихат. Особенно поразился Хагур. Ему все время хотелось посмотреть на Акозу, но Дарихат сидела на телеге и загораживала девушку, будто копна сена. Хорошо верховым, Акоза у них все время на виду, можно любоваться ею, не стесняясь, что заметят другие.

«Может, поменяться с кем-нибудь? Но под каким предлогом?..»— подумал Хагур.

Закончился лес, и открылось море, сливавшееся в мглистой дали с горизонтом. Над морем висело красное солнце. Оно тоже было подернуто мглою и казалось сонным, усталым, словно ждало и никак не могло дождаться вечера, когда и его коснется морская прохлада — самое желанное из всего за этот долгий день.

Держась левого берега речки, путники скоро достигли окрестностей Джубги. До аула Кудако оставалось совсем близко,— надо только подняться на невысокий, но крутой перевал, а затем спуститься — и вот он, аул.

Засмотревшись на море, путники не заметили, как к ним приблизились, вынырнув из-за поворота, три всадника.

Хагур оторвал взгляд от моря и солнца, лишь когда услышал недалеко от себя стук копыт. Одного из всадников Хагур узнал — это был Казджерий.

У Дарихат екнуло сердце — она торопливо поправила шаль, волосы, которые растрепал ветерок.

— Во-ви, неужели я вижу дочь Наурзовых! — воскликнул Казджерий, лихо спрыгивая с коня. Грузный, он спрыгнул на землю по-юношески легко. — Как живешь божьей милостью,

Дарихат? Какие новые подвиги совершил Наго Шеретлуков?

— Здорова я, Казджерий, и Наго жив-здоров. А как ты? Не забыл ли наши края? Что-то давно не показывался... — Дарихат не без кокетства повела глазами. Приняла другую позу — картинно, полуповоротом к Казджерию. — Оставил, совсем оставил ты своих друзей и знакомых в Шапсугии. Наго часто вспоминает о тебе, ждет твоего приезда, будет рад тебя видеть.

— Я и сам давно собираюсь приехать к вам, да все недосуг. — Под усами Казджерия пробежала ласковая улыбка. Он развернул плечи, поправил кинжал, переступил с ноги на ногу, как застоявшийся конь. Мускулистые ноги в мягких кавказских сапогах были стройными, сильными. — Валлахи, Дарихат, как хорошо, что мы увиделись! Мне и в голову не приходило, что возможна такая счастливая встреча. Ты, конечно, едешь в Кудако? Я провожу тебя немного. Хотя бы до перевала. Передавай Хаджумару мой салям, скажи, пусть он не забывает нас. И Наго, конечно, кланяйся.

— Не надо нас провожать,— кокетливо потупила взгляд Дарихат. — Уже близко, мы сами хорошо доберемся.

— Разве можно такое говорить, Дарихат?! — воскликнул Казджерий. — Если Шеретлуковы забыли, что такое княжеское гостеприимство, то мы помним, всегда будем помнить, потому что на этом земля держится.

Потом строго взглянул на верховых тфокотлей и скомандовал:

— Ну, вы! Поезжайте-ка вперед! Да поторапливайтесь! Госпожу сопровождаете, дочь Наурзовых, помните это!..

VII

Али-Султан некоторое время стоял в нерешительности, раздумывая, куда ехать.

Тревожно-тоскливым взглядом смотрел он вслед повозке и всадникам, удалявшимся по сухой каменистой дороге, смотрел, пока они не скрылись в ложбине. Смотрел так, будто видел их в последний раз. А из головы все не выходило поведение матери — то ее раздражение и гнев, то какая-то необыкновенная ласковость. Отец прав: мать трудный человек. За день несколько раз меняется настроение, ссорится со всеми по пустякам. Все хочет показать свою власть... И зачем она поехала в Кудако, что забыла там? И так внезапно. Почему вернула его с полдороги?

Али-Султану не хотелось возвращаться домой. Ему вдруг почудилось, что его родной аул не в бастукской стороне, а в чужом и неведомом краю.

Свернул Али-Султан с дороги, неторопливо поехал через поляну. Остановился возле облетевшего дуба на краю пропасти.

Внизу, под копытами коня, лежали ущелья, леса, горные осыпи и гордые, молчаливые каменные утесы. Десятки ручейков спускались по ущельям, чтобы внизу образовать речку Иль. Шумит река, словно горные ручьи, соскучившись друг по другу, встретились и никак не могут наговориться. И солнце спускалось с неба, будто тоже хотело лечь под копыта его коня.

Красота всегда действует на человека умиротворяюще — подобрел и успокоился Али-Султан. Смотрел на запад, радовался, но тяжесть никак не хотела покидать его грудь, притаилась в уголке его души. Жалко мать, но неприятно, что она обвиняет его в связи с Акозой. Что он может иметь с этой девчонкой, зачем она ему? Разве в Шапсугии уже перевелись красивые и родовитые девушки? Потому-то и обидно за мать,— откуда в ней эта болезненная придирчивость и подозрительность?..

Али-Султан с раздражением подумал об Акозе, но тут же поймал себя на мысли, что не совсем справедлив к девушке. Вспомнилась свадьба. По-праздничному одетая, хорошо причесанная, Акоза была самой заметной девушкой. Взгляд ее больших, красивых глаз совсем не похож на откровенно зовущие взгляды простушек. И держалась она скромно, не дразнила парней своей красотой, словно берегла себя для кого-то. В тот вечер ему показалось, что Акоза красивее Джансуры, дочери князя Шерандука, на которую засматривался Алкес. Но потом он увидел Акозу у себя во дворе в простой крестьянской одежде, и она уже не произвела на него такого впечатления.

Али-Султану почудился сзади стук копыт. Оглянулся: никого. И у холма, поросшего кустарником, никого. Свернув с тропы, он подъехал к старой дикой яблоне. Она стояла, отягощенная плодами. Трава была усеяна желтовато-восковыми дичками, уже созревшими, отвисевшими свое время на ветвях.

Он сорвал с ветки самое крупное яблоко. Оно сочно хрустнуло на зубах. Кислички — лакомство детства. Ах, как они были тогда вкусны! Вкуснее самого вкусного, краснобокого, крупного садового яблока.

Яблоки детства.

Али-Султану вспомнился Алкес. Мать запрещала им ходить в лес и есть кислицы: «Разве дома мало хороших яблок?» Были дома хорошие, прекрасные яблоки, но кислички, за которыми надо тайком убегать в лес, были куда как вкуснее тех, что лежали в блюдах на столе.

И не поймешь, что же манило —или сами кислички, или лесная дорога, или мальчишеская свобода? Наверное, все вместе — неповторимое, как само детство.

Алкес в последнюю встречу все расхваливал Али-Султану свою Бжедугию, говорил, что красивее земли нет. Зачем он так говорил? Ведь Бжедугия — это холмистые степи. Скучные, однообразные. А у нас горы, леса! Разве можно сравнить их с

ладошкой степи? Али-Султану стало обидно: ведь Алкес вырос здесь, Шапсугия — земля, которую Алкес принял в свою душу, в свое сердце с тех пор, как помнит себя. Восемнадцать лет не знал другой земли, другой воды, молока материнского, хлеба и неба. Почему же вдруг стал забывать Шапсугию, ее добро и красоту?

Грустно было Али-Султану, хотя он понимал, что Алкес — будущий великий князь Бжедугии, земли его отца и деда, земли вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего рода Хаджемуковых.

Он стоял под яблоней, хрустел кисличками и неожиданно почти рядом с собой увидел свежие конские следы, которые уходили в ближний лес. Выходит, ему не почудился топот копыт, в самом деле здесь только что прокрался всадник. Но почему он не подъехал к Али-Султану? Нехорошо, тревожно стало на сердце. Если это добрый человек, он бы наверняка подъехал, поздоровался — таков неписаный, но обязательный закон гор. Горы красивы, добры, однако они только тогда помогают людям, когда люди сами помогают друг другу, делают друг другу добро, а если зло, остаются немыми свидетелями жестокости, их молчание — словно укор человеку.

Хоть Али-Султан еще молод, закон этот уже знал и потому бросил скакуна в неистовый галоп: домой, скорей домой, в свою крепость, где и стены — твоя защита, твой покой. Прискакал в Бастук, а червячок тревоги все не покидал его — неприятно щекотал и холодил сердце.

Коновязи были пусты, пусто за скирдой, где обычно стоит конь отца. Будто в подтверждение слов матери «бросили усадьбу на тфокотлей», вдруг увидел во дворе незнакомых мужчин. Двери в комнаты прислуги раскрыты настежь, оттуда доносился, как показалось Али-Султану, чей-то грубый и недобрый смех. Под скирдой сидел с друзьями Тхахох. И чего они собрались здесь!.. Правду говорят, беспризорного осла собаки загрызут.

— Тебе что, Тхахох, делать нечего?! — прикрикнул Али-Султан.

— Со скотиной управились, двор убрали...

— Тогда сядь на циновку и помолись аллаху, ведь время намаза. Помолись за своих хозяев, потому что, если придет добро к Шеретлуковым, оно побывает и у тебя в доме... А чего эти мужики заливаются? Можно подумать, что их собака лисицу поймала.

Тхахох угрюмо промолчал. Он принял у молодого хозяина коня, расседлал, поставил в конюшню, а сам подумал: «Этот мальчишка, пожалуй, похлеще самого Наго. Еще материнское молоко на губах не обсохло, а шеретлуковский характер вон как показывает. В глазищах такая ненависть к тфокотлям, что, будь его воля, будь ему это выгодно, втоптал бы их в землю и не моргнул! И еще бы радовался своей силе. Неужели среди

родовитых никогда не было человека с добрым сердцем? Наверно, нет. Если такой родится, сами же родовитые сломают его и выбросят вон. А теперь Наго выдумал, чтобы его называли князем. А за ним, конечно, потянутся и Наурзовы, и Абатовы. И тогда, хочешь не хочешь, будешь называть этого щенка зиусханом... Хитрая, хитрая лисица этот Наго. Как-то увел за конюшню, упрашивал, чтобы я называл его зиусханом. Обещал даже жеребенка или овечек подарить. И что интересно, то же самое говорит каждому тфокотлю — тайком, чтобы другие не слышали...»

Тфокотли направились к воротам. Тхахох окликнул:

— Вы чего уходите? Испугались Али-Султана?

— Нет,— смущенно пожал плечами Ханан. — Мы же не курицы, чтобы пугаться. Посидели, поболтали — и хватит. Пора домой, дела ждут, а что касается Шеретлуковых, если понадобится, мы еще скажем свое слово. И даже в мечети скажем, не побоимся.

В это время из-за сарая показался верхом на коне Наго. Тфокотлей будто ветром сдуло. Тхахох усмехнулся, ему стало стыдно за своих товарищей: «Вот так всегда, на язык ох как смелы, всю землю перевернуть вверх дном готовы, а на деле... И все-таки нам бы только подняться, от родовитых бы пух полетел. Поднять их всех на вилы и сбросить в Иль, чтобы разбило об острые камни. И силы-то почти никакой не надо. Родовитых раз-два — и обчелся, а тфокотлей... По перышку и то не всем бы досталось. Но почему, почему мы этого не сделаем, если так легко? Из-за старых обычаев, которые требуют беспрекословного уважения старших? Но ведь сами родовитые давным-давно наплевали на эти обычаи и завели свои княжеские да уоркские и уважают не тех, кто старше, мудрее, а тех, у кого карман толще... Так велит аллах! Неужели он такой мелочный и неумный? Э-э, нет, это родовитые, их дворовая собачонка эффенди Шалих оглупили бога и оглупляют нас. Тут что-то не так, не понимаем мы чего-то самого главного...»

Наго въехал во двор, спешился:

— Что так пусто на усадьбе, словно все повымерли? — подал повод коня Тхахоху и, не дожидаясь ответа, пошатывающейся походкой пошел в дом — видно, долго сидел сегодня в седле, издалека прискакал. И все-таки, несмотря на усталость, он был весел, в хорошем настроении — должно быть, дело, из-за которого долго скакал по дорогам, удалось.

«Вот войдешь в дом, узнаешь, что твоя барынька уехала к родителям, сразу взбесишься»,— усмехнулся Тхахох. Однако этого не случилось, Наго не взбесился.

— Где твоя мать? — спросил он сына. — Почему она меня не встречала, как милостью аллаха велит ей закон?

— Уехала в Кудако.

— Когда?

— В обед.

— Зачем ее туда понесло, что-нибудь случилось?

Наго устало опустился на стул, расслабил руки и ноги, отдыхая после долгого пути.

Али-Султан, переступая с ноги на ногу, робко поглядывал на отца:

— Валлахи, не знаю, как тебе и ответить...

Почувствовав что-то недоброе, Наго исподлобья глянул на сына. Снял плетку с руки, положил ее на край стола, почесал бороду, соображая, что могло произойти.

— Беда какая стряслась или дело у нее в Кудако объявилось? — сдерживая раздражение, спросил он, продолжая сверлить сына глазами.

— Не беспокойся, просто мать без причины разгневалась на дворовую девку, накричала на всех и...

— Ну, тогда слава аллаху! — облегченно вздохнув, улыбнулся Наго. — Хорошо, что уехала: уймет гнев, и мы с тобою немного отдохнем от нее. С Наурзовыми вечно что-то случается, вот я и подумал, не стряслась ли беда. Но что делать с дворовой девкой? Мать твоя совсем ее загрызла. Как бы чего дурного не натворила. Потом моргай глазами! И дядя твой Хаджумар вечно кричит на всех, вечно с кем-нибудь ссорится, так и носится с кинжалом. Как бы сам не напоролся на чужой кинжал. Доиграется... Э! Пропади они пропадом! Уехала — и хорошо, хоть отдохнем без нее несколько дней.

Стук копыт заставил его выглянуть в окно: к воротам на коне без седла подскакал Мамруко. Наго вышел навстречу:

— Почему так быстро вернулся? Уже управился?.. Э, да что у тебя за лошадь?

— Валлахи, Наго, беда, беда! Тот мерзавец, которого я вез на побережье, обвел меня вокруг пальца.

— Как это случилось? Убежал? Позор, позор! — воскликнул Наго.

— Позор, но что делать, если уж так случилось. Не знаю, не могу сообразить, каким образом он освободил от веревки руки и выбил меня из седла.

Али-Султан вспомнил конский топот, услышанный им на поляне, свежие следы в лес.

— Не ты ли, гость, был вон в том лесу на холме?

— Я не был там. Ты кого-нибудь видел? — вскинулся Мамруко.

— Нет. Но видел конские следы...

VIII

Проскакав некоторое время галопом, Дзепш остановился: «Что же это я несусь как оглашенный? Ведь Мамруко пешком, а я на коне, мне ли его бояться! Несусь так, что шапка на голове едва удержалась. Когда был в плену, грозился отомстить за отца, а теперь свободен и удираю, как последний трус, за-

быв клятву... Надо вернуться, настичь Мамруко и растоптать его в прах».

Он повернул коня и поскакал обратно, но через некоторое время опять остановился: «Куда же я скачу, ведь у Мамруко кинжал и пистолет, а я кинусь на него с голыми руками. Он же пристрелит меня, как воробья... Что же делать, как быть?»

Он долго стоял в раздумье.

В горном лесу было пустынно и тихо. Густая темнота окутала округу, такая густая, что протяни руку — и не увидишь пальцев. Тишина.

Который час?..

Он встрепенулся и тронулся с места. Наконец Дзепш выехал на поляну. Стал оглядываться, и ему показалось, что одна сторона неба бледнее другой. Напряг зрение: верно, небо бледнело, из черного становилось пепельным. Из глубин черной темноты поднимался рассвет. Уже можно было различить ветви деревьев — спокойные, спящие и в то же время тревожные, что-то неустанно шепчущие друг другу. Вот и вершина горы посветлела. Туда рассвет приходит раньше.

Дзепш спешился, обошел поляну, потом вернулся к дремавшим лошадям, проверил седла. Под лукой одного из них обнаружил пистолет. Как он туда попал, кто его туда положил? Дзепш решил, что это оружие послал ему сам аллах.

Теперь уж раздумывать нечего — надо искать Мамруко. И он тронулся в путь. Возвратился на то место, где сбросил Мамруко с седла.

Мамруко там уже не было, значит, ушел. Наверно, за помощью к друзьям. Однако куда он мог пойти? У него сейчас, как у ветра — десятки дорог, а у Дзепша одна. Куда направиться, как найти одну-единственную тропинку, которая пересечется с тропой Мамруко?

Надеяться можно только на удачу. Ведь Дзепш не имеет права вернуться в Темиргойю, пока не сдержит слова, не отомстит за отца.

Мамруко, вероятно, поедет в тот аул, куда они заезжали, где он шептался с каким-то мужчиной. В ауле живет друг Мамруко, его пособник в грязных и страшных делах. Но что это за аул, как он называется? Эх, если бы они заезжали туда днем, Дзепш запомнил бы каждую тропинку, каждый пригорок и придорожный камень.

Лица двух мужчин, провожавших Мамруко, рассмотреть в темноте не удалось.

А как их звали?

«Глупый ты, глупый человек,— в досаде сказал себе Дзепш,— ведь ты же слышал их имена, почему пропустил мимо ушей? Если бы знал имена тех людей, не так трудно было бы найти и аул».

Если бы знал!

Одно имя вертелось в голове, но язык никак не мог его произнести. Но имя уже всплывало в памяти.

«Постой, постой!»— чуть не воскликнул Дзепш.

«Хоретлуко! Хоретлуко! — восторженно повторял он про себя. — Благодарю тебя, о великий аллах!»

И еще: в лесу, где они пробыли чуть ли не полдня, Мамруко ждал своего пособника, называл его рыжим и заикой.

«Макай, Макай — так зовут заику!»

Самое лучшее поехать в тот лес и подождать — возможно, Макай, которого они не дождались, все-таки придет туда. Возможно, вернется туда и сам Мамруко. Ведь Мамруко просил этого самого... Хоретлуко дождаться Макая в лесу.

«Если найду Хоретлуко, значит, найду и Мамруко».

Над горизонтом поднялось солнце, принялось за свою работу. Сколько ни ехал Дзепш, не встретил ни отары овец, ни человека. Повсюду простиралась страна гор и камней. Вершины гор прятались в облаках. Тропа то сбегала стремительно вниз, то поднималась по крутым склонам. Поворот за поворотом. То бежала долинкой, прижималась к горным уступам, то перепрыгивала по утлым мосточкам через бурные речки. И леса, леса. Могучие дубы и буки, кудрявые кустарники.

Красивы горы, но Дзепшу здесь тесно и тревожно, потому что не видишь, не знаешь, что тебя ждет за крутым поворотом, за перевалом, за пенистой, грохочущей речкой. То ли дело Темиргойя — на десятки верст все видно. Просторно и ноге человека, и его глазу, и сердцу. Отпусти поводья и скачи во весь опор, куда душе угодно. Только веселый ветер да травы, травы, раздольные поля — спокойные, добрые...

Со вчерашнего дня во рту у Дзепша маковой росинки не было. Из сумки, приторочeнной к седлу, он достал кусок сыра и лепешку. Они были такими черствыми, что даже его молодые зубы с трудом справлялись. Отгрызал то кусочек сыра, то лепешки и жевал, не ощущая ни вкуса, ни запаха пищи.

Наелся, напился и ощутил бодрость в усталом, измученном теле.

Дал коню шенкеля и веселой рысью поскакал навстречу солнцу.

На пологом и длинном склоне по другую сторону долины увидел телегу и трех всадников. Хотел поскакать к ним, но, пока обдумывал, решался, телега скрылась из виду, а один из всадников повернул обратно.

Дзепш свернул с дороги на поляну, чтобы лучше было следить за всадником. Проскакал мимо старой дикой яблони в лес. Наблюдал оттуда. Определил, что не простой тфокотль, а из богатых.

Конечно, всадник наверняка направлялся в какой-нибудь аул, значит, надо держаться за ним.

Вскоре показался аул, приютившийся на опушке леса. В стороне на волах вспахивал поле крестьянин. Обрадовался Дзепш:

человек, пашущий землю, наверняка добр. Руки его отданы плугу, земле, они берут оружие только для защиты.

Волы тащили плуг, мальчик хворостиной подгонял их. Ровно тянулись борозды. «Почему бы людям,— подумал Дзепш,— не приложить друг к другу, от души к душе, вот такие простые дороги — прямые и понятные, дающие всем радость? Есть, обязательно есть такие дороги, но как найти их? Наверно, не всем они нужны, есть люди, которым больше нравится петлять, путать свой след, делать его непонятным для других. А что, если к счастью ведут не прямые дороги, а сложные, запутанные тропинки?»

Подскакал Дзепш к пахарю, спешился и поприветствовал, как это всегда делал его покойный отец:

— Пусть будет щедрым твое поле, счастливый пахарь!

— Дай бог тебе здоровья, сын мой! — ответил крестьянин. — Добро пожаловать, будь моим гостем.

— Спасибо, счастливый пахарь! Разреши мне пройти одну-другую борозду, а ты отдохни. Пусть и мой скромный труд принесет твоему полю добрый урожай.

Пахарь смотрел, как уверенно и легко шел за плугом юноша. «Крестьянин, крестьянин,— определил он про себя. — Хоть и молод еще, а уже сноровист. Будет из него добрый хлебопашец, хороший мужчина и отец семейства... Но кто он? По выговору, похоже, темиргоец. И шапка надета так, как носят темиргойцы. Плотно сидит на голове, закрывая не только лоб и затылок, но и уши. Темиргоец! Откуда он? Сказать, что был в походе — слишком молод еще и почему-то один. А зачем ему два коня? Добрые кони, с хорошими седлами и уздечками. Но где его спутник? Может быть, у человека случилась беда, а я, вместо того чтобы помочь ему, заставил пахать».

— Сын мой,— обратился он,— что значит твой второй конь, где его седок?

— Прежде я хотел бы знать имя счастливого пахаря,— вежливо ответил Дзепш.

— Я Бечкан Рампагов.

— Если позволишь, хочу спросить и еще об одном. Не проживает ли в этих краях некто Хоретлуков? Мне очень надо найти этого человека.

— Говоришь, Хоретлуков? Валлахи, не слышал о таком. Нет в нашем краю такого человека.

— Есть, счастливый пахарь, есть! Я встречался с ним вчера вечером неподалеку отсюда. Я хорошо запомнил, что его называли Хоретлуков, или просто Хоретлуко, но, возможно, это не фамилия, а имя.

Задумался крестьянин, а потом спросил:

— Может быть, ты и правда немного путаешь? Не Хоретлуков, а Шеретлуков Наго?

— Как ты сказал? Шеретлуков? Верно, верно! Именно эту фамилию я слышал,— обрадовался Дзепш.

В Шапсугии многие знали тфокотля Бечкана Рампагова, но откуда его мог знать Дзепш, ведь он еще и молод и не бывал в Шапсугии. Однако пожилой крестьянин понравился Дзепшу, показался человеком открытым и добрым.

Бечкан, несмотря на молодость парня, оказал ему большое уважение, пригласил к себе в дом.

Дзепш рассказал Бечкану все, что случилось с ним и его отцом, рассказал о том, как бежал от Мамруко, намерен ему отомстить за отца, за свою поруганную честь:

— Мне нет дороги в родную Темиргойю, пока не сдержу слова. Кровь отца взывает к отмщенью.

— Понимаю, сын мой, очень хорошо понимаю и чувствую твою большую беду. Уорки нанесли тебе большое оскорбление, причинили страшную беду. Ты мужественный человек, если смог в твоем горестном и безнадежном положении выбить из седла Мамруко, а это не удавалось мужчинам и покрепче и поопытнее тебя. Пусть же мужественный поступок, который ты совершил, успокоит твою молодую и горячую душу... А теперь слушай меня внимательно и постарайся понять. Я не советовал бы тебе сейчас преследовать Мамруко. Вернись в Темиргойю, сын мой, посети скорбную, одинокую могилу отца — она умножит твою силу. Облегчи горе своей матери — это тоже придаст тебе силы и укрепит ненависть к врагам. Понадобится еще несколько лет, прежде чем ты почувствуешь, что сможешь рассчитаться с ними. Научись не горячиться, а трезво отдавать отчет в своих поступках, тогда на помощь твоим силам придет и разум. Когда почувствуешь, что созрел для отмщения, тогда и приезжай ко мне на исходе весны... Мамруко должен не одному тебе, а многим. И мне в том числе, так что мы с тобой вместе займемся этим сатанинским отродьем. Если не найдешь меня, спроси натухайца Ахмеда Шепако, абадзеха Нарыча Абидова или бжедуга Ламжия — они скажут, где я нахожусь. И помогут тебе, как я.

Глава пятая

1

Род Наурзовых — один из самых могущественных в Шапсугии. Если ехать западным краем адыгской земли к югу, к Черному морю, то вскоре можно оказаться во владениях Наурзовых. Они раскинулись, рассыпались на морском берегу. Это аулы Цемез, Непель, Тозепс, Псиф, Кудако. Старинные аулы Наурзовых...

Восточное побережье Черного моря, начиная от верхней границы Абадзехии и кончая низовьями Анапы, которая примыкает к Тамани, издревле принадлежало адыгам. Они селились у моря и выбирали такие места, чтобы до них доносился

вечный рокот морских волн, запах водорослей и крик чаек. Но не только красота соблазняла людей: они закладывали четыре угла своего будущего дома так, чтобы всегда видеть и приближение опасности, и приезд друзей.

Страна адыгов никогда не была подвластна одному человеку, каким бы могущественным, сильным он ни был. Она, как норовистый и вольный скакун, свой разбег начинала с плодородных земель Северного Кавказа, с прикубанской поймы, из степей и устремлялась к предгорьям и горам, к берегам Черного моря. Ее населяли племена шапсугов, абадзехов, бжедугов, темиргойцев, натухайцев, жанеевцев, махошей, убыхов. А дальше, в глубине Кавказа,— бесленеевцы, кабардинцы...

Извечно дышала земля адыгская морским и горным воздухом, нежилась под горячим солнцем. Веками жила она в славе и мужестве, но веками терзали ее и междоусобные войны, обильно полита земля адыгов кровью и слезами обездоленных людей.

Жители равнин восхищались сказочной красотой гор и лесов, а горцы завидовали плодородным долинам степей. Шапсуги, натухайцы, убыхи, поселившиеся близ Черного моря, занимались торговлей.

...Владения Наурзовых располагались не так близко к морю, как Абатовых,— значительно ближе к бжедугам и темиргойцам. К ним наведывались отовсюду, через них вели торговлю с Крымом и Турцией, они задавали тон в определении цен на мед, шерсть, воск, кожу и соль. Влияние Наурзовых сказывалось даже на торговле в Бжедугии.

В ауле Кудако, как тогда говорили, начиналось семь дорог большого света. Сюда съезжались купцы, свозились товары, а отсюда заморские товары расходились уже по всему Северному Кавказу. Недаром называли Кудако золотой сумкой земли адыгов.

Когда трое сыновей Наурзова-старшего стали мужчинами и разделились, Хаджумар остался в Кудако, сославшись на то, что он моложе всех и должен остаться дома, чтобы хранить старинный семейный очаг.

Наурзов-старший долго не давал сыну родовитого титула. Хаджумара это сильно обижало, а братья подтрунивали над ним,— мол, раз ты остался в родном гнезде, то и сиди под крылышком матушки-наседки. «Смейтесь, смейтесь,— хитро улыбался про себя Хаджумар,— тот, кто родился в колыбели, так же смертен, как и все, значит, и отец не вечен, уронит свою плеть на землю, как домохозяйка роняет ковш. Тогда, дорогие братья, вы испытаете силу той самой плети, которая перейдет от отца ко мне».

И что же, тайная мечта Хаджумара сбылась: прошло несколько весен после того, как старшие братья стали жить каждый в своем ауле, и отец отдал богу душу, покинув навсегда

прекрасный подлунный мир. Кудако, ворота семи дорог в большой свет, достался Хаджумару.

Молодой хозяин оказался сметливым и разворотливым. Тихий парнишка, долгое время живший «под крылышком матушки-наседки», вдруг превратился в напористого и рачительного хозяина. Посмеиваясь в душе над старшими братьями, он присматривался ко всему, что делали они и другие родовитые, копил силы и, когда настал его час, показал себя. Умножались табуны первоклассных рысаков, строились новые просторные амбары и загружались заморскими товарами. Товары приходили и уходили, золото оседало в сундуке Хаджумара. А золото — это сила, это уважение родовитых и князей, уважение заморских купцов.

Перестали посмеиваться братья, уже смотрели на него с завистью, считали, что обошел их младший. Таили обиду, но не смели показать ее тому, кто поднялся над всей Шапсугией, да и не только над нею — по всей левобережной Кубани гремело его имя...

Дарихат приехала еще вчера, но до сих пор не виделась с братом. Однако обижаться на Хаджумара не смела. Да и как обижаться, если у него в кунацкой князь Пшимаф, который по дороге из Крыма заехал к Хаджумару.

Брат случайно встретил Дарихат во дворе.

— Не сердись на меня, сестра, что мне все недосуг поговорить с тобою. Дела, дела. И не вздумай возвращаться домой.

— Не затем я проехала столько верст в мерзкой тряской повозке, чтобы тут же отправиться назад. Подождут Шеретлуковы. Поживут одни и поймут, что́ я для них значу. Они там без меня грязью зарастут, голодными насидятся. Вот когда они взвоют, тогда я и посмотрю на них... — Она помолчала, а потом игриво улыбнулась: — Прости, брат, я нечаянно заглянула к тебе в кунацкую... Скажи, кто этот красавец? Одет прямо по-княжески.

— Он и есть князь Пшимаф. А ты, сестра, неисправима! В тебе все еще бродит горячая кровь Наурзовых. Все подавай ей молодых да красивых. Смотри, узнает Наго и бросит тебя,— пошутил брат.

— Подумаешь! Наго бросит меня! Да кто он такой, чтобы разбрасываться такими, как я, дочь Наурзовых, сестра самого Хаджумара,— не то в шутку, не то всерьез ответила Дарихат и тут же рассмеялась.

— Конечно, он не посмеет оставить пожилую женщину, с которой прожил столько лет.

Дарихат нахмурилась, поджала губы и обидчиво повела плечом:

— Ты считаешь меня пожилой?.. Но попробуй не состарься в той дыре, куда вы отдали меня замуж!

— Сестра, о чем ты говоришь? Ведь твой сын уже стал женихом!

— Если мой сын стал женихом, значит, по-твоему, я уже перестала быть женщиной? Ты просто не знаешь, какое у меня до сих пор горячее сердце. Не у всякой молоденькой сыщешь. Если ты захочешь выдать меня замуж, сможешь получить хороший калым.

— Перестань болтать, женщина!.. Валлахи, стыдно слушать тебя. Пойдем-ка, я лучше познакомлю тебя с князем.

— Прямо сейчас? — зарделась Дарихат.

— Если готова, пойдем хоть сейчас.

— Ты что! Разве я могу предстать перед князем в таком виде! Акоза! Акоза! Где ты, паршивая девчонка? Иди помоги мне! Все рыщет, рыщет, будто проглотила собачью ногу и сама стала собачонкой — все вынюхивает!

Пришла Акоза и стала помогать госпоже переодеваться. Дарихат примеряла то одно платье, то другое и ни на одном не могла остановиться. Одно ее старило, другое излишне подчеркивало полноту, третье портило цвет лица. Но почему, почему этой Акозе все к лицу, что бы она ни надела? И злость и печаль овладели женщиной: «Как ты жестока, жизнь, как беспощадно ты губишь красоту! И зачем тебе это, зачем? О мой аллах! Как я была красива двадцать лет назад, сколько парней увивалось вокруг меня. Какие красавцы, богатыри добивались моей руки, почему же мне достался плюгавый Наго? Похоже, правильно умные люди говорят: судьба, как своевольный и капризный ветер, треплет человека... Спасибо тебе, аллах, что хоть Али-Султана одарил моей красотой и статью! Однако пора идти в кунацкую». И она пошла, стараясь ступать легко и плавно.

Увидев женщину, гости поднялись с мест, почтительно, по-мужски с достоинством поклонились ей.

— Со счастливым прибытием тебя, наш гость, на землю шапсугов! — поприветствовала Дарихат князя Пшимафа и вспыхнула румянцем, подобралась, стала вроде бы стройнее и моложе.

Пшимаф встретил ее пристальным взглядом, сдержанно улыбнулся и слегка наклонил свою большую гордую голову.

Дарихат подали стул и пригласили сесть.

— Нет-нет! — заторопилась она. — Я зашла на минутку, чтобы поприветствовать гостя.

— Тот, кто приглашает тебя сесть,— сказал князь,— считает, что ты осчастливишь нашу скучную мужскую компанию. Отвлечешь нас хоть и от серьезных, но таких нудных, деловых разговоров. И как знать, может быть, среди нас найдется человек, достойный твоей красоты. Садись, Дарихат, не покидай нас.

— Спасибо, спасибо! Как мне ослушаться гостя? А если найдется такой человек, пусть он знает, что столбы, подпирающие мою девичью комнату, еще довольно крепко стоят на месте. И дверь в комнату не заколочена,— пошутила Дарихат.— Будьте осторожны, мужчины.

Все рассмеялись, довольные шуткой.

— Валлахи, сестра, есть здесь такой мужчина! Но у него есть и обязательства — они как путы на ногах быстрого скакуна,— после некоторой паузы, сделав лицо печальным, сказал князь.

— Тот, у кого есть обязательства,— не жених,— подзадоривала Дарихат.

— Если бы не эти самые обязательства, ты даже не представляешь, на что могли бы решиться некоторые мужчины,— и князь перевел разговор на другую тему.— Я знаю, как великий князь Кансав благодарен Шеретлуковым за воспитание сына. Да и не один Кансав, многие бжедугские князья очень довольны Шеретлуковыми и считают их своими друзьями. Алкес же просто молодец! Он еще совсем юноша, однако все мы ждем от него подвигов во славу нашей земли, мы уверены — он совершит их, потому что и рода он великокняжеского, и воспитывался славными людьми. Как великолепно он держится в седле, как владеет пистолетом и саблей! Джигит, джигит... Недавно я был на празднике у великого князя Кансава. Ты посмотрела бы, Дарихат, как великий князь танцевал, как смотрели на него молоденькие женщины — они были просто поражены удальством, изяществом пожилого человека. Куда там молодым! Князь брал своей статью, достоинством, седина только украшала его — белый цвет его волос был цветом не старости, а молодости... Ты недооцениваешь мужчин. Бойся их, бойся. Даже под пеплом может таиться такой огонь!.. Ну, конечно, Алкес тоже был в центре внимания женщин. Гордись, Дарихат, своим воспитанником...

Она покинула кунацкую гордая и счастливая. И за себя, и за своего воспитанника Алкеса. Не только Наго воспитывал парня, Наурзовы тоже приложили руку — старшие братья часто брали Алкеса к себе, обучали воинскому мастерству, мужеству. Он бывал с ними не только на охоте, но и в походах. Братья познакомили его с лучшими людьми своего края, сделали их его друзьями. Это конечно же пойдет на пользу будущему великому князю.

Довольна, довольна Дарихат словами князя Пшимафа, обернулись бы они счастьем для ее семьи, для нее самой. «Да хранит нас всех аллах!» — подумала она.

Когда гость ушел в свои покои и брат с сестрою остались одни, Дарихат сказала:

— Видишь, как хорошо сделала я, что приехала сюда. Об этой встрече, о добрых словах князя Пшимафа узнают и в

Шапсугии, и в Бжедугии, а добрые слова сильного человека — это и наша сила, наше богатство.

— Правда, правда! Хорошо, что ты приехала. Наурзовы умеют ценить добро, не забывают своих друзей, а ты, сестра, наш клад. Спасибо тебе!

II

— Не может быть! Бечкан Рампагов не видел его! — возразил Гунай тфокотлю, рассказывающему о том, как Бечкан встретился с лесным человеком.

— Откуда ты знаешь?

— Бечкан — человек верного слова, чепуху молоть не станет, я его знаю. Если не веришь, давай позовем Бечкана и спросим у него.

— Это самое лучшее,— заметил тфокотль, сидевший у стены.

— Пускай позовут Бечкана,— поддержал и молодой парень.

Гунай сказал:

— Правда, время уже позднее, но Бечкан не из ленивых; если попросить его, приедет. А ну, ребята, седлайте коней и скачите к Бечкану, скажите, что его хотят видеть в кунацкой. Вот только дома ли он? Я слышал, он собирался к темиргойцу, который недавно гостил у него.

Хагур давно слышал о Бечкане, добрые слова говорили об этом тфокотле многие, но вот познакомиться с ним все как-то не удавалось. Поэтому обрадовался, когда узнал, что едет с Дарихат к Наурзовым: может, наконец встретится там с Бечканом. И вот теперь все складывается как нельзя лучше. И еще говорили о Бечкане — человек строгий, даже суровый, не любит бросать слова на ветер, как многие из тфокотлей... Только бы застали парни Бечкана дома и привезли сюда. Ахмед говорил: этот тфокотль не очень-то заглядывает в рот своему хозяину Хаджумару, и приблизить себя не дает. Хорошо жить с такими людьми, а не с лакеями; возможно, в них-то и есть наше спасение, в них и кроется наше крестьянское счастье — скупое, как зимнее солнце. Однако что за гость у Бечкана? Должно быть, тоже из сильных. Иначе зачем самому Бечкану ехать к нему в Темиргойю?

Скоро вернулись гонцы и сказали: «Бечкана нет дома, еще не вернулся из Темиргойи».

— Что он там делает так долго, какие у него дела с темиргойцами? — удивился Гунай.

— Как жалко! Мне так хотелось познакомиться с Бечканом,— пожалел Хагур.

— Валлахи, гость, мы не знали, что ты незнаком с Бечканом! — воскликнул Гунай. — Тебе обязательно надо с ним познакомиться. Если пробудешь еще немного, наверняка повстречаешь. Не сегодня завтра вернется, и мы все вместе поедем к нему в Тозепс — это всего два конных перехода.

— Хорошо бы. Но когда я покину Кудако, знает только аллах и Дарихат. А мысли дочери Наурзовых неисповедимы, как ветер.

— Все Наурзовы такие,— поддержал кто-то. — Завтра же забудут то, что обещали сегодня. Как пыль поднимается под копытами норовистого скакуна, так вспыхивает их гнев. И тогда уж берегись. Плетка Хаджумара похожа на капризную и злую Дарихат, она хлещет кого попало, без разбора.

— Только не Бечкана. Этого не случалось ни разу,— возразил Гунай. — Выходит, плетка Хаджумара не так уж и глупа. Она хлещет только слабых и беззащитных.

— И Дарихат знает, на кого можно орать, кого следует опасаться. Не глупость руководит Наурзовыми, а хитрость. Об этом-то всем нам и следует помнить. Страшна хитрость, а не плетка...

...В те давние времена адыгский народ жил раздробленно — отдельными княжествами, племенами. И все-таки невидимые нити связывали их друг с другом. Слухи и выдумки, скупая правда и болтливая ложь, беды и радости быстро распространялись по всей адыгской земле.

Кунацкая... Это не только комната для гостей. Разные бывали кунацкие — богатые у князей и родовитых и скромные у крестьян. Но роскошно ли, бедно ли в кунацкой, всегда это самое уютное, самое притягательное место в доме. Сюда с разных концов слетались новости, отсюда же, не задерживаясь, разлетались они по аулам, по княжествам, пересекали границы, уходили за моря и горы — в студеную Москву, в жаркий Стамбул, в благодатный Крым, в суровый Дагестан. Ходили адыги и в Аравию, и на Балканы, гуляли с товарами по калмыцким степям, по великой Волге и тихому Дону.

Но странное дело: где бы адыги ни бывали, каких бы королевств и царств ни видали, с какими бы порядками там ни знакомились — ничего не хотели перенимать. Считали, что только так и надо жить, как живут они. Правда, в дальние края ездили не тфокотли, а купцы, уорки и князья. Их конечно же устраивало, что тфокотли бессловесные, все терпят, не представляют, как живут люди в других краях, как изменить свою жизнь к лучшему. Слава аллаху, что тфокотли верят, будто князья, уорки и родовитые рождены от солнца и луны, а все остальные — из грязи. Что так от аллаха, извечно и непоколебимо.

Шумят в кунацких. В каждой кунацкой свои радости и горести. У каждой свой голос, жизнь. И как знать, не в кунацких ли зародились первые мысли о неравенстве тфокотлей и родовитых, не в них ли были посеяны и проросли первые семена сомнений, не отсюда ли разнес их ветер по всей адыгской земле.

Вот и сегодня в Кудако тфокотли переговорили обо всем на свете, коснулись и своей нелегкой доли.

— Тфокотли везде живут одинаково,— сказал Гунай. — Если Наурзовы вспыльчивы, то Шеретлуковы жадны, как голодные волки, и свирепы, как барсы. Не лучше и Абатовы. И если уж говорить начистоту, то понять тфокотля может только аллах, отец наш небесный.

— Может, ты и прав,— заметил Хагур,— если не аллах, кто поможет нам справляться с бедами? Правда, в народе говорят: «Бог-то бог, но и сам не будь плох». Мы сами виноваты, что не требуем от князей и родовитых равенства. Ведь аллах всех сотворил одинаковыми, все мы его дети. Разве может отец одному ребенку желать добра, а другому худа? Не верю я в это. Почему, даже собравшись вместе, мы боимся громко заговорить о своих нуждах, почему не требуем справедливости? Тогда бы и хозяева вели себя осмотрительнее, осторожнее, считались бы с нашей силой... Странная привычка у некоторых адыгов: встретятся двое и поносят третьего на чем свет стоит. Но если этот третий окажется здесь же, все станут хвалить друг друга. Значит, самих себя и то боимся, а что уж говорить о богатых? Кто из нас посмеет открыто возмутиться? А раз молчите, раз ластитесь к родовитым, тогда и на судьбу нечего жаловаться. Судьба здесь ни при чем.

— Валлахи, гость, ты угодил в самую точку! — согласился Гунай. — То же самое говорит нам и Бечкан Рампагов. Когда каждый в свою дудочку наигрывает — красиво получается, но если соберутся вместе и станут играть каждый на своей дудочке — слушать нельзя, уши завянут. Бьют нас сильные, а мы им улыбаемся — мол, ничего, стерплю, ах, как ловко ты отходил плетью моего соседа. Как хлестко! И совсем забываем, что этой же самой плеткой так же хлестко хозяин исполосует нас. До слез, до смерти.

Повздыхали, помолчали тфокотли. Тяжесть горькой правды придавила плечи. Чтобы хоть как-то забыться, отвлечься от горьких мыслей, стали рассказывать сказки.

— Ты, Гунай, спорил со мною насчет лесного человека. Неужели опять не поверишь, если я скажу, что каждую весну на холме Сэбэр собираются колдуны? Ну, чего молчишь? Согласен или нет?

Задумался Гунай, поскреб затылок:

— Если увидишь колдуна, значит, это уже не колдун, а если не видел, как утверждать, будто колдуны есть?

— Верно, колдуна не увидишь, потому что он может на твоих глазах исчезнуть, будто его и не было, на то он и колдун. За примером далеко ходить не надо. Кто из вас возразит, что старуха Кофова не колдунья? Молчите? То-то. На днях ехал я по аулу — и вдруг откуда ни возьмись старуха Кофова. Прямо будто из-под земли появилась. Сердце мое замерло, руки похолодели. Даже лошадь остановилась как вкопанная, и моргнуть не успел — вместо старухи большая черная птица. За всю жизнь такого видеть не доводилось.

— А дальше что? — спросил парень, втянув голову в плечи. Тфокотли притихли, в глазах страх и любопытство.

— Что дальше? Взмахнула крыльями и улетела. Пропала в небе.

— Ну и ну!..

— Аллах всемилостивый, спаси и помилуй.

— О-хо-хо!..

Угрюмая поздняя ночь смотрела в узкое окно. На соседнем дубе кто-то ухал. Филин, что ли? Или старуха-колдунья?

В коридоре послышались шаги. Затаились тфокотли, кажется, даже дышать перестали. Открылась дверь — и в кунацкую вошел Бечкан Рампагов.

Все почему-то смутились и встали. Не сразу нашелся и Гунай: как-то странно переступил с ноги на ногу и лишь потом поприветствовал Рампагова: то ли слишком неожиданно пришел гость, то ли еще витала в кунацкой тень колдуна. А на улице все ухал и ухал филин.

— Только я вошел к себе в дом, сказали, что за мной присылали гонцов из Кудако. И вот я здесь. Случилось что-нибудь?

— Валлахи, Бечкан, так неловко, что побеспокоили — ты ведь с дороги, но раз уж пришел, познакомься — наш гость из Бастука. Нам очень хотелось, чтобы ты сегодня побыл вместе с нами.

Хагур и Бечкан поприветствовали друг друга. Рампагов справился о своих бастукских друзьях.

— По милости аллаха,— ответил Хагур,— все живы-здоровы, ничего худого пока не случилось. — Немного помолчав, продолжил: — Мы слышали, что у тебя, Бечкан, гостил темиргоец, а теперь ты ездил к нему. Какие новости в той стороне?

— Был у меня гость из Темиргойи. Отец его погиб от подлой руки уорка, а его самого Мамруко связал, хотел продать за море. Правда, парню удалось бежать, но ехать домой одному было небезопасно, вот я и проводил его... Адыги, адыги, и что мы за люди? Почему не живем в мире? Почему у нас столько злобы друг к другу? Горько это видеть. Да если бы нас мучили только князья и уорки, а то ведь мы и друг с другом ссоримся, не умеем беречь мира.

Горестный рассказ Бечкана, его упрек в адрес всех адыгов подверг собравшихся в уныние. Никто не знал, что сказать, как ответить Бечкану.

Молчание прервал Гунай, старший из присутствующих:

— Что поделаешь, Бечкан, видно, такова наша доля. Е-о-ой, дуней, дуней, старый проклятый дуней!..

Гунай, испытывая неловкость оттого, что потревожил человека по такому пустяку, объяснил, зачем его позвали.

Бечкан снисходительно улыбнулся, огладил обеими руками лицо, словно снимая усталость, улыбнулся:

— Многие говорят, что этот лесной человек — одноглазый, будто в его груди торчит меч. Кто видел его? Мне не доводи-

лось. Откуда же и почему пополз этот слух?.. Возможно, после моей встречи с Мамруко в Тхамезском лесу?.. У-у, в какое трудное положение я там попал. Никогда в жизни ничего подобного со мной не случалось,— тяжело вздохнув, Бечкан начал свой рассказ.

III

За последнее время Дарихат первый раз провела ночь так спокойно. Может, потому, что она спала в своей бывшей девичьей комнате на деревянной, привычной с детства кровати. Ни разу не пошевелилась — проснулась на том же боку, на каком заснула.

Пробудившись, она прислушалась: кругом было тихо. Сладко потянулась в постели, тихонько засмеялась от удовольствия. Действительно, лучше дома, где родился, не бывает. Он кажется живым существом, которое все помнит, все знает, заботится о тебе.

Дарихат вспомнилась ее девичья веселая пора. Сколько женихов перебывало здесь! И все наперебой желали только одного — понравиться ей, угодить, исполнить ее малейшее желание.

Но воспоминания схлынули так же внезапно, как и накатились. Ведь что прошло, то прошло, надо думать о том, что ждет впереди. Дарихат с досадой представила себе вчерашний вечер, свое посещение кунацкой. Почему женщинам запрещено то, что мужчинам позволено? Это несправедливо. Мужчины живут в свое удовольствие, не рожают, не воспитывают детей, знай только разъезжают себе да устраивают всякие развлечения или сидят в кунацких, проводя время в интересных беседах.

Вот и вчера, разгоряченные разговорами и бузой, они веселились вовсю. В кунацкой Пшимаф выглядел уже не таким симпатичным, каким показался вначале. Держался несколько заносчиво, голову держал слишком высоко. Не стесняясь присутствующих, оглядел Дарихат с ног до головы. Он высок, плечист, не то что Наго. Тело упругое, сильное, в походке, во взгляде уверенность. А уверенность — родная сестра наглости. Некоторые женщины не умеют различать этого и расплачиваются за свою наивность кто слезами, а кто и кровью. Дарихат, слава аллаху, не из таких.

Странно, что в кунацкой не было Казджерия. Разве он не знает, что в доме Наурзовых — гость? Знает. Очень хорошо знает, а почему-то не пришел. Именно он — желанный в доме человек. Казджерий не князь, а выглядит как князь. Окажись он хоть среди ста князей, все равно будет выглядеть благородней, чем они! Может, он правильно сделал, что не приехал вчера, побоялся обнаружить свои чувства к Дарихат? Если так, Дарихат прощает его.

— Вставай, сестра! — раздался за дверью голос невестки. — Брат спрашивает тебя.

— Позор мне! — присела Дарихат на кровати. — Все в доме встали, только я еще в постели. И все из-за негодницы Акозы, которая специально не разбудила меня вовремя и сама где-то пропадает, завлекая мужчин. — Акоза! Акоза!..

Акоза вошла быстро, будто ждала за дверью.

— Холера тебя возьми! Что же ты не разбудила меня, а дождалась, пока это сделали другие? Где мой брат?

— Он еще не поднялся, госпожа, я его не видела в доме.

— Тогда почему расшумелась моя невестка? — разобиделась Дарихат. — Невестка всегда останется невесткой, ее больше всего волнует, сколько я сплю и сколько ем. Она не давала мне спать, когда я была еще девушкой. Сколько раз запрещали ей будить меня слишком рано, а она все равно продолжала свое.

Поругивая невестку, Дарихат тем не менее поднялась с постели, надела платье. Пока она наряжалась и прихорашивалась, был приготовлен завтрак. Понесли угощение Пшимафу и его байколям, оседлали их коней.

— Как спала, сестра? — спросил Хаджумар, войдя в комнату.

— Всю ночь не сомкнула глаз,— ответила Дарихат, вспомнив, как ее подняли с постели. Хотела добавить что-нибудь резкое в адрес невестки, но передумала. И в самом деле, в чем виноват ее брат, зачем огорчать его?

— Тебя что-то беспокоило? — испугался Хаджумар.

— Твой гость собирается уезжать,— уклончиво ответила Дарихат.

— Не волнуйся, сестра, я его так быстро не отпущу,— тут же возразил Хаджумар. — Мы еще поездим с ним по окрестностям. Пусть тфокотли знают, что у меня в гостях князь.

— Повези его в Тозепс, пусть князя увидит Бечкан и проникнется к Наурзовым уважением. А то слишком много о себе мнит.

— Ты права, сестра. Этот Бечкан у меня как сучок в глазу. Ему оказывают почет, не соответствующий его положению, и огонь в его очаге не думает гаснуть, только разгорается все сильней и сильней. Говорят, недавно у него гостил кто-то из Темиргойи, но к нам не заглянул. Еще ни один человек не уехал отсюда, не нанеся нам визита.

— Ты еще увидишь, как погаснет огонь в его очаге. Недаром же говорят, что курица сама выцарапывает из земли то, что станет ее смертью... — утешила Дарихат. — У нас тоже есть тфокотль, глядящий на нас, как твой Бечкан, исподлобья. Ты его знаешь, это Хагур. Хуже всего, что он живет с нами в одном ауле, слышит все наши разговоры, знает все наши дела. И от него невозможно избавиться.

— Не знаете, что делать? — удивился Хаджумар. — Дайте ему свободу и удалите от себя. Отрежьте кусок земли, пусть займется хозяйством и тогда забудет обо всем остальном. Я так и поступил с некоторыми тфокотлями и ничего не потерял, наоборот: они отдают мне часть урожая и стараются вовсю, да еще и милость мою каждую минуту помнят. И страх, что я могу отобрать все это, держит их в узде. Пусть зять мой не боится, что освобожденные тфокотли станут богаче его, этого не случится. Чем богаче тфокотли, тем богаче он. Тфокотли работают не на себя, они работают на нас, только не должны об этом догадываться, и тогда покой не будет нарушен.

— Тфокотлям только дай разбогатеть, начнут задирать голову, никакой жизни не обрадуешься,— не согласилась Дарихат. — Вот ты одарил Бечкана, а он возгордился и встал тебе поперек пути.

— Бечкан не потому возгордился, что я подарил ему кобылу, а потому, что знает себе цену.

— Если ты считаешь себя бессильным, возьми мою шаль, отдай мне свою шапку,— вспыхнула Дарихат.

Хаджумар не обиделся на сестру, только рассмеялся.

— Наше счастье, что ты не в шапке родилась, а то стала бы делиться с нами и захватила добрую половину отцовского богатства. Или совсем бы нам ничего не оставила.

— Значит, вы породнились с богатыми Шеретлуковыми потому, что боялись меня? Слава аллаху, мы не бедны, у нас с мужем есть все, но я не подумаю и зернышка подарить кому бы то ни было.

— Неплохо выучили тебя Шеретлуковы,— пожал плечами Хаджумар. — Мне-то что, не дари. Я лично у тебя ничего не прошу, хотя твоя скупость меня порой удивляет.

— Куда там Шеретлуковым! Я никогда и не была щедрой! — заносчиво согласилась Дарихат, но вдруг спохватилась: — Что же это я задерживаю тебя своей бабьей болтовней, когда в доме гость и мужских дел хватает по горло.

Дарихат ласково улыбнулась брату, чтобы у того не осталось неприятного осадка от утреннего свидания с сестрой, и, величаво неся свое отяжелевшее, как созревший плод, тело, вышла из комнаты.

Байколи и тфокотли и вправду уже заждались князя Пшимафа и родовитого Хаджумара. Когда князь вышел, байколи подтянулись, распрямили плечи, на их лицах появилось выражение почтительности, смешанное со страхом. Князь не обратил на них никакого внимания. Ему подвели коня. Гордо держа голову, он сел, не отказываясь от помощи байколей, но и не поощряя ее. Конь тронулся легкой рысцой — князь не спешил, поджидая Хаджумара. Вот уже и Хаджумар в седле, вот уже расступились байколи. Всадники выехали за ворота и стали быстро удаляться, поднимая за собой клубы пыли.

Провожающие вздохнули свободней.

— Высоко несет князь свою голову,— улыбнулся Хагур. Он стоял рядом с тфокотлем Гунаем, у которого вчера гостил.

— Княжеский титул чего-нибудь да стоит,— откликнулся Гунай.

— А тебе известна история, связанная с князем Пшимафом? — спросил Хагур, усаживаясь под стогом сена.

— Нет. — Гунай примостился рядом, заранее предвкушая удовольствие от рассказа.

— Нет такого князя, о котором бы не рассказывали историй, добрых или злых, а что касается этой, слышал я ее от абадзеха Нарыча и свидетель тому Ахмед Шепако,— начал Хагур.

— Эй, Хагур! — закричал ему кто-то из толпившихся на усадьбе. — Если хочешь рассказать что-то интересное, дай и нам послушать.

Хагур подождал, пока подойдут тфокотли, и продолжил:

— Как-то раз князь Пшимаф сел на коня и выехал один за окрестности аула. На дороге он увидел какого-то всадника, едущего со стороны реки. Князь решил заставить его свернуть с дороги в бузину, чтобы не глотать пыль из-под копыт чужого коня. Незнакомец понял намерение князя и сказал: «Кто бы ты ни был, нам хватит одной дороги, лучше не ссориться». — «Обойди по бузине!» — закричал князь. «Дай мне проехать по дороге»,— стоял на своем незнакомец. «Прочь с дороги, не видишь, что перед тобой князь!» — совсем разъярился Пшимаф. «Если тебе мало места в степи, бешеный пес, я покажу тебе твое место!» — вскричал всадник. А это был Нарыч, человек большого мужества и большой физической силы,— пояснил слушателям Хагур. — Он схватил князя за плечи, сбросил с седла и стал связывать ему руки. «Что ты со мной делаешь? — испугался Пшимаф. — Ты ведь не убьешь меня? Аллах не простит тфокотлю убийства князя, и родственникам и тебе этого не простят, убьют тебя самого и всю твою семью». — «Зачем мне принимать грех на душу? — возразил Нарыч. — Отвезу тебя на побережье и продам. За князя еще дороже дадут, чем за простого смертного». — «Возьми с меня выкуп, только отпусти! — взмолился князь. — Я дам тебе все, что пожелаешь!»

День был довольно жарким, а Пшимаф обливался холодным потом. Разве мог он представить, что дело обернется таким образом, и, выдавливая заискивающую улыбку, прикидывал, как подкупить, а потом жестоко отомстить тфокотлю.

«Не нужно мне твоего богатства,— решительно сказал тфокотль, сдвинув брови. — Испытай-ка, брат, на своей шкуре, что такое обида и что такое беда, может человеком станешь». Слово «брат» прозвучало в его устах иронично и горько.

Повез Нарыч князя на побережье, посадил его, связанного, в один ряд с теми, кто покупал и кого покупали. Князя на базаре увидели и узнали в лицо. То-то была потеха — три раза подряд готов был провалиться Пшимаф сквозь землю, да не

провалился, к сожалению. Отвез его Нарыч назад, на то место, где взял в плен, да и отпустил на все четыре стороны. Правильно говорят, что позор хуже смерти, а худая молва впереди дня бежит. Широко разнеслась весть о позоре князя Пшимафа...

IV

— Шапсугия — красивая страна,— разглагольствовал князь Пшимаф, на полшага опережая Хаджумара. — Как хорошо здесь у вас, такое ощущение, словно парю в поднебесье. С этой высоты можно увидеть все, что делается в ауле, разглядеть каждого всадника, откуда или куда бы он ни ехал.

— Да, мы живем в красивой стране, Пшимаф,— Хаджумару слова князя пришлись по душе, но ему хотелось поговорить на ту тему, которая волновала его больше всего. — Красота трогает глаз, но не трогает сердце, потому что жить в этой стране тяжело. Шапсугские тфокотли не оказывают родовитым того почтения, которого они заслуживают. Перед бжедугскими князьями все раболепствуют, а у нас слуги и те смотрят косо.

— О, Хаджумар, и наши тфокотли не стоят твоей похвалы: они сгибают спину, когда смотришь на них, а чуть отвернешься — уже стоят. Недавно я одного дерзкого тфокотля самолично отхлестал плеткой, хотел отдать его торговцам, но смягчил свое сердце, оставил его на родине. И можешь представить, чем меня отблагодарил этот презренный? — князь выждал паузу и продолжил с наигранным удивлением: — Тфокотль стал повсюду хвастаться, распускать небылицы, будто это он отхлестал меня, да еще и на побережье возил продавать. Его слушают, а некоторые даже готовы поверить таким бессовестным вракам.

Хаджумар слышал эту историю еще раньше, о ней среди родовитых говорили шепотом, но не решился передавать это князю. Ему было стыдно.

Пшимаф между тем продолжал свои жалобы:

— Это собачье отродье снюхалось с абадзехами, которых приглашают к себе в гости. А абадзехи мутят аул, ругают князей. Совсем житья не стало. Тфокотлю только дай волю! У него своего ума нет, вот он и бегает занимать его у бородатых нечестивцев.

— То же самое и у нас,— подхватил Хаджумар. — Когда едешь в Темиргойю, непременно проезжаешь через Абадзехию. Возвращаешься назад, темиргойские тфокотли уже сидят у ворот абадзехов. Каждый обиженный тфокотль бежит за помощью к соседям. А в последнее время и того хуже: стали собираться группами и решать свои дела скопом. Прямо жить друг без друга не могут. Правду ты говоришь — нет у тфокотля разума, вот он и ищет, с кем объединиться. Станешь чему-нибудь учить такого безмозглого, а он говорит: подожди, пойду спрошу, что другие скажут.

— Такого у нас вроде бы нет,— задумчиво произнес князь,— у нас больше держатся родственными связями. Нельзя допускать, чтобы все тфокотли породнились друг с другом и стали как одна семья.

— А как же с этим бороться? — спросил Хаджумар.

— Так, как это делают Хаджемуковы. Если узнают, что в какой-то семье подрастает много братьев, начинают увозить их на побережье. Этому их научил еще дед, старый Хаджа, ныне покойный, да возрадуется его душа, отдыхающая в раю.

Хаджумару снова, и уже совсем некстати, вспомнилась история с пленением князя. Наверное, из-за слова «побережье». Он невольно улыбнулся, представив гордого Пшимафа, привязанного к седлу. Но тут же испугался своей улыбки и согнал ее. «А с другой стороны,— подумал он,— зачем нужно было князю самому напрашиваться на ссору, да еще затевать ее не с кем-нибудь из своих людей, а с Нарычем, человеком крутого, свободолюбивого нрава? Вот и получил по заслугам».

Почему-то несчастья с теми, кто стоит выше нас, доставляют нам тайную радость. На словах мы всегда готовы выразить сочувствие, а в душе тоненький, писклявый голосочек поет: «...так ему и надо!» Почему так — никто не знает.

— Хаджемуковы — умные люди,— сказал Хаджумар, пытаясь отвлечься от своих мыслей,— они знают, что для них выгодно, что нет. Я несколько раз бывал у них и всегда замечал немало для себя поучительного. Но я ни разу не видел, чтобы кто-то из их тфокотлей смотрел на кого бы то ни было враждебно, с ненавистью. Они живут с князем как одна семья.

— Да, Хаджемуковы умные и хитрые люди,— поддержал Пшимаф. — Хитрые еще не означает, что лживые, умные всегда хитрые, а хитрые — умные. Они умеют сделать так, чтобы и им было хорошо, и тфокотль остался доволен. Титул великого бжедугского князя старый Хаджемуков носит с честью, и сын его — человек достойный. — Пшимаф увлекся своей речью, будто выступал перед большим сбором, и не сразу заметил, что Хаджумар все настойчивее посматривает в сторону.

— Эй, что там случилось? — наконец обратил внимание и князь. В его голосе прозвучали нотки беспокойства.

Из аула Тозепса шла толпа тфокотлей. Они гнали впереди себя огромного быка. Толпа была внушительная, рядом со взрослыми шагали и дети. Люди несли с собой котлы, стульчики, маленькие треногие столики, дрова.

В мужчине, который вел быка, Хаджумар узнал Бечкана. Неторопливо, спокойно шел он рядом с сильным животным, направляя его в сторону леса. Любой шапсуг сразу бы догадался о том, что собираются делать эти люди. Но Пшимаф конечно же этого не знал, и Хаджумар, успокаивая князя, пояснил:

— Эти люди гонят быка к дереву, возле которого приносят жертву своему богу.

— Я догадался об этом,— сразу же успокоившись, несколько высокомерно обронил гость Хаджумара. — Бжедуги давно уже забыли об этом старинном обряде, он сохранился только в Шапсугии и Абадзехии. Не могут расстаться со старой религией, до сих пор поклоняются своим богам.

— Аллах поможет им найти верный путь,— сказал Хаджумар. — Адыги уже повсюду принимают мусульманство.

— Да, это так. Но интересно посмотреть на старинный обряд вблизи; мне кажется, я такого больше никогда не увижу. Как ты думаешь, Хаджумар?

Хаджумар попал в трудное положение. Ах, как жаль, что он не предусмотрел всего этого заранее, поторопился с поездкой. Если бы не Дарихат, не повез бы гостя в аул Тозепс. Вечно эта Дарихат вмешивается в чужие дела и путает их. Хотела напугать Бечкана, и кем, каким-то князем! Мало, что ли, тот видел их на своем веку, не больно-то испугается. Да и сам князь хорош, ведет себя как ребенок, который увидел игрушку и тянется к ней, требуя дать ему то, что вдруг захотелось.

— Твое желание для меня священно, гость,— сказал Хаджумар, не выказывая недовольства.

Всадники вслед за процессией направились к лесу, за ними заторопились байколи.

Люди вошли в лес и остановились на широкой поляне. Бечкан встал вблизи могучего, раскидистого дуба. Широкие ветви его низко свисали над землей. Мужчины и женщины разделились на две группы и выстроились по обе стороны дерева. Бечкан, сняв шапку, присел перед деревом, от групп отделились мужчина и женщина и встали рядом с Бечканом, женщина по правую руку.

Всадники въехали на поляну и спешились. На них не обратили внимания, потому что Бечкан уже приступил к молитве. Сердца всех сейчас были обращены в ту сторону, куда протягивал Бечкан воздетые в молитве руки.

— О, мое дерево, о, мой бог, убереги нас, как ты всегда это делаешь, от болезней и бедствий, ты, чьи помыслы чисты, как вода, сделай немым того, чей язык клевещет на нас, сделай доброй жизнь, которую ты нам дал!..

— Аминь,— поддержали присутствующие.

— Укрепи наши дух и силы, чтобы мы побеждали каждого, кто придет к нам с недоброй целью. А тот, кто придет с добром, пусть станет счастливым гостем!

— Аминь,— еще дружнее ответили люди.

— Чтобы наши дети не имели врагов, чтобы ты всегда дарил им хороший урожай. Чтобы мы радовались рассвету, подари нам все доброе.

— Аминь.

— Кто нас хватает за руку, того мы берем за горло, говорим тебе не скрывая. Поддержи нас!

— Поддержи нас, наш бог, наше дерево,— громко повторили молящиеся.

В самом разгаре молитвы Хаджумару вдруг показалось, что над ним нависла какая-то скрытая опасность. Грозно звучали мужские и женские голоса и даже в устах детей слова приобретали тревожный смысл. Пшимафу тоже стало не по себе.

Бечкан закончил молитву.

Голоса тфокотлей, подхваченные ветром, пропали в лесной чаще.

Тягостная тишина охватила поляну.

Женщина подала Бечкану горевшую свечу. Размягченным воском он смазал лоб быка, окропил специально приготовленным настоем, потом мужчины свалили связанного быка и зарезали его.

Бечкан молился. Все повторяли его слова. Он взял рог с напитком, пирог и протянул старому тфокотлю:

— Отведай, старший, и благослови.

Старший откусил кусок пирога, запил и передал другому...

— Со счастливым прибытием тебя, Пшимаф. Спасибо, что ты побывал на нашей молитве,— сказал Бечкан.

С быка сняли шкуру. Над кострами стали навешивать котлы, закладывать в них мясо. Голову быка насадили на кол, вбитый в землю.

— Теперь нам лучше уехать,— предложил Хаджумар гостю.

— А что дальше будет?

— Сварят мясо, съедят и запьют бузой. Нам лучше уехать, ни к чему оставаться с пьяными тфокотлями.

Они незаметно уехали.

Мужчины и женщины взялись за руки и, образовав круг, начали обрядовый танец.

В круг вошли молодые. Звучала музыка. Люди пели древние песни, обращенные к таким же древним языческим богам, как и сама песня.

Тем временем мясо сварилось, и началось пиршество.

V

Дарихат провела в отчем доме уже трое суток и всякий раз, заслышав конский топот, подбегала к окну — все ждала и ждала Казджерия. За эти дни она два раза поругалась с невесткой. Второй раз сегодня утром. Поссорились серьезно, теперь из-за золотых ниток, привезенных Хаджумаром из Крыма. Невестка показала Дарихат подарок мужа:

— Вот полюбуйся. Нравятся?

— Очень красивые! — загорелась Дарихат. — Вот такую, желто-розовую нить очень трудно достать. Шеретлуков привозил мне немного, а я по глупости раздала.

— И мне нравятся эти нити,— ответила невестка и, увидев завистливый взгляд Дарихат, на всякий случай стала убирать

подарок. — Хаджумар так мало их привез, поскупился, видно.

Дарихат возмутило, что невестка не предложила выбрать что-нибудь. Более того, брат из такого далека вез ей подарок, а она, неблагодарная, еще и недовольна.

«Сколько ты поносила моего брата, прикидываясь дурочкой. А он, глупец, горазд кричать только на нас, беззащитных, да на тфокотлей, со своей же бабенкой не может справиться. Живет у нее под каблуком. Чем Наурзовы хуже каких-то Шикушевых? На пастбищах Наурзовых пасутся такие стада, какие Шикушевым даже не снились. А чьи лошади славятся на всем левобережье Кубани и в Крыму? Наши! Я должна, я выскажу этой нахалке все!» — и Дарихат пошла на приступ.

— Почему ты считаешь моего брата скрягой, если он привозит тебе такие дорогие подарки?

Невестке тоже не понравилось поведение золовки. «Что нужно этой разжиревшей свинье? Не успеет порога переступить, как тут же начинает совать свой поганый нос в мои дела. Да еще и грозит, будто я ее служанка. Мало я намучилась в первые годы замужества из-за твоего языка! Когда ты вышла замуж, я подумала, что наконец-то могу жить спокойно. Когда твой брат приезжает к тебе, ты сплетничаешь, науськиваешь его, все норовишь поссорить нас... Знай же, что Шикушевы принадлежат к одному из самых славных шапсугских родов, и будь уверена, за меня есть кому постоять», — негодовала Гошпак, а вслух ответила:

— Я так сказала, потому что хотелось, чтобы он привез этих нитей побольше.

— Тебе все мало! Не бойся, никто их у тебя не собирается отнимать. Я не за нитками сюда приехала.

— Я смотрю, меня в этом доме ценят хуже ниток.

— Какие слова говоришь мне, грубиянка! — щеки Дарихат вспыхнули. — Слова не дашь сказать. Пора тебе забыть свой шикушевский норов. Вот уж действительно, пришла чужая собака и прогнала со двора хозяйскую. Не так ли ты себя ведешь? Закричу сейчас во весь голос, соберу аул, пусть все видят, пусть все знают, как ведет себя невестка в доме уважаемых людей, — и Дарихат приготовилась было закричать во всю мочь.

— Что ты говоришь, дочь наша! — заносчиво и в то же время испуганно сказала Гошпак, боясь, как бы Дарихат и в самом деле не начала вопить, с нее такое станется. А то возьмет и уедет домой, скажет, невестка выгнала из отчего дома, — позора не оберешься.

А во дворе в это время появился гость:

— Что так тихо кругом, уж не покинули ли Наурзовы свой дом? — раздался под окном голос Казджерия.

Невестка обрадовалась, что можно оборвать этот скандальный разговор, и выскочила ему навстречу.

— Добро пожаловать, добро пожаловать! — гася еще не остывший гнев, поприветствовала она гостя.

— Что это у вас так тихо, Гошпак? Или уже нет гостьи в вашем доме? А сам-то хозяин не в отъезде?

— Он поехал проводить князя.

— Почему князь так мало побыл у вас?

— Он не гостить приезжал, по пути из Крыма заглянул на денек.

— Значит, сам князь Пшимаф заезжал к Наурзовым? Я и не знал. Сын Наурза никогда не известит, если ли у него гость. А у меня к князю важное дело. Очень жалко, что я не встретил его здесь, теперь придется ехать в Бжедугию... Ну, а чем занимается гостья, божьей милостью?

Дарихат подслушивала этот разговор из комнаты: «Видно, не так уж ты хотел меня видеть, если столько дней не показывался. Что ни говори — непостоянны мужчины: то порог обивал, увивался, как пчела над цветком, а теперь, видите ли, некогда заглянуть хоть на минутку. А я, дура, подарила ему кисет, шитый золотом. Сколько драгоценных ниток ушло! Хорош, ничего не скажешь! Сам-то в каких только землях не бывает — хоть бы раз привез какой-нибудь подарочек. Правильно говорят, у мужчин слишком глубоки карманы, чтобы из них доставать деньги для женщин... Из-за тебя бросила дом Шеретлуковых и прибежала сюда. Хотела повидаться, а ты!.. Будь ты пеший или на коне, рядом со мной или за тысячу верст — я всегда должна быть в твоем сердце, раз уж ты мой возлюбленный. Даже когда танцуешь на чьей-нибудь свадьбе с самой красивой девушкой, она не должна заслонять меня в твоем сердце. Ведь я и в постели с Наго вспоминаю тебя, неблагодарный!»

А Гошпак думала: «Увидел аллах мои страдания, услышал молитву и прислал Казджерия — теперь злая золовка не опозорит меня, не покинет дом Наурзовых». А вслух продолжала:

— Ты говоришь о нашей дочери, Казджерий? Какая же она гостья? Дочь наша. Здорова Дарихат, весела и счастлива. Разве может быть большее счастье, чем побывать в отчем доме?

Вышла Дарихат, сменила злобу на кокетливую улыбку:

— С прибытием тебя, Казджерий!

— Во-ви, дочь Наурзовых, как давно я не видел тебя! Как вы там поживаете, в Бастуке? Жив-здоров Наго, Али-Султан? Услышал я, что ты здесь, вот и решил поприветствовать тебя и весь род Шеретлуковых... Будь счастлива — выглядишь хорошо, помолодела. Гошпак, ты посмотри, дочь ваша будто и не собирается стареть. Ей сына пора женить, а она сама невестой выглядит.

Повела плечами Дарихат, зарумянилась:

— Пусть Али-Султан не думает, что, когда он приведет мне в дом жену, я смирюсь с участью свекрови, бабушки. О великий аллах! Да ты, Казджерий, спроси хоть Гошпак, разве не хочет женщина в любом возрасте снова оказаться в своей девичь-

ей комнате? Мы с нею заставили бы мужей переплыть море в оба конца, лишь бы пережить такие минуты.

Гошпак улыбалась — отошло, оттаяло ее сердце, и она почти без обиды подумала: «О, глупая Дарихат! Ты бы лучше приказала расседлать коня твоего гостя, а насчет возраста — никуда ты от него не денешься, многие прикидывались беззаботными стригунками, но ничего у них не вышло, время и их оседлало...»

Наконец гостя пригласили в дом, в кунацкую, наконец Дарихат осталась наедине с Казджерием. На ее полных щеках играл румянец.

Взволновался и Казджерий, сладкая истома пробежала по его телу, он слышал громкий стук своего сердца. Нравилась ему Дарихат — полнокровная, пышная, она была в его вкусе, волновала.

— Ну, как живешь, Дарихат? — лишь бы не молчать, спросил он.

— Живу, как видишь. Соскучилась по родственникам, вот и приехала навестить. Да ведь правду говорят, гость в доме тем дороже, чем меньше он гостит... Завтра уеду,— с напускной грустью проговорила она и взглянула на Казджерия: как он отнесется к ее словам.

— Что же так скоро? — вроде бы забеспокоился он, вроде ему жалко, что она скоро уезжает.

— Надо ехать. Дом, хозяйство не любят, когда хозяйка долго отсутствует. И по Наго соскучилась...

Закурил Казджерий и закрыл кисет, шитый золотом, положил его в карман. Кисет, который вышивала Дарихат. Она почему-то с тоской посмотрела на него. Ей показалось, что Казджерий не кисет положил в свой карман, а часть ее сердца...

«Что же ты молчишь, мужчина? Неужели тебе нечего сказать женщине, которая так относится к тебе?.. Нас никто не услышит. Ах, какой ты черствый! Спросил бы меня, я столько бы тебе сказала. Однако первое слово за тобой. Ну же, ну!..»

Глава шестая

I

Абадзехи занимают горные и долинные земли вдоль берегов рек Шхагуаше, Кужипс, Пшех — от истоков под вечными снегами до самого подножия, где они становятся многоводными. В этих местах абадзехи живут испокон веков. Как неприступные, в вечных снегах вершины, горды сердца их. Взгляд зорок, как взгляд орла. А когда абадзехи смеются, кадыки у них дробно трясутся, и кажется, будто не люди смеются, а рокочут горные реки. Вспыльчивы, горячи абадзехи, упрямы, но очень добры и гостеприимны.

Бечкан Рампагов с абадзехами дружил давно и довольно часто навещал их. И в этот раз он с удовольствием принял их приглашение.

Стояла веселая пора сенокоса. Пора цветения трав, пора самых красивых птичьих песен.

Не покладая рук Бечкан целую неделю косил травы, сушил их и заготовил достаточно. Больше половины сена сложил в копны, а оставшееся попросил сложить жену.

Лишь после этого он отправился в Абадзехию.

Дружный и согласный народ абадзехи, будто ивовые прутья в хорошем плетне. Они строго придерживаются обычаев, старшинства, всегда стоят за справедливость и обнажают сабли только против зла. Как не может ужиться в мире огонь и вода, так у абадзехов не уживаются трусость и мужество. Слабому, трусливому человеку они в шутку говорят: не ходи горными тропами, а то закружится голова и упадешь, разобьешься о камни.

Бечкан шел на коне по серпантинам горных троп. Он вспомнил эти слова и улыбнулся: в Абадзехию его пригласил на праздник испытания мужества Салим Джанчатов. Красивое это зрелище. Побывает Бечкан и у своего давнего знакомца Нарыча, побывает у всех, кого знал уже многие годы,— с каждым разделит его радость или печаль.

Увидев на склоне горы косаря, Бечкан решил завернуть к нему. Надо немного отдохнуть, да и конь пусть пощиплет сочную траву, поднакопит сил для нового перехода.

Косарь был старым человеком: волосы белые как снег, лицо изрезано глубокими морщинами, руки в синих жилах. Просторная рубаха мокра от пота.

Бечкан спешился:

— Как в половодье прибывает вода в речках, так пусть прибывает твое сено, счастливый тхаматэ[1]!

— Спасибо, сын мой! — воткнул косу ручкой в землю, отер с лица пот. — Откуда едешь, божьей милостью, и далек ли твой путь?

Приятное, мудрое лицо у старика, хотя и суровое, усталое, но разве не красивы суровые скалы.

— Из Тозепса мой путь, счастливый тхаматэ.

— Тозепс, говоришь? Далеко это. Присаживайся, гостем будешь,— пригласил старик, неторопливо опускаясь на свежескошенную траву. — Какие новости на вашей земле? Как живут тфокотли, чем заняты? Чему радуются и о чем печалятся?

— Все спокойно в нашем краю,— ответил Бечкан, присаживаясь рядом со стариком. — Суровую зиму наши тфокотли пережили благополучно, а теперь косят добрые травы. Хорошие травы выдались в этом году. Только не ленись, коси.

---

[1] Тхаматэ — старейший. «Счастливый тхаматэ» — так молодые приветствуют старших.

— Восточный ветер носит: кто корове сена не накосит, тот несчастный человек. У вас не говорят так, сын мой?

— Весенняя трава кудрявится; кто не накосит в зиму сена и без молока останется, несчастный человек,— так у нас говорят, счастливый тхаматэ.

— Верно говорят... Сухая ложка рот дерет — это тоже про молоко, про масло, значит, и про сено.

— В сенокос пóтом обольешься — зимой сметаной зальешься!

— Мудро, мудро, мой младший брат,— довольно щурясь, улыбнулся косарь.

— И еще у нас говорят: пустой дом — холодная пещера, пустой анэ — всего лишь круглая доска.

— У кого есть достаток,— поддержал старик,— у того трубка величиной с корзину.

— А у кого нет достатка, у того мяса в супе не больше, чем на воробье.

Совсем разулыбался старик:

— Сразу видно, сын мой, что ты из Тозепса.

— Почему?

— Говорю так потому, что в Тозепсе живет не по возрасту мудрый Бечкан Рампагов. Мы с ним не знакомы, но я слышал о нем много доброго. Рампагов — смелый защитник тфокотлей перед родовитыми Наурзовыми, недаром Бечкан слывет мудрым и мужественным человеком. Он, наверно, много ездит, много видит, не брезгует дружбой с бедняками, не боится вступить и в спор с сильными. Похоже, пьет воду из древних ключей своей земли, но и сегодняшнюю, дождевую, любит. Сегодняшний дождь сегодняшними ветрами полнится... А ты, сын мой, почему ничего не скажешь о Бечкане? Может, не любишь его или враждуешь с ним? Но что-то я не слышал, чтобы у Бечкана среди тфокотлей были недруги.

— Счастливый тхаматэ, я ничего не говорю о нем, потому что он приходится мне братом. — Бечкан не стал открываться, чтобы не чувствовать себя неловко перед старым человеком.

— Удивительные слова ты произнес, сын мой,— изумился старик. — Если ты младший брат Бечкана, то, значит, не простой гость. Говорю тебе: добро пожаловать в мой дом, потому что пища косаря — угощение, недостойное такого человека.

— Пусть счастьем полнится твой дом. Считай, я был в твоем доме, ты оказал мне такой прием, которого достоин самый почетный гость. Спасибо тебе, счастливый тхаматэ. И прости, пожалуйста, я должен покинуть тебя — впереди у меня дорога в полдневный переход.

— Не обижусь, не обижусь. Да будет аллах доволен тобою за то, что ты сегодня навестил меня. Передай своему старшему брату мой салям и крепко пожми ему руку от моего имени.

— От кого передать салям?

— Скажи: кланяется ему тфокотль Бат. Счастливой дороги тебе, сын мой. Да сбудутся все твои желания.

— Пусть твоя старость будет покойной и радостной.

Взлетел на коня Бечкан, а старик спросил:

— В пору сенокоса освободи глаза свои от метели — почему так говорят, а?

— Чего не сделаешь в хорошую погоду, того тем более не свершишь в плохую.

— Верно! Молодец, младший брат Бечкана! Счастливого пути!

Бечкан ехал неторопливой рысцой и все думал о косаре. Ему часто приходилось встречать таких людей и среди шапсугов, и бжедугов, и темиргойцев — всюду, где он бывал. Они неутомимы в поле, остроумны на свадьбах и мудры у постели больного, скромны в удачливое время и мужественны в горе. Если настала черная полоса невезений и бед, человек может согнуться под тяжестью и вовсе пасть духом, погибнуть, вот поэтому-то и должна рядом с горем всегда ходить шутка, с нею и ярмо на шее легче.

Вот и старик Бат: половину накошенного сена должен отдать Шеретлукову, этому, как сказал старик, белоголовому газырю, разряженному лентяю. Половину! И это в такие-то годы. Но мудрый старик все одолеет. Хватает у него времени и для работы, и для шутки, и для острого словца.

Размышляя о Бате, Бечкан вспомнил Дзепша. Боже упаси, если он сейчас начнет охотиться за Мамруко. Молод еще, неопытен и наверняка где-то оступится, погорячится... А Мамруко, у-у, это матерый и хитрый волк, его не возьмешь голыми руками. Хитрость и еще раз хитрость должна быть оружием того, кто захотел потягаться с ним... Однако почему Дзепш не приехал к назначенному сроку и в назначенное место? Три дня прошло, а его все нет и нет. Плохо. Уж не начал ли он охоту за Мамруко? Беда, беда. Может, Дзепш приедет к Шепако? Хорошо бы, Ахмед удержит его от легкомысленного поступка, наставит на ум... И все-таки из Дзепша получится настоящий мужчина. Какое гостеприимство он оказал Бечкану в Темиргойе, как свято чтит древние добрые обычаи адыгов. Покойный отец говаривал: «В Темиргойе люди свято чтут обычаи, хранят сказания и легенды, как честь свою. Мы по сравнению с ними — невежды, хоть Шапсугия большая и богатая страна. Наверно, потому, что мы, как и абадзехи, живем в горах, прячемся от мира в ущельях, к нам нет хороших дорог. А в Темиргойе бывает много людей из разных стран — так расположена эта земля, что через нее лежат дороги во все уголки Кавказа. И аулы их лежат так, что из одного виден другой — темиргойцы живут открыто, на виду, каждый все знает про соседа». А вот Бечкан уже полдня в пути и не заметил еще ни одного дымка — аулы в Шапсугии прячутся друг от друга,

каждый выбирает место поглуше, чтобы чувствовать себя в безопасности, чтобы уберечь свой дом от чужого глаза.

Только к вечеру Бечкан добрался до Бастука и пошел прямо в кузницу.

— Во-ви, кого я вижу! — обрадованно воскликнул Патарез, увидев гостя. — Легок ты, легок на помине. Знал я, что ты не скоро должен у нас появиться, но стоило подумать о тебе — и пожалуйста, ты тут как тут.

— Рассказывай, Шабан, какие добрые дела вершишь, доволен ли тобой бог горна и наковальни?

— Не знаю, доволен ли Тлепш, но сил не жалею, работаю, как руки и сердце позволяют. А теперь ты ответь, как мой меч, который я сделал для тебя в прошлом году?

— Я еще не пускал его в дело. Послезавтра попробую. Твои бородатые абадзехи пригласили меня на испытание мужества. А ты не будешь там?

— Обязательно буду. Человек, вернувшийся недавно от тебя, сказал, дескать, Бечкан собирается в Абадзехию и по пути заедет в Бастук... Посмотри-ка сюда. — Патарез развернул тряпку и показал гостю кинжал-меч. — Скажи, похож он на твой, счастливый тхаматэ?

— Как ему не быть похожим, если его сделал Патарез? Верно я говорю?

— Угадал! — довольно рассмеялся кузнец, сверкнув крепкими зубами. На закопченном лице они были ослепительно белыми. — А теперь рассмотри его повнимательнее, возьми в руки и скажи, хорош ли он, годен ли для настоящего воина?

Бечкан раз-другой взмахнул мечом, а потом так замахнулся, будто хотел рубануть по наковальне:

— Не бойся, мастер, твои мечи не боятся железа, а если бы я и рубанул по наковальне, только искры посыпались бы да звон пошел по аулу. Ну-ка, попробую лезвие... О, да им можно побриться, такое острое. А побриться мне надо, а то, чего доброго, примут за бородатого абадзеха... Послушай, Шабан, не уступишь ли ты мне и этот меч?

— Не-ет, Бечкан. Я сделал два таких меча: один тебе, а другой для Шепако. Он тоже будет на испытании мужества, где я и вручу ему свой подарок. Валлахи, чего мы в кузнице толчемся? Пойдем домой. Тфокотли узнают о твоем приезде, соберутся в кунацкой. Как хорошо ты сделал, счастливый тхаматэ, заехав к нам. И конечно же обязательно заночуешь у меня.

— Согласен, но сначала я хотел бы сказать тебе несколько слов. У вас в Бастуке живет тфокотль по имени Хагур, я познакомился с ним, когда он приезжал к Наурзовым. Очень мне понравился этот парень. Я хотел бы взять его с собою в Абадзехию.

— Хагур действительно хороший человек, лучшего спутника в дальнюю дорогу, чем он, трудно найти. Умен и обходителен.

В любом обществе умеет вести себя достойно — хоть среди родовитых, хоть среди тфокотлей. Старики им всегда довольны, и молодежи с ним не скучно. У нас его уважают за верность слову. Он любит повторять: «Иди к тому, кто тебя позвал, даже если тебя собираются убить, иди туда, где ты нужен, где нужно твое добро, твоя сила». И поступает так, как говорит.

— Поедем к нему и попросим отправиться с нами в Абадзехию.

Они остановились возле усадьбы Шеретлуковых. Из дома вышел Али-Султан. Он свысока посмотрел на гостей, однако, как того требует обычай гостеприимства, поприветствовал. Особенно доброжелателен был с Бечканом:

— Рад видеть тебя, Рампагов! Каким счастливым ветром занесло в наши края?

— Мы хотели повидать Хагура,— сдержанно сказал Бечкан.

— Тфокотль, о котором ты спрашиваешь, на сенокосе. У нас горячая пора, и прохлаждаться людям некогда.

— Скажи Хагуру, когда он вернется, я приглашаю его поехать со мной в Абадзехию на праздник испытания мужества.

— Валлахи! Я не знаю у нас такого тфокотля, которого стоило бы брать на праздник уважаемому гостю,— сощурившись, с презрением ответил Али-Султан.

— Шеретлуков, я приехал сюда не от безделья и не для того, чтобы вести пустые речи. Передай Хагуру мои слова и не заставляй меня лишний раз повторять то, что я уже сказал,— Бечкан вздыбил коня, развернул его, и всадники уехали.

II

По сравнению с Шапсугией и Бжедугией Абадзехия показалась Хагуру совершенно иной и довольно загадочной страной. Горы и леса такие же, как и везде, но вот люди будто из другого мира. Абадзехских всадников он встречал довольно часто, но так много их Хагур увидел впервые. Он знал, что абадзехов называют бородатыми, но думал, что это просто шутка, нельзя же судить обо всех по отдельным людям, которым в походе, возможно, просто некогда побриться, но теперь он увидел: подавляющее большинство абадзехов носили пышные усы и бороды. И еще одно удивляло: все, кроме самых малых детей, были на конях и носились на них вихрем. Все вооружены, как говорится, до зубов. Без оружия ни на шаг, словно с кем-то постоянно воевали.

Салим привел гостей в долину испытания мужества. С правой стороны она упиралась в дымившееся рваными облаками ущелье, которому не было конца, будто оно уходило в небо. С левой стороны долина примыкала к высокой горе с могучим

лесом. Аул отсюда был недалеко, и казалось, будто дома кто-то нечаянно рассыпал по склонам.

Все ехали и ехали на праздник телеги с женщинами и детьми, ехали древние старики, останавливались они на косогоре, откуда хорошо видны состязания конников.

Джигитуя на ходу, показывая свою ловкость, спускались в долину и конники. Народу было так много, что казалось, будто сюда съехались не только абадзехи, а все адыги.

Особым вниманием пользовались девушки. Разнаряженные в самые лучшие одежды, они выглядели так, словно все празднество затевалось во имя их красоты. И голубизна неба — для них, и белые снега вершин — для них, и, конечно, эти всадники — тоже только для них.

Горы, леса, солнце, легкие облака — все как будто напряглось в нетерпении, в ожидании редкого зрелища.

Хагур пристально наблюдал за всем, и ему очень нравилось, как вели себя абадзехи. Во всем этом предпраздничном хаосе он видел строгий порядок и последовательность, говор, шум и веселье не заслоняли серьезности и важности того, что должно было произойти. Что ж, оружие не игрушка, не предмет для увеселений. Даже тогда, когда мужчина играет на скаку саблей или мечом, он помнит, что в его руках оружие, которое люди создали для кровопролития, для защиты своей земли, женщин и детей, своей свободы. Оружие — всегда оружие, даже если оно мирно висит на стене.

Оружие любит воинский порядок — порядок у абадзехов был великолепный. Это радовало Хагура.

Нельзя сказать, что шапсуги недисциплинированны, ведь они тоже адыги, вскормлены одной землей. «Но что ни говори,— подумал Хагур,— у нас нет такого порядка. Разве в Шапсугии встанут рядом, в одном строю родовитые и тфокотли? Нет! Родовитых бы это смертельно оскорбило. У абадзехов тоже есть неравенство, но, когда они берутся за оружие, тут уж прочь условности, потому что пуля, стрела или сабля разят, не разбирая титулов и званий. На поле боя правят смелость, ловкость, мужество».

Больше всего Хагура удивило, что на поле никто не подавал громких команд, не верховодил, все делалось само собой. Сколько десятилетий, а может быть, веков понадобилось абадзехам, чтобы достичь такого единства, самодисциплины, слитности воинов?

— Посмотри, Бечкан, подросткам отвели на косогоре самое почетное место. Они будущие воины, должны все видеть лучше других. Видеть, понимать и учиться у старших. Так я говорю?

— Верно. Воск надо мять, пока он теплый.

— Не пойму, почему это мужчины стоят рядом с девушками, а юноши — с пожилыми женщинами? Вроде бы так не должно быть. Объясни, пожалуйста.

— И это имеет свои причины,— улыбнулся Бечкан. — Если смешать две горячие крови, они начнут кипеть, а какой толк из этого?

— Мудро,— сказал Хагур и глянул на Патареза, который все это время молчал. Он смотрел то на долину, то на камень для испытаний, но больше всего следил за всадниками, спускавшимися к месту испытаний.

— Где же наш Шепако? Все глаза проглядел, а его все нет и нет.

— И Нарыча тоже нет. Ты не смотри в ту сторону, где гости, ведь Ахмед здесь свой человек. Но где Дзепш из Темиргойи? Что-то я волнуюсь за него. Не случилась ли с ним какая беда? — забеспокоился Бечкан.

— Да вот они! — воскликнул Патарез. — И Шепако и Нарыч. Смотрите туда, где старики.

— Точно,— подтвердил Хагур. — Но почему они стоят за спинами других, а не выезжают вперед?

— Пыны, пыны везут! — прокатился шум по всей долине. На телеге, спускавшейся с косогора, сидело трое мужчин в пестрых шапках.

— Что за странные люди? — спросил Хагур.

— А разве ты не знаешь, что такое пын? — удивился Бечкан, а потом пояснил: — Это шапка из четырех разноцветных клиньев. Ею «награждают» того, кто струсил в трудном деле, позволил оскорбить себя, не вступился за слабого. Без этой шапки он не имеет права показываться на люди. А его жена, отец и мать, дочь и сын не могут ходить на аульский хасе[1], где обсуждаются важные дела. Если хозяин позорной шапки совершит в бою подвиг, тогда ее снимают с него, он и его родственники восстанавливаются в правах.

— А если войны не будет?

— Тогда его приглашают вот на такое испытание,— сказал Бечкан и спросил у Салима: — А давно эти трое носят пын?

— В прошлом году. Ночью враги напали на нашу землю — стали поджигать аулы, угонять лошадей, женщин и детей. Эти трое бросили оружие и спрятались в горах.

— У них есть семьи?

— У того, который сидит справа, есть жена, дети. Старший сын, когда отец стал уходить с семьей в горы, отказался идти с ним и храбро дрался. Это вон тот парень на рыжем коне. Видите? За храбрость старики как бы отделили его от семьи, не лишили прав.

— Только эти трое из нижних абадзехов опозорились? — спросил Патарез.

— Был и четвертый, но он совершил мужественный поступок, и его простили. Когда на него стали надевать пын — это

[1] Хасе — сход, собрание.

делается вон на том утесе,— он бросился с него и чудом остался в живых.

— Какое же это мужество? — удивился Хагур.

— Адыги говорят, мужество состоит и в том, чтобы решиться на смерть,— возразил Салим. — Старики посчитали его поступок мужественным. Если человек не может перенести позора, если он свой позор искупает самым дорогим, что есть в подлунном мире,— это настоящий человек, он больше никогда не позволит себе опозориться. Мужество — клад, который не так-то просто отыскать в самом себе, а если уж отыскал, он останется с тобой на всю жизнь.

Шумела долина, глядя на пестрые шапки. Но вот виновники слезли с телеги. Им подвели коней, и теперь они стояли перед тремя всадниками во главе со стариком. Что говорил старший, было не слышно, но все наизусть знали его слова:

— Кому тяжело носить пын, тот сегодня может доказать всем, что он не трус. Пусть каждый из вас на своем коне перепрыгнет через эту расщелину. Говорю вам перед аллахом: кони, которых вам дали, много раз одолевали это препятствие. Дело только за вами, за вашим мужеством. Или будете мужчинами, равными всем нам, или обретете смерть, предстанете на том свете перед господом нашим, и тогда судьею вам будет он сам... Знайте, кони эти чувствуют сильного человека и не любят слабого, так пусть же аллах вам дарует силу. Ваши судьбы в его руках, но еще вернее — в ваших сердцах... Кто первым сядет на коня?

Сел самый молодой. Он до крови искусал губы, стыдясь взглянуть на людей.

Сел на коня, дал ему шенкеля и понесся по кругу, набирая скорость, а потом вырвался на каменную площадку и взлетел над расщелиной.

Пестрая позорная шапка, кружась, упала вниз.

Гулом восторга отозвалась притихшая долина. А парень, сойдя с коня, вытер слезы. И это были слезы, которых мужчина может не стыдиться.

Хагур обрадованно вздохнул, будто парень был ему родственником.

Теперь сел старший из трех. Он тоже разогнал коня, разгорячил его, но на каменной площадке вдруг бросил поводья и спрыгнул на землю, а конь сам перелетел через расщелину.

Долину огласили возгласы негодования, улюлюканья.

Старик подъехал к трусу:

— Если ты лишен мужества, садись вот на этого осла и езжай на все четыре стороны. Так решили старейшие. А когда найдешь, где приклонить голову, мы разрешим, может быть, увезти туда и семью.

Затихла долина. Все опустили головы, не хотели видеть позора.

Сел трус на осла, двое всадников проводили его из долины.

Оставался третий.

Трудно ему было после позорной неудачи предыдущего. Наверно, холод стыл в жилах, но он одолел страх и сел на коня.

Ему сопутствовала удача — пестрая шапка упала вниз, а он с конем птицей перелетел через расщелину.

И снова восторженный гул пронесся над долиной. Хагур заметил про себя: добрые люди абадзехи, они радуются удаче своего соплеменника, умеют прощать, умеют помогать оступившемуся.

От группы старейшин отделился всадник и передал руководившему испытаниями:

— Старейшины сказали: пусть тот, кто хочет испытать свое мужество, выезжает на середину.

Перекликаясь и передавая эти слова друг другу, известили всех о воле старейшин.

Из старших выехало два всадника и шестеро из молодежи. Были среди них и гости.

Хагур тоже захотел посостязаться, но подумал и решил, что как-то неудобно выходить одному. Бечкан догадался о его намерении и спросил, чтобы проверить свою догадку:

— Что ты задумал?

— Я не хочу отставать от гостей.

— Молодец, похвально, только знай, испытания проводятся не ради славы и удальства. Те, кто вышли на середину, много готовились к этим прыжкам. Они хорошо подготовили себя и своих коней. Для каждого из них это состязание не просто возможность показать свое удальство, а необходимость. Им надо, чтобы в них верили люди, чтобы знали их силу и мужество,— на этом держится народ абадзехский. А если хочешь испытать свое мужество, испытай его в другом деле, у себя в Шапсугии, когда Наго Шеретлуков унижает твоих земляков, обижает слабых. Быть справедливым и честным — это тоже мужество. Думаю, оно нам, тфокотлям, сейчас нужнее всего...

Бечкан вдруг прервал речь и устремил взгляд на середину, где собрались желавшие испытать свое мужество:

— Кого я вижу!.. — вскричал он. — Это Дзепш! Ах, непослушный, я же просил его... Надо задержать!..

Но было уже поздно. Конь Дзепша, распластав по ветру гриву, рванулся к каменной площадке...

III

Закончились испытания.

Отпраздновали абадзехи победы своих земляков и гостей, пора приниматься за дело.

Под могучим буком продолжал временно прерванные заседания совет старейшин Абадзехии — Верховный хасе. На круглом анэ перед ними лежал коран в сафьяновом переплете. Не-

подалеку с родственниками и друзьями сидели абадзехи, чьи дела будет разбирать хасе.

Из уважения к такому высокому собранию остался и Бечкан с товарищами. И не только поэтому — Хагуру было любопытно посмотреть, как старейшины решают споры своих соплеменников. И интересное дело: все, кто пришел сюда с жалобами и просьбами, вели себя достойно, без унижения и страха.

— Подойдите вы,— обратился старейшина к сидевшим у куста людям.

Подошли. Одни стали слева, другие справа от анэ.

— Кто из вас будет говорить?

— Пусть говорит этот парень, он лучше всех нас сумеет объяснить просьбу нашего рода.

— Говори, какое у вас дело к хасе,— сказал старейшина молодому парню.

Тот выступил вперед, уважительно поклонился:

— Нам кажется неправильным решение нашего аульского хасе, вот мы и пришли...

— Чем вы недовольны?

— Тем, старейший, что украденный топор не стоит двадцати волов. Как это можно: какой-то топоришко и двадцать волов? Но даже если он стоит этого, мы не сможем заплатить.

— Кто хозяин топора? Ты? Это правда, что они украли у тебя топор?

— Правда. Его украл Берсир Меретуков.

Старейший молитвенно сложил на груди руки, строго посмотрел на хозяина топора:

— Положи руку на коран и поклянись, что ты справедливо обвиняешь Берсира Меретукова.

— Клянусь, что обвиняю истинно виноватого.

— А теперь ты, парень, скажи, верно это, что топор у Едыговых украл Берсир?

— Верно,— краснея от смущения, опустив глаза долу, проговорил парень,— Берсир украл.

— Клади руку на коран и клянись.

— Клянусь. Говорю истинную правду.

— Теперь скажите вы и вы: верите, что Верховный хасе без пристрастия и справедливо разрешит ваш спор?

— Верим!

— Верим!

— Тогда посидите в сторонке, подождите нашего решения.

Все отошли к кусту, а старейшины хасе стали совещаться. Одни, как подобает мудрецам, сидели, опершись на посохи, другие оглаживали густые седые бороды. Морщины избороздили их лбы.

Но вот решение принято.

Пригласили истцов и ответчиков. Речь старейшего была кратка:

— Решение аульского хасе мы признали правильным. Понимаем, что топор двадцати волов не стоит, и тем не менее решение хасе оставляем в силе, чтобы другим впредь неповадно было заниматься такими позорными делами. Но! Трех волов Меретуковы отдают за топор Едыговым, а семнадцать старейшины аула отдадут вдовам Абадзехии. Идите и хорошенько запомните наше решение: если вы его нарушите, то наказание удвоим.

Почесывая затылки, они ушли.

— Кто там следующий? — спросил старейший. — Подходите и говорите о своем деле.

К анэ вышли двое. Молодой абадзех и... Взглянув на него Хагур и обмер — узнал того человека, с которым жил в лесу. Ну конечно, это он, Тамбир, но ведь ходили слухи, что его убили уорки. Сколько слёз тогда пролил Хагур, плакал по Тамбиру, будто по родному отцу. И вот он живой! «Тамбир!» — хотел крикнуть Хагур, хотел кинуться к нему на шею, но это недостойно мужчины, да еще в присутствии таких почтенных мужей. Почему он здесь, а не у себя в Бжедугии? Что за парень с ним? Какой-то белолицый. Смешные широкие штаны, рубаха поверх штанов подпоясана каким-то странным пояском. Молодой парень, а лицо мужественное, даже суровое. И открытое — все на нем видно, хоть читай, как книгу читают грамотные.

Заволновались люди, поднялись с травы, подались поближе к старикам. Все ждали чего-то важного.

Хагур сказал Салиму:

— Я знаю этого адыга. Я знаю его очень хорошо. Это мой... Это с ним мы...

Старейший оглядел всех суровым взглядом, требуя тишины, и спросил стоявших перед ним:

— Какое у вас дело?

— У нас просьба,— сказал Тамбир. — Я и мой товарищ просим старейшин принять нас в вашу страну гражданами Абадзехии. Мы хотим здесь жить вечно. Жить вашими законами и обычаями, быть верными вашей земле.

— Вас кто-то обидел и вы ищете у нас защиту?

— Нет, старейший. Мы просто хотим быть гражданами Абадзехии. Никакой корысти у нас нету.

— Положи руку на коран и поклянись, что будешь говорить только правду.

— Клянусь кораном, клянусь аллахом, что буду говорить только правду.

— И ты, парень, положи руку на коран и тоже поклянись говорить только правду.

— У моего товарища, старейший, другой бог, не похожий на нашего, так что он не может клясться на коране.

Старейшины, услышав слова Тамбира, в удивлении и недоумении подняли головы.

Зашумела толпа. Заговорила.

— Гяура привел на Верховный хасе,— с возмущением выкрикнул кто-то из толпы,— позор!

— Замолчи, не твое дело! — сердито одернул его другой.

Вспыхнула обида. Выхватили кинжалы — толпа уже разделилась пополам.

Разгневался старейший и властно крикнул:

— Замолчите все, именем аллаха! Кинжалы в ножны! Позор вам! Вы не на базаре, а на Верховном хасе!

И стихли все. Звякнули кинжалы о ножны.

— Успокойтесь, абадзехи,— уже мягче сказал старейший и обратился к Тамбиру: — На кого похож его бог?

— У него бог... ну... гяурский бог.

— Гяурский, говоришь? — брови старейшего высоко поднялись. Он пожал плечами, потом подошел к старикам, членам Верховного хасе, долго с ними советовался, а затем снова обратился к Тамбиру: — Если у него есть бог, хоть и свой, гяурский,— это хорошо. Пусть он поклянется именем своего бога, что будет говорить нам правду. Без клятвы мы не можем рассмотреть его дело.

Тамбир перевел товарищу слова старейшего. Парень расстегнул рубаху, снял с шеи крестик, положил его на ладонь и сказал по-русски:

— Клянусь господом нашим Иисусом Христом говорить вам, добрые люди, одну лишь сущую правду. — Сказал и перекрестился.

— Баткель клянется своим крестом, старейший, что будет говорить только правду.

— Пусть будет так... О мой аллах, всем дающий, ни у кого не просящий, прости мне, если я сегодня совершу грех! Впервые я попал в такое трудное положение. Благослови меня на это трудное дело, мой аллах, дай мне разум, чтобы я мог верно, по твоему велению совершить дело. Благослови, аллах! — сложил старейший молитвенно руки. Помолившись, обратился к Тамбиру: — Откуда ты родом, зачем и почему приехал в Абадзехию?

— Родом я, старейший, из Бжедугии. Те, кто знает меня, зовут Тамбиром, по фамилии Вайкок. Из тридцати прожитых мною лет десять спасался от князей и уорков. Скрывался в Тхамезском лесу. Бывал в Темиргойе, в Кабарде, но князья и уорки и там не давали мне покоя. Тогда я уехал к баткелям, жил вот с этим моим младшим товарищем у его отца. И мой товарищ, и его отец делились со мной пищей и кровом. Но слуги баткельского царя убили отца этого парня, и вот мы приехали в Абадзехию. Надеемся, что вы примете нас. Ваше слово — будет нашим словом, ваше оружие — нашим оружием. Мы будем делить наравне с вами все тяготы и радости.

— Как зовут твоего спутника?

— Имя его, старейший, Мишка, фамилия — Некрасов.
— Мишка, говоришь? Что это еще за имя такое? Ну, ладно, у каждого свое имя, как мать и отец назвали его... Почему ты не возвращаешься в Бжедугию?
— Для меня, старейший, Бжедугии уже нет.
— Ты убивал человека?
— Да, старейший,— твердо ответил Тамбир. — Кое-кого из княжеских псов, из тех, кто нападал на меня.
— А твой спутник тоже убивал?
— Да, старейший.
Старейший помолчал. Его высокий лоб избороздили морщины. Потом он посоветовался с членами Верховного хасе и снова спросил Тамбира:
— У кого в Абадзехии остановились?
— Пока ни у кого. Решили сначала дождаться, что скажет Верховный хасе, как определит нашу судьбу.
Старейший стал строгим и торжественным. Окинул взглядом горы, леса, словно собирался говорить не только людям, но всей абадзехской земле:
— Абадзехи берут под свое покровительство людей, враждующих с князьями и уорками, но с твоим спутником дело трудное. Нам надо еще обсудить, посоветоваться. Подождите.
Хагур, почему-то робея и сильно волнуясь, подошел к Тамбиру:
— Ты узнаешь меня, Тамбир? — выдохнул он.
Тамбир побледнел от волнения и заговорил не сразу:
— Зря, что ли, Мос, мы прожили с тобой год в лесу?
Они обнялись, на минуту забылись, отделились от всего мира, остались только вдвоем...
А у старейшин шел тем временем трудный разговор. Несмотря на возраст и солидность, они горячились и спорили. Одни защищали Некрасова, а другие были против.
— Дело бжедуга не подлежит обсуждению, согласен с вами, мы должны взять его под покровительство Абадзехии,— сказал Джим Татау, мрачно нахмурив густые мохнатые брови,— но, что касается баткеля, я не только не могу открыть перед ним дверь своей страны, но не хочу даже, чтобы он стоял передо мною. Как вы не понимаете — ведь он гяур! Аллах не простит нам осквернения!
— Не говори так, Татау. Аллах создал все сущее на земле. Все люди на земле — его дети. Спасая душу — даже гяура,— мы делаем богоугодное дело, и аллах зачтет нам стократно. Если послушаем тебя, Татау, нам не простят ни люди, ни земля наша, ни великий и всемогущий аллах.
Раздались голоса членов Верховного хасе:
— Абадзехия большая — пусть остается.
— Наша земля славилась и славится в подлунном мире добротой к честным, обездоленным детям аллаха — зачем же терять уважение, которое приобрели наши деды и прадеды?

— Человека надо встречать по-человечески. Пусть остается.

Сдался, смягчился Татау:

— Только надо предупредить гяура, чтобы он не ел свинину...

Позвали Тамбира и Мишку. Всех позвали.

И снова старейший окинул взглядом абадзехскую землю, стал торжественным:

— Абадзехи, кто из вас приютит этих двух людей, которых Верховный хасе причисляет с сегодняшнего дня к гражданам нашей страны?

— Если посчитаешь достойным меня, старейший, пусть живут в моем доме, пока сами твердо не станут на ноги,— сказал Салим, выйдя вперед.

— Да будет так! — провозгласил старейший. — Да исполнится воля нашего аллаха!

Стояла глубокая ночь, какая бывает только в горах — с крупными, яркими и такими близкими звездами, с тишиной, что под стать могучим горам, вечный сон которых никому не нарушить.

Тамбир лежал в постели и думал о минувшем дне. Он был трудным. Да если бы только сегодняшний! Много, слишком много дней тревожных и горьких, как придорожная полынь.

Когда вспомнил о Цицаре, не смог лежать в постели. Поднялся, глянул на Михаила и понял, что тот тоже не спит. Но тревожить младшего друга не стал и тихонько вышел во двор. Поднял глаза к звездному небу — показалось, что звезды пристально смотрели на него и о чем-то вопрошали.

Что он мог им ответить?

Но он сказал:

— Спасибо, небо, спасибо, звезды, вы сегодня были добры ко мне и моему другу.

Сел на пенек и закурил.

Скрипнула дверь. Вышел Салим.

— Кажется, Тамбир, нам обоим не спится. Увидел, что ты не спишь, и решил покурить с тобой.

— Если и у тебя неспокойно на душе, значит, ты настоящий друг. Нам с Мишкой друг. — Тамбир затянулся, огонек цигарки высветил его черные пышные усы и толстые губы.

Курили молча — от этого молчания обоим стало хорошо. Под небом хорошо, под звездами, рядом друг с другом.

У соседей закричал петух. Оповестил аул, что приближается новый рассвет, новый день. Потом закричал другой, третий...

— Валлахи, Тамбир, я так доволен тем, что ты сделал для Мишки. Его дед Игнатка Некрас был славным. Я много слышал от людей о его мужестве и доброте. Думаю, Мишка такой же, каким был его дед.

— Я много раз ел хлеб-соль Василия, сына Игнатки. Хоть Василий был немного старше меня, мы с ним крепко дружили.

Он любил адыгов. А знаешь ли ты, что Игнатка был большим другом и верным помощником знаменитого Кондратки Булавина? Этот казак со своими ребятами заставил дрожать самого баткельского царя. Когда Кондратку предали и убили подлые людишки, Некрас Игнатка с двумя тысячами верных товарищей пришел на нашу землю. С тех пор они живут на берегу Кубани возле Копыля и дружат с адыгами.

— Во-ви, Тамбир, удивительные вещи ты рассказал! Я и не знал, что наш гость такой человек. Выходит, люди Кондратки и Некраса так же не любят своих князей и уорков, как и мы. Нам бы тоже надо собраться с силами да и двинуть против своих богатеев. Почему ты не рассказал об этом на Верховном хасе? Старейшины совсем иначе отнеслись бы к Мишке, с бо́льшим уважением. Во-ви, зря, зря ты не рассказал эту историю старейшинам...

IV

— Если разрешишь, Салим, я поведу гостей к себе в дом,— сказал Нарыч, использовав паузу в беседе.

— Если гость находится в доме трое суток, он как бы становится членом семьи. А этот парень у меня только со вчерашнего дня, так что тут все идет своим чередом,— ответил Салим, вопрошающе взглянув на Бечкана.

— Счастливый тхаматэ! — обратился сидевший рядом с Патарезом Дзепш. — Мой покойный отец говорил: один гость не должен наступать на пятки другому. Меня можно и не считать гостем, я сделаю так, как скажет счастливый тхаматэ Бечкан.

Бечкан улыбнулся:

— Если ты, Салим, считаешь, что дело гостя — прийти в дом, а когда ему уйти — дело хозяина, и если отпускаешь Дзепша, пусть он поступит, как ему захочется. А тебе, Нарыч,— с ехидцей добавил он,— напомню, что для гостя, который уходит в другой дом, хозяин должен зарезать козла. Посмотрим, окажется ли твой прием достойным наших гостей! Теперь же скажем спасибо Салиму за его гостеприимство. Да будет благополучие в его доме! Пусть будет счастлив он своими детьми. Пусть они покоят твою грядущую старость, Салим! Пусть хранят доброту и щедрость вашего рода, растут мужественными людьми. А мы теперь поднимемся в Верхнюю Абадзехию, поклонимся ей и отведаем шуг-пастэ[1] в доме Нарыча, посмотрим, как там поживают тфокотли.

— Послушай, Нарыч,— с хитроватой улыбкой произнес Салим. — Отдам я тебе гостей из Шапсугии и парня из Темиргойи, но Мишку и Тамбира даже не надейся заполучить. Им надо хорошенько отдохнуть, осмотреться. Они останутся в моем доме.

---

[1] Шуг-пастэ — хлеб-соль.

— Тебе виднее, Салим, хотя мне было бы очень приятно пригласить к себе всех гостей. Пусть они поедут, поживут несколько дней, потом я верну их в твой дом.

— Нет! Я не могу этого сделать. Вчера князь Шерандук известил, что хочет испытать мое мужество, хочет померяться со мной силой. Гости должны остаться в моем доме, иначе получится, будто они испугались и укрылись за твоей спиной. Ведь Мишка и Тамбир — теперь члены моей семьи, и по нашим обычаям должны быть на испытании.

Нарыч вспылил:

— И когда этот князек уймется?! Если он заявится к тебе, извести нас. Давненько не сходились наши кони. Посмотрим, каков он в деле. Больно высоко несет себя. Хвастун!

...Солнце еще не поднялось над горами, а шестеро всадников уже выехали со двора Салима Джанчатова и направились в Верхнюю Абадзехию. Путники сразу же заняли места, как велит порядок старшинства. Нарыч, хоть и старше всех, на почетное место в середину первой тройки поставил Бечкана. Сам стал по левую руку, а Ахмед по правую. Остальные расположились сзади.

Они выехали сдержанным шагом, не горяча коней. В седлах сидели с достоинством. Проехали через весь аул. Тфокотли почтительно уступали всадникам дорогу. Никто не обгонял их, не пересекал пути.

Дзепш был приятно удивлен таким строгим соблюдением старинного обычая. Он немного стеснялся, но старался держаться в седле так, чтобы быть достойным, чтобы аульчане увидели в нем и хорошего наездника, и скромного, но знающего себе цену мужчину. Те, с кем он сейчас ехал,— достойнейшие в Шапсугии и Абадзехии, поэтому надо было держаться так, чтобы не подвести этих людей... Отец говаривал Дзепшу: «Каким тебя увидят люди, таким ты им покажешься, а каким покажешься, таким сочтут, такую цену назначат и потом по ней станут воздавать тебе. Цени не только мнение друга, но всех людей. Их отношение сделает тебя или несчастным, или счастливым. Помни это, думай об этом и старайся показать себя таким, каков на самом деле. Слабость твою, неумение люди могут простить, больше того — они дадут тебе часть своей силы и знаний, но обман ни за что не простят. Помни это».

Когда Дзепш ехал сюда, надеялся, что обязательно встретит Мамруко. По дороге он присматривался — не покажется ли где ненавистный силуэт, вслушивался в разговоры — не услышит ли знакомый голос. А может, кто-нибудь заговорит о Мамруко. И здесь, на поле испытаний, искал его. Тщетно. Потом стал расспрашивать о нем.

«Если ты хочешь видеть Мамруко, ищи его не там, где много народу, а там, где гуще лес да ночь потемнее. А еще лучше поезжай на побережье: если увидишь там пленника, предназначенного на продажу, посиди около него — и дождешься Мамру-

ко. Но не связывайся с ним. Кроме несчастья он тебе ничего не принесет»,— сказали ему люди на испытаниях.

Мамруко он не встретил и не знал, к добру это или худу, хотя жажда мщения по-прежнему кипела в нем и требовала выхода.

«Всему свое время,— сказал себе Дзепш.— Все будет так, как я хочу. Добьюсь своего. Найду этого страшного человека и накажу его, сделаю богоугодное дело. Благослови меня, о великий и всемогущий аллах!»

Когда долина Кужипса осталась позади, всадники оглянулись и увидели вдали аул, в котором гостили, извилистую дорогу, по которой только что проехали,— теперь она, казалось, бежала вслед за ними, торопилась, словно жалела, что гости уезжают.

Аул — дома и домишки, сараи и кошары, крытые осокой. Они тоже будто бежали по косогору за гостями, но, потеряв надежду догнать их, застыли в удивлении и грусти.

Дзепш захотел найти дом Салима и попрощаться с ним взглядом, поблагодарить за ласку, за приют. Но как его найдешь? Вспомнил, что во дворе Салима растет старый развесистый орех. Однако почти у каждого двора росли могучие ореховые деревья. Дзепш еще раз взглянул на аул и прощально улыбнулся.

Салим чем-то напоминает отца, сходство почти неуловимо, но Дзепш весь вечер не сводил с него глаз. Рядом с Салимом было тепло и уютно. Не только внешне — манерой говорить, поведением, но и суждениями о жизни он напоминал отца. Особенно когда ругал родовитых, князей, уорков, рассуждал о народных бедах, о злых и добрых людях.

«До свиданья, Салим, будь счастлив и ты, и твоя семья».

— Хагур, а Хагур! — позвал Нарыч, когда всадники вышли на ровную широкую дорогу.— Накинь-ка на дорогу лестницу[1] да расскажи что-нибудь интересное, ты ведь мастер. Чем длиннее и интереснее будет твоя история, тем короче путь.

— Валлахи, не знаю, счастливый тхаматэ, что и делать! Ведь со мною рядом едут люди постарше и помудрее,— уклончиво ответил Хагур, хотя было приятно, что старшие оказали такую честь именно ему.

Пока Хагур думал, о чем бы рассказать, Нарыч обратился к Бечкану:

— Мне кажется, вы, шапсуги, слишком строги к молодым парням. Держите их в шорах. Не вырастают ли они слишком робкими? Мужчине нужно давать свободу.

Бечкан улыбнулся:

— Это верно, однако есть такие парни, что улыбнешься ему, а он уже смотрит, как у тебя изо рта кусок сыра выудить. У нас говорят: хворостину надо гнуть, пока гнется, пока податлива.

---

[1] Накинуть лестницу на дорогу — скрасить, сократить разговорами путь.

Да честно говоря, мы ведь кое-чему и у вас учимся, живем-то рядом.

— Верно, перенимаете кое-что. Знаю, шапсуги — мудрые люди, много у вас хорошего, но вот что плохо: у Хагура такая широкая спина, за нею вся Шапсугия может укрыться, а робок не в меру. Молчит, словно язык проглотил. Нехорошо, ей-богу, нехорошо!

— Да ты, никак, обиделся, Нарыч?

— Конечно, Бечкан, недаром нас называют бородатыми и горячими как огонь... Эй, Хагур, кому сказали накинь лестницу на дорогу! А не то мы с Дзепшем тоже будем дремать, как Ахмед и Патарез.

— Этот абадзех не отстанет от тебя, Хагур,— буркнул Ахмед. — Расскажи-ка что-нибудь из историй об абадзехах.

— Не знаю, право, что и рассказать,— ответил Хагур.

— Не знаешь, так придумай. Или соври — только красиво, чтоб веселее на душе стало. Покажи свое умение, не посрами шапсугов. Ну же, ну! — теперь уж прямо-таки потребовал Ахмед.

Хагур откашлялся и начал:

— Рассказывают о двух аулах — шапсугском и абадзехском, которые и поныне стоят рядом, рукой подать. Так вот, жившие в верхней части шапсугского аула решили проверить, что за люди их соседи-абадзехи, из нижней части аула. Близко, совсем рядом жили они. По утрам здоровались друг с другом, не выходя со двора... Как-то один шапсуг пошел к соседу-абадзеху и взял у него на время котел — кашу сварить. Сварил шапсуг крутую пшенную кашу, накормил семью и отнес котел соседу. А в соседский большой котел поставил свой маленький.

Посмотрел сосед и спросил: «Ты брал у меня один котел, а почему принес два?» — «А зачем мне чужое добро? Я человек честный. Когда я взял у тебя котел, он был беременным и теперь вот разродился». — «Ах, я и не знал, что у нас такой удивительный котел! Спасибо, спасибо тебе, сосед»,— обрадовался абадзех.

Прошло несколько дней, и шапсуг снова попросил у абадзеха котел. Взял и не возвращал его день, два, три...

Абадзех пришел к нему и спрашивает: «Ты почему так долго не возвращаешь котел?»

Шапсуг сокрушенно покачал головой: «Тяжело мне говорить, но твой котел умер. Он был опять беременным и не смог разродиться — умер. Вот какая беда приключилась. Бедный котел!»—«Эй, сосед, что ты болтаешь! Как это чугунный котел мог умереть?» — рассердился абадзех.

«Если котел может родить, почему же он не может умереть?»

Крепко рассердился абадзех и ушел домой ни с чем...

Всадники весело рассмеялись. И так громко, что лошади стали испуганно прядать ушами.

Потом Нарыч сказал, обращаясь к Дзепшу:

— Видишь, как шапсуги надсмеялись над нами... Но меня удивляет одно: как это абадзехи не объявили войну шапсугам, ведь они никому не прощают обид.

— А откуда ты знаешь, что войны не было? Эта история произошла в незапамятные времена,— возразил Ахмед.

Нарыч смеялся, вскидывая узкое смуглое лицо.

— Да, не повезло тебе, Дзепш! У нас говорят: «Горе, если ты выбрал себе хозяином того, кого все ругают». Они еще не отведали моего шуг-пастэ, а уже поносят меня. Ах, как ты промахнулся, Дзепш! Ну, посмотрим, посмотрим, негодники.

В ярких черных глазах Нарыча блеснули озорные огоньки — мол, хорошо смеется тот, кто смеется последним. «Посмо́трите, как я приму гостей, увидите, как это мы умеем делать,— вот тогда и скажете, каков я хозяин, каковы абадзехи».

Громче и заливистее всех смеялся Патарез. Он радовался так, как радуется хозяин, собака которого поймала лисицу.

Радость Дзепша была смешана с грустью. Он думал, как жалко, что рядом с ним сейчас нет отца. Ах, как бы он был доволен, увидев, какими добрыми, мужественными и веселыми друзьями обзавелся сын. Отец гордился бы им, сказал бы: «Ты все хорошо усвоил из того, чему я тебя учил, ты истый темиргоец, ты мой достойный сын».

В кунацких темиргойских тфокотлей Дзепш много слышал и о Нарыче, и о Шепако, и о Бечкане. Говорили о них всегда уважительно, и для юного Дзепша они были кем-то вроде богатырей из старинных сказаний, а вот теперь они — его друзья.

После обеда, ближе к вечеру, всадники приехали в аул Жегуф, где жил Нарыч.

Крепкие плетни тянулись вокруг огородов маленького аула, лежащего вдоль берега речки Кужипс, и говорили о том, что здесь много леса, что хозяева — люди рачительные и обстоятельные, всё любят делать крепко, основательно, не на скорую руку.

Вокруг помазанных глиной и побеленных домов — сады. Яблони, алыча, орехи. Сады были ухожены, на ветвях зрели добрые плоды, обещая земледельцам хороший урожай.

Дзепш удивился тому, что под крышами высоких турлучных зернохранилищ все еще висели связки прошлогодней кукурузы, хотя не так много времени оставалось до новой. И связки уже почерневшего прошлогоднего перца висели, и высохшая калина.

Когда проезжали вдоль высокого — выше всадников — плетня, Дзепшу подумалось, что это и есть двор Нарыча,— вполне под стать хозяину. Но он ошибся — оказалось, что это двор родовитого. И как это он сразу не догадался! Ведь усадьбы князей и родовитых по всей адыгской земле одинаковы, они будто крепости, которые прячут добытое неправдой богатство. Из-за

таких плетней, в щелочки, богатеи видят всех, а их никто не видит.

Всадники поднялись на пригорок и направились к аккуратному, небольшому дому за невысоким, но добротным плетнем. Во дворе — два стога сена, сложенные умелыми руками. Между сараем и зернохранилищем — высокая поленница дров, заготовленных на зиму.

Да, эта усадьба похожа на усадьбы хозяйственных тфокотлей. Это была усадьба Нарыча.

Гости вошли в кунацкую.

На стене висели пистолеты, кремневое ружье, кинжалы и сабля. Гладкий, как яичко, земляной пол. Печка с просторной лежанкой.

В отличие от других кунацких, здесь стояли две деревянные кровати.

По тому, как быстро принесли еду и бузу,— гости едва успели умыться,— можно было понять: их в этом доме ждали.

Во время еды Шепако обратил внимание на левую руку Дзепша. Повыше кисти она была искривлена. После того как поели, Ахмед спросил:

— Что у тебя с рукой? Перелом?

— На речке с мальчишками баловались, и сломал. Давно это случилось.

— Дай-ка я посмотрю... Так-так... Неправильно срослась. Ай-яй, нехорошо...

— Наверное, ты прав. Плохо у меня с рукой... — И не успели сидевшие в кунацкой и глазом моргнуть, как Дзепш, подойдя к двери, раскрыл ее и...

— Сумасшедший, что ты делаешь! — воскликнул Бечкан.

Дзепш, бледный как полотно, стоял у двери со сломанной рукой, висящей как плеть, и все-таки силился улыбнуться.

Одни из мужчин отвернулись, чтобы не смотреть на Дзепша, другие не выдержали и вышли из кунацкой.

— Как можно сделать с собой такое?

— Боль-то какая!...

Шепако подошел к Дзепшу. Бережно взял его руку в свои ладони и мягко сказал:

— Разве можно так горячиться, мой мальчик? Ты же мог еще хуже сделать. Нехорошо, нехорошо. Пойдем к анэ... Опустись на колени... Так. Теперь тихонько положим руку. Так... Нарыч, мне нужна большая доска. Если можно — поскорее.

Нарыч мигом принес доску.

Шепако уложил на нее руку Дзепша и начал, осторожно прощупывая пальцами, ставить на место сломанные кости.

— Потерпи, парень, потерпи. Знаю, это очень больно, но ничего не поделаешь. Терпи.

Боль была очень острой. Ни в детстве, когда сломал руку, ни теперь, когда сунул ее в дверь, он не чувствовал такой силь-

ной боли, как сейчас. Она пронзила все его тело, даже сердце зашлось. Лицо его стало детски беззащитным, как у ребенка; казалось, Дзепш сейчас расплачется.

— Больно? — спросил Бечкан. — Терпи, сам виноват... Надо было сначала спросить, посоветоваться, подготовиться. Дело-то серьезное... И зачем ты, Шепако, сказал ему, что рука неправильно срослась? Ай-яй, нехорошо получилось!

— Разве я мог предположить, что он такой горячий? И такой мужественный парень... — возразил Ахмед.

— Э-э, мой друг! Не мужественный, а отчаянный... Это совсем разные вещи. Мужество требует зрелой мысли, а отчаяние... так, порыв. Бездумный порыв. — Бечкан запыхтел трубкой, словно ему захотелось спрятаться в клубах едкого табачного дыма.

— Бечкан, счастливый тхаматэ,— уже стыдясь своего поступка, заговорил Дзепш,— прости меня. В твоих словах — правда. Не надо бы мне горячиться, но все же, счастливый тхаматэ, о сделанном сегодня я давно думал. Как жить мужчине с одной рукой? Я слышал об Ахмеде, даже хотел сам его разыскать, чтобы он помог мне... А тут представился случай... Как было удержаться?.. И ты, Нарыч, не обижайся на меня за беспокойство, которое я причинил тебе в твоем доме.

— Ничего, ничего,— успокаивал Дзепша Бечкан. — Не ты один силен задним умом. Мы, взрослые, и то иногда поступаем так же...

— Чего мне обижаться,— заговорил Нарыч,— лишь бы все обошлось хорошо. Пусть аллах поможет и тебе и Ахмеду... Вспомни-ка, Бечкан, сколько мы с тобой натворили всякого разного в своей молодости. Вспомни! Наверно, ты и сам не раз попадал в такое положение, что можно было потерять и голову, а не то что руку. Однако наша смелость всегда спасала нас... Однажды я как-то услышал, что в Темиргойе князь Байзрукопш заявил: «Между князьями и тфокотлями не может быть равенства. Поэтому князь должен ездить на коне, а тфокотль — на кобыле». Очень не понравились мне эти слова, я так и вскипел от обиды и решил, что должен поехать и сам услышать эти гнусные слова из уст князя. Говорили даже, будто князь сказал, что если он встретит тфокотля на коне, то сбросит его с седла, свяжет и потом променяет на отрез сукна. Это меня совсем взбесило, я тут же вскочил на коня и поскакал в Темиргойю. Надо ведь было такое придумать! А ведь придумал, кровь горячая толкала меня тогда на это, а не разум. Молодость так дерзко шалила. Ну вот. Прискакал я в Темиргойю — и прямо на усадьбу Байзрукопша. А тот как раз прогуливался по веранде, богатую, отделанную серебром трубку курил... Проехал я мимо него раз, другой, а князь все не замечает меня или, может, в толк не возьмет, зачем я мимо него гарцую. Тогда подъехал я поближе, повернул коня задом к князю — может, это выведет его из себя? А конь в эту самую минуту возьми да и навали горячую

кучу. Шлеп, шлеп, шлеп! Вот какой умница был у меня конь! Рассердился-таки князь! Закричал:

«Эй, люди! Есть тут кто-нибудь?! Что это за нахал приехал ко мне и позволяет своему коню гадить перед моей кунацкой?»

К моему счастью, во дворе никого не оказалось. А если бы было тут двое-трое его дюжих работников? Как бы они со мной поступили? Но я молод был, горяч и готов сразиться с кем угодно, лишь бы добиться своего.

«Кто ты такой?» — закричал на меня князь.

«Я? Нарыч Абидов. Если спросить в Абадзехии, тебе каждый скажет, кто я такой. Тфокотль!»

Аллах не обидел меня ростом и силой. Увидел это князь. Да и глаза у меня, должно быть, стали нехорошие, свирепые. Ну, похоже, струхнул князь. На помощь-то к нему так никто и не вышел, двор был пуст. Струхнул он и мягко так говорит:

«Почему ты сидишь на коне, Нарыч? Слезай, гостем будешь».

«Нет,— говорю,— князь, не в гости я к тебе приехал. Ты вот лучше посмотри внимательно и скажи, на коне я приехал в твой двор или на кобыле?»

Опешил Байзрукопш, прямо-таки растерялся и все оглядывается, нет ли поблизости работников, чтобы позвать их на помощь. Никто, на мое счастье, так и не появился. Тут я и вовсе осмелел:

«Смотри же! Или не умеешь отличать коня от кобылы?»

Сообразил наконец князь.

«Валлахи,— говорит,— пропади они пропадом глупые слова, что я сказал! К тебе они вовсе не относятся. Слезай с коня и проходи в кунацкую, гостем будешь».

«Ты мне зубы не заговаривай, скажи прямо: жеребец подо мной или кобыла?» — теперь уже грозно спросил я.

«Да чего ты шум поднимаешь из-за пустяка, холера его забери! Конь, конь под тобой! Заходи в гости».

«Ну, коли конь, спасибо тебе на этом, я свое дело сделал». И ускакал домой.

Разве это была не глупость, не мальчишество, не бахвальство? Что ты скажешь, Бечкан?

— В том, что ты сделал, я не вижу никакого бахвальства,— ответил Бечкан, глядя на Дзепша, которому Ахмед уже затягивал в лубок сломанную руку. — И бессмысленным твой поступок не назовешь. Ведь толкнула тебя на эту дерзость справедливая обида. И не только за себя, но и за всех тфокотлей. Скажу больше: то, что ты сделал, было важно не только для тебя; ты показал, что у нас, тфокотлей, есть чувство собственного достоинства, что мы можем постоять за себя и должны делать это всякий раз, когда нас унижают. Об этом случае теперь говорят повсюду, тфокотли гордятся тобой, твой пример подбадривает их. А ты говоришь — бахвальство, мальчишество!

— Да-да, я тоже об этом слышал,— поддержал Дзепш. — У нас Нарыча считают человеком мужественным и мудрым.

Нынешнему молодому княжичу даже грозят: «Смотри, говорят, чтобы и с тобой не сыграли такую шутку, как с твоим отцом».

— Дзепш, помолчи-ка,— одернул парня Ахмед.— Вот закончу работу, тогда хоть пляши... Бечкан, мне думается, вы с Нарычем оба правы. В народе говорят: сначала подумай, а потом скажи, сначала оглянись, а затем уж и садись. Мне хочется повторить: мужественный и отчаянный — это два разных человека. Будь мужественным, Дзепш.

— Это зависит от того, как ты сделаешь мне руку.

— Я не из тех, темиргоец, кто дважды обнажает попусту кинжал. Если сейчас не сделаю свое дело как следует, то не сделаю его уже никогда... Бечкан, кинь-ка лестницу Дзепшу, ему сейчас трудный перевал предстоит. Расскажи нам что-нибудь, да повеселее. Я сейчас должен сделать парню больно. Пусть твой рассказ помешает вам услышать крик темиргойца. А если и услышите, не обращайте внимания,— не то пошутил, не то серьезно попросил Ахмед.

Дзепш, стоя на коленях, широко открытыми глазами смотрел то на свою руку, то на Шепако. Он решил, что ни за что не закричит, как бы больно ни было. Сегодня, сейчас, на глазах у этих достойных мужчин Абадзехии, Шапсугии и Бжедугии происходит испытание его мужества — не закричит Дзепш, выдержит испытание...

— Слушайте, люди добрые... — пыхнув несколько раз подряд трубкой, степенно начал Бечкан. — Мы приехали сюда и собрались тут, в кунацкой, вовсе не для того, чтобы ублажать молодого темиргойца, который сам себе сломал руку, хотя его никто не вынуждал этого делать... А расскажу я вам историю о том, как одному мужчине определили возраст...

Однажды мы вот так же сидели в кунацкой у одного остроумного и хлебосольного тфокотля и говорили о том, в каком возрасте парня можно считать мужчиной. Хозяин сказал: «Я отдам свою дочь за того, кто правильно ответит на этот непростой вопрос». В кунацкой сразу зашумели, заговорили о том, что хозяин может тут же лишиться дочери, потому что вопрос этот совсем нетрудный. Ну, и стали называть разный возраст, когда парня уже наверняка можно считать мужчиной. Один сказал — тридцать лет, другой — сорок, а кто-то даже — сорок пять.

Хозяин сидел молча и только отрицательно качал головой. Видимо, он уже заранее наметил будущего зятя и сейчас тонко вел игру.

«Что, неужели никто не угадал? Такого быть не может! Тут называли чуть ли не все возрасты!» — начали возмущаться гости. В этот момент вошел в кунацкую какой-то парень и остановился у двери рядом со сверстниками, которым, как известно, место не за столом со старшими, а у двери, чтобы всегда быть готовыми оказать им услугу и оберегать покой в кунацкой. Похоже, что этот молодой человек слышал происходивший

разговор и попросил: «Разрешите и мне сказать несколько слов?» Ему разрешили, и он заговорил: «Однажды по пути в Темиргойю я встретил стаю в двадцать волков. Я знал, что волки могут разорвать меня в клочья, но все-таки не свернул с дороги. Волки разбежались по сторонам и пропустили меня, даже не зарычав, не показав своих страшных клыков. Продолжая путь, я встретил тридцать невест и, хотя знал, что невесты не волки, на всякий случай обошел их. Потом встретились мне шестьдесят стреноженных коней. И тоже прошел мимо. Тут же мне попалось восемьдесят скакунов — я оставил позади и их. А дальше... не вечно же мне идти? Наконец пришел в Темиргойю».

Так закончил парень рассказ и вышел из кунацкой. Тут-то хозяин и воскликнул: «Молодец! Он правильно ответил на мой вопрос!»

— Однако,— закончил Бечкан, вопросительно оглядев сидевших в кунацкой,— во сколько же лет парня можно считать мужчиной?

— Счастливый тхаматэ, разреши мне ответить,— обратился Дзепш к Бечкану и покосился на Ахмеда, который уже заканчивал свое дело.

— Теперь можешь не только говорить, а даже плясать,— разрешил Ахмед. — Молодец ты, молодец — даже не ойкнул при такой адской боли, которую я тебе причинил. — Он ласково шлепнул Дзепша по щеке: — Живи, парень, гуляй! Пусть твоя рука хорошенько срастается! На страх врагам и на радость друзьям...

— После такого легкомысленного поступка тебе не следовало бы давать слова, но раз ты больной — разрешаю. Говори. Надеюсь, старшие не обидятся, что я дал тебе слово,— сказал Бечкан.

— Пусть говорит,— согласно закивали папахами старшие.

Поднявшись с колен, опустив перевязанную руку, Дзепш заговорил:

— Он прошел через стаю в двадцать волков. Не испугался, не дрогнул. Ему было двадцать лет. В эти годы парень не думает об опасности, он бесстрашен, больше заботится о своей чести. В тридцать лет человек обретает мужество, ум, силу — зачем ему соблазн? Шестьдесят коней — это его шестьдесят лет, тут ему не до лихих скакунов. А восемьдесят коней — это уже глубокая старость, каждый спешит в свою Темиргойю, на покой. Мужчина — всегда мужчина, только разный, как велят ему его годы.

— Молодец! — похвалил парня Бечкан. — Ты сам до этого додумался?

— Когда я был еще совсем мальчишкой, отец рассказал мне эту притчу. Он говорил, мужчина от самого рождения и до конца своего должен быть мужчиной. Я хорошо запомнил его слова.

V

Стоял душный день. Только из-под старого ореха тянуло прохладой, она пряталась там от солнца, от его жарких лучей.

Если смотреть со двора Салима, расположенного на пригорке, увидишь примыкающее к левому берегу горной речушки узкое ущелье, заросшее кустами шиповника и боярышника. По верхнему его краю растут высокие и раскидистые вязы, клены и осокори.

Из ущелья тоже веяло прохладой, над которой не властно солнце. Его лучи не могли пробиться сквозь многослойные ярусы густой листвы, не могли иссушить землю, с весны до осени хранившую влагу дождей и снегов.

Вдоль речушки, то приближаясь к ее берегам, то удаляясь от них, бежала в холмисто-степную Бжедугию дорога. И оттого, что уходила она из горных лесов в степи, она и сама выглядела пустынной и тоскливой, словно ей не хотелось покидать здешние места.

Во дворе, под орехом, на скамейке, врытой в землю, работал Тамбир, делал седло для горячего скакуна. Он занимался шорничеством с тех пор, как бежал от князей и уорков в лес. И потом, когда из Тхамеза уехал в Кабарду, продолжал шорничать, учился там у лучших мастеров. На Дону Тамбир удивлял лихих казаков своими красивыми и крепкими седлами, отделанными серебром уздечками.

Рядом с ним лежали сабля и ружье — это лес научил его никогда не расставаться с оружием, быть всегда готовым к опасностям, ведь опасность могла подстерегать за каждым кустом.

Шерандука ждали еще позавчера, но вот минул один день и второй, а его все не было. Что бы это могло значить? Если мужчина не держит слова, он перестает быть мужчиной, да и просто уважаемым человеком.

Тамбир чувствовал, зачем приедет Шерандук. Узнал, где находится Тамбир, и, наверно, решил окончательно свести с ним счеты. «Нет, в этот раз тебе не удастся меня провести, как тогда в лесу. Больше я никогда не покину адыгскую землю: или ты погибнешь, или я. Здесь мое небо и моя земля, на которой я родился и в которую лягу. Лягу только в эту землю».

Тамбир вспомнил Цицару. И где только он ее не искал, кажется, на адыгской земле не осталось даже малого уголка, где бы он не побывал. Говорили, что Шерандук продал ее в Крым, но Тамбир не хотел этому верить. Хасана-Мурада он заставил поклясться на коране, что тот, купив Цицару, не увез ее в Турцию. Но Хасан-Мурад и соврет, не дорого возьмет. «Если так, не сносить головы этому подлецу, я его на дне моря достану!»

После свадьбы, в первую брачную ночь, уорки Шерандука напали на жилье Тамбира и увезли Цицару.

Где она теперь? Что с нею?

Знать бы, а там хоть голова с плеч в жестокой схватке с врагом.

За плетнем послышался стук копыт.

Тамбир на всякий случай отложил в сторону ушивальник, потянулся к ружью.

У ворот показались Салим и Мишка, они вернулись с пасеки.

— Ну что тут, Тамбир, все спокойно милостью аллаха? — спросил Салим, спешившись у ворот.

— Все спокойно... Все глаза проглядел, поджидая князя.

— Гость как ветер, не знаешь, когда и с какой стороны явится. Но ничего, нас врасплох не застанешь, встретим как надо,— подмигнул Салим. — Слава аллаху, Хасан-Мурад и Багдасар, соперничая друг с другом, в избытке снабжают нас порохом и свинцом. Мы недавно видели Хасан-Мурада — весь так и сияет, похоже, дела у него идут неплохо. Пусть его. Но мы должны помнить: Хасан-Мурад оскорбил нашего младшего брата. Он сказал Татау: «Ты пожал руку баткелю-гяуру, поэтому обязан хорошенько вымыть руки, прежде чем здороваться со мной».

— Это позор для всех нас! — воскликнул Тамбир. — Ведь я говорил Татау, если он оскорбит нашего младшего брата, будет иметь дело с нами, мы не простим ему этого оскорбления!

— Не торопись, Тамбир,— улыбнулся Салим, взглянув на гостя,— болтун Татау кое-что уже получил от меня. Я сказал ему: может, тебе не мыть рук, может, лучше тебе отрезать их, а заодно и длинный нос, который дышал одним воздухом с гяуром?.. Все идет своим чередом, Тамбир, так что не унывай. Давайте-ка отведаем свежего меду.

И они принялись за дело — макали мягкий, еще теплый хлеб в душистый мед и ели так, будто вместе с хлебом и медом впитывали в себя все ароматы лугов.

Им было хорошо, забыты, казалось, все беды...

Но Тамбир продолжал напряженно думать: у него прибавилось забот. Теперь он обязан не только искать Цицару, не только отомстить за нее и за себя, но и за Мишку Некраса. И так будет! Тамбир не отступится от своего, он умеет держать слово, не то что князь Шерандук...

Прошло еще несколько дней.

Салим с друзьями сидели возле сарая. Они грелись на солнышке, говорили о том, о сем, учили Мишку адыгским словам. И вдруг, как-то совсем неожиданно, у ворот показался князь Шерандук с уорками. Подъехали они почему-то не с бжедугской стороны, а с шапсугской.

Салим знал, что у ворот стоят враги, но не посмел преступить закон предков, пошел к воротам, чтобы принять всадников по законам гостеприимства.

Один из уорков подъехал ближе к воротам и вызывающе крикнул:

— Салим! Если ты рожден матерью, садись, как мужчина, на коня и выезжай за ворота.

— Мужчина я или нет — ты узнаешь, посмотри хорошенько на мою шапку — и узнаешь. Но я думаю, прежде чем заговорить со мной, ты, по обычаю наших предков, должен поприветствовать хозяина дома, к которому подъехал. Эта усадьба Джанчатовых, она не мною создана и не со мной исчезнет. Я не знаю твоего имени, уорк, не знаю, какого ты рода, не суди меня за это. Но я знаю, что нужен я не тебе, а князю Шерандуку, который оказался трепачом — не приехал к сроку, назначенному им самим. Он виноват, а поэтому не я к нему, а он ко мне должен подойти.

— Да что мы слушаем эту болтовню!..

— Зиусхан, прикажи, и мы!.. — воинственно зашумели уорки, бряцая кинжалами.

Тамбир и Мишка, вооруженные, подошли ближе к Салиму.

— Уорки! Тише-е! — приказал Шерандук и выехал вперед.

Тамбир обратился к князю. Сказал спокойно, твердо:

— Шерандук! Если у тебя ко мне дело, я всегда готов с тобой поговорить, ты это знаешь. Но зачем же ты оскорбляешь старинный дом и моего хозяина? Разве ты уже не адыг, разве древние законы твоего народа для тебя уже ничего не значат? Пока я дышу, пока могу держать в руках оружие, я буду защищать все, чем жив человек.

Салиму тоже хотелось сказать свое слово, но в это время подошли двое тфокотлей, из-за плетня показалось трое всадников. Один из тфокотлей обратился к нему:

— Салим, почему ты не приглашаешь гостей в дом, почему они до сих пор на конях и смотрят на тебя сверху вниз? Нехорошо это. А вам, дорогие гости, я скажу так: не один Салим является хозяином тфокотля Тамбира и баткеля Мишки Некраса. Их взяла под покровительство вся Абадзехия. Сообщил я вам это потому, что вижу, вы готовы поднять оружие...

Князь пошел на попятную. Он понял, сколь серьезно оборачивается дело, умиротворяюще поднял руку и проговорил:

— Мы приехали в Абадзехию вовсе не для того, чтобы поднять против вас оружие. Бжедугское хасе считает, что за Тамбиром Вайкоком есть долг. Пусть он вернет мне его. Я не буду возражать, если Джанчатовы, взявшие его под свое покровительство, захотят помочь ему в этом.

Старший из тфокотлей ответил:

— Решение бжедугского хасе не является для нас законом. Здесь Абадзехия. Если ты обижаешься на тфокотля Тамбира, можешь высказать обиду перед абадзехским хасе. Однако нам кажется, обида Тамбира на тебя куда тяжелее.

— Ладно,— присмирел князь. — Я передам это дело вашему хасе.

Шерандук дал коню шпоры и поскакал, поднимая пыль. Уорки двинулись за ним.

Глава седьмая

I

В этот день над степями Бжедугии сияло солнце, а над горами висело черное, тяжелое небо. И так бывает часто: над одной половиной адыгской земли весело светит солнце, а над другой плывут грозные тучи.

Который день в горах буйствовал ливень. Сверкали изломанные огненные лучи молний, напоминавшие плеть байколя Мерзабеча со свинчаткой на конце. Ливню не хватало дня, и он гудел по ночам.

Горы, горы, как своевольны и ненадежны вы, хоть и стоите незыблемыми громадами века, тысячелетия...

А в степи — тишина и покой.

Мирно горели звезды в небе.

Спали травы. Спали птицы.

Положив друг другу на шеи головы, дремали лошади.

Распластав сильные тела на теплой и ласковой земле, сладко похрапывали уорки. Храпел Али-Султан, склонив голову на седло. Доброй постелью ему была бурка.

Один лишь Алкес не сомкнул глаз. Он переживал вчерашний позор. Конечно, все происшедшее иначе и назвать нельзя...

Вчера в полночь они напали на темиргойский аул, рассчитывали поживиться добычей, но с какой резвостью потом улепетывали от темиргойцев! Только бы никто не узнал об этом, иначе сраму не оберешься. Позор, позор!..

Али-Султан и Алкес жили жаждой подвигов, смелых, рискованных дел, им хотелось испытать свою силу и мужество. И вдруг такое... Срам один. Хоть бы никто не пронюхал...

Алкес лежал на спине, подложив руки под голову, и смотрел в звездное небо. Дарихат говорила ему, что так нельзя долго лежать, не к добру это, звезды не любят, когда слишком пристально разглядывают их. Пусть не к добру, но он любил лежать на спине и смотреть, смотреть на звезды, думать о них, даже разговаривать с ними, выпытывать их тайны. А у них ой сколько тайн! Сколько звезд, столько и тайн. Как бы, у кого бы узнать, почему они зажигаются только ночью? Почему солнце побеждает их днем? И еще интересно: луна всегда в окружении звезд. У нее столько друзей, ей так хорошо с ними. Наверное, потому она и такая красивая, и смотреть можно на нее долго-долго. А солнце? Почему у него нет звезд? Оно так одиноко в небе. Должно быть, потому и не терпит, чтобы люди смотрели на него, любовались им. Если станешь долго смотреть на него, обязательно заболят глаза. Почему?.. И с людьми вот так же — если одинок человек, на него больно смотреть. Он тосклив и яростен, как солнце. Почему?..

Почему, почему?..

Разве может быть мужественным одинокий человек? Разве можно совершать мужественные поступки украдкой от людей?..

Когда узнал Алкес о предстоящих испытаниях мужества в Абадзехии, ему так хотелось поехать туда. Испытать себя на виду у всех, показать людям, чего он стоит. И пусть у его коня нет крыльев, но он быстр и легок, как птица. О таком коне говорят: ему не нужно повода, сам угадывает желание седока. Как жалко, что отец запретил ему тогда поехать на испытание, и вот теперь этот срам...

И еще одно тревожило. Хороший у него сейчас конь, очень хороший, но Дарихат и Наго обиделись, что Алкес сменил белого рысака на нынешнего коня. Али-Султан тоже обиделся, но виду не подал... Пусть обижаются: если бы он вчера сидел на белом, то темиргойцы наверняка настигли бы его.

Размышлял, кручинился Алкес.

Где-то далеко послышался волчий вой. Потом ближе, ближе. Вой становился все более угрожающим и злобным.

Алкес достал из-под седла пистолет, насторожился...

Встревожились, вскинули головы лошади. Заржали, забили копытами. Разорвалась тишина и будто истаяла. Проснулась степь.

Конь Али-Султана заржал громче всех и рванулся в темноту.

Спустя немного времени басовито завыл на пригорке, в терновниках, матерый волк, наверное, вожак. Он будто подавал сигнал всей стае.

Вздрогнул во сне Али-Султан. Еще раз вздрогнул и вскочил:

— Что случилось?

— Ничего особенного... Прислушайся...

— Кто-то скачет?

— Нет. Подожди... Сейчас...

Волка больше не было слышно. Ушел или затаился?..

— Я ничего не слышу,— недоуменно пожал плечами Али-Султан,— тебе что-то померещилось. Темиргойцы давно отстали и теперь спят по домам. Они испугались нас и сгоряча погнались, а потом поняли опасность и вернулись.

— Не надо так, Али-Султан. Если кто и испугался, так это мы с тобой. Но я сейчас не о том. Где-то поблизости бродит волчья стая. Совсем близко подходила.

— Так бы сразу и сказал, а я слушаю землю, когда надо слушать воздух. Я ведь и проснулся потому, что услышал вой, только сразу не понял... Ты разве не знал, что в этих местах много волков? Днем прячутся в терновниках, а ночью рыщут по степи, охотятся. Они страшны зимой, когда голодны. Даже на людей нападают. А сейчас они не такие голодные, чтобы рисковать, набрасываясь на людей. Волки — не беда, а вот что возвращаемся из похода с пустыми руками — это настоящая беда. Никто нас не спросит, что мы сделали, испытали ли свое мужество,— это будем знать только мы сами, а вот что без добычи вернулись...

Алкес подумал, что Али-Султан прав: если бы они вернулись домой с табуном угнанных лошадей, это бы посчитали мужественным поступком, что бы ночью ни случилось.

— Нехорошо, очень нехорошо все вышло,— огорчался Алкес.

— А все виноваты эти поганцы, наши уорки. Думали сделать из них мужчин, а они вели себя... И теперь вон как дрыхнут — ни забот, ни тревог. Давай бросим их здесь и потихоньку уедем. Пусть дрыхнут, подлые.

— Что ты! Разве можно так! Раз уж мы взяли их с собой в такую опасную дорогу, не должны бросать. Да еще одних, в незнакомой степи. Что потом скажут о нас люди?..

— Поганцы они, поганцы! — все горячился Али-Султан. А потом достал пистолет и, подойдя к уоркам, выстрелил в воздух:

— Поднимайтесь, уорки, быстрее!

Встрепенулись уорки, вскочили. От растерянности не могли слова сказать. Но, услышав, как вдруг расхохотался Али-Султан, рассердились. Старший из них зло сказал:

— Шеретлуков, ты оскорбляешь нас! С самого начала, как только тронулись в путь, ты вел себя с нами оскорбительно — посмеивался, ехидничал. Имей в виду, мы — не твои мужики, и если ты не знаешь, куда силы девать, берись за оружие! — Уорк выхватил кинжал. — Я не помню, чтобы уорки великого князя Бжедугии в чем-нибудь уступали родовитым шапсугам!

Выхватил кинжал и Али-Султан:

— Сейчас я проучу тебя, трус!

Засверкали кинжалы.

Уже и другой уорк взялся за оружие...

Алкес вскочил и кинулся к дерущимся:

— Позор вам! Позор! А ну — оружие в ножны!.. — И обратился к старшему уорку: — Разве ты не знаешь, Хазрет, кем приходится мне тот, на кого ты поднял оружие?

— Знаю, зиусхан!

— А если знаешь, оружие в ножны!

— Зиусхан, разве продают душу, покупая честь? Твой младший брат оскорбил нас.

— Не в темиргойских степях, не ночью разбираться нам в этом.

— Если бы не ты, зиусхан, я проучил бы этого распоясавшегося Шеретлукова. Пусть считает, что ему повезло,— ты его защитил. — Хазрет вложил кинжал в ножны. То же самое сделал и другой уорк.

Али-Султан последним вложил оружие в ножны. Перезарядил пистолет, из которого выстрелил ради шутки. Его бешено колотившееся сердце стало успокаиваться.

— Собачье отродье, распустили вас! Разве вы не знаете, что Шеретлуковы родовитостью не уступают бжедугским князьям, которым вы прислуживаете? — произнес он.

Оба уорка взяли седла и направились к коням.

— Что вы задумали? — окликнул их Алкес.

— Нам здесь нечего больше делать, зиусхан,— ответил Хазрет. — Мы считаем себя оскорбленными и не можем быть спутниками родовитого, утратившего порядочность. Нам лучше уехать.

Они оседлали коней, вскочили на них...

— Немедленно слезайте с коней! — возвышая голос, потребовал Алкес. — Покроете себя позором, если уедете. Мы вместе выехали из Туабго, вместе должны и вернуться.

— Будет так, как ты велишь, зиусхан. Твое слово для нас закон.

В терновнике протяжно и угрожающе завыли волки.

II

Великий князь Кансав Хаджемуков вышел из княжеской комнаты во двор и расхаживал вдоль сарая.

Дела его шли неплохо: стада не оскудевали, а множились. Не один табун породистых скакунов пасся на его угодьях. И каждый скакун дороже дорогого. По всему Кавказу джигиты знают им цену и мечтают заполучить жеребца или кобылицу для племени, купить летучего скакуна под седло.

Тфокотли убрали пшеницу, теперь заняты кукурузой — хорошие, тучные поля у великого князя. И людям здесь хорошо. Иногда бывают неурядицы у тфокотлей, но это уж их дело, пусть живут, как им живется, лишь бы не противились княжеской воле.

С Алкесом тоже все в порядке. Ладит с родственниками, его уважают, а этой весной выступил на хасе — и очень умно. Старейшие остались довольны и сказали: «Он будет достойным великим князем Бжедугии». Вместо него, Кансава, будет великим князем Алкес. Печально это, да тут уж ничего не поделаешь — за летом неизбежно следует грустная осень, а там и зима, пора забвения.

Будет, будет Алкес великим князем, и в этом немалая заслуга отца. Сыновья, внуки и правнуки — это память в веках о делах предков, так пусть хоть это успокаивает душу, если жизнь человека так скоротечна.

Но жизнь есть жизнь, и от забот никуда не деться...

Алкес после неудачного похода уехал в Крым. С той поры прошло уже несколько недель, а от него ни слуху ни духу, хотя по всем срокам он уже должен вернуться. Послать двух-трех уорков, но где сыщешь его, Крым-то большой! Или послать их к проливу, к переправе в Крым? Возможно, там что-нибудь слышали? Шеретлуковы недавно присылали гонца узнать, не вернулся ли Алкес. Выходит, и в Шапсугии его нет.

Надо было Кансаву самому поехать с сыном. Ничего, не рассыпался бы по дороге, зато душа была бы спокойна. И приняли бы Алкеса лучше, торжественнее, а это тоже немаловажно:

как примут гостя правители, так потом будут принимать его и все деловые люди.

А тут еще осложнение: Алкес не захотел брать с собой много денег, мол, зачем таскать лишнее. Правда, Наго сказал, что Али-Султан взял с собой крымских пиастров больше, чем надо. Может, так, а может, и нет. Шеретлуковым не следует слишком уж доверять. Недаром про таких говорится: посади к себе на коня, самого из седла вытеснит. Шеретлуковы не только набивают свои карманы, заглядывают и в чужие.

И все-таки, слава богу, пока особых причин для волнений нет; неважно, что они там задержались, только бы все было хорошо, только бы не увязались за ними какие-нибудь разбойники... вроде Мамруко. Немало их по земле шастает, особенно по крымской.

Мамруко... С прошлой весны не слышно его в здешних краях. «Или обиделся, что не очень-то ласково я встретил его? А может... и прикончил кто. Как знать, как знать. Слышно, его разыскивает какой-то темиргойский тфокотль...»

Отчаянно громыхая, поднимая несусветную пыль, мимо ворот Кансава прокатилась телега, запряженная волами.

«Посмотри на него!.. Рожденный от двух собак!.. Ехал тихонько, а как стал подъезжать к моему дому, погнал волов, чтобы наделать шуму и поднять пыль. И что там за рожа поганая сидит — не видать. Решил насолить своему князю. Или обиделся на меня и теперь мстит, трус негодный!»

Послать бы кого-нибудь из тфокотлей догнать, узнать, кто такой. Да некого послать: работники, как только Кансав появляется во дворе, тут же прячутся — так безопаснее и спокойнее.

«Надейся на этих бездельников,— гневался на тфокотлей князь,— а их днем с огнем не сыщешь, даже если беда какая случится. Она ведь всегда, всегда рядом... Вот нападут разбойники, некому будет отбиться... Однако кто же это прогромыхал? Наверно, Ламжий. Похоже, соскучились его ребра по плетке байколя. Ишь ты, напылил! Туда же, мстит! А кто он, собственно, такой этот Ламжий? Голь перекатная! Ничтожнее всякого ничтожества. Есть, есть среди них такие, которым хотелось бы взлететь. Но как им взлететь, если их крылья еще в гнезде обрезаны! Бескрылые... А Шепако Ахмед? У-у, с этим надо держать ухо востро...»

С западной стороны подул ветер. Сначала зашумели верхушки деревьев, потом кроны. Зашелестела соломенная крыша, вот ветер прогулялся по огороду, скользнул по сафьяновым сапожкам Кансава, заглянул под черкеску. Потом рванул и зазвенел серебряными чеканками на дорогом княжеском поясе, прошелся по белоголовым газырям, погладил мерлушковую шапку, обдул лицо.

Черные тучи выплыли из-за деревьев и стаей гончих псов пронеслись мимо.

Яростно завыл ветер, до слуха донося стук копыт.

Над кошарой на колу был насажен череп лошади — он охранял скотину от дурных болезней.

Князь глянул за кошару и увидел всадников. Среди них был Алкес. Будто радостным ветром обдало князя, но он тут же, как и полагается мужчине, взял себя в руки.

Следом за Алкесом ехали Мамруко и Макай.

«Где это он с ними повстречался? Что за компанию избрал? И едет с этими двумя прямо по дороге, на виду у всех. Нехорошо это, очень нехорошо. С Мамруко лучше встречаться ночью, в безлюдье».

— С добрым прибытием, Мамруко, рад тебя видеть в добром здравии... Валлахи, сын мой! Что же ты так долго не возвращался? Я уже начал волноваться.

Услышав, что приехал гость и вернулся Алкес, высыпала к воротам дворня, вышли и тфокотли, спрятавшиеся от князя.

Шум, гам!..

Радостные приветствия...

К седлу Алкеса приторочен какой-то груз.

— Зиусхан,— выслушав приветствия, заговорил Мамруко,— давненько не пересекались наши пути-дорожки. А ведь мы вместе провели молодость, но ты почему-то считаешь себя старым, и я должен пускаться в далекие путешествия с твоим сыном. Не говори, Кансав, я знаю, как ты сидишь в седле,— немало мы с тобой поездили, и не только по адыгской земле, много всего испытали. А теперь я был в дороге с твоим сыном и увидел, что он настоящий джигит, да, он будет достоин титула великого князя Бжедугии. Умеет держать повод в руке, сделать послушным коня, умеет заставить людей уважать себя... Вот я и решил заехать к тебе, моему давнему другу... Говорят, что чрезмерная похвала равнозначна клевете. Но ты знаешь, я не велеречив и все-таки должен сказать: твой сын — превосходный парень, истый мужчина, с чем поздравляю тебя и всю Бжедугию.

— Ты прав, Мамруко, мы с тобой много раз седлали коней, отправляясь в дальнюю дорогу,— Кансаву было приятно, что похвалили его сына, но он старался этого не показать. — Однако что делать, время хоть и незаметно, а все же берет над нами верх. Только над тобой оно словно не властно, ты почти не изменился. Молод, лих!

— Кто крепок духом, тот молод и сердцем, Кансав,— расхохотался Мамруко, вскинув свое широкое, грубоватое лицо.

— Этот груз отнесите матери,— приказал работникам Алкес.

Вечером, когда отец и сын остались вдвоем, князь сначала пожурил Алкеса за то, что он связался с Мамруко и Макаем, а потом сказал, что собирается использовать их в одном деле. Самый упрямый из бжедугских князей Камиш Казаноков пригласил его, Алкеса, на пир, который состоится завтра вечером. Будут там и князья Пшимаф и Кунчук.

— Отказаться от такого приглашения нельзя, тебя могут посчитать робким человеком... Не бойся, с тобой будут Мамруко и Макай, а эти люди самого шайтана способны утихомирить. Не подавай виду, что они приехали с тобой, держись от них в стороне, а они уж сами посмотрят, как и что — глаз у них наметанный и уши чуткие.

— Хитер ты, отец, мне этому надо еще поучиться.

— Учись, пока я жив. И помни: хитрость — второй ум, а бывает, хитрый умного одолевает.

После обеда, когда из кунацкой унесли анэ, Кансав заговорил с гостями о своем деле. Начал издалека:

— Не знаю, Мамруко, как ты ответишь,— у меня есть к тебе небольшое дельце.

— Я счастлив, если у великого князя есть ко мне дело. Ты ведь знаешь: твоя воля — моя воля.

— Спасибо, храни тебя аллах... Если бы сегодня ночью вы напали на аул Камиша Казанокова, получили бы от меня столько, сколько захотели...

— О великий князь, ты в ссоре с Камишем? Скажи, чем он тебя обидел?

— Он ведет себя так, что мудрено не обидеться... Напьется бузы, смешанной с медом, и несет такую околесицу, так поносит всех, что обязательно испортит компанию. Разве ты не знаешь, что он за человек? Он всегда, видите ли, умнее всех, а другие, по его словам, глупы, как утки. А уж бахвал какой! Послушать его, на всей земле адыгской нет храбрее его. И воины его — самые сильные, самые ловкие и бдительные. Ко мне в аул, говорит, чужой комар и тот не прилетит незамеченным. Вот и надо его хорошенько проучить. Пусть все знают, какой он на самом деле растяпа...

Мамруко долго и сосредоточенно думал.

Кансав ждал, и в нем накапливалась обида на Мамруко за недоверие к нему, великому князю. «Вот свинья, я оказываю ему честь, а он еще раздумывает...»

Наконец Мамруко заговорил:

— Знаю, что Камиш отпетый хвастун, но, наверно, не только из-за этого ты на него обижаешься. Я ведь тоже не дурак, кое-что понимаю. Но мне до этого дела нет. Называй цену за работу.

— Дам белого коня, дам денег — это кроме того, что вы сами угоните из аула.

Макай презрительно оттопырил губы:

— Белый конь. Да разве это конь?

— Ты говоришь о шеретлуковском? — спросил Мамруко, не обратив никакого внимания на слова Макая.

— Разве в моих табунах нет других коней? — вопросом на вопрос ответил Кансав, все больше раздражаясь. — За воспитание Алкеса я дал Наго скотины больше чем достаточно, и не ему заглядывать в мои дела. Я говорю именно о шеретлуков-

ском белом. Если Наго и обидится, это его дело. Такова моя, княжеская, воля.

— Хозяин — барин,— согласился Мамруко.— И белый конь хорош. Зря ты, Макай, морщишься. Но взять белого мы не можем. Если бы ехали в Крым — другое дело. А ты, великий князь, за такое рисковое дело слишком малую цену назначаешь.

— Совсем малую,— поддакнул Макай.

Но Кансав и не думал скаредничать, он готов был дать и в десять раз больше, только бы проучить Камиша, а потому легко согласился на цену, названную Мамруко.

— Что ж,— обрадовался Макай,— мы нападем не только на аул Камиша, но даже ворвемся в его усадьбу. Такого шороху наделаем, будет небу жарко, а сам Камиш штаны не успеет надеть, как все будет кончено. Пусть ищет ветра в поле.

— Я прошу вас напасть на усадьбу сегодня вечером, когда Камиш будет там пировать с дружками.

Мамруко согласился...

... К Камишу приехали гости с Верхней и Нижней Бжедугии. Буза и медовый напиток лились рекой.

Съели барашка, теленка — слуги едва успевали уносить со столов кости. Жег огнем душистый соус, приправленный травами и пряностями. Тосты, один красивее другого, звонкие, ублажающие душу, произносились без устали. Слыша их, можно было подумать, что жизнь на адыгской земле — сплошное благоденствие, а люди, собравшиеся в кунацкой Камиша,— добрейшие и славнейшие на всем Кавказе.

Алкес, несмотря на молодость, сидел на почетном месте, рядом с самим тамадой. Когда Кунчук, произнеся тост, поднял бокал, княжич насторожился:

— Подождите, потише!

— Да что с тобой, Алкес? Ты весь вечер сидишь будто на углях. Скажи, что случилось?

— Не знаю... Ничего не случилось, но у меня какое-то недоброе предчувствие. Должно что-то произойти, на сердце как-то тревожно.

— Молодо-зелено... Напрасно ты тревожишься,— важно ответил Камиш.— Что плохого может случиться, если ты у меня в доме, в моей неприступной крепости!

III

— Пойди узнай, один ли князь? — велела Тлятаней своей служанке.

Княгиня была занята одной мыслью: отчего так тосклив и печален Алкес? Она стала это примечать, как только он вернулся из Крыма. И хотя детство и ранняя юность сына прошли без нее, она чувствовала его душу, понимала каждый взгляд, слышала каждый вздох. Мать видела, как плохо, безо всякого аппетита, он ел, как тревожно спал. Сколько бессонных ночей

провела она, пока Алкес находился на воспитании. Иногда ей казалось, что она не выдержит и убежит из дома, чтобы хоть через плетень, тайком увидеть свое дитя, но... суровы законы предков. Суровы и крепки. Они-то и смиряли материнское сердце... Вот и младшего сына отдали на воспитание купцу Багдасару, и ей чудится постоянно, что мальчик плачет, зовет ее, протягивает к ней руки. «Аллах милостивый, быть матерью и ни разу не прижать свое дитя к груди! Зачем же ты тогда дал мне детей, если лишил материнской радости, за какие грехи? Каково матери, если не она, а кто-то другой видит первые шаги ее ребенка, слышит его первый лепет и смех...»— неотвязно думала она. Говорят: кто у тебя на глазах — тот у тебя и в душе. Наверно, поэтому печаль и подавленность Алкеса немного приглушили ее тоску по маленькому Батчерию.

Вернулась служанка:

— У великого князя уорк Хазрет.

— Всегда у него дела. Никак не удается побыть одному. Когда уйдет Хазрет, скажешь. Иди.

«Не век же сидеть Хазрету у князя, уйдет когда-нибудь»,— с досадой подумала княгиня и взялась за вышивание. Но работа шла плохо — мешали тревожные мысли... Не случилась ли с Алкесом какая беда, пока он был в Крыму? Не приведи аллах, если ему там повстречалась татарка и подпоила зельем, приворожила. Тогда уж горя не оберешься. Что же тогда будет с Джансурой? Бедная девушка совсем извелась, все думает об Алкесе. Надо, наверно, позвать гадалку. Пусть она разбросит свои фасоли и скажет, что было с мальчиком... Рассказывают, несколько лет назад княжич из Верхней Бжедугии спознался с белым духом — днем и ночью пропадал в степи, а все это дьявольские потехи... Алкес тоже часто один-одинешенек, целыми днями пропадает где-то. Ни друзей у него, ни товарищей. Даже уорков не берет с собой для охраны. «Упаси нас аллах, упаси, всемилостивый, даруй нашему дому, моему материнскому сердцу покой».

Вошла служанка и сказала, что Хазрет ушел.

— Хорошо. Вели приготовить мне пшенную кашу с буйволиным молоком. Да пусть получше разварят пшено, чтобы зернышко от зернышка отделялось, а то сварят размазню...

Кансав расхаживал по комнате, заложив руки за спину.

— Добро пожаловать, дочь Вочепшевых. Ты редкий гость в моей комнате. Проходи, проходи. Рассказывай, чем обеспокоена. А может, пришла чем-нибудь порадовать? Ну, чего же ты молчишь? Или, упаси аллах, нездоровится?

— Если бы я была больна, тебя пригласили бы ко мне. Здорова я, здорова милостью аллаха всемогущего,— княгиня приветливо и ласково взглянула на мужа. Она ждала, пока сядет муж, тогда уж и ей можно будет присесть, стоя — какой разговор.

— Что же за дело у тебя? Или просьба какая? — князю было приятно, что жена ласково ему улыбалась.

Она увидела это.

— Соскучилась по тебе, Кансав, вот и пришла. Боюсь, не случилось ли чего, не обидела ли я тебя невзначай, ты как-то стал избегать меня.

Князь продолжал стоять, не зная, куда сесть: на свое княжеское место или на диван, чтобы посадить рядом с собой жену.

Конечно, забудешь и о жене, если на тебя навалилось столько разных дел. Один затеял драку, другой занялся воровством, у третьего свадьба, у четвертого похороны. Если в Нижней Бжедугии спокойно, так в Верхней неурядицы... Однако княгиня пришла неспроста. Раньше она вот так не заходила к нему, ждала, когда муж пригласит. Значит, что-то серьезное... Лучше ему сесть на свое место...

Он сел. Жена опустилась на край дивана.

— Дочь Вочепшевых, валлахи, я не знал, что ты так скучаешь по мне,— сказал Кансав не без усмешки. — Ведь это так давно было, когда мы дня не могли прожить друг без друга, а теперь время сделало свое дело. Мы с тобой не один десяток лет вместе, ты — да видит бог — никогда ничем не обидела меня. Думаю, и не сможешь обидеть. Ты добрая женщина. Если между нами не будет согласия, разве смогут нас уважать уорки и тфокотли, да и в глазах наших шумливых князей мы потеряем многое... Сейчас у меня был уорк Хазрет. Жалко его: жена у него прямо какая-то сумасшедшая. Чуть ли не заставляет его пса водить на водопой. Так он мне рассказывал. Если это правда, то худо. Очень худо.

— Не годится в уорки тот, кто жалуется другим на жену. Разве достойный мужчина позволит себе такое! Даже тфокотль и тот бережет добрую славу семьи, а этот ... — не понравилось княгине поведение Хазрета, и она этого не скрывала, хотя не женское дело вмешиваться в мужские неурядицы. — Лучше бы этот уорк надел на голову платок, а жене отдал шапку. Такого нельзя ни уважать, ни надеяться на него.

— Я великий князь! Мои уорки обязаны мне говорить обо всем, даже о своих отношениях с женами и о разных дрязгах. Только тогда я смогу быть настоящим, крепким правителем, держать подчиненных в руках. Не на валунах держится власть, а на мелких камушках. Валуны-то видны всем, а вот что под валунами... Э, дочь Вочепшевых, если бы ты знала хоть половину того, что знаю я о своих уорках, ты, наверное, перестала бы их считать за людей. Думаешь, почему Хазрет мне свою грязь показал? Из-за любви ко мне? Он с удовольствием разрядил бы в мой лоб пистолет. Ему нужен не я, а хасе, мое веское слово там.

— Тогда незачем ему носить звание уорка, надо прогнать его прочь! — вспылила княгиня. — При чем тут хасе? Разве оно его женило? Почему же оно теперь должно с ним разбираться?

Разве он давал хасе обещание жить, как ему велят? Да и к кому он собирается обращаться? Разве те, кто в хасе, лучше его? Слышали мы и про них кое-что. Поговори с кем-нибудь о Шерандуке или Камише, и тебе такое скажут! Не проходит и недели, чтобы они не избивали своих жен, как последних рабынь. На коне, перед людьми, они прямо как сыновья Луны, а сойдут с коня, и сразу сыновья грязи... Не надо, Кансав, не хочу я говорить об этом... Не для того пришла я к тебе незваной...

Князь задумался. Он не помнил, чтобы жена его когда-нибудь вмешивалась в мужские дела, чтобы так резко судила о мужчинах. Что-то произошло с ней. Время, время — оно делает свое дело: одних оглупляет, других награждает мудростью, одних утихомиривает, в других зажигает огонь... В последнее время он не обращал на Тлятаней особого внимания, а сегодня увидел — она опять начала хорошеть. Немного похудела и стала стройней, посвежела. «Хороша. А какой красавицей была в молодости! Сколько пришлось ходить вокруг тебя, как ублажать твою гордыню, чтобы добиться твоей руки. Было все это, было и быльем поросло. А помнишь, дочь Вочепшевых,— говорил про себя Кансав, глядя на жену,— когда мы везли тебя в мой дом, на нас напали всадники из Темиргойи? Они хотели отбить тебя и увезти в Темиргойю для княжича. Ты сказала тогда: «Если кто осмелится подойти ко мне — заколю. И рука моя не дрогнет». Как ты была красива в те минуты, как я любил тебя!.. Да пропади он пропадом, этот Хазрет!»

Княгиня Тлятаней думала о другом. Конечно, не было у них с Кансавом ссор и все-таки... Говорят, непохожие друг на друга не танцуют в одном танце, а им пришлось это делать. Всю жизнь. Украдкой глянула она на мужа, не догадался ли он о ее мыслях. Застыдилась княгиня, опустила глаза и стала себя укорять: зачем ей понадобился весь этот разговор об уорках, князьях, ведь пришла поговорить об Алкесе...

— Засиделись мы с тобой,— сказал Кансав. — Ты же знаешь, если кто-нибудь из уорков или князей узнает, что мы с тобой вдвоем сидим в княжеской, растрезвонит по всей округе.

— Не беспокойся, сюда никто не войдет. Я приказала...

— И все-таки, зачем ты пришла, о чем хотела поговорить? Слушаю тебя.

Княгиня улыбнулась и осторожно спросила:

— Ты давно видел Алкеса?

— Сегодня утром заходил. А что?

— Ничего особенного не заметил?..

Князь насторожился:

— Нет. С ним что-нибудь случилось?

— Не тревожься преждевременно. Мне показалось... каким-то грустным он стал. Когда вернулся из Крыма, я это сразу заметила. Плохо ест. Анэ от него уносят с почти не тронутой едой. Даже когда друзья приходят, не перестает кручиниться. А в последнее время — все один и один. Куда-то надолго уез-

жает. Не дай бог, если свяжется с Мамруко или еще с каким-нибудь негодяем. Я приказала Мерзабечу не оставлять его одного — княжич стал убегать от него. И все время один...

— Тебя только это беспокоит? — облегченно вздохнул князь. — Ничего тут нет особенного. Возраст у него такой, парень становится мужчиной — это всегда непросто.

— Да, но он убегает и прячется от байколей. Все время пропадает в приречных лесах.

— Это тебе и ему кажется, будто он скрывается от байколей, а они знают каждый его шаг, не спускают с него глаз. Как раз сегодня мне сказали, что он любит ловить рыбу у старых верб.

— А где эти старые вербы?

— Недалеко от аула. — И князь покровительственно улыбнулся княгине.

— Чему ты улыбаешься? Наверно, что-то скрываешь?..

— Ничего не скрываю, а улыбнулся потому, что ты — женщина, мать, а не понимаешь, почему грустен твой сын. Сколько лет ему? Пришло время задумываться. Женщине не дано проникнуть в душу молодого человека, так же как и мне, наверное, не понять девушку, которая тоскует, сама не зная отчего. Это тайна природы: расставаясь с беззаботной юностью, человек всегда тревожится. И не только за себя... Ведь скоро кто-то войдет к нему в дом, войдет, чтобы жить в нем и дать продолжение роду. Об этом не говорят вот так, прямо, как я,— это просто томит душу... А теперь слушай дальше. От тех старых верб, возле которых Алкес ловит форель, совсем недалеко до аула, в котором живет девушка на выданье — Джансура.

Кансав поднялся с княжеского кресла и сел на диван рядом с Тлятаней:

— Я слышал, что и тебе нравится Джансура. Так чего же тревожиться, все идет своим чередом.

Княгиня мигом успокоилась, облегченно вздохнула:

— Если все это правда, то благодарение всемогущему. — Она встревоженно глянула на дверь и отодвинулась от мужа: — Не идет ли кто?.. Вернись на свое место — береженого и аллах бережет... Я испугалась за Алкеса, подумала, может, здесь замешаны какие-то злые духи. Ну, вернись же в кресло, неровен час — проворонят наши ротозеи и войдет кто-нибудь посторонний, потом на старости лет не оберемся позора... Джансура мне очень нравится. И мать у нее княжеского рода, и отец князь, достойный человек. Правда, завистливы и жадны немного, но если это не беспокоит Алкеса, значит, так тому и быть. А ты как думаешь?

— Так же, как и ты, но если бы моя воля, я женил бы его на темиргойской княжне. Когда мы бываем в Абадзехии, нас там некому поддержать и нужны родственники в Темиргойе. Ты обманула мои надежды, родив Батчерия: если бы родилась девочка, я обязательно отдал бы ее в Темиргойю.

— Я хотела того же, но аллах распорядился иначе. Когда вырастет Батчерий, возьмем невестку из Темиргойи.

— Хорошо бы,— согласился князь.— Надо об этом позаботиться.

Кансав сел наконец в княжеское кресло — дал тем самым понять, что разговор окончен и ему надо остаться одному.

IV

Ламжий возвращался из леса на телеге, груженной дровами.

Нелегкими были его думы, как нелегок труд волов, натужно тянувших телегу. Воз оказался слишком тяжелым, колеса скрипели, вихляя из стороны в сторону... Пшеница в этом году не оправдала надежд: только выбросила колос, жара иссушила его. Надеялся на кукурузу, но и тут плохой урожай. К тому же ее потоптал и переломал медведь. Правда, медведя потом убили. Но что толку, если на медвежьей шкуре стоит пустой анэ... Схватка с рассвирепевшим медведем была нелегкой. Слава аллаху, вовремя подоспел сосед с вилами и заколол зверя, который уже подмял Ламжия под себя.

Туго, очень туго пришлось бы Ламжию с семьей, но немного помог Ахмед — дал зерна и сказал: «Отдашь, когда соберешь хороший урожай». Говорят: кто не работает, у того всегда трубка без табака. Ламжий круглый год работал со всей семьей не покладая рук, а трубка его осталась пустой. И странное дело, Хаджемуковых никогда не увидишь в поле, от безделья у них руки белее пшеничной муки, а трубка их — величиной с добрую корзину и всегда полна, уродило поле или не уродило. «Они рождаются на свет — и мы тоже, они играют свадьбы — и мы без них не обходимся, их хоронят в сырую землю, где они превращаются в прах, нас тоже не выбрасывают собакам. Но почему же они сидят на резвых рысаках, а мы ездим на волах? Почему они пьют и веселятся, а мы гнем спину и едим кое-как?»

Ламжий смотрел на выгнутые от натуги спины волов, на их понуро опущенные головы. «Эх, не надо бы так много грузить на телегу, надо бы пожалеть бессловесную скотину... Интересно, обижаются волы на человеческую несправедливость? Ведь им еще тяжелее, чем тфокотлям... Да, им бывает очень плохо, и когда становится невмочь, они ложатся, чтобы на них не надели ярма. А как они смотрят тогда на человека, какие у них глаза! В них больно заглянуть». И Ламжию стало стыдно за себя. Он спрыгнул с телеги — пусть им будет хоть немного легче. И еще он подумал: «Мы, тфокотли, потому плохо живем, что, как волы, бессловесны. Волы-то хоть могут лечь и отказаться от работы, а мы тянем, сколько бы на нас ни навалили. Тянем и молчим. Даже тогда покорно и молча тянем, когда нас хлещут плетью по бокам. А мы почему-то просим и молим. Просим у ночи, у беззащитного поля, молим аллаха. А князья и уорки? Как они быстры и проворны, как рыщут в поисках добычи,

как дерутся из-за нее. Перегрызают друг другу глотки. Нам лучше с ними и не связываться. Так что же у них? Сила? Нет, наглость, которая им заменяет все. Она, как аллах, всемогуща, ей они молятся, ее одну почитают. Так было при дедах и будет при внуках, до тех пор, пока мы не научимся говорить громко, пока не научимся хотя бы самую малость уважать себя, не вспомним хорошенько и не скажем твердо, что аллах и нас создал людьми. Так ведь говорит эффенди».

Небо сегодня, как и вчера, было облачным. Белые облака с синими краями то затейливо громоздились, словно горы, то бежали торопливо, будто играли в догонялки.

Солнце, свернув с утренней тропы, перешло на полдневную. Оно то ныряло, как на качелях, в облака, как в белый омут, то выныривало на голубой простор. Нырнет в омут — и леса, и горы, и поля потускнеют, загрустят, а вынырнет — и все улыбнется ему навстречу.

На березе у дороги застрекотала сорока. Она не любит лесной чащи, разве что по надобности какой слетает туда, в чащобу и мрак. Слетает и тут же к дороге, на опушку леса. Чуткая птица, разговорчивая, озорная.

Застрекотала сорока на осине, а потом вдруг скользнула вниз, чуть не до самой земли, сделала круг над телегой и снова уселась на сухую ветку, глянула веселым глазом, словно спрашивая: «Ну, как живешь, Ламжий? А как вы, волы? Живем? Вот и хорошо».

Телега спустилась по тропе вниз, туда, где из-под корней вербы выбивался на белый свет родничок. Выбился когда-то и заструился по белым камням.

Чтобы не замочить ноги, Ламжий вспрыгнул на задок телеги и переехал через ручеек, ощутив всем телом его прохладу и ласку. И волам было приятно охладить свои копыта, дохнуть раз-другой этой влажной прохладой.

Невдалеке показалась речка, к которой и стремился ручеек, будто малое дитя к матери, к братишкам да сестренкам, чтобы поиграть с ними на просторе, то становясь крутой волной, то разливаясь тихим, спокойным плесом.

Из-за тучи выглянула вершина далекой абадзехской горы. Увидел Ламжий вершину и вспомнил Салима, Тамбира, Мишку Некраса. «Интересно, как живет, божьей милостью, Салим? Он всю жизнь занимается пчеловодством, садами, а зимой — шорничеством. Салим славится как шорник, и в садовом деле его называют кудесником. Чего только не увидишь в его саду! На дикой яблоне с одной стороны зреют янтарно-желтые яблоки, с другой — краснобокие. И такие крупные — по кулаку. А на верхушке висят кислички. Чудеса, да и только. А груши! На одном дереве тоже растет сразу несколько разных сортов. Надо будет поздней осенью съездить к нему. Порасспросить да и развести у себя такой сад. Салим добрый, не таит секретов, радуется, если просят помочь... А зимой-то, зимой! На дворе стужа да

снег по колено, а у него на столе — яблоки и груши. Ну прямо как в сказке... Хорошо бы узнать, как идут дела на абадзехской земле у Мишки и Тамбира. Отстали от них Шерандук с Татау или все еще чинят им зло? Салим не даст их в обиду. Мужественный человек и честный, вот у кого надо учиться уважать себя».

— Дровишки, что ли, припас для зимы?

Это спросил Алкес, выехавший из кустов на тропу. Услышал Ламжий голос Алкеса и тут же спустился на землю. Но откуда взялся в этих местах княжич? С неба, что ли, свалился? И один, без байколей. Странно. Может, едет к кому-нибудь в гости, но здесь никого поблизости нет. И разве князья ездят в гости в одиночку?

— Дрова. Чтобы детишкам зимой тепло было...

— Это хорошо, да маловато что-то нагрузил.

— Волы и так едва тащат.

Алкес с любопытством стал рассматривать Ламжия.

Громадный рост. Плечи такие, что на двоих хватило бы, а ручищи большие, жилистые. В эти бы руки да меч потяжелее — целая дружина не устояла бы. Алкес подумал о своих руках, стесняясь при тфокотле глянуть на них, и они показались ему такими маленькими и слабыми, что даже обидно стало. Как ребенок, обиделся на отца и мать, позавидовал Ламжию, подумал: «Надо взять этого детину с собой в поход. Подучить его малость, и не будет надежнее телохранителя и воина в княжеской дружине. Вот только одет нищенски: заплатанная черкеска, шапка, отороченная облезлой мерлушкой. Вместо газырей какие-то деревяшки. Поясишко невзрачный, кинжал в старых потертых ножнах. Ничего, можно дать ему и хорошую кольчугу, и доброго коня, и кинжал хороший».

Ему захотелось еще поговорить с Ламжием, и Алкес сказал:

— Не хватит тебе этих дров на зиму. Что делать станешь, когда снег дороги завалит?

— По снегу-то за дровами ездить веселее.

— А ты что, Ламжий, не знаешь, что перед тобой стоит князь, или забыл мое имя? А может, у меня, по-твоему, нет имени?

— Имя у каждого есть,— ухмыльнулся Ламжий,— даже у моих волов. Этого зовут Маленький Уорк, а этого — Большой Уорк.

— А Тфокотля среди них нет? — начиная сердиться на дерзость Ламжия, спросил княжич.

— Тфокотли и так как скотина, которую можно загнать в кошару.

— А не чешется ли у тебя спина, несчастный? — возвысил голос Алкес и поиграл плеткой, выписывая ею круги у себя над головой.

— А с чего ей чесаться, княжич? У меня болят ребра, которые мне переломали абадзехи по наущению твоего отца и его байколей. Абадзехи скопом напали на меня одного. Связали и били, забыв даже извечный закон: позор тому, кто бьет лежачего. Это их позор, им за него и отвечать, но не думай, княжич, что они сами учинили этот срам, это Хаджемуковы их настропалили... Мои дети и внуки не забудут тот день, будут помнить тех, кто учинил расправу над их отцом и дедом. Нет, я не угрожаю тебе... Пусть ваша совесть жарится на углях позора, потому что это и ваш позор. Да простит мне аллах эти слова!

Проговорив эту длинную речь, Ламжий сам себе удивился — такого с ним еще никогда не бывало. Удивился и вздохнул, словно сделал большое дело, освободил душу от тяжелого груза.

Удивленно слушал Алкес тфокотля. Гнев его угас.

— Я впервые слышу об этом. Ничего такого я не знал.

— Как не знал? Разве ты не был у моей постели? Разве не принимал участия в чапще?

— Был,— смутился молодой княжич и вспомнил, как отец посоветовал ему пойти к Ламжию. — Был, но клянусь своим оружием, не знал, как и почему ты попал в беду.

— Не клянись, Алкес, не надо. Может, ты и в самом деле не знал, но теперь знаешь и будешь помнить; ты еще так молод, тебе еще долго жить на белом свете, править всей Бжедугией. У нас говорят: кто проглотит обиду, тот сможет съесть и голову обидчика. Не я это придумал — такова мудрость предков. Хоть и не грожу я тебе, но лучше не попадайся мне на лесных дорогах. Да и ты, разве ты простил бы своему обидчику? — Газыри ходуном заходили на его груди, распрямились, наливаясь силой, плечи. Даже топор, торчавший за поясом, дрогнул и закачался. Ноги тяжело переступали, приминая землю.

«Могуч, могуч этот тфокотль, и как только абадзехи могли его одолеть? Бесстыжие — скопом напали... Валлахи, вон что придумал отец для устрашения тфокотлей! Хитер, как старый змий. Чужими руками жар загребает... Но ведь говорится: быка обласкай, а коня укрощай. Зачем же он с этим быком так поступил? И недостойно это, недостойно княжеского звания. Великий князь!.. А все Мерзабеч придумывает и отца подбивает... О, как жесток этот байколь, отца родного в землю живым закопает и не дрогнет. Но почему мой отец, великий князь, ходит у него на поводу? И с Камишем проделали недостойную шутку... Не только напали на аул, но и потревожили гостей, увели княжеского коня. А сам Камиш оказался трусом: бегал по двору как безумный, стрелял из пистолета. А Шерандук бросился под стол — наверно, подумал, что Нарыч на него напал. Конечно, Камиша проучили, но если обо всем этом узнают люди? Позор! Князья всей Верхней Бжедугии объединятся и

сживут нас со света...» Алкес испугался, будто только сейчас понял, чем все это может кончиться. Но тут же стал успокаивать себя: «Отец дал Мамруко и Макаю достаточно денег — они будут молчать как рыбы. Скорее языков лишатся, чем выдадут себя и отца. На этом стоят... А теперь вот еще и Ламжий обвиняет нас в позорном деле. Надо унять гнев тфокотля. С ними нельзя воевать, их надо стричь, как баранов, но при этом ласково поглаживать».

— Если правда то, о чем ты говорил, Ламжий, у тебя есть все права наказать своих обидчиков. Я бы даже собственный глаз вырвал, если бы он обидел меня. Мужчина не должен прощать обид, иначе превратится в тряпку, о которую вытирают ноги. Если это не тайна, я хотел бы знать, кто твои обидчики, чтобы помочь тебе.

— Я же сказал: это подстроили уорки твоего отца.

— Понятно. Но не они же били? Они только подстроили, а бил тебя кто?

— Если хочешь знать правду, скажу. Меня били друзья твоего отца — Мамруко и Макай, а обставили все так, что били абадзехи.

— Откуда тебе это известно? — удивился Алкес.

— Сорока на хвосте принесла,— ухмыльнулся Ламжий. — Ведь эти двое гостили у вас в начале осени. Помнишь?

— Помню, но...

— Чего но! Тут яснее ясного. Каждый раз, когда они появляются в наших краях, обязательно происходит что-нибудь нехорошее. И в этот раз — произошло. Ты знаешь историю с Камишем. Не ходи, княжич, тропинками следом за Мамруко, ищи свою дорогу. Ты молодой и умный, у тебя в глазах есть доброта.

V

Небольшое армянское селение, где издавна жили Бариноковы, расположено в самой середине Бжедугии, чуть выше того места, где Псекупс впадает в Пшиз[1], на расстоянии двух конных переходов.

Огромный лес окружал селение со всех сторон. С востока он примыкал к реке Пшиз, словно переходил ее вброд и уходил дальше, к полям. Повернув на запад, пересекал непроходимые болота, речку Псекупс и неторопливо и важно направлялся к подножиям шапсугских гор, широко простирался к югу и стоял там величественно на плоскогорье.

Лес всегда был влажным — две реки давали ему благодатную влагу, поили лесные луговины. Травы там росли в рост человека — они кормили скот, давали нектар пчелам, отдохновение путникам и радость птицам.

---

[1] Пшиз — так адыги называют реку Кубань.

Вот в этом-то благословенном месте, недалеко от аула Едепсукай, и располагалось небольшое армянское селение.

Бариноковых по-армянски называли Баринянами. Говорили они по-адыгейски, придерживались адыгских обычаев, но не забывали и своего языка, своих порядков, молились своему богу. Почти все шестьдесят семей занимались торговлей. Их лавки были разбросаны по всей Бжедугии, всюду у них были должники, изо всего они умели извлечь выгоду. Каждый день приходили и уходили обозы. Адыги шутили: «То не копыта звенят на дорогах в селение, а золото». Оно стекалось сюда, как вода горных речек,— золото России, Турции, Крыма. Адыги слышали его звон на дорогах, а видеть не видели, потому что золото не любит солнечного света, не любит, чтобы на него смотрело много людских глаз. Оно так же таится, как таится в темноте Мамруко, как прячется от солнечного света зло. И сила у него тайная, нечистая. Эта сила проникает в человеческие сердца, разъединяет их, делает жестокими и беспощадными. Золото не любит слабовольных, сердобольных, стыдливых и робких. Сила уважает и признает только силу.

Великому князю Бжедугии хотелось приобрести в Темиргойе близких друзей. Он мог это сделать, отдав Батчерия на воспитание в какую-нибудь влиятельную семью, но этого не случилось, хотя многие были бы не прочь взять в воспитанники сына могущественного великого князя, чтобы завязать с ним прочные связи, извлечь для себя пользу. Рассчитывали на это многие, но у Кансава был свой расчет: он считал себя хозяином положения, однако аллах рассудил иначе...

... Вечером того же дня, когда родился Батчерий, к Хаджемуковым приехал Багдасар Бариноков с богатыми дарами: привез персидскую парчу, заморский шелк, бочонок пороху и несколько слитков свинца. Вот проныра какой Багдасар! Как и от кого узнал о рождении сына у великого князя?

В тот же вечер Кансав предварительно согласился на предложение Багдасара отдать ему Батчерия на воспитание. Лучше пусть будет ходить в близких этот богатей, чем лицемерный темиргойский князь...

Карина, жена Багдасара, тоже недавно родившая ребенка, уже кормила своей грудью Батчерия...

После того как мальчика увезли к воспитателю, отец должен был через год повидаться с ним. Вот сегодня Багдасар и привез Батчерия.

— ...Мы собирались с женой и мальчиком приехать к вам раньше,— после взаимных приветствий произнес Багдасар. Говорил он на чистейшем бжедугском диалекте,— но я был в отъезде по очень важному делу.

— В каких краях ты побывал, Багдасар? — спросил великий князь.

— Навестил степных ногайцев. У-у, хитры эти ногайцы. Если приехал к ним с кем-нибудь из их племени, то еще ниче-

го, отнесутся к тебе по-доброму, а если один!.. Так и норовят тебя обмануть. Или подороже цену содрать, или всунуть какой-нибудь бросовый товар. А если и продадут что-нибудь путное, то норовят тут же отнять. Перехватят обоз в степи — и попробуй отбейся. На что уж они меня хорошо знают, знают мою доброту и сговорчивость, и то в этот раз увязалась за моим обозом шайка. Польстились на крымские пиастры, которых у меня было довольно.

— И как же ты спасся? — поинтересовался князь Шерандук, которого Кансав всегда приглашал в кунацкую, если случались видные гости.

Багдасар раскатисто рассмеялся:

— Кого захотели перехитрить!.. Я уговорил ногайского купца, у которого купил товар, ехать со мной. Заплатил ему за это хорошенько. Он, конечно, знал, где нас может подкарауливать засада, и повел по другой дороге, через Кабарду. А заодно я и погостил у Атажукова. Там тоже провернул выгодное дельце... Теперь хватит с меня, никогда больше не поеду к ногайцам, не хочу с ними иметь никаких дел. Странные люди, ездят и ездят, телеги служат им домами — ни домов обычных, ни сараев. Вместе со своим скотом ездят, ездят, будто у их коней под хвостами горит. Ночами сидят у огня, разожженного из кизяка, едят несоленое мясо. Без лепешек. А скота, скота! Столько же, сколько песка вокруг...

— А скажи, дорогой гость, не заезжал ли ты в Карамзай? — из чистого любопытства спросил Шерандук.

— В этот раз не заезжал. Он остался в стороне, потому что мне пришлось петлять по степи, дабы избежать встречи с шайкой грабителей.

— Э-э, зря ты не заехал в Карамзай! Отличный аул. Там много превосходных людей. Умных, красивых. В этом ауле живет ногаец Сунай. Если бы он узнал, что ты из Бжедугии, поднял бы на ноги всех ногайцев, устроил тебе поистине княжескую встречу. Ты был бы там самым почетным гостем, и потом уже ни одна собака не посмела бы тебя тронуть. И человек он деловой, ты смог бы с ним столковаться. Сунай всякий раз, как едет в Крым или возвращается оттуда, останавливается у меня... Интересный случай был у меня с ним,— Шерандук вспомнил Цицару...— Я выкрал в первую брачную ночь у Тамбира жену и отдал Сунаю. Где-то она теперь? Любопытно было бы узнать об этом...

Багдасар намного моложе Кансава и Шерандука. Лет на пятнадцать. Смуглый до черноты, длиннолицый. Губы маленькие и тонкие. И большой нос с горбинкой. Казалось, голова с трудом удерживается на длинной хилой шее.

Шерандук смотрел на купца и думал: «Этот ермэль[1] чем-то похож на заостренный, гладко вытесанный кол...»

---

[1] Ермэль — армянин.

Багдасар рассказывал о степных ногайцах, но мысли его были заняты Батчерием. Он напрягал слух, чтобы услышать голос малыша, но кунацкая располагалась довольно далеко от дома женщин, поэтому мудрено было что-нибудь услышать. «Чего они так долго не ведут его? Уж очень долго возятся. Женщины — такой народ, если возьмутся за что-нибудь, будут возиться до изнеможения и всех домашних измучают. Но самое главное — много делают впустую... И князь Кансав ничего не говорит о Батчерии. Наверно, хитрит, набивает цену. Любят, любят князья все обставлять многозначительно, хотят предстать во всем величии, будто при царских дворах».

Во дворе заблеяли овцы — это тфокотли пригнали Кансаву в честь его сегодняшнего свидания с сыном овец и ягнят в подарок. «Вон как достается князю богатство — только пальцем шевельнул, слово сказал своим байколям, и оно течет ему во двор, будто горный ручей. А тут мотаешься, мотаешься, не знаешь покоя ни днем ни ночью, чтобы заработать несчастную копейку. Скачешь по пыльным дорогам, спишь на земле, торгуешься бог знает с кем, а потом, если и выторговал кое-что, надо суметь ноги унести... И неизвестно, удастся тебе это или закопают твое грешное тело в горячих сыпучих песках... Без денег плохо человеку, каждый может плюнуть на него, как в грязный горшок. Но карманы тяжелы от крымских золотых пиастров — перед тобой гнут головы. И не только простолюдины, тот же великий князь Кансав в почтении склоняется, принимает тебя в кунацкой как дорогого гостя и даже сына своего отдает на воспитание... Да-да, хоть и клялся я больше не ездить к ногайцам, придется еще разок туда смотаться — больно выгодно с ними торговать. Привезешь дешевенькие, яркие, как крыло попугая, ткани, и степняки хватают их, будто парчу золотую. А женщины, женщины! Хоть и живут в дикой степи, хоть не видят мужей месяцами, потому что те чабанят с ранней весны до поздней осени, все равно холят лица, часами сидят перед зеркалом, румяня щеки, подкрашивая и без того черные брови. Жены ждут мужей, а девушки — женихов. Пусть ждут, пусть красятся и мажутся, пусть отдают мне свои пиастры, пусть подороже платят за эти дурацкие притирания».

— Как поживает милостью божьей князь Атажуков? — поинтересовался князь Кансав. — Что-то давненько его не видно в наших краях. Теперь уж, наверно, и совсем забыл нас.

— Как же! Помнит, расспрашивал о тебе и прислал с почтением большой салям! — наигранно весело произнес Багдасар.

— О, алейкум салям! — приподнимаясь в кресле, ответил Кансав.

— А когда узнал,— продолжал Багдасар,— что твой сын у меня на воспитании, очень обрадовался, сказал, что ты нашел Батчерию хорошего и надежного воспитателя.

Кансав согласно закивал тяжелой головой:

— Атажуков — один из достойнейших князей Кабарды. И слава, и отличные скакуны, и тучные стада — все при нем. Говорят, Атажуков счета не знает своим богатствам. Прислал мне своего жеребца и кобылицу на племя, вот откуда у меня пошли великолепные лошади. Не знаешь, Багдасар, получил Атажуков своих кобылиц, захваченных во время междоусобицы, которая произошла меж кабардинскими князьями? Четыреста кобылиц!

— Говорили и об этом! Атажуков уже несколько лет судится, но, кажется, ничего у него не получается. Безнадежное дело.

— Валлахи, как жестоко с ним поступили! Разве в Кабарде уже и законов нет? — вспылил Кансав. — Что ж, Шерандук, если я приду со своими байколями и угоню половину твоего скота, выходит, ты на меня и управы не найдешь? Что бы ты стал делать, князь Шерандук?

Улыбнулся из-под усов Шерандук:

— Я обнажил бы свой кинжал, великий князь, на мою сторону стали бы мои байколи, уорки, помогли бы и другие князья. А ты со своими воинами тоже поднял бы оружие. Война! Да еще какая! И с твоей и с моей стороны поднялись бы тфокотли, а когда звенит оружие, колеблется наша власть. Неизвестно, что сталось бы и с нами, и с нашими княжескими титулами.

— Верно, а вот почему этого не понимают князья? Ждут, когда в их княжеские дела вмешаются тфокотли? Плохо это, плохо.

Помолчали. Потом Шерандук сказал:

— Мой дед вспоминал, что в старину Хаджемуковы тоже любили заглядывать в стада своих соседей.

— Не вороши прошлое, Шерандук,— нахмурившись, произнес великий князь Кансав.

Довольный тем, что поддел Кансава, Шерандук заговорил примирительно и шутливо:

— А о чем же нам еще беседовать? О молоденьких и красивых девушках? Поздно! Ведь мы уже собираемся женить сыновей, выдавать замуж дочерей. О дальних походах? Устарели мы с тобой для них. Надо нам сидеть тихонько в княжеских креслах, но, боюсь, не дадут нам покоя.

— Это кто же?! — грозно спросил Кансав.

— Ты еще спрашиваешь? Наши княжичи и не дадут. Подрастут, станут показывать свой норов. Ты забыл разве, как мой сын однажды стал упрекать меня: зачем я взял лишних сорок волов у абадзехов? Видишь ли, он справедлив, а отец — нехороший. А сам-то все поглядывал, сколько и чего я дам ему, когда женится, хотел у отца побольше оттяпать.

Ухмыльнулся Кансав, огладил лицо:

— Это ты говорил об истории с тфокотлем Тамбиром? Ду-

маю, зиусхан, твой сын Меджир был тогда прав. Думаю, не о справедливости он тогда пекся... Зачем тебе было связываться с абадзехами? Пусть бы кто-нибудь другой порадел там за твои интересы. Князь не должен опускаться до таких мелочей, не должен сам влезать в эту грязь. Его все должны считать честным и справедливым. Иначе тфокотли забудут о своем месте на земле, забудут об аллахе и поднимут руку на святая святых...

Левая щека Шерандука нервно задергалась, он обиделся: выходит, сын мудрее отца. Но сказал:

— Я согласен с тобой, великий князь.

А Кансаву вспомнились его сыновья. Он подумал о них с гордостью. «Зачем, для кого я умножал свои богатства? Для детей моих, для рода Хаджемуковых. Все для них, для сыновей. Чем богаче они будут, тем достойнее в глазах людей я сам. Странный этот человек, Шерандук,— в сыне видит врага. Каков сын, таков отец. Если сын мудрее отца, отец должен радоваться этому, только недалекий отец завидует детям, боится их власти над собой. Ведь сила наша — сила отца, возвышение рода...»

Послышались женские голоса. Сидевшие в кунацкой повернулись на шум. Распахнулась дверь в соседнюю комнату. Там на полу лежали седло, кинжал, кнут, ружье, пистолет и золотые пиастры.

— Что он выберет из всего этого? — забеспокоился великий князь Кансав.

— Тут и гадать нечего,— ответил ему Шерандук,— седло и пиастры.

— Откуда ты знаешь? — не удержался Багдасар.

— Скажу откуда. Хаджемуковым только покажи оседланную лошадь, и не надо ни воды, ни хлеба. Это у них в крови. А в доме воспитателя превыше всего ценится золото, и мальчик, конечно, потянется к пиастрам. Он научится поднимать их не только с пола, но и из-под земли доставать.

Все дружно рассмеялись...

Вошел Батчерий.

Все замерли.

Мальчишка сначала осмотрел комнату, увешанную коврами и оружием, а потом на полу, устланном великолепным персидским ковром, увидел разложенные вещи. Немного растерялся, постоял в нерешительности и направился к седлу, однако по пути к нему остановился, присел на корточки и взял в правую руку кинжал. Положил в карман пиастры, захватил кнут, сунул под мышку пистолет и, перешагнув через коран и ружье, уселся в седло.

Кансав довольно расхохотался:

— Ай да сын! Ай, молодец какой! Но дайте ему ради бога коран. Обязательно коран!..

VI

...Шерандук сидел со своими людьми на лесной поляне. Отдыхал.

В глубине леса послышался топот копыт — скакало несколько всадников.

В мгновение ока Шерандук и его спутники вскочили на коней.

Из-за огромного валуна показались двое — это были свои, ранее посланные по делу.

— Какие вести? — спросил князь.

Всадники спешились.

— Не привез я тебе хороших вестей, зиусхан,— ответил старший. — Тфокотль Тамбир с гяуром поехали в Натухай, но другой дорогой. Это мне сказали верные люди.

— Одни поехали?

— С ними Нарыч и Салим, а потом к ним присоединился Бечкан. Едут в сторону Тозепса.

— Что задумали эти негодяи? — спросил себя Шерандук. — Нечего теперь здесь стоять — упустили мы их. Может, они узнали о нашем плане? Но кто мог сказать им? Вот досада — понапрасну потеряли трое суток!

— Думаю, надо ехать в Натухай, зиусхан. Они наверняка будут гостить у Ахмеда Шепако. Там мы на них и нагрянем,— предложил один из уорков.

Шерандук глянул на уорка налившимися кровью глазами и молча направил коня по дороге в Бжедугию. Абадзехская земля, где жили теперь Тамбир с Мишкой, осталась за спиной, справа лежала Шапсугия.

Лошади поднимали пыль.

Недобрые думы томили князя.

Давно кончился срок, в который он обещал принести голову Тамбира. Что он скажет теперь тем, кому давал слово? Особенно неловко перед княгиней. Позор-то какой! Двадцать всадников из князей и уорков, двадцать настоящих джигитов, не могут совладать с какими-то двумя тфокотлями. Встретиться с Тамбиром один на один? Э, нет! Ушла сила и молодецкая лихость из усталого тела князя. Не справиться ему в единоборстве с молодым Тамбиром.

«Но ничего, ничего, я знаю, что делать...»

— Зиусхан, со стороны Темиргойи навстречу приближаются всадники,— доложил старший из уорков, придерживая поводьями коня.

— Кто бы это мог быть? — Шерандук приподнялся на стременах. — Мне кажется, это не адыги. Посмотри-ка, Меджир, у тебя глаза острее. По-моему, это ногайцы. По посадке вижу. Неужели Сунай?

Меджир не успел ответить отцу, Шерандук уже узнал Суная, дал коню шпоры и поскакал.

Пока князь и родовитый ногаец приветствовали друг друга, все остальные хранили почтительное молчание.

— Как это случилось, Сунай, что мы с тобой здесь повстречались?

— Наверно, так было угодно аллаху,— ответил Сунай.

— Валлахи, вот неожиданность! Добро пожаловать, Сунай! Это сколько же лет мы с тобой не виделись?

— Около шести...

— Если не больше... Ну-ка, Меджир, скачите вперед, предупредите там, что у нас дорогой гость. Пошлите всадников к великому князю Кансаву. Пригласите всех наших князей, позовите Багдасара. Из Шапсугии позвать Наго, из Абадзехии Татау. Да пусть нас на околице аула обязательно встретит музыка! Много музыкантов!

С Шерандуком осталось трое, а остальные всадники, джигитуя на скаку, показывая гостю свою удаль, помчались выполнять распоряжения хозяина.

— Валлахи, Шерандук, мы ведь едем в Крым,— многозначительно прищелкнув языком, сказал Сунай. — А из-за этого придется задержаться.

— Ничего не случится с вашими делами, все будет по воле аллаха в самом лучшем виде. Неужели бы ты не заглянул к нам отведать шуг-пастэ княгини? Уй, нехорошо это, не обижай нас и помни: обижая друзей, обижаешь самого себя.

— У нас очень спешные дела, но обижать друзей нельзя. Тем более княгиню. Да храни ее аллах!..

На заходе солнца Шерандук с гостями подъехали к аулу.

И там все было, как повелел князь: играла музыка, джигитовали конники. Встречать почетных гостей вышел стар и млад.

Кунацкая гостеприимно распахнула двери, ковры и подушки обещали отдых после дороги.

Варилось мясо.

Кипел соус, источая ароматы заморских приправ и душистого перца. Утром следующего дня стали съезжаться именитые люди, чтобы приветствовать дорогих гостей.

Во дворе гремел оркестр.

Танцевала и пела молодежь, а распорядитель этого праздника расписывал аульчанам и приезжим, какой достойный человек Сунай, как он храбр и мужествен.

Праздник гремел три дня! А на четвертый Сунай в сопровождении самого князя Шерандука и шестидесяти всадников отправился в Крым.

О многом переговорили Шерандук и Сунай, пока неспешно одолевали полдневный переход.

Сунай ждал, когда князь заговорит о Цицаре. Все эти дни он высматривал ее среди прислуги, но так и не увидел. Где же она могла быть?

А князь был занят другими мыслями. Вспоминая, как три дня чествовали гостей, свои удачные тосты в их честь и тосты

в честь него, Шерандука, он был доволен. Не без злорадства подумал о Кансаве. Слушая, как возвеличивали в его присутствии Шерандука, он конечно же злился, но тщательно прятал недовольство. «Привык, чтобы в кунацких только о нем и говорили. Возомнил, будто без него Бжедугия пропадет...»

Сунай не выдержал и спросил:

— Помнишь, князь, ты дарил мне девушку?

— Как не помнить! Надеюсь, она хорошо ведет себя? Ты доволен ею?

— Ее уже давно нет у меня.

— А где же она?!

— Странно. Я думал, может, она у тебя... Цицара прожила у меня всего год, а потом, выбрав момент, вскочила на коня старшего сына и ускакала. Я думал, к вам.

— Вот это да! — развел руками Шерандук. — Муж ее переехал в Абадзехию, но живет там один. Куда же подалась Цицара? Не убили ли ее в дороге?

— Не убили,— возразил Сунай. — Видели ее в Бесленее, в лесу. С ней не так-то легко сладить. Будто там она и живет. Это похоже на нее, очень норовистая женщина. На коне скачет не хуже любого мужчины. А саблей как орудует! Не хотел бы я попасть ей под горячую руку. Не женщина, а просто шайтан какой-то.

Глава восьмая

I

В полуденный зной перед Шепако и Хагуром предстала окраина Темиргойской равнины. Просторна Темиргойя — небо высокое, дали бескрайние, земли плодородные, жирные.

Шепако и раньше бывал в Темиргойе с Нарычем и Устоком. Не один раз пересекал Темиргойю, направляясь в Бесленею и Кабарду. Здесь у него было много знакомых тфокотлей. Но в Тезечхабль, где живет Дзепш, ехал впервые.

Когда Ахмед ослабил повод, конь ускорил шаг, а потом перешел на рысь.

Поднявшись на холм, всадники свернули на обочину. Хагур не понял, почему Ахмед так сделал, но спрашивать не стал — раз старший сделал, значит, так и должно быть, младшему не пристало спрашивать — зачем, почему. Таков адыгский обычай. Он избавляет от лишних слов, от ненужных сомнений, а это в дороге очень важно. Особенно в тревожное время, требующее от путника внимания и дисциплины.

На холме росла высокая сочная трава. Она доходила до стремян, мягкий кавказский сапог скользил по траве, по ярким цветам.

Вид с холма открывался на все четыре стороны. Далеко-далеко, до самого горизонта, виднелись поля пшеницы, леса и перелески.

На лугах паслись отары овец, табуны лошадей, стада коров.

— Все, что ты сейчас видишь, Хагур, и называется благословенной темиргойской страной. Темиргойцы живут вдоль берегов Лабы, поэтому их и называют лэбэдэсами. Аулы располагаются вдоль Лабы, а потом идут по Фарзу, Шехурадже, до самой Шхагуаше. На северо-западе темиргойцы граничат с хатукайцами и бжедугами. На юго-востоке, где леса взбегают на горы, живут егерухайцы и махоши, а вон там, у абадзехских гор,— мамхеги. Если ехать к востоку трое суток, попадешь к ногайцам и калмыкам, а если еще дальше, за Астрахань, то бог знает что за люди там живут. Дальше Астрахани я не бывал. Встречал людей, которые утверждали, будто в той дальней стороне ничего нет, кроме песков да ветров. Но не верю я этому: разве возможно, чтобы не было людей там, где восходит солнце? Иначе зачем оно там светит, зачем аллах посылает его туда каждое утро?

— А в какой стороне Кабарда, если смотреть отсюда? — спросил Хагур.

— Надо ехать отсюда так, чтобы абадзехские горы все время оставались с правой стороны. Проедешь Бесленею, оставишь справа карачаевцев, а там уж и Кабарда. С северной стороны от темиргойцев живут баткели.

— Расскажи, Ахмед, о баткелях. Кроме Мишки Некраса, я других не видел. Да и где их увидишь, если дальше своего аула почти не бывал... Говорят, будто они все русоволосые, головы не бреют. И еще говорят, хоть они и гяуры, а добрые.

— Не скажу, что бывал у баткелей много раз, но все-таки бывал, приходилось переправляться через реку Пшиз... Правильно тебе сказали — они русоволосы, приветливы и добры. Будем живы, как-нибудь съездим с тобой к ним. Люди они мужественные и совестливые. Приходишь к ним без оружия — рады тебе. Не любят оружия, хотя владеют им хорошо. У нас говорят: принудишь баткеля взяться за оружие — считай, сам себе отрубил голову.

— Валлахи, хорошо бы съездить к ним. Наго не дает нам особой воли, все-таки иногда я могу отлучиться. Хотелось бы побывать у баткелей. Если бы не ты, Наго не отпустил бы и в Темиргойю.

— Не знаю, почему ты так говоришь. Мне показалось, что Наго хорошо к тебе относится и с удовольствием уважил мою просьбу.

— Конечно, они не откажут такому высокому гостю, как ты. Я видел, как им приятно принимать тебя. О, они об этом растрезвонили всему аулу! И еду на стол поставили прямо княжескую. Верно тебе говорю. Никого из тфокотлей Наго еще с таким почетом не принимал. Почему это?

— Похоже, нужен я им,— усмехнулся Ахмед.— Я ведь для них не только тфокотль, но и лекарь, а родовитые тоже, случается, болеют, ломают себе кости... Давай-ка, Хагур, свернем к лесу — там протекает речушка. Напоим коней, стряхнем с себя дорожную пыль, умоемся и отдохнем немного, да и необязательно нам ехать в такой зной — схлынет жара, и по прохладе приедем к Дзепшу... Правда, боюсь, как бы парень, не дождавшись нас, не снял повязку с руки. Горячий! Мне кажется, он ничего на свете не боится, но, если только снял повязку, я ему покажу, хотя он и хозяин в доме, а я лишь гость.

— Как он может снять, ведь ты предупреждал, что это может кончиться для него бедой!

— Шепаковы давно занимаются лечением людей, и скажу тебе, что я никогда не видел и от отца не слышал, чтобы человек сам себе сломал руку. И все-таки, если бы Дзепш не был таким мужественным человеком, навек остался бы сухоруким.

— А теперь, думаешь, рука у него будет крепкой?

— Не думаю, а знаю — будет крепкой.

Хагур помолчал, а потом задумчиво сказал:

— Помнишь, Бечкан тогда рассердился на Дзепша за его горячность? Мне кажется, он был прав, что отчаянность и мужество — это не одно и то же. Бечкан хочет помочь парню стать настоящим мужчиной, сильным и мудрым. Ему ведь еще нет и двадцати четырех, у него все впереди. Надо попридерживать его. Ты сказал, он ничего не боится. Это тоже не совсем хорошо, на свете много такого, чего надо остерегаться.

— Ты прав. Бечкан верно сказал: Мамруко силен и коварен. Дзепшу надо опасаться его, быть очень осторожным. Да ведь и не один Мамруко такой на адыгской земле — их целая шайка, с которой одному не справиться, будь ты хоть семи пядей во лбу. Шайку эту поддерживают многие из князей и уорков, она связана с торговцами из Турции. У этих людей нет ни чести, ни совести, ни родины, они похожи на колючую, занозистую траву перекати-поле.

Кони почувствовали близость воды и зашагали веселее; они раздували ноздри, вдыхая прохладу, которой уже явственно тянуло из леса.

Когда зашла речь о Мамруко, Хагур вспомнил слова Тхахоха о том, что Мамрук и Наго что-то говорили о нем, Хагуре. Может быть, затевали и против него что-нибудь? Надо остерегаться, у этих шайтанов столько подлости и коварства, что ее хватит на сотни людей.

«Но как Тхахох мог услышать их разговор? Они хитры, как старые лисы, и осторожны, как шакалы. Да и не замечал я,— размышлял Хагур,— ничего подозрительного, а вот не задумала ли какую-нибудь каверзу Дарихат, не хочет ли она продать Акозу? Эта баба подлостью не уступит самому Мамруко. Зла у нее — как у ста шайтанов. Грызет девчонку день и ночь, не-

навидит ее лютой ненавистью. Как бы она не сделала с Акозой чего-нибудь. Но пусть только попробует, я превращу в прах их дом, все их осиное гнездо. Запалю такой огонь, что ярость его не уступит шеретлуковской».

Хагуру вспомнились дни, когда он сопровождал Дарихат к ее брату. Они тогда часто виделись с Акозой, о многом разговаривали, и он был так счастлив, словно они уже вместе, словно живут одной жизнью, простой, светлой...

Из-за высокой травы неожиданно выглянула речушка. Она неторопливо бежала по лугу, будто отдыхая от томительного бега в ущелье, от прыжков с камня на камень.

Речушка была небольшая, но у леса разливалась глубоким плесом. Вода там была почти неподвижной и темной, как бывает темным и бездонным вечернее небо. Высокие буки гляделись в зеркало плеса, на самом краешке берега кудрявились кусты чернотала. Желтые кувшинки и белые лилии выглядывали из темной воды, будто только что поднялись из глубины и удивились белому свету.

Всадники миновали плес, нашли брод и переправились на ту сторону к старому дубу, возвышавшемуся над всем лесом.

— Вот и побудем в гостях у этого дедушки,— с улыбкой сказал Шепако.— Хватит здесь и прохлады, и мягкой травы, чтобы полежать. А лошади попасутся на полянке. Посмотри, Хагур, какая она красивая, ну прямо как юная девушка. А? Как ты думаешь?

Хагуру показалось, что цветущая полянка и в самом деле напоминает девушку. Акозу, конечно...

Ахмед стал раздеваться, собираясь искупаться. Хагур отошел в сторону, за куст чернотала и разделся там: не надо смущать наготой старшего человека, да и на обнаженное тело другого тоже грешно смотреть.

Оба плавали легко и красиво, широко взмахивая руками. Их бритые влажные головы словно светились над водой. Вдоволь накупались, наплавались.

Сначала из воды вылез Ахмед, оделся, и уж потом — Хагур.

— Валлахи, Ахмед, какая хорошая речка! У нас, в Шапсугии, нет таких. Вода никуда не спешит, не крутит тебя. И такая теплая, будто на дне печка подогревает.

— Мне тоже темиргойские и бжедугские речки нравятся. В шапсугских и абадзехских не поплаваешь в свое удовольствие. Вода в них такая холодная, что кажется колючей,— говоря это, Шепако вынул из ножен кинжал и, зажав большим и средним пальцами ноги ремень, стал наводить лезвие.

Закончив эту тонкую работу, Шепако попросил Хагура хорошенько побрить его.

Хагур орудовал кинжалом, как заправский брадобрей бритвой, быстро и ловко снимая белую мыльную пену вместе с черной щетиной.

Потом Ахмед умылся и сказал Хагуру:

— Садись и держи повыше голову... Ты у нас холостой, а в Темиргойе много красивых девушек, и как знать — может, отсюда возвращаться будем уже втроем...

Хагур смущенно улыбался.

После бритья они сели за еду. Достали из сылыка[1] вяленое мясо, сыр, лепешки и бурдюк с айраном. И только все это разложили на полотенце, разостланном на траве, услышали ржание своих лошадей.

На поляну выехали два всадника — Мамруко и Макай. Они приблизились к старому дубу.

— Откуда вы здесь взялись? — спросил Мамруко, не слезая с коня, не приветствуя, как того требовал обычай, встреченных.

— Ждем, когда Мамруко и Макай поздороваются,— глядя исподлобья, ответил Ахмед.

— Неужели это Ахмед Шепако? Приветствую тебя, приветствую! — воскликнул Мамруко. — Валлахи, не узнал одного из достойнейших мужей Натухая! Разве я могу не приветствовать тебя?

Мамруко спешился, за ним — Макай.

— Валлахи, Мамруко! Вот уж не ожидал нашей встречи на этой земле! — ответил, поднимаясь, Шепако. — А ты все молодеешь. Старость обходит тебя стороной. Наверно, боится, не хочет с тобой связываться.

— Ой-ей, Шепако, не говори так!.. В жизни часто бывает: думаем, что наслаждаемся, а на самом деле губим себя. Я не гоняюсь за этими самыми наслаждениями, веду суровую мужскую жизнь... А спутника твоего я тоже, кажется, где-то встречал. В Абадзехии или в Шапсугии? Забыл, совсем забыл. Слабеет память, а ты, Ахмед, говоришь, будто я молодею.

— Ты меня видел, Мамруко, и не один раз, и странно, что не узнаешь,— ответил Хагур. — Должно быть, у тебя и в самом деле слабеет память. Макай намного моложе тебя, но тоже почему-то не узнает меня. Ну куда это годится — в такие молодые годы память терять...

— Мамруко, почему ты разрешаешь так много болтать шеретлуковскому тфокотлю?— вспылил Макай.

— Эй, что с тобой, Макай! — прикрикнул Мамруко. — Как ты можешь шуметь в присутствии достойнейшего Ахмеда Шепако! Верно, верно, Хагур, слабеет моя память,— согласился он. — Я и в самом деле встречался с тобой несколько раз. Это, Макай, один из лучших тфокотлей Бастука... — объяснил он спутнику. — Как, с божьего позволения, поживают Шеретлуковы?

— Живут,— нехотя ответил Хагур. — Что им сделается.

— Добро пожаловать к нам! — пригласил Шепако. — Будьте нашими гостями.

[1] Сылык — походная сумка.

— Спасибо,— заторопился Мамруко,— но мы в пути.

— Мы тоже. Ну, тогда разъедемся с миром, пожелаем друг другу удачи.

Они расстались.

Шепако и Хагур приехали в Тезечхабль перед заходом солнца. Паренек, встретившийся им на окраине аула, указал дом Дзепша.

Во дворе было пустынно и тихо. «Неужели парень все-таки снял повязку и уехал?»— забеспокоился Ахмед.

Всадники спешились у ворот, привязали коней и направились, как полагается гостям, в сторону кунацкой.

И там — никого. Прохладно и чисто, во всем порядок, видна заботливая хозяйская рука.

Вскоре вошла пожилая женщина, мать Дзепша, Нефиль:

— С добрым прибытием, гости!

Мужчины встали ей навстречу. На приветствие матери ответил старший, Ахмед:

— Садись, сестра.

Она поклонилась, но садиться не стала.

— А где же твой сын Дзепш?

— Выехал со двора еще до обеда, сказал: «Скоро вернусь», и все нет... Должен вот-вот вернуться.

— А скажи, сестра,— обратился к женщине Шепако,— Дзепш снял с руки повязку или нет?

— Я не позволила ему снимать... Хотя рука и не болит.

Ахмед назвал себя и своего спутника. Мать очень обрадовалась гостям и ушла, чтобы принести им тазик с водой, приготовить еду.

— Видишь, Хагур, все-таки Дзепш хороший парень. Горячность у него пройдет, и он станет рассудительным мужчиной. Я в это твердо верю.

II

Весть о том, что у Дзепша гостит костоправ, быстро распространилась по соседним аулам, и на другой день Ахмеда попросили поехать к больной девушке, которая не поднималась с постели уже несколько лет...

Солнце едва выглянуло из-за дальнего леса, еще и осмотреться хорошенько не успело, а день уже обещал быть жарким. Похоже, это вчерашний зной вытеснил ночь и теперь надвигался на утро.

Деревья, немного отдышавшиеся за ночь, снова поникли листвой, предчувствуя жару. Куры забились под коны [1], притихли. И только подсолнухи повернулись к солнцу и смотрели на него

---

[1] Коны — зернохранилище, плетенное из прутьев, обмазанное глиной, под соломенной или камышовой крышей.

смело, вбирая тепло и свет,— они любят жару, если даже прошли хорошие дожди и напоили корни влагой.

Ахмеда увезли в соседний аул, и в кунацкой сидели только Дзепш и Хагур.

Дзепш оглаживал руку, с которой вчера Ахмед снял повязку, тихонько разминал занемевшие мышцы, пробовал шевелить пальцами. Они еще плохо слушались, но рукой он уже владел.

— Ахмед большой мастер. Посмотри, Хагур, если не знать, ни за что не скажешь, будто рука была дважды сломана. Век буду ему благодарен — моя жизнь принадлежит ему... Ну, не попадайся мне, Мамруко, поостерегись, Макай! Вот этими руками задушу обоих. Не успокоюсь до тех пор, пока эти два мерзавца не подохнут. Добрые люди мне спасибо скажут. Многих избавлю от страха.

Слушал Хагур горячие слова молодого парня, и на душе у него становилось нехорошо. Вон как Дзепш держит слово. Действительно удивительный парень. А вот он, Хагур... Когда Абатовы убили его отца, он не знал, надо ли давать клятву, надо ли рассчитаться за его смерть кровью его убийц. Просто поджег тогда их сено и убежал. Но разве это месть, разве убийцы только этим должны поплатиться? И теперь, слушая Дзепша, Хагур подумал: «Ничего, придет время, и я по-настоящему рассчитаюсь с ними...»

— Что верно, то верно: Ахмед если уж что сделал, то сделал,— произнес он, чтобы хоть немного отвлечься от тяжких дум.— Он ведь не только мастер своего дела, не только мужественный, но и очень мягкий, сердечный человек. Пока мы ехали, сколько раз он заговаривал о тебе, все беспокоился, не навредил ли ты, сняв повязку. Как будто это не ты, а он сам сломал руку...

— Значит, сомневался?..

— Нет, он не сомневался в том, что сделал, а просто беспокоился за тебя. Ведь парень ты горячий, мог снять повязку раньше времени и навредить себе. Ты молодец, что не ослушался его.

— Знаешь, Хагур, я бы ни за что не решился на это. Я верю Ахмеду, как самому себе, готов подчиняться ему, как отцу родному. Но в последние три дня было такое...

— Я так и подумал,— перебил Дзепша Хагур,— когда тебя не оказалось дома. Наверно, думаю, у парня какое-то важное дело. И потом, когда вернулся, ты был какой-то озабоченный. Должно быть, искал Мамруко и Макая?

— Как ты догадался?

— Догадаться совсем нетрудно: ведь только о них ты сейчас и думаешь. Они не дают тебе покоя.

— Правильно... Если бы не больная рука, я давно бы уж подстерег этих проклятых людьми и богом уорков. Я даже узнал, где они. Три дня и три ночи караулил их, пока они гостили в одном доме... Несколько раз хотел заскочить туда и

застрелить Мамруко. В упор, при всех. Но аул не простил бы мне такого нарушения обычая гостеприимства. Только одно это меня и сдерживало. А вчера они уехали, и я не решился ехать один за ними с перевязанной рукой. Ох, как хотелось мне снять повязку! Но побоялся, а вдруг мне станет плохо, вдруг рука подведет. Сегодня-то я вижу: все в порядке, рука хорошо срослась. Если бы знал, то и им бы отомстил, и Ахмеда не обидел.

— Ты правильно поступил, не поехав за ними в лес один. Это хитрые и свирепые волки, а ты еще так молод и неопытен. Аллах спас тебя от неверного шага.

— Обидно, что я потерял их след. Мамруко, несмотря на мою угрозу, все-таки гостил в соседнем ауле, он будто играет со мной. Но подожди!.. Спросил я уорка, у которого они гостили, куда отправились его гости, а он насмеялся надо мной: «Они,— говорит,— поехали к тебе, чтобы переломать и вторую руку».

— Вот ты говоришь, что Мамруко играет с тобой. А почему бы ему и не поиграть? Ведь ты один, а за него стоят все князья и уорки со своими байколями. Помни это хорошенько. И не торопись со своей клятвой. Сначала надо все хорошенько обдумать, посоветоваться со старшими друзьями, они у тебя есть,— строго сказал Хагур.

— Получается, они считают, что я и мизинца их не стою, что я мальчишка. Им вроде и дела нет до моей клятвы, будто они живут не на адыгской земле.

— Нельзя сказать, чтобы они тебя вовсе не боялись. Вчера они торопились, ехали сторожко. Значит, понимают, что опасность караулит за каждым кустом, что пуля может настигнуть. Ищи потом ветра в поле.

— Так вы их видели вчера? Где?

— Не горячись, парень. Мы сидели под старым дубом у плеса. Они подъехали, свысока посмотрели на нас, сделали вид, что не знают.

— И чего они хотели, о чем спрашивали?

— Да так, ни о чем... Ахмед назвал себя, и тогда Мамруко пустился ему льстить, а потом они сразу заторопились.

— В какую сторону направились?— допытывался Дзепш.

— В ту, откуда мы приехали. Перешли речку вброд и полем, полем. Да все быстрой рысью, словно боялись куда-то опоздать. Мне показалось, встреча с нами им очень не понравилась, что-то недоброе они почувствовали. Может, у них были планы, которым мы могли помешать? Уорк ведь сказал, что они поехали, чтобы расправиться с тобой. Одним словом, они направились в сторону Бжедугии, насколько мы могли видеть, а дальше, кто знает, куда поехали,— сколько ветров, столько и дорог, и все капризные.

— Куда же они поехали, куда? — Дзепш прошелся по комнате, потом снова сел и, усмехнувшись, сказал: Есть в нашем

ауле один плешивый тфокотль, который считает себя очень умным, а на деле просто хитрый дурак. Суетливый и пустоватый человек. Вечно куда-то спешит, будто делает что-то важное. А что? Никто не видел его дел. Перед всеми заискивает, готов перед тобой стать на колени, если ты ему нужен, а если не нужен, то переступит через тебя и не заметит. И враль несусветный. Спросил у него, куда, мол, едешь. Он скажет, однако тут же повернет в другую сторону. Что такое стыд, не знает. Всем говорит, у него есть мечта стать уорком. Но как он может это сделать, никто не понимает. Говорит: «Я все могу». Если можешь все, сказали ему, сложи нам песню про князей и уорков. Слуха у него никакого, но все-таки стал складывать. Смотрит, ничего не получается, нанял сказителя из дальнего аула. Запер его в своей кунацкой, кормил и поил, как самого дорогого гостя. Зарезал теленка, принялся за индюков, кур... Жил у него сказитель чуть не месяц, пока не съел все мясо и вдоволь не напился бузы. Песню все-таки сложил. Она понравилась хозяину, и он стал ее горланить по всему аулу. Люди сначала посмеивались, а потом тоже стали ее петь. Песня-то оказалась с подковыркой. Раскусили это и уорки с князьями, обиделись и этому плешивому дураку расквасили морду. Правда, кто бил, неизвестно. А к чему я рассказал эту историю? Да! Мамруко, как и этот дуралей, мог сказать, что едет в Бжедугию, и тут же свернуть в Кабарду. Попробуй теперь разыскать его...

— Разыщем, если понадобится: земля-то наша нам мать родная, а им мачеха!— и Хагур вдруг рассмеялся.

Дзепш удивленно пожал плечами: чего тут смеяться?

— А смеюсь я потому, что вспомнил: есть и у нас, в Бастуке, один, похожий на вашего тфокотля. Правда, наш не плюгавый, статный, у него такие густые волосы, что за папаху примешь. Он есть и пить не будет, лишь бы только у родовитого в гостях побывать. — Нахмурился Хагур. — К нашему несчастью, много среди нас таких. Они как прожорливые, но пугливые рыбы. Живут, стараясь нажраться досыта, угождают богатеям, ссорят тфокотлей, предают их. А князьям и родовитым тоже сочиняют хвалебные песни. Думаю, с Мамруко и Макаем легче справиться, чем вот с такими, потому что они среди нас, они вроде бы как мы. Враг, если он за твоим порогом, не страшен, страшись того, который сидит с тобой за одним анэ.

— Верно, Хагур. В твоих словах горькая правда... У нас говорят: уорки — это высокий плетень вокруг усадьбы князя, а тфокотли, которые благодаря своей подлости стали свободными,— это второй княжеский плетень, и он выше, крепче первого. Вот он-то нам и страшен больше всего. Так любил повторять мой покойный отец.

День близился к обеду, солнце кусало все злее. Духота становилась тяжелее.

Хагур снял белую войлочную шапку и вытер свежевыбритую голову широкой ладонью:

— Душно-то у вас как, просто дышать нечем.

— Да, у нас жарче, чем в Шапсугии. Летом земля Темиргойи похожа на раскаленную сковородку, хоть лепешки на ней пеки. И все-таки, как говорил отец, земля — наша радость. Вот ведь человек был удивительный: сколько горя видел он на родной земле, сколько обид перенес от своих же адыгов, а умел радоваться. Веселым человеком был.

— Счастливым был. Если люди могут радоваться жизни, даже когда бедны,— это счастливые люди. А мрачному, угрюмому и золото не поможет. Наоборот, богатство быстрее старит человека, оно разъедает его душу тревогой да злобой. Да, каждый любит свой край, радуется ему, даже в густой туман видит красоту своей земли. Хоть и жара у вас летом, а зимой бураны да снежные вьюги, ваша земля перед вами как на ладошке, и все вам видно на ней — и козни врагов, и любовь друзей... Мне очень понравилась ваша теплая речка. Как она называется?

— Псынэф. А мы ее и за речку не считаем. Вот Лаба — это река. Пойдем, Хагур, посмотрим на Фарз, а заодно и выкупаемся.

— А этот Фарз глубокий? Коня бы хорошенько выкупать, пусть бы поплавал.

Рассмеялся Дзепш:

— В Фарзе есть такие места, что и дна не достанешь. Пойдем. Все равно Ахмед раньше вечера домой не вернется.

Стояла такая пора, когда реки сильно мелеют, а иные и вовсе пересыхают, но Фарз, как всегда, был многоводен. Казалось, ему тесно в своих берегах, еще чуть-чуть — и воды его разольются по степи.

Они миновали место, где купались голышами мальчишки, и расположились под вербами — это было место для взрослых мужчин.

Сначала Дзепш и Хагур выкупались сами, вдоволь наплавались, а потом дали поплавать и лошадям. Те, высоко поднимая головы над водой, весело фыркали, ржали от удовольствия и плавали легко, будто вода — их родная стихия.

Друзья уже собирались идти домой, но вдруг к реке подъехал всадник. Он тоже собрался искупаться, но, увидев людей, отъехал подальше и стал раздеваться там. Снял шапку — голова его блеснула, будто хорошо начищенный медный котел.

Дзепш рассмеялся.

— Наверно, это тот самый тфокотль? — шепнул Хагур, садясь на коня.

— Угадал. Плюгавый Калар.

Они направились к аулу. Оттуда раздался душераздирающий мужской крик.

— А это еще что такое? — удивился Хагур.

— Уорк Ардан наказывает своего тфокотля. Он нашкодил, а теперь получает по заслугам. Мы только что его связали... — это пояснил плюгавый Калар. Он говорил, не скрывая своего презрения к несчастному, с чувством превосходства над всеми.

Хагур побагровел от гнева, но ничего не ответил плюгавому, молча повернул коня на крик.

Оказавшись у ворот уорка, Дзепш и Хагур увидели: на самом солнцепеке, у коны, был привязан мужчина, оголенный до пояса; его облили кислым молоком, смешанным с медом,— мухи, пчелы, осы облепили все тело.

— Боже милостивый, что за зверь этот уорк,— сцепив зубы, проговорил Хагур и, развернув коня, кинулся к несчастному. Выхватил кинжал и перерезал веревки, которыми тот был связан. Тфокотль сразу же бросился бежать к речке.

Уорк Ардан вышел на террасу:

— Эй! Что там происходит? Кто вмешивается в мои дела?! Убирайся вон со двора!.. А-а, молокосос! — злобно пригрозил он Дзепшу. — Ты становишься еще хуже своего отца, но погоди у меня!.. А ты кто такой?! Как смеешь?.. — уставился он на Хагура налитыми кровью глазами.

Хагур, подъехав к веранде, гневно и твердо сказал:

— Тебе незачем знать мое имя. Но если я узнаю, что ты опять над кем-нибудь из тфокотлей будешь вот так издеваться, знай, что я не только из Шапсугии, но и с края света явлюсь сюда. И кара моя будет жестокой! Ты уже и сейчас заслужил ее, но на этот раз я не стану тебя наказывать, может, одумаешься и не станешь больше чинить произвола.

Уорк словно онемел — он не мог произнести ни единого слова.

Дзепш и Хагур покинули двор, сопровождаемые одобрительными взглядами людей, собравшихся на крик тфокотля.

III

Как только опустился вечер над Тезечхаблем, духота начала постепенно отступать, прятаться в свои потаенные, никому не ведомые места.

Ветер, обычно утихавший в это время, внезапно задул, прогоняя зной. Ленивая, смуглолицая жара, казалось навеки уснувшая в ауле, уходила, потягиваясь, дремотно позевывая.

Звезды так ярко светились в потемневшем небе, будто глядели и не могли наглядеться на Темиргойю, страну князей, уорков и тфокотлей, будто завидовали людям, которые здесь живут, дышат, могут любоваться солнцем, зеленью лесов и цветением лугов и которые все одинаково счастливы...

Хагур и Дзепш, ожидая Ахмеда, сидели во дворе на скамейке и беседовали. К ним присоединились двое тфокотлей.

— Валлахи, гость! Наш край мало чем отличается от вашего,— ответил тфокотль по имени Амзан на вопрос Хагура. —

У вас нет князей, но зато есть родовитые. Они так же, как и наши князья, помыкают вами, а вы послушны им, как и мы. Мы, адыги, все одинаковы, хоть из нас одни живут в горах, другие на равнине, а третьи в лесных долинах.

— Не скажу, что в этом нет правды,— удрученно покачал головой Хагур.— Я знаю только одно средство борьбы с родовитыми и уорками: мы должны сомкнуть наши руки, проявить свое мужество, иначе они растопчут нас копытами своих коней. Нас больше, на нашей стороне сила, а справедливость нам даровал сам аллах... Есть такой тфокотль Тамбир. Аллах всемилостивый, сколько над ним измывался князь Шерандук с уорками, сколько гонял его по лесам и горам! Кроме того, Шерандук пообещал принести жене в подарок голову Тамбира. И хотя тот сейчас живет в Абадзехии, он не оставляет его и там... Вы думаете, надломился, сдался Тамбир? Нет, я даже думаю, что князь скорее лишится головы, чем этот тфокотль. Тамбир был один, а теперь у него есть друзья. Много друзей, которые не пожалеют себя, чтобы помочь другу и постоять за справедливость. Пусть будет так и у вас. Тогда Ардан не посмеет чинить над вами такого произвола, какой учинил сегодня...

В долгой и горестной задумчивости молчали тфокотли, не зная, что сказать гостю.

Заговорил Амзан:

— Гость, а гость! Верно ли говорят, что у вас на холме Сэбэр раз в году собираются ведьмы?

— И я слышал,— подхватил другой тфокотль, довольный тем, что удалось оставить неприятный и тяжкий разговор,— будто они там семь суток ведут разные беседы, а потом затевают дикие пляски и воют страшные песни.

— Рассказывают,— продолжал Амзан,— днем ведьмы принимают обличье людей и живут вместе с простыми смертными в аулах, а по ночам вылетают из домов через дымоходы и творят свои колдовские дела. Не знаю, верить или нет, но люди поговаривают, будто наш плюгавый Калар связан с ведьмами, будто они даже приглашают его к себе на шабаш. Такой праздник у нечистой силы бывает раз в году.

— А я и не сомневаюсь в этом. Плюгавому только там и место.

— Послушай, гость, а простому человеку, правоверному, нельзя побывать на этом самом шабаше? Побывать да именем аллаха всемогущего и пугнуть их. Как ты думаешь? — спросил Амзан, и глаза его загорелись не то суеверным страхом, не то любопытством.

— Думаю,— заговорил Хагур,— ты каждый день бываешь на таком же шабаше, когда имеешь дело с князьями или уорками или вот с такими плешивыми. Ну и попробуй — пугни их именем всемогущего аллаха. Думаешь, поможет? Нет, им надо что-нибудь покрепче.

«Ишь ты, опять свернул на свое»,— подумал Амзан и продолжил:

— А как у вас насчет русалок в Шапсугии?

— Нет у нас русалок, потому что вода в наших реках для них слишком холодна, а водовороты такие, что кости переломают кому угодно.

— А у нас в Фарзе есть русалка. Красивая. Я видел ее.

— Не может быть! — возразил Хагур.

— Говорю, своими глазами видел. Она сидела на коряге и, когда услышала топот копыт моего коня, убежала. Только почему-то не в воду, а в лес. У меня ноги затряслись, хотя я и сидел на коне. И конь захрапел, на дыбы поднялся. Ну я, конечно, кинулся назад. Кому охота ослепнуть от ее колдовской красоты. А через месяц ее видел в верховьях реки один тфокотль. По его рассказу, у нее длинные черные волосы, стройное девичье тело и неописуемой красоты лицо — я точно такую видел. Не могут же двое, не сговариваясь, рассказывать одно и то же.

Дзепш как-то насторожился и спросил у Хагура:

— Как ты думаешь, почему русалка убежала не в воду, как ей полагается, а в лес?

— Валлахи, не знаю, почему она так поступила.

— По-моему, она прячется в лесу и потом следит за тем, кто ее видел,— сказал Амзан.

В это время раздался голос муэдзина, и все разошлись, чтобы совершить дома омовение, а затем идти в мечеть на молитву.

— Надо бы и нам сходить в мечеть,— обратился Дзепш к Хагуру,— а то наши тфокотли обидятся: что это у Дзепша за гость, который не молится аллаху? Подумают, что гяур... Мы, конечно, могли бы помолиться и дома, но лучше, если нас увидят в мечети.

— Пойдем обязательно,— успокоил Хагур. — Я знаю, если мы не совершим намаз, то потом хозяину достанется от аульчан, сделают его посмешищем. Тут уж адыги не жалеют ни себя, ни гостя. Шапсуги не сразу приняли мусульманство, но сейчас, я вижу, и они довольно усердно молятся аллаху. Особенно родовитые — строят мечети, сами туда ходят и детей водят. Еще бы — они считают аллаха своим первым защитником. И муэдзины, и эффенди тоже на их стороне. Однако и тфокотли пьют воду не носом. Вместе с аллахом они чтут и своих древних богов. Я не очень-то ярый мусульманин, но с той поры, как Наго прогнал тфокотлей из мечети, стал ходить туда чаще. Понял: чем чаще собираются вместе тфокотли, тем лучше. Там можно рассказывать о своих горестях, посоветоваться друг с другом. Это очень хорошо. А то ведь мы жили каждый в своей норе — от этого мало толку. Родовитые щелкали нас поодиночке, а тут видишь, что произошло: Наго обидел нас всех сразу, и мы на него все сразу обиделись. Может быть, это и есть наш

первый шаг к тому, чтобы мы были ближе друг к другу, а молитва... Можно помолиться аллаху, а потом своему старому богу.

— Как ваш эффенди, хорошо знает свое дело? — спросил Дзепш.

— Мне на это трудно ответить. Что он там бормочет, верно или неверно правит службу — не знаю. Он бормочет, а мы, как попугаи, повторяем вслед за ним непонятные слова. Из Анзаура такой же эффенди, как из меня великий князь. Он месяц поучился в Крыму в медресе — так это, кажется, называется — и теперь зарабатывает себе на хлеб. Но если говорить всерьез, то Шалих находится меж двух огней: хочет и тфокотлям услужить, и родовитым, а вот как насчет аллаха... Не знаю. Возможно, потихоньку на всякий случай он и сам молится старому богу.

— Это ты верно сказал,— согласился Дзепш. — Наш эффенди красиво ведет службу, но, по-моему, сам не верит в то, что говорит,— просто зарабатывает на хлеб... Может быть, ты слышал историю о том, как один тфокотль из Еджерукая посрамил эффенди? Об этом сейчас рассказывают во всех наших кунацких, когда хотят повеселиться, перемыть косточки служителям аллаха. У этого тфокотля была ученая сорока. Умница такая. Однажды хозяин увидел ее на спине какого-то приблудного буйвола, забредшего к нему во двор. Обрадовался тфокотль, подумал: валлахи, моя сорока хочет отблагодарить меня за добро, которое я делаю для нее каждый день, вот и пригнала мне буйвола. Минуло два дня, к тфокотлю пришел хозяин: «Мой буйвол забрел к тебе случайно, вот я и пришел за ним». — «Нет в моем дворе твоего буйвола, это какой-то наговор. Моя сорока, правда, пригнала во двор буйвола, но ведь он не твой, а ее». И хозяин ушел ни с чем.

Вскоре к владельцу сороки пришел эффенди, которому пожаловался хозяин буйвола. Тфокотль обрадовался: «Сейчас я проверю, насколько справедлив и мудр наш эффенди, посмотрю, сходится ли у него слово с делом».

«Послушай, правоверный, на тебя есть жалоба, приходи завтра к мечети,— говорит эффенди,— я разберусь во всем». И разобрался. Хозяину буйвола он заявил: «Тфокотль не украл у тебя животное, не отнял; буйвола пригнала божья птица, это значит, он дарован тфокотлю аллахом. Так что не гневайся, и да вечно пребудет с тобой доброта и справедливость всемогущего аллаха, пусть твое сердце умилостивится его великой милостью».

На другой день тфокотль, владелец сороки, наполнил тарелку буйволиным пометом, обмазал сверху коровьим маслом и понес эффенди. Тот встретился ему на улице. «Эффенди,— сказал тфокотль,— в знак признательности за справедливость я принес тебе первую тарелку буйволиного масла. Ешь на здоровье». — «Хорошо,— ответил эффенди,— отнеси ко мне

домой». — «Нет, многоуважаемый, ты сначала отведай, а потом отнесу». Эффенди всей пятерней загреб из тарелки и отправил в рот... и тут же начал плеваться: «Поганец, что ты со мною сделал? Заставил есть помет!» Тфокотль ответил: «Э-э, уважаемый эффенди, ты отведал его раньше, когда несправедливо отдал мне чужого буйвола. Так что теперь приятного тебе аппетита». Сказал так и отвел буйвола хозяину.

— После твоего рассказа можно ли нам идти в мечеть? — спросил Хагур, вдоволь насмеявшись. — Хорошо проучил тфокотль бессовестного эффенди. У-у, об этом надо рассказать всем. И я обязательно расскажу своему другу Анзауру, новоявленному эффенди... А в мечеть все-таки надо сходить.

Мечеть здесь была, как и всюду, простенькая, но, как положено, с ковром и циновками.

Дзепш оделся во все чистое, собираясь на молитву.

И эффенди в мечети выглядел празднично, в белой чалме, с подстриженной окладистой бородой. Одухотворенно подняв глаза к потолку, он торжественно помолчал, словно обращаясь мыслями к всевышнему, и неторопливо начал молитву.

Правоверные, стоя на коленях, истово молились, и хотя молитва была одна, каждый обращался к аллаху по-своему, о своем просил его.

Рядом с Хагуром стоял с набожным видом уорк Ардан. Как он очутился рядом? Случайно или специально так встал?

Нет, наверное, случайно, потому что, опускаясь на колени, заметил Хагура и вздрогнул то ли от неожиданности, то ли еще отчего.

Вздрогнул, исподлобья взглянул на своего нежданного соседа и поморщился, словно от зубной боли.

Хагур усмехнулся.

Ардан только насупился в ответ... А после намаза тут же исчез, как будто его и не было.

Около мечети Хагур увидел плюгавого Калара. Он стоял с тфокотлями и походил на пса, который ко всему принюхивается. Даже нос у него, как показалось Хагуру, на глазах удлинялся и как-то смешно шевелился, поворачиваясь в разные стороны.

На гостя никто не обращал особого внимания, хотя кое-кто бросал на него украдкой взгляды. Хагур понял: им интересуются, о нем уже кое-что знают. Должно быть, слышали о его столкновении с уорком Арданом...

Когда друзья вышли из мечети, стояла звездная ночь. Дзепш произнес со смехом:

— Знаешь, Хагур, что мне только что сказали? Тфокотли спросили, не этот ли твой гость привязал уорка к коню?

— А мне сказали,— поддержал разговор парень, шедший рядом с Дзепшем,— будто Хагур гнал Ардана до самой речки и чуть не истоптал его конем, будто уорк только тем и спасся, что бросился в воду.

— Вот повезло Тезечхаблю! — воскликнул Дзепш. — Теперь недели на две хватит разговоров об этой истории. Если появишься, Хагур, здесь недельки через две, услышишь такие небылицы, что покажешься себе сказочным богатырем — косая сажень в плечах, волшебный меч в руках, у коня огонь из ноздрей пышет. Сказители наши о тебе настоящую легенду сложат. А Ардану теперь хоть сквозь землю провались от стыда... Но удивительнее всего, что вы очутились в мечети рядышком. Как это произошло?

— Валлахи, сам не знаю,— ответил Хагур. — Когда появился эффенди, все уорки кинулись вперед, поближе к нему, ну и меня подтолкнули,— рассказывал Хагур. — И вышло, будто обещание, которое я дал Ардану, превратилось в клятву у самого корана... Пусть теперь подрожит, если верит аллаху и его всемогущей силе.

Смеялся и Дзепш.

— Ты посмотрел бы, как удирал от тебя Ардан! И все плевался, бормотал что-то, наверно, обращался к аллаху со своей просьбой.

— На его месте,— сказал тфокотль,— я бы не стал больше ходить в мечеть, где он так осрамился, молясь рядом со своим обидчиком.

— Не беспокойся,— возразил Дзепш,— у уорков буйволиная кожа, ее палкой не прошибешь. Да к тому же какой-нибудь Калар с его подлым языком позор Ардана превратит в доблесть. Но ничего, мы ведь тоже не немые, будем рассказывать правду.

Тфокотль проводил Хагура и Дзепша до самой калитки и распрощался.

Ахмед еще не вернулся, и Дзепш забеспокоился: не случилась ли с ним беда? А может, Шепако решил остаться на какое-то время в том ауле?

— Нет,— сказал Хагур,— Ахмед человек твердый и верный. Раз уж он приехал к тебе в гости, то и будет твоим гостем, не беспокойся. А далеко этот аул, куда его повезли?

— Нет, недалеко... Видно, что-то задержало Ахмеда, понадобился там кому-нибудь.

За стеной послышались шаги. Открылась дверь — и в кунацкую вошел Калар:

— Да будет добрым ваш вечер! Я забежал на минутку. Хочу поприветствовать твоего гостя, Дзепш. — И, сложив руки на груди, угодливо склонился.

— Садись, раз пришел,— пригласил Дзепш, пододвигая Калару стул. — Спасибо, что уважил моего гостя.

Калар присел на краешек стула, как-то сгорбился, потирая руки, странно ухмыляясь.

— Валлахи, я побеспокоил вас, уж вы не сердитесь на меня... А пришел я... Хотелось сказать несколько слов Хагуру: сегодня ты, дорогой гость, защитил несчастного тфокотля, с

которым так жестоко поступил Ардан. От имени всех тфокотлей Тезечхабля хочу поблагодарить тебя, мужественный и справедливый Хагур. Вох-вох, как ты облегчил мне душу! Уорк Ардан дрожит от страха, думаю, теперь он не посмеет обижать нас. Если бы у нас не было таких защитников, как ты, горе бы нам, горе горькое, уорки стали бы запрягать нас в телеги вместо волов. Сказать спасибо тебе, Хагур,— только за этим я и пришел.

— Послушай, Калар, я не совсем понимаю тебя... — глядя на тщедушного тфокотля, сказал Хагур.

— А чего тут не понимать, счастливый гость? — и глазки у Калара беспокойно забегали. — Мы считаем тебя своим защитником и благодарны тебе...

— Ведь на речке ты говорил совсем другое, хвастался, что связал несчастного тфокотля,— укоризненно покачивая головой, заметил Хагур.

— Забудь, забудь мои глупые и постыдные слова, дорогой гость, прошу тебя. Я не связывал, а только держал несчастного — уорк приказал. Он замахивался на меня плеткой, даже раз ударил. И молоком этого беднягу я не обливал, только принес молоко и мед, только принес, но не обливал... Я должен сказать тебе, что покойный отец Дзепша был моим добрым другом. Мы с ним очень дружили. Пусть ему на том свете будет сладко, пусть будет милостив к нему аллах. Я ничего не сделал дурного, счастливый тхаматэ, а те глупые слова на речке — считай, что их не было. Беру аллаха в свидетели, счастливый тхаматэ..

Дзепш с трудом сдерживал себя — ему хотелось выбросить этого слизняка из кунацкой, но если в твоей кунацкой гость, ты не должен его оскорблять, если не хочешь опозориться на весь аул. И неизвестно, чем бы все это кончилось, но в кунацкую вошел Ахмед Шепако с тфокотлями из соседнего аула.

— Да будет добрым ваш вечер! — приветствовал всех Ахмед. А потом, глядя с улыбкой на Хагура, сказал: — А ну-ка, признавайся, мой друг, ты гостить приехал в Темиргойю или воевать? О твоем поступке в Тезечхабле уже говорят не только здесь, но и в соседнем ауле.

IV

Увидев чабана, бежавшего с ярлыгой на плече, Шепако попридержал коня:

— У этого человека какое-то дело к нам.

— Это чабан уорка Ардана. Мне кажется, его-то ты и освободил от пытки,— сказал Дзепш. — Верно, он самый.

Тем временем чабан подбежал к всадникам:

— Счастливой вам дороги, счастливые тхаматэ!

— Спасибо, мой младший брат,— ответил Шепако.

Чабан был высок ростом, строен и крепок. Лицо загорелое, обветренное, будто иссеченное дождями. В нем чувствовалась сила, а в глазах — ум. Брюки старенькие, заплата на заплате, рубаха ветхая, исхлестанная ветрами, выжженная солнцем. Пестрым куском какой-то ткани была заплатана и войлочная шапка. Она с трудом держалась на его крупной голове. Кожаные чувяки покоробились, словно были сделаны из коры старого дерева. А вот добротно выструганная ярлыга выглядела оружием.

— Я с позавчерашнего дня пасу здесь у дороги овец,— сказал чабан,— поджидаю вас... Кто-то из вас, счастливые тхаматэ, выручил меня из беды. Он мой защитник. Я хотел бы знать имя этого человека, чтобы благодарить аллаха за него, молиться, просить ему счастья.

— Хагур его имя,— ответил Ахмед. — Он из Шапсугии, один из тфокотлей Бастука.

— Спасибо, старший брат, никогда не забуду того, что ты сделал для меня. Помнить буду твою доброту и мужество и рассказывать о них всем — это единственное, что могу сделать для тебя.

— А тебя как зовут, младший брат?

— Валлахи, счастливый тхаматэ! Не знаю даже, как и ответить,— чабан озадаченно почесал затылок, потоптался: — Не помню, чтобы у меня было имя. Уорк Ардан зовет «Эй!..» И другие так же. Если можете считать это именем, значит, так и зовите.

От слов чабана сердце Ахмеда больно сжалось, хоть ничего нового он не услышал. Куда ни поедешь, в каждом уголке земли адыгской встретишь вот таких безымянных тфокотлей. Живут они без роду и племени, проданные в работники за кусок сукна или мешок пшеницы. Живут, радуясь солнцу, боясь темной ночи, ожидая лета и страшась зимы.

«Мы едем сейчас на скачки в Канхабль, будем там веселиться, вместо того чтобы думать, как помочь нашим погибающим братьям»,— с горечью подумал Ахмед и сказал:

— Младший брат, тфокотль не называет тфокотля «Эй!». — Тут он спешился, застыдился, что разговаривал, сидя на коне, глядя сверху вниз: — Мы не можем эту кличку считать именем. Скажи, как зовет тебя мать?

Вслед за Ахмедом спешились и его спутники.

— Родом я не из этого аула. Не помню ни отца, ни матери. Я слышал, меня вроде бы из Махоша продали сюда уорку Ардану. Но что это за Махош? Только и помню: таких ровных да просторных, как здесь, лугов там не было. Думаю, родился я в горах. Иногда целыми днями смотрю в ту сторону, и, если горы бывают видны, тучи их не закрывают, так легко становится на душе... А на равнине тоскую. Во сне плачу, потому что снится: иду и никак не могу дойти до тех далеких гор.

— Если судить по твоим словам, тебя вывезли из Махошской стороны. Знаю я эту землю,— сказал Ахмед.

«По сравнению с этим парнем,— подумал Хагур,— я счастливый человек. Я знаю, на каком кладбище лежит мой отец, знаю, в каком ауле родился. Знаю и того, кому должен отомстить за свое несчастье. Никто еще не выкручивал мне рук, не обливал всякой дрянью. Какое несчастное и забитое существо этот чабан! Князья и уорки сделали его таким, а мы все виноваты, что позволяем так унижать своих братьев».

— Смотрю я на тебя, Махош,— сказал Хагур, сам не заметив, что назвал его Махошем,— вон ты какой богатырь! Но почему же ты терпишь такие унижения, почему позволяешь уорку издеваться над собой?

— Если бы Ардан был один, я растер бы его в порошок и развеял по ветру, но у него столько двуногих сторожевых собак, на всех у меня не хватит силы. Но рано или поздно я отомщу ему. Отомщу им всем! Еще раз благодарю тебя, старший брат. Не обижайся, что задержал вас в дороге. Счастливого вам пути!

— Не падай духом, Махош! — ободряюще улыбнулся Ахмед. — Ты силен, как барс, и крепок, как кремень. Кто тебя хватает за руку, того хватай за горло. Так поступаем мы, шапсугские тфокотли. Ты знаешь темиргойца Дзепша?

— Как не знать! Это тфокотль из нашего аула. Хороший парень!

— А коли знаешь, Махош, держись к нему поближе. Он из тех, кто не оставляет товарища в беде.

Всадники двинулись дальше, перед ними лежал далекий путь.

Крепостной парень, получивший теперь имя Махош, долго стоял у обочины, опершись на ярлыгу, и все глядел всадникам вслед. Он прожил двадцать один год, но не помнил, чтобы хоть раз люди с ним разговаривали как с равным, уважительно. Ведь они даже спешились перед ним! Ему показалось, будто их сила, их уверенность стали передаваться ему. Он почувствовал, что в душе его словно загорелся огонек. Он был еще робким, слабым, но он уже вспыхнул. И небо стало для него яснее, трава мягче и гуще, а далекие горы призывнее, ближе.

«Теперь я Махош! — с гордостью подумал он. — У меня есть имя. Спасибо добрым людям!.. А какое красивое имя — Ма-хош! Теперь я уоркам не позволю обращаться ко мне, как раньше, не буду откликаться, оглядываться... Ну попадешься теперь мне где-нибудь в лесу, паршивый Калар!..» И он вдруг запел о махошских горах, о солнце.

Подул ветерок, разгоняя духоту. Пробежал, будто на цыпочках, по зеленой траве, поиграл шерстью на спинах овец и кинулся, шумя, к реке.

Перестал петь Махош. Он сказал, что знает Дзепша, но сказал неправду. Он только слышал о нем. Говорили, что злые люди убили его отца, а самого связали и увезли куда-то. «Те-

перь он на свободе, значит, ушел из неволи? Выходит, сильный и мужественный человек. А иначе с ним не водились бы такие уважаемые люди, как эти всадники. Я не буду его сторониться, лишь бы он меня не сторонился.

...А путники тем временем ехали своей дорогой. Дзепш думал о Махоше:

«Крепкий парень. И честный. Если бы не был честным, стал бы прихлебателем у Ардана, сам крутил бы руки другим да сек плетью. При его-то силе! Но вот не стал сторожевой собакой уорка, не позарился на жирный кусок, который хозяин бросает за верную службу. Видно, правду отец говорил: «Пока сам не хлебнешь горя, не видишь его у других; пока самого не унизят, не поймешь боли и стыда униженного». Надо бы с ним подружиться...»

— Если хочешь иметь верного друга, Дзепш, не теряй из виду Махоша,— словно угадав мысли Дзепша, сказал Хагур.— Не выбирай себе друзей из довольных, сытых и удачливых. У них черствое сердце.

— Почему же,— возразил Ахмед,— если человек доволен солнцем и небом, если счастлив своими друзьями и если удачей обязан своему мужеству, почему он не может стать хорошим и верным другом? А ведь сейчас допустили ошибку... Знаете какую? Кто из вас догадается? — Дзепш и Хагур, похоже, не догадывались. — Э-э, друзья мои,— продолжал Ахмед,— если мы дали парню имя, то что обязаны сделать по нашим обычаям?..

— Валлахи! — воскликнул Хагур. — Мы должны были подарить ему рубаху. Но с рубахой он еще может подождать, а брюки совсем никуда не годятся. Где бы достать?

— Не знаешь? Вот чудак! Взвали на коня уорка Ардана да отвези его на побережье, там за него дадут отрез хорошего заморского сукна.

— Если кроме отреза еще и золотом доплатят, все равно не стану пачкать свою совесть,— ответил Хагур.

— Ну раз ты не хочешь продать Ардана,— пошутил, а потом погрустнел Ахмед,— тогда мы действительно не сможем подарить Махошу брюки. Лишних у нас с тобой нет, карманы пусты, купить не на что. А подарить надо, иначе мы нарушим добрый обычай, как же быть?

— И я об этом думаю,— ответил Хагур,— но ничего пока придумать не могу. Вот незадача!

— Если во всей Темиргойе для хорошего парня не найдутся брюки,— сказал серьезно Дзепш,— то чего тогда стоит наша земля, чего стоим все мы!.. Я продам своего коня и куплю Махошу рубаху и брюки. Пусть все знают, что этот парень не одинок.

— Молодец, Дзепш! Я знал — ты хороший человек, верный товарищ. Но и нас не считай плохими,— ведь обычай этот не только темиргойский, он у всех адыгов есть, а мы разве не адыги? Мы сообща дали ему имя и сообща должны добыть Махошу и рубаху и штаны...

У околицы аула Канхабль было много народу. Уже соревновались в джигитовке всадники. Играли в старинную игру шозех: всадники собирались группой и потом гнались за тем, у кого был кусок кожи. Тот, кто отнимет кожу, тот и победитель.

Шум! Гам! Свалка!

И хохот: кто-то оказался неловким и свалился с коня, кто-то хватал вместо кожи воздух, а кто-то, не зная, у кого сейчас кожа, метался как угорелый.

Дзепшу тоже захотелось попытать счастья. Он вопросительно взглянул на Ахмеда, тот кивком согласился — мол, попробуй, но не посрами нас.

Дзепш кинулся в гущу. Ему повезло: как-то вдруг, с лету он выхватил кожу и помчался прочь. Его кинулись догонять — с гиком, со свистом! Дзепш уже далеко оторвался от погони, но случилась беда — выронил кожу. Ее, конечно, тут же подхватил другой всадник и помчался к лесу. Догнать его было невозможно — пока Дзепш сообразил и развернул коня, счастливец был уже далеко...

Понурив голову, Дзепш подъехал к друзьям. В это время к гостям приблизился местный тфокотль.

— Молодец, парень,— сказал он хмурому Дзепшу,— ловко ухватил кожу, увел прямо из-под носа самых лучших наших наездников, но потом... Тут уж дело случая, а ловкость ты свою показал. Ну что ж, приглашаю вас посмотреть борьбу.

Тфокотль провел гостей через толпу в круг, где стояли два дюжих человека.

Началась борьба. Борцы долго ходили один вокруг другого, выбирая удобный момент.

На вид оба были сильны одинаково. Но один, со свежевыбритой головой, показался поухватистее. Это-то, по его мнению, должно было помочь ему победить.

Так оно и случилось: они сцепились, подобрались друг к другу поближе, и в какой-то неуловимый момент парень, понравившийся Хагуру, бросил соперника на траву.

Та же участь постигла следующего, который вышел навстречу победителю, поигрывая мускулами, показывая свою силу. Пока он красовался, ухватистый незаметно, хитро подобрался к нему и тоже ловко бросил его на траву.

Хохот раздался такой, что побежденному ничего не оставалось, как поскорее скрыться в толпе, которая перед ним расступилась.

— Люди, среди нас гости! — раздался возглас. — Пусть кто-нибудь из них померяется силой и ловкостью с нашим богатырем!

— Они что, пригласили нас сюда в гости или бороться? — весело спросил Хагура Ахмед.

— Если хозяева просят, можем и побороться. За нами дело не станет,— ответил Хагур и вышел на середину круга, встреченный одобрительными возгласами толпы.

Борцы схватились и, остерегаясь друг друга, долго топтались по траве...

Хагур, внимательно наблюдавший за приемами бритоголового, заметил, что он уложил своих соперников с помощью подножки. «Я-то не попадусь на этот крючок, а тебя на него поймаю». А бритоголовый, глядя на Хагура исподлобья черными горячими глазами, делал разные обманные движения, ловчился дать подножку. Хагур сделал вид, будто не замечает хитрости противника, но, как только бритоголовый выставил левую ногу, чтобы прибегнуть к приему, Хагур схватил его за правую и рывком бросил на землю...

Не обиделся бритоголовый, а дружески обнял гостя — дескать, молодец, гость, ты оказался достойным противником.

А в толпе разгорались страсти: уже кто-то кого-то подталкивал в круг, подбадривая, подзадоривал:

— Вот это парень, как он нашего!..

— Неужели у нас не найдется посильнее его?!

— Выходи, Исмаил, покажи-ка ему!..

Неторопливый, медвежеватый Исмаил поплевал в руки и грозно направился к Хагуру, но в это время со стороны уорков раздался голос:

— Дайте-ка мне померяться силой с шапсугом!

— Верно, пусть два гостя поборются!

— Уорк хочет бороться с шапсугским тфокотлем!

На сердину вышел Ардан.

Дважды видел Хагур этого человека — тогда во дворе и в мечети, но только теперь по-настоящему разглядел его и понял, что справиться с ним будет очень непросто. И не только потому, что громаден ростом и могуч Ардан, а и потому, что решил свести счеты с Хагуром и кипел от ненависти к нему. «Что ж, выходи, посмотрим, кто кого. Только не бахвалься, не пугай меня своим свирепым видом, я и пострашнее зверей видал».

— О люди! — воскликнул Шепако, выходя на середину. — Хагур — мой друг, и поэтому я ставлю такое условие: если он одолеет Ардана, тот оденет с ног до головы своего крепостного чабана. Ты согласен с моим условием, Ардан?

— Охотно принимаю твое условие, приехавший из Шапсугии... Люди, я буду бороться с гостем из Шапсугии, но, если я его поборю, он три дня будет пасти моих овец!

— Да будет так! — твердо сказал Хагур и шагнул навстречу Ардану, и они сцепились, казалось, намертво...

V

С той самой минуты, когда они распрощались с темиргойцем Дзепшем, Хагуру хотелось поскорее попасть в Шапсугию — он соскучился по своему аулу, а главное, у него было там дело, из-за которого он так стремился вернуться. Но когда находишься в походе, нельзя показывать своего нетерпения, надо

подчиняться порядку, иначе не жди добра... И Хагур крепился, старался, чтобы Шепако не заметил внутреннего нетерпения.

И все-таки ему было нелегко. Особенно долгим и нудным показался путь по Бжедугии, по ее болотистым землям, по густым лесам с колючими тернами и шиповником, с зарослями ядовитого борщевника. После дождей в горах Пшиз вышла из берегов, и переправиться через нее было довольно трудно.

Но вот наконец, миновав стрежень речки, кони ступили на твердую землю и вышли на берег, смыв с себя пыль темиргойских степей и сбросив усталость, они весело заржали, зафыркали. И всадники, освежившись в прохладной воде, приободрились. Ахмед стал даже что-то напевать.

В осиннике расположились на полянке. Высушили на солнце мокрую одежду, отдохнули и двинулись дальше.

Перелески, просторные луга с сочными цветущими травами, холмы и пади оставались позади.

Шаг за шагом, верста за верстой.

Солнце сопровождало их, поглядывая с вышины. Вот оно стало клониться к вечеру, собираясь на покой.

На косогоре двое всадников пасли стадо коров. Увидели пастухи незнакомых людей и торопливо погнали скот в лес.

— Вот чудаки, наверно, приняли нас за грабителей! А чего бояться? Их двое и нас двое, тут еще неясно, кто кого,— с насмешкой сказал Хагур.

— Не стоит их осуждать,— ответил своему другу Ахмед,— это чеченайцы. Они живут между трех огней. Справа — абадзехи, слева — темиргойцы, а за тем холмом — химишеевцы, вот они и привыкли опасаться любого, кто ни появится перед ними. Каждый по разу обидит, и то вон сколько обид будет, а если по два?.. Ты заметил, не только пастухи, но и скотина привыкла к осторожности — вон как коровы удирали в лес... Я сказал о темиргойцах, абадзехах, химишеевцах, но, конечно, не тфокотли разбойничают, а такие, как Мамруко, Макай, Ардан. Эти мерзавцы обижают чеченайцев, а дурная слава идет о всех темиргойцах, о всех абадзехах... Я побывал в разных странах и видел, как там живет народ: одни законы для всех, одна власть, а у нас — сколько племен, столько и законов, столько и властей. А властителям выгодно, когда племена ссорятся между собой, дерутся, хвастаются друг перед другом — в этой мутной воде богачам легко ловить рыбу. Неужели мы с тобой, Хагур, не дождемся того времени, когда вся адыгская земля станет единым государством? Возьми хотя бы Крым. Не бог весть какая большая земля, но одно ханство, один правитель, законы, порядки одни для всех. Хану подчиняются нуреддин, калга, орбей и три сираскира. Правитель посылает своих послов в другие государства. Турция с Крымом дружат. А мы... Враг посильнее запросто обидеть может при такой раздробленности. Живем будто птичка на вершине дерева — когда хотим, взлетаем и летим, куда ветер пошлет. Хотим — поем, хотим — пла-

чем, но никогда и никому до нас дела нет. Был бы у нас один правитель — может, Ардан и не чинил бы такого произвола, побаивался верховной власти, верховных законов... Даже у стада один хозяин — пастух. Он заботится, чтобы стадо было накормлено, напоено, чтобы не разбредалось. Может, я что-то не так говорю, но нет у нас должного порядка...

Хагур очень внимательно слушал Ахмеда, размышлял над его словами, а потом спросил:

— А скажи, какие порядки в Кабарде?

— Гм, в Кабарде... Разве там не адыги живут? Их князья тоже постоянно грызутся, каждому хочется быть самым сильным... Князья дерутся, а больше всего от их стычек достается тфокотлям. Говорят: «Ударь своего быка по рогам — и в лесу у оленя рога задрожат от боли». Но вот что я заметил: в Кабарде не очень-то считаются с Крымом, да и на Турцию не обращают особого внимания. С тех пор как великий русский царь стал их зятем, они больше надеются на Урыссию. Стали торговать с ней, советоваться по разным делам...

— Ты говоришь, царь Урыссии — зять кабардинцев? Вот уж не знал! — удивился Хагур.

— Был зятем...

— А теперь что, царь разошелся с кабардинкой, прогнал ее?

— Не сегодня это случилось. Говорят, двести лет назад великий князь Иуан был женат на Мерем, дочери кабардинского князя Темруко... Да ты что, и в самом деле не знаешь этой истории? — теперь уже удивился Ахмед.

— Откуда мне знать такое, если я на мир смотрю через дырки плетня Шеретлуковых. Да и то не каждый день. Случается, так закружишься, что некогда оглядеться вокруг. Крутишься, крутишься по двору, а дальше носа ничего не видишь. Недаром же говорят: «Твоя голова стоит столько, сколько видят глаза». Спасибо тебе, Ахмед, что взял меня в Темиргойю! Сколько я повидал разного и с добрыми людьми познакомился. Как будто расправил плечи. Честное слово!

— И уорка Ардана заставил поклониться! Ах, как ты красиво его положил!.. Валлахи, Хагур! Очень переволновался я в тот день. А ну если бы ты его не поборол? У-у, какой позор, хоть провались в черную пропасть.

— Когда мы схватились с Арданом,— рассмеялся Хагур,— я тоже об этом подумал. И силен же он! Два раза казалось: конец мне, еще чуть-чуть — и конец. Потом сообразил: он берет силой, а бороться не умеет. Тогда я и воспрянул духом. Применил самый простой прием и — раз его на землю! Заставил уорка поваляться в ногах. Будет он, собачий сын, помнить это. А разозлился, как он разозлился! Позеленел, как трава!

— А я почему-то не заметил, чтобы ты его боялся. Мне даже смешно было, когда огромный Ардан нависал над тобой, а ты был ему чем-то вроде подпорки, которая подпирает

виноградный куст. Все тфокотли стояли за тебя, уж как им хотелось, чтобы ты поборол ненавистного им уорка. А как они смеялись, кричали, поздравляли тебя! Да ради одного этого стоило ехать в Темиргойю. А сколько будет разговоров о твоем мужестве! И не беспокойся — не только в Темиргойе, а по всей адыгской земле заговорят. И знаешь, многие теперь подумают: «Стоит ли связываться с Дзепшем, если у него есть такой мужественный друг?» Ты ведь не один раз, а дважды поставил Ардана на колени. Первый раз у него же во дворе. Но главное — мы оседлали необъезженную лошадь, сделали доброе дело для нашего Махоша.

Слушая Шепако, Хагур подумал: «Заслуживаю ли я этой похвалы? Спасибо Тхахоху — это он научил меня хитрым приемам: делать быстрые подножки, заламывать назад руки противника и ловко бросать его на землю, даже если он намного тяжелее тебя. Глаз — дурак, может обмануть; тот, кто выпячивает грудь и похваляется силой, не боец, а хвастун. А сам-то Тхахох — худой, небольшого роста, вроде бы тщедушный, но если в кого вцепится — конец. Ловкий, гибкий — не ухватишься за него, выскальзывает из рук, будто форель. Как ему хотелось поехать вместе с нами, как он тоскует, когда один остается. И все думает об Акозе... Как живется-можется ей, несчастной? Эта Дарихат не дает девчонке прохода — шпыняет, оскорбляет, последними словами обзывает. Но погоди, уды[1], попадешься ты мне!..»

Кони шли неторопливо и спокойно — стало немного прохладней.

— Послушай, Ахмед, а ведь Ардан умеет держать свое слово — Махоша одел, как княжка.

— Не обманывайся на его счет. Просто ему было выгодно на виду у всех казаться честным. Он и из этого извлечет прибыль и внакладе не останется.

— Как жаль, что мы коня не добыли для Махоша! Надо бы такое условие поставить Ардану,— сокрушался Хагур,— ездил бы теперь парень на собственном скакуне.

— Ты, я вижу, не прочь и всю Темиргойю заполучить. Не будь жадным, а то и последнее потеряешь. Если бы речь шла о коне, то охотников побороться нашлось бы великое множество, попался бы парень половчее и посильнее и хлопнул бы тебя о землю. А зачем тебе пасти три дня овец Ардана? Мой совет: не бросайся в омут, не будь завистливым и загребущим, а то останешься без друзей.

Смутился Хагур:

— Просто мне хотелось, чтобы у Махоша был конь. Уж очень он славный парень, или, может, я ошибаюсь?

— Нет! Не ошибаешься, мне он тоже понравился. Я вот о чем думаю: не отберет ли Ардан у Махоша одежду? От него

---

[1] Уды — ведьма.

всего можно ждать: даст парню немного поносить, а потом отнимет.

— Валлахи, пусть только попробует, я с него шкуру сдеру!

— Ни одному из уорков нельзя верить...

От всего можно устать, даже от дружеских разговоров, и всадники замолчали.

Они спустились к быстрой и звонкой речке Пчаш. Напились ее холодной чистой воды. Переправляясь через нее, прямо на ходу, рукой зачерпнули воды, ополоснули лица, поднялись на крутой берег, долго ехали молча. Наконец Ахмед сказал:

— Что же ты замолчал, Хагур? Уж не устал ли?

— Да вот думаю о царе Урыссии, который был нашим зятем... Великий царь великой земли... а все же оказался непутевым: сам-то один правил, значит, понимал, что к чему. Так почему же для адыгов не подобрал сильного царя, не сделал нашу землю сильным, как это ты сказал, государством? А так мы кто в лес, кто по дрова...

— Царь Иуан, может, и хотел, да наши князья и родовитые воспротивились.

— А он бы их силой!

— Чудак! Для дела одной силы недостаточно. Смотришь, стоит большое крепкое дерево, а толкнешь его — оно и рассыпалось в прах: черви его изнутри съели. Не дурак был царь Иуан... И еще скажи: в одном улье могут жить две матки?

— Нет.

— То-то и оно. Зачем же царю в своем царстве еще иметь царя? Чего доброго, наш царь, если б он у нас появился, потом воспротивился и самому Иуану. А так он расправлялся с князьями поодиночке. Ему тоже выгодно, если князья ссорятся между собой. Каждый ищет у него защиты, каждый заискивает перед ним. Вот какие дела. Если мы сами не объединимся, никто из наших единокровных племен не сделает сильного государства... Э-э, хватит об этом. Накинь-ка лучше лестницу на дорогу.

— Валлахи, не знаю, что тебе и рассказать. Давай загадывать загадки?

— Это Бечкан любит загадки. У него их как песку на берегу моря... Ладно, давай загадки.

— Тебе начинать, счастливый тхаматэ.

— Я как старший разрешаю тебе начать. Давай.

— Хорошо... Волк, которого никто не съест...

— Скажу: огонь.

— Еще одну слушай: три чуда, которые невозможно сделать...

— В небо не закинешь лестницу и не поднимешься по ней. Раз. В решете воду не носят. Два. Масло не жарят на вилке — три.

— Теперь твоя очередь загадывать, счастливый тхаматэ.

— Слушай,— сказал Ахмед. — Ходит вместе с тобой, садится,

когда ты садишься, встает вместе с тобой, а позовешь — не слышит и не откликается.

— Тень.

— Правильно. А это что такое: хороший нюх, но не собака, хорошие крылья, но не орел...

Задумался Хагур, наморщил лоб:

— Валлахи, не могу додуматься.

— Тогда отдай мне весь Крым — это мой выигрыш. Ну, так и не догадался? Ведь совсем просто — пчела! И еще одну загадаю. На дне клад, а сверху золотые узоры...

— Е-во-вой! Какая хорошая загадка! Но где сейчас найдешь лилепс с куском мяса на дне?

— Теперь я вижу, ты проголодался! Хорошо бы к вечеру оказаться в какой-нибудь бжедугской кунацкой и поесть там как следует, но думаю, еще лучше — переночевать под звездным небом. И нам спокойнее, и кони побродят на лугу. Поедим вяленого мяса. Обойдемся сегодня без лилепса.

Глава девятая

1

— Эй, Хагур, подожди-ка,— окликнул тфокотль Арсей шагавшего вдоль берега речки Иль Моса. — Валлахи! Как хорошо, что я тебя встретил, а то пришлось бы бежать к тебе домой.

— Что стряслось? — забеспокоился Хагур, видя, как спешит к нему тфокотль.

— Ничего особенного не случилось. Просто старшие послали меня сказать, чтобы ты в обеденную пору ехал к старому дубу. Там сегодня будут давать клятву верности.

— Видно, понравилась людям наша клятва, если они и в этом году хотят поклясться.

— Дело не в том, что клятва понравилась... В прошлом году мы поклялись, и, знаешь, честное слово, легче жилось, будто с тобой все время кто-то рядом, и, значит, ты не одинок. Душе легче — не впотьмах идешь, не соринка, которую ветер треплет на дороге. Ты вместе со всеми.

Приятно было слушать Хагуру эти слова. Оказывается, зернышко, посеянное в прошлом году, проросло:

— Передай старшим: обязательно приду. А Тхахоху говорили?..

— Я говорил ему, но, если ты его встретишь, тоже скажи. Он обрадуется твоему приглашению. Я бы и сам еще раз сходил к нему, да противно видеть рожи Шеретлуковых, как они кривятся, когда во двор входит тфокотль. Али-Султан стал еще хуже отца — бросается на всех, как цепная собака. Недавно отстегал кнутом одного старика.

— Я слышал. Нет у Али-Султана ни стыда ни совести. И как ему не скучно жить с такой злобой! Я не помню, чтобы он когда-нибудь улыбался. Хмурится, хмурится все время и на людях зло срывает. Не знаю, чем это кончится. Думаю, ему же самому будет хуже. Злоба как камень: ударь им об стенку, он отскочит — и в тебя. Ну, иди, мне тоже надо торопиться. Погоню лошадей. Шеретлуковы едут сегодня к Хаджемуковым...

Хорошо, что Дарихат и Али-Султан уезжали в Бжедугию — в доме без них спокойнее, но они берут с собой Акозу, а это Хагуру не нравилось, скучать он будет по ней. Когда Акоза дома, даже если он ее и не видит, то все равно хорошо на душе, а если она уезжает куда-нибудь, он тревожится, все ему чудится беда: мало ли что может случиться с девушкой в дороге или в чужом краю...

Когда вершина Цепау порозовела от восходящего солнца, все уже было готово к отъезду — ждали только хозяев. Дарихат шумела, покрикивала на Акозу, потом все в доме стихло, будто вымерли все.

Осеннее утро было погожим и ласковым — хорошо в такое время отправляться в дорогу.

Двое джигитов уже сидели в седлах, сдерживая скакунов, которым не терпелось тронуться в путь,

Хагур томился ожиданием. Когда в доме все стихло, он подумал: может, у Дарихат хоть сегодня, в такое утро, будет получше настроение и она перестанет кричать на Акозу.

Дарихат шумно вышла из комнаты, но не злая, а веселая, даже добрая, спокойно сказала Акозе:

— Отнеси мои платья в телегу — пора нам трогаться, пока еще прохладно... Послушай, Наго, а не сесть ли нам с тобой вместе, в одну телегу, а?

Наго застыл в недоумении, оглянулся, испытывая неловкость, на Али-Султана.

И Акоза удивилась словам хозяйки, отвернулась, чтобы та не увидела ее усмешки.

«И что это придумала старая ведьма? — заволновался Хагур. — Не решила ли она и меня с собой взять? Вот было бы здорово!»

— Валлахи, дочь Наурзовых, не знаю, что это ты затеяла. Конечно, можно сесть и вдвоем...

— А что? Это будет приятно. А коня твоего пусть ведут в поводу. Дорога длинная, хоть поговорим с тобой немного. — И она села в телегу, хорошенько умостилась и стала ждать мужа.

— Валлахи, не знаю, дочь Наурзовых, что скажут люди, если я не верхом поеду, а в телеге. Нехорошо это.

Дарихат вспылила:

— Чтоб вам провалиться! И это мужчины! Всего боятся! Вечно им кажется, что не своя, так чужая собака обязательно должна их укусить... Ладно, садись верхом, а когда выедем из аула, пересядешь ко мне.

Наго успокоился, распрямился, словно с него мешок тяжелый свалился. Лихо вскочил в седло и дал знак трогаться.

Двинулись повозки, за ними верховые тфокотли, и, когда они скрылись из виду, отец и сын пустились им вдогонку.

Хозяева уехали, во дворе воцарилась облегчающая душу тишина. Кухарки позвали Хагура на кухню и накормили его добрым господским завтраком, благо теперь своя рука владыка, некого бояться.

Хагур ел и ждал Акозу, а она все не приходила: то ли Дарихат запретила ей выходить из своей комнаты, то ли еще что-нибудь?

Ждал-ждал, но так и не дождался. Пришлось доесть уже совсем остывший завтрак и уйти.

— Обедать сам придешь или привезти в поле? — спросила его кухарка.

— Могу и прийти, но лучше, если привезете, чтобы не отрываться от работы...

— Хорошо,— согласилась кухарка,— пришлем к вам Акозу. Пусть девочка хоть немного развеется, а то сидит целыми днями взаперти.

Нелегко было Хагуру дождаться обеда. Он шел за волами и все посматривал на солнце: скоро ли оно взберется наверх, скоро ли достигнет обеденной поры. «Не солнце, а ленивый вол, еле-еле тащится!» — сетовал он. А потом увлекся работой — жирная земля ложилась ровными черными бороздами.

Хорошо пахать землю, хорошо смотреть в синее небо и на белые вершины гор. И пусть половину урожая потом заберут Шеретлуковы (чтоб им подавиться!), пусть ночью ноет спина и болят руки, немеют натруженные ноги — пусть! Самое главное — это радость, которая наполняет тебя во время работы, когда чувствуешь себя сыном земли, а ее — доброй матерью, когда ты будто со всем белым светом воедино. И уже не чувствуешь себя одиноким на белом свете. Наоборот. Ты — это и есть сам белый свет, он — это ты, твое сердце, твои глаза, твои руки, твои песни и даже слезы. Земля ложится ровными, красивыми пластами, и ты живешь, и птицы поют, и травы благоухают.

Хагур смотрел на пахарей, и ему казалось: они испытывают то же самое, что и он.

Тхахох, небольшой ростом, худощавый, за плугом выглядел сильным, красивым.

«Эх, Тхахох, если бы ты знал, кто сегодня придет к нам в поле, кто будет кормить нас с тобой обедом!»

Пахал и пахал Хагур, забылся в работе и не заметил, как привезли обед, как расположились тфокотли на траве под старым дубом, и лишь когда позвали его, словно опомнился, распрямил усталые плечи и весело засмеялся: «Хорошо-то как, люди!» Но подошел он к дубу и не нашел Акозы, вместо нее привезла еду пожилая кухарка. Горячий был лилепс или холод-

ный, соленый или несоленый — он не понял. И лепешки были какие-то безвкусные.

Пахари пообедали и прилегли в тени отдохнуть. Кто закурил трубку, кто самокрутку, а некурящие сидели в сторонке.

Заговорил старший из тфокотлей:

— Мы решили сегодня дать совместную клятву верности. Раз мы веруем в бога, то должны быть верными и друг другу, только тогда и сможем спокойно и достойно жить. А вас, Хагур и Тхахох, мы пригласили потому, что вы и в прошлом году давали такую клятву. Нам кажется, что клятва помогала вам. Научите нас этой клятве, расскажите, как она помогала вам.

— Спасибо тебе, тхаматэ, спасибо вам всем! — сказал Хагур. — Спасибо, что оказали нам такую честь. Пусть обо всем расскажет Тхахох.

— Что ж, скажу; весь аул знает, как мы помогали друг другу, соблюдая клятву. Стараемся помогать друг другу в беде. И словом и делом. Вдовам и многосемейным помогаем чем можем: сеном, зерном, заготовить дрова. Мы старались жить как одна семья. И если бы все тфокотли поступали так же, родовитым неповадно было бы обижать нас... И еще я должен сказать: дать клятву нетрудно, а вот соблюсти ее — нелегко! И если кто-нибудь не надеется на себя, лучше не клясться, потому что нет страшнее греха, чем преступить клятву.

— Верно, Тхахох, говоришь!

— Мы собрались сюда не затем, чтобы говорить красивые, но пустые слова!

— Позор тому, кто отступится от своей клятвы!

Поднялся старший и сказал:

— Если кто-нибудь робеет, пусть отойдет в сторону. В этом не будет позора. Будем считать такого не слабым, а честным.

Никто не отошел в сторону.

— Тогда встаньте все и повернитесь лицом к солнцу,— продолжал старший и, когда все встали, повернулись лицом к солнцу и благоговейно затихли, торжественно заговорил: — Все мы собрались сюда с чистыми и честными помыслами. Я прошу тебя, о мое Солнце! Помоги нам исполнить желания, дай нам силу свою и доброту, и да будем мы, как ты, помогать всем и каждому. Аминь!

— Аминь! — повторили все, молитвенно сложив руки.

— Мы хотим жить одной дружной семьей. Помоги нам, о мое Небо!

— Аминь!

— О мое Солнце, о мое Небо, о мой аллах! Пусть ваше тепло и благословение охраняют всех нас, будьте нашими защитниками и нашей опорой!..

Эти слова повторили за старшим все, и от звуков слитных голосов задрожали листья на старом дубе.

— Кто нарушит клятву, пусть провалится в ад, пусть его позор станет вечным проклятьем всему его роду!

Снова слитно прозвучали слова клятвы, ни у кого не дрогнул голос, и твердость была у каждого в глазах.

II

Вот уже больше месяца прошло, как Анзаур Ахеджак вернулся из Бахчисарая, где он учился править службу в мечети. Много людей побывало у него в доме с поздравлениями. Поздравляли с тем, что он изучил ислам, что живым и здоровым вернулся домой.

В мечети всего не скажешь, не расскажешь, как жил там, как познавал премудрость аллаха, поэтому каждый вечер любопытствующие провожали его домой, расспрашивая. И не только о медресе, о божьих делах, но и о том, как живут в Крыму люди, какие у них порядки. И он без устали рассказывал, иногда повторял одно и то же по нескольку раз. Его все равно слушали.

Дома Анзаур не мог налюбоваться коричневой феской, купленной в Бахчисарае у турецкого купца. Он снова и снова чистил ее, примерял и любовался перед зеркалом. Делал это украдкой, боясь, как бы не заметили: мужчина перед зеркалом, мужчина любуется своей странной шапочкой! Тфокотли никогда раньше не видели фески и тоже засматривались на нее, когда Анзаур появлялся на улице или в мечети.

Стояла осенняя страдная пора, все торопились закончить уборку кукурузы. Работали от темна до темна. И все-таки, считал Анзаур, нельзя правоверным оставаться без молитвы. Каждый день он предупреждал об этом, и все-таки на обеденный намаз сегодня пришло только с десяток стариков. Они сидели с постными лицами, дожидаясь пастыря. Анзаур поздоровался с ними, взобрался на минарет и, подражая крымским муэдзинам, приложив палец к уху, громко, напрягая свой небольшой голос, стал звать правоверных на молитву.

Прокричал призыв, выученный в Бахчисарае, сначала на восток, потом на юг, запад и север. Слушал, как эхо возвращало ему голос, и радовался — почему же он до сих пор не знал, что у него такой сильный и красивый голос. Пусть слушают аульчане, пусть видят, как возвысился он из простых тфокотлей в служители аллаху... Четыре месяца он провел в Бахчисарае — это было его лучшее время. Жить в таком великолепном городе, учиться у таких мудрых и славных мужей! Ему, как прилежному ученику, даже разрешили несколько раз сзывать на молитву правоверных с самой главной мечети города. А Бастук? Разве можно его сравнивать с Бахчисараем! Маленькие, бедные домишки, сараи, да конюшни, да пыльные кривые улицы. Вон там базар, где торгуют одеждой и всякой другой рухлядью, а вон и еще два небольших базарчика — там можно купить пшеницу,

масло, мясо... Ге! Что это за базары! Так, маленькие муравейники. А в Бахчисарае! Боже милостивый! Что там за базары! И каких только товаров не увидишь! Привозят их из Турции, Урыссии и других дальних заморских стран. Такие товары, что не знаешь, как они и называются... Когда Анзаур увидел на базаре феску, он просто обомлел перед ее красотой. Он решил обязательно купить ее, но она была дорогой, у него не хватало денег. Тогда он, познакомившись с одним разносчиком товаров, стал носить мешки с пшеном и заработал на феску.

А что за зрелище, когда хан выезжает из своего дворца! Боже милостивый, на него смотреть больно — так горит на нем золото, так ослепительно ярки одежды, так нарядны стражники, которые с копьями и саблями сопровождают его. А кони — огонь!

Народ в почтительном страхе расступается перед ханом, иные падают на колени, склоняют до земли головы. Вот это великолепие, вот это власть! Не то что адыгские князья да родовитые! Ни встать, ни сесть не умеют достойно, ни одеться красиво, в заморские, шитые золотом одежды. Где есть при дворе такое великолепие, где народ падает на колени перед правителем, там и власть настоящая.

Даже когда выезжал на улицу казначей Крыма Абдул-Ага в сопровождении телохранителей, и то чувствовалось могущество власти.

Анзаур не только радовался воспоминаниям о своей жизни в Бахчисарае, не только удивлял аульчан невиданной феской, но и гордился: скоро год, как эффенди Шалих уехал в Каабу, а за него остался он, Анзаур, и прослыл хорошим эффенди, все в ауле кланяются ему уважительно. Хорошо он учился в медресе. Хоть и далеко не все слова понимал из корана, но говорил быстро и правильно. Учителя хвалили его, говорили, что из него может получиться хороший эффенди. И получился! Съездить бы ему в Каабу, тогда он затмил бы и самого Шалиха. Да что там Шалих! Большую способность чувствовал в себе Анзаур в служении аллаху. И с правоверными он разговаривает лучше, уважительнее, чем Шалих. Он как бы ближе к закону аллаха.

После совершения намаза к Анзауру подошел один из стариков и попросил:

— Прочитай нам то место из корана, которое ты так хорошо читал нам позавчера.

Анзаур понял, какое место: из всего корана он знал наизусть и читал бойко, без запинок только одну суру. Она-то, видно, и понравилась старику. Другие суры он тоже мог бы прочитать, но с трудом — так зачем же срамиться, читать их запинаясь, сбиваясь. Можно читать пока одну и ту же, все равно никто ничего не понимает по-арабски. Вот вернется из Кааба Шалих и подучит Анзаура, тогда он будет читать многое наизусть, не только читать, но и разъяснять правоверным смысл священного

писания. Это потом, а сейчас он раскрыл коран и, водя пальцем по строчкам, прочитал наизусть заученную еще в Бахчисарае суру.

Старики остались довольны, и это польстило Анзауру, он горделиво приподнял голову, на которой красовалась феска.

По дороге домой он вспомнил, что Наго и Али-Султан вот уже второй день не появляются в мечети, похоже, еще не вернулись из Бжедугии. «А жаль,— подумал Анзаур,— пусть бы они послушали, как быстро и красиво я читаю коран, не то что Шалих,— бормочет что-то невнятное, гнусавит. Срам один!» А как сегодня слушали старики, как набожно повторяли они непонятные, но священные слова. И руки складывали на груди, и лица оглаживали, и глаза поднимали к небу,— видимо, испытывали в сердцах подлинный трепет перед аллахом. «Это хорошо,— подумал Анзаур,— что в душе людей возникает такое чувство святости и покорности. Искренне верующие не смогут делать друг другу гадости». И, конечно, заслуга в этом будет его, Анзаура Ахеджака!

И в этот раз провожали его до самого дома правоверные. На полпути Ханан остановился и сказал:

— Старшие, задержитесь на минутку, я хотел бы спросить у нашего эффенди вот о чем... Всей душой принял я мусульманскую веру. Ее аллах — мой аллах, ее слово — мое слово, ее законы — мои законы. Однако никак не могу забыть и старых шапсугских богов. Как быть, скажи эффенди, что делать, если одновременно думаю и об аллахе, и о нашем старом боге? Ночью еще ничего, а днем, как увижу солнце, так и кланяюсь ему, молюсь. Даже в мечети, бывает, раз скажу «о, мой аллах», а другой раз «о, мое Солнце». Грешно, наверно, так, а? Как ты думаешь, эффенди, не рассердится на меня аллах, не накажет?

Анзаура, конечно, обрадовало, что к нему обращаются за советом, что спрашивают, как человека знающего, как эффенди, но такого вопроса он не ожидал и растерялся, хотя и вида не подал, напустил на себя важность — нахмурил брови, задумался, будто размышлял над некой великой истиной.

— Значит, думаешь о шапсугских богах, Ханан?.. Не знаю, как тебе и ответить. В коране об этом ничего не сказано, и в Бахчисарае эффенди Каймурза-Хаджа ничего не говорил. Но я сегодня посмотрю еще раз коран, может быть, и найду ответ. А как ты сам на это смотришь, что подсказывает твое сердце?

Ханан был озадачен, пожал плечами:

— Откуда мне знать, что говорит мое сердце. В моей груди часто дуют такие ветры, бывают такие сквозняки, что не знаю, как мне с ними и справиться. Поэтому и обращаюсь к тебе, нашему эффенди.

— Э-э, ей-богу! При чем тут сквозняки? — потерял терпение Анзаур. — Что ты сам думаешь о шапсугских богах?

— О шапсугских богах? Ну, так бы сразу и сказал, а я думал, ты о сквозняках. Разве с тобой не бывает такого? Ведь ты сам недавно был таким же тфокотлем, как и я.

— Эй, не морочь мне голову, Ханан! Был тфокотль, а теперь — эффенди! На меня снизошла господня благодать! Я тебя спрашиваю, что ты сам думаешь о шапсугских богах?

— О шапсугских богах? Если хочешь, скажу: жизнь нам дали шапсугские боги, поэтому они и есть наши боги, но мусульманский бог — тоже бог. Он всемогущий, всем дающий и ни у кого не просящий, как мне его не почитать, как не бояться? Ему я тоже кланяюсь. У старых богов прошу счастья для себя и детей и у мусульманского прошу. Разве это повредит? Только нет ли в этом греха, как ты думаешь, эффенди Анзаур?

Почесал затылок Анзаур:

— Шапсугские боги — старые боги, а старый человек, сам знаешь, слабее молодого. Вот и гляди. Аллах — молодой, сильный, всемогущий, а главное — ни у кого не просящий, но всем дающий. Вот ты сам и смотри, да не прогадай. Молись ему одному, а то он и в самом деле может обидеться на тебя. Каждое дело начинай с именем аллаха на устах. Старых тоже не гневи, но потихоньку прощайся с ними.

— Как же прощаться с ними? — развел руками Ханан.

— Так, просто, как прощаешься с гостем, который уезжает от тебя. Но на всякий случай я еще посмотрю, что сказано об этом в коране. И когда вечером молиться буду, спрошу у самого аллаха, как он посоветует.

«Э-ге,— подумал Ханан,— вон какой мудрый Анзаур, не то что Шалих. Анзаур — наш, он понимает нас, потому что сам до недавнего времени был тфокотлем».

Как был доволен собой Анзаур, каким мудрым он себе показался!

Переступив порог дома, он остановился в изумлении: его двенадцатилетний сын сидел на табуретке с раскрытым кораном на коленях.

— Сын мой, прежде чем взять коран, надо хорошенько вымыть руки.

— Я совершил омовение, отец. И только после этого взял в руки коран.

С восхищением смотрел Анзаур на сына: как он вырос, в нем уже трудно узнать мальчугана, которому еще недавно сломали ногу, вытянулся! В глазах появились осмысленность и серьезность.

III

Хагур до сих пор не сказал Акозе о своей любви. И не потому, что Тхахох втайне соперничал с ним. Не потому, что боялся ее отказа или насмешек товарищей. Нельзя сказать, что у него не было удобного случая серьезно поговорить с девуш-

кой. Да сколько угодно! Встречался-то он с нею довольно часто — в одном дворе работали. Просто он считал неприличным говорить о своих чувствах просто так, не подготовившись к свадьбе, как того требуют обычаи. Сказать Акозе о своей любви — значит жениться. Мужчина не должен бросаться словами. Ведь то, каким он покажет себя с нею, как обойдется со своей и ее любовью, останется с ними на всю жизнь, и от этого никуда не уйти. Но и это не все — он сумел бы поговорить с Акозой благопристойно, уважительно. За тем, как ведет себя парень в отношениях с девушкой, следят внимательно все, охраняя чистоту союза, добропорядочность, чтобы вовремя предостеречь от неверного шага, который может привести к беде. Такой, что потом за всю жизнь не расхлебаешь. Особенно внимательно следили за тфокотлями хозяева, они и тут хотели во что бы то ни стало проявить свою волю. Сами, как им было выгодно, выдавали замуж девушек и женили парней. Если случалось что-нибудь, не совпадающее с их расчетами, они тут же разъединяли влюбленных, могли услать куда-нибудь, а то и вовсе продать, призвав на помощь Мамруко или ему подобного. Вот этого-то боялся больше всего Хагур. Он видел, как Дарихат ненавидела Акозу за ее юность и красоту, как исходила ревностью и злостью и готова была на все, лишь бы сделать девушку несчастной.

А как хорошо зайти бы вечером к Акозе с несколькими друзьями и посидеть у нее, поговорить! Нет! Он и намеком не сказал ей о любви, только бы посидеть с нею, послушать ее голос, насмотреться в ее глаза. Да разве возможно для него такое счастье, ему, видно, на роду написаны беды и невзгоды.

Хагуру вспомнилось то время, когда он жил с Тамбиром в лесу. Что это было за счастливое время! Никто не притеснял их. Они были свободны, как ветер, как птицы, которые пели у них над головами. Вечерами они разжигали веселый костер и принимались за сказки. Как много знает их Тамбир! И одна красивее другой. Какие счастливые, добрые и честные люди живут в тех сказках. И хотя в двух шагах от костра начиналась непроницаемая, даже пугающая темнота, им было хорошо и спокойно. А проснуться вместе с птицами, вместе с безгреховной зарей, ощутить свежесть и бодрость — разве это не счастье? А главное — знать, что никто тебя не потревожит, не оскорбит своей волей и ты никому не причинишь зла. Хагур помогал Тамбиру вскапывать землю, сажать помидоры, сеять кукурузу, чтобы потом все лето смотреть, как они растут, как радуются утренней росе, дождю, солнцу. Поле, теперь это Хагур понимал хорошо, видится совсем иным, если обрабатывать его не из-под палки, если движет тобой любовь к нему. Оно — твой друг и соратник, душа твоя, и поэтому, как ни тяжело его обрабатывать, как ни болят потом спина и мозоли на руках, ты знаешь, что все это ради друга, который живет для тебя. И бессловес-

ным оно только кажется. Присмотрись — и увидишь радость или печаль его, прислушайся — и услышишь его, как слышишь стук своего сердца. Задумайся над наливающимися колосьями, и думам твоим не будет конца, задумайся над судьбой поля — и поймешь свою судьбу.

Твое поле.

Твоя жизнь.

Много рассказывал разных сказок Тамбир, и в каждой из них обязательно жила красивая и добрая девушка. Ее всегда звали Цицарой. Девушку преследовали злые люди. Одни хотели продать ее красоту завистливому богачу, другие сами хотели завладеть ею, но всегда находился отважный юноша, который помогал девушке, вызволял ее из разных бед. Девушка эта — светлолицая, стройная и гибкая, как лоза лещины. Однажды Тамбир пообещал ему:

— Когда повзрослеешь, я расскажу тебе о несчастной любви одной прекрасной девушки и тфокотля.

Не успел Тамбир поведать ту историю Хагуру — на них напали уорки, прогнали из леса, загубили их поле, лишили свободы. Потом Тамбир встретил Мишку Некраса, подружился с ним, и теперь они вместе, плечо к плечу стоят против князя Шерандука...

Не спалось Хагуру. Он глянул на крошечное окошко,— не рассветает ли? Нет, еще совсем темно. Тхахох спал сладко и безмятежно. Интересно, какие сны ему снятся? Проснется — и расскажет. Он очень любит рассказывать сны и потом раздумывать над ними, снова переживая их, угадывая, что они сулят. И все надеется, что они предвещают добро, неожиданность, почти волшебные перемены. Сны Тхахоху заменяли сказки со счастливыми концами, с победой добра над злом, слабого над сильным.

Очень добрый человек Тхахох, наверно, потому он и отошел в сторонку, боится своей любовью причинить боль Хагуру.

А что, если он, уступая то Хагуру, то еще кому-нибудь, так и останется бобылем?

Трудно ему, очень трудно: ведь из-за Акозы Тхахох не замечает других девушек. А что, если он уже никого не сможет полюбить так, как Акозу? Тогда на всю жизнь в его груди останется боль? И в этом будет повинен Хагур?

Странно и нехорошо как-то устроено на земле: ведь сколько мужчин, столько и женщин создал аллах. Но зачем же тогда он сплетает пути двух парней, зачем заставляет страдать? В чем тут промысел божий? Не понять.

Хагуру захотелось курить. Он тихонько, чтобы не разбудить друга, оделся и вышел в темноту. Через окошко казалось, что темь стоит непроглядная, однако полная луна уже краешком зацепилась за дальнюю гору и уходила, чтобы уступить место солнцу. Правда, до восхода солнца было еще далеко, и в небе ярко мерцали звезды...

Тихо в ауле, похрапывали в загоне коровы, да квохтали спросонья куры.

В лунном свете поблескивало окошко Акозы... Спит девчонка, какие сны ей снятся?

Хагуру вспомнилась Темиргойя — звезды там будто мельче, стоят повыше. А здесь висят гроздьями: кажется, чуть поднимись над землей — и шапкой заденешь. И, будто подслушав его думы, одна вдруг сорвалась с небосвода и понеслась к земле.

Пронеслась, рассыпалась красноватой пылью, словно ее и вовсе не было. Грустно стало Хагуру: говорят, что, когда падает звезда, кто-то умирает на земле.

В дом идти не хотелось, все равно теперь не уснешь, он сел под скирду, набил заново трубку, раскурил ее, задохнулся от крепкого табака, закашлялся. Даже слезы брызнули из глаз. Табак как табак, а вот, подишь ты, какой ядовитый попался лист. Рос-то на одном поле, рядом с другими, почему же в нем столько яда? И с людьми бывает так,— на одной земле живут, одним воздухом дышат, но один добрый, покладистый, как Тхахох, а другой, как шайтан, злой. Такой Наго, такая и Дарихат.

Наго...

А не поговорить ли с ним об Акозе? Ведь сколько лет служит ему Хагур верой и правдой. А если бы они поженились с Акозой, еще лучше стали бы работать, чтобы семью прокормить, чтобы отблагодарить Шеретлуковых за добро. Говорят же, что ласковым словом и змей выманизают из нор, а Шеретлуковы все-таки люди. Надо попробовать...

«Ох, только бы не навредить этим себе и Акозе!..»

— Хагур, ты чего сидишь здесь, почему не спишь? — спросил Тхахох, подходя к скирде.

— Ты так храпел, хоть святых выноси, вот я и решил посидеть здесь. Сеном пахнет, звезды светят, и... никто не храпит. Садись и ты. Зорьку встретим.

— Э, ей-богу, наговариваешь ты на меня... Люди услышат и что подумают обо мне?

— Успокойся, я шучу.

— Мой друг, ты лучше так шути, чтобы мне было весело, а не стыдно.

— Ладно-ладно... Ну, а снилось тебе что-нибудь хорошее?

— Как не снилось! Всего насмотрелся.

— Рассказал бы.

— Расскажу, но сначала признайся, почему не спишь? Что тебя тревожит?

— Ничего, просто выспался, и захотелось покурить, зорьку утреннюю встретить. Люблю я смотреть, как день зарождается. Хочется угадать, каким он будет, что принесет? И вечером люблю провожать его. Если хорошо прошел, спасибо ему говорю, а если плохо, тоже говорю спасибо, но прошу быть подобрее.

— За что же спасибо говоришь, если был плохим? — удивился Тхахох.

— А за то, что дал мне увидеть вечер... Да садись ты, не стой надо мной. Видишь, звездочки на востоке начинают гаснуть? Это они от солнца прячутся, боятся жары. Видно, потому и светят ночью, что любят прохладу. Садись.

— Ишь ты какой, Хагур! Обо всем думаешь, всему радуешься. Счастливый. И хитрый. Ну скажи, что тебя беспокоит, а вдруг я помогу тебе?

— Опять ты за свое!.. Посмотри лучше на небо. Сколько звезд — и все разные. Только глупому они кажутся одинаковыми.

— Разные,— согласился Тхахох. — Вон эти две, крупные,— это звезды князей, а эти, поменьше,— уорков и родовитых. А вон те, слабенькие, наши, шапсугских тфокотлей. Ты знаешь, где твоя звезда?

Помолчал Хагур, раздул трубку так, что она ярко осветила его лицо:

— Может, и в самом деле, те крупные — звезды князей, а я каждый раз выбираю, какая мне понравится, и говорю: это моя звезда! Какую хочу, ту и беру. Никто мне здесь не указ. Звезды принадлежат всем. Когда мне худо, выбираю печальную звездочку и говорю с ней о своей печали, а весело — веселую беру для разговора. И про себя думаю, что если Шеретлуковы — хозяева на земле, то на небесах — аллах, а что касается звезд, здесь я себе хозяин, в моей воле выбирать, которая понравится.

— У каждого человека есть своя звезда,— задумчиво сказал Тхахох, вздохнул и добавил: — И у Акозы тоже. Какая ее, ты не знаешь?

— Не знаю,— ответил Хагур, хотя он давно выбрал звезду для Акозы — голубую, переливчатую. Каждый раз, когда видел ее на небе, радовался, будто свидание с самой Акозой происходило.

На днях Анзаур говорил в мечети: «Наша вечная жизнь не на земле, а на небесах. Когда человек умирает, его бессмертная душа покидает тело и улетает на небо. И если есть настоящая радость, то она ждет человека на небесах. Ведь все самое красивое — солнце, луна, звезды — находится там, в вышине».

«Э-э,— думал Тхахох,— хорошо тому, кто всюду ездит, многое слышит, многому учится. Побывал Анзаур в Крыму и уж вон как заговорил,— наверное, немало мудрого постиг он в Бахчисарае. А теперь сыну своему, Натару, передает что знает. Тфокотли коран видят только издалека, а Натар из рук не выпускает — конечно, тоже мудрым будет. Хагур сказал, что не знает звезды Акозы, а ведь она обязательно есть. И красивая, самая красивая... Говорят, для бедной девушки красота — беда. И верно — беда! Была бы Акоза дочерью богача, ее бы на руках носили, княжичи соревновались бы из-за нее в силе и лов-

кости, каждый стремился бы стать ее женихом, а на бедную-то да беззащитную все смотрят жадными глазами, тянутся к ней грязными ручищами, и дела им нет до ее чистоты, до ее счастья. Но я не дам Акозу в обиду!..»

Прокричали третьи петухи.

Завозились коровы в загонах, чувствуя наступление утра.

Звезды на побледневшем востоке совсем угасли.

Из уползавшего мрака все отчетливее выступала крыша дома, где спала Акоза.

Шум речки Иль стал приглушеннее. Поднявшийся над водой туман словно мягкой подушкой накрывал ее звонкие струи. Пропели петухи, пролаял осипшим голосом старый соседский пес, а за ним лениво и сонно залаяли другие. Не слышно шагов дня, но его приближение чувствует каждое живое существо.

— Говорят: «Для того, кто рано встает, рождается жеребенок». Пойдем заниматься делом, а то и Шеретлуковы скоро встанут, начнут кричать, что мы бездельники... Коровы и лошади проголодались, надо накормить их.

— Если бы и в самом деле для тех, кто рано встает, рождался жеребенок, половина всех лошадей Шапсугии давно была бы уже нашей, но что-то я не вижу у тебя большой конюшни. А скотину кормить надо, пойдем, Хагур.

— Пойдем, пойдем... Однако знаешь, в пословице, которую я тебе сказал, все-таки истина есть: для нас с тобой рождаются жеребята, они и рождаются потому, что мы раньше всех встаем, кормим всех, раньше всех выходим на сенокос, на пашню. Все жеребята наши, да вот только их забирают в свое хозяйство Шеретлуковы, а мы стоим опустив руки и смотрим, как они это делают, будто и не руки у нас, а никуда не годные сухие ветки.

IV

— Что это случилось с тобой, Али-Султан, и с твоим отцом? Совсем отбились от рук! Что делают тфокотли, чем заняты, вам до этого никакого дела нет, будто и не хозяева здесь. Все вдвоем, все о чем-то шепчетесь, целыми днями просиживаете в комнате. Или думаете, что вы уже великие князья, что у вас полон двор байколей и уорков, которые смотрят за вашими работниками? Цыпленок решил снести яйцо, да надорвался. Помни об этом. Только богатство делает человека сильным. А богатство надо добывать, надо заставлять мужика работать.

— Не знаю, почему ты так говоришь, мать? Мы с отцом следим, чтобы наши тфокотли хорошо работали. И они работают. Чтобы не сидели без дела, не чесали зря языки и не думали о чем не следует, я заставил их корчевать перелесок над речкой. Пусть корчуют пни под будущее поле. Я знаю, как только они собираются вместе, так и судачат о Темиргойе, о Бжедугии, где будто бы тфокотли живут лучше. А все Хагур их

баламутит! Рассказывает им разные байки про честь, про достоинство тфокотлей, болтает о свободной жизни. Мы, мол, тоже люди, рожденные по воле аллаха, мы все равны...

— Сколько я говорила отцу, чтобы он держал тфокотлей, и прежде всего Хагура, в ежовых рукавицах! Вон какой грамотный стал — все знает, везде сует свой сопливый нос. И что это он разъездился — то в Темиргойю, то в Бжедугию, то в Абадзехию? Его и за плетень дворовый нельзя выпускать!

— Отца просили отпустить Хагура, он не мог отказать...

— Как это не мог отказать? Кому? Негоднику Бечкану?

— Отца просили Бечкан и Ахмед Шепако.

— Подумаешь — Шепако! Просто отец твой... ни рыба ни мясо. И как только судьба свела меня с ним? За какую провинность?

Дарихат вдруг замолчала и спохватилась: не надо бы этого говорить сыну. С трудом взяла себя в руки, а в душе злилась. «Боже милостивый,— сетовала она,— что за мужчину ты мне послал? От горшка два вершка. Когда на коне, еще ничего, а спешится — и не разглядишь. Шапку высокую наденет, а все равно: входит в дом — в дверях не видать. Про постель уж и не говорю — ищешь, ищешь, где муж? Счастлива та женщина, у которой муж представительный, статный. Вон Казджерий — он всюду заметен, хоть на коне, хоть пеший. Рост, плечи, взгляд! Стыд-то какой, когда рядом с этим красавцем мой плюгавенький стоит. Срам, срам! Хорошо, хоть я еще такая видная, есть на что посмотреть, полюбоваться. И любуются. Шеретлуковы должны на руках меня носить, гордиться мною! Али-Султан в меня пошел. А если бы Наго женился на такой же коротышке, как сам? Вот были бы наследники у несчастных Шеретлуковых! Глупа я была, глупа. Не рассмотрела тогда, что Наго был в высоченной папахе... Сына своего буду женить сама, сама подберу невестку, чтобы и ростом и статью была как я, как все в роду Наурзовых».

Дарихат отвела душу, успокоилась немного и уже мягче сказала Али-Султану:

— Кто они такие, Бечкан и Шепако? Надо было отказать, не великие князья... А где сейчас твой отец, куда запропастился?

— Еще утром уехал по делам.

— Какое там дело? Медом не корми, только дай сесть в седло. Лишь бы не быть дома. Не позавидую его несчастному коню — ни дня отдыха. Гоняют, гоняют его, а все без толку...

Али-Султан с улыбкой смотрел на мать. Он не обиделся бы на нее, если бы она и покрепче что-нибудь сказала об отце. Мать есть мать! Он никогда не смел ей ни в чем перечить, относился к ней с сыновним почтением. Знал, горяча она, но и отходчива. Пошумит на отца да тут же и забудет. Так что он не придавал особого значения ее словам. Но в последнее время она что-то уж слишком часто и слишком резко говорила об отце. А ведь это очень нехорошо! Тем более при сыне. В других

семьях женщина вообще не смеет сказать худого о мужчине, а не то что о главе семьи. Вон как хорошо живут Хаджемуковы. В их доме никогда не услышишь грубых слов. А уж самого-то великого князя все домашние оберегают. Чтут! Великая княгиня любит мужа, всегда с ним тиха, ласкова. И Алкес, хоть еще и не так много пожил в своей семье, уже перенял все доброе — мягок, обходителен.

Али-Султан устает от постоянного крика в доме, сам раздражается, старается меньше попадаться матери на глаза, не видеть, как она тиранит Акозу и других служанок. «Если уж ты сказал слово,— думал он,— оно должно быть крепким и твердым, а беспрестанно шуметь на тфокотлей — пользы не будет. Если не понимают слова, есть плетка. Ею надо работать молча. И тоже редко. Но метко!»

Али-Султан устал от разговора с матерью и, чтобы уйти от него, сказал:

— Ты права, мать, надо внимательнее следить за тфокотлями. Пойду посмотрю, что они там делают, подгоню кого следует.

— Ты один не ходи к ним, сынок. Возьми с собой двух верных парней. Ты их прикармливай, будь с ними помягче, тогда они станут надежными защитниками. Один старайся никуда не ходить... Да, послушай, все хочу спросить, что это за клятву верности тфокотли давали? Хагур, я слышала, эту гадость придумал?

— Это придумали Бечкан и Шепако.

— Вот поганцы. Чтоб опухнуть им, чтоб ноги у них поотнимались!

— Но заводила в нашем ауле Хагур. Это его работа.

— Как это получилось, что этот косолапый чувствует себя человеком? И вот у Хаджумара, твоего дяди, есть такой же — Бечкан. Забыл свое место и лезет в круг порядочных людей, болтает разные глупости, забивает тфокотлям головы. Чтоб ему холера в бок, чтоб ему век ни радости, ни счастья не видеть!

— Ты права, мать! Наш Хагур возомнил себя мудрецом...

— Возомнил! А вы-то, вы, двое здоровенных мужчин, куда смотрите? — Дарихат рассвирепела, даже глаза у нее выпучились, губы затряслись. — Бедная я, беззащитная, как мне жить с вами, как ходить по своему аулу? Того и гляди, какой-нибудь грязный мужик оскорбит, унизит... Ну, уж если вы не знаете, как справиться с тфокотлями, видно, мне самой придется засучить рукава, надеть папаху! Я найду способ укротить этого смутьяна Хагура, сделаю так, что он сдохнет собачьей смертью!

Али-Султан встревожился, вернулся от двери. Надо было успокоить расходившуюся мать, иначе она такого наделает...

— Если ты поступишь как со старым псом Арсея, то навлечешь на всех нас беду! Все сразу догадаются, чья здесь рука... Успокойся, мы с отцом сами займемся им.

— Уж не Мамруко ли вы хотите напустить на него? Этого и вовсе делать нельзя.

— Почему?

— Я весной показала ему Хагура и попросила, чтобы он продал его туркам, так знаешь, что ответил Мамруко? Он сказал: «Волк на волка зуб не точит». Твой отец тогда не понял этих слов. А скорее, просто испугался. Да, испугался, подумал, что Хагур уже и в самом деле матерый волк. А он — щенок! Боже, как опостылел мне твой трусливый отец, да простит мне всемилостивейший аллах этот великий грех!

— Валлахи! Неужели на адыгской земле не осталось настоящих мужчин? Найдутся, найдутся, можешь не беспокоиться,— воспламеняясь ненавистью, сказал Али-Султан. — Я покажу этому мерзавцу, кто такие Шеретлуковы!.. Успокойся, мать... Я поеду в лес, туда, к речке.

— Сын мой, заклинаю тебя именем аллаха, не связывайся с Арсеем! Все порядочные мужчины носят кинжал, а этот ходит с топором за поясом. Все в их роду — хитрые и коварные. Опасайся его, сынок. И что за несчастье! Похоже, во всей Адыгее нет столько гнусных тфокотлей, сколько в нашем Бастуке. И еще хочу тебя просить: будь осторожен в лесу над речкой, там видели русалку. Напустит на тебя свое колдовство и загубит, затащит под коряги в воде.

Али-Султан засмеялся:

— Люди видели, как та русалка стирала белье и потом почему-то убежала не в речку, под корягу, а в лес.

— Куда бы ни убежала, все равно русалка, нечисть! Да убережет нас аллах от злых духов!.. Говорят, в ущелье Итау-Иташ злые духи часто собираются на шабаш. Не ходи той стороной.

Али-Султан вышел из дома. День близился к обеду. В неярком осеннем небе куда-то торопились серые мохнатые облачка.

«Что могут сделать со мной тфокотли, если я один поеду посмотрю, как они корчуют пни? — подумал Али-Султан, выезжая со двора. — Мать всегда преувеличивает опасность. Мать и есть мать... Арсей носит топор за поясом. Подумаешь, и пусть себе носит — хоть сто топоров. Отхлестать его раз-другой плетью так, чтобы шкура с плеч сползла, сразу присмиреет. Распустили мы своих тфокотлей, тут мать права, слишком мягкосердечны мы с ними. Боимся обидеть, оскорбить. Глупость это. Разве можно унизить или оскорбить скотину? Разве можно говорить с ней по-человечьи? Чем тяжелее ярмо у вола, тем усерднее он пашет. Так и тфокотли. Надо попрочнее ярмо надевать на их шеи. Пусть работают до изнеможения, тогда будут думать только о том, как бы поесть да поспать, тогда не полезут в голову всякие глупости. Вон как мудро поступили мы с Анзауром! Ну, сломали нечаянно ногу его Натару, но потом приласкали, и он по гроб жизни нам благодарен. Учиться послали в Бахчисарай, дали денег на дорогу. Вон стал какой ласковый да сладкоречивый, мы теперь для него важнее, чем все тфокотли.

Он — наш человек... И дядя Хаджумар прав: надо давать кое-кому из тфокотлей свободу, пусть обзаводятся хозяйством, потихоньку богатеют. Только не слишком. И тогда они будут своими людьми. Им и на ум не взбредет давать разные клятвы верности, ругать хозяев. Отец боится, что они разбогатеют и могут сравняться с нами. Чудак! Надо давать свободу, но вожжи из своих рук выпускать нельзя, а у кого вожжи, тот и правит».

Подъехав к реке, Али-Султан увидел мальчишку, сидевшего на коряге. «Что он здесь делает?» — подумал Али-Султан. Мальчишка, услышав стук копыт, обернулся. Это был Натар.

— Эй, Ахеджак-младший! Ты что здесь делаешь один?

— Смотрю на речку.

— И видишь что-нибудь интересное?

— Как сказать... Слушаю, как разговаривает речка. Это очень интересно.

— Вон ты какой! А что это ты спрятал, когда увидел меня?

— Ничего не спрятал.

— Как не спрятал? Вон у тебя из-под черкески что-то виднеется. Покажи-ка.

— Ты об этом говоришь? — мальчишка вытащил из-под полы черкески коран.

— Об этом. Что это такое?

— Коран. Разве не видишь?

— Ты умеешь читать?

— Нет. Пока учу слова, которые мне показал отец.

— Разве берег речки стал мечетью, чтобы приносить сюда священную книгу, задери тебя пес и твоего отца. Корану место в мечети, грех его таскать повсюду. Отнеси его домой! — рассердился Али-Султан. «Таскают священную книгу, будто тряпку какую». — Сейчас же убирайся с глаз моих, пока я не отхлестал тебя плетью!

Мальчишка нахмурился, промолчал и пошел, с опаской оглядываясь на Али-Султана.

Шеретлуков поехал прежней дорогой. Издали донеслась песня. Это пели тфокотли. Песня походила на разговор. Словно один предупреждал: «Если не остановишься, я застрелю тебя». Другой отвечал: «А я не боюсь, потому что порох у тебя сырой, а пуля похожа на зеленый терн». — «Моя пуля похожа на зеленый терн, но она закалялась семь недель. Порох у меня сырой, однако он подгоняет корабль, везущий его по морю».

Потом грянули все разом: «И прогремел выстрел, как весенний гром, и пал мертвым суровый князь Давей!»

Тфокотли знали, что Шеретлуковым не нравится песня о мужественном тфокотле, убившем жестокого князя, и все-таки, увидев подъезжавшего Али-Султана, они не прервали ее, допели до конца, а потом даже повторили последний куплет.

Али-Султан посчитал это наглостью и рассвирепел, покраснел, будто его ошпарили кипятком:

— Сколько раз вам говорено, чтобы вы не пели эту песню! Или вы назло мне?

— Интересно, почему Шеретлуковым не нравится такая честная и красивая песня? — негромко, словно не замечая гнева Али-Султана, спросил Арсей.

— Если твоя спина затосковала по моей плетке, так и скажи,— промолвил Али-Султан и тут же осекся, вспомнил предостерегающие слова матери.

— Шеретлуков, я серьезно спрашиваю,— сказал Арсей. Он поднялся с пня и взял коня Али-Султана за уздечку. — Почему вас так бесит эта славная шапсугская песня? Когда мы поем ее, вы все так сердитесь, будто вас крапивой стегают... Знайте же, когда мы поем эту песню, нам легче дышится, и мы будем петь ее до тех пор, пока останется жив хоть один тфокотль. Ты не думал, почему так?

— Не думал и думать не хочу,— присмирев, ответил Али-Султан.

— И зря, ведь недаром же говорится: «Подумай, прежде чем сказать, осмотрись, прежде чем сесть». А насчет моей спины, Шеретлуков-младший, не торопись, мы с тобой как-нибудь на досуге об этом еще потолкуем. А теперь — езжай! — И Арсей отпустил уздечку, ласково похлопав по шее скакуна.

Али-Султан с места взял рысью...

V

Однажды вечером к Шеретлуковым приехало пятеро всадников. Кони выглядели усталыми: видно, гости приехали издалека. Пока они привязывали коней, отпускали подпруги, из дома вышла Дарихат: ей не терпелось узнать, кто приехал и откуда. Вышла, увидела Алкеса с двумя бжедугскими княжичами и уорками, радостно всплеснула руками:

— Акоза! Люди! К нам дорогие гости пожаловали! Пошевеливайтесь там!

Наго выглянул в окошко, увидел Алкеса и сел в кресло: пур [1] должен сам войти к нему и поприветствовать...

Когда Шеретлуковы поехали в Бжедугию, чтобы повидаться со своим пуром, Алкеса не оказалось дома — он с княжичами отправился на побережье. Обиделись Шеретлуковы — почему Кансав не пригласил и Али-Султана поехать вместе с его сыном, но великий князь успокоил их, сказал, что Алкес на обратном пути обязательно заедет в Бастук. И все обошлось хорошо, погостили Шеретлуковы в Бжедугии неделю и успокоенные, довольные вернулись домой. А теперь Алкес пожаловал в сопровождении двух княжичей и двух уорков в Шапсугию, прямо во двор Шеретлуковых.

---

[1] Пур — воспитанник.

Дарихат спустилась с веранды и пошла навстречу Алкесу, восклицая на весь двор:

— Заходи, сын мой, заходи, моя радость, мой красавец! Дай-ка я погляжу на тебя... У-у, какой ты стал! Как возмужал! Прямо богатырь! Спасибо, сын мой, спасибо, дорогой, что не забываешь нас. Как ты меня обрадовал, как обрадовал весь наш Бастук! Наго, Наго! Посмотри, кто к нам приехал! Али-Султан, куда запропастился твой отец?!

Услышав голос своей жены, Наго не вытерпел, опять подошел к окошку: «Ух, старая квочка! Засуетилась, забегала, шум подняла на весь аул! Дура! Нет чтобы сидеть в своей комнате, как это делают княгини, да и ждать воспитанника, ждать его уважительного приветствия. Бегает, кричит, будто баба на базаре. Да и что от нее ждать? Ведь она дочь Наурзова, сестра Хаджумара! А там все крикливые, суетные. В доме у них настоящий базар. Ну, чего кричит баба?»

И он опять сел в кресло, насупился и стал ждать пура. Вдруг дверь с шумом распахнулась, и в комнату ворвалась Дарихат:

— Послушай, ты умер, что ли?

— Эй, дочь Наурзовых, перестань кричать! Веди себя прилично!

— Да ты что, не слышишь, кто к нам приехал? — завопила Дарихат.

— Слышу, не глухой.

— Так чего же ты тут сиднем сидишь, если не глухой?

— Вон отсюда, дочь Наурзовых! Вон из комнаты, чтобы я тебя не видел, чтобы духа твоего здесь не было!.. Мало того, что во дворе затеяла суматоху, еще и ко мне врываешься, будто тебя сто пчел ужалило. Ну, приехал воспитанник, ну, радость большая, но нельзя же вверх дном все переворачивать. Не беспокойся, Алкес знает порядок, знает, что должен зайти ко мне, поприветствовать. А ты... вон отсюда!

Дарихат захлебнулась от возмущения и в ужасе смотрела на мужа.

— Ты чего глаза выкатила? Сколько раз я тебе говорил, чтобы не смела так нагло смотреть на меня, мужа, данного тебе аллахом!

Дарихат перевела дыхание:

— Чтоб тебя аллах сделал сумасшедшим, если ты сам не спятил! Чтоб ты провалился сквозь землю, где шайтаны смолу варят! — Дарихат так хлопнула дверью, что весь дом затрясся.

«Аллах мой всемогущий, аллах мой милостивый,— взмолился Наго. — Уйми ты эту ведьму, укороти язык ее, всели в нее кротость и разум! Дай ей самый маленький ум. С тех пор как она вошла в дом мой, я не знал ни одного счастливого дня. Смотрю на нее, о великий аллах, и не могу понять: да женщина ли она? Нет в ней ни мягкости женской, ни ласки, нет ничего, что ублажает и радует мужское сердце. Когда она весе-

лится — того и гляди, крыша сорвется от ее восторгов, а уж когда хмурится — не попадайся ей никто на глаза: оскорбит, накричит, обзовет самыми черными словами. И смотрит на тебя так, будто ты убил ее отца. Правду говорят: «Кого долго ты добиваешься, тот и выроет тебе могилу». Ухаживал я за ней и думал: если не женюсь, жить на белом свете не смогу; думал, радости не видать, если она не станет моей женой. И вот тебе на! Будто сам себе по голове обухом ударил. Как хитры и коварны женщины! У-у, как они умеют нравиться в девушках, какими кроткими да милыми прикидываются. А потом, потом! Чего она сейчас разошлась? Ну, хорошо, приехал воспитанник, так знай свое бабье место, сиди и жди, как положено, не суйся в мужские дела. Так нет же, ей обязательно надо выставить себя полновластной хозяйкой, показать свой характер, сделать так, как потребует ее скудный, но норовистый умишко... Надо мне что-то придумать, надо как-то окорачивать ее, не то она в гроб меня вгонит раньше времени... Аллах милостивый, ты свидетель, как она меня, известного всей адыгской земле человека, сделала посмешищем. Когда мы ехали в Бжедугию, она усадила меня в телегу. Срам, срам! Трясись с ней в телеге. Если бы поговорить могла о чем-нибудь стоящем, а то пустая бабская болтовня, которая мне и в доме-то до тошноты надоела. Ай-яй-яй! Посплетничать ей — все равно что сметаны или меду наесться...»

Наго закрыл глаза, сложил руки на животе: «Может, съездить в Каабу? Отдохнуть там душой, уйти из ада, который в собственном доме устроила мне жена? Хорошо сейчас Шалиху, он уже больше года живет в священном городе, набирается знаний, мудрости. Надо поехать. И хозяйство надоело. Что я все тянусь и тянусь за этим богатством? Его ведь на тот свет не заберешь. Все останется Али-Султану, да ему оно зачем, если женится на такой же злой бабенке, как мать. Надо поговорить с ним, пусть не торопится с женитьбой. Не смотри, скажу, на улыбочки да на ужимки девушки, а хорошенько присмотрись к ее матери, тогда и узнаешь, что у тебя за жена. Лучше тесную обувь носить, ноги все измозолить, чем жить с такой, как Дарихат... Но разве можно об этом говорить сыну? Нельзя, обычаи не позволяют».

За дверью послышались шаги, Наго опомнился; будто из омута, вынырнул из своих тяжких дум.

Дверь открылась, и показался Алкес.

— Добрый день, отец,— радостно сказал он и подошел к Наго, обнял его, но не слишком пылко, скорее сдержанно, как полагается мужчине.

Легко стало на сердце у Наго, он смотрел на княжича, словно на родного сына, на своего защитника.

— Садись, сын мой. Хорошо сделал, что заехал. Дай бог, чтобы и у тебя почаще случались такие радости, какую ты принес в наш дом. Садись, говорю, не стой!

— Да уж лучше я постою.

Наго поднялся с кресла, сел на топчан и, указав на место рядом с собой, настойчиво повторил:

— Садись. Посиди со мною, ведь мы с тобой так редко видимся... Рассказывай, как поживают отец с матерью? Все ли здоровы?.. Мы ведь были в Бжедугии, да тебя не застали.

— Знаю. Мы с вами разминулись, а мне так хотелось захватить с собой Али-Султана. Я скучаю по нему.

— Спасибо, сын мой, что не забываешь своего младшего брата. Он тоже частенько вспоминает о тебе, тоже тоскует. Жалко, что вам не довелось вместе съездить на побережье, он здесь все один да один, надоели ему тфокотли. Да и что это для Али-Султана за компания? Разного поля ягоды... знаешь, даже наши тфокотли ездят больше, чем Али-Султан. Не пойму, огонь у их коней под хвостами, что ли. Ездят и ездят. Хагур в этом году дважды выезжал — в Темиргойю и Абадзехию... А что нового в Бжедугии? У нас здесь только и говорят о случае с князем Шерандуком.

— А что с ним произошло? — удивился Алкес.

— Разве ты не знаешь этой новости, сын мой? Хотя в это время тебя не было дома... Однажды в полдень к усадьбе Шерандука подъехал какой-то всадник, отхлестал князя на виду у тфокотлей и уорков плетью и умчался. Уорки, конечно, вскочили на коней, кинулись в погоню, но не смогли догнать наглеца, скрылся в лесу. И это среди бела дня, прямо на княжеском дворе, а не где-нибудь на глухой дороге!

— Это, наверное, был Тамбир.

— Нет. Князь говорит, не Тамбир, а кто-то другой, незнакомый ему человек.

— Вон как бывает,— вздохнул Алкес,— выходит, и у себя дома мы можем подвергнуться нападению. По-моему, это дело рук тфокотлей. Они не в меру распустились, и мы не можем найти на них управу, будто и не мужчины, будто и нет у нас верных людей, оружия... Я не слышал о поездке Хагура в Абадзехию, а про то, что вы его отпустили в Темиргойю, слышал. У нас только об этом и говорят.

— И что же у вас говорят? — навострил уши Наго.

— Я думал, у вас об этом знают... Рассказывают, что он в Темиргойе освободил одного тфокотля от наказания, которое ему назначил уорк, а потом на празднике поборол того уорка и заставил его одеть во все новое чабана. Уорк, говорят, так и сделал. И еще болтают, что показал там свое мужество, с уорками расправлялся как хотел, опозорил их всех. Темиргойские тфокотли вроде бы на него нарадоваться не могли и всюду встречали и провожали его по-княжески.

— Во-ви-ви! Что за удивительные новости ты привез, сын мой!

Наго встал и прошелся по комнате, он не знал, радоваться ему или сокрушаться.

— Моя жена все называет Хагура сопливым мужиком, а он, оказывается, одолел там уорков. Выходит, мужественный человек, а?

— Не знаю, тят, что тебе и ответить на это. Тфокотль — и вдруг мужественный. Рожденные в грязи останутся мужиками, не их удел — мужество.

— Э! — воскликнул Наго. — Поехать в чужую страну и выпороть кнутом, опозорить уорка. Лихо, лихо! Я тебе скажу, это настоящее мужество. Один против нескольких уорков, на чужой стороне, на празднике? Нет, это мужество! Но почему, когда я был в Бжедугии, великий князь ни словом не обмолвился об этом? О чем угодно, даже о кобылах князя Шерандука, а вот об этом... Передай отцу, что я немного на него обижен. Совсем немного, но все-таки досадно, почему он не рассказал мне о таком важном происшествии?

Наго все продолжал ходить по комнате и потом наконец сказал Алкесу:

— Иди, сын мой, к своим спутникам, я сейчас тоже приду, чтобы поблагодарить их, принять, как полагается принимать гостей.

Алкес вышел.

Наго довольно потер руки: «Хорошо, хорошо. Значит, о моем тфокотле говорят по всей адыгской земле. О тфокотле Шеретлуковых. Если у него есть такие тфокотли, значит, Шеретлуковы крепко сидят на своей земле, крепкий и мужественный у них народ. Не всякий после этого решится сунуться к нам... Хотя... Этот Хагур и в самом деле как бы не возомнил себя героем, поди поговори тогда с ним».

VI

Бороко шагал домой рассерженный. С силой распахнув ногой калитку, он вошел во двор, упер руки в бока, осмотрелся, но никого из своей семьи не увидел.

Дверь маленького турлучного дома, крытого осокой, была закрыта. Из трубы не струился дым, как обычно бывает вечерами.

«Куда они все подевались? — недовольно подумал Бороко. — Эта негодница-жена никогда не встретит меня, как встречают мужей другие жены. Все ходит и ходит по соседкам, сплетни разные собирает, бездельничает. Говори ей не говори, все равно делает по-своему. Рашида пустила на произвол судьбы, мальчишка целыми днями сидит с бабкой. И неизвестно, кто из него вырастет, мужчина или баба. Разве таким должен быть младший брат?»

В соседнем дворе галдели ребятишки. Бороко заглянул через плетень. Увидев там Рашида, крикнул:

— Ну-ка быстрее поворачивайся! Иди сюда! Живей, говорю.

Рашид пустился к брату, перемахнул через плетень:

— Ты хотел мне что-то сказать, мой старший брат?

— Я хотел сказать, шляешься, шляешься по чужим дворам, а ты уже не маленький, надо и хозяйством заниматься — коровник бы почистил, двор подмел.

— Если скажешь, старший брат, обязательно сделаю.

— Скажешь, скажешь,— передразнил его Бороко,— сам должен догадываться, а не ждать подзатыльника... Сбегай-ка и позови мне этого толстомордого медведя, известнейшего болтуна.

— Я не пойму, кто тебе нужен из младших братьев? — пожал худыми плечами Рашид.

— Как, ты не знаешь, кто из твоих братьев болтун и пустомеля?

— Я н-не знаю такого в нашей семье.

— Он не знает! Не строй из себя дурачка. Приведи сейчас же Моса. Да быстрее поворачивайся, а не то тоже медведем неповоротливым вырастешь.

— Если ты так велишь, старший брат, обязательно приведу,— окончательно растерявшись, промолвил Рашид и опрометью бросился за ворота.

Толстомордым медведем Бороко назвал Хагура, хотя сам был довольно неповоротлив. У Хагура были широкие, покатые плечи и крутой, нависший над глазами лоб. Руки длинные, едва не доставали до коленей. Разъярился же Бороко на младшего брата после разговора с Наго.

Встретив Бороко на улице и не постеснявшись остановиться перед тфокотлем, Шеретлуков язвительно заговорил:

— Как живешь, старший в семье, с которым, правда, в доме никто не считается?

— Почему так говоришь, зиусхан? — удивился Бороко, как всегда перед Наго становясь мягким и смирным.

— Потому что вы не понимаете добра, которое делают вам, и брата ты не можешь сделать послушным!.. Зря, что ли, ты отца заменил своим братьям? Да чем попусту болтать, пришли лучше к нам жену, пусть возьмет отрез на брюки пацану...

Все братья Хагуровы кроме Черима были во дворе усадьбы Бороко. «Разве не счастье — иметь таких защитников,— думал Бороко. — Когда подрастут, нас будет целый аул. Имея их за спиной, я не позволю Шеретлукову мной понукать. Это они, из рода Хагуровых, будут исполнять то, что я скажу, в Шапсугии!.. Но все-таки лучше использовать Шеретлуковых, чем враждовать с ними. Что с ними враждовать, что волки будут тебе врагами — одно и то же».

— Где Черим? — гневно спросил Бороко.

— Черим поехал с соседями в лес за дровами,— ответил Мос.

— Пусть едет. Не он, а ты мне был нужен! — еще больше

повысил голос Бороко.— Зачем ты вмешиваешься в дела Шеретлуковых? Сколько раз тебе говорить, чтобы ты не говорил о них плохо! Радуйся, что взяли тебя пастухом и посадили на кобылу. Ведь сам ты не стоишь и ногтя Наго!

— Если я большего не стою...

— Молчать, бесчестный! — прервал младшего брата Бороко.— Позволяешь себе дурачить Тхахоху Непашу сына Нагоя. Решил учить весь аул уму-разуму?

— Заботы тфокотлей — заботы аула...

— Замолчи, если не хочешь получить подзатыльник! — Бороко стал надвигаться на Моса.

Лак, стоявший ближе к ссорившимся братьям, бросился между ними.

— Чтобы больше не смел говорить дурное о Шеретлуковых! — крикнул Бороко вслед уходящему Мосу. Потом обратился к остальным: — Слышите, это и вас касается, не забывайте, что вы пришлые в этом ауле.

VII

— Отец, я хочу спросить тебя... — Натар зашел к отцу и встал перед ним, красивый и стройный.

— Говори, сын мой,— удивленно поднимая брови, сказал Ахеджак, перебирая четки и слушая шум осеннего дождя.

— Отец, мальчикам трудно дается коран, они не понимают, что там написано, нет ли корана на адыгском языке? — Натар смотрел на отца ясными глазами, ожидая ответа.

Ахеджак испуганно вздрогнул.

— О аллах, всем дающий, ни у кого не просящий, мой аллах, прости парню его невежество... Немедленно молись... Возьми свою циновку и встань рядом со мной, проси аллаха, чтобы он простил тебе грешные слова... Быстрее неси циновку!..

Натар вышел из комнаты с испуганным лицом. Совершив омовение, он принес циновку. И тотчас отец и сын повернулись лицом к югу и предстали перед аллахом.

Шумел дождь, навевая дрему, постукивая в окошко, затянутое бычьим пузырем.

— А теперь отнеси циновку и вернись,— сказал Анзаур Натару, поднимаясь с пола.

Натар вернулся, сел рядом с отцом, приготовился слушать.

Анзаур торжественно заговорил:

— Мы сняли с тебя грех, который ты только что совершил. Аллах услышал молитву и принял ее. А теперь слушай внимательно, и пусть мои слова останутся в твоей памяти на всю жизнь, где бы ты ни был, сколько бы долгих лет ни прожил... Коран создан на языке аллаха, всем дающего и ни у кого не просящего. Язык аллаха — это и наш язык, а значит, язык корана — наш язык. Если слова священного писания каждый

начнет произносить на своем языке, они перестанут быть священными, утратят свою силу и великую мудрость. Аллах откажется от нас...

Натар не возражал отцу, но про себя думал: «Если коран написан на языке аллаха, а язык аллаха — наш язык, почему же мы не понимаем написанного? Если вслушиваешься, звуки вроде бы похожи на наши, но легче понять говор речки Иль, чем слова корана. По звуку я узнаю, что идет дождь, у грома тоже свой, понятный мне голос. Если окунешься в воду и ударишь там камнем о камень — тоже слышно и понятно...»

Натара опять привлек шум дождя.

— К чему ты прислушиваешься? Идет кто-нибудь? — спросил отец.

— Нет... — растерянно ответил Натар.

— А чего же ты?..

— Дождь шумит.

— Ну и что? — удивился отец. — Он уже третий день идет.

— А вот теперь стал тише.

— Откуда ты знаешь?

— Услышал. Если не веришь, выйди из дома — и увидишь сам. А можешь и не выходить — прислушайся хорошенько...

— Чего мне прислушиваться? Первый раз я, что ли, слышу, как идет дождь? — Не понравились Анзауру слова сына: ему говорят о священной книге, а он, оказывается, занят дождем.

— Я тоже много раз слышал, но знаешь, отец, у каждого дождя свой голос. Бывает громкий и даже сердитый, а бывает такой вот, как котенок мурлычет. И ветры по-разному шумят, у каждого свой разговор. Северный — ух какой он большой и грозный! А южный, с гор, совсем другой. Ты слушал когда-нибудь ветры?

— Ну а как же. Я на ветрах вырос. По ним могу и погоду определить, и даже о будущем урожае рассказать. А до чего же свирепы восточные и северо-восточные ветры — столько раз они разбрасывали соломенную крышу нашего дома... — Анзаур увлекся разговором и забыл о коране. Ему было приятно, что сын такой наблюдательный. — Правда, северо-восточный ветер не то что восточный, он шапсугским тфокотлям больше пользы приносит: пригоняет дождевые тучи, но, к сожалению, чаще делает это осенью, а весной будто забывает сюда дорогу.

— Я не об этом говорю, отец...

Анзаур спохватился:

— Хватит о ветрах и дождях! Ты бы лучше поучился призывать правоверных к молитве, как это делают муэдзины! Каймурза-Хаджа не раз хвалил меня, говорил, что я призываю правоверных красиво и набожно. Сладкий, говорил, голос у тебя, Анзаур. И как знать, может, мой голос до сих пор стоит над Бахчисараем... Чего ты смеешься? Или, думаешь, я обманываю

тебя? Сын мой, ты же знаешь, каким честным человеком считают меня все в Бастуке... Вот поучишься у меня годок, а я за это время поднакоплю деньжат и отвезу тебя в Крым, в медресе. Думаю, Каймурза-Хаджа очень обрадуется. Скажет, у хорошего отца хороший сын растет, скажет, множится воинство аллаха на земле адыгской. Мудрый человек Каймурза-Хаджа. И всесильный. Все сделает для человека, который ему понравится. В Крыму эффенди в большом почете, сила там у них большая, не то что в Шапсугии, но придет время, будет и у нас то же самое. Первым человеком в Бастуке станешь.

Натару вспомнилось, как его отчитывал и грозил плеткой Али-Султан, говоря, что нельзя коран таскать на речку. Тот же Али-Султан когда-то, озоруя, перебил ему тяжелой палкой ногу. А Ахмед Шепако вылечил ее. И покойную бабушку с ее песнями и сказками вспомнил мальчик. Хорошо ему стало от этого, хоть давно ушли куда-то и песни и сказки... Натар нахмурился — вспомнил, как Шеретлуковы привели ему в подарок оседланного коня. Отец радовался скакуну, благодарил Наго, а Натару конь был противен. В прошлом году он садился на него только потому, что отец велел, а в этом году отец больше не неволит, и Натар не подходит к коню, даже на водопой не водит.

— Ты хочешь накопить денег, чтобы послать меня учиться в Крым, отец?

— Да, а что?

— Продай коня, подаренного Шеретлуковыми, и у нас сразу будут деньги.

Анзаур промолчал, он понял сына.

— Ты очень хочешь учиться?

— Да.

— Молодец, сын мой! Дай бог, чтобы твое желание сбылось! Чем больше увидишь своими глазами, тем больше мудрости будет в твоей голове, больше сделаешь добра людям... Обязательно поедешь в Бахчисарай — это мое отцовское слово. А не испугаешься, когда попадешь в Крым, не зная татарского языка?

— Ты ведь не испугался, почему же я должен пугаться?

— Разве ты и я — одно и то же?

— Ты же сам сказал: у хорошего отца хороший сын. Я постараюсь учиться так, чтобы не опозорить тебя. И насчет языка не беспокойся — я знаю много ногайских слов, они даются мне легко. Теперь, раз уж ты так решил, я их еще больше выучу и не буду чужим в Крыму.

— Правильно, сын мой!.. — До того обрадовался словам сына Анзаур, что, может, впервые почувствовал себя счастливым. — Только знай! Кто отправляется в дальнюю дорогу, помня о родной земле, тот обязательно возвращается домой и приносит людям много добра... Не думал я, что ты у меня уже такой взрослый и умный парень. Теперь вижу, можно тебя

отпускать в Крым, и тянуть с этим не стоит. Но скажи, не обидятся ли Шеретлуковы, если я продам коня?

— Пусть обижаются,— спокойные, ласковые глаза Натара вдруг заблестели. — Какое тебе дело до них?

— Не говори так! — испуганно воскликнул Анзаур. — Без согласия Шеретлуковых тебе нельзя ехать. Они сильные люди, как скажут они, так скажут и хасе и суд старейших.

— Значит, Арсей говорит правду о суде старейших?

— Нам нет дела до того, что говорит Арсей и другие. В наше трудное время каждый живет своим умом. Шеретлуковы не самые добрые люди, но, как говорят, пой песню того, на чьей телеге едешь. Вот мы и поем их песню. Правда, Шеретлуковы иногда и меня слушают, спрашивают совета, ведь я эффенди, служитель аллаха, но все равно, счастье на нашей земле ходит по очень запутанным дорожкам. О шеретлуковском коне надо хорошенько подумать. Был бы жив Мамруко, он бы мог его потихоньку продать...

— Как?!

— Алкес говорил: убили его. Думаю, это кара господня. Нельзя так жить, как Мамруко.

— Кто его убил? — допытывался удивленный Натар.

— Мужчина. Настоящий мужчина. А если еще и тфокотль!.. Мамруко и Макай — злые люди, а волку волчья смерть... И все-таки, сын мой, я подумаю насчет коня. Мне и самому тогда не хотелось его брать, но... Давай-ка лучше вернемся к аллаху. Покажи, как надо призывать правоверных на молитву.

Натар вышел на середину комнаты, взялся за мочку уха и начал негромко:

— А-л-л-ах, акба-а-ар!

— Только не торопись, больше растягивай слова, чтобы напевно получалось. Вот так, вот так. Ну-ка, погромче, не стесняйся. Голосом играй, голосом. И думай об аллахе, всемогущем и милосердном. И погромче, не бойся, никто тебя сейчас за дождем не услышит. Твой голос будет посильнее моего. Его надо развивать. Э, что ты так рано повернулся на север?

— А куда надо поворачиваться?

— Ты правильно повернулся, на север, но рано. В каждую сторону надо обращаться с призывом по три раза.

— Тогда я повторю все сначала, чтобы хорошенько запомнить.

— Делай, мой сын, как тебе подсказывает отец.

— Только ты меня не прерывай больше, а то я сбиваюсь.

— Хорошо, хорошо. Но сначала я покажу тебе еще раз. Посмотри внимательно, послушай.

Анзаур вышел на середину комнаты, словно взобрался на минарет, сосредоточился, принял нужную позу и начал призывную молитву. Сперва негромко, а потом все сильнее и сильнее звучал его голос, а когда эффенди повернулся на север, закричал так громко, будто в самом деле находился на минарете.

Отец с сыном так увлеклись, что не заметили, как в комнату вошла Мерем:

— Что это с вами?..

Анзаур, стоявший спиной к двери, не обернулся и продолжал молитву, а Натар замахал на мать:

— Не мешай нам! Я учусь призывать правоверных к молитве.

VIII

Али-Султан долгое время не мог забыть обиду, которую ему нанесли тфокотли в лесу над речкой. Об этом случае он никому не рассказывал. Зачем рассказывать, как тебя обидели и унизили тфокотли? Когда приехал в Бастук Алкес, Али-Султан хотел рассказать ему, как старшему брату, хотел посоветоваться, как лучше отомстить презренным мужикам, наказать Арсея. Хотел, но не решился. Чего доброго, княжичи еще станут насмехаться, сочтут его трусом.

В ауле долго ходили разговоры о том, как хозяйский сын хотел запретить тфокотлям петь их любимую песню. Одни возмущались, другие сокрушенно качали головами: молод Али-Султан, чтобы так разговаривать с людьми намного старше его, хотя бы и тфокотлями.

Первой из Шеретлуковых об этой истории услышала Дарихат и подняла в доме такой шум, будто ее отстегали кнутом при всем народе. Она вбежала в комнату Наго и закричала:

— Ты смеешься, когда я говорю тебе дельные слова, а то и вовсе не слушаешь, будто у тебя уши заткнуты грязными тряпками! Сколько раз я говорила, что не хочу, не могу жить в одном ауле с богомерзким Арсеем! А теперь пойди полюбуйся, узнай, как он оскорбил нашего сына, как опозорил весь род Шеретлуковых. Сделал нас посмешищем!

— Не кричи так громко, я ведь не глухой, лучше расскажи толком, что случилось.

— Что случилось, несчастный?! — она подбоченилась, будто собиралась кинуться в драку. — На глазах у всех разбойник Арсей ударил нашего сына кнутом! Я не останусь жить в Бастуке, уеду к брату Хаджумару! Слышишь, уеду, если злодей, поднявший руку на княжича, не умрет как собака от твоей руки!

— Подожди, дочь Наурзовых, успокойся! — Наго растерялся и стоял в нерешительности, не зная, что делать.

— Я не могу не кричать, если оскорбляют моего сына! Нечего меня уговаривать да успокаивать. Если среди Шеретлуковых нет мужчины, носящего шапку, дайте мне меч!

Дарихат кричала так громко, что ее слышали и в соседних дворах. Люди подумали, уж не случилось ли какой беды у Шеретлуковых, и стали собираться к их дому. Потом, когда

услышали сварливый голос Дарихат, успокоились: обычное дело, хозяйка сердится.

Тфокотль Ханан рассмеялся:

— Эх, не завидую я сейчас Наго, его зловредная жена того и гляди сорвет крышу с дома, а теперь осень, дожди.

— Что так разъярилась Дарихат? — спросил кто-то.

— Да, наверно, из-за того, что мы приструнили Али-Султана.

Услышав неистовый крик матери, в комнату отца прибежал и Али-Султан:

— Что с тобой случилось, мать, почему ты так кричишь?

— Потому кричу, что сгораю от стыда! Разве можно вынести оскорбление, которое нанес тебе и всем нам тфокотль Арсей? — Дарихат начала уже было успокаиваться, но, увидев сына, снова завопила: — Почему ты скрыл, что этот хам бил тебя, княжича?

Али-Султан не сразу понял, что мать имеет в виду; он полагал, что речь идет о чем-то другом, более серьезном.

Дарихат опять так разошлась, что казалось, вот-вот лопнет от гнева.

Наго рядом с разбушевавшейся женой был почти незаметен. Лицо его побледнело, стало совсем обескровленным, будто неживым.

Али-Султан догадался, в чем дело. Но кто это им рассказал историю в лесу? Да и неправда, не били его кнутом, никто на него руку не поднимал. Мать напраслину возводит на Арсея, а значит, и на него самого.

— Мать, не говори так, никто меня не бил, мы просто поговорили с Арсеем о песне, которую я не люблю.

— Нет-нет! Не скрывай! Лучше расскажи отцу все как было. Надо проучить злодея, который оскорбил тебя. Если вы не в силах это сделать, я сама займусь!..

— Мать, я же сказал: никто не бил меня, не оскорблял, зачем говоришь лишнее? Неужели ты думаешь, что в Бастуке найдется человек, который осмелится меня оскорбить? Неужели ты думаешь, что я маленький мальчик и не смогу постоять за себя?

— Молчи! Я не хочу этого слышать!

Наго наконец собрался с духом. Нахмурился, попытался придать голосу строгость:

— Помолчи, дочь Наурзовых! Я требую, чтобы ты замолчала, я сам во всем хорошенько разберусь. Скажи, Али-Султан, правду.

— Да не было этого, отец.

— Тогда откуда твоя мать взяла все это?

— Я сам виноват, отец...

— Княжичи не бывают виноватыми! — опять закричала Дарихат. — Молчи, несчастный, я и слушать тебя не хочу! Что бы ты ни сделал, все, по воле аллаха, справедливо. Не забывай: ты

произошел от Луны и ясных звезд небесных, а Арсей — грязь под нашими ногами!

Шеретлуков-старший не выдержал, топнул ногой, воинственно потряс перед женой кулаком:

— Я же тебе сказал, женщина, чтобы ты замолчала! Перестань долдонить одно и то же! Нечего вмешиваться в мужские дела! Не оскорбляй своего сына глупыми бабскими сплетнями. Молчи или я... Рассказывай, сын, все по порядку, сейчас мы спокойно, по-мужски разберемся во всем. Рассказывай!

— Если наступить собаке на хвост, она огрызнется и даже укусит. Я наступил... Тфокотли пели песню о Хатхе Кочасе, который убил князя Давея. Я сказал им, чтобы перестали, а они мне возразили, мол, это наша песня. Вот и все. Никто на меня плети не поднимал. Если не веришь, спроси сам у тфокотлей... Да если бы они посмели!..

— Дай-ка мне плетку! — Дарихат вырвала из рук Али-Султана плетку. — Я сейчас покажу этому подлому Арсею — будет помнить меня! Я научу его уважать нас! — И Дарихат бросилась из комнаты.

— Остановись, безумная дочь Наурзовых! — крикнул вслед жене Наго.

Дарихат тем временем выбежала во двор и решительно направилась к воротам.

Мальчишки, сгрудившиеся за плетнем, с визгом бросились врассыпную. Мужчины, почуяв недоброе, повернулись к воротам спинами.

Дарихат распахнула ногой калитку и вышла на улицу:

— Тфокотль Арсей, повернись ко мне лицом, если мать родила тебя мужчиной!

— Что задумала эта сумасшедшая? — недоуменно спросил кто-то.

Арсей, сидевший на коне, не успел ничего сообразить, как Дарихат, взяв его коня за повод, стеганула тфокотля плеткой.

— Ну что, злодей, разве ты лучше меня владеешь плетью?— Дарихат начала хлестать коня. Тот вырывался, как-то жалобно ржал и наконец бросился прочь, но Арсей тут же остановил его.

Поблизости закричала женщина. Заплакал испуганный ребенок.

Тфокотли, видя, что Арсей верхом на коне направляется к воротам Шеретлуковых, тоже бросились туда — не наделал бы он глупостей.

Со двора, обогнав Али-Султана, выбежали Хагур и Тхахох.

Закипая от гнева, Арсей поднял коня на дыбы, чтобы смирить себя. Если бы на месте этой бабы был мужчина, Арсей знал бы, как поступить... А тут?.. Что же делать?.. Сцепив зубы, он сказал:

— Не твоя родовитость сдерживает меня, а твой бабий платок. — Отъехал в сторону и спешился.

— Сгинь с моих глаз, нечестивый! — кричала ему вслед Дарихат. — Сгинь, а не то моя плеть еще раз пройдется по твоей спине!

Ханан сокрушенно качал головой.

— Надо же так! Ну и попал ты, Арсей, в переделку... Дарихат способна на любую пакость. Распустил ее Наго, распустил до безобразия. Похоже, не он мужчина в доме, а эта безумная баба. — Он похвалил Арсея: — Ты вел себя мужественно. Я бы, наверно, не сдержался и опозорился.

— Какое же тут мужество? Тебя хлещут по спине, а ты только уворачиваешься и потом уходишь, не ответив тому, кто оскорбил. Да о себе я уж и не думаю — коня жалко, посмотри, как он испугался, до сих пор дрожит. Баба — и вдруг так сильно бьет плеткой, так крепко держит коня! Я думал, она с ног его свалит... Не баба, а настоящий жеребец!

Тфокотли рассмеялись.

— Не только ты, даже мы перепугались. И учти, коня она держала левой рукой, сколько же у нее силы в правой?

— Недаром говорят: разбушевавшаяся, потерявшая стыд баба — страшнее шайтана.

— Я ее однажды и не такой видел... — Ханан достал кисет и стал набивать трубку. — Как-то Наго забыл табак и трубку, ну, и велел мне пойти и принести. Пошел я. Зашел в комнату, а Дарихат лежит в постели в одной ночной сорочке...

— Ты тогда еще холостяком был? — спросил кто-то.

— Да... Дарихат тоже была молодой, только что вошла в дом Шеретлукова... Увидел я ее, молодую, красивую, ну, остолбенел. До того растерялся, с места не мог двинуться. Ну, прямо столбняк на меня нашел. Пока стоял да кашлял, мямлил что-то про кисет, Дарихат, как кошка, вскочила, схватила деревянную сандалию — да мне по башке, да в шею. Как котенка вышвырнула. Хватка у нее, скажу я вам, как у одноглазого великана. О-о, я, наверно, с месяц обегал ее за версту, боялся на глаза попасться.

— Ты так говоришь, будто видел когда-нибудь одноглазого великана,— заметил кто-то из тфокотлей.

— Если бы ты попал в руки Дарихат, как я или Арсей,— рассмеялся Ханан,— ты бы узнал, что такое одноглазый великан, и уже никогда ни у кого о нем не спрашивал.

Смеялись тфокотли, смеялся и Арсей, но обида сжигала его: значит, на вопрос Али-Султана: «Не соскучилась ли твоя спина по моей плетке?» — ответила Дарихат... «Если ты, Али-Султан, мужественный парень, лучше бы сам попытался отхлестать меня. Хуже, чем вы, Шеретлуковы, поступили со мной, ничего не может быть. И не с Дарихат же мне рассчитываться за обиду? А надо рассчитываться, надо, иначе жизни мне нет. И я рассчитаюсь, обязательно рассчитаюсь, не люблю ходить в должниках. Окрестности Бастука не так велики, чтобы мы не со-

шлись с тобой один на один, Али-Султан. Я не только заставлю тебя слушать песню о Хатхе Кочасе — ты сам споешь ее для меня. Это мое мужское слово. Мы оба с тобой мужчины, и чья кровь прольется первой, покажет время».

Глава десятая

1

Хагур решил больше не откладывать и поговорить с Акозой. Не открыв рта, не узнаешь желания другого. Кто знает, что думает о нем девушка, люб ли ей он? «Тхахох ведь тоже считает, что Акоза смотрит на него ласково. Надо наконец узнать правду. Наго последнее время относится ко мне хорошо. Али-Султан тоже на меня не обижается. Может, аллах смилостивится надо мной, вразумит Наго и тот не будет чинить мне препятствий. Шеретлуковы сделают доброе дело, о котором я буду помнить всю жизнь».

Земля просыпалась, освобождаясь от снега. Ветер был все еще по-зимнему резкий, но не такой холодный.

Размышления Хагура были прерваны — он вдруг услышал ржание дерущихся лошадей и посмотрел в сторону сарая. Кони яростно грызлись, чего раньше с ними никогда не случалось. Хагур бросился к конюшне, чтобы унять их. Дрались кони Наго и Али-Султана. Они бросались друг на друга, выкатив глаза и разметав гривы, ни один из них не хотел сдаваться. Чего это они не поделили между собой? Любой крестьянин знает: когда дерутся кони — это недобрая примета. В дом должна прийти беда. А здесь дерутся кони отца и сына. Что бы это могло значить?

Хагур нагнулся, схватил хворостину, закричал. Но кони не обратили внимания на его окрик и продолжали кусаться, пламя полыхало в их глазах. Тогда Хагур выхватил из ворот загона засов и ударил по крупу первого, ближнего от него коня, и в ту же минуту раздался голос хозяина:

— Осторожно, Хагур, ты можешь его покалечить!

— Если их не разнять, они покалечат друг друга, Наго,— ответил Хагур, но все же опустил засов на землю.

— Нога коровы не убивает теленка... Так и эти... Они не убьют друг друга. И ты не бросайся на них, как зверь, а постарайся тихонько развести их в разные стороны.

— Легко сказать — развести! Вон как они осатанели! — сказал Хагур. И все-таки, ухватившись за поводья, он сумел разнять лошадей.

Смешно было глядеть, как они стояли, повернувшись друг к другу хвостами. Оба мелко дрожали, остывая от ярости. Первым начал приходить в себя конь старшего Шеретлукова, он стал тереться шеей о верхушку кола, а конь младшего все еще не мог успокоиться, сердито перебирал ногами.

— Хагур, кто из коней, двух братьев, рожденных одной матерью, победил? — спросил Наго.

Было странно, что это происшествие не расстроило его, не испортило ему настроение.

— Валлахи, не знаю, Наго.

— Как это не знаешь! Скажи, ну!..

— А что я скажу, когда не знаю, кто победил... И потом ты сам говоришь, что они братья...

— Ну и что! Братья, а все же победитель один. Я и то знаю...

— Кто же?

— Я первый спросил, а ты ответь.

— Валлахи, не знаю, Наго.

— Опять: «валлахи, не знаю»... Смотрю я, Хагур, на тебя,— ты скрытный человек. В Темиргойе совершил мужественный поступок, а здесь трусишь, разве это годится? Скажи сейчас же, не угождая ни отцу, ни сыну! — Наго смотрел на Хагура добродушно.

На самом деле Шеретлуков не был таким уж добродушным, он прикидывался.

«Ну что ты пристал ко мне, как осенняя муха?— думал Хагур. — Ведь известно же, сытый голодного не разумеет... Кто из коней победил — мне все равно. И если отец и сын начнут драться, как эти кони, мне тоже все равно, кто победит. И чего ты меня выспрашиваешь? Я же знаю, как ты отнесешься ко мне, если я не угадаю. Если бы конь, подравшийся с твоим, принадлежал тфокотлю, ты бы меня не расспрашивал, ответ наперед известен. Ты бы лучше спросил о другом... Не вечно же я буду молод... Сын-то твой моложе меня, а ты только тем и занят, что ищешь ему невесту. В Шапсугии не осталось ни одной девушки, о которой бы ты не справлялся... Вот бы нам о деле поговорить... А ты задаешь мне хитрые и праздные вопросы. И ведь не шутишь, ждешь ответа, так что не увернешься...»

— Я считаю победителем того, кто первый успокоился,— сказал Хагур и посмотрел в сторону коня Шеретлукова-старшего.

— Я же говорю, Хагур, что ты хитрый,— слабая улыбка мелькнула на губах Наго, и лицо его стало озабоченным. — А если бы здесь стоял Али-Султан, что бы ты сказал ему?

— То же самое.

— А я думаю, что ты сказал бы другое.

— Зачем говорить неправду? Кто первым приходит в себя, тот и победитель.

— Тоже правильно, Хагур. И все же я скажу тебе: если бы ты их не разогнал, моему коню плохо пришлось бы; мне показалось, он ослабел. Вон видишь, как конь Али-Султана смотрит? Не знает, куда девать силу. Глаза горят как угли. А мой совсем присмирел.

— А чего ему не быть сильным, он же моложе...

— Ага, Хагур, теперь и ты согласен со мной. Ничего не поделаешь, мой полдень уже позади, не знаю только, когда наступит ночь.

— Разве ты так стар, Наго?

— А ну-ка, если я не стар, давай поборемся, и тогда ты узнаешь! Не улыбайся, я говорю серьезно. Если ты так легко таскал темиргоевского уорка, я покажусь тебе легче пушинки. — И Наго почти вплотную подошел к Хагуру, словно и вправду собираясь бороться. Оглянувшись по сторонам, он зашептал в самое ухо: — На этом свете нет ничего, что бы не старило нас. Особенно старит мужчину злая жена, это я тебе говорю, запомни. Думаешь, мне приятно было смотреть, что вытворяла дочь Наурзовых прошлой осенью у наших ворот, на виду у всего аула? Я от стыда не знал, куда глаза девать. Бывает, что в гневе и я скажу лишнее, но женщине не пристало поднимать кнут. А что подумали обо мне родовитые! Семья нашего пура — одна из самых известных в Бжедугии. Если жена не хочет признавать меня как главу семьи, как мне вести себя с князем? Так я и живу... А сколько еще скрыто от чужих глаз! Что творится в нашем доме! Смотри, Хагур, никому об этом не болтай. Пойми меня, не коню же мне жаловаться! Ничего я уже не хочу, только бы дали мне спокойно дожить свой век. А еще бы лучше — уйти куда глаза глядят...

Хагуру показалось, что Наго стал еще меньше ростом. Он даже почувствовал какую-то жалость к стоявшему перед ним человеку. Почти половину своей жизни Хагур прожил на этой усадьбе, но никогда еще не видел хозяина жалующимся, сетующим на жизнь и таким беспомощным. Глаза у Наго запали, их обвели тени. Такие, какие бывают, когда человек проводит ночи без сна. В глазах — печаль. И одет небрежно: высокая папаха съехала набок, пояс с пристегнутым кинжалом болтался, желтые сафьяновые сапоги и то не были натянуты так, как прежде. И по одежде, и по выражению лица чувствовалось, что он потерял уверенность в себе. А главное, чего это пустился в откровения? Хорошо это или плохо? Как бы такая откровенность не вышла боком, не окончилась враждой между родовитым и простым тфокотлем.

Поначалу признание Наго обескуражило Хагура, а потом даже напугало. «К чему мне знать про обиды и горести Шеретлуковых,— мучился он,— если у меня хватает своих? Как бы тяжело ни было нам, тфокотлям, мы не бежим к родовитым делиться своим горем. Каждый носит свою ношу на собственном горбу. Да и кому нужна чужая ноша?»

— Вот такие, Хагур, дела. Если ты можешь понять меня...— печально сказал Наго.

— Я понимаю тебя,— снова попытался вывернуться Хагур.— Не падай духом, как-нибудь все уладится. Бог поможет.

— Нет, не уладится, как было, так все и будет. Вот сколько

бед может принести в дом глупая женщина. Мне не повезло. А тебе, может, повезет...

И тут у Хагура мелькнула мысль рассказать Наго об Акозе. Ведь тот сам начал этот разговор. Раз он доверился ему, Хагуру, может, стоит приоткрыться? Если хозяин сейчас не захочет его понять и помочь, то уже не сделает этого никогда. Давай, Хагур, хватайся за эту соломинку!..

Хагур уж совсем решился открыть Наго свою тайну, но удержался. Хорошо ли это — говорить о своей радости, если у другого на душе черная туча? Промолчал Хагур. Затаился. А Наго как будто сам что-то понял, угадал его мысли.

— Слушай, Хагур,— проговорил он,— тебе уже столько лет, а ты все один. Жениться-то думаешь? Это надо делать в молодые годы, а не ждать, пока станешь стариком.

— Валлахи, не знаю, Наго. Это зависит от тебя, как ты скажешь.

— Тоже верно. В том, что ты не женат, есть и моя вина. Недаром говорится: не жди доброго слова от того, кто говорит только о себе. Он не знает добра... Хорошо, если ошибку сумеешь вовремя исправить... Вот я и говорю: тебе надо жениться. Выбрать хорошую, добрую девушку и жить с ней в согласии и любви. У меня этого не получилось... Обзаведись семьей, и я тебе помогу. Мы же должны делать добро друг другу. Даст бог, встанешь на ноги, обзаведешься крепким хозяйством и мне будешь опорой. — Наго передохнул и после небольшой паузы спросил: — У тебя есть на примете какая-нибудь девушка?

— Да,— откликнулся Хагур, сам не свой.

— Кто она?

— Акоза,— чуть слышно назвал он имя своей любимой и совсем смутился.

— Акоза, говоришь?.. Акоза — хорошая девушка! Если выйдет за такого, как ты, будет жить в золоте. Хорошо, Хагур, я думаю, ты не ошибся в выборе. У нее на лице написана и доброта, и скромность, почтение к старшим. Уж на что трудно ужиться с дочерью Наурзовых, но Акоза и ей ни в чем не перечит, всегда послушна.

— Но я еще не сказал ей ни слова,— начал было Хагур.

— Ну и что? — поднял брови Наго. — Она не может ослушаться нас. Живет в нашем доме, служит нам. Она нам вроде как дочка. Если ты мне сказал, считай, что она уже дала согласие.

II

— Ты говоришь, он ушел у тебя прямо из рук,— сказал Бечкан и улыбнулся. — Со мной тоже такое случалось. Все мы бываем иногда слишком самонадеянны. Говорят же в народе: «Не обещай княгине шубу из шкуры неубитого медведя». Вот и Мамруко оказался вроде того медведя.

— Верно ты сказал,— вздохнул Дзепш.— Да я не на себя понадеялся — на чужого человека, а это еще хуже. Оставил одного джигита сторожить Мамруко — парень показался надежным,— а сам побежал к Ахмеду Шепако. Ахмеда не застал и сразу же поскакал обратно. Еще издали услышал шум, крики, оказалось, что кто-то стащил у торговца кусок сукна. По описанию тех, кто видел вора, понял, что это и есть джигит, охранявший моего пленника. Вора не нашли, а Мамруко в этой суматохе исчез. Так я и остался ни с чем. Пробовал отыскать хоть какие-то следы. Объехал все побережье — впустую, Мамруко будто сквозь землю провалился.

— В какую сторону он направился, как ты думаешь? — уже серьезно спросил Бечкан.

— Я уверен, его нет на побережье, а больше ничего не знаю. Я расспрашивал о нем и о его спутнике где только мог.

— Если ты расспрашивал о них, значит, спугнул,— рассудил Бечкан.— Не будут же они в самом деле дожидаться тебя, чтобы ты открутил Мамруко голову? У этих людей не один глаз и не одно ухо, а сто! Я знаю поблизости место, куда они могли скрыться. Если их и там не найдем, не надейся этой весной напасть на след, наверняка они уехали к степным ногайцам.

— Что это за место, счастливый тхаматэ? — горячо спросил Дзепш, все еще не теряя надежды отыскать Мамруко.

— Туда можно добраться в полдневный переход, если ехать лесом.

— Поедем! — взмолился Дзепш.

— Поедем,— согласился Бечкан.

Когда они встали, чтобы отправиться в дорогу, Бечкан с головы до ног оглядел своего спутника и остался недоволен. Дзепш отправлялся не на увеселительную прогулку, тогда почему же он без кольчуги? Хочет, чтобы его подстрелили, как зайца, при первом же столкновении? Это никуда не годится. У Бечкана была старая кольчуга, которую он носил еще в молодости, и он решил отдать ее храброму, но безрассудному юноше.

— Подожди-ка, темиргоец.

Дзепш стоял недоумевая. Почему Бечкан так внимательно смотрел на него, почему велел подождать. Чего ждать? Неужели раздумал ехать? Ну что ж, тогда Дзепш поедет один. Он дал клятву и должен ее выполнить, иначе он трус и клятвопреступник и нечего ему делать на этом свете.

— Надень-ка эту кольчугу,— сказал вернувшийся Бечкан.

— А ты? — смутился Дзепш.

— У меня есть другая, а эта будет твоя. Когда меня не станет, добром помянешь.

Дзепш видел кольчуги и раньше, но никогда не надевал, даже не держал в руках. Он знал, что князья носят кольчуги, когда отправляются в поход. Вспомнил, что отец обещал ему кольчугу, когда он возмужает, но не успел выполнить обещание,

был убит. Улегшаяся было тоска по отцу опять всколыхнулась, и еще какое-то новое чувство, щемящее и острое, шевельнулось в его душе. Это было чувство благодарности к чужому человеку, который отнесся к нему, как к родному сыну. Дзепш с трудом сдержал волнение.

— Спасибо, Бечкан! Клянусь кинжалом, что краснеть тебе за меня не придется. Отец покинул этот мир, не успев сдержать слово — подарить мне кольчугу. Можно, я буду считать, что это он подарил мне ее?

— Ну конечно, носи на счастье, парень!

Бечкан вышел из комнаты, зная, что при старшем Дзепш постесняется раздеваться. Как только за ним закрылась дверь, Дзепш надел кольчугу на нижнюю рубаху, потом натянул верхнюю. Кольчуга оказалась почти впору, только чуть широковата.

Обрадованный подарком, он сразу и не заметил ее тяжести, но потом вес ее стал все ощутимей. Руки оставались свободными, а тело будто бы стянуло сетью.

Тут и Бечкан вернулся в комнату. Трудно было предположить, что и на нем тяжелая кольчуга, так легко он двигался.

— Ты готов, темиргоец? Становись рядом.

Бечкан поднял для молитвы руки, юноша встал с ним рядом и повторил его движения. Бечкан молился Зекотху[1]: «О, мой бог! Облегчи нашу дорогу, сделай так, чтобы мы достигли своей цели, причисли нас к тем, кому ты даешь свое благословение».

Они покинули комнату и вышли во двор. Дзепш в последний раз бросил взгляд на гостеприимный дом Бечкана. Он истосковался по родному очагу, по спокойной жизни. Все-таки рыскать по дорогам — не его удел, ему милее возделывать свое поле, пасти скот. Если бы не злые люди, никто бы никогда не покидал семью ради дальних пыльных дорог, ради смертного звона кинжалов. Но злые люди разбрелись по всему миру, и пока они живут, на земле нет счастья. Значит, надо убить всех злых — и наступит счастье.

Дзепш высказал вслух свои мысли. Бечкан невесело усмехнулся.

— Пока ты будешь гоняться за злом по белому свету, оно вырастет у тебя в доме. Люди рождаются добрыми, злыми их делает жизнь. Что же ты, против жизни собираешься воевать? Здесь нужно что-то другое. А что именно, я пока не знаю.

Помолчали.

— Знаешь, темиргоец, почему мы едем по этой дороге? — наконец спросил Бечкан. И тут же сам ответил: — Вон в том крытом камышом доме, в низине, живет одна старушка. Я хочу встретиться с нею. Щедрее, добрее ее не знаю человека. Встреча с ней приносит удачу. Вот ты говоришь о злых людях, но есть и добрые, они делают жизнь радостней. И таких людей

---

[1] Зекотх — языческий бог, покровитель дорог.

больше, чем злых. Надо, чтобы человек сам был добрым, это и есть борьба со злом. Если каждый будет добрым, зло исчезнет с земли.

Пока Бечкан говорил все это, на дороге показалась девочка; она несла на деревянной лопаточке с углублением посередине горящие угли.

— И это к большой удаче,— шепнул обрадованный Бечкан. Он перегнулся с седла и следил за девочкой ласковыми глазами.

— Дай-ка мне прикурить, красавица, если твой огонь не потух в твоих ладонях.

Девочка протянула ему лопаточку, и Бечкан взял уголек пальцами, прикурил от него и положил обратно. «Железные у него пальцы, что ли?» — искренне удивился Дзепш.

— Спасибо тебе, красавица! — поблагодарил Бечкан девочку. — Твой отец — один из самых достойных тфокотлей в ауле, передай, что я желаю ему долгих лет жизни.

— Счастливой вам дороги! — пожелала девочка, пропустив всадников.

И такое спокойное и безмятежное лицо было у Бечкана — не подумаешь, что он едет искать уорка Мамруко. Надо иметь большое мужество и самообладание, чтобы быть таким, как Бечкан. У него есть чему поучиться...

— Что молчишь, темиргоец?

— А что бы ты хотел услышать от меня, счастливый тхаматэ?

— Разве не о чем поговорить? Все на свете достойно беседы.

— Мамруко не выходит у меня из головы.

— Зачем о нем думать сейчас, в самом начале пути? Вот когда настигнешь его и обнажишь меч, тогда и думай, как вернее нанести удар и самому живым остаться. Скажи мне лучше, сколько стоит мед на побережье?

— Я не спрашивал, Бечкан.

— А бурка?

— Видел бурку на базаре, но на цену не обратил внимания.

— А сколько стоят кони?

— Коней в продаже не было.

— Что ты сказал? Коней не было? А что же ты тогда видел на базаре? Значит, глаза твои затмила ненависть. Крестьянин на базаре не пройдет мимо товара — обязательно узнает цену. Думаешь, если он не нужен тебе сейчас, значит, никогда не будет нужен? Ошибаешься! Не век же тебе бегать за Мамруко, придется и пахать, и сеять, продавать и покупать. Гляжу я на тебя, одним днем живешь. Это нехорошо.

Между тем всадники подъехали к дому, на который указал Бечкан.

— Добро пожаловать, Бечкан!— раздался из-за плетня старческий голос. — Говорят: раннего гостя сметана ждет...

Старушка, приветливо улыбаясь, заспешила к воротам.

— Да будет достаток в твоем доме, тян! — обратился к ней с приветствием Бечкан. — Проезжал мимо и завернул к тебе, чтобы узнать о твоем здоровье. Прости, что мы не сможем зайти к тебе в дом, спешим, дорога зовет.

— Да будет аллах доволен тобой, ты не забываешь меня! Порадуй и меня добрыми новостями, расскажи о своем здоровье.

— Я здоров, тян. И дома все здоровы, слава богу. Ну, а если все хорошо на белом свете, можно и дальше ехать.

— Спутник твой, Бечкан, наверно, из дальнего аула? — спросила старушка. — Мне не знакомо его лицо.

— Мой спутник — гость из Темиргойи.

— Да будет достаток в твоем доме! — приветствовал старую женщину Дзепш.

— Да пошлет тебе аллах удачу, юноша! — отозвалась старушка. — Я помолюсь, чтобы дорога ваша была счастливой, дети мои.

Всадники тронулись, а старая женщина еще долго стояла у ворот. Она глядела вслед всадникам не отрываясь, и ее губы шептали слова молитвы.

— Она совсем одна, никого у нее нет,— вздохнул Бечкан. — Погиб муж, погибли дети. Есть какие-то родственники, но не здесь, не хотят брать ее к себе, боятся, что она их объест. А какой она удивительный человек! Сколько добра всем делает, следит за ребятишками, помогает молодым женщинам по хозяйству. Все в ауле ее любят. Наверно, она святая и после смерти сразу попадет в рай.

Вскоре аул скрылся из глаз. Кони веселой рысью бежали по каменистой дороге.

III

Осеннее солнце еще спало, когда Цицара приготовила себе завтрак. Нежное мясо молодого козленка, зарезанного вчера, сочно поджарено. В деревянную миску до краев налито молоко. Если бы слабый ветерок не шелестел листвой, могло показаться, что она у себя дома, в родном ауле, а не в глухом лесу. Подошел конь, пасшийся всю ночь на свободе.

— Пришел, мой сидах [1],— Цицара двинулась навстречу коню. — Сейчас мы с тобой отправимся в путь, только позавтракаю, и поедем.

Конь посмотрел на Цицару так, будто понял, о чем она говорит, и потянулся к плечу хозяйки мягкими, теплыми губами.

Внезапно подул ветер, зашумели верхушки деревьев, и раздался треск сломанных сухих сучьев. Цицара и конь подняли

---

[1] Сидах — мой красивый, красавец.

головы, напряженно прислушиваясь, но тревога была напрасной, и они успокоились.

Цицара села завтракать. Ее густые, длинные волосы были тщательно спрятаны под шапку. Такие шапки носят мужчины, никогда еще женщина не надевала этот головной убор. Шапка делала ее похожей на юношу. За то время, что она блуждала по лесам, убежав от Абдулы Суная, она успела привыкнуть к мужской одежде. Серебряный пояс с кинжалом шел ее стройной фигуре, на ногах ловко сидели сафьяновые сапожки.

За годы, прошедшие после того как по воле князя Шерандука Цицару вырвали ночью из объятий Тамбира, много трудностей выпало на ее долю. Она жила в доме Суная, оберегая свою женскую честь в надежде, что Тамбир отыщет жену, освободит. Ей угрожали, ее уговаривали, она спрятала на груди ножницы и не расставалась с ними, как с единственным оружием — больше ей нечем было защищаться. И это возымело желанное действие, ее стали побаиваться. Услышав, что Тамбир погиб от руки Шерандука, Цицара оплакивала его всю ночь, а потом, увидев у крыльца оседланную лошадь, вскочила на нее и ускакала.

Она не поехала в Бжедугию, а направилась в сторону Бесленеи. В Бжедугии у нее не было родственников, она попала на усадьбу князя Шерандука, когда ей исполнилось всего пятнадцать лет: ему продали ее за отрез на брюки. Там она встретила и полюбила Тамбира. Даже утрату свободы она перенесла мужественно, но, потеряв самого дорогого человека, почувствовала себя такой одинокой, как будто осталась круглой сиротой. Ей не хотелось жить, не хотелось ни дышать, ни разговаривать, ни видеть окружающих.

Но даже могучие горы разрушает время. Так и горе человеческое слабеет с годами. Чем больше горе, тем медленнее наступает забвение, но все равно, рано или поздно боль стихает. Цицара стала понемножку оживать.

На высокогорных пастбищах, в верховьях реки Зеленчук, нашла она пристанище у чабанов, которым поведала свою печальную историю. Жила у них не месяц и не два — готовила им пищу, стирала. Чабаны относились к ней, как братья. Их было много, и это ограживало ее от всяческих посяганий. Чабаны бдительно следили друг за другом, чтобы никто из них не посмел обидеть Цицару. Может, кое-кому из чабанов и хотелось назвать ее своей женой, но она никого не выделяла.

За время, проведенное у чабанов, она научилась владеть оружием, крепко держаться в седле. Одним выстрелом сбивала на лету птицу и на бегу — зайца. Научилась стеречь овец, снимать шкуру и разделывать тушу. Тело ее окрепло, налилось силой. Цицара рассказала друзьям о своей давнишней мечте: отомстить князю Шерандуку, принесшему несчастье в ее дом. Если она погибнет, не успев отомстить, значит, не встретится

на том свете с Тамбиром, бог накажет ее вечной разлукой с ним.

Кое-кто из чабанов согласился с ней, считая, что она права, другие же отговаривали, клялись, что не пустят сестру на дорогу смерти. Но, что бы ни говорили чабаны, верх взяла окрепшая с годами мысль о мести.

Два всадника проводили ее до Темиргойи. Ехали молча, думая о том, что, вернувшись, уже не увидят сестру у шалаша, не услышат ее голоса. Возле границы с Темиргойей стали прощаться.

— Теперь, сестра, счастливой тебе дороги! — сказал старший. — Как мы без тебя жить будем?.. — и, чтобы не выдать волнения, сразу повернул коня обратно.

— Цицара... — только и сказал младший.

Цицара увидела такую печаль в глазах парня, словно он терял самое для него дорогое, будто с жизнью прощался. Она и сама растерялась: может, зря уезжает? Тамбира уже не вернешь, а жить надо. Вышла бы замуж, родила детей, была бы счастлива. Счастлива? С другим? Никогда! Ее счастье развеял по свету жестокий князь, и не будет Цицаре покоя ни на земле, ни под землей, пока живет обидчик!

Дробный стук копыт рванувшихся с места коней сжал сердце Цицары. Она горько заплакала и, круто свернув с дороги, уходившей вверх, поскакала в долину. Ей хотелось спрятаться в лесу, который чернел вдалеке, на берегу Лабы.

Перебравшись через речку, Цицара переоделась в мужскую одежду, которой снабдили ее чабаны. В укромном месте оборудовала себе жилье. И началась ее новая, полная тревоги жизнь. Цицара, может, еще долго жила бы в этом надежном месте, но однажды, когда она купалась в реке, ее увидели с берега люди. Мало ли что они могли подумать, а самое главное — могли разгадать ее тайну, и поэтому Цицара покинула свое убежище, перебравшись в Шапсугию, поближе к владениям князя Шерандука. Отсюда недалеко и до побережья, где можно достать все что нужно для осуществления ее плана.

Цицара съела с кашей два куска жареного мяса, остальное положила в сумку. Ветер перестал шуметь листвой. На востоке стало яснеть. Занимался новый день. Небо над головой посветлело, и сквозь густую листву уже пробивались первые солнечные лучи.

— Что, милый, заждался меня? — спросила она коня. — Сейчас, хороший мой, сейчас... — Посмотрела вокруг, не забыла ли чего, и сама себе сказала: — А теперь совершим утренний намаз.

Перед тем как расстелить циновку и преклонить колени и голову, Цицара сняла оружие и совершила омовение, потом стала молиться. В молитве она просила аллаха облегчить ей трудную дорогу, послать удачу и дать силы для свершения де-

ла, самого важного в ее жизни. Пусть пуля врага будет слепой, когда полетит ей в грудь, пусть аллах широко раскроет двери рая для ее возлюбленного мужа, за которого она мстит на этой земле.

Окончив намаз, Цицара привычно вскочила в седло и углубилась в лес.

IV

Давно уже рассвело, а Наго все еще валялся в постели. По дому разносился голос Дарихат, отдававшей кому-то распоряжения. Скрипучий, как немазаная телега, он раздражал Наго. Вдруг послышался смех, это весело рассмеялась Акоза. Наго давно не слышал, чтобы Акоза так звонко смеялась, да и вообще не слышал, чтобы она смеялась. Была бы у него такая ласковая, проворная и веселая жена, он был бы самым счастливым человеком на свете. Да, у него есть скот, дом и все, что нужно. Он богатый человек, а счастья, простого, обычного счастья, нет. Какой-нибудь последний бедняк удачливее его. Почему так?

Хагур женится на Акозе и будет счастлив, а он, Наго, уже никогда, даже за все свои деньги, не получит того, чего ему больше всего хочется: покоя, ласки, душевного тепла.

Чем больше думал об этом Наго, тем невыносимее казалась ему собственная жизнь, жена, весь мир. Он почувствовал острую неприязнь к Хагуру. «Нет, не таким, как ты, создавать себе семью. Помогу я тебе стать на ноги, а ты меня потом свалишь и растопчешь. Дурак я, душу ему открыл, жаловался. Ведь он только посмеется надо мной, мое горе — ему забава, не больше. Не зря говорил эффенди Шалих, пропавший в Каабе,— да пошлет ему аллах долгие дни, если он жив, и светлый рай, если он мертв,— чтобы мы держали тфокотлей в строгости. Бедняга, стал бы одним из мудрейших эффенди Шапсугии, если бы вернулся хаджой; жил бы припеваючи. Кто знает, где он сейчас...»

Наго было жарко, неудобно в постели. Он полежал еще немного, сбросил одеяло и поднялся. Одевшись, вышел во двор. Гора Пепау, не показывавшаяся уже несколько дней, сегодня видна отчетливо. На ее вершине сверкал снег, а у подножия было уже тепло, лес ожил, зазеленел. Вчера вечером ветер поднял в саду целый ураган из белых лепестков. Воздух и сейчас напоен ароматами.

Было позднее утро, тфокотли уже успели закончить дела во дворе: выгнали скот, напоили верховых коней, выкупали их и поставили к выезду. Над навозом, собранным в кучу в углу загона, поднимался пар.

Хагур заметил в руках у Наго плеть, которую тот всегда брал с собой, когда собирался ехать, и вывел ему выездного коня.

— Ну, Хагур, как живешь с божьей помощью? — осторожно спросил Наго.

— Спасибо, Наго, живу потихоньку.

— Какое там потихоньку, у тебя лицо счастливого человека. Где Тхахох?

— Он сегодня стадо пасет.

— А куда отправился Али-Султан?

— Только что выехал, ничего не сказал.

— Ну, хорошо. Ты готовишься, Хагур, к тому, о чем мы с тобой говорили?

— Как скажешь, Наго. Я готов,— Хагур снова почувствовал, как молодая, жаркая кровь стремительно побежала по жилам.

— Ну, если готов, Хагур, поговорим о деле, когда вернусь. А пока думай о том, куда повезешь невесту...

Зачем он заговорил с тфокотлем на эту тему, Наго и сам не знал. Ведь только что, лежа в постели, думал по-другому. Ему был неприятен сам вид молодого, красивого парня, у которого еще столько сил, столько впереди времени, удач, счастья...

А Хагур остался наедине со своей радостью. Он никак не мог отважиться посмотреть в сторону дома, где легко, как воздушная, ходила сейчас его возлюбленная. Хагур посмотрел на Пепау. «О величавая гора Пепау! Дай тебе бог красоваться и возвышаться надо мной, смертным, а мне, боже, дай только мою Акозу, и больше ничего не надо!» — шептали его губы.

Если бы не звуки наковальни Шабана Патареза, раздавшиеся со стороны низины, Хагур еще долго стоял бы, забыв обо всем, кроме слов Наго. Но стоять некогда, время идет. Надо еще сказать обо всем Акозе, спросить, согласна ли? Напрасно беспокоится Наго о том, куда повезет Хагур невесту на время свадьбы. Надо встретиться с ней до возвращения хозяина. Хагур представил, как это произойдет. Он подойдет к кухне, встретит кого-нибудь из кухарок и попросит, чтобы позвали Акозу. А когда скажет ей о своих чувствах и получит согласие, пойдет к друзьям посоветоваться о предстоящих торжествах. У него давно припасен отрез на брюки, надо попросить жену Анзаура, чтобы она ему их сшила. Нужно привести себя в порядок, чтобы все было как следует. Мало ли хлопот, связанных с женитьбой! А самое главное, как сказать обо всем Тхахоху, лучшему другу? Но ведь, если по-честному, не он, Хагур, выбирает, а Акоза. Это ее право. Тхахох должен все понять и не обижаться.

Словно догадавшись о мыслях Хагура, во дворе появилась Акоза и пробежала на кухню. Хагур хотел пойти за ней, но вскоре девушка снова вышла — с деревянным ведром в руках она направилась к колодцу. Хагур спрятался за скирду и тихонько позвал:

— Акоза!

Она живо обернулась:

— Что, Мос?
— Подойди сюда...
— Грех, если кто-нибудь увидит меня с тобой.
— Не бойся, мне надо сказать тебе кое-что важное.
Поставив ведро на землю, Акоза стыдливо оглянулась по сторонам и подошла.
— Стань под скирдой, так тебя не увидят,— начал Хагур и вдруг застыдился, оробел, покраснел, как солнце на закате.— Вот что я хочу сказать тебе... Как ты смотришь на то, чтобы мы поженились?..
Теперь запылали щеки у Акозы.
— Я понимаю, в каком мы оба положении, но если хочешь узнать мой ответ, сначала выслушай, что скажу. О таком деле, Хагур, не говорят, прячась за скирдой. Мы должны уважать обычаи. Навести меня вместе с каким-нибудь товарищем, как это делают всегда, когда сватают девушку, приди ко мне в любой вечер, когда тебе будет удобно, и я дам ответ.
Акоза ушла, даже не ушла — скользнула мимо, как дуновение ветра, а Хагур еще долго стоял на месте, пытаясь успокоить сердце. «Акоза, безусловно, права. Если она служанка родовитых, это еще не означает, что к ней не должны приходить женихи. Неправильно я поступил. Если сам себя уважать не будешь, и другие уважать перестанут. Договорюсь с Шабаном, и вечером пойдем к Акозе,— решил Хагур.— Акоза права. Из того, что она сказала, не выкинешь ни слова. Я бы и сам сделал все, как надо, если бы Наго не заставил поторопиться».
Наго вернулся не так быстро, как обещал. Он приехал после обеда с Мамруко и Макаем. Гости еще не успели присесть, как Наго послал за Хагуром.
— Хагур,— сказал он,— надо этот отрез сукна отвезти Хаджумару, он собирается в Бжедугию. Скоро уже вечер, но ничего не поделаешь, давай отправляйся в путь. Я дам тебе хорошего коня, и поезжай с богом. Ну как, сделаешь это для меня?
— Конечно, сделаю! — ответил Хагур. Он даже не удивился словам хозяина, Наго и раньше давал ему всякие необычные поручения. Эти родовитые иногда такое выдумают, что нормальному человеку и в голову не придет.
— Поторопись, Хагур! И вот что, если доедешь быстро, назад не спеши, дай отдохнуть коню, а то еще загонишь. Побудь денек-другой гостем, там тебя не обидят,— говоря это, Наго чему-то все время улыбался.
А Акоза как на крыльях летала по большому дому Шеретлуковых. После разговора с Хагуром она чувствовала необыкновенный прилив сил. Глаза ее сияли. Трудно было сейчас узнать в ней девочку, купленную когда-то Шеретлуковым на побережье за отрез на брюки. За это время она стала девушкой, с горделивой осанкой, настоящей красавицей.
Дарихат следила за ней взглядом, как никогда внимательным и злобным.

— Расчеши мне волосы,— потребовала она.— Чего это ты забегала, словно тебя оса укусила?

Акоза молча расплела волосы госпожи, которые утром заплетала. Стала осторожно расчесывать. Чувствуя прикосновение нежных рук, Дарихат расслабилась, будто впала в забытье. Акоза же думала о Хагуре: «Какое странное поручение дали моему Мосу. На ночь глядя ехать в такую даль... Будто Наго не мог дождаться завтрашнего дня. Это ведь опасно — один в дороге, да еще ночью». В душе Акозы стала нарастать тревога.

— О чем ты там думаешь? — очнулась наконец Дарихат.— Хватит расчесывать, заплети косы.

Акоза снова заплела волосы и стала у двери. Дарихат окинула ее оценивающим взглядом. «Как ты ни красива, голубка, а цена твоя — отрез на брюки. За сколько взяли, за столько и отдадим»,— думала она злорадно.

В это время к воротам Шеретлуковых подъехал всадник. Было видно, что он издалека.

— Наго, поздравляем тебя! У великого бжедугского князя Кансава Хаджемукова в доме большое торжество. Ваш пур женился на дочери князя Шерандука!

— Что ты говоришь! — выбежал из дома Наго.— Повтори еще раз эту радостную весть, дай бог тебе долгих лет! Слышите, люди, слышишь, дочь Наурзовых? Наш пур взял себе в жены дочь славного князя Шерандука! Эй, кто-нибудь! Приведите оседланного коня тому, кто принес нам благую весть!

V

Хагур провел ночь у Наурзовых, чтобы не сказали, будто он не бережет коня, а под утро выехал в обратный путь. Ему не терпелось оказаться поскорее дома, поэтому он не только на день — на час не хотел задерживаться в чужом ауле. Он и так всю долгую ночь не сомкнул глаз, хотя сильно устал в дороге. И все время думал об Акозе. Самое трудное, считал он, уже позади. Наго дал согласие, Акоза тоже не отказала. Осталось зайти к ней, а потом можно готовиться к свадьбе.

До обеда Хагур никого не встретил. Видел издалека только стада, пасущиеся на возвышенностях. Хорошо, что он был один, никто не мешал ему предаваться своим мыслям, мечтать о любимой, строить планы. В бесконечные яркие узоры сплетались его мысли. Но иногда ему становилось страшно: а вдруг какая-нибудь случайность разрушит его счастье? Вдруг Дарихат будет против и не отдаст Акозу? От нее можно всего ожидать. Но Хагур никогда ничем не обидел Дарихат, не грубил ей, не отлынивал от работы. Зачем же ей ссориться с ним?

Он неожиданно въехал в лес. На него навалилась густая лесная духота: солнце сюда почти не проникало. Тревога его усилилась, и настроение совсем испортилось. Он знал, что Да-

рихат может заупрямиться, и тогда ее не сломить. Мужчина в конце концов может понять мужчину, помочь ему. Женщина же, особенно такая, как Дарихат, вообще никого понять не способна.

Хагур подстегнул коня, выехал из леса, огляделся вокруг. Навстречу ему со стороны аула двигался всадник, и ему не понравилось, как торопливо и вместе с тем осторожно ехал этот неведомый человек. Хагур попридержал коня, чтобы разглядеть, кого ему послал бог на пустынной дороге, но тот бросился в сторону и пустился по короткой дороге. «Напрасно я подумал плохо о человеке,— убеждал себя Хагур. — Может, его, как и меня, послали куда-то с поручением. Нечего удивляться, что он так бешено скачет,— я сам вчера так же скакал, не разбирая дороги, по оврагам и лесам».

Доехав до поворота, Хагур на минуту замешкался, подумал, не заглянуть ли к Бечкану, но вдруг, похолодев, вспомнил о Мамруко и Макае. Как попали эти злодеи в дом Шеретлуковых? Ведь ходили слухи, что они убиты. Видно, таких разбойников даже смерть не берет. Прежде они никогда не приезжали днем — всегда ночью. И Мамруко не из тех, кто просто так ездит в гости. Значит, это неспроста.

Совсем близко раздался конский топот. Хагур очнулся от дум. Неизвестный, но хорошо вооруженный юноша ловко сидел в седле. Всадник приветствовал, подняв руку:

— Добрый путь тебе, счастливый тхаматэ!

— И тебе счастливого пути, брат мой! — откликнулся Хагур.

Всадник был очень красив и молод. На его ярких губах проскользнула легкая, как мотылек, улыбка. Глаза живые, искрящиеся, черты лица — тонкие, нежные. Про такие лица говорят: девичьи. Видимо, и неженка этот незнакомец! Если бы не потертая шапка на голове, его можно было бы принять за княжича. Но шапка выдавала в нем тфокотля.

— Что это за человек, который проскакал бешеным галопом? — спросил Хагур.

— Валлахи, не знаю! Я тоже обратил на него внимание, но не узнал.

— А ты откуда и куда держишь путь? — поинтересовался Хагур.

Если бы кто-нибудь сказал Хагуру, что перед ним женщина, он бы ни за что не поверил. Но это было так. Перед ним в мужской одежде и в полном боевом снаряжении стояла Цицара. Она так ловко выдавала себя за юношу, что усомниться в этом было невозможно.

— Я еду в Бжедугию, чтобы выпороть плетью князя Шерандука,— ответил мнимый юноша.

— Выпороть Шерандука? — искренне удивился Хагур. — Впрочем, он стоит того. Не только выпороть, голову с плеч снять не мешало бы.

— Это я успею и потом,— ответил таинственный мститель.— Мне будет приятно, если узнают, что князя выпороли плетью. Эту весть разнесут по всей Бжедугии и другим адыгским землям. Пусть князь сполна испытает стыд, насмешки. Это больнее, чем если я одним махом отрублю ему голову... Таков мой путь. Прощай!

Хагур еще какое-то время постоял, глядя вслед всаднику. Жаль, что не узнал его имени. Когда еще выпадет случай встретиться с этим прекрасным и мужественным юношей!

Когда он выехал на Бастукскую возвышенность, солнце уже клонилось к западу, опускаясь над горой Пепау. Раньше, еще мальчиком, Хагур думал, что солнце живет за горой в таком же маленьком доме, как у них, и мечтал о том, что вырастет и найдет дом солнца, придет к нему в гости. Это уже потом он понял, что солнце уходит за край земли, а гор на земле много...

Как только взору Хагура открылся родной аул, он сразу же посмотрел в сторону усадьбы Шеретлуковых и увидел там толпу людей, рядом с ними стояли оседланные кони. Это его встревожило. Люди все прибывали, они теснились уже за пределами усадьбы. Ясно, что там случилось что-то недоброе. Не умер ли кто? Столько народу могло собраться только из-за родовитого.

Хагур скакал, и никто не попадался ему навстречу, не у кого было спросить, что случилось. Наконец, увидев какую-то старушку, он резко остановил коня:

— Тян, что случилось в ауле?

— Большое несчастье. Конь Шеретлукова-старшего вернулся домой с телом хозяина. Наго убит.

— Кто его убил?

— Не знаю. И никто не знает...

— Давно это случилось?

— Недавно, сын мой, несколько часов назад,— вздохнула старуха.

Не доезжая до усадьбы, Хагур спешился, оставил коня у первой попавшейся коновязи и пошел к дому. Двор был забит людьми — яблоку упасть негде. Из комнат доносился громкий женский плач. Хагур хотел было подойти к Али-Султану, сказать положенные в этом случае слова, но, увидев группу мужчин, присоединился к ним. «Зачем лезть на глаза, лучше подойти к сыну покойного всем вместе...» — здраво рассудил он.

Когда церемония закончилась, Али-Султан повернулся к Хагуру и молча уставился на него, будто что-то выпытывая.

— Большое горе постигло нас, Али-Султан! — в ответ на его взгляд проговорил Хагур. — Пусть этот день станет последним горестным днем в твоей жизни.

Он отошел, затерялся в толпе. И стал искать Тхахоха, чтобы расспросить обо всем поподробнее. Заметив его возле самого загона, поспешил к нему.

— Наконец-то ты приехал, Мос... — сказал Тхахох с каким-то необычным блеском в глазах. — Зачем тебе нужно было ехать туда, несчастный?

— Меня послали,— стал оправдываться Хагур. — Не думаешь ли ты, что я соскучился по Наурзовым, провалились бы они совсем! Но как убили Наго, кто это сделал? Аллах видит, случилось невероятное.

— Ничего здесь невероятного нет,— буркнул Тхахох, и глаза его сузились, как это бывало с ним в минуты сильного гнева. — Ты бы спросил лучше, что случилось с Акозой.

— А что случилось с Акозой? — вскрикнул Хагур, руки его задрожали так сильно, что пришлось стиснуть в кулаки.

— Сегодня ночью Мамруко увез Акозу...

— Как увез? — не поверил Хагур. До него никак не мог дойти смысл сказанного Тхахохом, и он почти машинально переспросил: — Как?!

А потом, тяжело переставляя одеревеневшие ноги, побрел в сарай и долго стоял там у яслей, пытаясь унять бившую его дрожь.

Не оборачиваясь, он с упреком сказал Тхахоху:

— И у тебя не хватило мужества защитить ее?

— О-о! Если бы я знал, если бы только видел! — с угрозой произнес Тхахох. — Я только сегодня утром узнал об этом. А насчет мужества... Это я рассчитался с Наго.

— Ты?! — обернулся Хагур. Он не поверил услышанному и переспросил: — Ты? Это сделал ты?

— Да, рассчитался с Шеретлуковыми за всех, над кем они издевались.

— Видел тебя кто-нибудь, когда ты...

— Только небо и земля. Мне кажется, они меня простят, ведь я поступил правильно.

— Но чего же мы здесь стоим, когда мерзавец Мамруко везет Акозу на побережье! Надо что-то делать, надо спешить!

— Ты уверен, что он везет ее на побережье? — усомнился Тхахох.

— Больше ему деваться некуда... Я думаю, мне надо ехать на побережье одному. Справлюсь, если догоню. А ты оставайся, нельзя тебе ехать, а то можешь навлечь на себя подозрение. Меня они ни в чем не могут обвинить, я был у Наурзовых. Ну, мне пора. Надо повидаться с Ахмедом и Бечканом, а когда на похороны приедут из Абадзехии, надо, чтобы об Акозе обязательно узнал Нарыч. И сообщил обо всем Ламжию. Все наши друзья должны знать об этом, они, конечно, помогут нам. Мамруко не удастся скрыться. Мы найдем его! Если в Бастуке будут спрашивать обо мне, ничего не скрывай, так и скажи: поехал выручать Акозу.

Хагур перемахнул через плетень, пробрался к своему коню и ускакал. Стояла уже глубокая полночь, когда он на взмыленном

коне подъехал к дому Бечкана. Не сходя с коня, громко позвал хозяина.

Скрипнула дверь.

— Добро пожаловать, гость! — раздался женский голос.

— Кто ты будешь, сестра?

— Жена Бечкана, дочь Шхабовых,— ответила женщина.

— Я хотел бы видеть твоего мужа.

— Вот уже три дня, как он уехал с темиргойцем Дзепшем.

— Тогда передай Бечкану, что его по очень важному делу хотел видеть Хагур.

— Хагур из Бастука? — спросила дочь Шхабовых.

— Это я, если ты слышала про меня, сестра.

— Слышала много раз от Бечкана. Добро пожаловать, Хагур! Я жду Бечкана и темиргойца, они должны вот-вот приехать. Добро пожаловать!

— Спасибо, сестра, но я очень тороплюсь. Мне надо успеть к утру на побережье. Может, и Бечкан с Дзепшем поехали туда?

— А скажи, Хагур, Мамруко не показывался в ваших краях?

— Он был у нас, сестра. Украл девушку и, наверно, повез ее на побережье, туда я и тороплюсь.

— Боже милостивый! — воскликнула дочь Шхабовых. — Несчастная девочка! И когда они уймутся, эти проклятые звери, когда их покарает аллах?! Сколько лет девочке?

— Около двадцати... До свидания, сестра.

— Удачи тебе, Хагур!.. Я все расскажу Бечкану,

VI

Мамруко и Макай всю ночь скакали без передышки, чтобы успеть к утру на побережье. По их расчетам, Хасан-Мурад со своим кораблем должен был еще находиться в условленном месте.

Они не стали заезжать ни на базар, ни к кому из своих друзей, чтобы успеть сбыть с рук Акозу. Товар дорогой и опасный. На адыгской земле такое дело провернуть не просто. Вот отвезут девчонку на корабль, тогда, считай, опасность позади. Больше никто никогда ее не увидит, исчезнет бесследно, как брошенный в море камень.

Уже рассвело, когда всадники увидели за поворотом море. На рейде стояло несколько кораблей. Море было тихое, ленивое. Оно все еще дремало, прикрытое сизым, прозрачным туманом. И корабли, как огромные всплывшие рыбы, тоже дремали, а их мачты со спущенными парусами были похожи на странные плавники этих рыб. Среди судов, у ближней скалы, дремала и посудина Хасан-Мурада.

— Хасан-Мурад нас ждет! — обрадовался Мамруко. — Вот уж деловой человек! Не помню, чтобы он хоть раз подвел.

— Хоть и порядком мы измучили коней, зато успели вовре-

мя, а конец делу венец,— обрадовался и Макай. — А главное, ловко мы улизнули, никто не напал на след. Теперь пусть хоть все побережье обшарят!

Мамруко ухмыльнулся:

— А кто нас мог преследовать? Я ведь хитро придумал — велел услать Хагура в Кудако с поручением, а он-то и есть наш самый опасный противник.

Связанная Акоза, лежавшая поперек седла, застонала.

— Что тебе не нравится, сестра моя? — спросил Мамруко. — Эх ты, дурочка, даже не подозреваешь, какая райская жизнь ждет тебя в Турции. Каких только чудес там не насмотришься! А будешь умницей, так и вовсе как сыр в масле заживешь. Шеретлуковы, прекрасная Дарихат,— засмеялся Мамруко,— только в кошмарном сне приснятся! Не раз потом поблагодаришь нас с Макаем, что вызволили тебя из того пекла, белый свет показали. Помолись тогда, сестра, за наши грешные души.

— Сними у нее со рта повязку,— взглянув на Акозу, с сочувствием в голосе сказал Макай.

— Ты что?! Снять повязку, чтобы она осыпала нас проклятьями? Нет уж. Вот отойдет корабль от берега, тогда и снимут. Пусть потом говорит что угодно, пусть проклинает нас. Я, слава аллаху, уже ничего не услышу.

— Я говорю, дай ей немного подышать. Не из жалости к ней говорю, просто она отдышится малость и будет лучше выглядеть. Товар надо лицом показывать... На этот раз разреши мне самому торговаться с Хасан-Мурадом. Надо взять за нее хорошую цену, а то он вечно надувает нас, половины цены не дает. Будь уверен, в Турции он хапнет за нее кругленькую сумму!

— Не наше дело, сколько он хапнет в Турции. Каждый получает свое. Ему ведь тоже не просто торговать таким товаром, у него опасностей не меньше, чем у нас. Те же наши адыги знаешь как на него зуб точат? Попадись он им где-нибудь — шкуру с живого спустят.

— Ты, наверно, прав,— согласился Макай.—Но посмотри-ка, посудина Хасан-Мурада, кажется, поднимает паруса. Надо торопиться, а то, чего доброго, уплывет, не дождавшись нас.

Один рывок — и всадники уже въезжали в долину.

Базар был в самом разгаре. Долина, заполненная людьми, напоминала улей: столько шума, столько движения! Телеги, запряженные волами, лошади, носильщики, торговцы, покупатели... У человека, попавшего сюда с возвышенности, появлялось ощущение, что он попал в какой-то иной мир, где не сразу сообразишь, на что смотреть, кого слушать.

Но Мамруко и Макаю было не до базара, они поспешили к берегу.

С корабля никто не показывался. Они подождали некоторое время, потом Мамруко, не решаясь крикнуть, стал размахивать плетью.

— Не знаю, что там случилось, но такого еще не бывало,— сказал Мамруко с досадой.

— Может быть, нас не видят?

— Видят. Этот лис Хасан-Мурад обо всем догадался, хочет выгадать в цене и начал с нами игру. Собачье отродье! Если уж на то пошло, мы тоже знаем, как поступить. Сделаем вид, что уезжаем обратно, посмотрим, что он будет делать.

И Мамруко с Макаем повернули коней.

Тотчас со стороны моря раздался свист. Но они не обернулись. Свист стал еще громче, и Мамруко краем глаза заметил, что на море спускали лодку, люди махали руками, делая знак остановиться. С другого судна тоже спустили лодку, и обе они поплыли наперегонки по небесно-голубой глади моря.

— Ну что, хитрец? — остановился Мамруко, наблюдая за лодками. — Ну, радуйся, Макай. Он сам себя одурачил, а нам с тобой теперь и торговаться не надо. Получим хорошие деньги.

Лодка Хасан-Мурада пришла первой. Торговец спрыгнул на берег и бросился к уоркам с широко раскрытыми объятиями, будто не видел их много лет.

Пока обнимался с уорками, внимательно, хоть и быстрым взглядом, осмотрел Акозу. Она, еще связанная, стояла рядом с конем.

Хасан-Мурад обернулся к купцу, приплывшему вместе с ним, и сказал ему, чтобы тот уезжал обратно, потому что девчонку привезли для него.

— Сколько ты хочешь за нее? — кивнул в сторону Акозы Хасан-Мурад.

— Тысячу пятьсот серебром,— ответил, как отрезал, Мамруко.

Теперь Хасан-Мурад стал еще внимательнее рассматривать девушку: «О милостивый аллах, много я видел красивых женщин, но такую вижу впервые. Стан, глаза — чудо! Связанная, испуганная, чуть не в лохмотьях, а если одеть ее хорошенько, немножко подрумянить щеки, подсурмить брови, ей не будет цены. А эти адыги глупы как пробки: ни купить, ни продать не умеют. Они могли запросить с меня вдвое больше. Глупы, совсем глупы! Единственное, что они делают лихо,— это скачут на бешеных конях, ловко орудуют саблей. А главное, как они продают человека? Такую красивую девушку!.. Когда торгуют лошадь, боже милостивый, как горячатся, спорят, а девушку продают с таким равнодушием, словно это мешок пшеницы».

Хасан-Мурад молча, даже с некоторым презрением протянул Мамруко деньги и пошел в лодку.

— Иди, сестра, дай бог тебе счастливо доплыть до страны правоверных мусульман и хорошо там жить,— сказал Мамруко.

Двое дюжих турок подхватили Акозу и понесли в лодку. Она пыталась сопротивляться, стонала, с ненавистью смотрела на Мамруко, но все уже осталось для нее позади — впереди было море, огромное, голубое, а за морем — чужбина.

...Мамруко и Макай решили побывать на базаре, но не в самой его гуще, а на окраине, где не так много народу.

Отъехали они от берега, и Макай сказал:

— Давай мою половину денег, я хочу кое-что купить.

— Как это половину? А Шеретлукову что я дам?

— А-а... — понимающе протянул Макай и добавил: — По-моему, нам лучше не заезжать сейчас в Бастук. Опасно.

— Согласен. Но мы с Наго договорились встретиться в одном месте, в лесу, там я с ним и рассчитаюсь. А тебе зачем на базар?

— Да так, посмотреть, может, что-нибудь и попадется. Базар — всегда базар. Он меня так бодрит, будто я пью хорошую бузу.

Мамруко рассмеялся:

— Ты настоящий купец... Только как бы не встретить нам на базаре кого-нибудь...

— Хагура или темиргойца?

— Мне кажется, темиргоец ищет нас в Абадзехии... Пусть ищет, пока его глаза не зальются кровью...

— Надоел он мне! Надо покончить с ним!

— Я уже кое-что придумал...

... Мамруко ошибался.

Бечкан и Дзепш, поискав его в лесу, там, где он обычно встречался со своими дружками, теперь приехали на базар. Обошли всех знакомых Мамруко. Дзепш приуныл. Тяготила кольчуга, которую он не снимал уже третьи сутки, а главное, то, что они так и не смогли напасть на след злодеев.

— Похоже, зря мы сюда приехали,— сказал он Бечкану. — Они, наверно, отсиживаются у кого-нибудь из уорков. И как я мог их упустить?

Бечкан ничего не ответил, только посмотрел на юношу ободряюще, мол, самое главное — терпение.

В это время неподалеку раздался пистолетный выстрел. Люди здесь привыкли к выстрелам, а потому никто не обратил на него внимания: стреляют — пусть стреляют.

Но вот снова прозвучали выстрелы, один, другой.

Сбивая всех на своем пути, мчались два всадника.

— Мамруко! — вскрикнул Бечкан, дал коню шенкеля и кинулся наперерез.

Увидев Дзепша, Мамруко резко повернул коня и скрылся за возами сена.

Макай, столкнувшись с Бечканом, кинулся в другую сторону.

Дзепш тоже кинулся за возы сена и увидел, что Мамруко уходит от него в сторону гор и что догнать его почти невозможно.

— А, ты вон куда скачешь! — Дзепш тоже понесся в сторону гор, только через долину, напрямик. И когда из-за куста боярышника выскочил на дорогу, столкнулся с Мамруко.

Заржали, вздыбились кони.

Блеснула на солнце сабля Дзепша.

Мамруко не успел изготовиться к бою, не ждал здесь темиргойца, думал, что ушел от него.

Сабельный удар Дзепша пришелся по плечу уорка.

Он упал с коня, но тут же поднялся и бросился бежать. Сделал несколько шагов, споткнулся...

Из огромной рубленой раны хлестала кровь. Он смотрел на окровавленную одежду, руки, траву и не верил, что пришел конец. В глазах его не было страха смерти, только ярость. Она полыхала так же ярко, как кровь.

Потом глаза его стали угасать, смерть уже вступала в свои права. Он прилег у куста на траве и удивленно смотрел на Дзепша, силился что-то ему сказать, но не находил слов.

Дзепш успокаивал храпевшего коня. Он понял: второй удар можно не наносить, с заклятым врагом покончено, пусть подыхает, как собака... Первый раз в жизни Дзепш убил человека, но не испытал ни малейшего сожаления. Это месть за смерть отца, за собственное унижение, за все то, что он испытал, когда его, связанного, везли на побережье... Глядя на смертельно бледного Мамруко, он вдруг почувствовал огромную тяжесть во всем теле, тесной и жаркой показалась кольчуга. Снять бы ее, содрать!..

— Дзепш! Ты опять упустил Мамруко? — это кричал Хагур, скакавший по дороге во весь опор.

— Не упустил,— с холодным безразличием ответил юноша и как бы очнулся от забытья: — Он здесь. Я поскачу к Бечкану, там Макай...

И с новой яростью бросил коня в галоп...

Хагур спешился и подошел к Мамруко. Схватил его за окровавленный ворот черкески, приподнял:

— Куда ты дел Акозу?! Говори!

Мамруко с трудом открыл потускневшие глаза:

— Откуда ты взялся на мою несчастную голову, Хагур?..

— Это ты стал мне поперек дороги! Ты падаль, а не человек! Где Акоза?! — кричал в отчаянии Хагур, но тут же понял: кричать бесполезно, бессмысленно. И он стал просить умирающего: — Заклинаю тебя именем твоей матери, скажи, куда ты дел Акозу?.. Скажи, и я буду молиться за тебя, за твою грешную душу...

Мамруко снова открыл глаза. Только смотрели они не на Хагура, а в небо. Задыхаясь, он проговорил:

— Поклянись, что исполнишь мою просьбу, и я все скажу...

— Клянусь!

— Похорони меня, предай земле, не бросай на растерзание шакалам. Похорони, как подобает хоронить правоверного мусульманина.

— Хорошо. Где Акоза?

— Макай еще жив?

— Не знаю. Дзепш и Бечкан преследуют его.

— Макай — страшный человек... Он узнал, где я прячу золото, и захочет украсть его... Не дай ему сделать этого. В лесу Шеретлуковых, у подножья горы, под старым дубом, разбитым грозой... Зарыто много золота, серебра... Похорони меня, предай земле...

Жизнь покидала Мамруко. Он лежал с закрытыми глазами и судорожно дышал.

— Говори же, где Акоза? Умоляю, скажи.

Мамруко собрал последние силы, открыл уже потускневшие глаза:

— Корабль Хасан-Мурада еще стоит около утеса? Там твоя Акоза...

Мамруко умер.

Хагур бросился на коня, поскакал к морю.

Корабль с поднятыми парусами отходил от скалы.



Глава первая

1

Свадьба княжича Алкеса справлялась пышно.

В аул Туабго потянулось множество набитых доверху повозок, гнали скот. Приезжали не только из ближних, но и из самых отдаленных мест, гостей было так много, что казалось невероятным, как они все умещаются на праздничном дворе.

Здесь были пешие и конные, богатые и бедные, молодые и старые. Было множество музыкантов, которым обещали щедрое вознаграждение. С четырех дорог, ведущих в аул, прибывали гости, несли подарки; всех их, независимо от того, богаты они или бедны, встречали и приветствовали родственники Хаджемуковых и княжеские слуги, специально высланные на дороги.

Перед въездом в Туабго Алкес покинул свадебный поезд и ушел в дом Тартана. В этом не было ничего удивительного; по адыгским обычаям жених не имел права показываться днем на своей свадьбе, он отсиживался у одного из друзей. Удивительно было то, что Алкес избрал дом тфокотля. Новость быстро разнеслась по аулу. Зашептались приглашенные, важно закивали бородами старики, не решаясь ни одобрить, ни осудить поступок княжича. Достигла новость и ушей княгини.

Испуганно бросилась женщина в княжеские покои.

— Аллах наказал нас! Княжеский сын снял наши головы! — закричала она с порога. — Что это ему вздумалось пойти в дом тфокотля, племянника Ламжия? Неужели среди уорков не нашел друзей, которые утешили бы его душу!

— Успокойся, дочь Вочепшевых, — снисходительно глядя на жену, отве-

тил Кансав.— Нет ничего зазорного в том, что человек в беде или радости ищет поддержки у другого. Наш отец, великий Хаджа, для которого ворота в рай открыты настежь, пока жил на этом свете, часто повторял, что нельзя показывать пренебрежение к тфокотлям. Он советовал, когда нужно, ходить перед ними на цыпочках, делать вид, что любишь их. Если в сердце нет искренней любви, зачем сеять на своем поле врагов? Помнишь, как тфокотли прогнали твоего деда и отомстили ему за многочисленные обиды? Нельзя до этого доводить. Нужно быть осторожным.

— Пусть загробная жизнь нашего свекра будет счастливой! В Бжедугии не было мужчины мудрее великого Хаджи. Правда на его стороне. Теперь я поняла, что ты заранее все обговорил с Алкесом и новость, которую я принесла, для тебя не новость. Слава аллаху! Мой муж не менее мудр, чем мой свекор,— успокоилась и повеселела княгиня Тлятаней.

— Нет, я не знал об этом,— возразил Кансав.— Эту новость принесла мне ты. В Бжедугии немало таких, кто будет смеяться за нашей спиной, некоторых поступок Алкеса напугает, как и тебя, но не это занимает мой ум. Мы, Хаджемуковы, думаем о будущем, а не только о настоящем, мы должны укрепить свои корни и на этой земле, поэтому я доволен поступком сына.

Княгине приятно было слышать эти слова. Когда муж напомнил о случае, происшедшем с ее родными по вине рассерженных тфокотлей, она вспыхнула от обиды. Но, подумав, поняла, что муж напомнил ей о давней неприятности не для того, чтобы оскорбить, и успокоилась. В душе она гордилась умом князя, и сейчас порадовалась дальновидности княжича, тому, что он сумел угодить отцу. Ведь для матери нет ничего важнее, чем согласие между мужем и сыном. Думая об Алкесе, она вспомнила и о младшем сыне, доставленном сюда Бариноковыми чуть ли не раньше начала торжества, и при мысли о нем почувствовала в теле какую-то сладкую истому. К побледневшим со временем щекам снова прилила горячая, молодая кровь, заиграла ярким румянцем. Тлятаней встала, подбирая темно-коричневое платье, украшенное яркими узорами и серебряным поясом, повела плечами. Чуть располневшая, она была красива поздней, зрелой красотой женщины, живущей в достатке. Взглянула на мужа, увидела, что он залюбовался ею, радостно смутилась и мягкими белыми руками поправила кисти тонкого большого платка.

— Прости мой глупый испуг. Пропади пропадом женский ум. Правильно говорят: наша глупость такая же длинная, как подол платья.

— Не говори так о себе, дочь Вочепшевых,— улыбнулся Кансав,— тебя бог ничем не обидел. Хотел бы я, чтобы и у сына была такая же умная и красивая жена, как ты. Какую же невестку послал мне аллах?

— Ее мать — одна из лучших женщин в округе. Характер

отца, как говорят, раз в день проявляется в сыне, неужели же дочь не будет достойна матери? — горячо вступилась за молодую княгиню польщенная Тлятаней. — Я довольна невесткой, теперь в нашем доме будет две женщины, а это куда лучше, чем жить одной среди мужчин, иногда они так несправедливы к нам.

Князя покоробили слова жены. Не должна она так говорить, ведь давно уже не девушка на выданье, чтобы заигрывать подобным образом. Неожиданно для себя князь обиделся на Тлятаней, почувствовал, как нарастает раздражение. Впалые щеки побледнели, как всегда, когда он бывал недоволен собой. С чего это он разговорился с женщиной, словно это ее дело — обсуждать поведение мужчины, хотя бы и собственного сына? Пусть знает свое место и не суется, куда не просят. Жену надо держать в руках с первого дня свадьбы, иначе сядет на голову. Сумеет ли поставить себя его сын? Как поговорить с ним, какие найти слова, чтобы понял — из-за женского коварства не одна голова слетела. «Поговорить надо сразу же, не теряя времени, но как это сделать, не нарушая обычаев старины? Хотя сумел же отец предупредить меня об этом еще до того, как я переступил порог комнаты своей жены. И Тлятаней в день свадьбы тоже, наверное, успели выложить все, что нужно. Да и невестке расскажут, не упустят случая, уже сейчас видно, что им хотелось бы прибрать Алкеса к рукам. Недаром отец невесты рассказал свой сон. А сон был странным, ему снилось, что мой княжеский трон стал дырявым. Пусть не волнуется, я услежу за ним сам! Много таких облизывается на чужой кусок. Кто не знает меру желаниям, тот и умирает преждевременно».

— Иди, Тлятаней. Я занят,— важно и сурово сказал князь.

Княгиня не стала мешкать.

В наступившей тишине явственно зазвучали голоса гостей. Кансав решил встретиться с сыном, когда наступит ночь и все уснут. Надо постараться, чтобы ни одна душа этого не заметила. Не такие дела приходилось обделывать. Не беда, если кто и увидит. Разве в чьих-то силах навредить великому князю? Никто не узнает, о чем он будет беседовать с Алкесом, и хотя тайна, доверенная другому, перестает быть тайной, сын будет молчать.

Байколь Мерзабеч, все время шнырявший между гостями, зашел к князю.

— Мой зиусхан! Приехал князь Камиш с поздравлением, привез богатые дары.

Байколь отступил, за ним показался князь со спутниками.

— Да увидишь ты счастье своей невестки, Кансав! — приветствовал Камиш, прислушиваясь к своему молодому звонкому голосу. — Не только Хаджемуковы — вся адыгская земля осчастливлена этим событием.

— Аминь! — хором подхватила свита.

— Дай бог тебе здоровья, князь! — откликнулся на привет-

ствие Кансав.— Дай бог и нам приехать к вам на такой же праздник. Дай бог, чтобы Хаджемуковы сделали для вас в сто раз больше, чем вы для нас!

Кансав, хоть и великий князь, стоял до тех пор, пока не уселись старшие по возрасту.

Гости успели переговорить обо всем, что случилось на адыгской земле, коснулись и Крымского ханства, когда снова вошел Мерзабеч:

— Мой зиусхан, один из достойнейших мужей Абадзехии Джим Татау, возвращаясь из путешествия, услышал о свадьбе твоего сына и заехал поздравить тебя.

В дверях показался улыбающийся в усы Татау. Гости поднялись с мест, приветствуя его.

— Смотрю я на тебя, Кансав,— шутливо начал гость,— разве ты уже постарел? Не соблазняйся, друг мой, старостью, не призывай ее к себе, даже если она сделана из золота. Не меняй скакуна, ссылаясь на то, что он устал. Тебе привезли невестку, но если ты сейчас скажешь мне, что хочешь жениться сам — я готов сделать то же самое. Аллах любит веселое слово на празднике и не обидится на меня. Я не собираюсь, конечно, отделаться этим визитом, тем более что я с пустыми руками. Просто не смог не заглянуть, проезжая мимо. Отец жениха — мой друг, отец невесты — тоже мой друг. Как тут не свернешь с дороги? Пришел, чтобы порадоваться вместе с вами, похвалить невестку. Оставляя пятку в доме родителей, пусть она вступает в новую семью счастливым носком, пусть ее появление принесет вам счастье!

— Аминь! — вторили гости.

С утра двери комнаты великого князя не знали покоя, гости заходили один за другим. Байколь Мерзабеч менял голос сообразно знатности, положению гостя. Глянув на лицо байколя, можно было догадаться, кто сейчас войдет, узнать его мнение по поводу привезенных подарков. Сначала князя это развлекало. Потом он устал.

Когда стал близиться вечер, беспокойство, тайно мучившее великого князя, стало все явственнее. Те, кого он ждал с самого начала, не появлялись. Не могли Шеретлуковы не приехать на свадьбу своего пура. Неужели самые близкие люди станут врагами его сына? Каждый раз, когда открывались двери, князь ждал, что войдет Наго. Не было между ними ни ссор, ни обид, так почему же нет его среди шумной толпы гостей? Может, он собирает с каждого двора дань для Кансава? Может, не в силах решить, каких именно даров стоят эти не кровные, но крепкие связи двух родов? Шеретлуковым далеко ехать, могут, конечно, и опоздать. Княжич обидится, когда узнает, что нет на свадьбе ни названого отца, ни названого брата. Почему бы, в конце концов, не послать вперед Али-Султана с товарищами, пока сами собираются? Не секрет, что шапсуги тяжелы на подъем...

Приехали новые гости, но и среди них не оказалось Шеретлуковых. Волнение его возросло еще больше. Он уже не замечал сидевших рядом родственников и друзей. Не раз подумал с горечью, что нельзя, невозможно поддерживать родственные отношения с шапсугскими хитрецами. Ну, он не забудет им этого оскорбления, припомнит при первом удобном случае.

Вдруг разом стих шум, смолкли музыканты, Кансав недоуменно взглянул на гостей. Резко открылась дверь, и вместо радушного лица байколя Мерзабеча князь увидел человека в траурной одежде.

Гонец из Шапсугии.

Гонец обратился к великому князю с такими словами:

— Хоть и прибыл я с той стороны, где горе, но поздравляю тебя с невесткой, Кансав! — С первых же слов все сидевшие в кунацкой вскинули головы, замерли. В предчувствии страшной вести сжались сердца.

Спустя мгновение они услышали: Наго Шеретлукова нет в живых...

II

Великий князь Кансав в течение семи дней после похорон Наго ни разу не напомнил о том, что пора возвращаться в Бжедугию. Но думал только об этом. И когда находился среди прибывших выразить соболезнование, и когда ложился спать или пробуждался ото сна — все его мысли были о доме. Куда больше, чем горе, постигшее Шеретлуковых, его мучила собственная обида. Он не мог смириться с тем, что свадьба сына прервана таким печальным событием. Это плохое предзнаменование для его семьи. Люди аула Бастук заметили, что великий князь опечален. Об этом шептались даже в домах тфокотлей.

Неделю назад сиявший радостью, князь сильно изменился: опустились плечи, спина, заметно сгибавшаяся под тяжестью прожитых лет, согнулась еще больше, резко обозначились скулы, щеки впали — так втягивается живот у коня, проделавшего тяжелую дорогу.

Кансав думал о том, как не повезло княжичу, о том, что Наго, если уж суждено ему было умереть, мог бы умереть неделей позже, когда свадьба закончится. Он не знал, что теперь делать. Еще много гостей должно было приехать с поздравлениями, а теперь не приедет. Да если и приедут, что толку? Что хорошо сегодня, завтра уже теряет смысл. Завтрашний день, говорят старики, длиной в год.

Улучив момент, когда рядом никого не было, Кансав велел слуге позвать княгиню.

Вошла Тлятаней, по лицу было видно, что и ее мучили тяжелые мысли. Видимо, и она душой и телом была в Бжедугии. В глазах — недоумение, страдание — чувства, дотоле ей неведомые. Кансаву стало жаль женщину.

— Что же ты, дочь Вочепшевых, совсем пала духом?

По щекам Тлятаней покатились слезы.

— Успокойся, дочь Вочепшевых.

— Да, да, Кансав,— она осторожно, двумя пальцами вытерла набежавшие слезы.— Не могу удержаться. Так все обидно.

— Что же ты думаешь делать?

— Что скажешь, Кансав.

— Валлахи, дочь Вочепшевых, я больше не могу быть в Шапсугии. Наго все равно не вернешь, если пробудем мы здесь лишний день или даже месяц. Незачем настраивать против себя шапсугов, пытаясь найти убийцу, давай собираться.

— Я сейчас! — обрадовалась Тлятаней. — Только дам знать Алкесу.

— Княжичу ничего не говори, он останется.

— Как же? — испугалась княгиня. — Он столько здесь натерпелся! Мне его жаль. Если бы я хоть смогла встретиться с ним! Я велела бы ему поберечь себя, сильно не волноваться. У него молодая жена, нужно думать о ней в первую очередь, да и о нас с тобой тоже.

— Я беседовал с ним...

— Как же ты мог встретиться с ним, только что женившимся? Бог покарает нас за это,— у Тлятаней снова навернулись слезы.

— Я говорил, сидя к нему спиной.

— Аллах с нами,— прошептала жена,— это тоже дурной признак: разговаривать с сыном, сидя к нему спиной.

— Замолчи, женщина! — вспылил Кансав. — Еще скажи, что настанет конец света! Тебя только послушай! Приготовься. В пору взлета орла отправимся в путь.

Княгиня потянулась к дверной ручке, чтобы уйти, но в эту минуту младший сын Батчерий резко толкнул дверь и, как молодой весенний ветерок, ворвался в комнату. Он был одет в черное, но лицо его светилось радостью, черные глаза искрились весельем, выигранная у соседних мальчишек связка чэн[1] висела на правой руке, словно он боялся, что отец не заметит их, не оценит его проворство. Коленки вымазаны в грязи. Мальчуган подрос — уже доставал Кансаву до груди.

— Что случилось, Батчерий? — оглядела сына мать.

— Не видишь, что ли, я выиграл у тфокотлей связку чэн! Принес показать отцу,— оживленно ответил мальчуган. — Вот, смотри, зиусхан!

Мать и отец, довольные обращением, переглянулись. Мальчик растет почтительным, в старости будет отрадой, даст бог, станет настоящим мужчиной, защитником.

---

[1] Чэн — бабка, игра в бабки.

Батчерия позвали со двора.

— Иди, сынок, тебя зовут.

— Подождут, ведь я для них княжич,— важно ответил мальчуган, не спуская глаз с великого князя. — Что же вы ничего не говорите о моих чэнах?

Князь с княгиней снова переглянулись.

— Ты молодчина, не посрамил нас!

— Тогда я побегу,— обрадовался мальчик.

— Княжич, постой-ка...

— Что, зиусхан?

— Ты собираешься снова играть в чэны с тфокотлями, которых обыграл?

— Да, зиусхан. А что?

— Лучше остаться победителем и больше с ними не играть, а не то обязательно проиграешь, и будет обидно. Скажи им, что играть не будешь, потому что завтра утром мы уезжаем, надо собираться в дорогу.

Известие порадовало и Батчерия. Он убежал довольный.

Наутро, когда осеннее солнце встало над вершиной горы Пепау, Хаджемуковы отправились домой. Сначала, как требуют ритуал и обычай, выехал великий князь в сопровождении байколей, потом, выдержав промежуток (пока осела пыль от колес), повезли Батчерия. Следом, на некотором расстоянии от них, ехала повозка княгини.

Как принято у адыгов во время траура, никто не вышел вслед им, никто не провожал. Али-Султан, на плечи которого легли отцовские заботы, только отдал князю прощальное приветствие, но порог дома не переступил. Оставались на местах и родственники погибшего, и тфокотли, занятые во дворе. Тхахох и Хагур, так и не сумевшие помочь Акозе, даже не подняли глаз, чтобы посмотреть вслед уезжающим.

Хагур исполнил клятву, которую он дал умирающему Мамруко, и теперь занимался похоронами, но ни на минуту не забывал о любимой девушке. Помнил он и о золоте, о тайне, которую открыл ему Мамруко. Но к чему золото, если он не сумел вернуть Акозу? Все золото мира он отдал бы сейчас, лишь бы она оказалась здесь, рядом с ним. Но как отыскать былинку, занесенную ураганом на чужую землю? Что можно предпринять? Видимо, бог так судил. Но и мысли о боге не примиряли с несчастьем — наоборот, преисполняли решимости бороться. Зачем богу нужно разлучать любящих? Это сделал не он, это сделали злодеи, а перед ними опускать голову недостойно мужчины.

Впрочем, если искать Акозу, золото может и пригодиться. Оно будет использовано не для худых, а для добрых целей. Правда, Хагур не знал, жив ли Макай, ускользнувший от Бечкана. Макаю наверняка известен тайник, и не исключено, что золота там давно уже нет. Как бы там ни было, тяжело носить

такой груз в душе, надо бы с кем-нибудь поделиться, спросить совета. Лучше всего с Ахмедом.

Скорее бы прошли эти сорок дней, тогда можно покинуть усадьбу. Плохим, хорошим ли был Наго, но долг перед покойником надо выполнить. Все умрем. Неизвестно еще, как ты проживешь жизнь, может, хуже, чем Наго, и умрешь не менее страшной смертью. Смерть надо уважать, даже смерть врага. Смерть — это таинство, это божье дело, и не тебе, смертному, постичь его волю.

Подняв тяжелые веки, Хагур увидел повозку княгини Тлятаней, повернувшую вслед за повозками князя и княжича. Они направлялись в сторону кузницы.

У кузницы стояло несколько тфокотлей. Последние дни только и разговоров было, что о гибели Наго. Кого только не подозревали! Перебрали всех шапсугов, дошли до абадзехов, темиргойцев, даже до бжедугов. В конце концов остановились на Мамруко и Макае. Что Наго, что эти уорки — одного поля ягоды. Наверняка что-нибудь не поделили между собой.

Некоторые считали, что не стоит придавать такое значение гибели богача. Вполне вероятно, что Наго убил родовитый, но зачем ломать головы? Но толкам не было конца. Предполагали, что Наго загубили злые духи. Хотя то же самое могли сделать и обиженные им тфокотли. Шепотом называли имя Арсея. Арсей знал, что его подозревают, но вел себя гордо, недоступно, только улыбался втихомолку. Когда этот слух дошел до Тхахоха, он удивленно поднял брови, а Хагур откровенно рассмеялся. Арсей конечно же этого сделать не мог, не способен он на убийство. А не опровергает сплетню потому, что это льстит ему, поднимает в глазах окружающих. Он стал задиристым.

Вот и сейчас не кто-нибудь, а Арсей едет на коне навстречу повозке князя.

О Кансаве тоже шли бесконечные пересуды. Говорили, что горе Шеретлуковых сломило славного князя, сожгло его до черноты, так, что его почти не узнать. Конечно, легко ли со свадьбы сына сразу ехать на похороны друга!

Катит, катит по дороге повозка великого князя. Однако и Арсей не сворачивает. Что-то сейчас произойдет.

В ту же минуту байколь Мерзабеч выехал вперед и, выпучив глаза на Арсея, закричал:

— Ты что, не видишь, что перед тобой великий бжедугский князь?!

— Вижу.

— А если видишь, безбожник, почему не уступаешь дорогу?

— Приедешь к себе домой, там и командуй, а в Шапсугии я у себя дома,— надменно ответил тфокотль и гордо, ни на кого не взглянув, проехал мимо всадников.

III

Ночью Хагур не сомкнул глаз. Ему хотелось закурить, размяться, но боялся разбудить братьев. Лежал, уставясь в темный потолок, и ему казалось, что ночь бесконечна, что время не движется и рассвет никогда не наступит. А он так ждал рассвета, как будто новый день мог принести ему что-то новое, радостное.

Прошло уж несколько месяцев после смерти Наго, но вопреки ожиданиям никаких изменений в жизнь тфокотлей это событие не принесло. Память о нем постепенно угасает, как гаснут днем звезды, как тают темные ночи. «Ничто под луною не вечно»,— говорил эффенди Шалих.

Память жива, доколе жив человек. Хагур все время думал об Акозе, о ее горькой судьбе, которая перевернула и его судьбу, обрекла и его на страдания. Где она, Акоза, как ей там, на чужбине?

Кажется, занимается рассвет. Хагур обрадовался и поднялся с постели, вышел во двор и зажмурился — выпал первый снег. И хотя еще стояли сумерки, снег был ярок и слепил глаза, наполнял душу ликующей радостью, будоражил первыми запахами зимы.

Снег шубами лежал на крышах, папахами на кольях плетней, забавными лапами на деревьях.

«Да будет счастлив тот, кто вновь дождался первого снега. Пусть будет эта зима счастливой для меня и моих друзей, пусть принесет счастье Акозе!» — подумал Хагур.

Снег укрыл всю землю. И все еще зеленые холмы, и осеннюю слякоть, и могилы предков... Значит, и могилу Наго. Закрыл и место под старым дубом, о котором говорил Мамруко.

Внезапно, нарушив предрассветную тишину, над Бастуком раздался голос Анзаура, призывающего правоверных в мечеть для совершения намаза. Хагур усмехнулся: пожалел, видать, Натара, не стал будить на рассвете, сам пришел в мечеть. Хотя ведь Натара нет в ауле, парня отвезли в Крым, в медресе. Из мальчика наверняка выйдет толк. Голоса сына и отца так похожи, что порой и не различишь.

По пути в мечеть Хагур встретил Тхахоха.

— Постой-ка, Хагур,— остановил его Тхахох. — Хочу знать, что ты собираешься делать дальше.

— После намаза?

Тхахох немного помолчал, а потом решился:

— Ты уже забыл Акозу?

— Здесь мы оба бессильны,— тихо ответил Хагур.

— Быстро же ты сдался.

— А что я могу?

— О! — Тхахох даже захлебнулся от возмущения. — Если мужчина любит женщину, он перевернет горы! Говоришь так, будто между тобой и Акозой нет любви. Чего скрывать, она

мне казалась лучшей девушкой в мире, но, как только я понял, что Акоза любит тебя, не стал вам мешать. Так будь же мужчиной! Если ты откажешься от нее, я не отступлюсь, поеду на край света, и если она жива — найду ее. Тогда она будет моей!

Хагура бросило в жар от слов друга, он резко повернулся и зашагал прочь. Слезы душили его, но расплакаться, показать слабость нельзя, поэтому он поспешил уйти. А Тхахоху стало легче, когда он высказал наконец все, что держал в сердце. Он знал характер друга и не стал торопить его с ответом, пусть обдумает в одиночестве.

После разговора с Тхахохом Хагур весь день не находил себе места. Беспокойно провел он и долгую осеннюю ночь, лежал без сна, ждал рассвета. А когда выплыло из-за крыши сарая большое красное солнце, вдруг успокоился, обрел уверенность. Твердой походкой подошел к сараю, вывел коня. Перед выездом из аула резко повернул обратно, мелкой рысью подъехал к дому старшего брата Бороко и, не заходя в дом, позвал:

— Выйди, брат.

Дверь распахнулась, вырвались клубы пара, на порог вышел Бороко:

— Ты что кричишь с коня, тебя что, в дом не пускают?

— Седлай коня, брат.

Бороко молча посмотрел на младшего брата. Когда говорят «седлай коня», вопросов не задают, поэтому он вскоре вышел уже одетый.

Братья выехали из аула. Некоторое время двигались по руслу реки Иль, держась берега, затем, оставив заснеженный лес, стоявший по эту сторону реки, спустились с холма. Лес, встававший с другой стороны, был уже близко. Все это время братья молчали.

Бороко искоса взглянул на младшего брата и усмехнулся: интересно, что он надумал, наверно, какую-нибудь чепуху. Братья не разговаривали друг с другом после ссоры из-за Шеретлуковых. Бороко до сих пор считает себя правым и винит младшего. Старший всегда прав, потому что он старший! До леса немного осталось, там Бороко узнает, что от него понадобилось Мосу. Бороко попросили, и он поехал, зачем спрашивать заранее и суетиться, как женщина.

Но чем ближе они подъезжали к лесу, тем больше волновался Бороко. Разные мысли обуревали его, он почувствовал, что лоб покрылся испариной.

Держась ближе к лесу, они спустились к подножию холма. Послышался шум падающей воды. Проехав еще немного, Мос остановил коня, Бороко тоже. Мос направился к деревьям, стоявшим недалеко от высокого влажного берега. Не доезжая до покрытого снегом, разбитого молнией дуба, осторожно огляделся по сторонам, спешился, подошел к дереву и, сделав три шага к орешнику, начал ногой разгребать снег.

Бороко следил за братом, не слезая с лошади. Поведение его казалось странным.

Очистив землю вокруг орешника от снега, Мос еще раз осмотрелся и стал копать кинжалом. Увидев очерченный кинжалом участок, равный могильной яме, ничего не понимающий Бороко не на шутку испугался.

— Ты что это делаешь? — спросил он.

— Узнаешь, если подойдешь ближе,— ответил Мос, продолжая работать.

— Мос, что ты задумал?.. Чувствует мое сердце, ты задумал что-то недоброе.

— Вместо того чтобы выдумывать разную чепуху, лучше подойди и помоги мне,— не разгибаясь, сказал Мос.

— Мос, ты не путай меня с тем, кто сам себе роет могилу,— неожиданно тонким голосом прокричал Бороко, лицо его было бледно.

— Эх, а еще старший брат! — выпрямился Мос. — Да как ты мог подумать такое? С какой стороны пришла тебе в голову эта злая мысль?

— Откуда я знаю, чего ты хочешь! — возразил Бороко уже спокойнее.

— Не бойся! Я тебе не сделаю ничего такого, чего бы ты сам себе не пожелал.

Бороко не поверил брату и не стал помогать ему. Он бы лучше уехал от греха подальше, но в это время Мос кончиком кинжала стал что-то нащупывать в яме. Тогда Бороко понял, что никто не собирается его убивать и тут наверняка что-то другое.

Что-то другое?.. Что именно?

Когда Мос вытащил из ямы кожаную сумку, Бороко слетел с коня и бросился к яме:

— Что это?

— Это богатство, оставшееся после Мамруко.

— Кто тебе сказал, что он спрятал его здесь?

— Смерть заставила его сказать,— Мос развязал тесемки. Бороко расстелил свою шубу. Движения его были лихорадочными. Из сумки посыпались золотые кольца, серьги, пиастры, перевязанные сыромятным шнурком, золотые ложки, два золотых и один серебряный пояс. Бороко во все глаза смотрел на этот блестящий поток драгоценностей, потом бросил на брата короткий горячечный взгляд. Кровь прилила к голове, он опустился на снег коленями, пальцы его дрожали.

— Послушай, что мы будем делать со всем этим?

— Не беспокойся, уж если оно не сгнило в земле, теперь не пропадет,— довольно ответил Мос.

— Подожди. Может, еще что-нибудь осталось!.. — Бороко накинул на золото полы шубы и стал концом кинжала копать в яме.

— Перестань, Бороко. Там больше ничего нет,

— Ты так думаешь? — недоверчиво переспросил старший брат и еще раз торопливо порылся в перекопанной яме.

— Теперь вот что тебе скажу, Бороко. — Хагур откинул полы шубы и протянул руку к куче золота: — Бери себе эти три куска золота, эту серебряную серьгу и золотое кольцо. Такого нет у тфокотлей, значит, Мамруко обокрал не бедняка и не будет греха владеть кольцом. Бери то, что даю, вот еще бери золотую ложку. Я возьму с собой в дорогу золотые пояса и пиастры, три кольца, шесть серег и эти ложки. Вот эти две золотые ложки отдашь Тхахоху, если он женится в мое отсутствие. Все остальное отдай матери на воспитание братьев.

— Не многовато ли тебе — два золотых пояса? — спросил Бороко, недовольный тем, что доля его меньше, чем надеялся. Жадными глазами глядел он на золотые пояса.

— Нет, Бороко, не могу отдать тебе ни один из них, уж ты не считай меня жадным.

— А серебряный пояс?

— Пояс отдай матери. Если вернусь живым, верну владельцу. Он принадлежит отцу Дзепша... Прощай, мне надо ехать. Счастливо оставаться, смотри за нашими младшими братьями, не обижай мать.

Мос сгреб золото и поспешил к коню.

Бороко, занятый созерцанием богатства, даже не заметил, как уехал брат. Только когда снег обломил ветку над головой, Бороко пришел в себя. Испуганно вздрогнул и, оглядываясь по сторонам, накрыл золото. Понял, что опасности нет, облегченно вздохнул. Вспомнил, что брат с ним прощался, собирался ехать куда-то. Подумал, что брат у него непутевый, с таким золотом можно и дома сидеть, а не разбазаривать его по свету. Мир велик. Но, однако, время не ждет. Надо и ему собираться, не век же здесь торчать. Бороко внимательно оглядел кучу золота, разложил его по карманам, надел шубу и сел на коня. Выехав из леса, он увидел вдалеке фигуру всадника.

Хагур направлялся в сторону моря.

Далеко ли лежал его путь?..

IV

— Как воет ветер в трубе, будто хочет накликать новую беду,— сказала Дарихат Али-Султану. — Я знаю, беда не ходит в одиночку, мне страшно. Куда ты собрался, сын мой?

— Прогуляю коня и тут же вернусь,— ответил Али-Султан, надевая шубу.

— Не выезжай за аул один, возьми спутника.

— Что может со мной случиться, тян? — беспечно отмахнулся Али-Султан. На его щеках горел здоровый юношеский румянец.

— Я не выпущу тебя из дома! — испугалась его слов Дарихат. — Твой отец говорил то же самое...

Дарихат заплакала и беспомощно встала у дверей.

За последние месяцы она сильно сдала, постарела, похудела. Горе никого не красит. Али-Султану захотелось ее утешить, ободрить. Конечно же ей здесь тяжко, все напоминает о муже, о хозяине. Хорошо бы отвезти ее в родительский дом, пусть бы отдохнула душой. Или к Алкесу, тем более ее туда уже несколько раз приглашали.

Мать повернулась к нему спиной, плечи ее вздрагивали от рыданий. Али-Султан почувствовал, что к сердцу подступает жалость. Постояв немного, снял шубу, пододвинул матери табурет и присел рядом.

— Тян, мы договорились, что ты не будешь так себя убивать. Слезами не поможешь, надо жить, а не умирать. Ты хоть меня пожалей.

Али-Султан стал гладить руки матери, ставшие почему-то совсем маленькими в его руках.

Нежность сына растрогала Дарихат, она зарыдала еще пуще.

Почувствовав, что и Али-Султан может отдаться горю, выпрямилась, умолкла: «Что я делаю с парнем, последний день, что ли, живем на свете? Кто умер, того не воскресить. Сколько я говорила Наго, чтобы был осторожен, а он не хотел меня слушать. Кого же теперь винить в случившемся? Сколько лет жила с ним, он ни разу не сделал по-моему, вот и накликал себе смерть».

— Прости, сынок, ты не увидишь больше моих слез, я сдержу их, утаю в глубине сердца. Узнать бы только, кто убийца твоего отца. О, что бы я только не отдала, чтобы это узнать! Тогда я бы скинула траурный платок и пустилась в пляс. Чтобы эти тфокотли, собачьи дети, не съели нас живьем, нужно знать и врагов наших, и друзей. И если ты, мой сын, не сможешь отомстить врагам, это сделаю я, женщина. У меня еще хватит силы. Пусть душа Наго будет в раю, мы ничего не хотим от мертвого, но не должны забывать свой долг перед ним. Иди, сын, куда хотел, только возьми с собой кого-нибудь, чтобы я была спокойна. Если увидишь Анзаура, скажи, пусть придет, у меня к нему дело.

В Шапсугии не помнили такой зимы. Свирепый ветер поднял бурю. За три шага ничего не видно. Ветер словно рычит, и это заставляет двух коней вскидывать головы. Тхахоху, едущему за Али-Султаном, всадник кажется черным вороном, окутанным белой, молочной мглой. Полы шубы Али-Султана развеваются, ветер проникает внутрь, и она вздувается на спине.

Когда, покинув Бастук, они повернули в сторону ближних кустарниковых зарослей, Тхахох вспомнил, как встретил в ущелье Наго. Он не собирался убивать его, аллах свидетель, но, услышав, что Акозу увезли в сторону моря, закипел ненавистью. Некоторое время он так и стоял, подняв на вилах

охапку сена, потом сбросил сено, повернулся и, ни у кого не спрашиваясь, сел на коня. Оказавшись в лесу, услышал стук копыт и увидел Наго. Он хотел пропустить Наго, спрятавшись за деревья. Наго ехал медленно и пел песню. Песню, в которой были слова о любви к девушке. Кровь застучала в висках Тхахоха: «Загубил Акозу, да еще распевает о любви, старый пес!»

— Наго, с чего это ты распелся?

Наго вскинул испуганное лицо, но, узнав Тхахоха, успокоился.

— Чтобы пес схватил тебя!.. Это ты, Тхахох?.. Что ты здесь делаешь?

— А ты, Наго?

Наго показалось, что пламя, полыхавшее в глазах тфокотля, обожгло ему ресницы, тяжелая дрожь пробежала по всему телу. Он круто повернул коня.

— Стой! — закричал Тхахох. — Не уйдешь!

— Что ты делаешь, нечести... — не успел Наго выхватить пистолет, как кинжал вонзился ему в грудь, он вцепился в руку Тхахоха, державшую кинжал. — Что я тебе сделал, Тхахох?..

Когда умирающий назвал его имя, Тхахох почувствовал слабость и разжал пальцы. Но руки Наго, уже охваченные предсмертными судорогами, притягивали его к себе, не отпускали.

— За одни только страдания, которые ты доставил мне, загубив Акозу, ты заслужил смерть! — придав голосу суровость, сказал Тхахох.

Наго попытался что-то ответить, но не смог, голова его резко упал вниз...

Дорога все тянулась и тянулась. А впереди ехал ничего не подозревавший Шеретлуков-младший.

Вернувшись в аул, Али-Султан, не оглядываясь, бросил:

— Возвращайся домой, у меня еще есть дело.

«Делом», о котором говорил Али-Султан, была просьба матери, чтобы он позвал к ней Анзаура. Подъехав к его воротам, Али-Султан обрадовался: Анзаур хлопотал возле сарая, задавая корм скотине. Он наскоро передал просьбу и, не дожидаясь ответа, повернул от ворот.

Анзаур же, окончив хлопоты, вошел в дом и присел к очагу:

— Валлахи, эти Шеретлуковы мне надоели. Как с ними быть? Только вчера я был у них, и вот Дарихат снова прислала за мной. Думают, у меня других дел, кроме как бегать к ним, нет?

Жена сдержанно промолчала.

— Вчера сказала, что ей сена не хватит,— продолжал разгоряченно Анзаур. — Хорошо, мол, во время намаза сказать тфокотлям, чтобы они не забыли о сене, и тут же просит

напомнить им еще о тысяче других дел. Все время что-то выпрашивает.

— Успокойся, Анзаур, не перечь ей и не настраивай против себя. Мало ли о чем может говорить женщина, оставшаяся без мужа,— наконец произнесла долго молчавшая жена.

— Воистину, мне уже совестно,— никак не мог успокоиться Анзаур,— я и днем и ночью торчу в этом доме. Знаешь, в чем меня упрекнули друзья? И правильно упрекнули, по заслугам. Спросили, уж не нанялся ли я дворовым к Шеретлуковым? Если так будет продолжаться, они и похуже скажут. Все время торчу перед ней, и сам Наго, наверно, чаще не сидел.

Жена Анзаура вздрогнула и покраснела.

Анзаур тоже понял двусмысленность своих слов, и на душе стало еще тяжелее. Не хватало еще с женой поругаться из-за этой Дарихат.

И все же, дождавшись вечера, Анзаур пошел к Шеретлуковым. Дарихат внешне выглядела не так, как вчера или позавчера. О трауре напоминала только большая черная шаль, спускающаяся на платье, но на лице уже не было прежней тоски, горя. Она сидела, держа стан прямо, положив руку на руку и поставив ноги на низенький табурет. В этот раз они говорили мало, новых известий не было, а о старых они уже давно переговорили.

— Вот почему я велела позвать тебя, служитель бога,— Дарихат холодным взглядом окинула фигуру Анзаура. — Хватит нам вспоминать о покойном хозяине, об отце Али-Султана. Видит бог, что мы много раз читали коран в его честь. Кто умер, тот умер и обрел рай. Теперь надо говорить добрые слова о тех, кто жив и кому жить долго. Твой сын учится в Крыму, в Бахчисарае, дай бог, чтобы он осчастливил твою старость, ты во многом нуждаешься, а я тебе ни в чем не откажу. Но я хочу, чтобы и ты постарался. Надо, чтобы среди тфокотлей, приходящих в мечеть на намаз, шла добрая слава об Али-Султане. Для тфокотлей Бастука и его окрестностей правителем остался мой сын, все должны подчиняться ему, выполняя его волю быстро и беспрекословно. Я надеюсь, что ты употребишь на это богоугодное дело весь свой ум и все свои знания. До этого дня, да будет тобой доволен аллах, ты не обманывал наших надежд. Добро, сделанное нами, не пропало зря. Пусть так будет и дальше.

Дарихат умолкла, глаза ее смотрели вперед, поверх головы гостя. Словно она видела там, вдали, будущее Али-Султана, его славу, могущество. Нет, она не предастся унынию, еще хватит силы, чтобы род Шеретлуковых процветал на адыгской земле! Она сделает для этого все, что может сделать любящая женщина, мать.

Анзаур молчал. Слова Дарихат не удивили его, так и должно быть, но какая сила у этой женщины, она достойна носить шапку, а не шаль.

V

Бороко после дележа золота потерял покой. Его мучило то, что Хагур, младший брат, взял себе золота столько же, сколько дал старшему. И вообще, почему дележкой занялся Мос? Он должен был откопать золото, отдать Бороко, а старший уж сам знает, кому сколько дать. Но и это еще не все: он велел поделиться богатством с голодранцем Тхахохом и каким-то темиргойцем. Это еще зачем? Матери он, конечно, выделит кое-что, а тем двум — ни за что! Однако, если об этом узнают Тхахох и Дзепш, они могут или опозорить Бороко, или просто-напросто прикончить его. Еще бы, такое богатство! У каждого руки задрожат от зависти.

Прошло больше недели, как они откопали этот клад, но Бороко не только Дзепшу и Тхахоху ничего не дал, но и матери. Даже ни единым словом не обмолвился с нею об этом.

Да и как сказать? Страшно! А вдруг мать — по женской привычке — разболтает, тогда у Бороко отнимут золото. Нет уж, лучше молчать.

И он спрятал его. Долго мотался по двору, по сараям, по конюшне и все никак не мог найти надежного места. Зарывал в сено, прятал под ясли, пристроил в курятнике, но, стоило отойти, место казалось ему совсем ненадежным, и он доставал клад и носился с ним снова. Наконец, как ему показалось, нашел надежный тайник: засунул в сарае под стреху, а чтобы получше скрыть, повесил туда хомут и другую сбрую.

Спрятал и успокоился, однако среди ночи проснулся: ему послышалось, будто кто-то крался в сарай. Опрометью кинулся туда в исподнем белье и, пока не нащупал драгоценный сверток, думал, что сердце выскочит из груди. И лишь потом, когда возвращался в дом, подумал: «Как я глуп! Если бы кто-нибудь из соседей увидел, как я почти голый бежал по снегу ночью, что подумал бы? Сказали бы — Бороко или колдун, или сумасшедший. Или догадались бы о кладе».

Пришел он в свою комнату, тихонько лег, чтобы не разбудить жену, прижался к ее теплому телу, крепко закрыл глаза, но сон не шел.

«И как это я позволил толстомордому олуху одурачить себя? Надо было просто отнять у него все да еще и поколотить хорошенько. Зачем ему золото, никогда в жизни из него не выйдет путного хозяина, а я развернул бы такое дело! Даром что мы рождены одной матерью — Мос чужой мне человек. Он совсем не уважает обычаи адыгов, не считается с тем, что я — старший в семье...»

Задремал Бороко, но вдруг услышал какой-то вой и свист.

Приподнялся, прислушался. На улице поднялась буря, свистел и выл ветер в трубе.

К утру буря улеглась, поднялось солнце и удивленно смотрело на землю, покрытую снегом. Она была такая яркая, что

солнце, казалось, жмурилось от этой яркости и весело улыбалось.

Скрипели в соседних дворах деревянные лопаты — мужчины прокладывали в глубоком снегу тропинки от дома к сараям, коровникам и конюшням. Почуяв первый снег, вдохнув свежего, ядреного воздуха, мычали обрадованно коровы, блеяли овцы и заливисто брехали собаки.

Бороко вышел на веранду, глянул в сторону сарая — снег лежал нетронутым, значит, никто не подходил к кладу. На душе стало хорошо. Он быстро расчистил дорожку: очень хотелось взглянуть на золото. Понимал, что это глупо, а удержаться не мог. И посмотрел бы, но в это время к сараю направилась жена. Бороко выругался про себя и вывел из конюшни верхового коня.

— Ты куда это собрался? — спросила жена.

— Гм, разве я когда-нибудь объяснял тебе, куда и зачем еду?

— Никогда не объяснял,— робко ответила жена,— но неужели так вот и оставишь сугробы у порога?

— Бери в руки лопату и убирай сама, а то ты так разжирела, что можешь лопнуть,— бросил Бороко через плечо и уехал.

Жена ничего не сказала ему, только с горечью посмотрела вслед, вздохнула: «Аллах милостивый, за какие грехи ты наказал меня таким мужем? За всю жизнь не слышала от него доброго слова, одни грубости. Прости меня, всемогущий, за мой ропот, но ты сам все видишь... Надо браться за лопату, а то ведь засмеют, скажут, что в этом доме нет хозяев».

Она взяла лопату и стала чистить двор, складывая снег вдоль дорожек. Увлеклась работой, разрумянилась и даже тихонечко запела. Совсем тихонечко, чтобы никто не слышал. Первый снег — это первая зимняя радость. Он напомнил ей детство, снежных баб, которых она так любила лепить.

Во двор вошел Лак, младший, шестнадцатилетний брат мужа:

— Невестка, ты что это занялась мужской работой? Или у тебя нет мужа? — Он хотел казаться взрослым, солидным и потому говорил немного свысока.

Она подняла голову, улыбнулась и назвала его именем, которое сама придумала для него:

— Это ты, Зекашу? Рада тебя видеть. Как там у вас дома? Все ли хорошо? Здорова ли свекровь моя? Давненько я не видела ее. Ты уже, наверно, убрал во дворе снег? Вот и я решила заняться. Бороко зачем-то срочно понадобилось к эффенди Анзауру, а я так люблю делать сугробы. Первый снег очень красивый, правда?

— Да-да, очень! Я тоже люблю возиться в снегу. Дай-ка мне лопату... Мать прислала меня, говорит, узнай, не засыпало ли их снегом.

Ему неловко было за брата — нехорошо, когда женщина выполняет мужскую работу. Недаром говорят: «Если будешь заставлять жену делать тяжелую мужскую работу, она превратится в буйвола». Как с нею жить тогда, как любить?

Работал Лак споро и скоро: не только проложил дорожки по всему двору, но и почистил конюшню, коровник, сложив теплый навоз на белый снег.

Тем временем Бороко, чтобы угодить Шеретлуковым, убирал с другими тфокотлями снег на усадьбе родовитого. Работал так ретиво, как никогда не трудился у себя дома: пусть Шеретлуковы видят, как он для них старается.

Закончив работу у Шеретлуковых, Бороко вернулся домой. Он даже не обратил внимания, что во дворе наведен порядок, зато мгновенно заметил, что дверь в сарай отворена. Кто открыл ее, зачем?

Бороко бросился в сарай.

Лак затыкал пучками сена дыры, образовавшиеся в крыше. И затыкал как раз там, где был тайник.

— Ты что тут делаешь?! — истерически закричал Бороко, чуть не до смерти испугавшись за клад. — Вон отсюда!

И он взашей вытолкал брата из сарая.

Лак не мог ничего понять и оторопело смотрел на рассердившегося брата:

— Да ты с ума сошел, Бороко? Что случилось? Я вычистил у скотины, хотел позатыкать дыры, чтобы в сарай не набивался снег, а ты...

— Вон, я тебе сказал! — задыхаясь, орал Бороко.

— Хорошо, мой старший брат, я уйду и теперь уж никогда не переступлю твоего порога.

Бороко расхохотался:

— Не только придешь — прибежишь. Вы еще не знаете, что за человек ваш старший брат. Он не чета не только вам, бездельникам, но и людям посильнее, побогаче... — Бороко тут же спохватился, не выдает ли он своей тайны, а потому солидно добавил: — Кто у нас старший в семье, а? То-то. Велю, так и на четвереньках ползать будешь.

Лак вспыхнул от обиды, взыграла горячая юношеская кровь:

— Сам увидишь, мой старший брат, приду я к тебе или нет. — И направился к калитке.

— Ты посмотри, что он болтает, этот молокосос! А ну-ка вернись, пока моя плетка не догнала тебя! Вернись, говорю! — И Бороко взмахнул плеткой.

Лак сгорал от стыда за Бороко, от обиды и мог бы ответить ему как следует, но, услышав голос старшего, послушный обычаю старшинства, который он впитал с молоком матери, сник. Покорно опустив голову, повернулся к Бороко. Опустил голову еще и потому, чтобы брат не увидел в его глазах непокорности, бунта.

Бороко оглядел Лака с ног до головы и подумал: «Как этот сопляк похож на Моса. Упрям, норовист. И плечи и походка как у медведя... А все же смирился, значит, еще не совсем отбился от рук».

— Так-то лучше,— проговорил он.— Иди в дом, я сейчас тоже приду.

Когда Лак ушел в дом, Бороко направился в сарай, к своему кладу. Нащупал его рукой: «Слава аллаху, все цело... Но все ли?» И он не без тревоги достал сверток и долго любовался золотыми монетами, кольцами, подвесками. Сердце наполнилось несказанной радостью и гордостью оттого, что у него есть такое богатство, такая сила. Никто еще не знает об этом, но придет время — и все узнают. Вот и дурачок Лак ерепенится, а ходит голодранцем. Ничего, придет время, и Бороко оденет младших братьев в лучшие одежды. И этот мальчишка Лак будет выглядеть не хуже сына родовитых... Потом он вспомнил, что должен отдать часть золота матери. «Зачем ей? Она ведь и цены ему не знает. Если поедет на базар, торговцы ее обманут. Мать никогда ничего не покупала и не продавала — это мужское дело ездить на базар, вести торги... Чего доброго, возьмет да и отдаст золото братьям, а парни ветреные, быстренько его размотают. Не-ет, никому ничего не дам. Сам буду распоряжаться богатством, буду его единственным хозяином. Так лучше для всех. Да мать, пожалуй, испугается, если ей показать все это...»

Он позвенел золотом, послушал его музыку, посмотрел, как оно блестит и переливается. Потом бережно завернул в холстину и решил положить в глубокие ясли, в дальний, глухой закоулочек, куда и мыши, наверное, не лазят. «Так будет надежней»,— решил Бороко. А то Лак стал затыкать дыры в крыше и чуть не напал на клад. А если бы нашел?! Ой-ей, что было бы, что было! От этой мысли в глазах у Бороко помутнело.

Спрятав сверток, он отошел к дверям, внимательно посмотрел на ясли, нет ли чего подозрительного. Подобревший оттого, что увидел золото, он вошел в дом.

Лак сидел за столом и завтракал. Вошел Бороко, и он встал.

— Сиди, сиди,— сказал старший,— я уже позавтракал. Хочу немного посидеть у огонька. На улице, хоть и солнце светит, а холодно. Озяб я... А чего это ты, Лак, ходишь в дырявых штанах? Или залатать некому? Иди-ка надень шубу, которую мне подарили Шеретлуковы, а жена починит твои штаны. Нехорошо так ходить на людях. Иди, иди.

Бороко уже забыл, что он собирался Лаку купить новую одежду. «Еще в этих лето проходит. Нечего добром разбрасываться».

VI

Осенью прошлого года, когда Наго покинул этот мир, Али-Султану стало очень худо. Не знал, как справиться с бедой, как жить без отца, как вести огромное хозяйство, держать в руках норовистых тфокотлей. Боялась этого и мать. Однако Али-Султан довольно быстро совладал со своим горем, приобрел уверенность, хватку.

Говорят, пес кусает того осла, хозяин которого уже мертв. Но если у хозяина остался наследник, осел не будет бездомным, обиженным. Али-Султан оказался хорошим наследником. Он обнаружил, что отец не очень-то рачительно вел хозяйство, его рука была недостаточно твердой. Мать хоть и женщина, но воли у нее побольше, глаз позорче, рука пожестче. Али-Султан понимал это еще при жизни отца, а теперь все стало очевиднее. Он внимательнее присматривался к матери, учился у нее, прислушивался к ее советам, только делал все по-своему, по-мужски. Мать любила смотреть, когда маленький Али-Султан стегал кнутом кошку, она даже подбадривала его: «Так, сынок, дай ей хорошенько, чтобы духу твоего боялась!» И кошка ушла из дому. С огромным волкодавом было иначе. Пес воспротивился мальчишке, невзлюбил его за жестокость и однажды, когда Али-Султан пытался поколотить его палкой, бросился на него. Правда, не укусил, но свалил на землю и сильно напугал. Мать видела это и приказала убить пса.

— Видишь, мы сильнее пса, мы сильнее всех! У кого сила, у того и правда. Главное, сынок, не бояться и хорошенько колотить палкой всякого, кто не хочет тебя слушать.

Мальчишка тогда не понял материнских слов, но догадался, что ему позволено если и не все, то очень многое... Он стал ради забавы подкрадываться к служанкам и бить их по спине кнутом. Те не смели ему ответить и покорно сносили обиды. Это очень нравилось Али-Султану. Он почувствовал себя сильнее взрослых, ему даже было приятно, что они боятся его.

Потом он увидел, что и с мужчинами происходит то же самое — они не только не сопротивлялись ему, а заискивали перед ним, старались угодить.

И вот теперь, когда умер отец, а он стал полновластным хозяином, взял за правило обращаться с тфокотлями жестко и твердо.

Скоро Али-Султан возомнил себя самым мужественным человеком в ауле. Его поддерживал великий князь Кансав, радуясь, что Али-Султан — крепкий хозяин и не по годам мудр. Бороко и ему подобные заискивали перед ним, лицемерили. Эффенди Анзаур говорил прихожанам:

— Добрый, добрый человек Али-Султан. Он хоть еще и совсем молод, а печется обо всех, будто заботливый отец. Мы должны благодарить аллаха за то, что он дал нам такого хорошего хозяина. А Наго смотрит теперь из райского сада на сына и радуется. Радуется и тому, что мы хорошо и дружно живем

с Али-Султаном, выполняем заветы аллаха нашего, ибо сказано: чти отца своего, а хозяин и есть отец наш.

Трудно сказать, почему говорил Анзаур эти слова: потому ли, что верил в них, потому ли, что получал за них деньги и и благодарность родовитых. Да он, пожалуй, и не мог сказать правду — в голове у него все смешалось. Он с удивлением обнаружил, что после возвращения из Бахчисарая стал другим человеком, даже сам себя не всегда понимал. В длинные зимние ночи, когда плохо спалось, размышляя об этом, он в чем-то начинал сомневаться. Но самое странное — не стыдился этого, а искал оправдания, ссылался на божью волю. Иногда называл свои сомнения греховными и гнал их прочь.

«Али-Султан заботится обо всех нас, будто мудрый отец»— когда Али-Султан слышал эти слова, то опускал голову, чтобы люди не увидели его насмешки. Он считал тфокотлей убийцами отца и ненавидел их.

Али-Султан думал: «Интересно, верит Анзаур в то, что говорит? А почему бы и нет? Кормится в мечети, которую построили Шеретлуковы, учился в Крыму на наши деньги, а теперь вот я дал денег на дорогу, на учебу и его Натару. Как же после этого не верить в то, что мы, Шеретлуковы, добрые люди? Ведь, заботясь о мечети, об эффенди, мы заботимся о душах тфокотлей. Только с нашей помощью они и смогут быть правоверными мусульманами, смогут служить великому аллаху и снискать его милосердие».

Так размышлял Али-Султан, сидя теперь уже в комнате отца.

Открылась дверь, и вошла мать. За минувший год она так располнела, словно смерть мужа пошла ей на пользу. Дарихат молча села на топчан, Али-Султан подал ей под ноги скамеечку. Она поставила на нее ноги и улыбнулась:

— Что может заменить матери ласковые руки родного дитя? Служанки делают все из страха, из подхалимства, а это так противно! Акоза всегда ставила мне скамеечку с гаденькой улыбкой. По какой земле теперь шагают ее ноги? Кому она служит?.. Скучно что-то, сын мой! Да и тебе невесело — все один и один. Развеялся бы немного, а то ведь с тоски можно и заболеть. Сходил бы вечерком к Мамирхан — бедняжка тоже скучает.

Мать напомнила о невесте, и Али-Султан смутился. Щеки залились румянцем, словно сидел у пылающего очага. Он опустил голову.

О женитьбе заговаривал еще покойный Наго — когда Хагур собрался жениться на Акозе. Наго согласился, а сам подумал: «Сын мой еще холост, а этот раб уже хочет жениться. Не бывать этому до тех пор, пока вся Шапсугия не побывает на свадьбе Али-Султана!» Вот тогда-то он и решил сбыть Акозу Мамруко — то ли от злости на Хагура, то ли от зависти, то ли Дарихат довела.

Али-Султан понимал — отец погиб из-за Акозы, хотя прямых улик против тфокотлей у него не было. Так это или нет, но его свадьба расстроилась из-за смерти отца, испорчена была и свадьба Алкеса.

Злоба закипала у Али-Султана против Хагура, против Акозы, против всех тфокотлей.

— Что же ты молчишь, сын мой?

— А что сказать?.. Рано еще говорить о свадьбе.

— Не рано. Я уже все обдумала. Главное, не стесняйся меня. Ты самый родной, самый дорогой мне человек. Если мы будем с тобою во всем едины, то все будет, как захотим. Ты, наверно, подумал об обычае? Но наши обычаи, законы — это мы, а если кто попытается указать нам или помешать, тот заплачет кровавыми слезами.

— Не об этом я думаю, мать.

— О чем же?

— Об отце. Не оскорбим ли мы его память?

— О, сын мой! Я совсем забыла тебе сказать: прошлой ночью во сне ко мне приходил отец. Мы долго с ним беседовали, много говорили о тебе. «Сыну моему,— сказал он,— пришла пора жениться, пора ему позаботиться о продолжении славного рода Шеретлуковых. — И добавил: — Пусть Али-Султан будет мужественным по отношению к презренным тфокотлям. Они и в аду грызутся друг с другом, аллах не любит их и постоянно наказывает — бросает в вечный огонь, в кипящую смолу». Отца приняли на небесах хорошо, перед ним широко распахнули двери рая.

— О чем еще говорил отец? — не без страха перед великим таинством спросил Али-Султан.

Дарихат немного растерялась, но тут же нашлась:

— Что... всех наших мерзких лентяев, и Шепако, и Устока бросят на том свете в ад. Шайтаны навострили вилы и ждут их с нетерпением.

Теперь Али-Султану стало совсем страшно. Он замер, смотрел на мать не моргая:

— А ты не спросила у отца, кто его убийца?

— Конечно, спросила. Он так ответил: «Сейчас вам незачем это знать».

— Почему?! — удивленно воскликнул Али-Султан.

— Откуда мне знать, сынок. Слишком много я не решилась спрашивать. Нельзя. И еще он говорил: «Пусть Али-Султан не забывает Мамирхан, это его судьба, такова воля небес». Видишь? Так что не думай об отце, он сам подумал о нас. Ох, какой это был добрый человек, как я его любила. Я не стыжусь тебе в этом признаться, хочу лишь, чтобы и тебе повезло с женитьбой, как нам с твоим покойным отцом. Думаю, Мамирхан — самая подходящая пара, не надо томить девушку ожиданием...

Чем больше проходило времени после этого разговора, тем беспокойнее чувствовал себя Али-Султан. Он стал плохо спать. Иногда по ночам слышал, как его кто-то звал, и вскакивал с постели, обливаясь холодным потом. Стал бояться темноты, одиночества. По вечерам возвращался из мечети чуть ли не бегом, ему чудилось, будто за ним кто-то шел, кто-то подкрадывался.

Рассказал об этом матери. Она успокоила:

— Это отец напоминает тебе о своей воле. Надо готовиться к свадьбе.

И Али-Султан стал ходить вечерами к Мамирхан. Правда, ходил один, без друзей, а это вызывало у ее родителей недовольство: «Что скажут люди?»

Как-то днем, оставшись в мечети после обеденного намаза, Али-Султан доверился Анзауру, рассказал ему, как отец приходил ночью к Дарихат, как они беседовали. Бывает ли такое, не греховно ли это?

Анзаур испугался: «Что болтает этот сумасшедший? Как это можно, чтобы покойники приходили к живым и вели с ними беседы? Греховно даже говорить об этом, но... Как знать? Надо бы спросить у Каймурзы-Хаджи, но не ехать же к нему в Бахчисарай». И Анзаур, подняв глаза к небу, ответил:

— Аллах сподобил Дарихат поговорить с Наго, да сподобит и тебя узнать незнаемое. Аминь! Пусть будут светлыми и чистыми пред господом нашим, всем дающим и ни у кого не просящим, твои слова и мысли. Пусть они принесут счастье вашему дому!.. Почему же вы так долго скрывали, что Наго попал в рай? Значит, есть уже там наш человек, значит, многим из нас может быть открыта дорога в рай! Радостную весть ты принес, сын мой. Сегодня же во время вечерней молитвы я расскажу об этом всем правоверным. Пусть молятся усерднее, пусть берут пример с добродетельных людей, пусть уважают таких, как ты, тогда тоже попадут в рай...

— Подожди, подожди, Анзаур, что ты так зачастил? Не торопись... Надо посоветоваться с матерью, ведь это она разговаривала с отцом.

— Как можно не посоветоваться? Прямо сейчас и пойдем к ней. Дарихат мудрая женщина. Не у всякого мужчины столько ума, сколько у нее. Обязательно надо посоветоваться с ней!..

Именно этого и хотела Дарихат, хитрая дочь Наурзовых. Именно поэтому она и рассказала выдуманную ею историю Али-Султану. Знала, что сын не удержится и обязательно поделится с Анзауром. Ей надо, чтобы аульчане поверили в особое назначение рода Шеретлуковых, в его избранность.

Когда Али-Султан и Анзаур пришли к Дарихат, у нее сидел Макай. Он был небрит, выглядел уставшим — видно, много дней провел в пути.

После того как мужчины поприветствовали друг друга, Дарихат обратилась к Анзауру:

— Хагур, оказывается, украл богатство Мамруко, зарытое в лесу, и теперь пьет-гуляет в Крыму. Макай его видел там.

— Наш Хагур?! — удивленно воскликнул Анзаур.

— Не веришь, эффенди? — заикаясь, сверкая белыми зубами, спросил Макай и добавил: — Я видел его своими глазами. Если не веришь, поинтересуйся у Натара, когда вернется домой. Мы вместе с ним видели Хагура.

VII

Лак широко распахнул дверь, сияющий от радости, вбежал в комнату матери:

— Нан, нашего Моса видели в Крыму!

— Ей, что ты говоришь, сынок?! Пусть счастьем для нашего дома обернутся твои слова! Но кто сказал тебе об этом? — с недоверием и вместе с тем обрадованно спросила Ляшина.

— Гость Шеретлуковых, Макай! — выпалил Лак и запнулся.

Услышав имя Макая, Ляшина очень встревожилась. Она знала, сын ее честен и добр, но что подумают люди, если узнают, что Мос был в Крыму вместе с этим страшным человеком, решат, что он сдружился с Макаем. Такого позора она не переживет.

Нет-нет, этого быть не может! Мос случайно встретил Макая, он никогда не подружится с грязным и страшным человеком! Успокоившись, она спросила:

— Что занесло его в Крым? Бороко знает об этом?

— Знает, он мне и рассказал.

— Тебе рассказал, а матери не мог,— обиделась Ляшина. И заторопилась на улицу.

Солнце, миновав зенит, висело над Бастуком, как надетая набекрень папаха.

Бормоча сердитые слова, Ляшина вышла из дому.

Мальчишки гоняли по улице юлу и так шумели, словно было их в пять раз больше. Играл с ними и Рашид. Он был на голову выше, поплечистее их. Повзрослел, а все тянулся к малышам, словно не хотел расставаться с детством.

— Нана, куда ты? Можно я пойду с тобой?

— Ты лучше поиграй, я скоро вернусь.

— Вот я ему сейчас намылю шею, будет знать, как с малышами забавляться. Быстро иди домой! — закричал со двора Лак. — Сколько раз тебе говорено, чтобы не гонял с детишками юлу? Иди домой! Будем двор убирать!

Ляшина горестно улыбнулась, покачала головой: «О, мой аллах! Да станут ли мои дети наконец мужчинами, чтобы я уже могла спокойно пожить, чтобы смогла хоть немного отдохнуть?.. Надеялась на двух старших, а они вон какими оказались. И в кого только уродился Бороко? С братьями грубый, со мной неласковый. Тянется к Шеретлуковым, лебезит, заискивает.

Перед людьми стыдно... Мос будто бы хороший парень, но вот полюбуйтесь — он уже в Крыму! Зачем, как туда попал? Хоть бы слово сказал матери, так нет же! Я уже столько слез пролила, а им хоть бы что».

Ляшина остановилась, чтобы не перейти дорогу мужчине, который шел с деревянными вилами на плечах.

— Да это никак ты, Тхахох? Я так рада, так рада тебя видеть! Как поживаешь, что новенького слышно у вас?

Остановился Тхахох, снял с плеча вилы:

— Спасибо, тян. Все у нас хорошо, милостью аллаха. А как ты поживаешь со своими парнями? Не хвораешь ли?

Ляшина посмотрела на него, укоризненно покачала головой:

— Если бы и в самом деле беспокоился о моем здоровье, давно бы пришел к нам. Ты ведь мне как родной, и когда долго не приходишь, я и о тебе думаю, тревожусь. Нехорошо, Тхахох, забывать о том, кто тебя любит и тревожится за тебя.

— Валлахи, тян! Сейчас-то я иду к тебе. Видит аллах, говорю правду. Я ведь тоже скучаю по вас, да все некогда, все работа и работа... Я слышал, Мос где-то в Крыму объявился. Правда ли это?

— Об этом говорили в кунацкой Шеретлуковых. Тебе, как мужчине, надо бы раньше меня знать. Пошел бы сам, хорошенько все узнал, потом и мне рассказал.

— Я рад, что Мос жив-здоров. Надо бы порасспросить Макая, но мне противно даже видеться с ним, а не только разговаривать. Главное, что Мос жив.

— Правда, где бы он ни находился, лишь бы был жив и здоров... Вы друзья с Мосом, неужели ты не знал, что он собирался в Крым, а? Неужели совсем об этом не говорили, скажи мне честно, не лукавь.

Тхахох пожал плечами, переступил с ноги на ногу. Как ей сказать, что ответить? Сказать, что он поехал искать любимую девушку? Неудобно говорить об этом пожилой женщине. Притвориться, будто не знает, будто и разговора у них никакого не было,— стыдно. Врать вообще стыдно, а пожилому человеку и подавно.

— Он поехал по делам одного тфокотля, тян. — Тхахох все-таки сказал неправду, и ему стало неловко.

— А что в Бастуке не нашлось человека более опытного и мужественного, чем Мос?

— Ты еще спрашиваешь.

— Если ты сказал правду, спасибо, что вы так хорошо думаете о моем сыне. Но в Бастуке живут люди и достойнее Моса. А не знаешь ли, с кем он отправился в Крым?

— Нет, тян, не знаю.

— Аллах меня покарал, если он там, в чужой стороне, один. Парень горячий, боюсь я за него. Чего доброго, еще свяжут его уорки.

— Не бойся за своего сына, тян. Он не из тех, с кем просто справиться. Да и друзей у него хватает, они не дадут его в обиду... Иначе Макай бы сделал это. Но, видно, руки у него коротки. Так что успокойся.

Тхахох постоял еще немного, стыдясь, что так долго стоит на улице с женщиной. Надо бы уже уйти, но нельзя прерывать разговор со старшей. Но вот на улицу выехало двое всадников, и Тхахох заторопился:

— Я пойду, тян. Как-нибудь загляну к вам. Будь здорова!

Бороко Ляшина дома не застала. Посидев немного с невесткой, попросила:

— Передай Бороко, пусть сегодня вечером зайдет ко мне, а я побегу — дома дел много.

Ни в этот, ни в следующий вечер Бороко не пришел к матери, хотя и не был занят.

Наступил третий вечер...

«Зачем я ей понадобился? — спрашивал себя Бороко. — Неужели Мос рассказал ей о золоте?» Конечно, ему было очень жалко давать матери золото, но главное, обидно выполнять волю младшего брата. Если кто узнает об этом — позор! Назовут его тряпкой, а не мужчиной. От этих мыслей он приходил в ярость.

А тут еще появился Макай. Он шнырял по дворам, все что-то выспрашивал, наверно, вынюхивал, с кем был Мос в лесу, с кем разделил клад Мамруко.

Бороко затаился, выжидал. По ночам от страха его бил озноб.

Как-то вечером, убирая из комнаты мужа анэ, после того как он поужинал, Самет спросила Бороко:

— Не из-за золота же твой брат убил Мамруко? Как ты думаешь? Говорят, у Мамруко было такое богатство, что его и в арбе не увезти, не то чтобы верхом на коне. Как же мог он увезти все это в Крым и зачем? С таким богатством можно жить и дома.

— Неужели и в самом деле у Мамруко было такое богатство? — Бороко притворился, что ничего не знает.

— Говорят, несметные богатства!

Задумался Бороко. «Может, этот хитрый медведь показал мне только часть богатства Мамруко, а остальное утаил? Конечно, совсем не поделиться он не мог, побоялся, что я все равно узнаю. Ну если это так?! Я ему покажу, я проучу его! Пусть не думает, что ему это сойдет с рук. Поганец, неблагодарная свинья! Я забочусь о семье, бьюсь из последних сил, чтобы поднять на ноги наш род, а он!»

— Удивительную историю ты рассказала, если это правда. Но если бы эти богатства достались Мосу, думаю, он не стал бы скрывать, ведь мы самые родные ему люди. Наверно, Макай наврал.

— Ты еще не ходил к своей матери, Бороко?

— Послушай, жена, ты разболталась в последнее время: то спрашиваешь, куда я еду, то почему я не иду к матери,— вспылил Бороко. — Укороти язык, не то я сам укорочу его!

Бороко вышел на крыльцо и задумался: что же делать? Куда идти?

В небе разгорались звезды. В саду, в огороде лежал, мерцая, снег. Это мороз спускался с ночного неба и светился звездочками.

«А вдруг люди знают, что Мос поделился со мною богатством Мамруко? Может узнать об этом и мать. О-о! Тогда молоко матери, которым она вскормила меня, обернется проклятием. Да и Мос, и младшие братья не простят мне этого. Что же делать?..»

Он решительно направился в сарай, достал из яслей сверток и долго размышлял, сколько же дать матери золота. Наконец положил часть золота в карман шубы и вышел из сарая. Постоял, оглядываясь вокруг. Не подсматривает ли за ним кто? Потом, закрыв сарай на засов, зашагал к матери.

Шел он легко, споро, но вот показались ворота материнского дома, и Бороко стало не по себе. Во всем теле появилась слабость, ноги отяжелели, их трудно было переставлять... Золото в кармане шубы словно жгло ему бок.

Бороко вошел в комнату, и младшие братья вскочили, будто по команде. Поставили для старшего брата табурет к очагу. В доме было тепло. Огонь в очаге горел так ярко, что трепетный свет жировки, стоявшей в углу, был совсем лишним.

Бороко зачем-то огляделся по сторонам, решая, снимать ему шубу или нет. Решил не снимать. Сел на табурет, и ему показалось, что карман с золотом слишком подозрительно оттопыривается. Пришлось снять шубу и повесить на стену рядом с собой.

Ляшина обиделась на старшего сына, что он сразу не пришел к ней, но не подала вида:

— Ты так долго не приходил, сын мой, наверно, был занят очень важными делами?

— Валлахи, мать! Даже и не знаю, почему так получилось! Позавчера домой вернулся очень поздно. Вчера целый день возился со скотиной, а вечером меня позвали Шеретлуковы, потому что у них был гость.

— Ты, конечно, сидел где-нибудь у края стола?

Услышав вопрос матери, младшие братья переглянулись, пряча насмешливые улыбки. Бороко не заметил улыбок и продолжал:

— Не совсем так, мать. Сегодня Шеретлуковы не знали, куда меня посадить, выбрали мне место получше, поближе к гостю.

— Ну и что ты узнал у Шеретлуковых о своем младшем брате? Что сказал тебе этот Макай?

— Вы уже все слышали, Макай ничего нового не сказал. Говорил, что, слава аллаху, Мос жив и здоров.

— Да пусть всемогущий хранит моего сына, вашего брата! И все-таки, зачем Мос поехал в такую даль, зачем ему понадобилась чужая земля?

— Гм, ты еще спрашиваешь! Наш легкомысленный Мос поехал в Крым жениться,— насмешливо ответил матери Бороко.

Ляшина отодвинулась от огня, в крайнем удивлении посмотрела на Бороко:

— Что ты говоришь, сын мой? Какая женитьба? Неужели Мос решил жениться на турчанке и опозорить нас?

— Нет, мать, не на турчанке. Дворовую девку Шеретлуковых продали в Турцию, вот он и поехал разыскивать ее.

— О мой аллах! Так бы и сказал,— облегченно вздохнула Ляшина. — Выходит, твой брат мужественный человек, раз не оставил девочку в беде, поехал, рискуя жизнью, в чужую землю выручать ее.

— Не знаю, что тут мужественного. Разве стоит ехать в Турцию из-за той, которая носит платок? Разве у нас в Бастуке или в Бжедугии нет достойных девушек? И потом, говорят, за нею ухлестывал Тхахох. Мос просто дрянь, он позорит весь наш род, вот что я должен сказать. Поехать бы в Крым да гнать его оттуда до самого Бастука плеткой, чтобы выбить из него глупость и легкомыслие!

Встала мать. Сдвинулись ее черные брови:

— Не говори так, Бороко. Мой сын не позорит нашего рода, он защищает его честь. Мос — мужественный и честный человек!

VIII

...Хагур знал, что турецкие суда не подходят к адыгскому побережью Черного моря не только поздней осенью и зимой, но и ранней весной, и все-таки, не откладывая даже на день, поехал на побережье. «Кто знает? — рассуждал он. — Может, пристанет к берегу какое-нибудь судно. Воры, промышляющие куплей-продажей людей, ради денег пойдут на любой риск».

За одни сутки Хагур добрался до места. Конь его, словно чувствуя, почему так торопится хозяин, шел без устали. В час чаепития Хагур выехал на возвышенность, где прежде кипел базар, а сейчас было пусто. Перед его взором встало отливающее свинцом море. Хагур долго, до боли в глазах вглядывался в туманную даль, но ничего там не разглядел, заметил только черный каменный утес неподалеку от берега и в первую минуту принял его за судно, но затем понял, что ошибся.

Море было пустынно, только волны, подгоняемые ветром, чередой набегали на прибрежные уступы и разбивались о них. Не успеют осесть брызги, как новые волны набегают, и раздаются только неумолчные стоны и грохот моря.

Мысли Хагура бежали навстречу волнам, устремлялись к другому, далекому берегу. Он не знал, что делать. Быть мужественным — это не только иметь смелость. Нужно уметь оценивать свои силы, знать, на что ты способен.

Огромное красное солнце выплывало из-за гор, с той стороны, где была родная земля. Земля адыгов. И забыл Хагур все, чему учил его эффенди, потому что аллах был далек и непонятен, а восходящее солнце близко и понятно. И встал на колени, и протянул к нему руки:

— О, мое Солнце! О, мой великий Тха[1]! Сжалься, будь милостив ко мне, подскажи мне дорогу, дай свершить ее, не гаси в сердце надежду, мой лучезарный бог! Ты дал мне жизнь, доброте твоей нет предела, помоги мне исполнить свою клятву, которую я дал в своем сердце, верни мою любимую, подскажи, где она!

Хагур не помнил, сколько времени он провел наедине с морем и солнцем. Он высказал солнцу все, что лежало на душе. Все так же бушевало море, все так же носились большие, быстрые волны, но теперь Хагуру казалось, что он снял с сердца гранитный камень.

Он решил искать судно. Собираясь сесть на коня, увидел могилу Мамруко, которого похоронил у самой дороги. Камень торчит из-под снега. Хагур вспомнил, как раненый Мамруко уползал на четвереньках, какой ужас был в его глазах в ту минуту. И этот короткий кровавый след за ним! «Жил как собака и умер как собака,— прошептал Хагур. — Умер и лежит здесь в стороне от родных мест. Никогда и никто не придет к нему на могилу, не оплачет его, не попросит сжалиться грозного бога. И будет душа его гореть в аду».

Хагур подошел к могиле и громко сказал:

— Я прощаю тебе, Мамруко, зло, которое ты причинил. Пусть тебе станет хоть немного легче на том свете...

Он и сам не понял, зачем это сделал. Но на душе потеплело, как будто сквозняк образовался, теплый ветер прошел неведомо откуда и куда и пропал...

Хагур ехал берегом, пока солнце не поднялось к зениту. Надо было подумать о еде и отдыхе. Он остановился в первом же ауле, в доме тфокотля, а утром следующего дня отправился в путь.

Прошел еще один день в поисках судна. И еще один, и еще...

Достигнув залива, где сливались Черное море с Азовским, он решил ехать в Крым. Оттуда гораздо чаще, чем с побережья Кавказа, уходили в Турцию фелюги, а еще он точно знал, что сын эффенди, Натар, учится в Бахчисарайском медресе. Если ему посчастливится встретиться с Натаром, тот посоветует что-нибудь дельное. Ведь иногда добрый совет стоит мешка денег!

---

[1] Т х а — бог.

Итак, в путь! К цели! Хагур вспомнил совет Ахмеда Шепако, что в дороге не следует слишком доверяться случайным попутчикам. Ведь немало таких, как покойный Мамруко, встречается на дорогах адыгейской земли и Крыма, таких, которые могут и ограбить и убить.

Через две недели он добрался до Бахчисарая. Пока Хагур находился на родной земле, его не заботило, где ему отдохнуть, где подкрепить свои силы. Его и кормили и давали ночлег. Так же встречали его и в татарских селениях. Каждый раз хозяин дома, где останавливался путешественник, делал все возможное, чтобы угодить гостю, а когда тот пытался заплатить за гостеприимство, его осуждали.

В Бахчисарае этого гостеприимства не было и в помине. На каждой улице множество чайных, сколько угодно квартир, но за все нужно платить. Бахчисарай не похож на адыгские аулы. Он напоминает пчелиный улей — столько здесь людей, которые все куда-то движутся, спешат. Столько людей — и ни одного знакомого! Прямо на улицах пекут тонкие хлебцы, жарят нанизанные на железные прутья куски мяса, жир с них с шипением капает прямо в огонь.

И мечеть здесь не одна, как в Бастуке, их много. С разных сторон раздаются голоса муэдзинов, призывающих правоверных к молитве. Хагуру все было в новинку, он подолгу разглядывал и улицы и народ и поэтому однажды получил плеткой по спине.

Было это так. На улице, где он стоял, вдруг показались всадники, они кричали что-то на непонятном языке и разгоняли встречных. Хагур так и остался стоять, разинув рот, не понимая, в чем дело. Тут он и получил удар, но даже не успел рассердиться.

Всадники промчались, дорога опустела.

Это проехал хан.

Вскоре все вернулось в обычное состояние. Тот же шум, та же толчея. Хагура огорчало, что он не знал языка этой диковинной страны, он ничего не мог понять, а спросить было некого. Деньги у него есть, но беспомощен он, как последний нищий. Надо обязательно найти Натара! Но как?...

Хагур стал останавливать прохожих, повторяя: «Медрес, медрес», но те, ничего не поняв, уходили, улыбаясь. Держа коня на поводу, не зная, куда идти, он остановил одного парня и спросил на адыгском языке:

— Парень, ты не знаешь, в каком медресе учится Натар, сын эффенди Анзаура?

Татарин пожал плечами и пошел своей дорогой.

— Медресе! Не знаешь, что такое медресе, непутевый? — рассердился Хагур. — Медресе, в котором учится Натар?!

Парень приостановился, он догадался, что этот человек ищет медресе, и показал рукой на мечеть, видневшуюся в стороне. Хагур обрадовался так, будто он уже разыскал Натара.

Заглянув во двор мечети, Хагур никого не увидел. Напротив мечети стояли какие-то дома. Дома как дома, но именно оттуда высыпали молодые люди в одинаковых одеждах. «Здесь не только Натара, но и собственного брата не узнаешь»,— озабоченно подумал Хагур. И в эту минуту он увидел Натара. Вернее, Натар узнал его и бросился к нему, радостно улыбаясь.

— Хагур, я узнал тебя сразу! — кричал Натар. — Сразу, как увидел. Каким чудом ты оказался здесь? И так неожиданно, будто луч солнца сверкнул в хмурый день!

Хагур тоже расплылся в улыбке и смотрел на Натара, как на чудо.

Натар не заставил гостя ждать, быстро отпросился и повел Хагура к себе. Они просидели до глубокой ночи. Хагур больше года не видел Натара и теперь с удивлением вглядывался в него, находя все новые и новые изменения. Натар вырос, возмужал. Он скромен, но густые черные усы придают ему мужественный вид. Рассказав о родном ауле, о близких и дальних знакомых, Хагур перешел к рассказу о себе и о своем деле. Весть об Акозе тронула Натара больше, чем смерть Наго, он взволнованно сказал:

— Судьбой человека распоряжается аллах, но находятся люди, которые идут против аллаха, покупают и продают людей, убивают их или калечат им жизнь. За это они обречены гореть в огне, и никогда не будет им прощения!

— Что мне за дело, как покарает злодея бог? — горько усмехнулся Хагур. — Мамруко был убит Дзепшем, а мной похоронен. С ним мы уже рассчитались, и не на небе, а здесь, на земле. Теперь мне надо найти Акозу. Вряд ли аллах займется ее поисками.

— Не говори так,— взмолился Натар. — Ты не сам покарал Мамруко! Аллах вел твою руку, аллах привел тебя ко мне, он поможет тебе и в дальнейшем. Не закрывай свое сердце для веры. А я помогу тебе, чем смогу. У меня здесь есть друг, его отец — владелец корабля, который часто бывает в Турции. Я поговорю с другом. Думаю, что нам не откажут.

IX

В поисках владельца корабля прошло несколько дней. Наконец им повезло, и владелец, выслушав просьбу Натара, обещал подумать и завтра же ответить. С этой надеждой Хагур отправился в мечеть помолиться, чтобы аллах расположил к нему сердце капитана корабля. Натар молился рядом. Когда вышли из мечети, Хагур сказал:

— Валлахи, Натар! Особой разницы между нашей и этой молитвой я не заметил. Твой отец, эффенди,— умный человек, он научил меня молитвам. И не только меня, а весь аул, дай бог ему долгих лет жизни.

Натару было приятно, что его отца похвалили. Он сразу представил и родной аул, и отчий дом, увидел, как встает солнце над красавицей Пепау, как бежит, играя волной, река Иль, и сердце его сжалось от острого чувства любви и печали.

— Беда, что отец не знает арабского языка, он запомнил молитвы, а прочитать их не может,— деланно суровым голосом отозвался Натар.

— Почему мы должны знать язык арабов, если арабы не знают адыгского языка? Это несправедливо!

— Ты не прав, Хагур,— мягко улыбнулся Натар. — И крымские татары, и турки, и мы, весь род мусульманский, служим одному богу, имеем одну веру, которая зародилась в Арабии, языком арабов написан коран.

— Разве есть целая страна — Арабия?

— Есть и другие страны... Их много.

— Как удивителен наш мир! Так много стран, и у каждой страны свой язык?

— Да.

— Но тогда как же людям жить, как понимать друг друга? Разве не мог аллах создать одну общую страну и один общий язык, чтобы все люди могли друг с другом разговаривать?

— Не знаю,— задумчиво ответил Натар. — Об этом знает только бог. Видимо, не напрасно он разделил людей. Я знаю таких, которым не страшно это разделение, они изучают чужие языки и могут свободно разговаривать и с арабом, и с турком, и с адыгом. Каймурза-Хаджа знает три языка: татарский, турецкий и арабский. Сейчас он учит адыгский, чтобы разговаривать со мной. Это очень умный человек. Может быть, аллах хотел, чтобы на земле жили умные люди, когда разделял языки. Выучить чужой язык — это приобрести новые знания — самое большое богатство.

— Удивительные слова ты говоришь! — восхищался Хагур.

— Каймурза-Хаджа не только знает языки, но еще и сочиняет стихи.

— А что это?

— Не знаешь, что такое стихи? — задумался Натар, наморщив лоб, как бы пытаясь отыскать нужное слово. — Это... это так же складно, как песня.

— А, так он сочиняет песни,— обрадовался Хагур.

— Нет, Хагур, песня — это другое. Песню поют, играя на каком-нибудь инструменте. Стихи просто читают, как молитву, только они не обязательно обращены к аллаху, но и к человеку, к морю, к цветку, к любимой или к родной земле. Когда придем ко мне, я тебе покажу, и ты сам все поймешь.

Они молча шли дальше. Думали каждый о своем. Хагур размышлял о том, что жизнь делает человека умнее. Только вряд ли он поумнеет, если будет все время сидеть под собственной крышей, никого и ничего не видя. Вот если бы Натар не приехал сюда учиться, что бы он знал? А так узнал очень

многое и, когда вернется в аул, сможет рассказать это другим. И те люди, которые нигде не бывали, ничего не видели, тоже смогут кое-что узнать благодаря ему. Он как бы их глаза и уши. Значит, учишься не только для себя, но и для других.

А Натар в это время шептал про себя две строчки небольшого стиха, который как-то на днях совершенно неожиданно для себя сочинил.

С чем сравню я родные края,
Где так молод и счастлив был я!

Как только вошли в комнату, он зажег жировку и, не раздеваясь, обмакнул гусиное перо в чернила и записал эти строчки арабскими буквами на листе бумаги. Хагур удивленно смотрел, как пишет Натар, потом сказал:

— Валлахи, какой ты умный! Пишешь так, как написан коран, простому человеку и не прочитать.

Натару вдруг стало не по себе от этих слов. Он же написал стихи о любви к родному краю, а никто прочитать не сможет. Нет, так не годится! На родном языке эти строчки зазвучат и понятней, и лучше. Натар снова вернулся к столу, переписал стихи, дописал их. Но Хагуру показывать не стал, застеснялся.

Уже лежа в постели, Хагур снова спросил:

— Как думаешь, не обманет владелец корабля?

— Не думаю! — отозвался Натар. — Он, конечно, поторгуется с тобой, чтобы поднять цену.

— Аллах свидетель! Я готов отдать ему все, что имею.

— Не спеши отдавать, тебе еще понадобятся деньги, когда ты пересечешь море. А теперь спи, Хагур.

— Спи и ты,— отозвался Хагур, хотя ему самому спать не хотелось. Полежав некоторое время молча, он сказал: — Ты забыл, Натар, показать мне то, что обещал. Покажи!

— Завтра, Хагур, завтра. Спи!

— Нет, покажи сейчас! Мне совсем не хочется спать. — Хагур встал и зажег жировку. — Показывай, а то завтра закружимся, и ты забудешь.

Натару было приятно, что гость вспомнил о том, чем он был занят весь вечер, чем мучился и наслаждался. Достал листок бумаги:

— Говорил я тебе — покажу, но смотреть тут нечего, надо читать. Слушай.

И он прочел стихи, сочиненные на адыгском языке. В них говорилось о красоте родной шапсугской земли, ее лесов, гор, быстрых речек и неба.

Хагур застыл, слушая Натара, а когда тот закончил, воскликнул восторженно:

— Какие удивительные слова про нашу землю! О милостивый аллах, я и не знал, что она такая красивая! И скажи, На-

тар, неужели все, что ты сказал, написано на этом маленьком кусочке бумаги?

— Да,— с гордостью ответил Натар.

Хагур запомнил и повторил последние строчки:

С чем сравню я родные края,
Где так молод и счастлив был я!

И у Хагура защемило сердце, заболело, наверно, потому, что он собирался уехать еще дальше от родной земли. Что там ждало его? Найдет ли он свою Акозу? Когда увидит Бастук?.. О, Хагур знал, как красив его родной аул, как красива речка Иль! Он как бы заново увидел их! И уже сейчас тосковал по ним, а впереди такая дальняя и опасная дорога. «Надо бы хорошенько запомнить все, что написано на том листке. С такими словами легче будет на чужбине». Он сказал об этом Натару, и тот согласился помочь Хагуру выучить стихи.

— Спасибо, мой младший брат, дай бог тебе здоровья! А когда вернешься в Бастук, обязательно прочитай написанное тобой в мечети. Пусть все знают, какая у нас красивая земля.

Гордости Натара не было границ. Хагур уже крепко спал, сладко похрапывая, а Натар все никак не мог уснуть от волнения. А ведь он думал, что Хагур посмеется над ним, скажет, брось заниматься глупостью, но получилось иначе: этот мужественный человек заучит их наизусть и будет помнить в далекой Турции. Натар даже не подозревал, что слова могут так сильно действовать на человека, помогать ему жить. Радостно было и оттого, что слова эти написаны на понятном адыгском языке. «Пусть земляки увидят, какой у них красивый язык»,— подумал он, засыпая под утро...

На следующий день, с раннего утра, Хагур с Натаром отправились к хозяину корабля. Тот сказал:

— Я возьму тебя на корабль, если ты отдашь мне своего коня.

— Говоришь, коня? — переспросил Хагур и переменился в лице.— Если я дам тебе пиастры, ты сможешь купить себе еще лучшего коня.

— Не хочу. Мне очень понравился твой конь. А не хочешь, как хочешь, ищи другой корабль.

Хагур пытался уговорить хозяина корабля взять деньги, но тот был неумолим.

Натар сказал:

— Ты видишь, хозяин — татарин, а татары очень любят адыгских коней. Так что лучше уступи, иначе ничего у тебя не выйдет.

— И чего ты так привязался к моему коню? Чтоб и ты испытал когда-нибудь, как трудно расставаться со своим другом! Ну да ладно, забирай, только у меня есть к тебе просьба: не обижай коня, а то тяжкий грех на тебя падет.

Хозяин корабля подивился на чудака, который заботится о коне, уже отданном другому хозяину, а потом сказал:

— Твой конь будет жить у меня, как в раю. — И расхохотался.

Хагур обиделся, но смолчал — тут уж ничего не поделаешь...

На восходе солнца следующего дня корабль отплыл...

X

...Шумел ветер в парусах, стонали волны, ударяясь о борт корабля. Хагур стоял вместе с другими пассажирами на палубе, смотрел, как садилось солнце, и горевал, что в Стамбул они прибудут затемно. В громадном чужом городе днем и то страшновато, а ночью-то куда пойдешь, кого спросишь?

Садилось солнце, оставляя людей один на один с морем. На душе у Хагура стало тревожно.

«Ничего,— думал он,— все обойдется. Слава аллаху, он послал мне попутчика-ногайца, который говорит по-адыгски и по-турецки. Без него я был бы как без языка. Ногаец Капай поможет найти Хасан-Мурада. Через него я разыщу тфокотля Талата, а там и Акозу. Только бы узнать, где она, и тогда я выкраду ее или выкуплю. Все обойдется».

Солнце уже совсем скрылось за горизонтом, над землей остался лишь яркий золотой венчик, который тоже вскоре пропал. Полыхала только алая заря.

К Хагуру подошел капитан и спросил по-татарски:

— Послушай, друг, чем ты так опечален?.. Э, да ведь ты не понимаешь меня. А как же в Турции будешь? Похоже, непутевый ты человек. А может быть, отчаянный. Или беда тебя погнала?

— Что ты бормочешь? Я совсем не понимаю тебя, как и ты не понимаешь меня. Вот мы с тобой и поговорили,— рассмеялся Хагур.

Капитан тоже смеялся.

Подошел Капай.

— Он что-то говорит, но я не могу его понять. Спроси, что он хочет?

Капай поговорил с хозяином, потом тот широко улыбнулся Хагуру, похлопал его по плечу.

— Ты чего зубы свои показываешь? Радуешься, что отнял у меня коня, да еще и хлопаешь меня по плечу, рожденный двумя собаками!

— Не сердись на него,— сказал Капай. — Он спрашивает, почему ты такой печальный?

— Вон как! А я подумал, он говорит какие-нибудь гадости. Растолкуй ему, если я потерял коня, это еще не значит, что потерял себя.

— Скажи этому адыгу, в дороге как в дороге — всегда больше встречаешь того, чего вовсе не ждешь. И за коня пусть не обижается. Я давно хотел купить сыну хорошего коня. Мальчишка хочет обязательно адыгского скакуна. Ты нравишься мне, парень. Думаю, у тебя все будет хорошо. Вернешься благополучно домой и найдешь себе еще лучшего скакуна.

Хагур выслушал перевод:

— И ты не обижайся на меня. Как зовут тебя?

— Фазиль мое имя.

— Фазиль? Хорошее имя. А я — Хагур. Ха-гур... Тот, кто никогда не вдевал ногу в стремя, никогда не поймет боли человека, потерявшего своего коня. Но теперь я уже не жалею, пусть он принесет счастье тебе и твоему сыну. И еще раз прошу: не обижай моего верного и доброго друга, ты сделаешь ему добро, он тебе воздаст сторицей.

— Хорошо, хорошо, Хагур, мы с сыном будем любить твоего друга, не беспокойся. — Хозяин корабля хотел уйти, но Хагур задержал его:

— Ты случайно не знаешь в Стамбуле Хасан-Мурада?

— Хасан-Мурада? Какого? Их столько в Стамбуле, что не сочтешь.

— Ты не знаешь Хасан-Мурада? — удивился Хагур.

— А ты знаешь Абдула-Али?

— Абдул-Али? Кто это?

— Если ты не знаешь главного казначея крымского хана, откуда же мне знать какого-то Хасан-Мурада? Кто он? Богач, предводитель войска или простой бедняк?

— Что ты говоришь — бедняк! Хасан-Мурад, о котором я говорю, самый богатый человек в Турции. Он занимается куплей-продажей. С ним всюду ездит Талат, хорошо знающий по-адыгски. Славный такой парень.

— Вон о каком Хасан-Мураде ты спрашиваешь! — воскликнул Фазиль. — Кто же его не знает? А Талат — мой племянник. Он в самом деле говорит по-адыгски, поэтому и ездит с торговцем на Кавказ.

— Да станут источником счастья твои уста, добрый Фазиль, сам аллах послал мне тебя! Я буду молиться за тебя, добрый человек, а пока возьми в знак моей благодарности вот это. — Хагур достал из кармана золотой перстень с дорогим камнем и протянул ему: — Возьми, если не хочешь меня обидеть. Пусть это маленькое колечко соединит нас с тобою добром.

— Нет, парень, такого постыдного поступка я не сделаю! — решительно возразил Фазиль. — Ты в дороге, едешь в чужую страну, где не только золотой перстень, ломаный грош может обернуться для тебя богатством. Не сердись, но я не возьму твоего подарка, пусть он принесет тебе счастье, пусть поможет достичь того, зачем ты едешь в чужую страну... А Талата ты скоро увидишь, он обязательно придет в порт встречать мой корабль.

Хагур, еще вчера презиравший Фазиля, сейчас прямо-таки воспылал к нему любовью. Ему казалось, что Фазиль — самый близкий ему человек. Он готов был поклясться ему в верности. Незримая связь возникла между Фазилем, Акозой и Хагуром. И море, которое с закатом солнца потемнело, вдруг стало светлеть. Волны не так сердито бились о корабль, словно подобрели.

К вечеру третьего дня вдалеке показались огни. «Это,— подумал Хагур ,— и есть Турция». Корабль вошел в залив. Теперь огни были со всех сторон. Все приближались, приближались, будто не корабль двигался к ним, а они шли ему навстречу.

Земля дохнула знойным теплом, накопленным за день.

Матросы убирали паруса.

С берега послышалась многоголосая перекличка муэдзинов. У, сколько их здесь! И кричали они так, будто спорили друг с другом, каждый восхваляя свою мечеть.

На пристани стояли люди, встречавшие корабль. Их было не очень много. Когда бросили с корабля на пристань трап, Хагур с ногайцем двинулись к нему. Их остановил Фазиль:

— Не торопись. Пусть Капай идет своей дорогой, он направляется в Каабу, а ты подожди. Ведь я обещал тебе помочь.

Фазиль ушел по трапу в темноту, но скоро вернулся с каким-то человеком. Незнакомец подошел к Хагуру и спросил на адыгейском языке:

— Гость, кто ты?

— Я Хагур из Бастука. А ты?.. О-о, Талат!..

...Они пробирались в темноте по каким-то кривым и тесным улочкам, через дворы.

Комнатка, в которую они вошли, освещалась жировкой. В ней — два стула, кровать, топчан, покрытый старым вытертым ковром.

— Добро пожаловать, Хагур! Хоть ты и гость, чувствуй себя как дома. Все что у меня есть — твое, чего нет — того нет. Проходи, располагайся.

— Ты один живешь?

— Я живу не в Стамбуле. Хасан-Мурад снимает здесь комнату, чтобы я мог остановиться в ней, когда есть дела в калэ[1]. Живу в селении на расстоянии полдневного конного перехода.

— Как поживает Хасан-Мурад? — спросил Хагур Талата, который готовил ужин.

— А что ему? Живет. Скупает товары и ждет весну, чтобы ехать к вам, на Кавказ. Он —торговец, а торговца, как волка, ноги кормят... Я хочу тебе сказать — да, наверно, ты и сам это знаешь,— что Хасан-Мурад купил девушку из Бастука. Ну, купил, так купил, но как подло он с нею поступил. До того

[1] Калэ — город.

подло, что я не могу смотреть ему в глаза. Зверь он, а не человек!

— Что он с нею сделал?! — испуганно воскликнул Хагур.

Талат рассказал.

Хагур ужаснулся услышанному...

Глава вторая

I

Возвращаясь из Шапсугии после похорон Наго, великий князь Кансав в дороге заболел: во всем теле вдруг появилась какая-то томительная слабость, и он уронил поводья. Закачался в седле, и спутники едва успели подхватить его.

Остановили лошадей, положили Кансава на бурку у обочины дороги. У великого князя отнялась вся левая сторона. Он лежал бледный и почти бездыханный.

Кое-кто из байколей заплакал, подумав, что Кансав уже мертв. А байколь Мерзабеч, припав к телу князя, громко рыдал. Оцепенение прошло, уорки заговорили. Всех беспокоил один вопрос: кто будет вместо Кансава великим князем? Конечно, им должен стать Алкес. Но он многим не нравился. Каждый хотел видеть на месте Кансава своего, близкого человека. Одни предполагали, что им станет князь из Химшее, другие хотели, чтобы этот титул был отдан князю из Чеченае... Душа великого князя еще не отлетела в райские кущи, а свита уже хоронила его. Но вот Кансав открыл глаза, и все спохватились, поняли, что слишком рано стали его оплакивать. И чтобы искупить вину, каждый старался изобразить радость по случаю того, что Кансав жив.

— О великий аллах! — воздев руки к небу, сказал один. — Я благодарю тебя, что хранишь для нас великого князя, отца нашего.

— Жив, жив наш князь!

— Слава аллаху, великому и всемогущему!

Решили, что днем великого князя не стоит везти в аул: тфокотли не должны видеть его больным и беспомощным, потому что властитель только тогда властитель, когда он на коне и крепко держит в руках оружие. Хаджемукова привезли домой затемно. Впервые великий князь Бжедугии въезжал в свой аул без почестей.

Прошло полгода с того злополучного дня, а Кансав все еще не поднимался с постели. К нему привозили лучших лекарей адыгской земли. Был лекарь даже из Крыма. Каждый из них сулил больному выздоровление, брал за лекарства большие деньги, но лучше Кансаву от этого не становилось.

Лекарь, привезенный из земли некрасовских казаков, осмотрел князя и потом сказал Алкесу и великой княгине:

— Князь уже никогда не сможет сесть на коня, эту болезнь не вылечить никакими снадобьями. Если болезнь не станет

развиваться, больной сможет прожить еще долго, много лет. Но ждать можно всякого.

Много ли мало был в забытьи Кансав в тот день, но все, что происходило, знал доподлинно. К постели больного приходили уорки, князья, байколи, он принимал их поодиночке, у одного выспрашивал о другом. И они рассказывали, доносили друг на друга.

Знал, знал старый князь, как подлы и завистливы люди, рвущиеся к власти, но что они подлы до такой степени, этого представить себе не мог! Послушал их — возненавидел всех! Никому теперь не верил, ни единому их слову.

«Не о себе я пекусь, о великий аллах,— размышлял великий князь. — Забочусь о детях своих, о двух княжичах, думаю о Бжедугии... Отец покойный говорил: «Если ты будешь знать не только друзей, но и врагов, значит, сможешь править Бжедугией». Я думал, что знаю всех, как свои пять пальцев, а оказалось, никого не знаю, будто и не жил с ними, не набрался ума за все свои долгие годы... Отец мой, не настала ли пора последовать за тобой в мир иной? Хватит того, что я видел, чем жил. Пора на покой и мне, но как я оставлю детей? Они еще нетвердо стоят на земле, совсем неопытны. Я не успел выполнить отцовского долга. Прости, отец, но мне еще нельзя уйти к тебе, хотя недуг и свалил меня с ног. Как подкрался, почему я не заметил опасности?»

Когда убили Наго и была прервана свадьба Алкеса, Кансав и все в округе сочли это крайне дурным предзнаменованием. Вздыхала великая княгиня: «Ох, не к добру это, быть большой беде в нашем доме!» Шептались князья, злорадствовали: «Качнулось великокняжеское кресло». Сокрушались древние старухи: «Злые духи кинулись на Бжедугию».

Когда случилось это несчастье, тайком привели в дом старую колдунью, спросили, что надо делать, как отвести беду? Она велела поймать тридцать кошек и ночью повесить их в лесу, привязав за задние лапы. Кошки диким криком отпугнут нечистую силу.

Кошек повесили. Они так орали, что слышно было в ауле.

Позвали эффенди. Он долго мял жиденькую бороденку, бормотал что-то невнятное, а потом изрек:

— Разгневался покойный Хаджа. Углядел у нас что-то неладное.

Вздрогнул от этих слов Кансав: кто в этом мире безгрешен, на кого не обижается аллах? Спросил у эффенди:

— Что надо сделать, как можно умилостивить Хаджу?

— Надо быть щедрее в подаяниях нищим и сирым.

— Но мы и так каждый четверг даем бедным женщинам по овечьей ляжке и по ложке соли.

— Будь щедрее, о великий князь,— пропел эффенди.

— Хорошо, я прикажу давать им по две ложки соли. Ох, разорят они меня!

Будто сделали все, чтобы отвести беду, а сердце Кансава не успокаивалось. Левую лопатку стало ломить до того, что руки не поднять. В голове появилась тяжесть. Будто свинцом наливался затылок, стучало в висках. Великий князь догадывался, что это предвестник еще более грозной болезни.

Однажды Кансав повелел Мерзабечу:

— Сходи к тфокотлям Мышоковым, пусть придут ко мне все три брата. И за Ламжием пошли. Пусть придет вместе с ними. Ох, как противен мне этот Ламжий, но ничего не поделаешь — он нужен мне.

Пришли все четверо, вошли в комнату Кансава и остановились у дверей. Один здоровее другого. Плечи широкие и крепкие. Кажется, прислушайся — и услышишь, как в каждом бурлит сила.

Великий князь смотрел на них завистливо и сердито: «У-у, собаками рожденные! Почему мои сыновья не родились такими богатырями? У-у, громилы! Попадись им в черный день, только косточки хрустнут. А у Ламжия глаза горят, как у голодного волка. И не бреется почему-то, зарос, как шайтан. Позвать бы байколей, пусть бы всех четверых выпороли хорошенько! Нельзя. Не для себя, для княжичей стараюсь».

— Иди, Мерзабеч, займись делом... Садитесь, тфокотли.

— Мы постоим, зиусхан,— ответил Тартан, старший из Мышоковых.

— Если говорю: садитесь, значит, садитесь!

— В присутствии великого князя сидеть нам непристойно,— вмешался Ламжий.— Мы постоим, как велит нам наш старый обычай.

— Если я вам велю, значит, грех против обычая беру на себя. А вы когда-нибудь вспомните, как сам великий князь Бжедугии пригласил вас сесть в своем присутствии.

— Садитесь, младшие, если нам повелел сам великий князь Бжедугии,— Тартан робко шагнул от дверей и присел на край скамейки.

Младшие братья и Ламжий, смущаясь, вслед за Тартаном гуськом, чуть ли не на цыпочках прошли по комнате и сели.

Мач, младший из Мышоковых, увидев, что Алкес не садится, встал:

— А ты, зиусхан, почему не садишься?

— Ничего, при вас он может и постоять,— сказал Кансав. — Ведь теперь он стал вашим родственником. Не зря вы его приняли как шао[1].

— Я здесь самый младший,— ответил Мач. — Пока не сядет княжич, я не могу сесть.

---

[1] Шао — жених, который во время свадьбы живет, не показываясь на люди, в выбранной им же семье. По истечении определенного обычаем срока его торжественно приводят домой. Парни и девушки, сопровождающие шао, поют, танцуют. И таким образом извещают аул о возвращении шао. После этого обе семьи считаются родственниками.

Великий князь согласился, и двое младших остались стоять.

Прежде чем начать разговор, Кансав сначала, как водится, поговорил о погоде, сказал, что не помнит такого большого снега. Да и морозы вот уже который день стоят небывалые. Не мерзнет ли скотина в базах? Не надо жалеть соломы на подстилку, тогда и коровы и лошади даже в такие холода чувствуют себя хорошо.

Надо было приступать к главному, а Кансав почему-то робел. Великий князь, а робел перед тфокотлями, не позор ли это? И правду говорят, подумал Хаджемуков, когда ты болен, то шуба твоя изнашивается, даже если просто висит на стене.

«Если половина твоего тела мертвая, как можно править целой страной? — горько усмехнулся он про себя. — Э-э, великий князь! Похоже, тебе и в самом деле пора поторапливаться к отцу, в лучший мир. Так что уж давай, сворачивай земные дела...»

— А позвал я вас, тфокотли, по очень важному делу. По воле аллаха Мышоковы и Хаджемуковы породнились. Княжич Алкес стал вашим названым братом. А Ламжий — любимый племянник Мышоковых. Вот и получается: все мы здесь родственники. Я рад, что Алкес именно вам, таким богатырям, стал братом, рад, что вы очень хорошо приняли его. И Алкес и все вы оказались достойными друг друга... Но, как вы знаете, во время свадьбы в Шапсугии случилось большое горе, и мы не смогли вдоволь попраздновать, попировать, как это полагается. Тут уж ничего не поделаешь, такова воля аллаха. Вот и я лежу, не могу подняться с постели. Половина моего тела не подчиняется мне. Лекари сказали, что жить мне осталось считанные дни...

Голос у великого князя дрогнул, лицо побледнело, на мгновение перехватило дыхание, но Кансав собрался с силами, улыбнулся и продолжил:

— Они так говорили, а я все живу и живу. Лекарь из баткелей сказал, что я жить буду долго, однако все мы ходим под богом, его святая воля правит нами...

— Не отчаивайся, зиусхан, не падай духом,— ободрил князя Тартан. — Мы уверены, что еще увидим тебя в седле.

Младшим неудобно было повторять слова Тартана, показалось неприличным восхвалять князя в его присутствии, а Кансаву почему-то так хотелось этого, он так ждал ободряющих слов от тфокотлей.

— Да будет аллах доволен тобою, Тартан! — вздохнул великий князь. — А теперь я вам вот что должен сказать. Рано или поздно все мы по воле аллаха покинем подлунный мир. Вы, Мышоковы, и ты, Ламжий, сделали доброе дело для Алкеса, для рода Хаджемуковых, мы тоже не остались у вас в долгу, но главное — впереди. Тому, кто уже не может сидеть на горячем скакуне, трудно быть великим князем, править такой большой страной, как наша Бжедугия. Если я доживу до

весны, думаю, соберем бжедугский хасе, который решит, кому стать великим князем земли нашей. И если вы, родственники княжича Алкеса, станете жить с нами в дружбе, поддерживать его, тогда в великом княжестве будет мир и вы с новым князем будете счастливы. Думаю, в Бжедугии не найдется ни одного князя, который бы ослушался Хаджемуковых, не поддержал нашего Алкеса. Но все-таки от вас тоже многое зависит. Вас, четверых, уважают, ваше слово среди тфокотлей имеет вес, вот и постарайтесь...

«У-у, хитрая старая лиса, вот зачем ты нас позвал, вот почему усадил в своем присутствии. Даже умирая, держишься за титул и Алкеса хочешь возвысить,— подумал Ламжий, поглядывая из-под бровей на Кансава. — Как ты хорошо поешь: «Теперь вы братья». Знаем, какие мы братья. Пока нужны наши руки и спины, а в другой раз «брат» Алкес может так огреть плеткой по спине, что кожа лопнет. Ишь ты, добряк какой! Хочешь, чтобы мы забыли, как ты грабил нас, унижал. Но если я и забуду, то спина напомнит, на ней до самой смерти останутся рубцы от плети твоего пса Мерзабеча...»

В княжескую комнату — легок на помине — вошел Мерзабеч:

— Зиусхан, приехал князь Шерандук и хочет тебя видеть.

«Нелегкая его принесла! — подумал Кансав. — Чтоб у него ноги отнялись. Ведь не звал я его, сам приперся. Зачем? Раз так, пусть посидит, подождет». Кансав ухмыльнулся:

— Отведи его в кунацкую. Пусть умоется с дороги, отдохнет. А потом покормите... И скажи женщинам, пусть не торопятся — хорошенько пускай покормят князя. Иди, Мерзабеч, а мне еще надо побыть с Мышоковыми и Ламжием.

II

— Какие новости, зиусхан, у Хаджемуковых? — спросил Меджир у своего отца.

— Мало хорошего,— огорченно ответил князь Шерандук. — Князь лежит в постели. Маленький какой-то, высох весь. Подняться не может, половина его тела уже мертва, а он все еще бодрится, хорохорится, норовит править Бжедугией, будто ничего с ним не случилось.

— На то он и великий князь.

— Какой там великий! Смерть ему уже дорожку подмела, а он все пыжится. Ой, как не хочет умирать! Машет здоровой рукой, грозится, командует. Валлахи, жалко на него смотреть. А глаза уже какие-то потускневшие, и лицо мертвое.

— Крепка хаджемуковская порода, зиусхан!..

— Ну, перестань же! — раздраженно перебил сына Шерандук. — Сколько раз я говорил тебе, когда мы с тобой вдвоем, не называй меня зиусханом. Когда ты говоришь так, мне все кажется, будто ты отдаляешься от меня. Есть в этом слове

«зиусхан» что-то холодное... Ты младший у нас в семье, а в народе недаром говорят: последний сын — самый любимый. Я ведь и в самом деле люблю тебя больше всех своих детей. Мой отец, твой дедушка, тоже очень любил меня, последнего. Прошу тебя, не обижай своего отца, который так тебя любит!

— Что ты, тят,[1] как я могу обидеть того, кто мне на земле всех дороже!

— Спасибо, Меджир! — довольно улыбнулся князь. — Если мой сын будет говорить отцу такие слова, я подарю ему табун лошадей. И еще думаю, ты вырастешь умным, дальновидным человеком. Дай бог тебе здоровья!

...Вспоминая свой разговор с Кансавом, Шерандук задумался. Конечно, печально, что его родственник, великий князь Бжедугии, заболел, но так уж устроено в этом мире: кому сделали колыбель, тому выроют и могилу. На земле еще не было человека, судьба которого была иной — простой ли мужик, великий ли князь или царь царей. Печально это. Однако Шерандук вернулся домой не столько опечаленный, сколько ожесточенный.

Обменявшись приветствиями, спросив о здоровье, благополучии родственников, князья заговорили о деле. Вернее, заговорил Кансав:

— Князь Шерандук, у меня к тебе большая и, может быть, последняя просьба.

— Скажи, Кансав, я исполню любую твою просьбу. Мы много лет с тобою дружим, ты знаешь мою верность.

— Спасибо, князь. Ты прав, связывали нас и доброе товарищество, и дружба. Случалось, делились последним куском хлеба, заслоняли друг друга грудью. Спасибо тебе за дружбу! Покидая этот мир, я не изменил к тебе отношения, да видит это всеведающий аллах! Покидая этот мир...

— Зачем ты так говоришь, Кансав?! — воскликнул Шерандук, стараясь, чтобы в его голосе прозвучало искреннее огорчение.

— Затем и говорю, что это так. Зачем себя обманывать, зачем лукавить перед аллахом. Если не тебе, кому еще я могу открыться, ведь мы теперь не только друзья, но и родственники. Дай бог, чтобы наши семьи жили в согласии тысячу лет. А просьба моя касается моего сына, твоего зятя. Думаю, и Хаджемуковым и вам будет выгодно, если великим князем Бжедугии станет Алкес. Нет на нашей земле князя или уорка, который бы ослушался тебя, не посчитался с твоим мнением, и ты должен сказать свое слово. Думаю, дочь твоя, которая вступила в наш дом, будет счастлива так же, как и мы с тобою... Не знаю, князь, возможно, мои слова тебе не по душе?..

— Во-ви-ви! Как ты можешь говорить такое, Хаджемуков?.. Если не Алкеса, кого еще избрать великим князем Бжедугии?

---

[1] Тят — отец.

Кто на нашей земле более достоин этого титула, чем Алкес?..

Вспомнив свои слова, Шерандук со злостью посмотрел на Меджира: «Чем мои сыновья хуже Алкеса? Что из того, что Алкес наш зять? Да мы просто осчастливили его, выдав за него дочь. Интересное дело, этот старый хрыч думает, будто великокняжеский титул — вечный удел Хаджемуковых. Глупый я человек — не надо было отдавать им дочь! Теперь бы мы еще посмотрели, померялись силой, кому быть великим князем. Досадно, досадно! Можно сказать, титул великого князя уходит прямо из рук!»

Меджир думал о другом. Ему было жалко Кансава, ведь каждый умирающий напоминает, что и ты смертен. Хоть эффенди и говорит, будто великий князь обязательно попадет в рай, но почему никто не радуется этому, почему все плачут над покойником? А очень просто: неизвестно, что это за штука такая рай, а вот красивой снежной зимы больше никогда не увидишь, не хлебнешь свежего ветра, когда скачешь на коне,— это очень тоскливо. И, прислушиваясь к разгулявшемуся на улице бурану, Меджир сказал:

— Какая суровая зима нынче.

— Ничего, пройдет и эта лютая зима, настанет весна. Все будет так, как должно быть.

— Было бы счастьем, если бы великий князь Кансав еще увидел, как зацветут сады, зазеленеют луга,— искренне вздохнул Меджир.

Шерандук покачал головой, тоже тяжко вздохнул:

— Не дотянет князь до весны, а жалко, очень жалко!.. — Но не Кансава пожалел Шерандук — подумал, что, если великий князь доживет до весны, легче будет отстоять на хасе титул великого князя для Алкеса, а значит, и дочь Шерандука станет великой княгиней. Хоть половина великокняжеского куса достанется дому Шерандука.

— Э-гей, Шерандук! Позовите князя Шерандука! — послышалось у ворот.

Князь вздрогнул, настороженно вскинул голову, прислушиваясь. Прошлым летом кто-то вот так же кликнул его, он легкомысленно вышел во двор, а там какой-то неведомый всадник на виду у всех тфокотлей отхлестал его плетью.

Взяв пистолет, Шерандук подошел к окну и увидел у ворот двух всадников. Они были закутаны в башлыки, сразу и не узнать, кто такие:

— Подожди-ка, сын... Эй, или в нашем доме все повымерли?! — крикнул он сердито.

Навстречу всадникам вышли двое тфокотлей. О чем-то поговорили.

Всадники спешились и направились в дом.

Распахнулась дверь, и в комнату вошли Тамбир и Мишка Некрас.

— Да будет добрым ваш день!— поприветствовал Тамбир.

— Да осчастливит тебя аллах, гость, добро пожаловать! — ответил Шерандук. Он узнал тфокотля Тамбира, но не подал виду, встретил его, как и полагается встречать гостя. Узнал и русского парня.

Меджир их не знал и смотрел на гостей с любопытством.

— Как поживаешь, князь? Все ли хорошо у тебя по великой милости аллаха? — проговорил Тамбир таким тоном, словно они были с Шерандуком добрыми друзьями. — Гляжу я на тебя, хорошо выглядишь, совсем не постарел. Хорошо это, хорошо.

«Что этим прохвостам нужно? — лихорадочно думал Шерандук, сохраняя внешнее спокойствие. — Как могли они, не стыдясь, войти в мой дом? С чем пришли: с просьбой или угрозой? Слишком уж независимый у них вид, непохоже, что пришли с просьбой. Угрожать, сводить счеты? Пожалуй, нет: слишком спокойно и даже приветливо ведут себя...»

— Живем потихоньку, дорогие гости. Лютая зима загнала нас в дом, вот и сидим, дожидаемся весны, да пошлет нам ее аллах счастливой. А вы молодцы — не испугались бурана, в такой далекий путь пустились. Может, у вас там хорошая погода?

— У нас еще хуже,— ответил Тамбир. — Метет и днем и ночью.

— Ничего, скоро распогодится,— с наигранным спокойствием сказал князь. — Не такие зимы бывали, но и те отступали перед горячим солнышком.

Шерандук хотел было назвать гостя по имени, однако сдержался, а то как бы Меджир не наделал глупостей. Он хоть и не видел Тамбира, но слышал о нем, знает, что это за человек.

Тамбир улыбнулся:

— Правда твоя, князь! Я смотрел на почки деревьев, знаешь, уже набухают, чувствуют приближение тепла.

— Валлахи, это удивительно! Воистину — велики и непостижимы дела твои, господи!.. — Потом Шерандук обратился к Меджиру: — Что же, сын мой, так и будем стоять? Гостей надо принимать с радостью и почетом. Пойди и скажи, чтобы готовили...

— Подожди-ка, парень, не ходи,— прервал князя Тамбир. — Мы не сидеть сюда приехали. Очень торопимся... Мы приехали к тебе вот почему. Слышали, тебя оскорбил какой-то всадник? Говорят, плеткой... Мы хотели бы узнать, как он выглядит, сколько ему лет. Молод он или стар?

— Валлахи, не знаю, о каком всаднике говоришь, гость! — весело воскликнул князь, а у самого щеки загорелись, будто его еще раз хлестнули плетью. — Был случай, какой-то шалопай подъехал к нашим воротам, начал молоть всякую чепуху, но мои ребята так пугнули его, что бежал не оглядываясь, забыл, наверно, как мать родную зовут.

Ухмыльнулся Тамбир, почесал затылок:

— Всадник больше у тебя не появлялся?

— Говорили тфокотли, приезжал еще раз, но меня не было дома. Ну, они опять дали ему от ворот поворот.

— Я скажу тебе, гость,— вступил в разговор Меджир. — Этот всадник приезжал со стороны Тхамезского леса, туда он и удирал. А когда удирал, кричал: «Если вы мужчины, догоните Тамбира!» Конь у него добрый. Редкостный конь.

— Ну вот,— широко улыбнулся Тамбир,— все и выяснилось, нам только это и нужно было узнать. Оставайтесь счастливы, дорогие хозяева, а нас ждет дорога. Ух, какая трудная и долгая дорога! Но мы ее одолеем. Обязательно одолеем. Будьте здоровы!

Оба гостя поспешно вышли.

И когда топот их коней утонул в шуме бурана, Меджир спросил у отца:

— Что это были за люди, неужели в такую непогоду они только за тем и приезжали? Странные гости. Кто они?

— Откуда мне знать? — уклончиво ответил Шерандук.

III

В это зимнее утро Алкес встал довольно поздно. Присел к очагу, помешал угли. В комнате было тепло и уютно, ехать никуда не хотелось. Джансуру он видит только ночью, деля с ней супружеское ложе. Жена ничего не говорит, но Алкес сам видит, как за последнее время изменилась молодая женщина. Ей все чаще хочется остаться с мужем подольше, задержать его, хотя она и не смеет высказать свое желание. Да и сам Алкес находит всякие причины, чтобы не уезжать из дома. Хотя это ему не всегда удается. Боится только, как бы не заметили, не сказали, что привязался к женской юбке. Если бы не это, вообще бы никуда не ходил, сидел бы рядом с милой да смотрел в ее ласковые, ясные очи. Какая она у него красавица!

Алкес догадывался, что происходит в сердце его жены, потому что и с ним происходило то же самое. Сладко любить и быть любимым, это самое большое счастье.

С каждым днем все плотнее облегает фигуру жены длинное платье.

Алкес достал оселок и навел бритву. Джансура молча наблюдала за мужем. Алкес взял со стены кусок мягкой кожи, положил на табуретку и осторожно сделал на нем несколько надрезов, потом попросил Джансуру:

— Ну-ка, моя красивая, подержи.

Джансура охотно присела напротив мужа, взяла концы кожи, испуганно вздрогнула, когда бритва коснулась ее ногтя.

— Осторожно, порежешь мне руку, Алкес.

— Валлахи, какая ты трусишка, дочь Бжегаковых! — рассмеялся Алкес.

— Зачем тебе столько ушивальников?

— Мало ли зачем они понадобятся: без них не отправишься в дорогу. Ушивальники бывают нужны и женщинам.— Алкес сощурил глаза и лукаво посмотрел на жену.

— Что женщине с ними делать?— удивилась Джансура, не поняв намека.

— Мягкий, прочный ушивальник туже стягивает корсет, делает фигуру стройней, после того как женщина станет матерью...

Молодая жена стыдливо потупила очи и покраснела. Глядя на нее, Алкес вспомнил свою первую брачную ночь. И тогда на щеках Джансуры был такой же румянец.

Все сорок дней, пока оплакивали Наго, Алкес, как и все его родные и близкие, носил траур. Вернувшись в Бжедугию, он, боясь пересудов, проводил ночи у друзей, да и болезнь отца тяготила. Потом друзья, переговорив между собой, решили привести его в дом невесты. Трудно вернуть прежние ощущения, но Алкес, который уже был женат, а с женой ни разу не виделся, снова испытал такое же волнение, как перед самой свадьбой. Хаджемуковы, хоть и были в трауре, все же позвали музыкантов, устроили небольшой пир. Почему Хаджемуковы должны печалиться в первую брачную ночь княжича?

Тайная тревога, волнение, ожидание чего-то нового, неизведанного не покидало Джансуру и перед свадьбой, и после нее. В доме Бжегаковых знали, что княжич уже вернулся, но ей пока не говорили. Смеялись, шутили, играли. С приближением ночи женщины стали покидать ее комнату, остались только две ближайшие подруги и молодая невестка родственников Хаджемуковых. Она заговорила с Джансурой об Алкесе, о том, как должна она вести себя, когда он придет к ней.

— Не бойся, Джансура, в твою комнату придет тот, с кем тебя свел сам аллах. Ты не должна противиться желанию своего мужа. Доверься его сердцу, и если ваши души сблизятся в эту минуту, то всю жизнь вы будете жить в любви и согласии. А это очень важно. У женщины нет ничего, кроме ее мужа, ее детей и любви к ним,— молодая женщина внезапно умолкла и стала прислушиваться.

Со стороны дверей раздались голоса, вошел провожающий жениха. Подруги невесты, даже не успев ответить на приветствие, смущенно выбежали из комнаты. Немного погодя вошел и Алкес. Он был смущен не меньше, чем убежавшие девушки.

— Да будет добрым ваш вечер...

— Мне пора идти...— сказала невестка родственников и ушла.

После ее ухода Джансура совсем растерялась. В комнате оставался еще провожающий жениха, но что он говорил, Джансура уже не слышала.

— Что же, так и будем сидеть всю ночь? — бодрым голосом обратился к молодым сопровождающий.— Ну-ка, Алкес, дай-ка

я сниму с тебя один сапог, а с другим справится Джансура. — Рывком снял сапог, бросил его на пол и не оглядываясь направился к двери. — Счастливой вам ночи! — сказал он уже на пороге.

Второй сапог Алкес снял сам, ему казалось, что это нехорошо заставлять любимую ухаживать за собой.

А Джансура, оставшись наедине с мужем, которого, как она верила, послал ей бог, почувствовала себя увереннее.

— Джансура, разбери постель,— стараясь быть спокойным, попросил Алкес. Раздевшись, он прошептал: — Иди сюда!..

Все, о чем говорили ей женщины и ее подруги, Джансура забыла в одно мгновение. Сильные мужские руки подняли ее, и она прижалась к тому, о ком грустила все последние дни...

...Алкес ласково взглянул на жену, она была такой же красивой, желанной, как и в ту ночь. Ведь если любовь взаимна, с годами она крепнет.

IV

Тамбир не находил себе места. Он не сомневался, что одиноким всадником, сказавшим: «Если вы мужчины, то догоните Тамбира», была Цицара.

Молодой чабан Нардем из Бесленеи тоже разыскивает Цицару. Почему он разыскивает ее, непонятно! Тоскует Тамбир, мучается. Может, Цицару ищет ее брат, родственник или... возлюбленный?! Ведь столько лет прошло с тех пор, как их разлучили.

— Миша,— обратился Тамбир к другу,— я верю, я чувствую, что это была Цицара. Надо ее найти!

Михаил Некрасов за последнее время заметно возмужал. Русский парень не носил бородку, как Тамбир, он тщательно брился. Но усы придавали ему мужественный вид. Абадзехский язык он усвоил так, что мог спокойно объясняться, хотя употреблял вперемежку с ним и русские слова. Глаза его, отливающие небесной голубизной, стали глубже, серьезнее.

Кончилась зима. Солнце растопило снега, обнажило землю, зазвенели ручьи. Однажды Михаил сказал:

— Давай, Тамбир, еще раз поедем в Шапсугию,— может быть, отыщем Цицару.

Тамбир ничего не ответил. Зачем говорить о том, что уже решено. Конечно же надо ехать искать Цицару. Вот немного подсохнут дороги — и в путь! А сейчас мысли Тамбира кружились далеко отсюда. Тамбиру вспомнился Нарыч. Он позавидовал жизни этого человека. Большая, дружная семья у Нарыча, что один уронит — другой поднимет. Две дочери и три сына. Тамбир несколько раз заезжал в этот благословенный аллахом дом, и всегда встречали его радушно. Он забывал с ними и усталость и обиды и начинал смотреть на мир другими глазами. Но уходил от них, и снова его мучили тяжелые мыс-

ли: «Разве это жизнь? Какой толк, что у меня есть дом, в этом доме нет счастья, нет женской ласки, нет детей. Бжегаковы принесли мне столько горя, а сами живут припеваючи, не покарал их аллах за черные дела. Женили сыновей, выдали дочку замуж. А Михаил? Ему тоже суждено быть одиноким. Я помню, как он посмотрел на одну девушку. А ночью называл какое-то женское имя — кажется, Лиза. Михаил не может жениться, у него нет дома, куда бы он смог привести жену. Так мы и будем с ним скитаться по чужим землям в поисках счастья. И скорее всего не найдем его».

— Ты прав, Михаил,— очнулся Тамбир от своих дум.— Надо ехать в Шапсугию. Мы побывали уже в Бжедугии, Натухае, Темиргойе, и, хотя поиски были бесплодны, сердце подсказывает, что все равно мы ее отыщем.

— Как ты думаешь, Тамбир, Цицара живет в ауле или поселилась где-нибудь в глухом месте? — спросил Михаил.

— Думаю, ушла подальше от людей...

— Но разве она сможет жить одна в глуши, в лесу, например. Она — женщина, а женщины слабы душой и телом.

— Только не моя Цицара! — горячо возразил Тамбир. — У нее мужественное сердце, сердце джигита. Нет лучшего друга, чем лес. Он укроет, даст убежище и никогда не выдаст. Раньше мне тоже казалось, что в лесу страшно, повсюду слышались шорохи, мерещились призраки, а потом я полюбил лес. Доверчиво шепчется листва, и ты узнаешь ее тайны, и лес и радуется и печалится с тобой вместе. Он — щедрый, добрый, все готов тебе отдать.

— А зимой? — не согласился Михаил.

— А что зима? И в ней есть своя прелесть. Зима кажется трудной только тому, кто не подготовился к ней. Ведь чего не приобретешь в хорошую летнюю пору, того не обретешь и в непогоду. А что растет в поле, может вырасти и в лесу, только приложи руки. Если хорошо потрудишься, и зима не страшна.

— Ты прав, Тамбир, только как мы в лесу разыщем твою жену? Если бы она жила среди людей, от людей бы мы и узнали о ней. А деревья не спросишь, они молчат.

— А помнишь, Михаил, нам рассказывали о какой-то женщине на берегу реки Иль? Видели, как кто-то купался, и подумали, что это русалка. Молодая русалка с длинными волосами, распущенными по плечам. А если это была Цицара? Она молода и красива, это она могла быть на берегу, но, заметив, что кто-то за ней наблюдает, тут же скрылась.

— Я думаю, надо ехать сейчас же, не откладывая! — воскликнул Михаил. — Если это и вправду Цицара, она далеко не ушла, и значит, искать ее надо в этих местах.

— Спасибо тебе, Михаил, ты верный друг,— обрадовался Тамбир. — Поедем не откладывая.

И Тамбир с Михаилом пустились в путь.

Ночи они проводили в аулах, а дни в лесу, обыскивая каждую ложбинку, каждую полянку. Но напасть на след Цицары не смогли. Усталый и грустный Тамбир ехал по заброшенной лесной дороге, Михаил двигался за ним.

Внезапно дорогу сменила тропа, на которой снег уже местами растаял и проступила земля. Полуденное солнце стояло прямо над головой, и сквозь голые ветви, пронизанные солнечными лучами, окрестность просматривалась далеко.

Тамбир остановился и огляделся, места ему показались знакомыми. Проехав еще немного, он увидел огромную вербу и понял, что не ошибся. Он узнал свою старую стоянку, где вынужден был скрываться от Бжегаковых. Пришпорил коня. Проехав через ложбинку, поднялся на пригорок, пересек поляну и снова углубился в лес. Вскоре он оказался перед небольшой постройкой: ее плетенные из хвороста стены покосились, глина осыпалась. Чуть поодаль была вырыта землянка.

— Нашли, Тамбир! — вырвалось у Михаила, который подумал, что это жилище Цицары.

— Ничего мы не нашли. — Тамбир слез с коня, помолчал. — Когда-то я жил здесь... Это дело прошлое...

— О-о! — воскликнул Михаил.

Легко было догадаться, что в землянке давно уже никто не бывал, вход завалило. С тихим журчаньем бежала неподалеку маленькая речушка, на берегу до сих пор лежал камень, на который вставал Тамбир, когда умывался.

Не долго постоял Тамбир у своего бывшего жилья, вскочил на коня, тронул поводья.

— Поедем, Михаил, в Бастук,— сказал он. — Как можно, доехав до этих мест, не заглянуть в аул, не повидать Хагура, не встретиться с Анзауром? Если нас с тобой постигла неудача, куда же еще идти, как не к друзьям?..

V

Мирная, спокойная заря занялась над Бастуком. Солнце, уже по-весеннему теплое, вставало медленно, плавно, будто всплывало со дна глубокого темного озера и окрашивало его прозрачные воды в розовые, теплые тона. Тфокотли давно не помнили такого славного утра: все три зимних месяца стояла жестокая стужа, она заперла скот в сараи, корма подходили к концу, и люди с надеждой смотрели на небо, ждали, когда же придет долгожданная пора пробуждения земли, пора цветенья.

Выпущенный из сараев в загоны скот мычал, коровы качали напяленными от дурного глаза конскими черепами, блеяли овцы. Люди тоже высыпали на улицу. Они тоже радовались солнцу.

Двор Шеретлуковых освобожден от снега, в дальнем, большом загоне топчутся лошади. Из трех прошлогодних скирд

осталась одна, и та уже начата. Через плетеные стенки амбаров виднеется кукуруза. Ее еще много.

Во двор в большом черном платке, закрывающем ниже плеч тяжелую шубу, вышла Дарихат. Прошла по дорожке в сад, осмотрелась по сторонам. Ей понравилось и то, как подмели двор, и то, что тфокотли, выпустив в загоны скотину, проветривают конюшни. Потом взгляд ее остановился на том месте, где стояли скирды сена. Нет, ей не показалось, сена на самом деле совсем мало. Лицо ее изобразило сперва недоумение, потом испуг. Сверху со скирды двое тфокотлей сбрасывали сено.

— Тхахох, спускайся немедленно вниз! — крикнула Дарихат.

— Мы готовим для скота корм на вечер,— ответил Тхахох, не понимая, зачем ему велят спускаться.

— Да накажет тебя аллах великой бедой, пропади ты пропадом и сам и твои корма! Кому сказала, спускайся вниз! Расскажи-ка, куда девались еще две скирды?

— Не думаешь ли ты, Дарихат, что тфокотли употребляют в еду это паршивое сено? — рассердился Тхахох.

— Убери с моих глаз вилы, бесчестный. Ты ведешь себя так, будто собираешься меня ударить ими. Я не говорю, что вы съели сено, я говорю, что вы плохо следили за скотом и скот затоптал, попортил наши запасы! — Дарихат побаивалась тфокотлей. Теперь у нее уже не было защитника, а сын еще молод. Что он может сделать? — Когда кончится последняя охапка, где возьмем? Кто нам даст? Сено нужно расходовать осторожно, беречь!

Тфокотли промолчали. Дарихат повернулась и быстрыми шагами ушла в дом.

О, ей совсем не хотелось уходить! Напротив, будь у нее в руках плетка, она прогулялась бы по спинам этих грабителей, которые не жалеют хозяйского добра. Отвела бы душу, исполосовав им спины. Наго тоже был вспыльчив, несдержан в гневе, не поэтому ли он лежит сейчас в сырой земле. Нет, надо быть осторожнее.

Дарихат все ходила по комнате взад-вперед, заложив, как мужчина, за спину руки. Потом села, но, заметив, что под ногами нет скамеечки, выплеснула злость в громкой ругани.

— Нет в этом доме людей, все куда-то разбежались, никому нет дела до своей госпожи, аллах вас накажи! До каких же пор я буду терпеть это безобразие?

Прислужница, которая была неподалеку, явилась в ту же минуту, как только ее позвали.

— Подставь мне под ноги скамеечку и убирайся вон, негодница!

Служанка принесла скамеечку, поставила, боясь, как бы Дарихат не ударила ее ногой, как обычно, когда бывает в гневе. Дарихат заметила ее страх. Он распалил ее еще больше:

— Вы все завидуете мне, заритесь на мое богатство! Израсходовали столько сена, прихлебатели, и управы на вас нет! Но я найду на вас управу, вы у меня еще попляшете! Почему ты смотришь на меня, как голодная собака? Я же сказала тебе — убирайся!..

Служанка убежала вся в слезах, а из головы Дарихат все не выходило злосчастное сено. Она бы еще, наверное, долго бушевала, но тут вошел Али-Султан.

Али-Султан в это утро был весел, он радовался солнечному свету, теплу. Вчера он довольно долго, весь вечер просидел у Махирхан. Поговорили, повеселились, нагляделись друг на друга.

— Сказали, тян, что ты хотела меня видеть.

— Да,— ответила Дарихат. Сердце ее при виде сына смягчилось, гнев пропал. «Это настоящий княжич,— с гордостью подумала она, глядя на Али-Султана. — Я родила лучшего мужчину в Шапсугии. Сколько ни ищи, такого на всей адыгской земле не найдешь. Благодарю тебя, о великий аллах, я довольна тобой!..»

— Что же ты, сын мой, ничего не сказал мне о том, что у нас кончается сено? — ласковым голосом спросила она. — Выйдя во двор, я увидела, что осталась всего одна скирда. Тхахох не жалеет нас, он израсходовал все сено, а скот все равно худой, будто его не кормили. Весной погода обманчивая, еще похолодает. Чем же будем кормить скотину? До новой травы еще долго. Не забывай, что твой бедный отец советовал приберечь семь охапок сена на семь дней того месяца, когда начинается окот... Дай бог ему спокойствия в раю. Твой отец говорил со мной и этой ночью, просил, чтобы мы бережнее расходовали корма. Он напомнил мне, кто из тфокотлей задолжал нам сено. Сказал, чтобы сегодня же забрали свой долг, потому что еще будут холода, а ему лучше знать, он теперь ближе к аллаху.

Радостное лицо Али-Султана, верившего словам матери, постепенно тускнело, на него словно набегала тень. Ему захотелось узнать, кто им должен. Он не помнил, чтобы последние два-три года они кому-то давали сена.

— Разве в Бастуке есть хоть один тфокотль, который не должен нам сена? — удивилась Дарихат, видя недоумение на лице сына. — Они все живут на нашей земле, пользуются ее плодами, они все наши должники. Надо будет сегодня сказать дворовым, чтобы они возвратили этот долг, иначе твой отец обидится на нас.

После обеда в Бастуке поднялся шум. Никто из тфокотлей не занимал у родовитых сена, каждый запасал корма сам. Долго ждала Дарихат, когда вернут несуществующий долг, наконец велела запрячь волов и сама пошла по дворам. Ближе всех к усадьбе Дарихат жили Вотаховы, к ним она и свернула.

Навстречу ей, опираясь на палку, вышел старик, самый уважаемый член семьи.

— Добро пожаловать, Дарихат! — сказал он.

— Послушай, почтенный, ты нанес оскорбление Шеретлуковым! Ты прожил долгие годы, а не знаешь, что долг надо возвращать, иначе прослывешь бесчестным человеком.

— Мы ничего не должны Шеретлуковым,— с достоинством ответил старик. — Так говорю тебе я, а ты, женщина, покрытая платком, слушай!

— А где же ты тогда взял эти два стога, что стоят у тебя во дворе?

— Там, где берет весь аул.

— Значит, ты косил на нашей земле, а прикидываешься святошей! — торжествующе воскликнула Дарихат.

— Зачем ты позоришь мои седины, объявляя меня должником, если я делал только то, что делали все мои предки, жившие на этой земле?

Дарихат не стала его слушать.

— Подъезжайте и грузите сено! — велела она сопровождавшим ее тфокотлям.

— Нет, невестка Шеретлуковых! Я не позволю, чтобы у меня силой отняли то, что принадлежит только мне. Если ты нуждаешься в сене, попроси у меня, и я тебе дам, и даже не в долг, а подарю.

Дарихат ринулась к сену. Старик Вотах преградил дорогу. На шум стали сбегаться ближние соседи, заторопились к дому Вотаховых и тфокотли, толпившиеся у кузницы. Тамбир с Михаилом, в эту минуту как раз въезжавшие в Бастук, повернули коней и поскакали туда, где слышались возмущенные крики.

VI

— Я схожу к Шабану Патарезу в кузницу, узнаю, о чем говорят тфокотли,— сказал Анзаур жене после ужина. — Совершу там омовение и пойду в мечеть на вечернюю молитву.

— После такого шума в ауле лучше сегодня вечером никуда не ходить, — отозвалась жена.

Анзаур задумался. «Конечно, женщина в чем-то права, можно нажить себе лишние неприятности. Зачем ссориться с Дарихат или с тфокотлями, надо остаться хорошим и для тех, и для других. Мне незачем угождать родовитым, напрасно гнуть перед ними спину, у меня сын учится в Крыму. Он скоро вернется, станет эффенди, ученым человеком. Мы, слава аллаху, не голодаем, причитающейся доли с урожая вполне хватает»,— рассуждал Анзаур.

Перемыв посуду, жена вытерла руки и села напротив мужа. Мерем выглядела очень молодо и была так же хороша, как и тогда, когда он привел ее в дом. Женщина долго остается мо-

лодой и красивой, если муж любит ее, жалеет и оберегает. А Анзаур любил свою жену, был с ней ласков с самого первого дня. Он и в семейных отношениях проявил ум: отдай ласку, она к тебе и вернется, делай добро другому человеку — и тебе будет хорошо.

— Ты живешь здесь как посланник великого аллаха, аллах стоит над всеми живущими на земле. Ты тоже должен быть выше и родовитых, и тфокотлей,— продолжила начатый разговор Мерем.

— Ты не права, жена,— довольно уыбнулся Анзур. — Ты впадаешь в грех, сравнивая меня с аллахом. Я простой смертный и одинаково должен служить всем людям: и родовитым, и тфокотлям, и последнему нищему.

Анзауру были приятны слова Мерем. Значит, она ставит его выше всех, а это всегда радостно волнует, даже если знаешь, что на самом деле это не так и твое место куда скромнее.

— Анзаур, а если бы ты узнал, кто убил Наго, что бы ты сделал? — неожиданно спросила жена. Хотя то, что она перевела разговор на другую тему, не было неожиданным. И Мерем, и Анзаур, и все их близкие и родные, с кем они постоянно встречались, только и говорили об этом убийстве.

Анзаур осторожничал, никогда не высказывал своего мнения, но оно конечно же у него было. Перед женой он не стал таиться:

— О аллах! Не дай мне согрешить. Я думаю, что это дело рук Хагура...

— Мне тоже так кажется,— понизила голос Мерем.

— Если бы не содеянное зло, если бы он не боялся, он бы не уехал из аула. А так получается, что он скрывается...

— Он не скрывается,— возразила женщина,— все знают, что он поехал разыскивать Акозу.

— Девушка только предлог. Из-за покрытой платком он бы не побежал на край света.

— Зачем ты так говоришь о женщинах? А если бы похитили и продали меня, ты бы разве сидел дома? Или в твоем сердце нет мужества, чтобы отомстить обидчику и защитить честь женщины?

— Что за вопрос, Мерем, конечно же мужество не оставило бы меня в такое время.

— Тогда в чем же ты винишь Хагура?

— Если Хагур оседлал коня из-за дворовой девочки Шеретлуковых, он молодец и поступил правильно. Я готов сделать для тебя все, что в моих силах! Аллах велел охранять нам наших женщин. Но не велел убивать! А смерть Наго на его совести. Аллах ему не простит убийство родовитого. Хагур должен был прийти ко мне в мечеть и спросить совета, я бы от имени аллаха запретил ему это делать. Я бы сказал так: «Поезжай, Хагур, за своей невестой, да будет тебе удача, а Наго

не трожь, за черное дело его бог накажет, человек человеку не судья».

Мерем с удовольствием выслушала слова мужа. Она гордилась его любовью к себе, его умом, его положением среди аульчан. Он правильно говорит, мудро, и она с ним согласна. Пусть он сходит в кузницу, поговорит с людьми, он не малый ребенок, чтобы его держать возле своей юбки. Надо так ему и сказать. А если не сказать, он просидит весь вечер возле жены и будет недоволен. И тогда мир в семье может быть нарушен. В доме тепло не только от очага, но и от хозяйки.

Мерем, как и Анзаур, тоже была умным и осторожным человеком.

— Если ты очень хочешь, сходи к Патарезу,— она нежно, ласково улыбнулась.— Мужчине нужно мужское общество, а Патарез — достойный человек. У меня же есть свои дела, я скорее управлюсь с ними, если тебя не будет дома. Только постарайся прийти не совсем поздно, чтобы я не боялась одна в доме и не волновалась за тебя.

В кунацкой Патареза собралось много людей. Почетное место было отведено гостям из Абадзехии, тфокотли помоложе толпились возле двери. Когда вошел Анзаур, все встали и провели его на почетное место. После приветствий все вернулись к событию в ауле, причиной которого стало поведение Дарихат.

— Правильно ли поступил старик Вотах? — спросили эфенди.— Скажи правду людям.

— Валлахи, не знаю, что и сказать! — начал Анзаур. Хотя это было неправдой, он заранее был готов к вопросу и подготовил ответ.— Долг надо возвращать, этому учит аллах. Но я не был свидетелем того, брал ли старик Вотах сено у Шеретлуковых, и поэтому не могу утверждать, что права Дарихат. Это спорный вопрос. Почтенный старик мог забыть какой-нибудь давний должок, и это понятно, ему так много лет. Все мы будем когда-нибудь стары, и наша память ослабнет. Но могла забыть и Дарихат. Мы знаем, что у женщины ума меньше, чем у мужчины, так повелел бог. А горе могло помутить рассудок вдовы, и она поверила в то, чего никогда не существовало. И ее обвинить я не могу, виновата не она, а ее горькая судьба, оставившая ее без мужа, без хозяина.

Анзаур говорил складно, закругляя фразы, слушали его с напряжением, но постепенно на лицах слушателей стало появляться выражение недоумения, даже досады.

— Ты хорошо говоришь, эффенди, тебя приятно слушать, но не можешь ли ты сказать покороче, кто же все-таки виноват? — крикнули ему из угла.

— Поспешишь — людей насмешишь! — важно ответил Анзаур.— Я не аллах и не могу решить спор так быстро, как бы

вам хотелось. Тут надо все хорошенько обдумать, взвесить, посоветоваться мне наедине с аллахом, а уж потом решить. Верно я говорю, Бороко?

— Конечно, конечно! — заспешил Бороко. — Ты прав, эффенди Анзаур. Мне не хочется брать грех на душу, а поэтому скажу, как совесть велит: думаю, неправильно Вотах поступил с Шеретлуковыми, нельзя такому глубокому старику вести себя легкомысленно.

— Но Вотах не брал у Шеретлуковых сено,— заметил кто-то.

— Правильно, не брал,— согласился Ханан.

— Но Дарихат ведь не дура, чтобы взять у человека то, что ей не принадлежит,— огрызнулся Бороко.

— Правильно, не дура,— согласился Ханан и с ним.

— А вот Арсей, когда Дарихат приехала к нему, слова не сказал госпоже, молча отдал то, что она требовала. Он — настоящий мужчина, потому что сказано: спорить с женщиной — все равно что против ветра плевать,— чувствуя поддержку Ханана, горячился Бороко.

— Правильно говорит Бороко! — опять поторопился поддержать его Ханан. — Тот не настоящий мужчина, который...

— Да помолчи ты, наконец, Ханан! — вспылил Арсей. — А тебе, Бороко, я вот что скажу. Несчастный ты человек, пустой и никчемный. Чего ты защищаешь эту сварливую бабу? Чего ты меня хвалишь? На одну доску с нею ставишь? Прошу, не говори обо мне ни плохого, ни хорошего! Не хочу!

— Тфокотль Арсей, не задевай меня! — вспылил Бороко, глаза у него сузились от злости. — Не задевай, говорю, ты не достоин того, чтобы меня осуждать!

Рассердился и Арсей:

— Слушай же, Бороко, сын Хагуровых, правду, коли хочешь знать. Дарихат сказала, будто мой дед задолжал сено Шеретлуковым. Пусть она заберет у меня еще два воза сена, только бы не позорила моего покойного деда... Шеретлуковы сегодня обидели семью Вотаховых, совершили тяжкий грех, а ты прислуживаешь им. Тебе должно быть стыдно, хотя бы из-за твоих младших братьев. Чему ты можешь доброму научить их, если пресмыкаешься перед богатеями и позволяешь им обижать слабых?

— Ты что плохое знаешь за мной, рожденный двумя собаками, что так оскорбляешь меня?! — встал Бороко.

— Это я рожден двумя собаками?! — поднялся и Арсей.

Оба выхватили кинжалы и готовы были кинуться друг на друга...

— Позор вам, позор затевать перед гостями ссору! — вскричал эффенди Анзаур. И все-таки Арсей взмахнул кинжалом и задел острием ухо Бороко.

Мужчины бросились разнимать поссорившихся: Бороко вывели в соседнюю комнату, а Арсея во двор.

— Гости! — сбивчиво заговорил Анзаур. — Не обижайтесь на нас за неразумный поступок этих тфокотлей. Просим вас всем аулом, нигде не рассказывайте об этом.

Тамбир согласно закивал головой:

— Двое подравшихся тфокотлей — это еще не весь аул, так я говорю, мой младший брат?

— Да, конечно,— сказал Мишка Некрасов.

— Трудно поверить, что Бороко и Хагур родные братья, они будто небо и земля,— прибавил Тамбир. — Неужели их родила одна мать, неужели они выросли в одной семье?

— Бороко тоже неглупый человек,— примирительно сказал эффенди. — Он просто погорячился. А Хагур... Он хороший, но почему так ненавидит родовитых? Нехорошо это, грешно. Все люди братья и должны по-братски любить друг друга. А Хагур? Ох, как он лют против родовитых!

— Как жалко, что нет в ауле Хагура,— перебил слащавую речь эффенди Тамбир. — Мы с Мишкой так хотели видеть его. Но ничего, увидим.

VII

На другой день мальчишки у плетня Хагуровых затеяли ссору.

Обиженный Рашид наступал на соседского мальчишку:

— Кто ты такой, чтобы говорить о моем старшем брате разные гадости? Почему ты позволяешь себе такое?

— А потому так говорю, что Бороко не мужественный человек, а значит, и недостойный мужчина! — петушился соседский мальчишка.

— А почему ты знаешь, что он не мужественный? Как смеешь говорить мне об этом? Ты можешь доказать, что Бороко не мужественный, что Бороко трус?

— И доказывать нечего. Был бы мужественным, не позволил бы отрезать ухо.

— Кто сказал, что ему отрезали ухо? — воинственно выпячивая грудь, наступал Рашид.

— Я сказал!

— Ну, если ты сказал, так ты и получай! — Рашид ударил парнишку кулаком по голове.

Мальчишки начали драться, зашумели:

— Если ты мужчина, не бей меня по голове! — сопел соседский мальчишка.

— А если ты мужчина, то не рви мою рубашку! — отвечал Рашид.

На шум к плетню подошел брат Рашида, Черим. Он, к удивлению младшего, стал поддерживать соседского мальчишку:

— Не отступай, Бадже!.. Так, так! Дай ему по носу! Молодец, а теперь дай подножку! Вали на землю и садись верхом!

Рашид вскочил, прыгнул в сторону, схватил камень и запустил в Черима:

— Получай и ты, мой старший брат, если держишь сторону Бадже. Сейчас я ему покажу, как обижать братьев Хагуровых!

— Черим, на кого ты там кричишь? — спросила Ляшина, выйдя во двор.

— Вот на этих двух вояк,— смеясь, ответил Черим.

— Люди добрые, посмотрите: мальчишки дерутся, а старшему, видите ли, весело. Сейчас же их разними!

— Нет, они не перестанут драться до тех пор, пока ты не бросишь между ними свой платок, как это и полагается в поединках,— пошутил Черим. А потом разнял мальчишек, походя дал подзатыльник Рашиду.

— Вот как ты защищаешь наш род! — расплакался Рашид. — Помогаешь нашему врагу...

Черим стал серьезным. Взял мальчишек за плечи:

— Вот что я вам скажу, соседи-тфокотли. Если дерутся тфокотли, родовитые радуются, говорят, подрались два наших пса. Им очень нравится, когда мы деремся между собой. А поэтому, если я еще хоть раз увижу, что вы деретесь, обоим надаю таких тумаков, что ни сесть, ни лечь не сможете.

— Но ты скажи, Черим, этому Бадже, пусть он не срамит нас, пусть не говорит, будто нашему Бороко отрезали ухо.

Черим вопросительно и строго посмотрел на Бадже.

— Я не соврал. Честно говорю! — защищался мальчишка. — Арсей вчера вечером в кунацкой отрезал ухо Бороко.

— Откуда ты это узнал?

— Отец сказал.

— У, пусть пес схватит за ногу твоего отца! — вспылил Черим, но тут же спохватился: при чем тут мальчишка? Погладил по голове Бадже и направился в дом. Про себя он ругал брата: «Надо же — услышать про такой срам от мальчишки, будто Бороко сам не мог прийти и рассказать».

Мать и все братья Хагуровы тотчас отправились на подворье Бороко.

Первым во двор старшего брата вбежал Рашид.

Бороко чинил пришедший в ветхость плетень.

Рашид уставился на него: оба уха у Бороко были целы. «Значит, Бадже бессовестно наврал. Да еще и рубаху мою порвал. У Бороко ухо только поранено. Даже не завязано. Так, пустяк».

Бороко удивился: чего это вдруг к нему пожаловало все семейство Хагуровых?

— Э, что у вас случилось? — удивленно спросил он.

Ответила Ляшина:

— Если бы тебя волновало, что у нас случилось, сын мой, ты не скрыл бы от нас своего позора. — Она увидела порезанное ухо и запричитала: — Боже милостивый, что же они, негодники, сделали с тобой, как посмели?..

Бороко рассвирепел, налился кровью, сжал кулаки:

— Ну-ка, братья, пойдем и покажем Арсею, как надо драться.

Все семеро только этого и ждали. Ринулись к воротам.

— Постойте, дети мои! — требовательно крикнула мать.

Они остановились.

— Куда вы идете, глупые, даже не разобравшись, в чем дело? С каких пор тфокотль Арсей стал нам врагом? Скажи, Бороко, всю правду, и мы вместе рассудим, что к чему.

— Э-э, пустое дело затеяли! — махнул рукой сразу же успокоившийся Бороко. Посмотрев на братьев, он ощутил чувство гордости, что у него такая родня, столько защитников. Разве можно чего-то бояться, если за спиной такие молодцы? И он сказал примирительно: — Повздорили с Арсеем, погорячились. Но вчера Арсей перед всем аулом помирился со мной. Вот и все.

— Идемте домой,— скомандовала мать. — Я думала, поссорились соколы, а здесь были петушиные бои. Слава аллаху, все кончилось миром!

Братья потянулись к выходу. Оглядывая их, Бороко подумал, что кого-то не хватает, но не мог вспомнить, кого именно. Потом его осенило: Моса! «Вот так дела! — усмехнулся он. — Я стал похож на того, кто однажды забыл собственное имя».

VIII

Три месяца Хасан-Мурад держал Акозу под замком. Держал не потому, что не находил покупателя, в Стамбуле нашлись бы люди, которые заплатили бы за нее приличные деньги, принеся тем самым большую выручку. Он хотел, чтобы девушка после тяжких испытаний пришла в себя, поправилась, похорошела. Но помешала торговцу, как ни странно, его собственная жена.

Акоза очень похудела, но все равно оставалась красавицей. А грусть, поселившаяся в глазах, делала ее еще привлекательнее. Поэтому-то и невзлюбила ее жена Хасан-Мурада Зейнаб. Стала завидовать ей еще сильнее, чем младшей жене, которую муж привел после нее. За это время Акоза не сказала ни слова, только испуганно вздрагивала, когда к ней входили. А Зейнаб никак не могла найти покоя в доме, где прожила много лет и родила детей. Каждый раз, ложась спать, она проклинала Акозу, просила аллаха послать ей на голову болезнь, заразить ее оспой, чтобы она умерла или осталась изуродованной.

А у Акозы не было уже ни сил, ни слез, чтобы оплакивать свою горькую участь. Без слез плакала она в закрытой комнате на втором этаже. Глядя в окно, из которого был виден только кусочек синего неба, она тосковала о далекой родине и жалела, что у нее нет крыльев, чтобы подобно птице взмыть в небеса, перелететь через море. Днем и ночью, наяву и во сне думала о Хагуре. Рядом с Хагуром вставал образ Дарихат, вспоминались прежние обиды, но она предпочла бы смерть в родном ауле, чем жизнь на чужбине. Ей хотелось умереть, но

она не знала, как можно умереть, не взяв на душу греха, ведь бог карает самоубийц. И тогда она обращалась к богу: «О, мой аллах, щедрый ко всем людям, великий аллах, сжалься надо мной, верни мне все то, что отобрали злые люди! Смягчи сердце Хасан-Мурада, привезшего меня сюда, внуши желание отпустить меня на волю. Буду снова служить Шеретлуковым, угождать Дарихат и никогда не пожалуюсь тебе на ее жестокость и несправедливость. Только бы снова оказаться в родном ауле, большего счастья я у тебя не прошу. А если не можешь этого сделать, пошли мне смерть, дай умереть с твоим именем на губах, не отдавай меня чужим людям, я не вынесу позора. Стою я сиротой перед тобою, точно упавший с верхушки дерева птенец, и некому мне помочь, кроме тебя, всесильный!»

Как-то днем Хасан-Мурад пришел к Акозе. Ласково ей улыбнулся. Но улыбка не обманула бедную пленницу. Торговец протянул руку, чтобы погладить ее, прикоснуться к ней, Акоза ударила его по руке и отскочила к двери.

— Какая ты злючка! — укоризненно сказал Хасан-Мурад, отходя от Акозы подальше.

— Увези меня обратно! — закричала она.

Торговец не понял ее слов, но не так уж трудно было догадаться, о чем его просят.

— Ничего, пройдет время, ты смиришься перед судьбой, сама бросишься мне на шею.

Акоза, конечно, не поняла, что говорит этот человек.

— Если ты носишь человеческое имя и рожден матерью, увези меня домой,— с мольбой в голосе повторила она. — Прошу тебя, сжалься надо мной, аллах зачтет тебе это как милостыню!

Хасан-Мурад знал слово «милостыня» и решил, что Акоза просит его дать кому-то милостыню, чтобы за нее молились.

— Охотно это сделаю для тебя, милая, дам милостыню и велю, чтобы за тебя молились божьи люди, на тебе не будет никакого греха, ты будешь чиста перед аллахом.

Акоза жадно ловила его слова, но смысл их не доходил до нее.

— Иди ко мне поближе, не бойся,— позвал торговец и поманил пальцем.

Акоза сжалась, глаза ее полыхнули ненавистью.

— Эй, Талат! — крикнул Хасан-Мурад. — Зайди сюда. Спроси, что хочет от меня эта дикарка, и переведи ее слова.

— О какой милостыне ты говорила хозяину? — спросил слуга, с жалостью глядя на Акозу.

— Пусть вернет меня на родину, всемогущий аллах зачтет ему это как великую милостыню — так я сказала.

— Это слишком много, красавица! — рассмеялся Хасан-Мурад, выслушав толмача. — Я не могу подавать так много, иначе я разорюсь и дети мои станут нищими.

— Если не можешь отвезти домой, отпусти меня, я сама найду дорогу,— просила Акоза.

Хасан-Мурад посидел молча в раздумье, потом сказал:

— Если позволишь мне одну ночь провести в твоей постели, сделаю то, о чем просишь. Буду считать, что денег, которые отдал за тебя, у меня никогда не было. Переведи ей, Талат, не пропускай ни слова.

Талат, смущаясь, перевел слова торговца и отвернулся. Ему было тяжело присутствовать при этой сцене.

— Скорее я брошусь грудью на острые ножницы, чем соглашусь на это! А если ты посмеешь сделать недоброе дело, я задушу тебя ночью, я всажу эти ножницы в твой живот! — бросившись вперед, Акоза выхватила из-под подушки ножницы.

— Эй! — закричал Хасан-Мурад, как будто его уже резали. Талат кинулся к девушке и вырвал ножницы.

— Не делай этого, сестра! — громко сказал он ей и тише добавил на адыгском языке: — Не падай духом. Пока я жив, я не дам тебя в обиду...

Спустя какое-то время после этих событий Хасан-Мурад поссорился со своей старшей женой Зейнаб из-за Акозы. Жена отвернулась от него, и ему ничего не оставалось, как уйти к младшей. Но и младшая не пустила его в постель, потому что она заранее обещала это сделать старшей жене, когда они вместе ругали пленницу. Хасан-Мурад был обескуражен. Он никогда бы не подумал, что Зейнаб станет такой злой и обидчивой. Прежде тихая, покорная, она стала злой, как дикая кошка. Она сказала:

— Если ты не уберешь из дома эту бесстыжую дикарку, я выжгу ей глаза кислотой.

Хасан-Мурад рассвирепел:

— Попробуй только! Я не посмотрю, что ты родила мне троих детей, и выколю твои кошачьи глаза.

А сам призадумался: «Ревнивая баба, как ядовитая змея, зла и опасна. Надо от греха поскорее продать Акозу Осману. Уж очень девчонка ему нравится, каждый день присылает кого-нибудь узнать, не надумал ли я продавать Акозу. Но идти мне самому к Осману тоже нельзя — подумает, что я набиваюсь. Пусть еще немного походит, а потом уж продам, возьму хорошую цену...»

Размышления Хасан-Мурада прервал Талат.

— Что у тебя за дело такое важное, что пришел ночью? — спросил Хасан-Мурад.

— Просто зашел на огонек. Вижу — не спишь, вот и зашел.

— Не помню, чтобы ты заходил ко мне когда-нибудь без дела. Не хитри, выкладывай, зачем пришел?

— Хотел узнать, какую ты цену назначил за черкешенку? — не без робости спросил Талат.

— Вон как! Тебе-то зачем это знать? — удивленно поднял брови Хасан-Мурад.

— Если не секрет, скажи, пожалуйста.

— Уж не купить ли ты ее хочешь? — еще больше удивился купец.

— Что ты, где я такие деньги возьму?

— Не хитри, говорю! — прикрикнул Хасан-Мурад. — Если тебе понадобятся деньги, ты их со дна моря достанешь.

— Тогда скажи цену.

— Значит, решил купить? Решил торговаться со мною, с тем, кто сделал из тебя человека! А теперь за мои деньги хочешь отхватить себе лакомый кусочек? Если на то пошло, я велю выбросить тебя вон из моего дома, сучье племя!

— Что ж, ты — хозяин,— пряча обиду и злость, сказал Талат. — Я и сам могу уйти, если не нужен.

— Ты нужен мне! Только поэтому и позволяю тебе болтать разные глупости, щенок! Иди и больше не болтай о черкешенке... Постой! — Хасан-Мурад прошелся по комнате, чтобы унять свой пыл. Да и с Талатом надо бы помягче поговорить. Слова словами, а дело делом.

— Будущей весной опять отправимся с тобой на Кавказ. Там у меня намечается одно хорошее дельце. Готовься к дороге, присматривайся к товарам... Иди спи, до утра еще далеко.

Совсем плохо стало на душе у Хасан-Мурада: «Придется идти самому к Осману, продать ему в гарем Акозу. Надо поторапливаться, а то вон еще какая беда подкрадывается к моему дому, вон что задумал этот грязный мужик Талат».

IX

Хасан-Мурад рассказал Зейнаб, что он решил продать Акозу Осману. Обрадовалась старшая жена, повеселела. Она села к зеркалу и стала прихорашиваться: конечно, муж придет сегодня ночевать к ней, а не к младшей жене. Вот как надо держать в руках мужчину.

Она подрумянилась, заплела густые длинные косы и любовалась собою: «Я родила троих детей и стала от этого красивее, чем раньше. Стала настоящей женщиной... Разве я хуже этой глупой, ничего не знающей о тонкостях любви черкешенки?»

И странное дело: ей почему-то захотелось увидеть черкешенку.

Услышав, как открывается дверь, Акоза вздрогнула, вскочила со стула и прижалась к стене, но, увидев Зейнаб, успокоилась. Какой бы злой ни была хозяйка, она все-таки женщина. Опустились судорожно сдвинутые плечи, расслабились.

— Что, черкешенка, испугалась? — злорадно спросила Зейнаб.

Взглянула Акоза в глаза хозяйки, и ту будто жаром обдало. «Звереныш, звереныш. Дикая, необъезженная кобылица». Снисходительно улыбнулась Зейнаб, как улыбаются мудрые наивным.

Акоза уже несколько раз видела хозяйку, но такой нарядной ни разу не видела. Золотые кольца с яркими камнями. Голубое, почти до самого пола шелковое платье. Отделанные золотом с загнутыми носками комнатные чувяки. Тело полное и крепкое. А взгляд... Зейнаб улыбалась, а Акозе страшно стало от ее взгляда. Так может улыбаться и тот, кто пришел отрубить тебе голову, увидеть твою кровь.

«Что она задумала сделать со мною?» — плечи ее снова сжались в страхе. Она прижалась спиной к стене.

Зейнаб сделала несколько шагов к девушке, и Акоза чуть не закричала.

Зейнаб увидела ужас в глазах девчонки и остановилась.

Ее внезапно осенило: ведь это она хочет, чтобы муж продал девушку в гарем Османа, значит, она причастна к греху, который сотворит мужчина. А аллах? Аллах не простит ей этого, и на ее душу ляжет грех, который, может, за всю жизнь не искупишь. «Хромой Осман будет тешить свою свинскую плоть, он испоганит то, что аллах сотворил столь красивым». Ведь девчонку муж привез насильно... Зейнаб быстро подошла к девушке.

— Чего ты хочешь? — отчаянно закричала Акоза. — Не подходи, я убью тебя стулом!

Зейнаб приложила палец к губам и прошептала:

— Чего ты кричишь, глупая? Пойдем-ка, пойдем со мной. Только тихонько.

Хозяйка приоткрыла дверь, выглянула, а потом взяла Акозу за руку и повела.

Они быстро, бесшумно прошли по коридору.

Остановились у двери.

Зейнаб прислушалась — тихо кругом. Раскрыла дверь и вытолкнула девушку в темноту... Вернулась в свою комнату взволнованная и довольная собой. «Я сделала доброе дело, о великий аллах, зачти мне это... О, но ведь на улице холодно, а у девчонки нет ни копейки денег, она так легко одета».

Зейнаб схватила шерстяную шаль, достала из шкатулки несколько золотых монет и выбежала на улицу, однако, как ни металась по двору и за воротами, найти в темноте Акозу уже не смогла. Позвать бы, но ведь услышат... Невдалеке застучали колеса. Наверно, возвращается домой муж. Зейнаб опрометью кинулась к себе в комнату...

Когда глаза Акозы привыкли к темноте, она стала искать выход со двора, но никак не могла найти и вылезла на улицу через какой-то пролом в ограде.

Услышала стук колес и спряталась за выступ. Потом она долго бежала. Не зная куда, зачем — только бы подальше от дома Хасан-Мурада. Вынырнувшая из-за туч луна выхватила высокие придорожные деревья, осветила каменистую дорогу...

Кричали на минаретах муэдзины.

Шли на молитву мужчины. Она спряталась за какой-то огромной бочкой.

«О милостивый аллах! Сделай так, чтобы мужчины не увидели меня». Единственный выход — идти на берег моря, где стоят корабли. Правда, она не знала, в какой стороне море, и как ни прислушивалась, ничего не услышала. Пришла в голову мысль зайти в какой-нибудь дом и спросить: люди скажут, они же не звери, их бояться не надо. Акоза хорошо знала, что есть хорошие и плохие люди, добрые и злые, но бедняки повсюду одинаковы, она обратится к беднякам.

И все-таки, поразмыслив, она не стала заходить ни к кому: даже если это окажется добрый человек, он не поймет ее, она ничего не сможет объяснить.

Долго ходила Акоза по тесным кривым улицам, пытаясь услышать шум моря, почувствовать его прохладу. Ей посчастливилось — услышала шум прибоя и пошла на него.

И вот оно — сонно плещется у берега, вздыхает, словно жалуется на свою тяжелую долю бесплодно биться о берега. Бесплодно и вечно...

— Эй, кто там!

Акоза услышала мужской голос и сжалась, превратилась в горячий комок, в котором гулко стучало сердце. Она боялась выйти к мужчине. Но если не выйти, как ей помогут добрые люди?

Здесь должны знать Талата и помогут ей. И Акоза закричала:

— Это я, я!.. Мне нужен Талат, Талат!..

X

На востоке едва начало бледнеть небо, как из порта пришел к Талату парень и сказал, что его ждет дядя, что-то у него не ладится на корабле.

— Я скоро вернусь,— успокоил Талат Хагура. — Если немного задержусь, не волнуйся. Акозу мы найдем обязательно. Мне думается, она уже у хромого Османа. Сходим к нему и уговорим его, тем более что у тебя есть золото, а Осман не только Акозу, но и отца родного отдаст, только заплати ему хорошенько. Заслышит звон золота — и глаза начинают гореть, как у голодного волка. Все будет хорошо. Жди меня.

Над Стамбулом светало. По сонным улицам потянулся люд. Кто на базар, кто к кораблям в порт. У каждого свои заботы: один спешит делать золото, другой идет добывать хлеб насущный.

И все мужчины, мужчины. Одни мужчины, а женщины возятся у очагов, кормят многочисленных детишек.

«Что за крик был вчера вечером у хозяев?» — вспомнил Талат. Хасан-Мурад так кричал, что брань была слышна чуть не за версту. Слуг поносил, обзывал их безмозглыми лентяями и

разбойниками. Может, срывал на них зло, потому что Осман плохо заплатил ему за Акозу?

А тут еще дядя. Что у него случилось, зачем он ему понадобился в этакую рань?

— Ты не знаешь, что стряслось у дяди? — спросил Талат у парня, который пришел из порта.

— Не знаю.

— Может, на судне какая неурядица?

— Придешь на судно и узнаешь. Не допытывайся! — сказал парень.

Талат взял его за руку и остановился:

— Не скрывай: что случилось?.. Говори же!

Парень наклонился к Талату и прошептал:

— Сегодня ночью к нам на корабль залетела голубка.

— Какая еще голубка? Может, чайка?

— Не знаю, не знаю... Ничего никому не говори, слышишь, никому! Прошу тебя, а не то твой дядя сживет меня со света. Проболтался я, дурак!

— Чего уж теперь — договаривай. И не бойся, я тебя не подведу. Говори.

— Голубка — это девочка без языка.

— Как ее зовут?!

— Не кричи так... Я же сказал — она без языка, невозможно понять, что говорит. Единственное, что мы поняли, так это твое имя. Она все время твердит: «Талат! Талат!» Вот мы и подумали: может, тебя ищет?

Талат обо всем догадался. Вероятно, это Акоза. Вот Хасан-Мурад и кричал вечером, обзывал своих работников олухами и лентяями.

— Тогда быстрее, пойдем быстрее! — и Талат почти побежал.

Половина неба уже пылала зарей. Казалось, будто пылал невиданной красоты огнем Стамбул. Пылал бесшумно и удивительно красиво. И море горело и корабли.

Дядя стоял у трапа и, нетерпеливо, опасливо поглядывая, ожидал Талата. Увидев его на трапе, кивнул — мол, иди за мной.

Они вошли в каюту.

Навстречу Талату кинулась из угла Акоза:

— Талат, мой старший брат! Сам аллах прислал тебя, чтобы ты спас меня!

Она повисла у него на шее и забилась в рыдании.

— Успокойся, сестра. Лучше расскажи, как ты сюда попала, как ушла от купца?

Акоза пыталась ему что-то сказать и не могла — ее душили рыдания.

— Откуда эта девочка знает тебя, Талат? — строго спросил дядя.

— Хагур, которого ты привез сюда из Крыма, ищет эту самую девочку, ради нее он пустился в далекое и опасное путешествие.

— А где же Хагур? — спросил Фазиль. — Ему надо немедленно уходить. Хасан-Мурад и Осман поднимут на ноги весь Стамбул.

— Хагур у меня дома. Сейчас я приведу его сюда.

— Быстрее! — приказал Фазиль и обратился к своему помощнику: — Ни один человек не должен сходить с судна на землю, и на судно без моего разрешения не пускайте никого...

Вскоре хозяин судна привел Хагура в каюту, где была Акоза, и оставил их вдвоем, чтобы не мешать встрече.

Талат, остановив дядю на палубе, спросил:

— Что ты намерен делать, дядя?

— А ты как думаешь?

— Девочку наверняка уже ищут. Могут прийти сюда, и тогда...

— Не успеют. Я сейчас прикажу сниматься с якоря. Мы делаем угодное аллаху дело. Должны же мы хоть иногда заботиться о своей душе!.. Я собирался уходить завтра, но могу и сегодня. Сейчас. Но... Хагур должен мне хорошо заплатить, он говорил, что у него достаточно денег. Как ты думаешь, заплатит, если я их благополучно доставлю домой?

— Не беспокойся, дядя, Хагур порядочный человек. Он не только заплатит хорошо, но всю жизнь будет тебе благодарен.

— Ты поговоришь с ним?

— Да, дядя!

— И еще к тебе просьба: пусть никто в Стамбуле не узнает, что девочка уплыла на моем корабле. А если и пойдет разговор, то Хагур и Акоза пробрались на мое судно тайком. Понял?

— Да, дядя.

Талат зашел в каюту.

Хагур сидел. Акоза стояла перед ним. Она была счастлива, хотя страх все еще жил в ее глазах. Талат молча постоял и решил, что не надо лишних слов. Только сказал:

— Сейчас корабль снимается с якоря. Доброго пути вам!

Он не стал говорить о плате, был уверен, что Хагур и сам догадается сделать все, как надо.

Глава третья

I

Стоял месяц окота овец.

До созыва бжедугского хасе оставалось несколько дней.

Во всех аулах только об этом и говорили. И у мечетей, и в кунацких, и в овчарнях.

Каждый день глашатаи напоминали жителям аулов о том, сколько осталось дней до хасе. Напоминали, что каждый

мужчина должен вдеть ногу в стремя и приехать на это собрание. Они перечислили князей каждого аула, называли тех, кто будет сопровождать их на хасе.

Три глашатая Туабго, выхваляясь друг перед другом мастерством, рассказывали о достоинствах князей и уорков, о состоятельных и добропорядочных тфокотлях.

Услышав глашатая, Кансав приказал открыть двери на улицу, чтобы лучше слышать слова о нем и о хасе.

— О люди, о счастливый аул! До бжедугского хасе осталось всего три дня. Да причислит нас аллах к тем мусульманам, для которых этот хасе станет счастливым! Пусть этот светлый праздник увеличит наше богатство, пусть он напомнит нам о нашей великой земле, о ее счастье! Близится день, когда мы расскажем всем вам, счастливые люди нашего аула, о достославных деяниях великого князя Кансава Хаджемукова, о том, как преуспела наша земля во время его правления. О аллах! Пошли великому князю Бжедугии Кансаву Хаджемукову тысячу лет жизни. Мы славно жили при нем и будем жить еще лучше, если он будет здоров, если он снова будет править нами. Посмотрите, о люди добрые, как бродит и набирает силу буза у вас в сосудах. Пусть так же крепнет ваше хозяйство! Да продлится жизнь великого князя — глубокая, как море, высокая, как небо!

— О чем болтает этот дурак? — рассердился на глашатая Кансав. — Байколь Мерзабеч, пойди скажи ему, что дело не во мне, хватит с меня и того, что обо мне знают. Надо говорить о добрых делах князя Алкеса, о его мужестве, уме. Пусть гонцы, которых мы разослали по аулам, славят молодого правителя, ему жить, а не мне. Если кто из гонцов вернется, сразу же направь ко мне, надо узнать, как настроены тфокотли. Алкесу тоже незачем сидеть дома, пусть отправляется по аулам, пусть походит по домам, чтобы его встречали как гостя. Он правильно поступил, что повидал князей, с которыми мы в ссоре, надо, чтобы и наши враги стали на это время нашими союзниками.

Голос глашатая внезапно оборвался, но тут же, приглушенный расстоянием, раздался крик другого глашатая, слов которого невозможно было разобрать. Да это и не заботило князя, потому что его думы перекинулись на того, кто был послан как тайный наблюдатель, чьи донесения ждали с особым нетерпением. Интересно, что говорят глашатаи в дальних аулах. Неужели их не соблазнили отрезы на рубашки и брюки? Если они обманут ожидания, сколько пропадет материи. Но известно, когда даешь человеку то, чего у него нет, он добреет душой и возносит тебе хвалу. Князьям не всучишь отрезы, мелкие подачки их могут только обозлить. Князьям надо будет полнее наливать заздравные роги с медовым напитком. Нельзя будет скупиться и на ласковые слова, превознося мужество одних, богатство других, ум и благородство третьих.

— О соседи! О аул! Воздадим хвалу и честь достойному князю Алкесу! — раздался голос глашатая, который до этого кричал хвалу Кансаву, а потом внезапно смолк.

«Мерзабеч подсказал ему верные слова,— с удовлетворением подумал старый князь. — Хорошо иметь расторопного слугу, который понимает хозяина с полуслова, с намека».

В комнату вошел Хазрет, посланный наблюдать, именно тот, чьего приезда так ожидал князь. Кансаву это показалось добрым предзнаменованием.

— Зиусхан!..

— Слава аллаху, приехал наконец! — оборвал его великий князь. — Какие новости у тебя оттуда, откуда ты прибыл?

— Зиусхан, один из глашатаев обманул нас! Он рассказывал тфокотлям о князе Кунчуке и восхвалял его до небес.

«Значит, подарок Кунчука был богаче, чем мой»,— подумал Кансав, но вслух сказал совсем иное:

— Что о нем говорить? Он поет песню того, на чьей арбе сидит. Мы своего аульского глашатая учим говорить то, что нам нужно, вот и его научили тому, что нужно князю Кунчуку.

— Зиусхан! Великий князь вправе требовать отчета от любого глашатая в ближних и дальних аулах. Он — единственный владыка!

— Что поделаешь, если князь Кунчук другого мнения? — лицемерно вздохнул Кансав. — Он себя видит верховным правителем, а нас не замечает. — В груди князя вскипал гнев, но усилием воли он сдержал его и спросил: — А как ведут себя глашатаи в других аулах?

— Они одинаково хвалят и своего князя, и великого князя всей Бжедугии, боятся брать грех на душу и стараются угодить всем.

«Эти еще хуже, чем первый, который откровенно хвалит нашего противника. С тем все ясно, наградишь его щедрее — и он будет служить тебе, а эти трусливы и готовы служить любому. В следующий раз они уже не будут глашатаями. Об этом я позабочусь...»

Вот такими делами заняты были и князья, и уорки, и тфокотли...

А весна старалась вовсю, она пришла рано, была полна сил, щедра. Уже зазеленели поля, распустились почки на ветвях, на пастбища выгнали исхудавший за зиму скот.

Алкес лег спать, так и не приняв решения по делу, которое беспокоило его уже несколько дней. Его мучил вопрос: как доставить завтра больного отца на хасе? Усидеть на стуле, предназначенном для великого князя, он сможет, но как доберется до этого стула? Пешком не дойдет, на коне не удержится, придется, видно, привезти его на повозке, хоть это и вызовет насмешки. Но что делать, если другого выхода нет? С такими мыслями он и уснул.

Проснулся Алкес на рассвете. Вышел во двор, походил не-

много, ожидая, когда покормят и оденут отца. Сегодня станет ясно, быть ли Алкесу великим князем. Или сегодня, или никогда... Это волновало, тревожило его. Мысли его были заняты предстоящей дорогой, но не покидало ощущение, что он что-то забыл, не сделал что-то важное. Взглянув на розовевший небосвод, понял, что́ его беспокоило. Ему хотелось встретить солнце так, как это делали шапсугские тфокотли. Но он постеснялся поднимать руки к небу, ведь его могли увидеть. Что тогда подумают о молодом князе? Поэтому он просто застыл на месте, шепча: «О, мой бог! О, мое Солнце! Взойди сегодня на счастье мне, смягчи сердце того, кто хранит на меня в сердце зло».

— Отец, повозка уже готова,— сказал Алкес, войдя к князю.

— О чем ты говоришь, сын, разве я уже покрываю голову платком? Мне не нужна повозка, я еще могу сесть на коня. И что это за великий князь, скажут люди, который, как баба, ездит на повозке... Думаешь, князья уже съехались?.. Запомни, зиусхан, надо уметь делать так, чтобы тебя ждали, а не ты. Особенно если ты — великий князь. Тебя обязаны ждать все. Вся твоя страна. Твое появление должно быть праздником. Если ты приучишь к этому людей, так всегда и будет.

У опушки леса собралось много народу. Были здесь и пешие и конные. Несколько в стороне в громадных котлах варилось мясо и крутое пастэ[1]. У куста шиповника громоздились бочонки бузы и медовухи.

Куда ни кинь взор, всюду папахи, папахи.

Молодежь джигитовала на горячих скакунах, показывала свою удаль.

Праздник!

На врытых скамьях сидели каждый на своем месте князья Бжедугии. За их спинами стояли именитые и неименитые уорки и потом уж тфокотли победнее.

Каждому свое место на этой невидимой лестнице, каждому свой почет и кусок пирога с громадного стола Бжедугии. У кого кусок больше, у того больше силы, перед тем ниже сгибаются спины жаждущих и страждущих.

Да что люди! Даже кони и те стояли, отделясь друг от друга. Это — княжеские, это — уорков, а это — тфокотлей. И сбруя на них разная. У одних отделанная черненым серебром, у других поскромнее, а у третьих — простенькая, из сыромятной кожи.

Лошади, принадлежащие знати, словно бы чувствуя это, встряхивали гордыми гривами, высоко вскидывали головы, предостерегающе били звонкими подковами о землю.

---

[1] Пастэ — пшенная или кукурузная каша.

Все ждали появления великого князя Кансава. Ждали, затаив любопытство: каким он покажется перед людьми, ведь половина его тела мертва. Одни ждали со злорадством, другие — сочувствуя. Но всех тревожило одно: кто займет место великого князя, кто будет править страной?

Показался великий князь.

Он был верхом на добром коне. Позванивали серебром богатая сбруя, редкой работы седло.

— Э, да я смотрю, он еще довольно крепок,— шепнул князь Казаноков соседу.

Все встали.

Сосед князя Казанокова ответил:

— Посмотрим, как он будет слезать с коня.

Байколи Кансава были так ловки, что никто не заметил, как сошел с коня великий князь, увидели его уже сидящим в великокняжеском кресле. Он был торжествен и величествен, как и всегда на хасе.

Выждал, пока смолкнет шум, и потом, обращаясь к князьям, сказал:

— Садитесь, зиусханы. Да причислит всех нас великий аллах к мусульманам, которым надлежит открыть счастливый хасе. Князья Бжедугии, именитые уорки, простые уорки, именитые и простые тфокотли, все люди, пришедшие сюда с аллахом в сердце, к вам обращаюсь я и объявляю хасе открытым!

Как только Кансав начал говорить, глашатаи эхом стали повторять его слова для тех, кто стоял поодаль, кому не досталось места на верху невидимой лестницы.

— Сейчас весенняя страда. Раньше мы никогда не собирали хасе весной, потому что весенний день год кормит, но в этот раз мы вынуждены оторвать вас от горячего дела. Я буду краток и призываю всех вас беречь драгоценное время... Здесь нет человека, который бы не знал, что я стар, что меня выбили из седла заботы о вас, болезнь... Долгие годы я носил титул великого князя Бжедугии. Я старался так править страной, чтобы во всех наших земных делах торжествовала справедливость, старался быть верным великим заповедям великого аллаха. Наверно, по воле аллаха меня одолела болезнь, по его воле я сегодня и обращаюсь к вам... Думаю, пришла мне пора покинуть великокняжеское место. К нашему счастью, в Бжедугии есть достаточно людей, которые и по возрасту, и по уму достойны принять от меня этот титул, знак власти, посланной нам милостью великого бога. С вашего разрешения, я и выношу это дело на рассмотрение хасе.

Конечно, сказанное Кансавом ни для кого не было неожиданностью, затем и собрались сюда, почти год говорили об этом в кунацких, но все-таки для приличия сделали вид, будто не ожидали этого, будто огорчены, что старый князь собирается уходить на отдых.

Некоторое время все молчали, ожидая, кто скажет первое слово. Скорее делали вид, что ждали, ведь заранее известно, кто и как будет говорить: целый год Хаджемуковы готовились к этому дню и теперь расставили своих людей из князей, уорков и даже тфокотлей. Есть среди них такие краснобаи, что, указывая на черное, будут доказывать, что это белое, есть и такие, которые не рассуждая согласятся с тем, что им предложат, и заставят согласиться других.

И все-таки люди волновались:

— Вдруг его не изберут!

— А если одолеют другие?

Слово не воробей, выскочит — и не поймаешь его, пойдет гулять по ветру, смущать правоверных...

— По воле всемилостивого аллаха ты, зиусхан, произнес верные слова и вовремя...

Это заговорил князь Тауепш. Глашатаи разнесли его слова, а он тем временем продолжал.

— Верно я сказал? — обратился он к князьям и уоркам.

— Твое слово — наше слово! — дружно откликнулись те.

Кансав согласно и довольно закивал головой. И когда умолкли глашатаи, торжественно спросил:

— Тогда кого вы назовете новым великим князем?

— Ты мог бы об этом и не спрашивать,— сказал Шерандук. — У нас есть один род великих князей — род Хаджемуковых.

Толпа одобрительно загудела, но тут случилось то, чего больше всего опасался Кансав,— в разговор вступил князь Казаноков:

— Ты называешь имя своего зятя! Хорошо ли это?

— Ну и что? — вызывающе ответил Шерандук. — Разве я уже не ношу титул князя и лишен слова? Вот я и говорю: князья Казанковы не менее имениты, чем Хаджемуковы, но я не хочу нарушать доброй старой традиции, а потому и называю Алкеса Хаджемукова новым великим князем!

— Почему? — надсадно крикнул кто-то.

— Если Казаноковы не менее имениты, чем Хаджемуковы, то почему не они?

— Верно!

— Замолчите, еще жив великий князь Кансав!

— За ним последнее слово!..

Хасе разделилось: одни поддерживали Шерандука, другие Казанокова.

Ссорились, мирились.

Снова ссорились...

И только на третий день, как и ожидал Кансав, буза и медовуха, выставленные им за свой счет, сделали нужное Хаджемуковым дело. Хмель примирил соперников, и титул великого князя Бжедугии был единодушно присвоен Алкесу Хаджемукову...

Покидал Кансав хасе на одном коне, а в аул его привезли на двух — с ним случился второй удар и отправил его в лучший из миров.

Его оплакивала вся Бжедугия.

Оплакивал своего отца и великий князь Алкес Хаджемуков.

II

— Сегодня будет славный день,— сказал Багдасар, входя в свою комнату. — Зря мы вчера посмотрели на черные тучи и не выехали из дома. Теперь уже были бы в Шапсугии.

— Но разве сейчас нельзя выехать? — возразила ему Карина. — До вечера еще далеко.

— Нехорошо покидать аул в обеденный час. Дурная примета. Дождемся завтрашнего дня да утречком по прохладе и тронемся... А где Батчерий?

— Поехал с Леваном прогулять коней. Пусть мальчики немного развеются.

При мысли о двух своих сыновьях Багдасар всегда испытывал радость. Слава аллаху, растут настоящими мужчинами. Расторопны, деловиты, не неженки, с прошлой зимы уже помогают в хозяйстве. Это хорошо, что они заняты трудом, что их не влекут пустые детские забавы. Сейчас мальчики рано становятся мужчинами, таково время. Багдасар не различает родного сына и приемного. Для него одинаково дороги и Леван и Батчерий, тем более сейчас, когда родной отец Батчерия покинул этот мир.

«Не дожил до осени Кансав,— думал Багдасар. — Не успел закончить хлопоты о сыновьях. Особенно тяжело пришлось великому князю Алкесу: на свадьбе принужден был надеть траур по воспитателю, немного погодя потерял отца. А каких трудов ему стоило добиться титула великого князя, много было соперников. Эта вражда подхлестнула болезнь и свела отца в могилу».

— Плохо вышло с Батчерием,— сказал Багдасар жене, очнувшись от своих дум. — Если бы мы не говорили княжичу о дне его отъезда домой, он бы не так мучился, не так ждал этого дня. Его угнетает смерть отца, он думает о доме и даже иногда Левана называет Алкесом.

— Отведи, аллах, от меня грех! — внезапно горячо заговорила Карина. — Когда пришла весть о смерти Кансава, я, вместо того чтобы опечалиться, обрадовалась... И Батчерий и Леван мне одинаково дороги, оба пили мое молоко, оба выросли у меня на руках. Несправедливо отрывать от меня моего красавца Батчерия, моего любимого сыночка, и отдавать его тем, кто его не кормил, не холил, не заботился о нем, совсем чужим для него людям,— Карина не выдержала и разрыдалась. — Откуда знать Тлятаней, как спалось Батчерию, чем он болел, о чем грустил и чему радовался? Она ничего этого не знает, мы

воспитали его, а когда мальчика отвезут домой, она назовет его своим сыном и будет гордиться. А я? Как мне быть?

— Женщина, мне кажется, ты начинаешь заговариваться! Ты что, собираешься силой отнять у Хаджемуковых княжича?

— Ну и что? Ведь главное не родить, а воспитать человека!

— Да, так говорится, но что поделаешь, мы не имеем на это права. Здесь был честный договор. И Хаджемуковы и мы делали то, что велит нам обычай. Я думаю, Тлятаней тоже было не сладко отдавать своего ребенка в чужие руки, и сделала она это не для того, чтобы ты ее упрекала в бездушии. Она не бросила своего сына на произвол судьбы, а мы его не подобрали, о чем же говорить? И потом, запомни, женщина! Длинный язык приводит к несчастью. У нас есть и золото, и скот, и земли, но у нас нет княжеского титула, мы не сможем подняться против Хаджемуковых. Они сильнее нас, запомни и это.

— Если бы я могла не отдать им Батчерия, если бы я смогла откупиться от них богатством! — тяжело вздохнула жена.

— Ты совсем сошла с ума! — возмутился Багдасар. — Это нам Хаджемуковы отдали часть своего богатства за воспитание сына. И дали немало. И это справедливо. А ты хочешь им отдать все, что у нас есть. Если Батчерий уедет от нас, разве он перестанет быть нашим пуром? Даже родного сына отделяют, когда он женится.

— Так поступают те, у кого много сыновей, а мне самой придется отрубить одну из двух своих веток. И зачем только я стала воспитывать сына Хаджемуковых? — плакала Карина.

— Ну, поплачь, поплачь,— смирился Багдасар. — Может, станет легче. А я выйду навстречу ребятам, что-то они задерживаются, не случилось бы худого.

Багдасар объездил места, которые любили посещать Батчерий и Леван: лес, заросли вербовника. Поднялся на гору, спустился с другой стороны — парней нигде не было видно, и сердце его обдало холодом. В голову полезли дурные мысли. Он представил, что им встретились бандиты, напали и взяли их в плен. Не разбирая дороги, одним рывком он достиг реки, которая после обильных дождей была мутна, полноводна. Не зная брода, в ней можно утонуть. Здесь Багдасар встретил чабанов и бросился к ним с вопросом, не видели ли они двух юношей на конях? Чабаны ответили, что видели их еще утром.

— Может, они направились в сторону Туабго? — жадно расспрашивал Багдасар.

— Нет, счастливый тхаматэ, не думаем, чтобы они поехали туда, они поднялись вверх по реке,— объясняли чабаны. — И если ты поедешь туда, увидишь следы.

Багдасар поскакал в верховье Псекупса.

Воды Псекупса оказались чистыми, дожди не замутили их. Река медленно текла между зарослей вербы, обильно росших по ее обеим берегам. Из воды изредка выпрыгивали белобокие

рыбины и, сверкнув как молния, уходили в глубину. Резко бросались вниз ласточки и кончиками крыльев как бы разрезали речную волну. Было солнечно, тихо. Но Багдасар не замечал красоты дня, не смотрел по сторонам — он искал следы Батчерия и Левана.

Некоторое время он ехал берегом, потом поднялся на холм Асрана: отсюда были видны окрестности.

По большой бжедугской дороге скакали три всадника. Им наперерез и кинулся Багдасар. Это были его Батчерий и Леван, но кто третий? На темно-серой черкеске блестели наконечники газырей. На ногах мягкие сапоги, на голове невысокая папаха. Ружье в чехле, башлык, а на плечах — отличная бурка.

— День добрый, счастливый тхаматэ! — поприветствовал его Багдасар, ничем не выдав тревоги и гнева на сыновей.

— И тебе доброго пути, счастливый тхаматэ! — ответил незнакомец.

— Валлахи, я никуда не еду!.. Может, эти непутевые джигиты навязались к тебе в спутники? Я их уже столько времени ищу.

— Нет, старший брат, не говори недостойных слов о моих младших братьях. Они так вежливы и внимательны. Я спросил их о дороге в Шапсугию, вот они и вывели меня, да хранит их аллах!

— Спасибо, счастливый тхаматэ, спасибо, что ты сказал добрые слова об этих сорванцах!.. Добро пожаловать к нам в аул. Переночуешь у нас, отдохнешь. Я из рода Бариноковых, по имени Багдасар.

— Спасибо! Да будет милостив к тебе великий аллах, мой старший брат. Ты, вероятно, меня не знаешь, а я тебя хорошо знаю, много слышал о тебе от добрых людей. У нас в Темиргойе женщины всегда радуются, когда пройдет слух, что Багдасар едет с хорошими заморскими товарами. Меня зовут Махош. Я непременно зашел бы к тебе, отведал твоей шуг-пастэ, но к завтрашнему вечеру мне надо обязательно попасть в Бастук, а путь неблизкий. Еду я туда по приглашению достойного Моса Хагура. Может, слышал это имя?

Багдасар сделал вид, что не знает Хагура. Настороженно взглянул на незнакомца, на сыновей.

— Кажется, слышал это имя. Он тфокотль Шеретлуковых? Верно я говорю?

— Не знаю, чей он тфокотль, знаю только, что Хагур — один из достойнейших джигитов Шапсугии. Он мужественный человек, много сделал мне добра, когда мы встречались с ним у нас в Темиргойе. А теперь я еду к нему в гости.

— Валлахи, младший брат! Жаль, что ты отказываешься переночевать в моем скромном доме. Тогда мы проводим тебя, выведем на шапсугскую дорогу.

Услышав последние слова отца, юноши переглянулись,— обрадовались, что будут провожать гостя.

Они проводили Махоша и к вечеру вернулись домой, а перед рассветом отправились на побережье за товаром.

У развилки, где одна из дорог уходила в аул Хаджемуковых, Багдасар спросил у своего пура:

— Ну, как, Батчерий, может, заедем к твоему старшему брату, великому князю Бжедугии?

Батчерий промолчал, но Багдасар понял его и молча повернул в Туабго, хотя знал, что жена не одобрит этого поступка.

III

Тфокотли допоздна засиделись в кунацкой Тартана. К Мышоковым приехал в гости Батчерий. Пира, который надлежало бы устроить в честь такого высокого гостя, не было, потому что Хаджемуковы и весь аул были в трауре по Кансаву. Посидели, поделились новостями. Хотя Батчерий и Леван были еще молоды, их посадили на почетные места.

Когда из кунацкой унесли обеденный стол, Тартан обратился к Ламжию:

— А расскажи-ка нашим гостям историю с Хатуноковым. Ты недавно рассказывал ее нам.

Улыбнулся Ламжий:

— Вы-то слышали эту историю, но пусть ее послушают и те, кто не слышал. Думаю, это интересно... Рассказывают, что Хатуноков был мужественным тфокотлем — пусть аллах дарует ему на том свете мир и покой. Много доброго рассказывал о нем мой несчастный отец, и сам я дважды его видел: заходил как-то к отцу по делу. Было мне в то время лет десять. Очень он мне понравился. Есть такие люди: доброта, чистосердечие у них прямо-таки написаны на лице. С ними всегда приятно, не опасаешься их взгляда, слова, веришь всему, о чем они говорят. И говорят они так, будто угадывают твои мысли. Вот таким и был Хатуноков. Сила у него была необыкновенная. Если уцепится за задок повозки, волы не могут ее с места стронуть. А пшеницы носил на спине сразу два-три мешка. Его мужество, мудрость и доброта многим не нравились, уж очень откровенным и прямым был — хоть тфокотль перед ним, хоть князь. Он всегда был у всех на виду.

— Конечно, чья шапка виднее, на того все и смотрят,— заметил Тартан.

— Правильно! — согласился Ламжий. — И почему-то каждый винит в своих бедах того, кто на виду у всех... Хатунокова тоже многие не любили — и в Бжедугии, и в Темиргойе. Особенно князья и уорки... Однажды он услышал, как Джанкетипш женил своего сына. Это произошло в Темиргойе. Свадьба была богатая, многолюдная. Кроме темиргойских джегуако пригласили двух из Бжедугии. Но вот прошло семь свадебных дней, каждому джегуако заплатили за его труды. Они были довольны платой. Но хозяин сказал бжедугским джегуако: «Если плата

показалась вам маловата, я могу дать в придачу хвастливого тфокотля из Бжедугии — Хатунокова». Прослышал об этом Хатуноков и отправился в Темиргойю. Путь туда, как вы знаете, не близкий, и Хатуноков прискакал к дому Джанкетипша в полночь. Подъехал к воротам и позвал хозяина. Тот или не услышал, или не хотел слышать, как его ночью зовут на улицу, а потому не отзывался. Тогда Хатуноков предупредил:

— Хозяин, если ты не выйдешь на мой зов, об этом узнают все, вместо папахи позор наденешь ты на свою голову. Так что уж лучше тебе выйти.

И Джанкетипш, накинув на плечи бурку, прихватив пистолет, вышел.

— Это ты — Джанкетипш? — спросил Хатуноков.

— Я.

— Тогда знай, что Хатуноков, которого ты отдал в придачу к плате джегуако, это я.

С этими словами он подхватил князя Джанкетипша, бросил его поперек седла и увез.

Долго искали князя и никак не могли найти. Стали оплакивать всем аулом, княгиня надела траурное платье.

Прошло несколько месяцев. Хатуноков послал людей и передал княгине, чтобы она сняла траур. А вскоре привезли в аул и самого князя. Он лежал связанный поперек седла. С тех пор и до самой смерти князь даже не упоминал имени Хатунокова и от других слышать его не мог...

Выслушав эту историю, Батчерий нахмурился. Он понял, что сидел среди чужих ему людей. Взглянул на Левана — тот тоже сидел потупившись.

А тут еще Мач, младший из Мышоковых, забыв, что среди них Батчерий и Леван, как говорят, подлил масла в огонь:

— До чего обнаглели князья и уорки, они нас за людей не считают. Видишь ли, живого человека отдали в придачу. Правильно поступил Хатуноков!

Тартан толкнул младшего в бок — мол, что ты болтаешь! Мач смутился:

— Ну-у, бывает такое... Не знаю, как и сказать...

Щеки Батчерия запылали, усы встопорщились, в глазах блеснула злость: «Я пришел к ним как гость, я брат великого князя, а они!.. Нахлебники, хамы, смеют в моем присутствии так говорить о князе!» Батчерий не выдержал и, с трудом сдерживая злобу, молодую горячую кровь, сказал:

— Князь Джанкетипш и тфокотль Хатуноков — оба недостойные люди. Здесь нет никакого мужества — только грязь и хамство с обеих сторон. С сегодняшнего дня я не считаю Джанкетипша князем — он опозорил всех князей адыгской земли.

— А что бы ты сказал, Батчерий, наш свояк, о случае с Хамирзепшем из рода Хаджемуковых? По-моему, он тоже опозорил ваш род, а? — спросил Тартан.

— Я ничего дурного не слышал о Хамирзепше! — резко ответил Батчерий. — Но если ты говоришь такие слова, объясни их, а иначе...

Помялся Тартан, подумал, что не надо бы затевать новый разговор, который тоже обидит Батчерия, но уж ничего не поделаешь: раз замахнулся, бей!

— Ты не успел еще этого узнать, Батчерий, это случилось только вчера. На свою беду и я там оказался... А дело было так... Вчера князь Хамирзепш с байколями возвращался из Ченае. Скакали мы долиной реки Пчаша и увидели всадника. Он пересек нам путь. По обычаю он должен бы пропустить нас, все-таки князь едет. Но он не обратил никакого внимания. Может, занят был своими мыслями и не заметил нас? Случается иногда с человеком такое. Но князь рассердился:

«Что это за хам, как он посмел перейти нам дорогу?!»

«Эй, путник! Подожди-ка, остановись!» — крикнул ему байколь.

Однако всадник не остановился. Возможно, не слышал окрика. Тогда два байколя бросились вдогонку. Ну, догнали они его, о чем-то начали говорить, кричать, размахивая руками. Тут-то и произошло невероятное: одного байколя всадник сбил с лошади грудью своего коня, а второго ударил наотмашь и тоже выбил из седла. Похоже, удар у него богатырский!.. Расправился с байколями и поехал своей дорогой. Князь рассвирепел и погнался за ним. Мы — следом за князем.

Догнали его.

«Слезай с коня!» — приказал ему князь Хамирзепш.

Всадник усмехнулся:

«Почему я должен слезть с коня? Разве ты меня на него посадил? Скажи, что тебе надо?»

«Не болтай, а делай, что тебе говорят! И брось оружие!» — опять приказал князь.

«Не знаю, кто ты есть, но почему так оскорбительно разговариваешь со мной?» — спокойно спросил всадник.

«Ах ты, хам сиволапый! Так ты разговариваешь с князем?! Я проучу тебя! Слезай и кланяйся мне, проси прощения за свою грубость! Слезай!»

Но всадник оставался спокойным, будто ничего не происходит:

«Послушай, Хаджемуков! Я сижу на своем собственном коне, у меня мое собственное оружие, поэтому советую — езжай своей дорогой, не придирайся ко мне».

Тут уж князь совсем вышел из себя и замахнулся на дерзкого всадника плетью.

Дальше я плохо помню. Случилось так, что всадник начал хлестать нас всех длинной и какой-то уж очень тяжелой плетью. И делал он это так ловко, что мы едва успевали поворачиваться. Нам почему-то даже в голову не приходило отбиваться от него.

Разогнал он нас, а потом выхватил из чехла ружье, направил на князя:

«Если посмеешь шевельнуться, я продырявлю твою голову, хотя она и княжеская!»

Уорки и байколи тоже было схватились за ружья, но всадник предупредил их:

«Замрите! А не то я пристрелю князя! Ну! Опустите руки, иначе я стреляю!»

Мы все опустили руки.

«Я не стану тебя убивать, князь, если поклянешься, что больше никогда не будешь приставать к незнакомым путникам, не будешь их оскорблять. Если не сделаешь этого, молись».

Мы все стояли ни живые ни мертвые.

Ждали.

Каково князю такое унижение?

А что делать, если умирать страшно?

И князь поклялся...

Рассказал Тартан эту историю и опустил глаза.

В кунацкой воцарилась гробовая тишина. Нарушил ее Батчерий.

— Что это за мерзкий человек объявился в Бжедугии? — не скрывая возмущения, спросил он. — Кто такой, откуда?

— Валлахи, не знаю! — робко ответил Тартан. — В Бжедугии немало гордых тфокотлей, зиусхан.

— Если ты рассказал правду, Мышоков, то Хамирзепш больше не князь! — сказал Батчерий. — Пусть он возьмет у своей служанки платок и повяжет голову!.. Пойдем, Леван, нам нечего делать в доме, где позорят князя из нашего рода...

IV

О том, что произошло в кунацкой Тартана, наутро уже знал весь аул. Весть эта бродила из уст в уста, из кунацкой в кунацкую и вернулась в дом Мышоковых почти неузнаваемой.

Одни рассказывали, что Мышоковы выгнали Батчерия и Левана из своей кунацкой. Иные утверждали, будто Ламжий подрался с самим Батчерием, и если бы не Леван Бариноков, княжич мог бы погибнуть в этой драке. А еще говорили, что князья и уорки после ссоры Батчерия с Тартаном подожгли дом Мышоковых. Но вот огня и дыма почему-то никто не видел.

Несмотря на все эти слухи и Хаджемуковы и Мышоковы встали рано и занялись своими делами. А Батчерий и Леван тем временем ехали на побережье, ничего не подозревая о подобных разговорах.

Как только эту новость услышал князь Шерандук, он сразу же позвал младшего сына:

— Седлай-ка коня и поезжай вместе с байколем в Туабго, разузнай всю правду. Если тфокотли напали на Хаджемуковых, не бросайся в огонь, это не твое дело, а дай знать мне. Если бы

был жив Кансав, ничего подобного в его ауле случиться не могло. Но после его смерти я ни за что не могу ручаться.

За короткое время Меджир со спутниками покрыл расстояние до Туабго. Поднялись на холм, долго вглядывались, но не заметили в ауле ничего подозрительного. Жмутся друг к другу дома тфокотлей. Дом Хаджемуковых побогаче, покрепче, двор попросторнее. И мечеть высится над аулом, выделяется, как князь среди слуг.

То, что в ауле тихо и мирно, успокоило Меджира. Для него не было ничего хуже, чем шумные стычки, суматоха, драка, где лилась кровь. В свои двадцать пять лет он еще ни разу не обнажал кинжал; даже испытывая сильный гнев, он никогда не хватался за оружие. Не выстрелил, погнавшись и за тем одиноким всадником, который отхлестал кнутом его отца. И дело не в трусости: страшно было отнять у человека жизнь; Меджир считал, что распоряжаться жизнью людей может только аллах. Но если аллах своей волей заставит его обнажить меч, тогда он это сделает безоглядно...

Меджир стоял на возвышенности и думал об отце: «Вечно ему что-нибудь чудится. Услышит новость и обязательно добавит что-то от себя. А это не мужское дело. Пусть этим занимаются женщины, у них больше досуга и язык, как известно, без костей».

Заметив всадников на холме, в ауле забеспокоились. Великий князь Алкес не знал, что и думать. Если войско — маловато, если гости — не ко времени. Но по тому, как они себя ведут, на врагов не похожи. И для игрищ сейчас не время, идет вспашка полей. Тогда кто они и что им здесь надо?

Когда всадники спустились вниз и приблизились к княжескому дому, Алкес узнал родственника Меджира. Он тотчас вернулся в дом и, подражая отцу, занял почетное место.

Два байколя ввели Меджира в дом и, отступив назад, вышли. Алкес встал навстречу гостю.

— Как живы-здоровы? — приветствовал он вопросом, пожимая гостю руку.

— Живы, слава аллаху! — ответил Меджир. — Гляжу на тебя, великий князь, и вижу, что хорошо выглядишь, да продлит аллах время твоей жизни! Да умножатся завершенные тобой дела и станет меньше неоконченных! Пусть станет больше тех, кто смотрит на тебя добрым глазом, и сократится число завистников. Как поживает твой младший брат, достойный Батчерий?

— Спасибо, Меджир, здоров и он! Вчера был здесь, заезжал к нам по пути и отправился вместе со своим аталыком и его сыном Леваном на побережье. Хотят успеть на весенний базар, да пошлет им бог легкий и приятный путь! Хотелось побыть с ним вечером, но он навестил Мышоковых и задержался у них почти до полуночи.

Когда Алкес упомянул о Мышоковых, Меджир понял, что новость, дошедшая до них, ложная. «Зря мы приехали в такую

даль, испугав весь аул,— мучился гость. — Что я теперь скажу? Если окажется, что Хаджемуковы ничего не знали, то я выступлю в роли сплетника, а если в сплетне есть хоть доля правды, выйдет, что я первым принес зятю неприятную весть. Если я ничего не скажу и они узнают обо всем от посторонних — позор падет на мою голову. Плохо это или хорошо, но, если аллаху было угодно, чтобы я сюда заявился, скажу, с чем приехал».

— Батчерия я довольно долго не видел. Вырос, наверно? — начал Меджир издалека.

— Вырасти-то вырос, уже выше моего плеча, а все живет не в родном доме. Если бы не смерть отца, стал бы моим помощником, но смерть оттянула приезд брата. А мне одному тяжело. Только сейчас я понял, как трудно быть великим князем, каждую минуту меня беспокоят, и все больше по пустякам, с которыми и сами могут справиться. Беспрестанно надоедают уорки и тфокотли.

— Рановато ты начал жаловаться, князь,— улыбнулся гость, слушая речь Алкеса. Он почувствовал в его речи фальшь и скрытое хвастовство своей занятостью. — Не переживай из-за этого, быстро привыкнешь — и все пойдет как по маслу. Человек ко всему привыкает.

— Тоже верно,— согласился Алкес, уже жалея, что наговорил лишнего. С князьями и уорками надо быть осторожным. Если им не угодишь, они напомнят тебе об этом при первом же случае. Меджир, видя, как лицемерит великий князь, опять заколебался: «Говорить или нет? Князь уже хитер, но ума у него маловато,— подумал он. — А я схитрю, но с умом, умолчу о причине приезда, да простит меня аллах».

— Ну, что ж, Алкес, нам пора ехать. Спутники меня ждут, да и дело наше не стоит на месте.

— А что у вас за дело? — не сдержался Алкес.

— Одинокий всадник, назвавший себя Тамбиром, снова был замечен вблизи аула, вот мы и выехали,— нашелся Меджир.

— Я не слышал об этом. Если нужно, я дам тебе несколько байколей,— предложил князь.

— Ну зачем же, нас и так много на одного,— усмехнулся Меджир, прощаясь с Алкесом.

Не успел Меджир со спутниками подняться на возвышенность, как в комнату великого князя шумно вбежал байколь Мерзабеч. Глаза его тревожно блестели, он часто дышал, плечи его высоко поднимались. С того дня, как стал Алкес князем, он близко не подпускал к себе старшего байколя, подбирал на его место другого, а его хотел отпустить, присвоив ему звание уорка. Но ведь нужного человека быстро не подберешь, князь тщательно приглядывался, взвешивал все «за» и «против». Старший байколь — лицо доверенное, но каков он, таков и князь. По слугам судят о хозяине. Мерзабеч как злой пес, его неприятно держать у себя в доме.

— Какую новость ты привез из аула? Что стоишь, говори! — прикрикнул Алкес.

— Зиусхан, нас оскорбили! Твоему младшему брату вчера нанесли оскорбление в доме Мышоковых!

— Кто в Туабго может встать против моего брата? — стараясь говорить спокойно, спросил великий князь.

— Кто еще, кроме Ламжия, ненавидит нас в ауле, зиусхан?! Если бы его воля, он бы нас растоптал, уничтожил весь род Хаджемуковых.

Алкес вспомнил, как по приказу Мерзабеча Мамруко со своими друзьями однажды жестоко избили Ламжия. В этом деле был замешан не только байколь Мерзабеч, но и князь Кансав. Но Батчерий-то был ни при чем. Если Ламжий захотел мстить, он должен был обратить гнев на кого-нибудь другого, а не на этого мальчишку.

— Батчерий мне не говорил о том, что Ламжий оскорбил его. Не знаю, откуда у тебя такая новость? — В голосе Алкеса прозвучало недоверие. Он холодно посмотрел на Мерзабеча.

— Ты мне не доверяешь? — испугался байколь.

— Сколько раз я говорил тебе, чтобы ты не болтал языком, пока не разузнаешь все как следует.

— Но, зиусхан, Батчерий покинул дом, в котором гостил!..

— Это другое дело,— прервал его Алкес. — Князь Батчерий обиделся в кунацкой тфокотля из-за того, что когда-то наш родственник не проявил достаточно мужества. А Ламжий посмел об этом рассказать гостям. Если у Батчерия мало разума, пусть не ходит по кунацким. Тфокотль рассказал то, что видел, и это правда. Так на что же обижаться? А ты, Мерзабеч, не приходи ко мне больше с подобными донесениями. Не нужно мне это! Я не собираюсь заниматься такими пустяками. Меня ждут дела куда поважнее этого.

Мерзабеч покинул комнату, чувствуя себя униженным. Он понял, что ему не удержаться на своем месте при новом хозяине, лоб его покрылся испариной, и первый раз плетка в его руке показалась ему тяжелой. «Старался всю жизнь, делал Хаджемуковым только добро — и вот награда,— подумал он. — Что ж, выгоняй старого пса на улицу. Но учти, содеянное тобой зло злом к тебе и вернется, а мне все равно умирать, хоть под забором».

Старый байколь обиделся на молодого князя. А когда человек в обиде, то и мысли у него грустные. Чем больше возрастала обида, тем мрачней становилось у него на душе. Хотя Мерзабеч хорошо знал, что под забором он не умрет, у него есть, слава аллаху, и жена, и дети, и дом — полная чаша. И не просто так уйдет он с княжеской службы, а получит звание уорка и будет доживать век на покое. Все знал старый Мерзабеч и тем не менее растравлял свою рану.

Алкес думал о другом. Еще до того как стал он великим бжедугским князем, считал, что Мерзабечу нужно уйти со

двора. Но во время траура заговаривать об этом было рано. Хоть он и выбрал нового байколя, все еще колебался, боясь ошибиться. И сообщать преждевременно имя избранника не считал нужным. Мог передумать, да и уорки, узнав, кто будет байколем, постарались бы повлиять на его решение, склоняя каждый в свою сторону. Но дело даже не в этом. Главное сейчас — Батчерий. Не потому Алкес во время свадьбы ушел к Мышоковым, что не было выбора, а потому, что хотел укрепить с тфокотлями отношения. Уже тогда он предвидел, что станет князем, и ему нужно было ядро среди тфокотлей, на которое он мог бы опереться в трудное для себя время. То, что создавал Алкес, прикидываясь простым и добрым, разрушает Батчерий, строя из себя умного. Как теперь поступить? Попросить, чтобы на брата не держали обиду — мол, молод, глуп,— или лучше промолчать, ожидая, пока расскажут про этот случай свидетели происшествия? По их тону можно будет понять, как они к этому относятся и чего ждут от Алкеса. Самому же Батчерию говорить ни о чем не следует, он только обидится, а понять пока еще не сможет. Лучше поговорить с его воспитателем, чтобы тот объяснил брату, как нужно вести себя в той или иной ситуации, не роняя собственного достоинства и не наживая врагов.

Спустя несколько дней, услышав, что Багдасар вернулся с побережья, Алкес поехал к нему.

— Сегодня ночью, зиусхан, мы тайком съездили к Мышоковым и вернулись ни с чем. «Я не приму извинения от Хаджемуковых,— сказали мне. — Соберутся тфокотли, которые были в кунацкой в тот вечер, и тогда пусть при всех Батчерий попросит извинить его». Но мы не можем пойти на это,— окончил свою речь Багдасар.

— Я ожидал этого,— сказал великий князь и встал.

V

Был такой теплый, погожий день, что невозможно усидеть дома, если тебя не заперли. Ни зноя, ни ветра. Все будто замерло, разнежилось под солнечными лучами. Сквозь расцветшие ветви деревьев виднеется усадьба Шерандука. От груши, стоящей у колодца, доносится жужжание пчел, летают бабочки.

На дворе пусто. Все, кроме князей и уорков, заняты полевыми работами. Женщины еще на рассвете вышли на прополку, не слышно даже голосов мальчишек, которые обычно весь день галдят, играя в бабки.

Вблизи дома на солнце греется князь Шерандук. Он даже снял папаху, показавшуюся ему ныне тяжелой, и подставил голову под льющееся с неба благодатное тепло. До сих пор он никак не хотел уступать старости, но время не стало спрашивать и согнуло его спину. Глубоко запали глаза, пальцы стали костлявыми и сухими, обвисла на щеках кожа. Много

похорон перевидал Шерандук, но смерть Кансава оставила в его душе тяжелый след. После кончины друга он отчетливо осознал, что близится и его черед. Так остро он не переживал даже смерть родителей, потому что был молод, полон сил и смерть его не пугала.

«О, мой аллах, как прекрасен этот мир! — думал князь, поглаживая свою обнаженную голову. — С чем сравнить глоток воздуха в этой жизни? До прихода старости мы, как собачья свора, деремся и грыземся друг с другом из-за какой-то паршивой кости, начинаем понимать кое-что на этом свете, когда надо уже уходить, переселяться в иной мир. Что нас ждет в загробном мире — никто не знает. Может, там есть и мудрецы, и мужественные джигиты, и прекрасные жены, но никто еще не сумел вернуться к людям, чтобы рассказать об этом и утешить мятущиеся сердца. Потому и думается иногда, что там ничего нет, и поэтому оттуда никто не возвращается. Кто может вернуться из ничего, из пустоты, прости, аллах, мои грешные мысли. Вот скоро и мне умирать, а так не хочется, потому что страшно. Пугает неизвестность. А как, наверно, страшно было умирать тем, кто и в этой жизни ничего не понял, совсем мало прожил, тем, которых я своей рукой отправил на тот свет. Прости, мой великий аллах, что я по неведению творил людям зло, преждевременно сводя их в могилу. Прости и дай мною обиженным и обездоленным успокоение...»

Кто-то подъехал к воротам и позвал князя. Шерандук узнал этот голос. Узнал и, не успев надеть папаху, спрятался за амбаром.

Всадник еще раз позвал.

Никто не откликнулся.

«Что нужно ей?! Зачем она прискакала?.. О аллах, мой милостивый аллах, как же это я не захватил пистолет! О-о, пристрелил бы ее, как собаку!»

На всаднике лихо надета папаха. Женщина по-мужски держалась в седле.

— Эй, неужели в доме князя Шерандука не осталось ни одного человека, носящего папаху!

Грудью коня всадник открыл ворота и неторопливо приблизился к амбару:

— Я вижу твою бритую голову, Шерандук. Не срамись и выходи навстречу!

Шерандук, пригнувшись, шмыгнул в конюшню, спрятался в темном углу. «О аллах, чем я провинился перед тобою, что ты посылаешь на мою голову такой срам? За что ты послал в такой хороший день убийцу? Сделай его пулю слепой. Пусть лучше меня отхлещут позорной плетью, только оставь мне жизнь, я стану днем и ночью молиться и никогда никого не обижу. Помоги мне, мой добрый аллах!»

— Не срамись, выходи из конюшни, князь! Или тебе вдруг стал нравиться запах конского навоза? Почему он тебе не нра-

вился раньше, почему ты других заставлял чистить конюшню, а сам ни разу не взялся за вилы? Хорошо! Если тебе еще хочется понюхать навоз, я подожду.

Напомнил всадник о вилах, и князь схватил их — хоть какое, но оружие. Он стал осматриваться: нельзя ли как-нибудь выбраться из конюшни. Может, продрать крышу и выскочить, убежать огородом?..

— Тебе не кажется, князь, что ты слишком засиделся в конюшне, что пора тебя оттуда выкурить? Я подожгу конюшню, и ты сгоришь, как в адском огне. Тебе это, наверно, больше нравится, чем честно встретить своего противника. Вот какой ты трус!

«Зажги, зажги конюшню,— взмолился Шерандук,— пока будет гореть крыша, прибегут тфокотли и спасут меня! Вот тогда и посмотрим, кому достанется ад, а кому рай. Уж я тогда покажу тебе!.. О-ей! А если тфокотли не успеют прибежать? Ведь сухая осока сгорит быстро, как порох!.. О боже, о боже!..»

— И еще скажу тебе, что мои спутники, князь Шерандук, никого из тфокотлей не подпустят к конюшне, пока она не сгорит дотла. Имей это в виду и приготовься изжариться, как курица, которую тебе зажаривает стряпуха. Вот только не знаю, такой ли от тебя пойдет дух, как от жареной курицы?

Не выдержал князь, с вилами наперевес выскочил из конюшни и остановился.

Всадник навел на него дуло пистолета:

— Не надо баловаться, князь! Если тебе дорога́ жизнь, брось вилы, не напрашивайся на пулю. Она у меня всегда находит того, кому я ее посылаю.

— Скажи, всадник, что я сделал тебе дурного, почему ты меня преследуешь? — взмолился князь. Он чуть не упал на колени, чудом удержался на ногах.

— Ты еще и спрашиваешь, князь? За тобой долг.

— Скажи, сколько я тебе должен, и тут же все получишь сполна. Золото, серебро...

— Нет, свой долг ты не сможешь оплатить золотом.

— Чем же, чем я могу заплатить тебе? Только скажи!

— Подойди к плетню и стань ко мне спиной,— сухо сказал всадник, не переставая целиться в князя.

— Что ты задумал сделать со мною, с глубоким стариком? Если тебя не страшит мой княжеский титул, ни то, что великий князь Бжедугии мой зять, вспомни древний обычай, постыдись моей старости, разве можно поднимать руку на старика?..

— Возьмись за колья плетня, повернись ко мне спиной.

— Зачем мне браться за колья, зачем? — Князь стал пятиться к плетню, боясь повернуться спиной. — Почему ты хочешь меня еще этим унизить? Стреляй прямо в грудь, а не в спину. Не издевайся надо мною...

Всадник приблизился к Шерандуку и так хлестнул его плеткой, что тот едва устоял на ногах.

— Я не буду в тебя стрелять, князь! Подставь мне спину и получи двадцать плеток. Если останешься жив — живи, а нет, отправляйся туда, куда ты отправил Тамбира.

Свистела, взвизгивала плеть и хлестко ложилась на княжескую спину.

Лопнула рубашка...

Лопнула кожа на спине...

— Раз, два, три!..

— Молоком твоей матери заклинаю тебя,— стонал под ударами Шерандук,— не убивай меня! Оставь меня жить, потому что жив Тамбир... Поезжай в Абадзехию и там найдешь его... О мой аллах, сжалься надо мною!..

Из дома на крик выскочила княгиня. Схватила палку и стала между всадником и мужем:

— Что же ты делаешь, безбожник? Да ты с ума сошел! Бей тогда и меня заодно с мужем, бей женщину!..

Взглянула княгиня на всадника, узнала Цицару и заголосила:

— Аллах нас покарал! Беда обрушилась на наши несчастные головы! О сжалься, сжалься!..

— А это тебе двадцатая плетка,— тяжело дыша, сказала Цицара и хлестнула княгиню. А потом, покачиваясь в седле, неторопливо поехала к воротам.

Тфокотли услышали истошный крик князя и княгини и бежали к их дому с вилами, но было поздно: Цицара увидела бежавших, дала коню шенкеля и понеслась к лесу...

Шерандук от боли и пережитого страха потерял сознание. Его подобрали у плетня и перенесли в комнату. Когда пришел в себя, сказал:

— Это был не человек, это был зверь, если он поднял руку не только на князя, но и на женщину... — этим он как бы велел жене не говорить, что их избила Цицара.

VI

— Хоть ты и великий князь, не смей так пялить на меня глаза, не смей смотреть так, потому что я ведь тоже Хаджемуков,— сказал князь Хамирзепш Алкесу. — Я не мужик какой-нибудь, а тоже князь, ношу титул, данный мне самим аллахом!

— Не кричи, зиусхан, не вскакивай! — И Алкес посмотрел на родственника холодными, будто ледышки, серыми глазами.— Садись и давай поговорим спокойно. Как родственники. По-мужски. И хочу, чтобы ты помнил: тебя обидели, значит, и меня обидели. Ты прав, мы с тобою одного корня, одной судьбы... Успокойся. Скажи лучше, как поживает, божьей милостью, дядя Баток?

— Если бы ты и в самом деле заботился о здоровье своего дяди, то приехал бы к нему и сам все увидел. Обижается он на тебя, говорит, как стал Алкес великим князем, забыл, что

он мой племянник. Приехал бы к нам, обрадовал старика. Мы ведь тоже с тобою состаримся, нам тоже будет больно, если нас станут забывать даже родственники... А сейчас жизнь стала очень трудной, каждый прячется в свою нору, и если мы не будем поддерживать друг друга, будет плохо нам всем. Приезжай, погости у нас, пусть все увидят, как мы дружны, пусть все знают, как силен великий князь своими князьями и прежде всего могучим родом Хаджемуковых...

Князь Баток, родной младший брат покойного Кансава, был не беднее старшего. У него четыре аула, табуны отличных рысаков, просторные пастбища, плодородные поля. А сколько овец пасется на склонах гор! Видимо-невидимо! Тфокотли живут в достатке, исправно поставляют княжескую долю зерном, скотом. Богат князь Баток, но титул великого князя достался его брату, Кансаву. И это его обижало. А теперь и вовсе — великим князем стал племянник, мальчишка...

Хамирзепш на три дня старше Алкеса. Хвастлив, труслив, вечно сует свой нос куда не следует, а потому и получает частенько по носу. Любит заглядываться на девушек, но кому нужен хвастун и болтун? Матери знатных семей оберегают от него дочерей, хотя в роду Хаджемуковых не было мужчины красивей Хамирзепша. «Что ж,— говорят матери.— С лица воды не пить. Не красивые мужские брови нужны в семье, а крепкие руки, не пустое, хоть и красное слово, а мужество. Если у тебя красивые газыри, это еще не значит, что ты хорошо стреляешь...»

Выслушал Алкес Хамирзепша и согласился с ним:

— Я в самом деле виноват, давно не проведывал дядю. Вот немного освобожусь и обязательно побываю у него. Ты правильно говоришь, зиусхан, мы, родственники, должны крепче держаться друг за друга. Вот только на нас, Хаджемуковых, и держится бжедугская земля. А тут еще народ пошел какой-то неспокойный, все почему-то задирают носы. Даже тфокотли вдруг стали говорить о каком-то своем достоинстве, стали дерзить не только уоркам, но даже нам. Чую, зреет какая-то смута...

— Зреет, зиусхан, как сорные травы холодной весной. Нам надо заткнуть рты тфокотлям, прижать их так, чтобы они не смогли пискнуть. И прежде всего таким, как Тартан. Этот совсем обнаглел. Ты должен его приструнить.

— Но как это сделать, брат?

— Высечь хорошенько, чтобы не смел оскорблять княжеского достоинства, чтобы за версту видел князя и кланялся ему! А как он со мною разговаривал?!

Не хотел князь противоречить родственнику, и в самом деле хотел жить с ним в дружбе. Однако он не только хвастлив и глуп, но и слишком задирист. Вон как нос поднял, как подбоченился! А чем хвастаться-то, чем? Собака лает, рычит, вымещает сварливость на свинье. Так и этот, считает, что во всех

его бедах виноваты другие, а он всегда прав. Но ведь он трус! Тут Тартан сказал правду...

— Тебе не кажется, зиусхан, что в кунацкой у Тартана тебе надо было вести себя немного иначе?

Хамирзепшу не понравились слова великого князя:

— Я не для того приехал к тебе, великий князь, чтобы выслушивать обидные слова. Меня оскорбил тфокотль из твоего аула, и я хочу...

— Зиусхан,— поморщился Алкес,— тебя оскорбил совсем не тфокотль Тартан.

— Тогда кто же, если не он? — и брови Хамирзепша подпрыгнули в удивлении.

— Не у меня тебе об этом спрашивать. Поезжай в долину реки Пчаша и поищи там того тфокотля. Если найдешь, у него и спросишь. Или не помнишь, как вы там с ним повстречались? Не помнишь? Но об этом говорит вся Бжедугия. Не сегодня завтра сложат песню, как у одного князя не хватило мужества отстоять свою честь. И будут петь эту песню вечно.

— И ты решил меня оскорбить?

— Зачем же, дорогой брат? — улыбнулся холодными глазами Алкес. — Тебя оскорбили еще тогда, когда ты впервые вдел ногу в стремя...

— Если ты смеешь говорить мне такое, я сейчас же пойду и принесу тебе голову Тартана в мешке, голову хама, в доме которого ты сидел во время своей свадьбы, а потом привезу грязную башку того тфокотля и насажу ее на кол у твоего порога!

Алкесу стало весело:

— Не пускайся в галоп, пока не оседлал коня. Не горячись! Мне не хотелось бы хоронить тебя, ты ведь еще совсем молод. Это я говорю к тому, что на защиту Тартана и его братьев поднимется весь аул.

— В таком случае — плевать я хотел на всех вас!

Князь Хамирзепш выбежал из комнаты, громко хлопнув дверью.

Алкес вскочил и заходил по комнате, как это делал некогда его отец. Вскипел великий князь, но тут же взял себя в руки, не позволил разгуляться гневу. В народе говорят: «Если повстречался с дураком, отдай ему шапку и пройди мимо, чтобы самому не глупеть». Верно сказано! Но как быть, если дурак — твой брат, если он князь? То-то и оно! «Не буду на него сердиться,— решил Алкес,— лишь бы никто не узнал о нашей размолвке. Никому нет дела до того, кто прав, а кто виноват, если поссорились братья, князья. Позор ляжет на обоих, и отмыть его труднее, чем своротить гору».

Беспокоило Алкеса другое: неужели Хамирзепш поехал к Мышоковым, неужели он затеет там новый скандал? И чем кончится этот скандал? Кто кому там намнет бока или кто кого проткнет кинжалом? Может, послать байколей? Пусть при-

смотрят, пусть попридержат буйные страсти. Поехал бы сам, но князю не пристало быть усмирителем. Придется положиться на волю аллаха.

Когда всадники во главе с Хамирзепшем подъехали к воротам усадьбы Мышоковых, князь приказал байколям:

— Стойте здесь.

Он толкнул ворота грудью коня и въехал во двор. Оглянувшись, но никого не заметив, крикнул:

— Позовите старшего из Мышоковых!

Из дому вышел Тартан и, зная, что добра от таких гостей не жди, все же пошел навстречу князю.

— Добро пожаловать, зиусхан! Заходи в дом, гостем будешь.

Тут же два его брата вооруженные вышли из дома и, как будто случайно, встали между князем и его слугами.

— Не к такому, как ты, ходят в гости. И не в гости я пришел к тебе, Тартан! — закричал Хамирзепш и выхватил пистолет. При этих словах Тартан тут же бросился под грудь коня и, приподняв его, сбросил князя с седла.

— С гостем так не поступают, но ты сам сказал, что не в гости пришел ко мне,— ответил он князю, тяжело дыша. Ударом ноги Тартан отбросил в сторону пистолет князя, оставив его безоружным.

Байколи, увидев это, всполошились, зашумели. Младший брат Мышоковых крикнул им:

— Зачем поднимать шум? Если князь пришел к нам с добром, наш старший брат его отпустит подобру-поздорову, а если нет, его выведут со двора за шиворот и вернут вам в придачу с конем.

— Не забывайте о том,— предупредил средний брат,— что тфокотли, которые появятся сейчас за вашими спинами, будут приветствовать вас выстрелами.

— Ну что ты, Тартан, говоришь, конечно же я гость,— заторопился Хамирзепш. — Разве можно опрокидывать коня из-за того, что я решил проверить твое мужество и вытащил пистолет? Требую от тебя княжеского угощения: зарежь для нас лучшую телку, посидим, наслаждаясь угощением и беседой,— вот чего мы ждали, когда по пути заехали к тебе.

— Это, зиусхан, уже другое дело,— сказал Тартан, поняв хитрость князя и подыгрывая ему. — Я поставлю лучшее угощение и позову своих друзей чествовать гостя. У меня много друзей среди тфокотлей...

— Если хочешь, приглашай хоть самого Нарыча. Наш дедушка Хаджи любил говорить: «Неплохо посидеть за столом и со своими врагами».

Младшие братья Мышоковы с почетом пригласили байколей в дом, как будто между ними не было никакой стычки.

VII

С наступлением весны Цицаре стало невмоготу жить в лесу. Позади была трудная зима, но это не утомило женщину, не первую зиму она проводила в лесу. Чем больше проходило времени, тем тяжелее становилось одиночество. Проезжая мимо аулов, она завидовала хозяйкам, имеющим дом, очаг, чувствовала, как при виде играющих детей от непонятной слабости в теле кружится голова. Отдыхая в своем лесном убежище, она не могла насмотреться на свое единственное платье и платок. Надевала платье и садилась у огня. Три-четыре раза переплетала волосы, смотрелась в зеркальце, забываясь от тяжких дум. Надевая перед выездом мужскую одежду, чувствовала к ней отвращение.

Весной это чувство усилилось. Весной вся природа пробуждается после долгого сна, возрождается молодая трава, листва на деревьях. Бродят, бродят земные соки, дурманят голову, хочется любви, счастья, хочется жить!..

Сегодня Цицара не стала надевать платье, она собиралась в путь. Она не знала, что стало с Шерандуком после того, как избила его плеткой. Если он остался после ее ударов жив, пусть живет, она сдержала свою клятву: отомстила врагу. А жизнь в позоре еще хуже, чем смерть.

Цицара боялась встретиться с кем-нибудь в этом пустынном месте, но ее неодолимо тянуло к людям. Если бы ей встретились чабаны, она поговорила бы с ними, отвела душу! Но чабанов нигде не было видно. Окинув взором синие горы, она вспомнила своих названых братьев, и тоска с новой силой сжала ей сердце. Вспомнила молодого Нардема. Увидеть бы его еще раз, посмотреть в его глаза. Спросить, помнит ли он еще Цицару. Живя с чабанами на пастбищах, она считала Нардема своим братом, но он смотрел на нее другими глазами. Поверив в то, что Тамбира нет в живых, она стала все чаще вспоминать чабанов... Вздохнув, подумала: «А не уехать ли к ним? Сколько можно жить в одиночестве, пугать людей появлением на дорогах... Нардем много раз говорил мне: «Береги то, что у тебя есть, когда потеряешь, поздно будет оплакивать». Только теперь я поняла смысл его слов, теперь, когда осталась совсем одна. Я еще не потеряла, но теряю молодость. Одинокая женщина — все равно что сухое, никогда не цветущее дерево».

Из-за поворота показалась телега.

Волы черные, люди, сидевшие на телеге, одеты в черное. Очевидно, ехали с похорон.

«Они вместе оплакивают умершего человека, делят горе на всех. С кем я разделю свое горе? Кто сможет понять мои беды?»

Цицара остановилась у обочины и, когда телега приблизилась к ней, сказала:

— Да будет это вашим последним горем, добрые люди. Пусть тому, кто покинул подлунный мир, аллах подарит рай.

— В живых не стало князя Шерандука,— сказал старший из трех всадников, ехавших следом за телегой. — Мы возвращаемся с похорон.

Растерялась Цицара, сердце заколотилось, заныло. Что делать? Радоваться? Но ведь умер человек, свершилось то, что неизбежно придет и к ней...

Цицара склонила голову:

— Если умерший был грешен в чем-либо, да простит ему аллах его прегрешения! — пробормотала она смущенно и с болью, а когда телега свернула за выступ скалы и скрылась, Цицара тропинкой углубилась в лес, поехала в свое убежище.

Гулко билось сердце, зашлась от беспокойства душа.

Как трудно жить на белом свете, как трудно жить! Вот она дала клятву отомстить Шерандуку за свое унижение, за смерть любимого человека, и жажда мести загнала ее в лес, заставила жить в одиночестве, носить мужскую одежду.

И вот врага нет...

Добравшись до убежища, она расседлала коня и пустила его на лужайку. Сама пошла к опушке, где уже созревала земляника. Стала собирать ягоды, но они почему-то показались ей кислыми, совсем невкусными. Присела на пень, задумалась...

Враг отомщен, а душа не ощутила удовлетворения, не снизошел в нее покой — поселилась новая тревога и какой-то странный вопрос: зачем, зачем? «Ведь оттого, что я убила Шерандука, не ожил Тамбир, не вернулось мое счастье. Так зачем же, зачем?.. И как жить теперь дальше, что делать на этой грешной земле?»

Нет в живых Шерандука, значит, она может сбросить мужскую одежду.

Цицара швырнула на траву потертую папаху — длинные волосы рассыпались на плечах.

Красивые, длинные волосы, но зачем, кому нужны они?

Сняла черкеску.

И все случившееся в тот день вернулось к ней будто наяву, вспомнилось до мельчайших подробностей. Вспомнилось, как Шерандук кричал: «Жив Тамбир!» Конечно, он говорил это, чтобы уйти от расплаты. А как не по-мужски унизительно он просил не убивать его. Как хотелось ему жить!

Потом ей представились похороны Шерандука.

Полный двор соболезнующих. Рыдала жена, плакали родственники, прощаясь с дорогим им человеком. Но пусть бы они попробовали пережить то, что пережила Цицара! Ей не довелось оплакать Тамбира, его зарыли в землю без нее...

Цицара, много лет не знавшая слез, разрыдалась. Громко и безутешно.

Ей опять вспомнились слова Шерандука: «Жив Тамбир, ищи его в Абадзехии!» «А если Тамбир и в самом деле жив, если князь не соврал перед смертью!» И она надела черкеску, оседлала коня и решила ехать в Абадзехию, порасспросить у людей, узнать.

Конь шел легкой и стремительной рысью. Цицаре казалось, будто она не скакала, а летела на быстрых крыльях, но чем дальше углублялась в Абадзехию, тем тяжелее становилось у нее на душе. В двух аулах, где она справлялась о Тамбире, никто не сказал ей ничего утешительного.

Ночевать Цицара остановилась в лесу — так было спокойнее, к этому она уже привыкла.

Утром следующего дня ей встретились в ущелье двое всадников.

— Доброго пути вам, счастливые тхаматэ,— поприветствовала Цицара и потом спросила: — Что это за аул виднеется?

Старший ответил:

— Да будешь и ты счастлив, путник. Это аул тфокотля Нарыча.

Всадник стал пристально всматриваться в собеседника. Он о чем-то догадывался, но не мог поверить — неужели это она?

Цицара узнала Нардема и заторопилась. Надвинула пониже на лоб папаху:

— Как бы узнать, дома ли Нарыч?.. Я хоте... Я хотел повидать его. Доброго вам пути, счастливые тхаматэ!

Тронула коня, отъехала немного и услышала:

— Что же ты делаешь, Цицара? Почему проезжаешь мимо? Подожди!

Ей бы пришпорить коня и умчаться, но руки ослабели, тело обмякло. Она оглянулась. Спрыгнула с коня и спряталась за него. Стыд-то какой! Нардем увидел ее в мужской одежде...

— Не подходи ко мне, слышишь, не подходи! — взмолилась она.

— Почему же, Цицара? Я столько лет ищу тебя. Обошел все дороги и аулы, облазил леса и горы, а теперь нашел, но ты говоришь — не подходи. Послушай меня...

— Не подходи, мне стыдно. Разве ты не видишь, как я одета. Уходи, прошу тебя!

— Да какое мне дело до твоей одежды! Я хочу видеть тебя, говорить с тобою и ни за что не отступлюсь от своего.

— Не подходи, иначе я возненавижу тебя! Послушай, что я тебе скажу. Только сначала повернись ко мне спиной. Повернись!..

Мужчины отвернулись, не стали смущать Цицару. Она вскочила на коня:

— Если хочешь видеть меня, приходи в кунацкую Нарыча. Там я сумею переодеться в женское, тогда и встретимся, поговорим.

Ускакала Цицара. Нардем долго, тоскующе смотрел ей вслед:

— Не надо было нам разговаривать с нею. Нехорошо получилось, но, если бы я не заговорил, как бы нашел ее потом? Не нужно никому рассказывать об этой встрече, будто ее не было.

Всадники повернули коней и не спеша поехали в аул Нарыча, в Жегуф.

VIII

Прошло несколько дней после похорон князя Шерандука, однако все шли и шли люди с соболезнованиями. Они стояли у ворот и во дворе, негромко переговариваясь. Татау совсем было уже собрался ехать домой в Абадзехию, но у ворот показался Хасан-Мурад со спутниками. Прикрывая лицо ладонью и всхлипывая, он направился в дом, за ним пошли сыновья покойного, родственники.

Женщины, услышав горестные возгласы мужчин, зарыдали громко и надсадно, как велит старый обычай. Оставшиеся во дворе, опустив головы, хранили молчание. Долго слышались рыдания и причитания, потом постепенно все смолкло, только всхлипывали женщины.

— Пойдите и успокойте женщин,— распорядился Татау, встретив гостя.— Чего уж теперь рыдать, зачем разрывать сердце, все равно князя не вернешь. Все кончено, и пусть аллах раскроет перед Шерандуком двери рая, пусть успокоит его душу.

Хасан-Мурад и Татау вышли во двор. Молча расступились перед ними печальные люди.

Негромко, как и подобает в траурные дни, Хасан-Мурад заговорил:

— Какое тяжелое время выдалось. Не успел я пережить смерть Наго, как узнал о смерти великого князя Кансава, а теперь вот князь Шерандук. Аллах милостивый, зачем столько черных смертей послал ты на землю адыгов, чем эти замечательные люди разгневали тебя? Что еще ждет нас в этом году? Хрупок, хрупок человек, как тонкое стекло: чуть что — и готов, рассыпался, раскололся. О великий аллах, укрепи наши силы, дай нам исполнить твои заветы, пусть сбудется твоя воля в сердцах наших!

Талат перевел сказанное Хасан-Мурадом. Все выслушали его в глубоком молчании, согласно кивая головами. Потом заговорил Татау:

— Е-во-вой! Какие славные мужчины покинули нас. Смерть догонит каждого, даже если он убегает от нее на сказочном коне, потому что все в руках господа нашего. И не знаешь, где и когда настигнет тебя смерть, когда позовет тебя аллах в вечное царство свое... Если бы знал, где упадешь, сена побольше настелил. Нет, не узнаешь, никому не дано ведать, когда придет его смертный час. Живет человек трудно, многое печалит

его, делает несчастным. Сегодня он думает, что завтрашний день будет более счастливым, но приходит завтрашний день, и человек живет надеждой на следующий. И так всю жизнь — от того мгновения, как ты сделал первый шаг на земле, и до того, как тебя закопают в землю. Да благословен аллах и его пророк Магомет!..

Татау хотел рассказать Хасан-Мураду о причине смерти Шерандука, но решил, пусть это сделает кто-нибудь другой. Не та смерть у князя, чтобы ею могли гордиться его сыновья и родственники. Если бы он погиб, проявляя мужество, а тут... Да, может быть, Хасан-Мурад уже и сам обо всем знает, ведь он провел несколько дней у Алкеса, там, наверно, ему рассказали.

Вспомнив Алкеса, Татау нахмурился: такого ничтожного человека сделали великим князем. «Ну, какой из него правитель? Правду говорят: «У кого нет вола, тот запрягает теленка». Неужели же во всей Бжедугии не нашлось более достойного человека, чем Алкес? Нет у нас настоящего великого князя, поэтому во всей Бжедугии нет доброго порядка. Тфокотли унижают и оскорбляют князей, а теперь вот до чего дожили — тфокотль запорол князя плеткой. Позор, позор!»

Татау хотел было сказать об этом, да сообразил: не место и не время.

— И в Турции то же самое,— Хасан-Мурад в раздумье покачал головой. — От кого утащили, тому кажется, что много взяли, кто утащил, думает, что мало взял... Ты правду сказал, Татау. Надежда велика, жизнь — дорога. Живущий не отягощает свой разум мыслью о том, что умрет и ничего не возьмет с собой в могилу.

Татау удивленно посмотрел на толмача, он даже засомневался, правильно ли Талат перевел слова торговца. Татау и сам думал так же, только боялся высказать это вслух. Его часто посещали мысли о смерти, о загробном мире. Похороны каждый раз волновали его. Ему страшно было зайти на кладбище и заглянуть в узкую могилу,— казалось, что кто-то протянет оттуда руку и стащит его самого. То же самое случилось с ним и на похоронах Шерандука: когда он поддерживал веревку, на которой спускали тело князя в могилу, ему почудилось, что он падает головой вниз, и от страха у него округлились глаза.

Татау был труслив от природы, он сам сознавал это. Среди абадзехов в многолюдных местах он никогда не заводил и не поддерживал разговоры на острую, злободневную тему. А в Абадзехии, где тфокотли, как ни в одном другом месте, представляют собой великую силу, он обычно помалкивал. Так и жил, завидуя князьям и уоркам, не смея высказать, что у него на душе, подпевая тому, на чьей подводе сидел. В Бжедугии и Темиргойе он несколько приободрялся, становился смелее. Правда, он и там побаивался тфокотлей, но в тесном кругу позволял себе высказываться почти откровенно.

— Пусть тфокотли болтают что им хочется, зачем нам их слушать? — сказал Татау, храбрясь. — Пока жив, у тебя будут и враги и друзья.

В этот день Татау попросил великого князя Алкеса, чьим гостем был Хасан-Мурад, разрешить ему увезти торговца к себе в Абадзехию. Великий князь сделал вид, что ему не хочется отдавать своего гостя, но на деле рад был поскорее от него избавиться, потому что в Бжедугии и без того много дел. Хасан-Мурад тоже лицемерил, соглашаясь то с великим князем, то с Татау. Ведь он приехал сюда торговать, а не ходить на похороны!

— Валлахи, Татау! Не знаю, что и сказать тебе. Я еще должен посетить Шеретлуковых по поводу смерти Наго. Я так любил бедного Наго, так был к нему привязан! — Произнеся эти слова, торговец посмотрел в сторону великого князя. Эти слова предназначались для него. Торговец хорошо помнил, что Алкес — воспитанник Шеретлуковых. — Я не могу поехать в Абадзехию, не принеся соболезнования Али-Султану и не прочитав в память Наго молитвы. Как ты на это смотришь, Алкес?

— Как решит сам гость,— глаза Алкеса не выдали того, что было у него на душе.

— Конечно, надо посочувствовать горю Шеретлуковых,— поддержал гостя Татау. — В Абадзехию и Шапсугию ведет одна дорога. Отдохнешь у меня сутки, и я провожу тебя до Бастука.

— Как приятно, когда поддерживают твое сердечное желание! — кивнул торговец в знак согласия и подумал о том, что в Абадзехию опасно ехать одному, один вид этих бородатых людей, глядящих на тебя огненными глазами, страшен. Почему натухайцы и абадзехи ненавидят торговцев? Ведь ничего, кроме пользы, торговцы им не приносят. Хорошо бы поторговать там под защитой Татау, затем с божьей милостью отправиться в Шапсугию, а оттуда уже в Турцию. Конечно, если торговля пойдет неважно, придется ехать в Темиргойю. Но сначала в Шапсугию, и, разумеется, не из-за покойника. Живым — живое!

Под вечер, когда солнце широко простерло свои угасающие лучи над абадзехскими лесистыми дорогами, всадники приехали в Дахап. Навстречу гостям вышли все мужчины, находившиеся во дворе Татау. Женщины, обрадовавшиеся не столько гостю, сколько его товарам, выглядывали в двери, послышался звон чугунков.

В кунацкой Татау собралось немало народу. О многом поговорили, многого коснулись. Хасан-Мурад подумал, что сейчас уместно задать вопрос, который его мучил еще в Бжедугии.

— Кто же это такой, убийца Шерандука? Валлахи, кто бы ни был, он поступил жестоко!

— Валлахи, гость! Я тоже так думаю,— Татау получил наконец возможность поговорить на эту тему, не опасаясь стать зачинщиком разговора. — Бедный Шерандук, зло надсмеялись

над ним! А ведь его голова была уже покрыта сединами. Может, и ты слышал, что убийца ударил кнутом и жену князя. Так мог поступить только кровный враг... Кто бы это мог быть?

— Ты еще спрашиваешь, Татау? — подал голос кто-то из мужчин. — Это сделал коварный Тамбир.

— А кто он? — с некоторым испугом спросил Хасан-Мурад.

— В Дахапе живет с каким-то парнем-гяуром бжедугский тфокотль по имени Тамбир,— поспешно объяснил Татау. — Он был одним из тфокотлей Шерандука.

— Сегодня какой-то всадник целый день топтался у ворот Тамбира,— сказал сосед Татау. — Я спросил, что у него за дело к хозяину, но всадник ничего не ответил, будто немой или глухой... Тогда я сказал ему, что Тамбир уехал с Селимом на праздник в Шапсугию. Всадник опять ничего не сказал, только так зло посмотрел на меня, будто крапивой жиганул. И потом ускакал. Это произошло незадолго до вашего приезда, перед заходом солнца.

IX

Пока плыли морем, Хагур все время думал о том, куда повезти Акозу. В Бастуке ей идти некуда, ведь Шеретлуковы купили ее совсем девочкой. Она выросла у Шеретлуковых и не знала, где родилась, кто были ее родители. Так и жила, без роду, без племени... Правда, иногда, когда на душе было совсем плохо, будто сквозь густой туман, виделся Акозе родной дом. Даже не дом, а волы с огромными рогами. И еще слышалась песня матери. Тихая и какая-то печальная. Акоза много раз пыталась представить образ матери, но ей это никогда не удавалось.

«Куда везти Акозу?» — спрашивал себя Хагур. Ответить на этот вопрос было очень непросто.

Везти в Бастук нельзя не только потому, что там у Акозы не было родственников. Ведь все знали, что Акоза продана, а теперь она плывет на корабле вместе со своим женихом — это страшное нарушение обычая. Хагуру не простят этого не только враги, но и друзья.

Он отвез Акозу в Тозепс к Бечкану и сказал, что через месяц приедет со сватами...

И вот настал день свадьбы.

Братья Хагура готовились к празднику, ждали, когда в Бастук привезут невесту.

Сестры Ляшины убрали, как надлежит, комнату невесты — все вымыто, застлана постель, взбиты и положены горкой мягкие, пуховые подушки. На полу — белые овчины.

В комнату то и дело забегали любопытные девчонки — уж очень интересно посмотреть на спальню невесты, ведь их тоже ждала в будущем такая комната.

Во дворе в котлах варилось мясо, готовился душистый соус. Немного в стороне от этих котлов стояли другие — женщины варили в них пастэ, в кипящем масле жарили лепешки.

Мясом занимались мужчины. Острыми ножами они разделали туши теленка, барашков. В бочонках шипела и пенилась буза, играла медовуха, соблазняя мужчин веселым хмелем.

Всем этим беспокойным делом командовала счастливая Ляшина. Смотрела, чтобы не подгорели лепешки, чтобы достаточно натолкли в ступках чеснока и перца, чтобы хорошенько сварилось и поджарилось мясо. Потом не один год в ауле будут вспоминать свадьбу, и не дай бог осрамиться. Всегда найдутся злые языки, много охочих посмеяться над промахами хозяйки, и тут уж гляди да гляди!

Беспокоилась, волновалась и радовалась Ляшина! В ауле, куда она приехала со своими мальчишками, где была чужой, оказалось много добрых людей. Родственники родственниками, но и чужие привели во двор кто овечку, кто теленка. Один принес меда, другой доброй муки. А кто-то пригнал десяток живых индюшек. С дальнего конца аула принесли ведро свежего коровьего масла.

Принесли в комнату невесты отрезы красивой материи, комнатные шлепанцы, расшитый шелком, легкий, как воздух, шарф.

Праздник, как гроздья винограда, наливался силой. Веселый праздник! Шумно и суетно во дворе. У каждого много хлопот, каждый хочет сделать свое дело получше. И только мальчишки в дальнем углу двора играли в бабки — им и свадьба нипочем. Пока. Потом, когда покажутся гости с невестой, они будут впереди всех, будут визжать от восторга.

Солнце начало клониться к вершине горы Пепау. Спал летний зной. С гор и из леса пришла в аул прохлада.

В это-то время и донеслась с дороги свадебная песня.

На какое-то мгновение во дворе все замерло. Даже мальчишки перестали играть в бабки.

Все замерло, чтобы дать волю свадебной песне, которая приближалась к аулу. И вот она взвилась, раскинула над аулом свои крылья!

Первыми рванулись навстречу свадебному поезду конечно же мальчишки. Они воробьями перелетели через плетень и потом подняли на дороге такую пыль, будто проскакал табун лошадей.

Девчонки повисли на плетне, раскрыв любопытные глазенки.

Женщины на минуту оторвались от работы, вытирая о фартуки руки, радостно и встревоженно вздыхая.

Только мужчины сохраняли невозмутимое спокойствие — в любом положении недостойно быть легкомысленным.

— Везут, везут! — воскликнула одна из женщин. — Да принесет счастье в этот дом невестка, принесет счастье всему аулу. Добро пожаловать, Акоза. Да хранит тебя аллах!

— Да хранит невесту аллах,— поддержала женщину старуха,— да принесет она в дом Хагуровых мир и покой, добро и благополучие!

— Спасибо вам! — ответила женщинам тетка Моса. — Как жалко, что не дожил до этого счастья мой брат, не увидел свадьбы своего сына. Будь прокляты Абатовы, отославшие моего бедного брата на тот свет раньше времени! — Она смахнула набежавшую слезу, вытерла передником глаза. — Когда Ляшина увезла своих детей сюда, мы очень кручинились, думали, не справится она с сыновьями, не прокормит, но теперь, видит аллах, они все поднялись на ноги, становятся достойными людьми. Слава аллаху, слава аллаху, спасибо добрым людям Бастука, что они помогли вдове! А теперь радость пришла в этот дом.

Над Бастуком витала свадебная песня. Выстрелы из ружей и пистолетов возвестили о приближении свадебного поезда к дому жениха. Наскоро поправив волосы и платья, чинно вышли за ворота женщины. Помогли невесте сойти с коня, взяли ее под руки и повели в дом.

Хагур, проводив невесту до ворот, поехал к Арсею, где должен провести все свадебные дни как шао.

Шепако с Устоком вошли в дом на женскую половину.

— Теперь у тебя есть еще одна невестка,— сказал Шепако, обращаясь к Ляшине,— пусть она принесет счастье в ваш дом, пусть ее добром вспоминают в Тозепсе, чьей дочерью она стала.

— Спасибо за добрые слова, сын мой. Пускай сто мужчин повторят их во всех аулах адыгской земли, пускай люди говорят о вашем мужестве и о вашей доброте. Пошли вам аллах долгой жизни, покойной старости. Пусть за столами во всех аулах поднимают тосты за ваше здоровье.

— Аминь, мой аллах! — сказали старые женщины.

Пока невесту провожали в комнату, привели музыкантов, очертили круг для танцев. Мужчины и женщины стали по обе стороны круга. Гостями занимался Тхахох.

На свадьбу приехали все друзья Хагура, которых он оповестил. Шепако и Усток приехали из самого ближнего аула — Натухая; Нарыч, Селим, Тамбир и Михаил — из Абадзехии; Тартан и Ламжий — из Бжедугии; Дзепш и Махош — из Темиргойи. Кроме них здесь были родственники. Пришли и жители Бастука. Было столько всадников, что отовсюду раздавались храп и ржанье коней.

Двенадцать музыкантов встали в ряд, вышел на середину джегуако — и толпа притихла.

— О, люди! — начал он. — Пусть счастье Хагуровых станет счастьем не только для этого аула, но и для всей земли адыгской. Играйте веселее, музыканты! Выходи в круг, Нарыч. Достойнейший тфокотль Нарыч, джигит Абадзехии, начни своим

танцем нашу свадьбу, вспомни свою молодость. Так просят люди.

Танцем старшего из тфокотлей Нарыча начинались семидневные торжества Хагура.

Ляшина, все время пребывавшая в радостном возбуждении, старалась ничего не упустить из виду, сделать все, как полагается. Она послала за старшим сыном Бороко и велела, чтобы он пришел немедленно.

— Ты послал в Тозепс известить Бечкана о том, что к нам привезли их дочь? — спросила она, как только Бороко переступил порог ее комнаты.

Бороко стоял, переминаясь с ноги на ногу, не зная, что ответить матери.

— Валлахи, тян, я забыл об этом!

— Быстрее пошли кого-нибудь в Тозепс. Мы должны известить, чьей невесткой стала их дочь, а то опозоримся.

Выйдя от матери, Бороко сразу же послал двух верховых.

— Что за торжество в ауле? — спросил Хасан-Мурад. — Когда мы въехали в Бастук, видели какую-то свадьбу.

— У одного похороны, у другого свадьба, и так всегда... — ответил за хозяина Татау.

Было видно, что эта свадьба не по душе Али-Султану. Он сидел молча. Из головы не выходили слова Дарихат, сказанные ею незадолго до приезда гостей, посетивших осиротевшую семью для выражения соболезнования: «Я пойду на свадьбу и плюну Хагуру в лицо!» От нанесенной роду Шеретлуковых обиды Али-Султан ничего не видел, сидел с затуманенными глазами. Чего только не лезло в голову! Со вчерашнего дня он много пережил. Музыканты бесили его. Если бы он знал, что может такое случиться, он уехал бы с матерью в Бжедугию или еще куда-нибудь. Но, с другой стороны, это позорно, как будто его выгнали из Шапсугии собственные тфокотли.

— Валлахи, хаче[1]! Не знаю даже, как ответить на твой вопрос,— начал Али-Султан, считая недостойным говорить на эту тему. — Женился тот самый Хагур, который ездил в Турцию за невестой. Назло нам. Ведь после смерти отца не прошло и года.

Талат обрадовался, услышав такую приятную новость, но, стараясь ничем не выдать свою радость, отвел глаза в сторону.

— За невестой в Турцию? — спросил удивленный торговец, сразу подумав об Акозе. — Как зовут эту невесту?

— Акоза,— недовольно бросил Али-Султан.

— Акоза, говоришь? — вскочил торговец. — Значит, этот Хагур обокрал меня! Я там всю Турцию обыскал, а они здесь играют свадьбу. Вы знаете, сколько я за нее заплатил? Пусть

[1] Хаче — гость.

съедят меня собаки, если я не верну назад мои кровные деньги!

Али-Султан, услышав это, обрадовался. Ему показалось, что свадьба Хагура уже разрушилась, что очаги залиты водой, а гости бегут по своим домам, как трусливые зайцы.

— Ты должен вернуть себе то, что тебе принадлежит,— сдерживая улыбку, рвущуюся с губ, важно ответил Али-Султан. — Твое — это твое, оно дано тебе богом, никто не может его отнять. А тот, кто отнял,— вор, и вора надо судить. Вот позовем родственников, обговорим все и тогда посмотрим, на что способны эти голодранцы.

— Где возьмут простые тфокотли столько, сколько я заплатил за девушку? — горестно вздохнул Хасан-Мурад.

— Взять им негде,— размышлял Али-Султан, нарочно приглушая голос. — Даже если все тфокотли аула соберутся вместе, столько пиастров они не найдут, у них только старые папахи да дырявые штаны. Мы покажем им, как веселиться, устраивать свои собачьи свадьбы!

X

Сойдя с коня, Цицара, словно опьянев от медового напитка, опустилась под липой, не в силах стоять на ногах. Гнедой конь, не понимая, что творится с хозяйкой, скосил на нее глаза, посмотрел так, будто хотел что-то сказать.

В чужих местах, далеко от своего убежища, Цицара не снимала папаху, но сейчас она сбросила ее, и волосы упали на шею, на плечи. Как хорошо, как вольно голове! Она нашла Тамбира, которого искала столько лет, но вместо радости испытывала грусть. Она ничего не знала о жизни любимого. Увидела, что у него есть дом, огород, что двор его чисто подметен. Кувшины, чугунки, два деревянных ведра висят на плетне. Чьими руками наведен этот порядок? Надо было спросить об этом тфокотля, который сказал, что Тамбир поехал на свадьбу в Шапсугию, но не хватило сил. А вдруг ей скажут горькую правду, разобьют ее сердце, не лучше ли оставаться еще какое-то время в неведении? Но если бы в доме была женщина, она бы вышла, когда Цицара подходила к воротам. Может, у него есть жена? Тогда зачем все эти долгие годы Цицара думала о Тамбире, жила одна, забыв о том, что она женщина. Нужна ли будет встреча Тамбиру, что он ей скажет, а вдруг уже и думать о ней забыл?

Со вчерашнего дня Цицара ни крошки не брала в рот, голова кружилась от слабости, но есть не хотелось. «Если сбудутся мои опасения и Тамбир забыл меня, утешась с другой, больше меня никогда не увидят в этих местах. Что еще остается мне в этой жизни, если клятву я свою сдержала, Шерандука нет в живых, а Тамбир, наоборот, жив и счастлив? — думала Цицара. — Уеду в Бесленей. Нардем так сердечно был ко мне рас-

положен, может, хоть он не забыл Цицару. Конечно, надо все до конца выяснить с Тамбиром, но это-то страшней всего. Выясню, на свою беду, что он женат. Принесу горе и себе и ему, пусть он лучше не знает обо мне ничего, как не знал до сегодняшнего дня. Сделаю для него и это доброе дело. Незачем мне возвращаться больше в свое лесное убежище, корову и овец я отпустила на волю. Чтобы они не стали добычей шакалов в зимнюю пору, надо отыскать их и загнать в дом какой-нибудь вдовы, аллах отблагодарит меня за добро своей милостью».

Коровы и овцы стояли в загоне, будто их кто-то загнал туда. Стельная корова жалобно посмотрела на хозяйку, и Цицара упрекнула себя: «Как же я могла оставить стельную корову в лесу? Беспутная, совсем беспутная. Но ничего, теперь все в порядке, раз уж я вернулась». Цицара подоила корову и легла отдохнуть, мгновенно уснула и проспала до утра.

Утром выстрелом из пистолета в пучок сухой травы развела костер, приготовила завтрак.

Достала зеркальце, заглянула в него и сокрушенно подумала: «Вон и морщины уже вокруг глаз, и лицо какое-то дряблое. Старуха. Кому я нужна такая? Неужто ушло мое время? Неужели я и в самом деле не сберегла того, что мне дано аллахом? Как же быть теперь?..»

Вскочила в седло и поскакала в Бастук.

Свадьба была в самом разгаре. Во дворе, у двора полно народа. Играл оркестр. Девушки пели свадебные песни. Лихо отплясывали парни.

Цицара спешилась, подошла поближе к плясавшим. Стала искать глазами Тамбира, но не нашла.

«Нет его, нет! Наверно, неправду мне сказали, что он уехал на свадьбу, а может...»

— Просим потанцевать с нами баткеля Мишку Некраса! — попросил кто-то. — Мы много слышали о твоем мужестве, а теперь покажи, как умеешь веселиться. Выходи, баткель! Веселее хлопайте, дружнее!

Вышел Михаил. Светловолосый, голубоглазый, он танцевал легко, будто был заправским адыгом. То вихрем носился по кругу, то, поднявшись на пальцы, мягко, почти не касаясь земли, ходил вокруг девушки, призывно глядя на нее.

Цицара посмотрела на танцующих, потом снова стала искать Тамбира в толпе мужчин.

Его не было.

Может, ей сказали о каком-нибудь другом Тамбире, разве на адыгской земле один мужчина носит это имя?

«Другой, другой»,— повторяла она про себя. И вдруг услышала, как в кругу танцующих кто-то воскликнул:

— Тамбир, теперь твоя очередь! Выходи, выходи! Пусть полы твоей черкески превратятся в крылья. Ну-у!..

Цицара повернулась к танцующим. Взглянула — и обмерла.

Это был Тамбир!.. Ее Тамбир!.. Ему дружно хлопали, подзадоривали!

Цицаре показалось, что все девушки влюбленно смотрят на него. И ей стало больно: «Ведь это мой Тамбир, данный мне самим аллахом. Почему ему так весело, почему все им любуются?» И боль сменил гнев: может, вскочить на коня и разогнать их всех? Плеткой, плеткой! Почему им так весело, а она живет, будто проклята богом и людьми? За какие грехи, что плохого она сделала?

В ней закипала обида. И неизвестно, как бы все обернулось, на что решилась бы разобиженная женщина, но в эту минуту показались всадники. Их было много.

Не к добру приехали они, не так полагалось бы им появиться на свадьбе.

— Сколько их? — не то спросил, не то удивился кто-то.

— Десятка два будет.

— Тогда пусть и наших будет столько же,— сказал Шепако.

Двадцать верховых во главе с Ахмедом Шепако стали рядом с воротами. Цицара, сама того не заметив, оказалась вместе с двадцатью всадниками.

Подъехал Али-Султан со своими людьми, среди которых были Хасан-Мурад и Татау.

— Кто старший на этой свадьбе? — крикнул Али-Султан без приветствия.

— Если хочешь поздравить с торжеством, то старшая здесь тетка Моса Хагурова, она в доме, зайди и ты в дом. Если не хочешь, то среди распорядителей старшие Нарыч и я,— ответил Ахмед. — Скажи нам, что тебе угодно.

— Единственное, что я хочу сказать старшим,— начал Али-Султан, не зная, что может из этого выйти, но чувствуя силу на своей стороне,— это то, что свадьбу вы начали без ведома Шеретлуковых, а так нельзя. И еще послушайте, что вам скажет мой хаче Хасан-Мурад.

— Невесту, на свадьбе которой вы сейчас находитесь, украли из моего дома,— заговорил торговец. Талат тут же переводил его слова. — Поэтому я хочу вернуть себе мою рабыню, я заплатил за нее деньги, и немалые, она принадлежит мне.

— Девушка, ставшая невесткой Ляшины, не турчанка и не вывезена из Турции, она из этого аула, и весь аул может подтвердить мои слова,— гневно возразил Ахмед.

— Хоть она и не рождена в Турции, я заплатил за нее деньги, купил ее у Мамруко и Макая, это была честная сделка, а вы поступаете как воры. Если бы мы сейчас были в Турции, закон стал бы на мою защиту.

— Адыгская страна — не Турция. Здесь мы поступаем по своим законам.

— Разве ваша страна самостоятельная? Вы ведь подчиняетесь Турции. И там и здесь должны быть одни порядки. — Хасан-Мурад начал сомневаться в успешном завершении начато-

го дела и поэтому стал говорить тише, пугливо оглядываясь по сторонам. — Как бы там ни было, я надеюсь, что хозяева этого дома вернут мне все, что я отдал за девушку. Иначе будет несправедливо.

— Девушка, о которой ты говоришь, гость, была тебе продана по решению хыкума[1]? — спросил молчавший до этого Нарыч.

— Нет.

— Тогда чего же ты хочешь? Получается, что ты ее украл. Для нас и тот, кто украл, и тот, кто купил украденное,— вор. Так что, если твою жалобу будет рассматривать хасе, тебе не поздоровится. Сколько ты отдал за нее?

— Тысячу пятьсот серебром, счастливый тхаматэ,— смиренно склонил голову торговец.

Али-Султан, видя, что опасения его сбываются, бросил на торговца яростный взгляд, как бы понукая его быть смелее и не отступаться. «Эти собаки не сумели бы заплатить и четверти названной суммы,— злился Али-Султан. — Надо отбирать девушку силой. А о правах поговорим позже».

— Валлахи, хаче, очень дешево продали тебе девушку, которой цены нет. Что ж, хаче, мы вернем тебе твое. Так решили старшие на свадьбе. Отдай, Ахмед,— велел Нарыч.

— Бери,— протянул деньги Ахмед.

У Али-Султана закружилась голова.

— А с тобой, Шеретлуков, я не согласен. Надо радоваться, если в ауле свадьба! О женитьбе знают обычно только несколько человек, а когда свадьба начинается, то торжество уже касается всего аула, здесь для всех широко открыты двери.

Али-Султан резко развернул коня и поехал назад. Никогда еще не попадал он в такое глупое положение. Остальные всадники поехали за ним. Остался только Талат. Еще вчера вечером он рассказал Хагуру о том, что замыслили Али-Султан и торговец.

Танцы не прекращались. Ахмед Шепако с друзьями тоже вернулся к танцующим, будто ничего не произошло. Танцевали все, кроме Цицары.

«Как счастлива та женщина, которую защитил весь аул,— думала она. — Смогла вернуться из чужой страны и после этого еще обрела счастье. Кто же она? И мужчина, на свадьбу которого пришло больше людей, чем на княжескую, наверно, достойный человек. Дай им аллах счастья. Только у меня, горемычной, ничего нет и уже никогда не будет».

После обеда участники свадьбы выехали за аул состязаться в борьбе, стрельбе, устраивать игры, скачки. Все это время Цицара старалась держаться подальше от Тамбира, но замечала все, что он делал. Она видела, как Тамбир смотрел на девушек, и начала убеждаться в том, что он не женат, что у него

[1] Хыкум — религиозный суд старейшин.

нет женщины, иначе бы в его глазах не было такой печали. Она уже стала подумывать, как бы подойти к нему поближе, но решила подождать, пока начнутся состязания в ловкости.

Словно догадавшись об этом, какой-то всадник выехал на середину с серой каракулевой шкурой в руках, пешие отошли в сторону. Верховые тотчас затеяли борьбу, кто-то завладел шкурой и помчался прочь. Тамбир догнал, отнял добычу и рванулся в сторону. Цицара, будто ее подхватило ветром, бросилась наперерез Тамбиру, но, вместо того чтобы отобрать у него шкуру, сняла с головы всадника шапку и высоким, звенящим голосом крикнула:

— Тамбир, отними у меня свою шапку, если ты мужчина!

В тот же момент у него успели вырвать шкуру. Тамбир не раздумывая погнался за всадником, похитившим его шапку и скакавшим в сторону леса. Все смотрели на них, позабыв об игре.

Тамбир скакал, не понимая, чего хочет от него тот, который летит впереди, как выпущенная из лука стрела. У Тамбира добрый конь, но и ему трудно нагнать похитителя.

Михаил заметил происходящее позднее всех, но, увидев, тотчас поскакал за Тамбиром.

Всадники уже скрывались в лесу.

— Остановись, бесчестный! — крикнул Тамбир. — Я все равно не отстану от тебя, догоню — и тебе придется худо!..

Если унесли твою папаху — это все равно, что унесли твою голову. Цицара знала это, поэтому и мчалась сейчас с такой скоростью, увлекая за собой ничего не понимающего Тамбира.

Они скакали уже в лесу, и Тамбир окончательно растерялся, но вместе с тем в душе его поднимался гнев. Ему казалось, что конь победителя имеет незримые крылья. Он почти догнал его, но тот снова резко рванул вперед. Немного погодя они оказались в каком-то овраге, выскочили из него на поляну. Увидев на поляне несколько овец и коз, Тамбир понял, что это чья-то стоянка. Спешившись на другой стороне поляны, всадник крикнул ему:

— Если ты мужчина, Тамбир, не уезжай обратно, получив свою шапку, а дождись меня.

Крикнув это, всадник повесил шапку на сук и скрылся в хижине, стоявшей тут же, на поляне.

— Я не из тех, кто отказывается испытать мужество человека, унесшего папаху! — ответил Тамбир. — Приготовь свою саблю!

Тамбир подошел к дереву, снял свою папаху и надел на голову. Он готов был драться даже с целой сотней врагов, честь была ему дороже жизни. Позабыв об осторожности, он стоял посреди поляны, поджидая обидчика. «Если я не увезу его обратно, перекинув через седло, тогда я не мужчина, мне надо будет сбрить усы, а голову повязать платком»,— шептали его губы.

В хижине Цицара, опасаясь, как бы Тамбир не последовал за нею, торопливо сняла мужскую одежду. Надев женское платье, расчесала волосы, торопясь и дергая их, не чувствуя боли, дрожащими пальцами заплела косы, накинула платок, посмотрела в зеркало и облизнула языком сухие от волнения губы. Опоясала тонкую талию женским поясом и толкнула дверь.

Увидев женщину, Тамбир удивленно вскинул голову. Он уже собирался спросить у нее, где тот мужчина, который только что прискакал и скрылся в хижине, но черты лица этой женщины ему показались знакомыми, до боли знакомыми... Неужели?..

— Цицара! Это ты?..

— Я, Тамбир... — и Цицара, почти теряя сознание, опустилась на колени.

Тамбир нагнулся и поднял Цицару. Он долго еще стоял бы, держа на руках свою драгоценную ношу, если бы совсем близко не послышался голос Михаила, а за ним и голоса других людей. Тамбир осторожно опустил Цицару и шагнул навстречу всадникам.

В этот же вечер над Бастуком раздалась еще одна свадебная песня. Шесть дней длился праздник в честь Тамбира, Хагура и их невест. На седьмой день заключительные торжества в честь Цицары были перенесены в Абадзехию.

Глава четвертая

1

Прошло несколько лет.

На земле адыгов были и хорошие и плохие годы. Солнце вставало и заходило. Рождались дети, умирали старики. В честь новорожденных стреляли из ружей, сажали в саду деревья. Состоятельные отдавали своих детей на воспитание в богатые семьи, а бедные воспитывали сами. Их учили пахать землю, косить сено, ухаживать за скотом. Учили любить зори, раздольность полей и суровость гор.

Подрастали дети и начинали понимать разницу между тфокотлями и князьями. Дети богатых поднимались вверх и оттуда поглядывали пренебрежительно и надменно. В их сердцах поселялась и росла жестокость по отношению к тем, кто был внизу. Ну а те, кто сеял хлеб и растил скот, тоже были разными: одни покорно гнули свою спину, молили аллаха о милости, а другие не хотели склоняться перед горькой судьбиной, они тоже хотели чувствовать себя людьми свободными и гордыми.

Но как примирить все это?

Об этом заботились эффенди. Они пытались примирить непримиримое именем аллаха, но разве черное перестанет быть черным только потому, что кто-то назовет его белым, разве в

котле у бедняка прибавится мяса только потому, что перед аллахом все равны — и он, и князь, и родовитый?

Хотя Анзаур почти совсем забыл, чему его учили в Бахчисарае, тем не менее он стал очень известным и уважаемым эффенди во всей Шапсугии. О нем не скажешь, что он дальше своего носа ничего не видит. Бывает, что с иными эффенди прихожане разговаривают уважительно, а за глаза поливают такой грязью, что человеку вовек не отмыться. Об Анзауре же говорят так: «Он настоящий эффенди». К нему идут и за советами, и просто поделиться своими горькими думами, облегчить душу. И Анзаур никому не отказывает, каждого выслушивает, вместе с ним искренне печалится. Наверно, поэтому в кунацких даже старейший уступает ему почетное место.

И живет он хорошо. Вместо старенького кособокого домишки теперь у него во дворе добротный дом. Его амбары всегда полны зерна. Скот упитанный, лошади резвые. Усадьба огорожена таким высоким плетнем, какого нет даже у Шеретлуковых. Кроме дома во дворе стоит просторная летняя кухня с высокой, хорошо помазанной и побеленной трубой.

«Хороший в Бастуке эффенди!» — говорят в других аулах и частенько приглашают Анзаура к себе. Приглашают и в гости, и послушать его слово в мечети, и проводить в последний путь покойника.

Надо сказать, что уважают и почитают Анзаура не только родовитые, но и простые тфокотли. Он не гнушается заходить в дома бедняков, несчастных вдов, чтобы поговорить с ними и об аллахе, и о житейских делах. Любит посоветовать, как растить в благочестии детей, как приучать их к труду земледельца.

Родовитым нравится, что Анзаур учит тфокотлей уважать старших, уважать власть родовитых, которая дана им аллахом. Но главное — Анзаур убеждает, что беды, несчастья, нищету и несправедливость можно победить только смирением, только горячими молитвами, строжайшим соблюдением постов. «Кого любят правящие земными делами, того любит и аллах, тот, кто страдает от земной юдоли, кто несчастен и сир в подлунном мире, будет щедро вознагражден аллахом в вечном царстве. Стяжательство, лихоимство, гордыня — это непрощаемые грехи. Одно лишь смирение есть истина» — так говаривал Анзаур, и это нравилось родовитым.

Вернувшись из мечети после обеденного намаза, Анзаур отдыхал в своей комнате.

Хорошо, покойно у него на душе. Приятно, отслужив в мечети, посидеть вот так в прохладной комнате, подремать в ожидании обеда. Подумать о надвигающейся старости, о бренности земного бытия и успокоить себя тем, что служителю аллаха уготована на небе высшая благодать. «Прекрасен мир твой, о великий и всемудрый аллах, прекрасна твоя вечная благодать, дарованная людям, дарованная мне, твоему верному слуге».

Все хорошо было в жизни Анзаура. В последнее время в ауле не было ссор между тфокотлями, никто не жаловался на несправедливость, каждый занят своими делами. «Все это,— думал Анзаур,— благодаря тому, что я воспитываю правоверных в строгости мусульманской веры». Порой ему даже казалось, что на Бастук снизошла божья благодать.

Дарихат давненько уже гостит в Бжедугии у Алкеса. Али-Султан, взяв с собою Батчерия, отправился в дальнее путешествие по Темиргойе.

Вспомнив о Батчерии, Анзаур подумал о Натаре, который уже вернулся из Бахчисарая. Подумал, что его сын куда лучше воспитан и несравненно лучше образован, чем Батчерий или Али-Султан. «Гляжу я на князей и уорков и удивляюсь тому, что они не думают учить грамоте своих детей. Владеют богатством, а знаниями не владеют. Хотя, по мне, куда важнее сами знания. Недаром говорят, что мой сын — достойный мужчина, его уважают не только тфокотли, но и уорки, и князья. Советуют для продолжения учебы послать его в Стамбул, да он и сам просится. Наверно, надо послать».

Мерем внесла в комнату анэ с пшенной кашей, жареным мясом и напитком. Прежде чем приступить к еде, Анзаур надел папаху.

— Ты, ныо [1], задумала угостить нас? — обратился он к жене. — Над твоим угощением стоит такой аромат, что и мертвый бы не удержался. Ты уже накормила сына? Не выпускай его из дома, не покормив, в чужом краю о нем некому было позаботиться. Слава аллаху, еды у нас хватает! О, аллах, не лишай нас своей милости, дай нам увидеть единственного сына во здравии и благополучии. Тот, кто нам завидует, пусть лишится глаз, а тот, кто наводит на нас хулу, пусть навеки смолкнет.

— Аминь, мой аллах! — поддержала молитву-проклятие Мерем.

Женщине было приятно смотреть, с каким удовольствием ест муж. Мерем так и застыла, прислонясь к спинке кровати и скрестив руки на груди. «Великое счастье иметь такого мужа,— думала она. — Уши прожужжали о Хагуре, а что он сделал, этот Хагур? Вывез из Турции жену? Подумаешь, подвиг совершил! Настоящий мужчина не будет брать в жены девушку, побывавшую в доме другого. Дарихат заставила меня призадуматься об этом. И в словах ее есть правда. Бедная Ляшина, не завидую я ей, упаси меня бог, чтобы о моей невестке говорили такое».

Анзаур покончил с едой, приложил ладони к лицу, пробормотал молитву и обратился к жене:

— Ныо, я хочу послать сына в Стамбул для продолжения учебы. И Каймурза-Хаджа то же самое советует.

---

[1] Ныо — старуха.

Мерем вздрогнула. Она услышала то, чего боялась с тех пор, как Натар появился дома. «Покарай меня, аллах, но как я смогу оторвать от себя своего мальчика еще на несколько лет? Хватит ему учиться, и так знает больше, чем любой княжич».

— Чего же ты молчишь, Мерем?

— А что я могу сказать, если ты уже решил? Да будет на то воля божья! — не решилась она возражать мужу.

— Сколько видит глаз, столько стоит и голова, старушка,— постарался ободрить жену Анзаур, увидев, как она побледнела. — Каймурза-Хаджа, один из умнейших мужей в Крыму, внушил мне эту мысль. А если он так считает, значит, так и надо сделать. Особенно приятно, что совет Каймурзы-Хаджы совпадает с горячим желанием нашего сына. Сам аллах вложил в мальчика это желание. Когда я ездил за парнем в Крым, Каймурза-Хаджа на зависть всем молящимся в мечети поставил меня рядом с собой, посылал на минарет пропеть обращение к верующим. Но я-то знаю, что такой почет был оказан мне не за мои заслуги, а за заслуги нашего сына. Поверь: Натар будет большим человеком, нельзя этому препятствовать, грех. Да ты не слушаешь меня, что ли?

— Как же не слушаю? Слушаю,— спохватилась Мерем, хотя думала о другом. Ей хотелось, чтобы Натар остался в ауле, она подберет ему невесту, сыграют свадьбу, а потом она будет нянчить первого своего внука. Ей очень хотелось, чтобы поскорее были внуки. Она уже забыла, какой Натар был маленьким и как она держала его на руках. А материнский инстинкт диктовал ей только одно желание — вновь подержать на руках ребенка, вдохнуть молочный запах милого детского тела. Какое ей дело до того, что ее сын будет ученым, большим человеком? Главное, чтобы он был рядом, при ней, здоров, сыт, спокоен. Но разве можно сказать об этом Анзауру? Разве хоть один мужчина когда-нибудь сможет понять сердце матери? Нет! Никогда! Значит, приходится молчать.

— Хотя почему я должен думать о себе плохо? — убедившись, что жена его слушает, продолжал Анзаур. — Не знаю, как в Темиргойе, но такого грамотного, как я, нет ни в Абадзехии, ни в Бжедугии. Если бы ты видела, старушка, как прослезились бжедугские тфокотли, когда я в мечети прочитал им главу из корана. Думаешь, темиргойцы не слышали об этом? Или не знают, что меня повсюду приглашают? Только они одни и не присылали за мной до сих пор. Но я думаю, что пришлют. Ты еще увидишь это.

— Да, да,— соглашается Мерем.

Анзаур пошел на молитву раньше обычного. После разговора с женой ему не сиделось дома, хотелось быть на людях, хотелось снова говорить с кем-нибудь. В мечети еще никого не было. Вот-вот должен появиться помощник, который и обратится к верующим с призывом. Заметив, что двери открыты, Ан-

заур направился туда посмотреть, чем занимается Натар. Заглянув в дверь, увидел несколько мальчиков, которым Натар что-то читал с листка на адыгском языке. Анзаур испугался. Его сын произносит на адыгском языке складные слова:

В море волна разгулялась на воле,
Весело чайкам в небесном просторе.
Где бы я ни был в чужой стороне,
Только на родине радостно мне.

— Что я слышу? — спросил ошеломленный Анзаур, чувствуя, что над ним нависает что-то непонятное и страшное.

Увидев эффенди, мальчишки вскочили, Натар тоже встал и сунул лист в карман. Слушатели неохотно отошли в сторону, чтобы не стоять между отцом и сыном.

— Я спрашиваю, что это такое? — повторил Анзаур, еще не зная, хорошее или плохое готовит ему судьба.

II

— Невестка, не играй со мной в прятки,— позвала Дарихат Мамирхан. Та не пришла, и она стала по многолетней привычке браниться: — Вы посмотрите, как она себя ведет?! Почему-то все время прячется от меня, чтоб у тебя ноги отсохли! Неужели я хуже твоей болтливой матери? И что это за невестка, если утром не хочет прийти и справиться о моем здоровье? Язык свой бережет, что ли? Да не съем, не тот у меня аппетит! Какая неблагодарная!.. Если сказать по правде, Али-Султан и вовсе не хотел на ней жениться — это я заставила его и осчастливила паршивенькую девчонку. И я должна тебе сказать, Мамирхан, не будет у вас хорошей семьи, если ты все время будешь ласкать да миловать своего муженька. Жена должна держать его в руках. Он должен искать тебя, а не ты его. Будешь беспрестанно липнуть к нему, быстро надоешь, так-то!..

Услышав голос свекрови, Мамирхан вскочила.

В комнате было еще совсем темно, рассвет только забрезжил.

Поднялся с постели и Али-Султан — ему стало неловко за свою сварливую мать. Но что делать?.. Не спится матери, поэтому она и другим не дает спать, всех поднимает на ноги... Бедный отец, как она донимала его своей сварливостью, дома не было покоя, и он постоянно куда-то уезжал. Может, сидел бы побольше дома, не случилось бы страшной беды...

Но особенно невыносимой мать стала после того, как Хагур женился на Акозе. На седьмой день свадьбы она позвала Али-Султана:

— Сколько ты будешь сидеть бобылем, сын мой? Надо жениться. Мне нужна в моем доме невестка, роду Шеретлуковых нужен наследник.

Не согласился Али-Султан. И как-то утром мать зашла к нему:

— Ты беспокоишься об отце, сын мой, но знай, так любить отца, как я любила, никто не любил. Даже ты. Так вот — в начале осени кончается траур, и тогда, с позволения аллаха, назначим твою свадьбу. Я покажу Хагуру, этому мужлану, как надо устраивать свадьбу. Приглашу музыкантов из Кабарды. Пригласим самых знатных гостей не только из Шапсугии, Бжедугии, Абадзехии, Темиргойи, но также из Турции, Крыма! Нет, я не о Хасан-Мураде говорю — этого прохвоста на порог не пущу. Он так нас опозорил, нет у него ни чести, ни совести. Из-за своей жадности к деньгам он предал нас, не забрал обратно эту мерзкую Акозу! Пусть пропадом пропадет его богатство, а сам пусть утонет в море, когда будет плыть в свою Турцию! Чтоб его рыбы по косточкам растаскали, чтоб не было у него на земле могилы, пусть умрет и не будет похоронен!.. А тебе, мой сын, надо обзаводиться семьей, нам нужен наследник, который станет самым достойным человеком не только в Шапсугии, но и на всей адыгской земле...

Вспомнив этот разговор, Али-Султан улыбнулся, потому что гостей ни из Кабарды, ни из Темиргойи не было, а что касается турок — нашли на базаре двух мелких торговцев, они-то и представляли Турцию. Музыкантов взяли из соседнего аула.

Свадьба — это веселье, но свадьба Али-Султана получилась постная, потому что на нее пригласили князей, уорков да родовитых, а они и веселиться по-настоящему не умеют. Каждый хочет казаться важным, значительным, умнее другого. Спесивые в своей мнимой значительности, они сидели пнями. То ли дело у Хагуровых: не свадьба, а огонь! Столько песен было спето. А пляски? Плясали так, что небу было жарко! Так веселиться, как веселится простой народ, никто на всем белом свете не умеет. Об этой свадьбе говорят уже целый год, а о свадьбе Али-Султана ни слова, будто ее и не было. Это тоже бесило Дарихат...

— Ну где ты там запропастилась, Мамирхан! — раздраженно позвала Дарихат.

Али-Султан вздохнул, грустно посмотрел на жену:

— Не сердись, Мамирхан, тут уж ничего не поделаешь. Иди, моя добрая.

Очень нравилась Али-Султану Мамирхан. Нравилась и в девичестве, а теперь и вовсе. Как девушке показать парню свою любовь к нему? А жене сам бог велел делать это. И Мамирхан, стройная, красивая, была ласковой женой, доброй подругой своему мужу. В отличие от Дарихат, она немногословна, разговаривает негромко и до того мягко, певуче, что Али-Султан заслушивался. Сидел бы и смотрел на нее, слушал ее голос...

— Иди и не сердись на мою старую мать, может, и мы в старости будем ворчливы...

«Надо что-то делать,— подумал Али-Султан,— а то мать совсем измучает Мамирхан. Нужно купить в служанки какую-нибудь девчонку. Но куда запропастился Макай? И на свадьбе

не был. Может, случилось что-нибудь? Надо порасспросить у людей и передать ему — пусть заглянет. Нужно купить служанку. У Мамирхан мать человек тихий, берегла и холила свою дочь, а теперь вон как ей достается».

Мамирхан вошла в комнату свекрови и остановилась у двери.

— Ну и любишь же ты, невестушка, теплую постель! Хорошо утречком понежиться под бочком у мужа. Хорошо, а?

Мамирхан залилась краской стыда, опустила глаза.

— Ну ладно, ладно, невестушка... Тревожу я тебя по утрам не потому, что мне некому расчесать косы. Дармоедок у нас в доме хватает, но от них вечно несет плохо промытыми котлами, подгорелой мамалыгой, и руки у них грубые, будто грабли. А у тебя руки ласковые, мягонькие. Когда ты расчесываешь меня, душа моя млеет от блаженства. Я только и думаю о том, как ты придешь ко мне, как станешь расчесывать... В мое-то время попробуй, бывало, подняться с постели позже свекрови — греха не оберешься, столько обидных слов наслушаешься, а то еще и веником отхлещут. У нас же ты живешь в холе да неге, я всегда с тобой ласкова.

Мамирхан очень осторожно заплетала волосы свекрови. Но все же Дарихат дергала головой, это означало, что ей больно. И каждый раз при этом она украдкой бросала взгляд на корсет невестки. «Не пора ли ей уже снять? — с досадой думала она. — Сколько одновременно с ней вышли замуж и родили, а я все глаза проглядела в бесплодном ожидании. Зачем нам женщина, от которой нет детей, это горе и убыток для семьи!»

— Ах, ты вырвала мне волосы! — придралась Дарихат, чтобы сорвать злость. — Не могла бы ты быть поосторожнее? Со своей родной матерью ты, верно, обращалась бы куда любезнее. Вот почему говорят: не зови не рожденного тобой, чтобы он принес тебе глоток воды, встань и напейся сам. Эта поговорка правдива.

Мамирхан промолчала.

«Воды, что ли, она в рот набрала? — обиделась Дарихат. — Все они в этом роду самолюбивые, ущипнешь — не скажут, что больно. Молча стерпят. Как бы я хотела наконец растормошить эту куклу, сделать так, чтобы она закричала, разозлилась, сказала мне что-нибудь, мужу нажаловалась. Тогда бы и я смогла ответить, высказать все, что думаю, а не ходить вокруг да около...»

Дарихат вновь вспомнила о сыне Хагура, которого вчера пронесли мимо ее дома. Это не давало ей покоя всю ночь и сейчас отзывалось в сердце острой болью. Аллах благословил эту семью: уже родили мальчишку. Да такого хорошенького, крупного. Неужели Али-Султан не заслужил такого же счастья или Дарихат мало молила бога послать ей внуков? Если бы Дарихат стала бабкой, занималась бы ребенком, тешила его, нянчила, а не проводила ночи без сна. И к невестке относилась

бы как к родной дочери. А так зачем ей и ее сыну тонкая, как лысая шея курицы, талия Мамирхан? Это не невестка, это чума, от которой погибнет род Шеретлуковых. Останется без потомства прекрасный, мужественный, богатый Али-Султан.

— Да что это с тобой сегодня? Вконец истерзала меня! — Дарихат локтем толкнула невестку. И стала дуть на локоть, гладить, показывая, что ей больно. — Что за железный корсет у тебя на талии? — плачущим голосом произнесла она. — Когда же ты наконец его снимешь? Другие невестки уже давно поснимали, а ты все ходишь, будто в колодку вбита. Нам от твоей красоты никакой пользы. Зря, что ли, мой сын старается?

— Ах, разве можно такое говорить? — смущенно воскликнула Мамирхан.

— Если стыдно, то сделай так, чтобы не было стыдно. Ты уже женщина! На тебя надеется самый известный род в Шапсугии, а ты два года живешь у нас, как яловая корова...

Мамирхан не подняла головы, только слезы обильно полились по ее румяным щекам.

III

После возвращения из Турции Хагур не стал больше батрачить у Шеретлуковых. Али-Султан назначил Бороко старшим над тфокотлями, и он, получив эту должность, гордился ею. К Бороко хозяева всегда относились по-доброму, поэтому не трогали и его братьев. Не тронули и Хагура, когда он стал работать только на себя, на свою семью. Не тронули, но особенно и не доверяли, затаив на него в сердце черную злобу. А тут еще родился у Хагура сын, и это событие посчитали чуть ли не вызовом: у Хагура родился, а у Али-Султана нет. Что же, Хагур удачливее родовитого? Это было, конечно, глупо — так думать о Хагуре, но зависть и злоба никогда не обладали рассудком.

Хагур жил себе и жил, отгородясь от родовитых. Он никак не мог понять отношений между Бороко и Шеретлуковыми. Кто для них Бороко? Раб не раб, батрак не батрак? Сказать, что он байколь, нельзя, потому что Али-Султан не князь. Иногда брали Бороко с собой в походы в качестве телохранителя. А на усадьбе он больше был на побегушках.

За это время Хагур приобрел себе хорошего коня, в этом помогли ему Дзепш и Махош, пригнали из Темиргойи скакуна кабардинской породы. Появилась у него и пара волов, несколько овец — их ему подарили на свадьбу. Овцы оказались плодовитыми, и поголовье вскоре выросло до тридцати трех голов. Отелилась корова и только за утреннюю дойку давала ведро молока.

Хагур доволен своей жизнью, он способен прокормить и жену, и сына, и мать, и младших братьев. Только Бороко омрачает жизнь. Весь аул завидует — девять сыновей у матери. Раз-

ве это не гордость? Сильные, красивые парни, никого не боятся. Один Бороко обивает чужой порог, топчется на дворе Шеретлуковых в ожидании милостей. Хагур поговорил бы с братом, но нельзя: как будет младший указывать старшему? Нехорошо! Если Хагур его осудит, весь аул осудит. Нельзя этого допускать. Нельзя выносить сор из избы. Надо поговорить по-доброму. А как поговоришь, он уже давно сам отвечает за свои поступки. Разве не пыталась поговорить с ним Ляшина? Но он не послушался матери, не послушается и младшего брата.

А жизнь в доме Хагура идет своим чередом. Акоза стирает, мыльная пена бежит с корыта на землю. Слабый ветерок шевелит листья, овевает разгоряченное лицо молодой женщины. Тут же примостилась Ляшина. Она любит посидеть с невесткой, поговорить с ней, полюбоваться ею.

— Не торопись, милая, передохни,— заботливо советует Ляшина. — Ты, наверно, уже устала, а времени впереди много.

— Обед еще не приготовлен,— возражает Акоза. Она и вправду устала, но это желанная усталость. Всю бы жизнь так уставать, работая для своей семьи, для своего мужа и сына.

— Долго ли его приготовить? — не соглашается Ляшина. — Я сама сделаю пастэ, поджарю мясо.

Хагуру, мастерившему в сарае ясли для теленка, очень хочется подойти к Акозе, но в присутствии матери этого сделать нельзя, а пройти мимо, не сказав ни слова любимой, тоже трудно. Поскрипел дверью сарая, но женщины не догадались. Кашлянул.

— Пойду затоплю печь! — всполошилась старая, услышав покашливание.

Хагур подошел к жене:

— Ну, как живешь, моя красивая? С самого утра не видел твоего лица. Соскучился!

— Увидят нас... — засмущалась Акоза, не переставая стирать. Но ей было так приятно, что муж подошел к ней, она не удержалась и бросила на него украдкой нежный взгляд.

Взгляд красивых, немного усталых глаз Акозы так взволновал Хагура, что он с трудом подавил желание обнять ее и покрыть поцелуями выбившиеся пряди волос, лицо, руки в мыльной пене. Жена поняла его порыв, но, оглянувшись по сторонам, ласково проговорила:

— Иди, Мос, у меня еще много работы...

В этот же день Хагур встретился с Тхахохом. Тхахох сам пришел, хотя старался раньше этого не делать. Поздоровались они приветливо, радостно.

— Как идут у тебя дела? — спросил Тхахох.

— Милостью аллаха,— ответил Хагур, гадая, зачем пришел этот редкий и такой дорогой гость.

— Рад за тебя,— видимо, Тхахох не знал, как начать разговор, и тянул время.

— Дай бог и мне порадоваться когда-нибудь за тебя, Тхахох,— серьезно сказал Хагур. — Как я хочу, чтобы у тебя была семья, свой дом. Ты достоин самой лучшей девушки на земле адыгов. И не только я так думаю, то же самое говорит и Акоза.

Услышав имя Акозы, Тхахох изменился в лице, пальцы его задрожали, рассыпая табак. До сих пор его сердце не покинула печаль, которая поселилась в нем, когда Тхахох узнал, что Акоза любит не его, а другого и будет не его женой, а женой лучшего друга. Но, любя Акозу, он оставался другом Хагура. Не может мужская дружба разрушиться из-за женщины.

— Будет и у меня свое счастье! — успокоил он друга, понимая, что Хагуру неловко перед ним, хотя он и ни в чем не виноват. — Но не за этим я пришел к тебе. Тфокотлям Шеретлуковых житья не стало. А Бороко, как собака, охраняет добро хозяина и лает на бедняков, будто они разбойники и воры.

При имени старшего брата Хагур поморщился, как от боли. Почувствовал, как кровь застучала в висках. «Несчастье на нашу голову: Бороко обижает тфокотлей! Весь аул говорит об этом. А я ничего не могу сделать»,— подумал он. Хагур до сих пор не заговаривает о том золоте, что дал Бороко для матери и Тхахоха. Он никому ничего не отдал, забрал себе и затаился. Но у вора над шапкой дым вьется, потому он и скрывается от Хагура, не показывается на глаза, чего-то выжидает. Хагуру противно заговаривать о золоте, он все надеется, что у Бороко проснется совесть. Но, видно, надежда эта никогда не сбудется. От стыда за старшего брата Хагур хотел уехать подальше. Но ему жаль мать, братьев. Не может он думать только о себе, это было бы нечестно.

— Валлахи, Тхахох! Не знаю, что и сказать тебе,— очнулся Хагур от тяжелых дум. — Устал я, надоело мне биться в одиночку, никакой пользы от этого нет. Может, попросить Анзаура поговорить с ним, другого выхода я не вижу.

— Они одним миром мазаны,— невесело усмехнулся Тхахох.

— Пусть так, но Анзаур — эффенди, он служит богу.

— Он служит в первую очередь Шеретлуковым, и ты это знаешь не хуже меня. Правильно говорит тфокотль Арсей, что лучше не жить на такой земле, где живут эти двое. Надо искать другой выход, поэтому я и пришел к тебе, Хагур.

IV

Хороший выдался день: не жарко и не холодно. Солнце льет на Бастук мягкий свет, ветра нет, поэтому листья лениво опускаются на землю, укрывая ее пестрым ковром. Мальчишки играют в бабки. Может показаться, что кроме мальчишек в ауле никого нет.

Анзаур не выдержал, вышел за ворота, посмотрел на доро-

гу, ведущую в Бжедугию. С той стороны не видно ни пеших, ни конных, ни воловьей упряжки. Видно, обманули Анзаура те, кто обещал ему приехать в Бастук, кого он так нетерпеливо ждал. Бросив взгляд на играющих на берегу реки мальчишек, Анзаур увидел Натара. Среди ребятишек не было его ровесников, голова паренька торчала над этой малышней.

Анзауру не понравилось поведение сына. Сколько раз он говорил ему, как надо себя вести. Не слушает его сын. Будто напрасно проучился все эти годы в Крыму, не стал умнее. Анзаур с неудовольствием вспомнил, как он увидел в руках Натара испачканные листки. Надо признать, что написано было складно и даже красиво, но почему он прибегнул к адыгскому языку, ведь его научили арабскому, он может читать коран? К счастью, никто из тфокотлей не узнал об этом, а то пошли бы слухи, которые приносят бесславие, а не славу. И без того тфокотль Арсей с друзьями просят бога ниспослать беду на того, кто вынудил их силой принять ислам. Анзаур никого не вынуждал силой, аллах свидетель! Но разговоры не умолкают. А теперь и сын внушает беспокойство. Нет, нечего ждать, надо везти его в Стамбул, подальше от друзей, они не доведут до добра.

Анзаур пошел через огород, держась края, чтобы увести Натара от мальчишек, пока никто из взрослых его не увидел. Но по дороге раздумал. «Почему это я должен все время ругать Натара, запрещать ему желать то или другое, а мать только гладит его по головке да шепчет ласковые слова? Мать для него стала ближе, на отца он и смотреть не хочет, убегает, как только я войду в комнату. Пойду скажу Мерем, чтобы она позвала сына и запретила ему впредь водиться с детьми тфокотлей».

Только повернулся Анзаур, чтобы уйти, как из-за плетня вынырнул тфокотль Ханан. Эффенди был застигнут врасплох, иначе постарался бы избегнуть неприятной встречи.

— Салам алейкум, эффенди! — приветствовал его Ханан.

— Добро пожаловать, гость,— криво улыбнулся Анзаур.— Проходи в дом, если не сильно торопишься...

— Куда торопиться, все равно умрешь в положенное время,— ответил хитрый Ханан. — Но я смотрю, ты занят каким-то делом, все время выбегаешь на дорогу, ждешь кого-то. Может, я помешал тебе?

— Кто может помешать богоугодному делу? — возразил Анзаур. — Жду я людей из Бжедугии, за которыми посылал гонца. Они должны прибыть в наш аул, чтобы я совершил обрезание, как велит коран. Каждый мужчина мусульманской веры должен подвергнуться обрезанию. Я уже сообщил об этом тфокотлям, и они обещали привести своих сыновей.

— Твой сын, играющий с мальчишками в бабки, тоже ждет обрезания?

— Слава аллаху, я позаботился об этом, когда он был совсем маленьким. — Анзауру не понравился намек гостя, и он решил защитить Натара. — Пусть забавляется, пока молод. Что может быть слаще молодости? Он не успел доиграть свое, я послал его учиться. Вместо того чтоб забавляться, как его сверстники, он сидел за книгой. Так можно превратиться в старика.

— Дай бог ему здоровья,— кивнул в сторону Натара Ханан. — Я тоже был бы не против, если бы мой сын совмещал в себе силу молодости и зрелость мудреца, но у меня нет сына. Моя старуха вовремя не родила, а теперь об этом поздно говорить. Не подумай, что я осуждаю твоего сына. Я слышал о нем много хорошего. Когда о сыне говорят больше, чем об отце, это похвала и отцу.

Сердце Анзаура смягчилось от этих слов. Он снова пригласил Ханана в дом, теперь уже более приветливым голосом, но Ханан, сославшись на дела, отказался: пропал за поворотом, будто его и не было.

Анзаур крикнул жене, чтобы вышла к нему:

— Иди, женщина, позови домой сына. Негоже ему бегать с босоногими мальчишками. Если бы слышал, как о нем отзываются люди, вел бы себя достойнее. Похвалу нужно не только заслужить, но и упрочить.

— Натар! — позвала Мерем сына, ничего не ответив мужу. — Поди-ка сюда. Ты нужен отцу.

Томясь беспокойством, Анзаур пошел в мечеть, хотя совершать обеденный намаз было еще рано. Сняв обувь и ступив на козлиную шкуру, он замер, шепча молитвы, и не заметил, сколько прошло времени. В дверях неожиданно появились те, кого он с нетерпением ждал все утро.

Один из прибывших был очень высокий, тяжелый и, по всему видно, сильный человек. Другой едва доставал ему до пояса.

Мальчишки, услышав о приезде всадников, вмиг спрятались, будто их ветром сдуло. Они уже знали, зачем прибыли эти люди. В ауле наступила тишина, все притаились, словно в ожидании беды.

«Глупые люди,— подумал Анзаур,— никто не собирается делать им ничего плохого, наоборот».

Спустя некоторое время аул огласил отчаянный детский плач.

Не так уж часто собирались вместе все девять братьев. Занятые делами, они еще с утра разбредались кто куда, а вечером расходились к друзьям. Те из них, кто был женат, спешили к своему очагу.

Но сегодня они собрались все в комнате Ляшины. Не хватало только Бороко.

V

— Сбегай, сынок,— обратилась Ляшина к самому младшему,— позови старшего брата. На беду мы построили ему дом далеко от нас. Почему я не послушалась Ханана? Ведь он говорил: Ляшина, стройте дом для Бороко рядом, вон у вас какой большой огород. Пусть сыны живут рядом с тобою, так вы будете дружнее. Не послушала я его, а теперь жалею. Загнали мы Бороко на самый край аула, живет он там без материнского глаза, вот и делает всякие глупости.

— Родственники хороши, когда они в отдалении,— заметил Лак, не смевший сесть в присутствии старших братьев.

— Тоже мне умник! Помолчал бы лучше! Знаю-знаю, тоже не дождешься, когда уйдешь от матери и братьев подальше. Но не надейся, ничего у тебя не выйдет! Хватит, натерпелась из-за Бороко. У каждого из вас будет свой котел, но жить надо в одном дворе. Такова моя воля. Если ослушаетесь, я вам не мать, а вы мне не сыновья. Каким хорошим парнем рос Бороко, как он вас любил, а теперь вот уже сколько недель мы не видим его. Что он делает, какими тропами ходит?

— Обивает порог Шеретлуковых,— проворчал Черим.

— Не только обивает, но и спит у их порога, как сторожевой пес,— поддержал его Сабех.

— И что вы придираетесь к нему? — вспылил Хабеч. — Оставьте его в покое, он же самый старший из нас. Что скажут люди, если услышат, как мы поносим его? Позор не ему, а всем нам!

Ляшине понравились эти слова:

— Молодец, сын мой, верно сказал! Не надо задевать Бороко попусту. Не ссорьтесь между собой, вас еще успеют поссорить злые люди. Конечно, не всегда он поступает так, как бы нам хотелось. Это в нем просыпается характер моего покойного дяди. Но ничего, ничего, говорят же: корова не забодает своего теленка. Есть и у Бороко родственные чувства. Он — мой сын и ваш старший брат. А какие-то мелочи надо по-родственному прощать, иначе между вами не будет мира. А если так, разве сможете вы жить в мире с чужими людьми?

— Ты говоришь, тян, мелочи! — вмешался молчавший все это время Накар. — Разве это мелочи, если он стал злым дворовым псом Шеретлуковых? Из-за него на нас косятся тфокотли Бастука, будто это мы кричим на них и защищаем всякую кривду Шеретлуковых. Он стал даже замахиваться на тфокотлей плеткой!

— Ладно, Накар, ладно. Не распаляйся. И прошу тебя, меньше слушай разные аульские сплетни. Бороко находится на службе и все должен делать добросовестно.

— Значит,— продолжал Накар,— добросовестно бить таких же тфокотлей, как и мы, сдирать с них шкуру?..

Ляшина замахала руками, закрыла глаза, попросила:

— Я ведь и его родила, и за него болит у меня сердце...

Хагур внимательно слушал и братьев и мать. И он хотел сказать свое слово о старшем брате, но его удержали последние слова матери. Он почувствовал в них боль. Должно быть, боль эта неизбывная. И понять, испытать ее может только мать. И еще: ведь, защищая Бороко, она не знает и половины того, что о нем знают младшие братья, он, Хагур. И самое страшное не то, что Бороко дворовый пес Шеретлуковых. Самое страшное в нем жадность, которая родила бесстыдство по отношению к Тхахоху и родной матери. Она бьется изо всех сил, чтобы прокормить, обуть-одеть его родных братьев, а он зажал в кулак золото и дрожит над ним. Золото, доставшееся ему без всякого труда. Если уж с матерью он так подл, то что для него несчастные тфокотли, чужие люди? Да он любого из них живьем в землю закопает, дай только ему денег...

...Вошел Бороко.

Огромный, он заполнил всю небольшую комнату.

Братья встали.

Хагур уступил ему почетное место старшего.

— Садитесь,— махнул рукой Бороко, и все расселись, как полагалось, по возрасту. Он боялся, что Хагур затеет разговор о золоте, поэтому внутренне готовился к отпору. Напускал на себя важность, хмурился. Как-то снисходительно улыбнулся: — Валлахи, тян, посмотри, сколько нас, больше, чем гостей в кунацкой у Шеретлуковых.

Матери не понравилось, что Бороко, придя наконец в ее дом, опять начал разговор о Шеретлуковых. И она подумала: «Похоже, ты и в самом деле превратился в тень Шеретлукова. Не успел присесть в родительском доме, а уже заводишь о них разговор. Эх, сынок, сынок, дались тебе эти Шеретлуковы, ты им нужен как холуй, а братья — это на всю жизнь, это кровь твоих матери и отца, это твоя кровь. Я защищаю тебя от их гнева, а если не сумею защитить?..» Она через силу улыбнулась:

— Да-да, сын, большая и добрая у нас семья. Как порадовался бы отец, увидев вас сейчас такими взрослыми. Ох, время-времечко... Соскучились по тебе братья, вот и позвали. И невестка наша Акоза приготовила для тебя дженчщипс[1]. Уж так старалась, уж так ей хотелось угодить нашему старшему!

— Дженчщипс, говоришь? А я так проголодался... Сидел в кунацкой Шеретлуковых, думал, принесут анэ с едой, но пришлось только облизнуться. Даже понюхать ничего не дали. Макай тоже был голоден, и тоже ждал еду... Валлахи, какой

[1] Дженчщипс — соус из фасоли.

он дрянной человек, этот Макай. Привез для Шеретлуковых девчонку лет тринадцати. Не сказал откуда, но я думаю, из Кабарды. Какой безжалостный человек! Наверно, опять разлучил несчастное дитя с родителями!..

Открылась дверь, и Акоза подала анэ с едой — войти в комнату, где находились свекровь и муж, она, по обычаю, не могла.

— А-а, сын мой,— сказала Ляшина. — Не водись, пожалуйста, с этим негодяем. Никто от него добра не видел и не увидит. Правду говорят в народе: дружить с подлым человеком — все равно что сидеть в саже.

Зачерпывая соус самшитовой ложкой, Бороко ответил:

— Что ты, тян? Упаси аллах водиться с таким бессовестным человеком! Но он давно добивается моей дружбы. Говорит, я напоминаю ему Мамруко — и силой и норовом.

— Боже милостивый! — испуганно воскликнула Ляшина. — Держись от него подальше, заклинаю тебя!

Хагур мрачно посмотрел на старшего брата. В нем закипел гнев, но, сдерживая себя, он спросил:

— Он до сих пор вспоминает Мамруко?

— Оплакивает его, говорит, что Дзепш поступил не законно, что жалко Мамруко.

— А свою голову не оплакивает? Мне кажется, если Макай и дальше будет вести себя так же, как Мамруко, ему башку отсекут и руки пообрубят.

— Не заметил я, чтобы Макай горевал по этому поводу. Он не только алчный, но и сильный,— с кривой усмешкой проговорил Бороко.

— На силу находится бо́льшая сила, а на подлость — справедливость. Пусть знает это!

— Не собираешься ли ты...

— Пусть не я, найдутся другие! — жестко ответил Хагур.

Бороко насторожился. Долго ел молча, смачно чавкая, потом наконец спросил, не поднимая глаз:

— Кто найдется? Может, ты знаешь?

Мать почуяла недоброе в разговоре братьев и решила вмешаться:

— Не надо нам, дети мои, ввязываться в дела уорков, со своими бы управиться. В кои веки собрались все вместе и не можем посидеть по-родственному, порадоваться друг другу... Не наполняйте сердца злом, старайтесь быть добрыми к людям, тогда и они ответят вам тем же. Если бы отец ваш, царство ему небесное, слушался меня и не враждовал с родовитыми, радовался бы сейчас жизни и не сделал бы нас сиротами.

Бороко отодвинул анэ:

— Отец был один, тян, а нас — девять. И мы вовсе не сироты. Если у нас в руках по кинжалу, это уже девять кинжалов, и каждый обоюдоострый,— хватит на всех врагов наших, лишь бы мы были дружны между собою.

Братья продолжали беседу теперь уже мирно, даже молчаливый Хабеч присоединился к ним. Для матери этот вечер был одним из самых счастливых. Она, сложив руки на животе, смотрела на сыновей, и тихая, глубокая радость наполняла ее сердце. Она вспоминала молодость, отца этих богатырей, ею рожденных и выращенных. Казалось, не было у нее горьких дней, не было черных бед...

Бороко собрался уходить.

Встали и братья.

Хагур с Бороко вышли на улицу. До ворот шли молча. Бороко облегченно вздыхал, радовался про себя, что все обошлось. Хагур вдруг остановился, посмотрел на чистое небо, на большую полную луну и сказал:

— Небо обещает добрую погоду...

— Да, славный завтра будет день...

— Все хочу спросить у тебя, сшинахиж[1], где золото и деньги, которые я дал для матери и Тхахоха? Ты сделал, как я просил?

Бороко прикинулся огорченным. Он старался говорить как можно печальнее:

— Сшинахич[2], видно, правду говорят: бесчестно добытое как пришло, так и ушло... Все, что ты дал, я надежно спрятал в сарае, но какой-то лихоимец подследил и выкрал. Как я горевал, как горевал! Но потом утешился: на все воля аллаха, он избавил меня... от чужого золота. Я помолился в мечети за себя и за тебя. Да хранит нас аллах! Хотел сначала искать злодея, рассказать людям, но что скажешь? Лучше молчать... А ты не говорил матери об этом злосчастном золоте?

— Мать ничего не знает.

— Вот и хорошо... Думаю, ты и так должен быть благодарен аллаху: с помощью этого золота ты вернул Акозу, и теперь вы вместе. Есть правда на земле, младший брат, и будем радоваться этому.

Хагур промолчал...

VI

— Сын мой, я не ожидал от тебя такого.

— Ты считаешь, я поступил плохо?

— Почему ты спрятал мальчишек от обрезания?

— Я ходил в лес, в горы, они и увязались за мной.

— Ты говоришь неправду. По-твоему, хорошо обманывать отца? Я ведь умею различать искренность и лукавство.

Натар опустил голову. Ему не хотелось говорить сейчас с

---

[1] Сшинахиж — старший брат.
[2] Сшинахич — младший брат.

отцом. Он боялся этого разговора. Натар никогда не видел отца таким рассерженным; голоса не повышает, но глаза его красноречивее слов.

«Почему отец затеял этот разговор? Разве может младший говорить на равных со старшим? Все слова мои будут напрасными, уйдут в пустоту! —думал Натар. — Я нигде не видел такого эффенди, как мой отец. Мне стыдно за него. Он должен проповедовать в мечети доброту, справедливость, любовь к родной земле, а не приглашать из далекой Бжедугии мясников и силой заставлять людей подчиняться какому-то дикому обычаю. У нас хватает своей боли, своего горя. Почему ты, отец, ни разу не сказал о Шеретлуковых то, чего они заслуживают? Почему именем бога не призвал Дарихат к ответу за все ее злые дела? Поощряешь ее, угодничаешь перед ней. Разве я не вижу? Ты гневаешься на меня, но твои дела вызывают в душе такую горечь...»

— Отец, не обижайся на меня, но я не могу понять, кому ты служишь своим божьим словом? — заговорил Натар.

— Как это кому служу? — не понял Анзаур. — Что ты хочешь этим сказать?

— Я спросил...

— Служу, гм... адыгам,— несколько растерялся эффенди. — Служу тфокотлям, всем, кто живет в Бастуке...

— А мне показалось,— твердо возразил юноша,— что Дарихат, Али-Султану, торговцу Хасан-Мураду и таким, как они.

— Сын мой, почему ты так говоришь? — Анзаур был обескуражен. — Я день и ночь думаю о моих бедных братьях и молюсь за них.

— Что же не доходят до бога твои молитвы? — гневно продолжал Натар. — Они все беднеют, а Дарихат все тучнеет, ходит по двору, как хорошо откормленная свинья. Может, ты не тому богу молишься?

— Валлахи, что я слышу! — вскричал Анзаур. — Сейчас же покайся в своих словах, пока аллах не покарал тебя на месте! Разве он станет терпеть такое богохульство? Давай совершим омовение и предстанем перед ликом аллаха, чтобы умилостивить его. На колени!

— Отец, отец! Разве я говорю о боге? Я говорю о тебе. Не пугай меня аллахом, я не маленький и ничего дурного не сказал, ему не за что меня наказывать. Если только за непочтение к тебе, за это ты меня прости.

Анзаур обрадовался повороту разговора, сын вспомнил наконец, что он разговаривает со старшим, и попросил прощения за свои необузданные речи. Но вида не подал, решил закрепить за собой победу:

— Как я покажусь людям, если сын словно тупой саблей отрубил мне голову? Остается только раздать свое имущество, оставить жену и бежать от позора на край света,— Анзаур взглянул на сына, ждал, как он отнесется к его словам.

Натар смотрел на него спокойным и усталым взглядом, будто это он старший, а отец — младший.

«Выучил на свою голову,— встревожился Анзаур. — Надо быть с ним осторожнее».

— Да продлит аллах твои дни! Разве я желаю зла собственному сыну? Натар, ты ведешь себя неразумно, сочиняешь какие-то странные стихи и записываешь их не благородным языком корана, а языком адыгов. Полбеды, если бы никто не узнал об этом, но ты был так неосмотрителен, что показал свои песни другим, а те стали повторять их, как попугаи. Над тобой смеются, тебя осуждают, и твой позор пал на меня. Вот что я хотел сказать тебе.

У Натара горло перехватило от волнения. Не может быть, чтобы над ним смеялись! Те, кому он читал свои стихи, хвалили его, говорили, что сам аллах вложил в его уста эти строки. А что он пишет на родном языке, это не грех. Зачем же писать на арабском, если арабского языка не понимает ни один человек в ауле, кроме Натара?

— Стихи, сочиненные на родном языке, подсказаны мне сердцем,— с дрожью в голосе ответил Натар отцу. — Я не знаю, кто смеется надо мной, я... — Он не договорил, слезы навернулись на глаза, и, чтобы не выдать себя, юноша круто развернулся и выбежал из комнаты. Отец задел его самое больное место.

Анзаур остался один. Он чувствовал, что случилось непоправимое: сын еще больше отдалился от него, гораздо больше, чем в то время, когда учился в Крыму, вдали от родного дома.

Отец и сын несколько дней косо поглядывали друг на друга. Только перебрасывались скупыми фразами о домашних делах. Анзаур ждал, что Натар все-таки заговорит, признает свою вину, согласится, что он непочтителен по отношению к аллаху и к отцу.

Так и не дождавшись этого, Анзаур уехал в Натухай.

Мерем знала о размолвке отца с сыном и переживала за них. Конечно, она не должна вмешиваться в дела мужчин, но разве мать может быть спокойна, если в доме разлад, если отец и сын становятся чужими друг другу? «Да, мужчина носит шапку, он наш повелитель, однако чего он сто́ит без женщины? Мужчина — хозяин, мужчина — добытчик, но душа-то дома все-таки женщина. От нее все тепло. Она скрепляет всю семью воедино. Без нас бы мужчины давным-давно перессорились и бог знает чего натворили на земле. Мы смиряем их гнев и гордыню. Мы делаем их мягче и добрее. Надо обязательно поговорить с Натаром, пока отец в отъезде».

Она истомилась, дожидаясь обеда.

Накормила сына, убрала анэ, но заговорить с Натаром не решалась,— уж очень хорошее было у него настроение. Несколько дней он ходил подавленный, глаз не поднимал, а теперь повеселел, зачем же его расстраивать?

— Вот и осень, а какая погода хорошая стоит,— проговорил Натар, улыбаясь. — Похоже, аллах подобрел к людям и посылает им свою благодать.

— Да, сын, ночью был морозец, на деревьях лежал такой красивый иней, а сейчас солнышко светит. Теплое, ласковое, прямо как весеннее.

— Я заметил, если утром на деревьях пушистый иней, днем обязательно выглянет солнце и принесет на землю тепло... Тян, а тебе никогда не хотелось полетать, как птицы? Не случалось, чтоб сердце просилось в небо?

— Что ты такое говоришь, сынок? Зачем же человеку летать? — испугалась мать. — Аллах создал его человеком, у него столько дел на земле, что летать ему вовсе ни к чему.

— Я не об этом, тян. У тебя никогда не бывало такой легкости в сердце, что боязно ступать по земле: кажется, вот-вот взлетишь?

— А-а, вот ты о чем! Бывает. Не часто, но бывает. Вот у тебя сегодня хорошее настроение, и у меня на сердце легко. Все кажется красивым, будто и забот и неприятностей никаких нет.

— Тогда послушай меня. Вот что я сочинил сегодня утром:

Туда, где реки, горы, лес,
Душа моя стремится,
Где солнце посреди небес
Как золотая птица...

Мать удивилась, всплеснула руками:

— Хорошо-то как! Повтори еще раз.

Натар расцвел, лицо его просветлело. Не без гордости он прочитал стихи еще раз.

— Ох, сын мой, как же это у тебя получилось?

— Не знаю. Само получилось, будто из сердца вылилось.

— И солнце посреди небес как золотая птица,— повторила Мерем в задумчивости.

— Да, как золотая птица. И вечером оно уходит от нас и бывает грустным, потому что покидает землю, людей.

— Вот что значит побывать в Бахчисарае, быть грамотным! Я тоже иногда чувствую красоту земную, а сказать, как ты сказал, не умею... Когда вынимаю из печи румяные, горячие лепешки, они мне кажутся маленькими солнышками. Интересно, что сказал бы отец, если бы услышал эти твои... красивые слова. Он ведь тоже в Крыму был, учился.

Натар грустно вздохнул, удрученно покачал головой:

— Позавчера он за такие же слова очень разгневался на меня. Сказал — это бесовские звуки, не смей заниматься словоблудием.

Мерем испугалась, прижала руки к груди:

— Бесовские, сказал? О-о, нехорошо. Не знаю, сын, как и быть тут. Отец ведь тоже ученый...

На другой день к вечеру вернулся из Натухая Анзаур. У него было дурное настроение. Не успев отряхнуть с себя

дорожную пыль, вынул из кармана дуах[1] и протянул Мерем:

— Возьми это и повесь Натару на шею. Здесь для него молитва.

— Что за молитва?

— Что, что! Тебе какое дело, старуха? Слишком много хочешь знать! Нашего сына стали одолевать бесовские слова и звуки. Дуах исцелит его.

— Разве то, что говорит Натар, это бесовские слова и бесовские звуки? — растерявшись, спросила Мерем.

— Да!

— Тогда и мне нужен такой дуах,— упавшим голосом проговорила Мерем.

У Анзаура глаза полезли на лоб:

— Тебе?!

— Да, ведь парня родила я.

— Он не только твой, но и мой сын. Прежде всего мой!

Мерем совсем упала духом:

— Тогда закажи еще два дуаха...

VII

Прошли первые осенние дожди, тихие и теплые. Они несли с собой грусть по ушедшему лету и остаток тепла знойных дней. Потом снова выглянуло солнце, словно приглашая пахарей в поле, обещая им хорошую погоду. Говорят: летний день год кормит, но и ранней осенью не слишком прохлаждайся, не зевай, вовремя положи зерно в согретую летом и политую первыми осенними дождями землю. Тогда пашня даст силу озимым хлебам и покорно затихнет под снегом, под знобкими ветрами, уснет до самой весны.

Стоял погожий день, тфокотли торопились вспахать землю и засеять ее озимой пшеницей и ячменем.

Выехал в поле на паре волов и Тхахох.

Работалось легко и весело, из-под сохи тянулись ровные пласты синевато-черной земли. Кружили над головой стаи горластых грачей, они кормились на пашне выползками, лакомились на опушках лесной ягодой.

Хорошо работалось Тхахоху, но старые мысли не давали ему покоя, как упрямый конь, возвращались на старую наезженную тропу. Избитая тропа, в рытвинах, но уйти с нее невозможно.

Когда Хагур женился на Акозе, Тхахох вроде успокоился, но ненадолго. Опять стал думать об Акозе. Почему он не погнался тогда за Мамруко, не поехал в Турцию, как это сделал Хагур? Если бы поехал, если бы нашел ее там, была бы теперь она его женою и родила бы ему девочку... Так нет, не кинулся за Мамруко, встретил в лесу Наго и... Ну, убил его, взял тяжкий грех на душу, а что толку? Вместо него стал хозяином Али-Султан. Он еще хуже отца, к тому же делает все так, как

[1] Дуах — талисман.

велит Дарихат, сумасбродная и жестокая баба. «Видно, такая у меня судьба, видно, я из тех, о ком говорят: хотел многое ухватить, да последнее утерял, хотел умыться, да еще хуже измазался. Вот и остался одиноким, никому не нужным. Бедная мать ждет не дождется невестку в дом, внука на руки. Ребята помоложе меня и те давно женаты, детьми обзавелись. Вон какую злую шутку сыграла жизнь с Тамбиром и Цицарой, но и они счастливы. Мишка Некрас, пришелец, и тот нашел невесту, собирается жениться. Один я как репейник среди вспаханного поля. Хоть и уберегся от сохи, а что ему от этого — стоит на ветру одинешенек».

Далеко в Абадзехии горы уже оделись в белые снега и высятся в небе неприступно и гордо. Метут там теперь метели, спит в берлоге медведь. Вот и Тхахоху впору найти где-нибудь в стороне берлогу да и забыться, не мозолить людям глаза.

Свалив набок соху, Тхахох решил дать волам передышку, набил трубку, задымил...

Первое время после свадьбы Хагура он ходил к нему в дом, и все было хорошо, а потом опять стала донимать сердечная боль. Увидит Акозу, увидит улыбку доброй приветливой хозяйки, и хоть волком вой от тоски. Знал, грешно засматриваться на чужую жену, а вдвойне грешно, если эта женщина — жена друга.

Войдет Тхахох в дом, кинется к нему навстречу сынишка Хагура, обовьет горячими ручонками за шею, засмеется — тут и вовсе хоть плачь. И он стал все реже и реже ходить к Хагуру, боялся, что он заметит его боль. Другие заметят — тогда позор падет на его бедную голову. Реже стал ходить и в кунацкую. Люди начали поговаривать: «Мол, неладное что-то творится с Тхахохом, будто прячется ото всех». Первым конечно же забеспокоился Хагур.

Однажды, когда Акоза приготовила вареники со свежим творогом, сбила масло, поставила на стол сметану, Хагур послал за Тхахохом.

Ждали его, ждали, а он все не идет. Тогда Хагур сам пошел за ним. Однако дома его не оказалось, у соседей в кунацких — тоже. Вернулся Хагур, без аппетита поел, задумался.

Тхахох тем временем поил на речке лошадей. Знал, что его искал Хагур. Но зачем идти? Чтобы еще больше растравлять сердце? Надо уехать из Бастука, так всем будет лучше. Уедет он в Натухай к Устоку или к Дзепшу в Темиргойю. Ужился же Тамбир в Абадзехии, нашел там счастье!

Вечером после намаза, когда Тхахох направлялся домой, его окликнули Хагур и Арсей:

— Что ты бегаешь от нас, будто волк от охотников? Куда направляешься?

— Домой,— буркнул Тхахох.

— Бежишь домой, будто у тебя там куча ребятишек и все ждут не дождутся, когда ты вернешься к ним,— пошутил Арсей.

— Я не бегаю... и никуда не тороплюсь,— смутился Тхахох и замедлил шаг.

— Как же не торопишься? — сердито заметил Хагур. — Мы еще чувяки не успели надеть после молитвы, а тебя уже как ветром сдуло.

— Я хотел совсем уйти, чтобы не встречаться с вами,— не поднимая глаз, проговорил Тхахох. — Виноват...

— Если виноват — кайся! Будешь делать, что мы тебе скажем.

— Если смогу, Арсей.

— Добро! Тогда отвечай: кто из девушек Бастука тебе по сердцу?

Тхахох вздрогнул. Как можно об этом говорить вслух?

Арсей понял его:

— Кроме нас здесь никого нет, а мы — твои друзья, так что говори. Не век же тебе ходить холостым? Еще, чего доброго, останешься бобылем. Говори, кто люб твоему сердцу? — мягко, но настойчиво требовал Арсей.

— Я не могу... — взмолился Тхахох, чувствуя, что друзья не отстанут от него, что они будто прижали его к каменистому обрыву и не отпустят так просто. — Нельзя... Я об этом еще не думал... почти не думал. Дайте мне денек-другой, и тогда я скажу вам...

— Денек-другой, говоришь? Дадим ему два дня, Арсей? — спросил Хагур.

— Два дня. И не больше! — согласился Арсей. — На третий пойдем свататься... Не сердись на нас, Тхахох, но мы не можем больше видеть тебя одиноким. Чего доброго, девушки подумают о тебе плохо...

Настал третий день. После вечернего намаза, сгорая от радости и стыда, Тхахох сказал друзьям, отведя их от мечети:

— Хорошая дочь выросла у тфокотля Мышевоста. Таужан!..

— Таужан?.. — обрадовался Хагур. — Я тоже о ней думал. Славная девушка. И скромная, и рукодельница, и хороша собой, так, Арсей?

— Хитрый ты парень, оказывается, Тхахох,— пошутил Арсей. — Прикидывался: не знаю, не думал, а присмотрел самую достойную девушку Бастука. Нелегко будет ее сосватать, но мы с Хагуром на твоей стороне. А такие парни, как мы, не только Таужан могут уговорить, а кого хочешь! Сейчас же идем в дом Мышевоста!

— Зачем же так сразу? — оробел Тхахох. — Может, сначала все хорошенько обдумаем?

— Там и обдумаем и обговорим,— сказал Хагур. — Не робей, Тхахох! Зачем женщине робкий мужчина, если у нее самой робости хоть отбавляй? Тем более такая девушка! Знаешь, сколько парней на нее заглядывается?

В доме Мышевоста их встретили радушно, однако пришлось посидеть довольно долго, пока младший брат привел к гостям

сестру. А Тхахоха стали мучить сомнения: правильно ли он поступил, сватаясь к Таужан? Ведь не уходит из сердца Акоза, не дает ему покоя. А вдруг он не сможет полюбить Таужан, значит, обидит ее, оскорбит...

Вошла Таужан. Красивая, стройная, приветливая. Тхахох поднялся ей навстречу, и сомнение его усилилось, острая боль пронзила сердце. Уже не за себя — за эту девушку, за ее красоту и чистоту. Разве можно ее оскорбить?.. Что делать? Акозу не вернешь. Нельзя вчерашний день сделать сегодняшним.

VIII

Слушая, как пела в своей комнате Дарихат, служанки смеялись, потому что хозяйка своим сильным, но неприятным голосом выделывала бог знает что. Она выдергивала обрывки из разных песен и плела из них на один мотив что-то бессмысленное. Да и пела-то она редко, вот служанки и думали: к добру или к худу распелась Дарихат? Пустой ли гром грянет после этого пения, или ужалит змеей ядовитой молния?

Дарихат сидела у окна с вышивкой на коленях, ловко работая иглой... Моток золотых ниток выскользнул у нее из рук и закатился за печной пристенок.

Дарихат рассердилась, перестала петь и позвала Мамирхан:

— Нысэ[1], подай мне нитки! Я так хорошо уселась, что не хочется вставать. И эту бесленеевскую болтушку не хочу звать. Новая моя служанка оказалась такой сорокой, что просто невыносимо: я слово, она в ответ — десять. Я ее и ремнем стегала, и подзатыльники давала — ничего не помогает. Похоже, привез ее Макай мне на горе, сведет она меня в могилу. Только трещит и трещит, а делать ничегошеньки не умеет. А лентяйка, каких свет не видел!.. А ты, моя дорогая невестушка, что там делаешь?

— Хотела погладить, гуаще[2].

— Как погладить?! Где эта вертихвостка, где она болтается, пришиби ее аллах! Почему ты, моя ласковая, моя бедная, занимаешься черной работой, когда у нас полный дом дармоедок? И к котлам не подходи, а то вся провоняешь дымом, это будет неприятно Али-Султану. Бери плетку и заставляй работать наших бездельниц. Будь построже с ними, а то на голову сядут... Мы рождены, чтобы наслаждаться жизнью, потому что мы родовитые... Эй, болтушка, вертихвостка, иди сюда! Чтоб ты провалилась сквозь землю к шайтанам на сковородку! — кричала она на служанку.

Наконец вошла Ляца. Ей было лет четырнадцать, но она была не по годам высокой, тонкой и гибкой, как деревце. Глаза у нее большие, дерзкие. Смелые, вразлет тонкие брови.

— Ты звала меня? Я пришла.

---

[1] Нысэ — невестка.

[2] Гуаще — свекровь, дословно — княгиня.

— Ты что, собачью ногу проглотила, носишься, как гончий пес? Где ты ходишь, бессовестная, с самого утра?

— Ты же сама меня посылала к Хагуровым, вот я и ходила. А собачью ногу я и не думала глотать...

— Сколько тебе говорить, чтобы ты не болтала, когда я с тобой говорю!

Ляца не смутилась, смело глядя в глаза хозяйки, сказала:

— Отец с матерью и все мои родственники зовут меня по имени, Ляца. Я хочу, чтобы и ты меня так называла. Я не простая мужичка, я из уорков. Мои родственники обязательно найдут меня. Думаю, что ты должна обращаться со мною поласковее... Скажи, зачем я тебе понадобилась?

— Убирайся вон с моих глаз! И не смей со мною разговаривать по-бесленеевски... Будь ты хоть из князей, но ты моя служанка, я за тебя платила деньги! Иди и сейчас же нагрей утюг.

Ляца ушла. Выходила она с достоинством, не торопясь.

Дарихат фыркнула ей вслед. Потом они долго сидели с Мамирхан молча. Дарихат вдруг стало неловко, словно она перешагнула некую грань, которую нельзя перешагивать...

Ляца и в самом деле была из уорков. Макай выкрал ее и продал Шеретлуковым, ничего не сказав о ее родителях и родственниках. Потом Ляца сама рассказала, где она родилась, в чьей семье, кто ее родственники, сколько у нее братьев. Рассказала об этом не только Шеретлуковым, но и всем дворовым, а через них узнал и весь аул.

— Как плохо поступил с нами Макай! — после долгого молчания заговорила Дарихат. — Зачем нам уоркская дочь? Рано или поздно ее все равно разыщут родственники. Что нам тогда делать? Деньги, которые мы отдали Макаю, не вернешь. Может, отвезти ее на побережье и там продать, пока не поздно?.. Нет, подожду. Очень может быть, что девчонка так хитра и смышленна, что выдумала все.

— Выдумать она могла, но держаться с таким достоинством простая мужичка вряд ли бы смогла.

Дарихат рассердилась на невестку, недовольно посмотрела на нее:

— Рассказывай!.. Я знаю дочек родовитых и князей таких невоспитанных, таких грубых — хуже мужичек! А иную из тфокотлей хоть в лучшую компанию сажай, и никто не отличит ее от богатой, хорошо воспитанной девушки... Если бы я знала, что Ляца действительно дочь уорка, сама отвезла бы ее с почетом к родителям, потому что мы должны оберегать честь уорков и князей, как и они честь родовитых... Кстати, ты знаешь Акозу? Как она держится, какая она приятная — ни дать ни взять княжеская дочь. Повезло этому мерзавцу Хагуру, какую женушку себе отхватил...

Мамирхан стало обидно, что свекровь так расхваливала Акозу. Получалось, что Мамирхан хуже нее. «Ну и женила бы

Али-Султана на ней. Как ты меня измучила! И сижу я не так, и волосы тебе плохо расчесываю. Зачем же ты тогда так добивалась моего согласия, чтобы я вышла замуж за твоего сына?» — подумала Мамирхан. Но ведь этого свекрови не скажешь. И она похвалила Акозу:

— В девичестве Акоза была симпатичной, а какая стала теперь? Не обабилась, как часто бывает с другими? Не успеют год-другой с мужем пожить, как тут же превращаются в кочан капусты.

— Нет, что ты! — воскликнула Дарихат. — Она стала еще лучше! У нее появилась настоящая женская стать. — Дарихат хотела добавить, что Акоза не такая, как ты, яловая корова, но сдержалась. — И хозяйка хорошая! Свекровь ею не нахвалится — уж такая она расторопная и уважительная... Ой! — вдруг воскликнула Дарихат. — Я из-за этой болтушки-вертихвостки и забыла, зачем позвала тебя. По всему аулу ходят слухи, что сын нашего эффенди Натар спознался с нечистой силой.

— Что ты говоришь?! — всплеснула руками Мамирхан.

— Говорю, как есть. Рассказывают, Натар ходит в лес и там бормочет разные слова, разговаривает с деревьями, с кустами. Али-Султан видел мальчишку еще до его поездки в Крым — тот сидел на берегу реки и разговаривал не то с речкой, не то сам с собой, а то и с нечистой силой. А в Крыму, рассказывают, он сошелся с татарским шайтаном. Уй, как мне жалко Мерем! Он у нее единственный сын...

— А с каким он бесом сошелся, с черным или белым?

— А кто ж его знает? Говорят, может стать и черным и белым, может прикинуться лисицей или волком, а то и хорошенькой домашней кошкой. Так вот, бес превращается в мышь, пробирается в дом эффенди, залезает на кровать Натара и там превращается в красивейшую девушку.

— О всемилостивейший аллах, спаси и сохрани нас от нечистой силы! Какое несчастье для бедной Мерем.

— Если бы только для одной Мерем. Боюсь, что для всего аула это не кончится добром. А теперь Анзаур хочет послать Натара еще и в Стамбул, но он вроде бы не соглашается.

— Конечно, не хочет, разве шайтан его отпустит, если ему и здесь с ним хорошо? — Мамирхан молитвенно сложила руки на груди.

— Не отступит шайтан, а сам побоится с ним ехать, испугается моря — вдруг не хватит бесовской силы переплыть?

— Да, конечно, — согласилась Мамирхан, — большой воды шайтан испугается, вот и будет держать его в Бастуке.

Дарихат никого не ждала в свой дом. Никого, кроме Али-Султана, который позавчера уехал в Копыл и обещал вернуться сегодня к вечеру. Поэтому, заслышав стук копыт, решила, что сын сдержал обещание. Однако, выглянув, увидела Казд-

жерия — он грузно спустился с коня и протянул повод одному из своих двух тфокотлей.

Сердце Дарихат дрогнуло, щеки заалели. Она ждала Казджерия, сама за ним посылала, но все-таки он появился неожиданно. Вот-вот прибудет Али-Султан. Ах, если бы гость появился двумя или даже одним днем раньше!

Дарихат забегала по комнате, засуетилась. Присела к зеркалу, встала, сама поправила волосы, чтобы не вызывать у служанки подозрений. Не стала менять и платье, лишь одернула его. Платье она, будто знала заранее, надела сегодня праздничное.

— Милая! — ласковым голосом позвала Дарихат невестку. — Как нехорошо получилось, что гость приехал в отсутствие хозяина. Надо позвать кого-нибудь из родственников. Не знаю только, застанем ли кого дома? Ты уж распорядись от моего имени. А я пока пойду к гостю, поприветствую его, чтобы он не обиделся на нас за неучтивость.

— Хорошо,— покорно сказала невестка, удивляясь и ласковому тону, и необычайно возбужденному лицу свекрови.

Услав невестку, Дарихат тотчас пошла к гостю.

— Пусть продлит аллах твои дни, Казджерий! Почему ты так долго не приезжал? Али-Султан должен сегодня возвратиться... Что я скажу ему, когда он застанет тебя в моем доме?

— Он не может вернуться раньше завтрашнего дня, а то и задержится,— возразил Казджерий. — Скорее всего задержится, потому что гостит у твоего брата. Я тоже был приглашен туда в честь приезда Али-Султана, но поехал к тебе... — Здесь Казджерий выразительно посмотрел в глаза Дарихат и покрутил кончики усов.

— Тогда хорошо... — Дарихат оглянулась на дверь и прошептала: — Когда все утихнет, приходи ко мне в полночь. Дверь будет открыта. Только смотри, чтобы тебя никто не заметил, будь осторожен...

IX

Хагур любил поразмышлять на досуге о жизни. Вот и сейчас он был задумчив и углублен в себя. «Дело совсем не в том, что нужно каждый раз подниматься с рассветом, заботиться о семье. Это не тяжко, если ты здоров и не ленив, а усталость снимается одной спокойной ночью,— вздохнул Хагур. — Дело в том, чтобы понять, зачем и кому все это нужно. Кто устроил эту жизнь, почему она именно такая, а не другая?»

Поговорить откровенно Хагуру не с кем. Боится, что его назовут болтуном, ведь он может только задать вопросы, на которые очень трудно или совсем нельзя ответить. Хагур и сам боялся пустых разговоров. Покойный отец учил Хагура выражать мысли скупо, не разбрасывая драгоценные слова. Если человек не ценит своих слов, кому нужны эти безделушки?

А поговорить хочется! Не один же он мается этими вопросами. Но с кем? С эффенди? С Бороко? Хоть он и старший брат, а ничего толком не скажет. Это Хагур давно понял. Каждый думает только о себе, о своих нуждах. А разве это правильно, разве так надо жить? Сердце подсказывает, что такая жизнь недостойна человека.

Еще недавно Анзаур был другом Хагура. Они любили проводить вместе время. Сейчас этого нет: Анзаур сторонится тфокотлей, отгораживается от них, старается дружить с родовитыми. Как только стал эффенди, будто подменили его! Собирает плату за службу, отнимает, если не дают по доброй воле. Обращенные в новую веру платят ему то зерном, то скотом. Амбары его переполнены, с каждым днем увеличивается стадо. Некоторые вместо платы косят ему сено и даже привозят домой, ухаживают за его скотиной, а он все богатеет и богатеет.

«А Бороко, которого стыдятся братья, не так уж и глуп,— размышлял Хагур. — Да, одно время он прислуживал Шеретлуковым, ходил перед ними на задних лапах, как пес, который выпрашивает кость, но сейчас уже не гнет спину, почувствовал себя хозяином. Гнут спину перед ним. У него два батрака, а к ним в придачу двое младших братьев, которые, как он говорит, помогают ему по своей воле. Конечно, он их кормит и одевает, но и работу спрашивает, как с батраков. С нашей помощью отвоевал у леса довольно много земли, дом его — полная чаша, а до сих пор не вернул мне два десятка овец. Не буду же я отнимать их у него силой? Говорит, что бережет их на свадьбу того, кто первый женится из нашей семьи. Может, и так, подождем. Хотя не верится, что Бороко сдержит слово. Таким жадным стал...»

— Какая печаль одолела твое сердце? — неожиданно спросила Акоза. — О чем ты так задумался?

— Ничего, я так,— спохватился Хагур. — Видишь, льет дождь, небо хмурится, солнца нет, а без солнца какая радость. Птицы и те не поют в пасмурную погоду.

— Вот я и гляжу, что ты похож не на бравого сокола, а на мокрого воробья,— пошутила Акоза и тут же испугалась своей шутки. Вдруг Хагур обидится? — Я не хотела тебя обидеть,— она стала оправдываться,— для меня ты всегда ясный сокол, лучше тебя нет никого в мире. Я хотела тебя развеселить.

Хагур улыбнулся.

— Акоза, ты сама как солнышко: только войдешь — сразу на душе светлее. Как я могу на тебя обижаться, я всегда понимаю и люблю добрую шутку. Ну а если я похож на мокрого воробья, не хочешь ли ты меня обогреть, обсушить, а? — И Хагур потянулся обнять Акозу.

— Что ты, Мос? Ведь сейчас день, может кто-нибудь увидеть, прошу тебя, не делай этого! — всерьез испугалась Акоза. — Мне кажется, там кто-то идет,— и Акоза вырвалась из сильных объятий мужа.

— Ну, так кто из нас серый, трусливый воробышек? — лукаво спросил Акозу Хагур.

— Я! — подхватила игру раскрасневшаяся Акоза. — Только воробью нельзя здесь оставаться, он сейчас полетит на кухню клевать крошки.

— Я накормлю его крошками со своей руки, потому что воробей очень мне симпатичен и мне скучно без моей птички.

— Надо готовить обед,— совсем засмущалась Акоза и поспешила к выходу. — Но я вернусь и еще посижу с тобой, если тебе и вправду скучно.

Осенний дождь не унимался. Огонь в очаге разгорался плохо. Акоза вышла из комнаты.

Оставшись один, Хагур вернулся к своим мыслям.

Последнее время из головы не выходит Турция. Он мало что успел увидеть там, но то, что заметил и осмыслил, запало в его сердце. «Почему так получается,— мучался Хагур,— турки — люди, и адыги такие же люди, и у нас, как у них, есть свои богачи, есть и бедняки, и аулы одинаковые? Почему же тогда мы не строим каменных домов? Почему у нас нет такого города, как Стамбул? В Стамбуле строят корабли, базары ломятся от товаров, у входа в дом самого важного князя, главы страны, стоят пушки. А у нас ничего этого нет. Нет главного города, нет главного князя, живем каждый сам по себе и грыземся друг с другом, будто мы не дети одной земли. Каждый хочет казаться самым большим человеком, завидует другому. Если у одного больше скота и больше земли, то другой готов его убить за это. Ведь если бы все адыги объединились и выбрали справедливого князя, чтобы управлял адыгской землей, у нас наступил бы мир и покой».

Акоза вернулась с деревянной миской, доверху наполненной пшеном. Села перебирать зерно.

— Ты что, Акоза, хочешь накормить нас одним пшеном? Видишь, как печь стреляет? Искры летят, обещая гостей...

— У меня есть сушеное мясо, сыр, топленое молоко,— отозвалась Акоза. — Добро пожаловать, добрые гости! Только скажи мне, кого ты ждешь?

— Я жду Тхахоха и боюсь, что он не придет. Стыдно ему будет прийти ко мне и не прийти нельзя — меня обидит. Знаешь, что он натворил?

— Нет! — испугалась Акоза. — А что он такое сделал, что ему стыдно прийти в наш дом?

— Если я тебе начну рассказывать, то снова рассержусь. К какой красивой девушке мы его водили! Не подумай, что насильно. Он сам о ней заговаривал. А теперь ничего не получается, один стыд!

— Наверно, это Таужан? — догадалась Акоза. — Ты прав, она очень красивая, самая красивая девушка в ауле. Но в чем провинился Тхахох?

— А в том, что на второй вечер он уже не пошел к ней, сколько я его ни просил. Зачем он позорит девушку? Как ему не стыдно? Если бы Таужан ему отказала или его посещение было бы ей неприятно, тогда другое дело. Но девушке, по всему видно, он очень нравится. Она готова выйти за него замуж. Что же тогда еще нужно этому легкомысленному человеку? Ведь давно пора жениться!

— Если Тхахох придет к нам, я поговорю с ним,— пообещала Акоза. — Я спрошу у него об этой девушке. Если он вам не сказал, может быть, мне скажет?

— Спроси, Акоза, спроси!— обрадовался Хагур. — Знаешь, если бы он наконец женился, у меня бы тяжесть с плеч свалилась. А то я все думаю, что увел у него девушку, которая ему нравилась, а теперь он из-за меня страдает.

— Не думай так! — быстро проговорила Акоза. — При чем здесь ты, я сама тебя выбрала!

Хагур с благодарностью посмотрел на жену.

X

Солнце еще не успело обозначить полдень, как у ворот Шеретлуковых поднялся шум. Первой увидела всадников Ляца. Узнав старшего брата, она выбежала ему навстречу. Одна из прислужниц, увидев это, решила, что девочку хотят украсть, и закричала:

— Покарай меня аллах, Ляцу крадут!

Крик ее поднял на ноги всех. Прибежал Тхахох, Бороко и еще несколько тфокотлей. Ничего не понимая, выскочил из комнаты и Али-Султан. Несколько женщин выглядывало из-за угла кухни, не решаясь выйти.

— Эй, кто-нибудь, идите ко мне! — позвала встревоженная шумом Дарихат. — В этом доме никогда никого не дозовешься! — Заглянув в приоткрытую дверь, она заметила Мамирхан, стоящую у окна. Дарихат мгновенно вспыхнула гневом: — Бессовестная, в первый раз, что ли, видишь людей с усами, носящих папаху? Уйди от окна!

— Гости учинили у ворот ссору!..— Мамирхан, не расслышав слов Дарихат, обернулась к ней с перепуганным лицом.

— Кто смеет учинить у наших ворот ссору, я спрашиваю? — и Дарихат выскочила на крыльцо, как разъяренная кошка.

Шум у ворот не затихал, он привлекал все больше людей. Прибежал и Натар. Он с сожалением смотрел, как увозили девушку, которая ему так нравилась. Выбежал из дома и Али-Султан:

— Добро пожаловать, гости, проходите в наш дом, мы всегда рады гостям!

— Мы не гости, Шеретлуков, мы искали свою сестру и нашли ее в вашем доме. А по обычаю, как ты знаешь, кто обидел нашу сестру, тот обидел весь ее род, оскорбил весь аул!.. Мы

приехали не драться, не мстить за обиду, но, если кто обнажит кинжал, готовы постоять за себя!..

Вперед вышел Анзаур, он стал прямо перед гостями и елейно заговорил:

— Зиусхан! Вы находитесь у ворот дома одного из достойнейших мужей Шапсугии, и если почему-либо не можете оказать уважение роду Шеретлуковых или аулу Бастук, уважьте Шапсугию. Вы отыскали свою сестру, это уже счастье, и дай бог, чтобы оно множилось. Что касается вашей сестры, свидетельствую перед людьми и самим аллахом,— она жила в доме Шеретлуковых, как княжна.

Ляца от радости была, как говорят, на седьмом небе. Глаза ее излучали свет. Сердце Натара забилось, загорелись щеки. Ляца перехватила его взгляд и тоже взволновалась — Натар понравился ей.

Стоя у стремени коня, на котором сидел брат, она сказала:

— Этот человек говорит правду. Мне было хорошо в этом доме.

— Эй, почему здесь собралось так много народу? Что за шум, почему гости стоят у ворот? — зашумела Дарихат. — Али-Султан, ты куда смотришь, приглашай гостей в дом... Ляца, девочка моя, иди ко мне. Как я рада за тебя, зови брата в наш дом, в твой дом, и расскажи ему, как я отняла тебя у мерзавцев. Какое счастье, что ты попала к нам... Али-Султан, вели зарезать барашка, а еще лучше телочку, да индюшку пожирнее.

— Спасибо, мать, твоя доброта растрогала меня, придется спешиться и зайти в твой дом,— сказал брат Ляцы Музечир. — Веди, сестра, веди, показывай, где ты жила...

До самой полуночи сидели гости в кунацкой Шеретлуковых. Угощали их по-княжески — мало что осталось от телочки и пудовой индюшки.

А в это время лучшие портнихи аула во главе с Мерем шили для Ляцы платья. Три платья сшили, отделали их золотом и серебряной парчой, украсили вышивками. К платьям прибавили шелковый платок и комнатные туфли турецкой работы.

На другой день, когда гостей стали собирать в дорогу, Дарихат позвала Али-Султана:

— Посмотри, сын мой, какие платья сшили портнихи для Ляцы. Думаю, с такими подарками тебе не стыдно будет ее провожать. Она, может, и у отца-то родного так не одевалась... Молю аллаха, чтобы я увидела Макая с отсохшими руками. Как он, мерзавец, обобрал нас, но, с другой стороны, нет худа без добра. Если бы не этот богомерзкий Макай, мы не приобрели бы в Бесленее таких знатных знакомых. Так что пусть аллах воздаст Макаю добром, а я его уже простила. Прости и ты, ведь он подарил тебе такую хорошую сестру. Я все разузнала: род Музечира — один из самых уважаемых и богатых в Бесленее. Твой отец любил говорить: сделал добро и брось

его в воду, не брезгуй даже кнутом, иногда и он может унять свирепый ветер. И еще я должна тебе сказать... — Дарихат приблизилась к сыну и прошептала, словно опасаясь, что ее могут подслушать: — Натар все заглядывается на Ляцу, и девчонка пялила на него глаза. Я поговорила с Мерем — ей нравится девушка. Может, помоги аллах, наши аулы и породнятся. Видишь, как все хорошо складывается? Ну, иди, иди провожай гостей...

Спустя неделю после того, как увезли Ляцу, к Хагуру пришли Анзаур и Бороко. Он пригласил их в дом, но они отказались.

— Посидим на солнышке,— сказал Анзаур,— да и не время рассиживаться в кунацкой... А пришел я к тебе вот по какому делу. Мой сын Натар, ты знаешь, три года учился в Бахчисарае, а теперь вот заладил — хочу учиться в Стамбуле. Просто житья не стало. Думал я, может, парень сгоряча сказал, может, поживет дома в холе да воле и забудет про Стамбул, ведь там ему не мед ложкой хлебать. Кому нужен чужой ребенок, кто о нем позаботится? Но он заладил: хочу учиться в Стамбуле. Что мне делать?

— Надо помочь парню. Это же хорошо, что он хочет учиться! Должны и адыги выходить в люди! Сколько нам жить в темноте?..

— Верно ты сказал, но я боюсь за Натара,— возразил Анзаур.

— А что за него беспокоиться? Когда я приехал в Крым, он мне очень помог. Парень добрый, расторопный, а теперь он грамотный, мир поглядел. Я не слышал о нем ничего плохого.

— Не слышал, так услышишь,— оборвал младшего брата Бороко. — Что ты о нем знаешь? Ты ему не ровесник, чтобы все знать.

— Не ровесник,— согласился Хагур,— но мы с ним друзья. Недавно он прочитал мне свои слова...

— Слова, слова! — перебил Хагура Анзаур и увел разговор в сторону: — До моря-то я его довезу, а в Стамбуле? Знакомых там у нас нет, город огромный, чужой... Вот ты говорил, что знаешь, где живет Хасан-Мурад, может, пока суд да дело, направить парня к нему, а?

— Валлахи, эффенди, не знаю, что и сказать. Найти-то он его найдет, но зачем ему Хасан-Мурад?

— Вот и я то же самое говорю. У Хасан-Мурада добру не научишься... Сердце мое разрывается: и хочется, чтобы поучился парень, выбился в люди, и жалко отпускать единственного сына бог весть куда. Учеба она тоже, как палка, о двух концах.

— Какая еще палка? — сказал Бороко. — Надо отправить парня в Стамбул.

«Вот незадача,— думал тем временем Хагур,— а Бороко-то здесь при чем? Или он пришел ко мне как старший, хочет угодить Анзауру? Не похоже. Бороко не станет просто так делать добро».

Почесал Анзаур затылок, поразмыслил, а потом сказал:

— Как-то ночью к Дарихат приходил Наго, он сказал, что Натара надо отправить в Стамбул...

«Чем же неугоден Натар Шеретлуковым?»— спросил себя Хагур и не мог найти ответа, но понял: Бороко пришел к Хагуру, чтобы он посодействовал ему.

— Послушай, эффенди Анзаур,— улыбнулся Хагур. — Если Наго встречается с Дарихат, почему не скажет, кто его убил? Ведь его кровь до сих пор не отомщена.

Эффенди оглянулся по сторонам, нагнулся к Хагуру:

— Сам не понимаю. Может, здесь замешан злой дух? Но об этом говорить никому не надо. Вчера приходила Дарихат и просила меня написать ей дуах. Против злых духов. Думаю, мы еще доживем до того дня, когда тайна гибели Наго прояснится. Но бог с ними, с Шеретлуковыми. Ты скажи, сколько будет стоить проезд на корабле в Стамбул?

— Если без груза, пять коровьих кож.

— О! Это хорошо. Я боялся, что потребуют пиастры, а у меня их мало. Надо же и парню что-то дать с собой. А кожи я найду. Вот спасибо тебе, Бороко, что привел меня к брату! Спасибо и тебе, Мос, за добрый совет. Отправляю парня учиться слову божию. Так и быть!

— Когда собираетесь отправляться в путь? — спросил Хагур.

— Сегодня ночью и отправимся...

В сумерки Натар пришел к Хагуру, чтобы проститься с ним. Он был каким-то вялым, грустным.

— Что случилось, младший брат?

— Не знаю... Отец велит ехать в Турцию. Это интересно, но сердце что-то не лежит к этому... Тревожно у меня на душе.

— Может, ты и прав. Я и сам не знаю, что хорошего нашел отец в Стамбуле? Ведь между нами большое соленое море. Мне думается, кабардинцы умнее всех адыгов, они больше тянутся к Пшишхою[1]... Лучше бы тебе поехать в Батырбыф[2], а не в Стамбул. Так говорят многие. Нечего нам делать в Стамбуле!..

— В Крыму я встречался с баткелем из Батырбыфа. Он послушал мои стихи, похвалил и приглашал к себе. Оставь, говорит, в покое коран и занимайся стихами, у тебя, говорит... талант.

— Тот баткель живет в Батырбыфе?

---

[1] Пшишхой — великое царство, так адыги называли Россию.

[2] Батырбыф — Петербург.

— В Батырбыфе,— ответил Натар. — Я записал его фамилию и место, где он живет. А когда сказал об этом отцу, он так рассердился! Чуть не отхлестал плеткой... Побуду в Турции, исполню волю отца, а потом подамся к тому баткелю. Прощай, Хагур. Пусть аллах пошлет счастье твоей семье!

Глава пятая

1

Прошло семь весен после того, как на земле адыгов в 1771 году появилась чума. В жизни человека семь лет — не пустяк. За это время можно излечить сердечную рану, исполнить клятву, завершить траур и забыть горе. Стали забывать и о чуме. Редко говорят о ней, если только надо уточнить какую-нибудь дату. Например, «сын родился еще до чумы» или «старуха померла уже после проклятой болезни».

Чума началась в Темиргойе. Она возникла совершенно неожиданно в один из весенних дней и сразу свалила несколько человек. В течение недели болезнь унесла многие аулы. Говорят, что еще прадеды знали средство от оспы, а против чумы не было никакой защиты. А она свирепствовала, как коварный и жестокий враг.

Перепуганные люди покидали дома и бежали в леса, подальше от зараженных мест. Но и это не спасало: умирали в дороге, умирали в лесу. В первые дни умерших еще оплакивали, потом перестали жалеть даже живых, уже ослабевших и зараженных. Боялись войти в дом, где были больные или умершие, сторонились друг друга на улицах. Ужас царил в сердцах людей. Но вот стал проходить первый, самый острый период всеобщего отчаяния, разум человека не хотел примириться с неизбежностью уничтожения и стал искать выход. Если эту страшную болезнь не берут никакие молитвы, никакие жертвы, то, может, ее возьмет огонь?

И загорелись костры.

Абадзехи пришли в страшное волнение, когда узнали, что чума из Темиргойи перебросилась в Бжедугию. На общем хасе говорили только о чуме — и на этот раз собрание закончилось к полдню. Было решено не впускать в страну не только тех, кого чума заставила покинуть родные места, но и своих соотечественников, возвращающихся из походов или торговых поездок. Были выставлены вооруженные посты на всех дорогах, ведущих в горы.

По всей стране стоял звон, это люди колотили в медные тазики, отпугивая болезнь. Раньше подобным звоном они отпугивали саранчу, но сейчас враг был пострашнее, и поэтому усердия было приложено больше.

Чума все же не прошла стороной. Зацепила черным крылом и абадзехов. Но горная страна имела свои особенности. По сравнению с равнинной Темиргойей она была малодоступна, поэтому и жертв здесь было меньше.

Шапсугам повезло еще больше: они никого не пускали к себе. Ни со стороны моря, ни из Бжедугии и Абадзехии. Не пустили даже своих земляков, которые ездили за солью. Жестокий карантин и уберег их от черной болезни...

— Это было страшным бедствием,— очнулся от тяжких дум Тамбир. — За все сорок лет я никогда так не падал духом, как в то время. Только год мы и успели прожить с тобой, испытать, что такое счастье, только-только успела родиться наша дочь, как аллах послал на землю это горькое испытание.

— Аллах смилостивился над нами, болезнь не тронула нашу семью,— сказала Цицара, просеивая муку.

— Я не о себе думал, я много перенес, многое видел в жизни и принял бы смерть без упрека. Но так болела душа за нашу новорожденную. Она ведь совсем крошкой была, и отнять у нее жизнь было бы очень несправедливо со стороны аллаха. Боялся и за Мишку, жаль мне его было. Но если бы болезнь забрала тебя, я бы сошел с ума,— ведь ты кормила тогда Нэфипс и без тебя она бы точно погибла. Спаси нас аллах, тяжкий был год, не только тяжкий — страшный!

— Хватит, зачем вспоминать об этом, растравлять боль? Лучше вспомни о чем-нибудь другом. Хорошем!

Тамбир улыбнулся словам жены. Действительно, на ночь глядя говорить такие вещи — грех, аллах не простит. День надо провожать веселыми, добрыми словами. Впрочем, зря на него набросилась Цицара, он помнит не только этот страшный год, в душе хранится одно очень приятное воспоминание. Цицара, наверно, забыла то, что вспоминал он. Надо ее попытать.

— А ведь у нас сегодня особенный день. Ну-ка, пораскинь мозгами, почему он особенный?

— Почему особенный? — задумалась Цицара. — Не знаю, скажи сам.

— Помнишь, как ты схватилась за живот и присела передо мною? А Мишка сообразил что к чему и поскакал за повитухой.

— Перестань, Тамбир! — смутилась Цицара. — Как ты можешь говорить такое?.. Если бы не Мишка, ты бы не сообразил, что надо делать. Испугался и убежал в сарай. Я это хорошо помню. А потом вы с Мишкой оба ускакали в лес и вернулись только в полночь, когда у меня все кончилось.

— Да-а,— протянул Тамбир,— было, было. Вспоминать и смешно и грустно. Но ведь мы поступили по обычаю. Это был последний день месяца, когда зима встречается с летом. Только что появились первые цветы на припеках. Фиалки, сон-трава. Видишь, как я все помню? Хорошее помню, красивое. За-

чем помнить плохое? А старший сын Хагура родился в декабре. И это помню... Сегодня нашей Нэфипс семь лет.

— Спасибо, что ты вспомнил,— сказала Цицара и, почувствовав в животе толчки, в душе улыбнулась. Помолилась про себя: «Подари нам, о великий аллах, сына!» — Семь лет... Хорошая девочка растет. Но послушай, что-то долго они не возвращаются с Мишкой от Селима? Уже вечереет.

— Не волнуйся, скоро прибегут.

До женитьбы Тамбир относился к Михаилу Некрасу, как к младшему брату. Построили в Дахапе небольшой, но удобный и пригожий домик, покрыли его осокой. Построили сарай и конюшню, огородили все крепким плетнем. Пахали землю, косили травы. Жили весело и дружно. Вместе ходили в походы, бывали на свадьбах и похоронах. Тамбир всегда чувствовал рядом надежную защиту и верного друга. Но когда женился, настороженно присматривался к Цицаре, как она отнесется к нему? Ведь, по мнению женщины, друзья — хорошо, а семейный покой — лучше. Чем меньше у мужа друзей и дружков, тем больше он проводит времени дома, больше уделяет внимания жене и детям. Но все обошлось. Цицара очень хорошо относилась к Михаилу, он был для нее членом семьи, без него она не мыслила домашнего очага. Одно тревожило Цицару и Тамбира — каким бы хорошим другом он ни был, без семьи мужчина все равно что сухое дерево.

— Засиделся наш Мишка в девках,— пошутил Тамбир. — Надо бы о нем позаботиться. Поговорила бы ты с ним.

— Я уже пробовала. И других женщин просила поговорить, но он молчит. Не пойму, чего ждет? А за мной остановки не будет. Мишка мне все равно как брат, его жену буду считать своей невесткой. Очень мне хочется, чтобы у нас была невестка... А скажи, Тамбир, только честно: ты боялся, что я буду плохо относиться к Мишке?

— Ничего я не боялся,— уклонился Тамбир.

— Неправда! Я знаю, что боялся.

Тамбир устыдился своей неискренности:

— Беспокоился я, вдруг вы с ним не уживетесь? Позор пал бы на мою голову, вся Абадзехия бы меня осуждала. Ведь на хасе я назвал его своим братом.

— А теперь еще спрошу, только не лукавь: если бы мы не ужились, кого бы ты выбрал? Не моргай так, говори честно.

— Вот этого я не знаю, Цицара... Ты какой из двух глаз выбрала бы? Ты и Мишка — мои глаза. — Он стал серьезным, на лбу залегла глубокая извилистая морщина. — Из двух своих глаз я отказался бы от того, который стал мне чужим. Я бы его выколол. И ты, такая молодец, поняла это сразу.

— Сколько мук я приняла, живя в лесу, скитаясь по адыгской земле только из-за одного тебя!.. Я любила и люблю все, что любишь ты, я отдам себя за того, за кого вступишься

ты. Это правда, Тамбир! Мне много раз говорили, что ты имел жену-гяурку, что ты перешел в их веру. Я сказала себе: не поверю, пока сама не увижу, не откажусь от тебя до тех пор, пока ты не откажешься от меня. Я люблю нашего красавца Мишку, как родного нам с тобой человека, и мне легче потерять оба глаза, чем потерять тебя или Мишку! — растроганно сказала Цицара и расплакалась.

— Вот это уж нехорошо. Зачем же плакать, если нам так хорошо? Перестань же, перестань! Мы еще погуляем на Мишкиной свадьбе, увидим счастливыми его детей. Наших детей. Вот только бы немного приодеть парня, а то невесты будут обегать его стороной. Ну, перестань же! А то и мне становится плохо.

— Чтоб они провалились, эти женские слезы! И когда радуемся, текут, и когда печалимся — тоже. Не сердись на меня, Тамбир! И раз уж заговорили, признаюсь: я присмотрела Мишке невесту. Славную девушку, лучше и не найти.

— Кто она?

— Пока не спрашивай,— ответила Цицара.— Мне еще надо переговорить кое с кем, надо знать, что она согласна, а то вдруг!.. Не спрашивай. Лучше скажи кому-нибудь из друзей, пусть они поговорят с Мишкой... Пусть он не брыкается, есть дела, которые нельзя откладывать.

Тамбиру показалось, что он догадался, о какой девушке говорила Цицара. Она, по его мнению, жила в станице, возле Копыла. Михаил видел ее, посматривал украдкой.

II

В последние годы Татау стал осторожнее и в словах и в поведении. В кунацких он больше слушал, чем говорил.

Уже не было в живых князей Кансава, Шерандука, родовитого Наго, уорка Мамруко. Многих абадзехских друзей унесла чума.

Татау носил теперь пышные усы и окладистую бороду, но глаза его по-прежнему были молодыми.

В разговорах и делах с людьми он стал прикидываться благодушным и добрым. Он словно немного согнулся, потому что за его спиной уже не было сильных друзей. С тфокотлями лучше быть смирным, чем гневить их. Что стоит улыбнуться человеку, сказать ему приятные слова? Ничего, но за эти пустяки люди платят добром. И Татау стал водить дружбу с тфокотлями, приглашать их к себе в кунацкую. Близкую дружбу завел он с Селимом и Тамбиром, потому что считал их очень влиятельными среди тфокотлей.

Ну и конечно же продолжал дружить с князьями и уорками. Сегодня к нему в гости приехал князь Хатикоепш с племянником Арданом.

Вот незадача, как тут быть? Надо бы пригласить в кунацкую тфокотлей, но как к этому отнесется князь, не заерепенится ли?

Долго ломал голову Татау и все же решил позвать тфокотлей. В конце концов, Абадзехия ведь не страна князей, а страна тфокотлей. Правда, он предупредил князя, извинился перед ним.

Усадив гостей, как того требовал обычай старшинства, Татау сказал:

— Валлахи, гость, как я тебе сочувствую — нелегкая участь быть князем, одному управлять целым аулом. Да еще в такое трудное время. А взять Бжедугию? Трудно великому князю. Надо править не одним аулом, не только тфокотлями, но и перед князьями выглядеть достойным, мудрым. Как я сочувствую бедному Алкесу, он ведь еще так молод! У нас в Абадзехии куда проще — мы сами управляем своей страной.

Князь Хатикоепш внимательно выслушал хозяина, некоторое время помолчал, как требует приличие, а потом не торопясь начал:

— Конечно, род Хаджемуковых — один из самых древних и многочисленных. В Бжедугии очень уважают и почитают Хаджемуковых. Алкес — мой друг. Человек умный, осмотрительный. Я не раз бывал у него в гостях, был принят с почетом. Но... Вот я думаю... У нас в Темиргойе князь есть князь, а в Бжедугии князей, я бы сказал, ущемляют, они должны подчиняться великому князю. Почему? Хоть убей, не понимаю! Каждый князь послан аллахом, лишь аллах стоит над ними. Один он, всеведующий и всемогущий, может вопрошать: кто ты, княже, что и как ты делаешь на своей земле, как смотришь за рабами божьими, как печешься о них? Так при чем же здесь великий князь? Это я просто так говорю и не хочу, чтобы мои слова услышали в Бжедугии.

Тамбир повел плечами, усмехнулся, но ничего не сказал.

А Селим поддержал Хатикоепша:

— Ты, гость, говоришь то, о чем хотели бы услышать бжедугские князья, но я не согласен с тобой. Лучше, если и над самыми умными князьями будет стоять князь. Недаром сказано: ум — хорошо, а два — лучше. Князь тоже бывает не всегда прав, иногда допускает ошибки.

— Князь не может ошибаться! — возразил уорк Ардан.

— Лошадь ходит на четырех ногах, но и та спотыкается, почему же князь не может ошибаться, разве он не такой же человек, как ты, как я?

— То лошадь, а князь — посланник бога! — У Ардана даже плечи дернулись от возмущения. — Вам, абадзехам, тоже надо иметь своего князя. Иначе как вы собираетесь жить дальше?

— Но если у абадзехов нет такой женщины, которая могла бы родить божьего посланника? — не выдержал и вступил в разговор кто-то из тфокотлей.

— Князья не рождаются просто так, всемогущий посылает их людям по своему выбору. И выбирает какую-нибудь благословенную женщину, которая замужем за человеком из богатого, крепкого, могущественного рода,— выпятил грудь Ардан. Лицо его уже начало багроветь от бузы.

Хозяин пожалел, что начал разговор о князьях. Думая ублажить гостя, он поставил себя в неловкое положение. И Хатикоепш тоже жалел. Зачем говорить о князьях в стране, где нет князей? Абадзехи и так ищут повода обнажить свои кинжалы, смотрят исподлобья, как враги. Надо же быть настолько глупым, чтобы позволить втянуть себя в этот дурацкий разговор! Надо же было тащить с собой этого дурака племянника!

— Племянник,— обратился Хатикоепш,— успокойся! Мы здесь не для того, чтобы наводить в стране тфокотлей свои порядки. Лучше воздадим должное щедрому угощению, что выставил нам хозяин.

— Если ты так считаешь, зиусхан,— опомнился племянник,— я с радостью отведаю щедрых даров.

— Вот и хорошо! — успокоился Хатикоепш. — Послушайте-ка лучше притчу, которую я слышал от одного мудрого старца!

Все заинтересованно придвинулись к нему.

— Не знаю, в каком ауле это случилось, но говорят, это правда. Одному джигиту понравилась жена соседа. Сначала он мучился, держа страсть в тайне, потом попробовал завязать отношения с его женой, но понял, что она верна. Наконец обманом выманил соседа из аула и убил его. Перед смертью тот сказал убийце: «Я погибаю без вины, тебе это не простится». А убийца посмотрел на росший поблизости куст перекати-поля и рассмеялся: «Кто же расскажет о содеянном мною, разве только это перекати-поле?»

Жена убитого не знала, как погиб ее муж и кто виновник его ранней смерти, поэтому спустя некоторое время она вышла замуж за убийцу. Жили они неплохо. Но вот однажды подул сильный ветер, порыв ветра открыл дверь — и в комнату закатилось перекати-поле. Убийца тотчас вспомнил свои слова, сказанные в день преступления. Он схватил куст и мгновенно бросил его в горевшую печь. И вдруг, сгорая, перекати-поле простонало: «Убийца!» Это прозвучало так внятно, что жена вскочила и вскрикнула, обращаясь к мужу: «Он сказал, что ты убийца! Кого ты убил?» Злодей засмеялся: «Проклятый куст сказал правду!» И тогда он, думая, что жена уже совсем забыла первого мужа, поведал ей про убийство и последние слова умирающего. Женщина, опустив голову, промолчала. Но когда настала ночь и муж-убийца уснул, она заколола его кинжалом и покинула дом. Вот что я слышал о перекати-поле... Зло никогда не остается безнаказанным. — Хатикоепш перевел дух и добавил: — Какой зловредной оказалась эта женщина,

правда? Не дай бог повстречать такую. Не пощадила бы!

— Она правильно сделала,— возразил Селим.

— Она отомстила за кровь, поистине мужественная женщина,— поддержал его кто-то из тфокотлей.

— А я бы,— не удержался Ардан,— завязал на ее шее косы узлом и задушил. Нельзя давать спуску тем, чьи волосы покрыты платком!.. Даже прекраснейшая из жен — тайный враг мужа.

— В женщине, покинутой мужем, сладости не остается,— сказал один из сопровождающих князя. — Что он нашел в ней, если она уже побывала женой другого?

— Я назвал ее зловредной,— попытался оправдаться Хатикоепш, чувствуя, что его слова не понравились,— только по отношению ко второму мужу. А по отношению к первому она поступила как верная жена.

— Да-да,— согласился с гостем Татау и вспомнил о другом убийстве. — До сих пор никто не знает, как погиб Наго. Не знают и имени того, кто обрек на смерть князя Шерандука. Но недаром говорят, что рано или поздно сотворивший зло станет известен. Что на руках убийцы проступает кровь. Не знаю, так ли, но все жду, когда же проступит кровь на руках тех, кто убил старшего Шеретлукова и несчастного Шерандука. А она обязательно проступит, верит в это мое сердце! Если добро не пропадает, то и зло оплачивается здесь же, на земле. У аллаха свой счет нашим делам.

Упоминание о Шерандуке задело Тамбира, застаревшей болью отозвалось в сердце. Больно было оттого, что князь Шерандук, столько причинивший бед ему, столько горя Цицаре, погиб не от его руки. Тамбиру казалось, что Шерандук ушел из жизни безнаказанным... Спустя год после его смерти Тамбир виделся с сыном князя, женой. Они рассказывают, будто убил князя человек, которого Шерандук ранил в схватке саблей. Что ж, говорили люди, он погиб как мужчина...

— Если хочешь, Татау, я назову убийцу князя Шерандука. И не только назову, а приведу его, если все хотят увидеть. Погиб он не так, как рассказывают его родственники, погиб позорно. Ну, чего же вы примолкли? Привести убийцу?

Все будто задохнулись.

У Татау глаза выкатились на лоб:

— Баткель Мишка?

— Нет.

— Кто же?..

— Если хотите увидеть убийцу князя Шерандука, пошлите ко мне домой и передайте моей жене Цицаре, чтоб она пришла сюда, мол, Тамбир велел.

Татау обалдело смотрел на Тамбира:

— О милосердный аллах, о справедливейший аллах! Это неслыханно, это... это...

III

Солнце едва приподнялось над горизонтом, как трое всадников подъехали к воротам Тамбира.

Цицара выбежала им навстречу.

— О великий аллах, ты послал нам такого дорогого гостя! Добро пожаловать! — Цицара взяла за уздечку коня Хагура, помогая ему спешиться, пригласила спешиться и младших его спутников: — Добро пожаловать, проходите.

— А что это самого хозяина не видно? Где Тамбир?

— Он уехал с Мишкой в Бжедугию к Ламжию. Жду его сегодня, а он все не едет.

— А где Нэфипс? Или она уже стала взрослая и стесняется показаться перед мужчинами?

— Сидит в комнате и, наверно, вытирает слезы. Я ее немного отшлепала — слишком резвая, все бы баловаться... Проходи в кунацкую, Хагур. Проходите... Как поживаете, милостью аллаха? Как твоя мать? Она мне названная свекровь, потому я и не произношу ее имени. Как поживают братья? Акоза?

— Все живы, все здоровы, милостью господа нашего!

— Скажи мне, Хагур, кто твои спутники? — расспрашивала Цицара, провожая гостей в кунацкую. — Я, кажется, их не знаю.

— Познакомлю, сестра... Этот — мой младший брат Сабех, а этот — сын нашего эффенди Натар.

— Сабех? А я и не узнала тебя. Как ты вырос, возмужал. А с тобой, Натар, я не знакома. Проходите, проходите. Наш дом — ваш дом. Не знакома я с тобою, а вот память о матери твоей храню — она сшила мне очень красивое платье. Ну, а об отце твоем по всей адыгской земле ходит добрая слава, кто ж его не знает. Добро пожаловать, мой сын...

Натар пробыл в Стамбуле всего полтора года и вернулся домой. Хасан-Мурад встретил его в Турции хорошо, ввел в дома священнослужителей. Водил даже на свадьбу турецкого вельможи. И где бы ни появлялся Натар, ему всюду оказывали уважение. Жилось ему там неплохо, но тоска по родине не покидала. С восходом солнца он уходил на берег моря и просиживал там часами, глядя на восток. Думал о том, как пробуждается Бастук, как идет в мечеть отец, а мать хлопочет у очага. Блеют, просятся на луг овцы, кружит в небе орел, высматривая добычу. Ему казалось, что и небо в Шапсугии ярче, и ветер ласковее, и солнце не такое жгучее, как здесь. Через купцов он просил отца разрешить ему вернуться домой, просил передать, что не сможет жить в Турции долго, высохнет, зачахнет от тоски...

Слава богу, что хоть познакомился в Стамбуле с Талатом. Он мог поговорить с ним по-адыгски, и родная речь казалась ему такой певучей и красивой! Стоило ему прикрыть глаза —

и перед ним возникали Бастук, ворота усадьбы Шеретлуковых, а у ворот на коне Ляца. Она смотрит, смотрит на него, прощается. А теперь Натару чудилось, что она сидит на другом берегу моря и зовет к себе — молча, без слов, одними глазами.

Отец, может, и не позволил бы возвратиться на родину, но мать все просила и просила мужа: «Пропадет на чужбине наш мальчик. Чует мое сердце, изведется он там. Умоляю тебя именем великого аллаха, вели Натару возвращаться домой».

И вот он дома. Съездил в Бесленею к Ляце, и с тех пор при каждом удобном случае передавал ей через знакомых приветы. И она его не забывала.

Вернувшись из Турции, он подружился с Сабехом. Еще мальчишками они играли в бабки, купали в речке лошадей. Потом стали на вечеринках поглядывать на девушек, тайком разговаривать о них, поверять друг другу сердечные тайны...

Сабех во многом напоминал Хагура, и Натар почитал его, как и старшего брата. Любил так, будто выросли под одной крышей. Конечно, с Сабехом он чувствовал себя привольнее. Братья не были похожи друг на друга, у одного крупное, тяжеловатое лицо, у другого удлиненное, худощавое, но и у того и у другого было большое, доброе сердце, природный ум, отзывчивость, умение радоваться чужой радостью и печалиться чужой печалью.

Дружба Натара и Сабеха была Хагуру по душе, поэтому он и отправился вместе с ними в путешествие. Хотел оградить неопытных юношей от всяких неожиданностей, помочь им своим опытом или силой, если будет в этом нужда.

Но, слава аллаху, в дороге ничего не случилось. Хагур был спокоен. Из окна комнаты, где он сидел, был виден двор, загон для скота, кусок яркого чистого неба. Но то, что происходило во дворе, заставило его удивленно раскрыть глаза. С чисто мужской хваткой Цицара поймала в загоне овцу, взвалила на плечи и понесла.

Увидев это, Хагур обернулся к Сабеху и его другу:

— Валлахи, братья, опозорились мы перед женщиной!.. Побыстрее идите к ней и помогите.

Сам Хагур остался еще на некоторое время в комнате, чтобы не смущать хозяйку, не выдать ей, что он видел, как она занималась мужским делом. Он вышел только тогда, когда услышал звон натачиваемого ножа, вышел, сомневаясь, смогут ли без него разделать овцу как следует.

И снова удивился: Цицара точила нож сама, а друзья стояли перед ней в ожидании.

— Чего вы стоите?

— Ждем, когда будет наточен нож,— тихо ответил Сабех. Было видно, что он испытывает смущение.

— Разве те, кто носит шапки, так поступают? Смотрю на вас и не пойму, кто из вас носит шапку, а кто платок? — так же тихо стал выговаривать Хагур.

— Но она сказала, что наточит сама, не дала нож, не вырывать же у нее силой? — оправдывался Сабех.

Натар молчал, опустив голову.

— Если бы я не послал вас к ней, вы бы допустили, чтобы она сама резала овцу. Разве так можно?

Хагур вынул кинжал и подошел к связанной овце, повернул ее голову к югу...

Ни вечером, ни на второй день Тамбир не вернулся. И Цицара и гости уже не на шутку встревожились. Решили подождать еще день, а потом уехать. Но Тамбир успел вернуться.

Ничего плохого ни с ним, ни с Михаилом в дороге не случилось. Сначала они погостили у Ламжия, потом завернули к Мышоковым, познакомились с несколькими тфокотлями, обсудили последние новости, поговорили о князе Алкесе, который был в отлучке. А потом, уже тронувшись в путь, Тамбир решил дать крюк, заехать в родную станицу Михаила. Тамбир заметил, что Михаил впадал в уныние, если хоть раз в году не мог побывать в родных местах, хотя никого из близких там у него уже не осталось. Из-за этого они и опоздали, причинив волнение и Цицаре и Хагуру.

Утром следующего дня Хагур обратился к Тамбиру:

— Натар хочет научиться языку баткелей, за этим я его и привел сюда. Да и братишке не помешает знать этот язык. Как ты думаешь, стоит им помочь? Получится у них что-нибудь?

— А почему нет? Конечно, получится. Я ведь тоже немного говорю на языке баткелей и тоже могу пригодиться, но главное — в Мишке. Мишка, научим?

С этим вопросом Тамбир обратился по-русски.

— Добре, батько, научим!

— Я знаю, что такое «батько», а «добре»? — спросил Хагур.

— Это пусть Мишка объяснит.

— У нас, у казаков, «добре» и «хорошо» — одно и то же.

Натар повторил про себя: «Добре — хорошо». Ему показалось, что он сможет легко произнести эти слова.

— А теперь, парни, вам лучше выйти из кунацкой,— сказал Тамбир.

— Добре-хорошо! — быстро и как-то ловко выговорил Натар.

— Ты посмотри, как легко он ухватил чужие слова! — удивился Хагур. — Ну, вот и славно! Идите погуляйте, а мы тут с Тамбиром обсудим одно дело.

Парни вышли.

— Ты знаешь, друг, Натар решил посвататься к младшей дочери Музечира, из Бесленеи. Я не пустил их одних: молодые, горячие, а разума-то еще нет. Вот я и решил отправиться с ними. И дело не простое, и дорога не близкая, не безопасная. Вот заехали к тебе — повидаться с вами и попросить, не согласишься ли составить нам компанию? Проводим ребят до Темиргойи, а дальше сами поедут. Мы с тобой погостим у Дзепша, а

когда они будут возвращаться, опять присоединимся. Как там наш Дзепш, все ли у него хорошо? Да и соскучился я по нему.

— Очень хорошо! Я с удовольствием поеду с вами... И я думал тебе сказать: Мишку надо женить! Цицара уже присмотрела для него девушку, но мне хотелось бы женить его на той, которая ему полюбится. Мы-то с тобой знаем, как это важно. Да и Натар едет свататься к любимой... Вот только надо договориться с Цицарой...

IV

Татау приехал домой сердитым.

Едва спешился, жена его, Шагидет, стала отряхивать с него дорожную пыль. А он шел в дом и возмущался:

— Никогда бы не подумал, что Меджир окажется таким мерзавцем по отношению к отцу! Е-во-вой, Шерандук, Шерандук, лучше бы меня похоронили вместе с тобой, чем слышать подлые слова твоего сына. Что мы скажем друг другу, встретившись на том свете, что я тебе скажу, чем обрадую? Твой сын, Шерандук, не обратил на мои слова никакого внимания, отмахнулся от них, будто от назойливой мухи!

— Что, неужели не поверил тому, что ты рассказал? — воскликнула с удивлением и возмущением Шагидет.

— Э, не в этом дело. Он, сопляк, ответил мне так: «Наш отец очень многих обидел. Если против каждого из них обнажать кинжал, жить некогда будет, всех вырежут — и род наш иссякнет». Вот как он ответил!

— Покарал нас аллах, наказал всемогущий! — кружилась вокруг Татау жена, смахивая пыль.

— Да уймись ты, старуха! — прикрикнул на нее Татау. — Что ты бегаешь возле меня, что ты юлишь? Увидят люди — стыда не оберешься!

Татау вошел в комнату, сел вальяжно, вытянул ноги:

— Провались он, этот Меджир! Он не только дурно вел себя по отношению к отцу, оскорбил и меня. Получается, будто я враль какой-то. Заладил: человек, убивший отца, был не в платке... А ты давай тазик с водой да вымой мне хорошенько ноги. Прохладной водичкой вымой.

Шагидет принесла тазик и стала старательно мыть мужу ноги и все сокрушалась:

— Покарал, покарал нас аллах... А откуда он знает, кто убил Шерандука? Ведь когда этот бродяга бил его, вся семья спряталась в доме, боялись нос высунуть и защитить князя. Это же надо, такой человек погиб от руки какого-то бродяги...

— Да замолчи ты, дура! В том-то и дело, что не бродяга его убил, а женщина. Слышишь, женщина! — Татау, дернув ногой, брызнул в лицо жены водой.

— Ах, да! — спохватилась Шагидет. — Его била эта...

Цицара. Пропади она пропадом! Разве рождающая ребенка может поднять на человека кинжал? Позор!

— Не кинжалом, не кинжалом, болтушка старая, а плетью она его убила! — вышел из себя Татау.

— Это еще хуже,— не унималась жена. — Позор-то какой — плеткой, женщина... Ну, успокойся, не расходуй свое здоровье из-за этого... Вот я водичкой, вот я прохладной вымою твои ноженьки. Кто тебе сделает приятное, кроме меня? И знай: твоя обида — моя обида, твоя честь — моя честь! Пусть теперь презренный князь Меджир попробует ступить хоть одной ногой в наш двор! Я его, безбожника, палкой, палкой! Испугались бабы, будто мыши, попрятались...

— Вот так-то, старуха,— смягчился Татау. — Со мной случилось то же, что с безрогой козой,— пошла искать свои рога и вернулась с обгрызенными ушами.

— Не волнуйся, старик! Ничего дурного с тобой не случилось, ведь ездил ты не со злым умыслом, а с добрым. Мы ни за чьей спиной не прятались и не будем прятаться. Ты у меня храбрый и сильный мужчина, а Меджиру, обидевшему тебя, пошли аллах на всю жизнь часотку. Не хочу, не хочу слышать о нем, пусть его стошнит от шуг-пастэ, которую он съел в моем доме, пусть в его семье все перегрызутся, как бешеные собаки!.. Ишь ты, захотели, чтобы мы сказали о погибшем: «Родился без папахи, а умер в папахе». Не будет этого! — Шагидет гневно сверкнула своими большими глазами.

— Эй, старуха! Не забывайся. Вспомни, что я сижу перед тобой! Я ведь тоже родился без папахи. Умерь свой пыл, укороти язык!.. Мужчина всегда мужчина, и не женщине судить о его поступках.

Слушая брань старухи, Татау совсем успокоился. И уже жалел, что рассказал историю с Меджиром. Баба есть баба, будь она хоть золотой. Как ветер не может не дуть, как женщина не может не болтать. Даже если не захочет, слова из нее сами прольются, вытекут, как сквозь сито. То, что по секрету узнала сегодня, завтра будет известно всему аулу. А зачем Татау это нужно, зачем? Меджир дружен с Алкесом, и вовсе ни к чему делать его врагом — пусть оба будут его друзьями. Если он и сказал плохо о Меджире, так своей жене, в своей родной семье, больше никому. О таких вещах можно говорить потихоньку, потому что, кто говорит напрямик, к тому все возвратится горем. Конечно, Татау, не менее богатому, чем любой князь в Бжедугии, не нравилось, что никто его не называет зиусханом, что нет у него княжеского титула. И чтобы смягчить обиду, Татау подумал: «Когда у всех спросили, чья голова красивее, черепаха тоже высунула свою голомызую голову. Не стану уподобляться ей. Пусть в Бжедугии как хотят, так себя и называют, а я буду тихонечко наслаждаться своим богатством, так спокойнее».

— Старуха, смотри не проболтайся, не разнеси по ветру наш с тобой сегодняшний разговор. Могила! Понятно?

— Упаси аллах, старик! Могила! Но если встречу в Дахапе Цицару, разорву ее на куски.

— Это еще хуже! Помни, что она сделала с Шерандуком, а уж с тобой-то справится, как с мухой. Да и о Тамбире не забывай, он потом тебе житья не даст.

— Интересно! — возмутилась Шагидет. — Меня сюда не на лопате принесли, а их как сюда занесло? Я не стираю штанов гяура. Ты не беспокойся, не такая уж я простушка, чтобы лезть на рожон. Я тоже хитрая. А бабья хитрость поковарнее мужской. Знаю, что надо сделать. Я кое-что слышала...

— Что ты слышала?!

— Ну... Они собираются женить своего гяура на племяннице Салима.

— На Агуре?! Кто тебе сказал?

— Сказал тот, кто знает... Ох, как бы я хотела, чтобы адыгскую девушку выдали за гяура. Вот бы мы посмотрели на эту потеху. Срам на всю Абадзехию! Пусть бы наши тфокотли наглотались этого срама по самое горло.

— Этого быть не может! — возмутился Татау. — Если абадзехские тфокотли носят папахи, они не должны этого позволить.

— Позволят,— съехидничала старуха. — Ведь позволили гяуру поселиться в нашей стране, дать ему такие же права, как у всех нас.

— Верно, старуха, дали. И не только права дали, стали учиться у него всяким гадостям — бреют усы и бороды. Вот так же некоторые сбрили свою абадзехскую совесть. Мальчишки болтают на языке баткелей: «хорошо». У-у, безбожники!

— Есть, есть такие среди абадзехов, но, слава аллаху, их пока немного, а большинству-то очень не понравится эта свадьба.

— Гяур гяуром и останется. Мишка не хочет принимать нашей веры, молится своему богу, гадко размахивая руками.

— Как?! Он до сих пор не перешел в нашу веру?!

— О! Ты будто в другом ауле живешь. Конечно, гяур самый настоящий, сиволапый. У него до сих пор на шее болтается крест. По-моему, Некрас и Тамбира перетянул в свою веру. Я слышал, как Тамбир произносит разные слова баткелей. Говорят, перед тем как сесть за стол, крестится вместе с Мишкой. Вся семья ест из одной посуды, пьют из одной кружки вместе с гяуром. О мой аллах, это же такое осквернение!..

— Чтоб они подавились той едой, захлебнулись и утонули в той поганой кружке... Мужчины как хотят, старик, а уж мы, женщины, не позволим выдать адыгскую девушку за гяура. Я сама обойду все дворы, переговорю со всеми женщинами, растолкую, какая страшная кара нас ждет, если мы позволим этому свершиться.

— Это ты хорошо придумала, старуха. Рассказывай о страшной господней каре, зови женщин противиться этому богомерзкому делу.

— Чего доброго, они еще потом и церковь поганую построят на нашей священной земле,— совсем вошла в раж старуха.— Это будет конец света, аллах своими громами разобьет в наказание нашу грешную Абадзехию!

— Пока мы живы, они не построят свою церковь, но что будет после нас? О великий, всемилостивый, всемогущий аллах, помоги нам, детям нашим!

V

Если пересечь долину Урупа в верховье Лабы, то окажешься в Бесленее. Иногда эту страну называли Инджиджем.

Дорогу из Абадзехии в Бесленею не торопясь можно одолеть за двое суток. Этой-то дорогой и ехали Хагур с Тамбиром, Натаром, Сабехом и Мишкой.

Добрались они до развилки. Отсюда уже был виден аул, в котором жил Дзепш. Хагур придержал коня:

— Поезжайте верховьем Лабы — это ваша дорога в Бесленею, а мы с Тамбиром поедем вон в тот аул. Когда сделаете свои дела, заедете за нами в Тезечхабль. Спросите, где живет Дзепш, и вам всякий укажет его дом. Думаю, что пять дней хватит для сватовства, а на шестой вы должны быть здесь. Постарайтесь приехать вовремя, а то мы будем беспокоиться. Значит, сворачивайте влево и езжайте до самого прибрежного леса у Лабы. Переправитесь через Лабу и держите путь в верховья Урупа. Там и начнется Бесленея. Доберетесь до первого аула, зайдите к людям, расскажите, куда и зачем едете, они растолкуют, как попасть в аул. Все понятно? Вот и хорошо. Счастливого пути! Будьте мужчинами.

Тамбир, прощаясь, сказал:

— Кто бы вам ни встретился, относитесь к нему с добром, не хватайтесь за сабли, а если уж обнажите, действуйте по-мужски. И главное — не горячитесь!

— Да! — спохватился Хагур. — Знаете, как себя вести, если вам встретится группа незнакомых всадников?

— Если не знаешь этого, как можно отправляться в дальнюю дорогу да еще в чужую страну? — солидно ответил Сабех.

— Тогда молодцы, в добрый час! — довольно сказал Хагур.

Парни были хорошо одеты и вооружены, кони недавно отдохнули и шли весело, споро. Друзья ехали дорогой, указанной Хагуром, и, все дальше удаляясь от гор, проехали лес. За все время не встретили ни одного аула, ни одного всадника.

Переночевали они под открытым небом.

Летняя ночь коротка, как петушиный крик. Еще не рассвело, а они уже снова пустились в путь. Утро в степи наступает быстрее, чем в горах. Только что в рассветной мгле едва виднелась

дорога, и вот уже четко различимы лица верховых. Когда солнце поднялось над горизонтом, роса сразу же исчезла, исчезла и утренняя прохлада.

Сабех и Натар ехали рядом, переговариваясь между собой, Михаил, погруженный в думы, немного отставал.

— Валлахи, нехорошо получилось! — громко сказал Сабех, поворачиваясь, чтобы и Михаил слышал его слова. — Обманул я старшего брата.

— Как обманул? — Натар даже остановил коня.

— Обманул, сказал, что знаю, как нужно вести себя при встрече с каким-нибудь всадником, а сам не знаю. А ты, Натар? Если знаешь, научи меня.

— Откуда мне знать, я не бывал в походах.

— А ты, Мишка?

— Я с Тамбиром часто бывал в походах, встречали и всадников в пути, но не запомнил, как нужно приветствовать их. Знаю только, что приветствие отдают поднятой правой рукой.

Некоторое время они проехали молча. Но вот впереди показалось стадо, которое пас старик чабан.

— Подъедем, спросим у старика,— предложил Михаил.

Всадники направились к чабану.

— Да умножится твое стадо, отец! — приветствовал его Сабех, спустившись с коня, остальные тоже покинули седла.

— Дай вам бог здоровья, дай вам бог отведать жирного бараньего мяса! Вы, наверно, едете издалека, вы мои гости,— ответил старик. — По тому, как вы меня приветствовали, я понял, что вы из Шапсугии, а мой дом близок. Старуха только что приготовила овечий сыр.

— Спасибо, отец! Нам еще предстоит дальняя дорога. Мы хотели обратиться к тебе за советом.

— Говорите, мне будет приятно, если мой совет пригодится вам на вашем пути.

— Расскажите нам, как надо приветствовать всадников, если мы встретим их.

— А что ты имеешь в виду? Мирное приветствие или как приветствовать врагов? — переспросил чабан.

— Какие у нас враги?.. — неуверенно начал Натар.

— Ну если приветствовать дружески,— радостно подхватил старик,— то нужно поднять правую руку и проехать мимо, держась левой стороны дороги. Если прямо проехать своей дорогой, без приветствия, значит, вы враги.

— Спасибо, отец! — повеселели парни. — Запомним твои слова. Большое спасибо!

— Вам спасибо, сыны мои, что обратились ко мне за советом, не стыдясь своего незнания. Из вас получатся настоящие мужчины, и аллах пошлет вам удачу. Нынешнюю молодежь трудно научить скромности и почтительности, вы же порадовали мое сердце.

Еще до сумерек всадники приехали в Бесленею. По совету Цицары они остановились в ауле Адыгехабль у чабана Нардема, хотя Натар все время думал о Ляце.

Увидев гостей из Шапсугии и Абадзехии, Нардем обрадовался, зарезал для них самого жирного барашка. До глубокой ночи тфокотли сидели в кунацкой. Гостей расспрашивали о многом, слушали со вниманием, не упуская ни одной подробности из чужой жизни.

В этот же вечер весь аул узнал о приезде гостей. У новости быстрые ноги, она за минуту успела обежать аул и правду смешала с вымыслом. Говорили, что приехали княжичи, что в Шапсугии сейчас уже тоже есть князья. Что приехали они по какому-то важному, но тайному делу. «Образумьтесь,— возражали люди более здравомыслящие,— зачем князьям останавливаться у чабана? Остановились бы у уорков или у самого князя. Нет в Шапсугии никаких князей, а тот, кого вы видели,— младший сын ныне покойного великого костоправа. И брат его этим же славится. И все они — простые тфокотли».

Ляца тоже узнала о приезде гостей и, услышав имя Натара, так разволновалась, что не спала ночь напролет. Зимой к ней приезжали сваты, но она тайно ждала Натара, ее сердце подсказывало, что он придет, и сватам отказали, хотя никто не знал причины отказа. Конечно, если бы ее не поддержал брат, никто бы и слушать не стал. Но брату женихи показались не столь завидными, чтобы спешить со свадьбой. И дело даже не в богатстве, и у самих всего хватает. Хотелось выдать сестру за достойного джигита, сильного, умного, красивого, чтобы и дети были такими же сильными и умными. Но и этих качеств недостаточно. Будущий муж Ляцы должен быть князем. Богатство приходит и уходит, как приходит и уходит молодость. А титул князя остается. Женихом сестры брат хотел видеть только князя.

Когда вечером жена сообщила ему, что гости вошли в девичьи покои, уорк Музечир усмехнулся:

— Валлахи, я на их месте не стал бы проделывать такой путь, сбивая копыта лошадей... Если бы сестра не чтила обычаи, она бы не позволила им перешагнуть порога своей комнаты.

VI

— Раз уж приехали сюда, нельзя возвращаться, не побывав в Хатукае,— сказал Тамбир. — Не знаю, чем я понравился Хатикоепшу, но, уезжая, говорил, что обидится на меня, если я не загляну к нему.

— Это он говорил в стране абадзехов,— ответил Дзепш. — Сейчас, когда он сидит дома и чувствует себя в безопасности, этого бы не сказал. Если этот капризный и вспыльчивый князек сделает вид, что не узнал тебя,— разве не будет обидно? На-

строение у него семь раз на дню меняется, я бы не советовал тебе ехать к нему.

— Доля правды в твоих словах есть. Но я обещал ему и хочу сдержать слово. Что он подумает обо мне, узнав, что я был в этих краях и не заехал. Будет говорить, что я лжец, даю обещание и не исполняю его. Мне не хочется такое о себе слышать.

Хагур не вступал в разговор, но в душе был на стороне Тамбира. Он сам подумывал предложить свернуть к устью Лабы. Не часто сюда попадаешь, а раз добрались, хочется подъехать к Пшизу, посмотреть на русские войсковые посты, расположенные на противоположной стороне. Если Хатикоепш их не примет, они найдут где остановиться в Хатукае.

На четвертый день вернулись из похода Натар с Сабехом и Михаилом. По их радостным лицам было видно, что дела складываются удачно. Но старшие не стали расспрашивать, чтобы не смущать. Надо, сами расскажут, хотя те явно не спешили рассказывать.

Всадники пустились в обратный путь. Повернули к устью Лабы.

Натару было все равно, куда ехать. Колечко, полученное от Ляцы в качестве залога, лежало у него в кармане, и он поминутно опускал руку, чтобы его потрогать. Тайком от друзей он шептал про себя рождавшиеся в сердце слова, превращая их в стихотворные строки. Все было ему мило, приятно: и степь, окружавшая их со всех сторон, и блеклое небо, и стук копыт легкого скакуна. Ляца назначила ему срок один год. Когда год пройдет, он увезет свою невесту из Бесленеи. Провезет через Темиргойю, покажет ей горную Абадзехию и доставит в свою милую Шапсугию. И будет жить с ней так же дружно и долго, как отец и мать.

Натар очнулся от дум только тогда, когда горячее солнце заставило всадников остановиться на берегу Лабы. Шум реки, перекатывающей мелкие камешки, отзывался эхом на другой стороне. Вербы, будто мучимые жаждой путники, склонили свои ветки прямо к воде. Здесь, близ реки, и травы и листва на деревьях казались особенно свежими, яркими. Привольно и легко несла Лаба свои воды.

Всадники спешились, быстро привели в порядок дорожное платье, сполоснули лица, руки и снова сели на коней.

Въехав в Хатукай, словно рассыпавший свои дома под лесом, они сразу узнали усадьбу князя и подъехали к кунацкой.

Гостям быстро подали медный сосуд с водой и таз. Выждав время, приветствовать их вышел сам Хатикоепш. Опасения Дзепша не подтвердились: князь узнал Тамбира и был с гостями радушен.

— Валлахи, Тамбир! Ты оказался настоящим мужчиной, сделал, как обещал, приехал меня навестить, да еще с друзьями.

Пусть же твои друзья станут и моими. А пока отдохните с дороги.

В эту минуту раздались ружейные выстрелы.

— Что там случилось? — окликнул слугу озабоченный князь.

Гости насторожились.

— Зиусхан,— ответил байколь,— наверно, княжичи забавляются на окраине аула, причин для беспокойства нет.

— Не говори «наверно», а иди и узнай,— строго приказал князь.

Выстрелы однако больше не повторились, и все успокоились.

Был час, когда с пастбищ возвращались стада. На улице слышались крики погонщиков. Уютно, удобно в домике князя, но все же нельзя было не заметить, что князь чем-то обеспокоен. Какая-то тайная забота не давала ему покоя. Он украдкой поглядывал на дверь и часто к чему-то прислушивался.

Ночью, когда Хагур и Тамбир остались наедине, Хагур спросил друга:

— Ты заметил, что князь что-то от нас скрывает?

— Не обязан же он рассказывать гостям то, что хочет скрыть. Но я тоже заметил, что в этом доме что-то нечисто. Кажется мне, нехорошее дело здесь совершилось, но спрашивать у князя об этом не надо.

— Я спросил о выстрелах уорка, который сидел рядом со мной; тот ответил, что ничего не слышал.

— Все в ауле слышали, а он — нет. Глухой, что ли?

— Ничего, утром все узнаем...

Так оно и было.

К дому Хатикоепша подъехало трое всадников, одетых както странно, не по-адыгски. Они поприветствовали князя, но спешиваться не собирались. Князь подошел к ним и встревоженно сказал:

— Сбылись мои опасения... Добро пожаловать, дорогие гости! Более дорогих, чем вы, у меня в доме давно не было.

Всадники помедлили, потом старший из них, что был посередине, заговорил по-русски, а смуглолицый стал переводить на кабардинский диалект.

— Мы посланы генералом-аншефом Александром Васильевичем Суворовым... Вчера вечером, зиусхан, ваши княжичи стреляли по солдатам российского императора. Генерал-аншеф Суворов предупреждает: если такое повторится, это вам не простится. Все вы будете строго наказаны.

Всадники круто развернулись и уехали.

Хатикоепш растерянно смотрел им вслед, потом обернулся, окинул гневным взглядом двор, будто призывая кого-то. Трое мужчин, выглядывавших из-за сарая, тотчас спрятались.

Отошла от окна в своей комнате и княгиня.

Князь посмотрел на окно кунацкой: не слышали ли его разговор с русскими гости?

— Эй, кто там?!

Из-за плетня появился старший байколь, трусцой подбежал к князю.

— Где княжичи? Пусть седлают коней и едут за мной. Сейчас же!

Хатикоепш направился туда, где Лаба впадает в Пшиз. Он был сосредоточен, словно ехал один. Мысли его были там, где стояло войско российского императора. «Вот уж оболтусы, вот безмозглые, что надумали! А если бы генерал не оказался таким сдержанным и хорошим человеком, если бы он приказал своим солдатам ответить на выстрелы княжичей? Да еще из пушек? Что бы тогда было? Сколько людей наших они могли побить из-за их глупости!»

Вдоль правого берега Пшиза двигалась колонна русских солдат. Офицеры посматривали в сторону князя, жестикулировали, видимо, отдавали солдатам какие-то приказания. «Что они собираются делать?» — встревожился князь. Оглянулся и увидел, что вслед за ним двигались не только княжичи, но и уорки, и вооруженные тфокотли.

— Вы с ума сошли?! — закричал князь. — Назад! Чтобы и духу вашего не было! А то баткели подумают, что мы собрались с ними воевать. Назад, быстро!

Адыги ускакали, и на том берегу стало спокойнее. Переправившись через Пшиз, Хатикоепш и его спутники подъехали к группе офицеров. Те через переводчика сказали Хатикоепшу, что его приглашает генерал-аншеф Суворов. Князя проводили к полководцу.

— Зиусхан-инерал! — обратился князь. Но, увидев, что княжичи еще сидят на конях, закричал на них: — С коней, бессовестные!.. О зиусхан-инерал, предводитель императорского войска! Твои посланцы сказали мне, что трое моих бесчестных княжичей побеспокоили тебя и твое войско. Я сам привел их к тебе, прости нам, инерал, чье имя славится по всему Кавказу. — И, не дожидаясь ответа Суворова, Хатикоепш обернулся к княжичам: — Видите, бессовестные, этого великого инерала, его могучее войско?! Как вы посмели поднять на них свои руки! — Князь, выхватив кнут, с силой стеганул сначала одного, потом второго и третьего княжича. — Получайте, глупые, бесчестные! И смотрите, чтобы этого никогда не повторилось! Убирайтесь отсюда, вы недостойны стоять перед инералом!..

VII

Говорят, если девушка умна, она учится быть женщиной у матери. Агура сначала во всем подражала матери, а потом — Цицаре. Можно без преувеличения сказать, что в последние годы, когда Цицара стала хозяйкой дома, Агура росла в семье Тамбира. Если спросить ее, она, пожалуй, и не ответит, почему ей так нравится Цицара. Нравится, да и все тут. Особенно они подружились, когда пришла Агуре пора прихорашиваться, иметь

свои девичьи тайны. Когда у Цицары родилась девочка, Агура стала бывать в их доме еще чаще. Пеленала малышку, пела незатейливые песенки, забавляла...

В семье Тамбира росли две девочки. Старшая как-то незаметно повзрослела. Агура стала реже ходить к Цицаре, потому что ее все чаще приглашали на вечеринки, на свадьбы. Она так хорошо пела и танцевала, что скоро стала верховодить среди девушек, без нее не обходилось ни одно веселье.

Была и другая причина, почему Агура стала реже ходить к Цицаре,— Михаил Некрас. Неудобно девушке ходить в дом, где живет взрослый парень. А если этот парень тебе не безразличен, и вовсе стыдно с ним встречаться.

Пока Михаил ездил с друзьями в Бесленею, Цицара и Агура отвели душу, наговорились, ведь никто не мешал встречаться — ни Мишка, ни Тамбир.

Цицара осторожно заводила беседы о Михаиле и заметила, что Агура всякий раз смущалась, краснела и отмалчивалась. Ясно — Михаил нравился ей, и может быть, девушка ждала, когда он придет к ней свататься.

О многом за эти дни переговорили они, но о том, что Михаилу надо жениться, Цицара не обмолвилась ни словом. Смущало ее то, что Тамбир после возвращения из Темиргойи не произнес ни слова о женитьбе Михаила. Может, нашел в Темиргойе когонибудь? Трудно догадаться о планах мужчины. Непонятно, чего ждет и Михаил. Лучше Агуры он все равно никого не встретит. Из этой девушки получится прекрасная жена, кто-кто, а Цицара об этом знает.

Несколько дней Цицара провела в ожидании. Прошла неделя, а Тамбир все молчал. Как-то вечером, в сумерки, Цицара вышла из дому. Окинула взглядом свое хозяйство: все было на месте, двор чисто подметен. Чтобы развеять скуку, решила почистить коня Тамбира. Пока она вытирала его жгутом из сена, муж вернулся домой. Увидев жену за таким занятием, он рассердился:

— Сколько раз я говорил тебе, чтобы ты бросила эти мужские привычки? То плетешь плетень, то чинишь уздечку, то укорачиваешь стременной ремень. На, надень еще и мою шапку. Тебе не стыдно перед людьми? А мне уже стыдно показываться им на глаза!

— Будь проклято это дело! — Цицара бросила жгут, не обижаясь на мужа. Она сознавала свою вину. — Привыкла, не могу избавиться. Ты, Тамбир, прав. Постараюсь себя пересилить.

Тамбир не впервые злился, замечая у жены мужские замашки. Впервые он заметил их еще тогда, когда привез ее к себе в дом. Сперва был удивлен, потом ему стало неприятно. Вначале Цицара ничего не замечала за собой, просто женская одежда казалась ей неудобной, при ходьбе мешал подол платья. В отсутствие мужа она, таясь от чужих глаз, иногда надевала

его брюки. Тамбир увидел и это. Он частенько думал о том, что Цицара лишена женской мягкости, движения и жесты ее были грубы, как у мужчин. У них уже росли дети, а женственность в Цицаре так и не пробудилась. Сегодня он не выдержал, высказал жене все, что накипело. Увидев, как она опечалилась и побледнела, Тамбир пожалел, что был так резок, но чувствовал свою правоту. Конечно, Цицара не виновата, что так сложилась жизнь, пришлось все делать самой. Но ведь они уже давно вместе, теперь у нее есть муж, который о ней заботится, пора ей снова стать такой же мягкой и ласковой, какой она была в самом начале. Теперь у них растут дочери, а дочери всегда берут пример с матерей.

Цицара неожиданно расплакалась, и это примирило с ней Тамбира. «Аллах свидетель, я желаю ей только лучшего, пускай поплачет».

Цицара вытерла слезы:

— Довольно, Тамбир! Я не подойду больше к лошади. Пойдем в дом, ужин стынет. Мишка и Натар как выехали после завтрака, так до сих пор и не возвращались, жду их не дождусь.

— Не волнуйся из-за них,— мягко сказал Тамбир. — Они недалеко уехали, скоро приедут.

Цицара подала на ужин сыр, четлибж и пастэ, поставила грушевый сок.

— Сегодня у тебя богатый стол,— Тамбир искренне желал чем-нибудь утешить жену.

— Я готова сделать все что угодно, лишь бы тебе понравилось.

— Наверно, этот ужин в честь гостя? — поддразнил жену Тамбир.

— Гость приносит в дом счастье, но Натара я гостем не считаю. Говорят, гость, пробывший в доме три дня, становится членом семьи.

— Засидевшийся гость надоедает хозяину. Тебе не надоел Натар?

— Натар не из таких,— возразила Цицара. — Умный парень! Если бы ты слышал, как он говорит с Мишкой по-баткельски! Будто это его родной язык.

— Тогда хорошо! — улыбнулся Тамбир Цицаре. — Ты вот что, не стой надо мной, а принеси табуретку да садись рядом, вместе и поужинаем.

— Что ты,— смутилась Цицара. — Увидит кто, разболтает аулу, что муж и жена сидят за одним столом, будто они равны.

— А разве они не равны? — лукаво спросил Тамбир.

— Нет, конечно! — горячо вскричала Цицара. — Аллах дал мужчине силу и поставил его во главе семьи. Или ты забыл, что я женщина, и принимаешь меня за мужчину?

— Я принимаю тебя за женщину,— успокоил Тамбир

жену. — А попросил, чтобы ты разделила со мной еду, только в знак примирения, чтобы ты на меня не сердилась.

Цицара послушно отломила кусочек хлеба и, обмакнув в соус, съела.

— Спасибо,— чинно сказала она. — Мы поужинаем вместе с Нэфипс. — И, вытерев губы, добавила: — Что же ты о Мишке мне больше ничего не говоришь?

— А о чем говорить? — спросил в свою очередь Тамбир. Он отлично понимал, что хочет услышать от него Цицара, но ему не хотелось сейчас говорить на эту тему.

— Не помнишь, о чем с тобой толковали? — удивилась Цицара непонятливости мужа. — Об Агуре. Она очень хорошая девушка. Мне очень нравится, я бы хотела видеть ее у себя в доме.

Тамбир ответил коротко:

— У Мишки есть невеста. Девушка из его племени. Осенью он женится.

— Как же я буду жить с ней, не зная ее языка? Тогда выходит, я и поговорить с ней ни о чем не смогу? Так и будем жить, как немые?

— Выучишь ее язык. Или она выучит наш, ты ей поможешь. Смог же Мишка научиться нашему языку, и она сможет, и ты, если надо будет. Язык для людей не преграда.

— Хочешь знать мое мнение? Не позволяй Мишке жениться на ней. Зачем вводить в дом чужого человека? Пусть лучше женится на Агуре,— совсем расстроилась Цицара. — Хочешь, я сама поговорю с ним, если тебе неудобно? Он послушается меня, я знаю...

— Нет,— Тамбир поднялся. — Это дело решенное.

VIII

Чем ближе был день свадьбы, тем печальнее становился Михаил. Он видел, как недовольна его выбором Цицара, и ему было тяжело идти против ее воли. Хотя Тамбир во всем поддерживал своего младшего друга.

Девушка была согласна выйти за него замуж. Все необходимые вопросы уже обговорены. Трудности были связаны с матерью невесты. Она не хотела отпускать единственную дочь так далеко. Мать решила ехать вместе с дочерью, куда бы муж ее ни увез. Неважно, что адыги не знают русского языка. Михаил ведь тоже не знал их языка, а ужился с ними и язык выучил.

Михаил предупредил русских, чтобы они не приняли всадников, едущих за невестой, за врагов, сказал им, в какой день они поедут. Его мучило одно — разрешат ли ему привезти жену в Абадзехию? Но и на аульском, и на всеабадзехском хасе ему сказали: жену привозят в дом мужа. Мишка стал жителем Абадзехии, так что он волен поступать так, как ему хочется. И добавили, что не будут чинить препятствий и приезду мате-

ри, если так хотят Михаил и его невеста. Труднее всего было сломить Цицару. Но сколько она ни плакала, пришлось согласиться.

— Мишка должен жениться на той, которую любит, а не на той, какую ты ему укажешь,— отрезал Тамбир.— Вспомни, как было у нас с тобой? Чувство, возникшее между двумя, не спрашивает, кто твой любимый — турок, адыг или урыс.

— Согласна, но как же его мать? Уживется ли она с нами? Трудно это пожилому человеку.

— Мишка-то ужился, уживется и мать. Как ей не ужиться, если дочери хорошо?

— Покарай меня аллах, Тамбир, сердце твое стало баткельским!

— Не говори так. Сердце есть сердце, оно одинаково у всех людей. И болит одинаково, и радуется... Когда дед Мишки, старый Некрас, привел на берег Пшиза две тысячи людей, из тех, что боролись за свое мужицкое дело с императором, он не спрашивал, кое у кого сердце: урысское, адыгское, турецкое. Они жили среди тех людей, к которым пришли, на земле Кавказа. Жили со всеми дружно, по-братски. И сейчас живут хорошо. Сеют хлеб, растят детей, хоронят покойников, придерживаясь своих обычаев и уважая обычаи других. Что же тут плохого, что у них вера своя? Наши деды говаривали: пусть попадет в беду тот, кто лишил нас белого сала и заставил перейти в другую веру, оставив веру древних предков. Я жил у баткелей, ел их пищу, ходил с ними в походы, а в походах всякое бывает, и баткели ни разу не оставили меня в беде, я всегда чувствовал, что рядом друзья, которые не отличают меня от своих. А отец Мишки, сын Игнатки Некраса, тот меня любил, как сына. Честные люди, справедливые и жили хорошо, пока царь не настиг их на Кавказе... Императрица Катарина присылала гололицего инерала Суворова сказать, что прощает их, но они не захотели возвращаться, ответили, что им хорошо с адыгами.

Цицара задумалась:

— Ты хорошо рассказал, я поняла тебя. Поступай как знаешь. Слава богу, что я Агуре ничего не сказала о Мишке. Пусть будет по-твоему. А скажи, гололицый инерал не затеет с нами войну? Если затеет, совсем худо будет Мишке, его жене и ее матери.

— Баткели не будут против нас воевать, если мы не станем их обижать, как сделали княжичи Хатикоепша... Теперь о Мишке, о его семье. Думаю, мы построим на краю нашего огорода дом для них. Люди помогут нам, я уже со многими разговаривал.

Тревожился Михаил. Он столько лет прожил здесь, что аул стал ему родным. И люди, и каждая тропинка. Даже дворовые

собаки не лаяли — свой человек идет. Небо Абадзехии стало его небом, народ Абадзехии — его народом. А вот невеста, ее пожилая мать — как им тут покажется, не затоскуют ли по родным, по своим хатам? Сумеют ли породниться с людьми иной веры, иного, непонятного им языка?..

— Хватит, Мишка, не мучай себя,— пожурил его Натар, приехавший на свадебные торжества. — Все обойдется, вот увидишь!

— Верно говорит Натар,— поддержал друга Сабех. — Давайте о другом. Я уже приготовился к свадьбе баткеля. Слушай, Мишка: горько! Горько! — выпалил он по-русски.

— Молодец, хорошо,— похвалил Михаил, и Сабех с Натаром повторили эти слова.

Ребята весело рассмеялись, повеселел и Михаил.

В дом Тамбира стали съезжаться на свадьбу гости. Ехали из дальних и ближних аулов. Ехали с веселыми добрыми словами и хорошими подарками для молодых.

Настроение у всех было особое — Абадзехия женила своего приемного сына, оказывая ему и его невесте адыгейские почести.

Прибыл на свадьбу и офицер российской императорской армии, кабардинец Исмаил Атажукин. Вместе с ним приехало двое русских офицеров. На всех трех горели эмалью и золотом ордена, медали, блестели на плечах погоны. Абадзехи дивились необычным одеждам и украшениям российских офицеров. Им было приятно, что сам генерал повелел офицерам прибыть на свадьбу Михаила, прислал молодым богатые подарки — много разной материи, сафьяна, горевшую золотом деревянную и фарфоровую посуду и сияющий, как полная луна, сосуд с трубкой — самовар. Удивленно смотрели люди на этот сосуд и восхищались тонкой работой российских мастеров. А еще генерал приказал посланцам, чтобы передали всем абадзехам, всем адыгам спасибо за доброту к русским людям. Сказал: «Пусть эта свадьба еще больше сдружит наши народы, породнит их».

Злобился Татау, стоя у своих ворот, но делать нечего, приходилось улыбаться. И сосед его Кушук тоже злобился, но улыбался людям, проходившим мимо, показывал, будто и он доволен, радуется свадьбе.

Когда вдалеке показалась свадебная процессия, все, кто мог сидеть на коне, поскакали навстречу, поскакали, чтобы оказать ей уважение, повеселиться вместе со всеми.

— Дай бог, чтобы невеста принесла нашему аулу счастье,— сказал Татау, а сам подумал: «Бессовестные, гяурке устраивают свадьбу. Пусть аллах навеки сомкнет уста поющих сейчас свадебную песню! Срам, срам! На свадьбу пригласили гололицых гяуров».

Подошел сосед, и он сказал:

— Хорошо, когда вместо драки в ауле свадьба, хорошо, что мы живем в мире с баткелями. У-у, какая у них большая армия, сколько пушек! Слава аллаху за мир, который он посылает нам!

— Слава, слава аллаху! — согласно кивнул головой в кудлатой папахе Кушук. — Но как расходились наши тфокотли, какую богатую свадьбу устроили баткелю — на всю страну! Такой свадьбы еще у нас не было.

— Да, да, богатая, невиданная свадьба. Офицеры баткельские прибыли. А кабардинец Атажукин — в русских офицерских одеждах; похоже, совсем запродался баткелям, их веру принял.

— Раз в офицерской одежде, значит, принял христианскую веру... Пойдем, Татау, встретим невесту.

— Я бы с большой радостью, но в пояснице такая боль, что не могу сесть на коня, а идти пешком мужчине не пристало.

— Вели старухе нарвать травы бебеж и сделай из нее припарку, как рукой снимет.

— Спасибо! Спасибо! Пойду делать припарку.

Однако не ушел, потому что свадебная процессия была уже совсем близко и ему хотелось, чтобы его видели среди встречающих. Зачем накликать на себя гнев тфокотлей, вон как они празднуют...

Увидев на коне невесту, одетую в белые, как снег, одежды, он все-таки не выдержал и отвернулся, шепча про себя молитву. А когда все проехали, он дал себе волю, благо никого рядом не было:

— Тьфу, поганцы!.. Фу, как завоняло баткельским духом! — и прытко пошел к дому.

Глава шестая

1

Нелегко быть великим бжедугским князем. День ото дня, год за годом набирался Алкес житейского опыта, приходило умение управлять. Заботы старили, седела голова. Слава аллаху, что в эти годы не было войн, стало спокойнее и на земле соседей, меньше ссорились между собой вечно чем-то недовольные князья, мирно, без единого выстрела заканчивались ежегодные хасе.

Горе, общие трудности сближают людей. Таким горем явилась чума, пронесшаяся над землей адыгов, забравшая тысячи жизней. Мужество, проявленное князем в тот страшный год, принесло добрые плоды: спасло страну, далеко за пределы Бжедугии разнеслась слава бжедугского князя.

Год испытаний миновал, наступили новые времена, появились новые заботы. Князь никогда не был особенно близок с тфокотлями, разве только во времена своей молодости, когда

еще жил под крылом аталыка и родного отца и ему не нужно было принимать самостоятельных решений. Теперь он отдалился от них. Между князем и тфокотлями пролегла пропасть. Как это случилось, он и сам не знал, но пропасть чувствовал, она его мучила. Винил он во всем тфокотлей. «Разве мало добра сделал я этим неблагодарным? И все равно князь нехорош. Каждый, кому не лень, лезет в его душу. Нет должного страха перед божьим посланником. Ведь князей назначает сам аллах. Да разве втолкуешь это безбожникам?» — рассуждал Алкес.

Свою обиду он высказал князю Меджиру, который заехал к нему, чтобы повидать сестру, а заодно узнать у Алкеса новости.

— Значит, по-твоему, зиусхан, чтобы тфокотли нас почитали, нужна новая чума? — спросил князь.

— Не знаю почему, но ты понял мои слова неверно. Может, я туманно высказал свою мысль... Когда меня избрали великим князем, я очень хорошо относился к тфокотлям, но сколько ни делай людям добра, им все мало. Больше того, если они поймут, что ты мягок с ними, сядут на шею. Да вот пример: по свадебному обряду я породнился с Мышоковыми. Это было выгодно и им, и нам. Казалось бы, они должны держать мою сторону, сторону родственника, так нет же — тфокотли им дороже. Не скажу, что враждуем с ними, но и друзьями не назову. Как говорится, если вспыхнет мой дом, на помощь мне не придут.

— Как же ты думаешь дальше жить, зиусхан? Так и будут они лежать у твоего порога злыми псами?

— Пусть лежат. Постараюсь не наступать им на хвосты,— Алкес улыбнулся своими холодными и насмешливыми глазами. — Пройдет время — и они станут беззубыми... А недавно у Мышоковых родился сын. Я не поехал к ним, только подарил хорошую кобылицу и колыбельку. Мне потом передавали, что Мышоковы были довольны.

— А не обиделись, что ты не приехал?

— Может, и обиделись, но подарки-то приняли, не вернули обратно, а большего мне и не надо. Пусть люди знают, пусть понимают сами как хотят... Мы все заискиваем перед своими тфокотлями, перед уорками, а вот в Турции, в этой большой стране, все совсем иначе... Был я в гостях у паши Селимчерия Третьего. Часа два сидел. Был там и Хасан-Мурад. У нас он такой важный, а у паши-то не смел даже на краешек стула присесть — стоял как столб. Да и все стояли, кроме нас с пашой. И молчали как рыбы, рта никто не посмел разинуть — только кланялись, кланялись и почтительно улыбались, когда мы разговаривали с Селимчерием Третьим. Наши с тобой дома по сравнению с дворцом паши — сараи! Комнаты, комнаты. Потолки и двери такие высокие, верхом можно ездить. И так эти комнаты отделаны, что глаза слепнут от красоты. У каждой двери стоят вооруженные воины. Одеты пороскошнее наших князей. Оружие отделано золотом да серебром. Надо бы и нам кое-что перенимать у паши: как живет, как держится с поддан-

ными. Во всем порядок, строгость и почтение. Куда нам до него! Но неужели мы беднее паши, или у нас мало людей? И мы все можем сделать, выписать заморских мастеров, которые построят нам дворцы. А еще,— Алкес понизил голос, глаза его заблестели,— я видел там такое! Когда после мяса подали фрукты, перед нами стали танцевать нагие девушки.

— Совсем? Как мать родила?! — плотоядно вспыхнули глаза и у князя Меджира.

— На бедрах была прозрачная ткань, едва закрывавшая лоно, а на груди совсем маленькие лифчики.

— Во-ви-ви! — воскликнул Меджир. — Ты такое видел? И девушки, наверно, красивые?

— Красавицы... Я рассказал об этом твоей сестре. Ой, как она напустилась на меня: бесстыдник, как ты не ослеп! Тебе что, мало прелестей своей супруги?

Рассмеялся Меджир:

— Разве может сравниться жена с чужой, красивой женщиной? Недаром баткели говорят, что в чужую жену черт ложку меда положил! Я — князь, ты — великий князь, ну и что? Как мы живем, что видим хорошего?

— Сладко жить все любят! Но подумай, князь, если мы начнем с тобою вытворять такое, что станут делать уорки, а потом и тфокотли, а? Те же баткели говорят, что рыба с головы гниет. То-то. Нет, дорогой князь, нам это не подходит. Если хочешь полакомиться, бери деньги, поезжай в Турцию, поживи там немного, отведи душу, а у себя заводить этого не будем. И без того забот полон рот... Теперь же давай поговорим о другом. Селимчерий Третий интересовался шапсугами, спрашивал, как они живут, как относятся к гяурам, по душе ли им турки. Расспрашивал о шапсугах, наверно потому, что я воспитывался в Шапсугии. Но откуда это ему известно?.. Потом познакомил меня с молодым адмиралом Джанклы.

— Интересно, чего он хочет? — Меджир стал серьезным, насторожился. — Селимчерий — хитрая лиса, понапрасну слова лишнего не скажет. Что он задумал?

— Я тоже спрашивал себя об этом. И еще... Никому об этом не говори — ни Батчерию, ни твоей сестре. Это большой секрет. Паша и адмирал знают, где и как расположены войска Суворова. Они все до мелочей знают о свадьбе Мишки Некраса, знают, что на ней были русские офицеры. Сам император расспрашивал о Тамбире и Мишке, о дружбе баткелей с адыгами.

— Ты посмотри, каким знаменитым стал Тамбир! Лучше бы он занялся женой, говорят, она быка сама валит с ног и режет его, как ловкий и сильный мужчина... Нехорошую ты весть привез, зиусхан, тревожную.

— Думаю, как бы турки не втянули нас в какую-нибудь заваруху. Они давно зарятся на кавказские земли, но баткели не хотят их пускать сюда. Вот и выбирай тут. Турки за морем, а войска Суворова под боком. Чью сторону держать? Баткелей?

Они гяуры. Турок? Пока они переплывут в своих широких штанах через море...

— Лучше всего жить отдельным государством, зиусхан! Но как это сделать? Мы даже крымскому хану не ровня. У него держава, деньги свои чеканит.

— Зачем нам деньги, Меджир? Мы за кожи и шерсть можем выменять все что угодно — порох, соль... Правда, деньги сунул в карман и поехал, а с кожами? Не будешь же с собою повозки с кожами таскать? Тут твоя правда — государство без денег не государство.

— Баткели тоже чеканят?

— А как же! Императрица Катарина — великая императрица! Так говорят о ней в Турции.

— Валлахи! Если наши женщины узнают, что огромной страной баткелей правит женщина, они нас со свету сживут.

— Если бы только эта забота, Меджир, мы бы беды не знали. Урыссия и Турция — два льва. А мы между ними. Вот и думай: что нам делать, чью сторону взять?..

II

Днем, когда ветер утих, выпал снег.

Показалось и солнце, радуясь белизне снежного покрова. На небе ни одной тучки, которая могла бы помешать солнцу. Дым над крышами поднимался прямо и растворялся без следа в бесконечной синеве неба. Ребятишки, давно ожидавшие снега, радовались ему, как долгожданному подарку.

Тфокотль Ламжий степенный джигит, а тоже радовался зиме. За зимой придет весна. Надо уже сейчас готовить семена, скоро-скоро заснеженное поле зазеленеет.

Закончив работу во дворе, он сел покурить. Только присел, как выбежал его младший сынишка в ситцевой рубашке, в латаных-перелатаных брюках, на голове перешитая отцовская папаха. Мальчик стал утаптывать снег перед крыльцом.

Ламжий поднялся и стал наблюдать за сынишкой. Острая жалость кольнула сердце: мальчишка раздет-разут. «Как я живу на свете?! Не могу одеть двух сыновей и дочку. Старший вырос в моей одежде, прошлой осенью первый раз за все свои шестнадцать лет надел новые брюки. Девочка донашивает материнские платья. А самый младший всю зиму сидит на печи, выскакивает изредка, чтобы поиграть».

Мальчишка, погревшись в доме, снова выбежал и заметил отца.

— Сынок! — позвал его отец. — Поди домой, повяжи материну шаль, будет теплее.

— Мне не холодно,— смутился мальчик.

— Я знаю,— Ламжий побоялся обидеть мальчика, которому он, к своему стыду, не мог купить кафтан. — Я прошу тебя выполнить мою просьбу.

Вечером, не зажигая свет, семья сидела у теплого очага. Ламжий сказал жене:

— Валлахи! Я не согласен с теми, кто говорит: если потрудишься — поспишь, а не потрудишься — узнаешь беду. Мы вот с тобой трудимся, а не спим и всю жизнь знаем только недостатки да недохватки. Живем, не ведая большего удовольствия, чем тепло очага. Не годится так! Сами мучимся и детей мучим. Посмотри, они одеты у нас, как нищие.

Женщине горько было слышать эти слова, но она только опустила голову.

— Может, заняться пчелами? — рассуждал муж. — Заимею несколько ульев, смогу получить мед, он ценится на базаре дороже, чем зерно. Не знаю, право, что делать, с чего начать... А может, нам уехать в Шапсугию или Абадзехию?

— Разве там лучше? — спросила жена.

— Мне кажется, тфокотли там живут дружнее. Нет князей, уорков.

— Не сможем мы начать все сначала,— грустно возразила жена. — Хоть и трудно нам, но мы живем в родном ауле, здесь есть родственники, случись что с тобой или со мной, родные помогут. А кому мы будем нужны на чужбине? Вот недавно братья Мышоковы прислали нам шубу, правда, не новую, но и за то большое спасибо. Я сделала из нее шубу для сына. Не забывают нас братья твоей матери.

— Да, родных мы бы лишились, но не стало бы и князей. Видишь, как они ведут себя? — разгорячился Ламжий. — Ведут праздную, разбойную жизнь. На днях проходил мимо усадьбы Хаджемуковых, нагляделся на них: устали от безделья, топчутся на одном месте с красными от бузы глазами. Мерзабеч и тот строит из себя уорка. Его сын в день по два раза меняет коня, как женщина меняет платья. Правда, Алкес лишил его звания старшего байколя. Мерзабеч, конечно, переживает, но виду не показывает.

— А как ведет себя новый байколь?

— Так же, как Мерзабеч. Вместе с новым званием они как будто получают новую шкуру. Новый байколь более осторожен, но я думаю, это до тех пор, пока во вкус не вошел. Говорят, человек он тщеславный. Но пусть не забывает, что однажды произошло с сыном бесленейского князя.

— А что произошло с сыном этого князя? — спросил отца старший сын, прислушивавшийся к разговору родителей.

— Князья и уорки способны на все, сынок,— начал Ламжий. — Бесленейский князь был в свое время самым жестоким из всех князей. Но время сгибает спины и князьям и тфокотлям. И вот князь состарился и удалился от дел на покой. Но у него был сын, а сын всегда дальше отца идет. И захотелось ему, чтобы и о нем гремела по всей земле слава, чтобы и его имя наводило на людей ужас. «Как показать себя? Какой бы поступок совершить? Такой, что не снился ни одному князю,

ни одному уорку?» — раздумывал сын. И решил убить воспитательницу, свою вторую мать, вскормившую его своим молоком.

— Не дай бог, что он задумал! — испуганно вздрогнула жена Ламжия.

— Я же сказал, что князья и уорки способны на все,— повторил он. — «Того, кто убил свою мать, будут бояться. Так и начну княжить,— решил молодой князь. — Имя мое надолго запомнится людям». Как-то он приехал к своей названой матери и говорит: «Мать, я нашел что-то очень интересное, никем не виданное, пойдем со мной, я хочу тебе это показать»,— и повел ее на речку. Когда они подошли к высокому берегу, князь снял с ее головы платок и связал ей руки. «Что ты делаешь со мной, сын мой?» — спросила она. «Мать, ты видела, чтобы с этого берега кто-нибудь когда-нибудь сбрасывал свою мать?» — так ответил он. «Не знаю, сын мой, не видела, не слышала такого». — «Тогда именно это я тебе и покажу. Я совершу то, чего до меня никто не совершал». Старая женщина заплакала: «Что я тебе сделала, сын мой, почему ты хочешь убить меня таким жестоким образом? Не я ли кормила тебя своей грудью, недосыпала ночей, берегла от болезней?!» — Ветер растрепал ее седые волосы.

В эту минуту на дороге показался всадник. Увидев связанную женщину, он повернул коня и поинтересовался, что происходит. «Иди своей дорогой, это тебя не касается»,— ответил князь.

Старая женщина заплакала еще громче.

«Ты, собакой рожденный двуногий, видел ли когда-нибудь человека, который бы проехал мимо связанной женщины и не помог ей, не утер ее слезы?» — закричал всадник. А надо вам сказать,— пояснил Ламжий, прервав рассказ,— что всадником этим был тфокотль Нарыч. А кто он такой, мне нет необходимости говорить, слава о его мужестве и так гремит по всей адыгской земле. А теперь слушайте, что было дальше, хотя я чувствую, что вы и так знаете, чем все кончилось.

— Он освободил женщину, а князя, наверно, столкнул в реку? — спросил старший сын.

— Да, так оно и было,— подтвердил Ламжий. — Но прежде он спросил старуху, кто он, этот человек, связавший ей руки. Она ответила, что ее воспитанник. «Пусть ни одна женщина не согласится больше воспитывать ребенка князя или уорка,— добавила она,— не то и с ней может случиться то же, что и со мной». — «Если так, будь моей матерью, я буду твоим названым сыном и не дам тебя в обиду!» — сказал ей благородный Нарыч.

Вот что случилось с князем, который хотел совершить самый необыкновенный «подвиг».

— Князь получил по заслугам,— твердо сказала жена. — Неужели можно поднять руку на свою собственную мать? Ни люди, ни аллах никому и никогда этого не простят.

III

Стояла середина зимы. Дул холодный восточный ветер, он сдувал с полей снег в овраги, на опушку леса, снег громоздился сугробами во дворах. Промерзшая земля звенела под копытами. Скот в загонах сбивался в кучу. Люди выходили на улицу по крайней необходимости, все больше сидели у жарких очагов. Даже соломенные крыши, казалось, горбились от мороза и походили на нахохлившихся ворон. Ветер подхватывал дымы, поднимавшиеся из печных труб, трепал, делал их похожими на черные гривы коней, словно устремлявшихся в небо.

Батчерий выехал из аула, надев теплую волчью шубу. Ветер так трепал ее полы, словно хотел раздеть князя. Конь, подгоняемый морозом и ветром, шел ходко, выбивая копытами звонкую дробь. Батчерий придержал коня. Обвязал шею концами башлыка, застегнул нижнюю пуговицу шубы. Потом дал коню волю.

Конь несся легким галопом. Взгорок, впадина — и вот он, лес, шумевший под ветром. Стряхнув с себя иней, он стоял черный и хмурый.

Батчерий проехал немного по лесной тропе и остановился. Деревья гнулись, скрипели и охали. Ветер то стонал, то свистел по-разбойничьи. Не по себе стало Батчерию, и он повернул обратно...

Прошло несколько лет с того дня, как воспитатель привез Батчерия в родительский дом. Жил он у Багдасара, чувствовал себя воспитанником, была у него семья, а теперь... Он уже взрослый человек. Семьи у него нет, потому что Алкес сам по себе, со своими великокняжескими заботами, со своей семьей. Мать?.. Она как-то отдалилась, жила замкнуто. Мать, которая не вскормила тебя своим молоком, не знает твоего детства, отрочества, какая это мать?

Батчерий понимал, что рано или поздно они должны расстаться с братом. Значит, нечего тянуть, надо жениться, надо отделиться от Алкеса и жить в своем ауле, быть самостоятельным хозяином.

В прошлом году Алкеса не было в Бжедугии несколько месяцев. Хасе не поручал Батчерию вести дела великого князя, но все так сложилось, что он сидел в его кресле, вершил его дела. Сначала советовался с матерью, а потом стал обходиться без нее, ему нравилась самостоятельность. Он скучал, если к нему не приходили уорки и тфокотли за советом, тогда он сам искал дело. Правда, за все эти месяцы ни один из князей не обратился к нему ни за советом, ни за помощью, видно, считали это ниже своего достоинства. Он подумывал, как приструнить их, как дать им почувствовать свою власть, но тут-то и вернулся Алкес.

И снова Батчерия стала донимать ржавчина одиночества. Он не знал, куда себя деть. Надоели бесконечные, пустые бе-

седы в кунацкой, бесцельные прогулки на коне, как сегодня. Раздражала спесивость и чванливость уорков, богатых тфокотлей. Единственной радостью было ожидание весенних княжеских гуляний, да и от них Батчерий быстро утомлялся...

Теперь ветер дул ему в спину. Конь перешел на неторопливую ленивую рысцу.

Ему скучно, но что же тогда делать тфокотлям? Они ведь только и знают — работа, работа. Тяжелая, безрадостная и однообразная. Работа до изнеможения, короткий отдых в кунацких. И бесконечные заботы: как прокормить ребятишек, как их одеть-обуть. Вот уж где настоящая тоска.

Совсем грустно стало на душе у Батчерия, он дал коню шпоры и пустил его в галоп.

Вскоре князь увидел всадника, скакавшего ему навстречу. «Ну вот,— подумал он со злостью,— не успел отлучиться из дома, как за мной уже посыльный. Алкес все считает меня мальчиком, боится, как бы меня кто не обидел. Кому я нужен?»

Навстречу скакал новый старший байколь Дердер. Батчерий закричал:

— Что тебе надо? Опять послали охранять меня?!

— Никто не посылал, просто я решил прогулять коня.

— Ты его так прогуливаешь, что бедный конь не знает покоя! — сердился Батчерий.

— Валлахи, зиусхан, напрасно ты такое говоришь! Конь и в самом деле застоялся. В такую погоду никто на нем не ездит.

— Виляешь, виляешь! Сколько раз я просил, чтобы ты говорил мне только правду! Вот и сейчас, если бы ты сказал, что тебя послали за мной, я бы не обиделся, но ведь ты опять лжешь!

Дердер виновато опустил голову:

— Что поделаешь, зиусхан, так и живем: делаем одно, говорим другое, а думаем третье. Конечно, лучше бы говорить правду, да и на душе спокойнее, но как ее скажешь?

— Спасибо тебе и на этом. Поворачивай коня, едем обратно.

Ему вспомнились слова Багдасара: «Надо тебе отделиться от Алкеса, но сначала женись. И подумай, какой аул выберешь. Это очень важное дело. Надо, чтобы он не стоял в стороне от дорог, иначе прокиснешь в одиночестве. Кому охота ехать за семь верст киселя хлебать? Но и слишком бойкое место тоже плохо, никакого покоя не будет».

«Если бы мне дали право решать, я бы выбрал аул Селтук. Он отдален от Туабго, расположен над Пшизом, лес рядом. Единственное смущает,— войско гололицего генерала по другую сторону реки. Ну да в этом нет большой беды, с ним можно подружиться, говорят, у них много пороха, свинца, соли. Князь Хатикоепш разбогател на этом».

Батчерий спешился, кинул поводья подбежавшему тфокотлю и пошел к матери. Княгиня Тлятаней сидела на кровати, обложенная подушками. В очаге ярко пылали дрова, от них тянуло

жаром. Старость уже одолела княгиню, кровь ее не грела, черты некогда красивого лица увяли, глаза выцвели, но ласковый мягкий взгляд остался прежним.

— А, сынок, приехал. От тебя так несет холодом, подойди, я потру твои щеки. И уши у тебя совсем холодные. — Для Тлятаней ее сын все еще оставался мальчиком.

— Я не замерз, тян.

— О, аллах! Что это за ветер, холодный, пронзительный? Прогневили мы аллаха... — продолжала сетовать Тлятаней. — Сынок, говорят, у Мышоковых родился сын, ты не поздравил их?

— Везет же этим нахлебникам Мышоковым,— поморщился сын. — Одни мужчины рождаются!

— Вели отвезти ягненка и поздравить их. Нельзя нам отворачиваться, хотя, конечно, Хаджемуковым они не ровня.

— Валлахи, я предпочел бы смерть, чем посещение их дома,— поднялся Батчерий. — Но аллаху было угодно, чтобы наши семьи сблизились, поэтому я все-таки пойду к ним. Ты помнишь, что первое посещение их дома закончилось для меня неприятностью? Алкес заставил нас помириться. Я послушался старшего брата, склонил голову, но сердце мое обходит их дом за три версты.

— Смотри, Батчерий, не показывай своей неприязни к ним, ты уже не юноша,— предостерегала княгиня.

— Этого я не сделаю. Но я твердо знаю, что Мышоковы не любят нас. Зря Алкес им доверяет.

Княгиня была довольна: молодой княжич здраво мыслит, разбирается в людях. Отец хотел женить его на девушке из Темиргойи, но покинул этот мир, не успев исполнить свой замысел. Раз нет отца, надо позаботиться матери и старшему брату.

Княгиня велела позвать Алкеса.

— Как твое здоровье, тян? — Алкес еще с порога улыбнулся ей, поднес стул и сел рядом, погладил матери руки. — Как спала ночью?

Княгиня Тлятаней не стала тянуть время и быстро сказала, зачем позвала его. Алкес ответил матери не сразу, задумался. Потом говорили о делах, о князьях, уорках, о предстоящем хасе, на котором нужно будет поднять вопрос о нехватке соли. Наконец Алкес спросил:

— Мать, почему ты волнуешься из-за Батчерия? Пусть живет свободно. Или он сам намекнул тебе о женитьбе?

— Не мне, а тебе он должен был намекнуть. Мне он ничего не говорил, но я хочу увидеть свадьбу сына и уже не жду для себя большего счастья, чем это. Скоро, скоро я последую за вашим отцом. Надо торопиться. Когда Батчерий родился, отец хотел ему выбрать невесту в Темиргойе...

— Темиргойя,— глаза Алкеса то теплели, то опять становились холодными,— меня пока не волнует. Женитьбой бра-

та надо укрепить абадзехскую границу. Как укрепили шапсугскую, где живут мои воспитатели. Я выберу время и обдумаю все на досуге. Все будет хорошо, тян.

Весна в этом году пришла рано. С утра до самого обеда еще шел снег, но потом выглянуло солнце и слизало его. Зажурчали ручьи. На пригорках исходила густым теплым паром земля. Пар был по-весеннему душистым, волнующим.

Тартан поглядел из-под руки вдаль и сказал младшему брату:

— Если солнце не станет прятаться за тучи, дня через три-четыре можно будет выезжать в поле.

— Надо быстрее вспахать и посеять, а то земля иссохнет,— добавил Мач.

— В этом году придется прихватить еще землицы, надо побольше сеять. Слава аллаху, в доме прибавился мужчина... Ну, я пойду к Ламжию, посоветуюсь, когда будем выезжать в поле. А ты хорошенько корми волов, им предстоит трудная работа. Выведи мне коня.

Сел Тартан на коня, и Мачу показалось, что старший брат стал чуть ли не вдвое крупнее. Мач и сам был не из маленьких. Весь род Мышоковых — парни один к одному, по силе никому в ауле не уступали. На праздниках никто не осмеливался состязаться с ними в борьбе...

Тартан приехал к Ламжию, но того не оказалось дома.

— Только начало светать, уехал в поле и до сих пор не возвращался,— сказала жена. — Заходи, Тартан, он вот-вот должен вернуться.

— Спасибо, Фиж, поеду-ка и я в поле. Там его и повстречаю.

Позеленел лес, набухли почки. На пригорках стала пробиваться первая травка — мать-и-мачеха, пырей, одуванчики.

На опушке показались первые костры — корчевали пни, жгли сучья. Земледельцы готовили новое поле.

Тартан обогнул лес, миновал заросли прошлогоднего, с растрепанными метелками камыша.

На той стороне Пшиза тихо. Никого из русских не видно. И пушек не видно...

Поднявшись на курган, Тартан заметил коня, пасшегося на краю поля. Ламжий ходил по зеленям, смотрел, как они перезимовали.

— Да подарит тебе земля щедрый урожай, Ламжий! — Спешился Тартан и направился к другу.

— Да разделишь ты тот щедрый урожай со мною! — радушно ответил Ламжий. — Озимые ничего, скоро тронутся в рост, а вот с пашней неважно.

— Почему неважно?

— Снега маловато, зимой ветер согнал его почти весь в овраг. Земля промерзла сильно. Придется ждать. А может, аллах пошлет теплый дождичек, и тогда все наладится — вовремя вспашем и вовремя засеем. Будем надеяться.

— Аллах милостив.

— Милостив аллах, но одной его милостью, Тартан, не проживешь. Надо нам с тобою засучивать рукава — придется в этом году поднимать целину, чтобы не поглядывать зимой в быстро пустеющие закрома... Помоги нам, всемилостивый, защити нас, всемогущий!

— Аминь, мой аллах! — проговорил Тартан.

Походив по полю, помяв в руках землю, они поехали домой.

— Ты чего, Тартан, все поглядываешь на ту сторону речки? — спросил Ламжий. — Ищешь там чего?

— Ничего не ищу. Баткелей что-то нету. Куда они ушли?

— Какое тебе дело до них?

— Если у твоего порога стоит войско, разве тебя это не беспокоит?

— Если хочешь знать правду, Тартан, меня это не беспокоит. Давай съездим туда, а потом вернемся в Туабго.

— Что нам там делать? Что я, баткелей не видел? — удивился Тартан. — Но, если хочешь, давай поедем. Говорят, Тамбир бывает у них чуть не каждый день. И что он там делает?.. Не видно войска. Наверно, солдаты поехали в Копыл усмирять некрасовских баткелей. Не понравились они своей непокорностью царице Катарине, вот инерал Суворов и повел туда войско...

III

В комнату Алкеса вошел старший байколь Дердер:

— Зиусхан, у ворот какой-то настырный тфокотль из Казанукая, он обязательно хочет видеть тебя. Говорит, очень важное дело.

— Какое у дармоеда может быть дело ко мне?

— Не знаю, зиусхан.

— Если не знаешь, нечего ко мне с этим и заявляться. Разузнай все хорошенько, тогда и приходи.

— Выспрашивал я его... Говорит, только тебе одному скажет, зачем приехал.

— Ишь ты, мудрец... Отец покойный говаривал: если тфокотль глупый, то уж настоящий дурак, а если умный, то по-настоящему умный... Интересно, чего он хочет? Наверно, приехал жаловаться на князя Казанокова. Жестокий, жестокий и безжалостный этот Казаноков. И очень своенравный. На что мой отец был человеком мудрым, но и тот с ним с трудом справлялся. Ох, будет еще хлопот с Казаноковыми! Когда на хасе решали дать мне титул великого князя, у, как вскипел

Казаноков со своими дружками. На дыбы встал! Однако отец сумел утихомирить их, сумел склонить хасе на свою сторону. Пусть счастливо живется моему отцу в светлом раю господа нашего... Бесит Казанокова, что не он главный член бжедугского хасе. Так и будет, пока я жив. Пусть он со своими друзьями нюхает запах пирога, но отведать его им не придется... — Алкес замолчал и тут же пожалел, что разоткровенничался при байколе. — Не надо бы тебе этого слышать, Дердер...

— Я ничего не слышал, зиусхан.

— Значит, у того дармоеда важное дело ко мне? Как быть? Принять его или не принять?.. — Алкес поднялся из кресла и стал прохаживаться по комнате.

Спокойное время было при отце, а теперь небо над адыгскими землями становится все мрачнее. Тфокотли не дают покоя. С одной стороны, тревожит Турция, с другой — русские войска за рекой Пшиз. Да еще абадзехи подливают масла в огонь. И с Батчерием нелады. Плохо, когда женщина вмешивается в чужие дела. Что может понять Тлятаней, если ее очи обращены внутрь себя, а окружающего мира не видят? Очень важно породниться сейчас с каким-нибудь сильным родом из Абадзехии. Заручиться поддержкой бородатых. Ох, не зря спрашивал турецкий султан о наших делах, о наших распрях. Знать бы, дружит он с теми, кто стоит за рекой, или враждует?

Шум, возникший за окном, отвлек Алкеса от тяжелых раздумий. Не торопясь вышел на крыльцо. «С тфокотлями тоже надо ладить, сейчас не то время, чтобы ссориться. В случае нужды они станут опорой»,— промелькнула мысль.

— Убирайся из княжеского дома, собака, я тебе сказал! — кричал Дердер на тфокотля, сидевшего на веранде.

— Никуда я не уйду, пока не увижу великого князя.

— На тебе князя! — угрожающе поднял плеть княжеский байколь. — Может, тебе самого аллаха сюда подать?

— Остановись, Дердер! — властным тоном приказал князь, появившись так внезапно, что присутствующие вздрогнули. — Что за шум вы здесь подняли?

— Я пришел к тебе, зиусхан, но меня не пускают,— пожаловался тфокотль.

— Как это не пускают? Пойдем,— великий князь с улыбкой повел его к себе. — Говори, что тебя волнует? О чем толкуют тфокотли, как живут? — спрашивал он его подчеркнуто громко, чтобы слышали все, кто находился во дворе.

Когда они зашли в комнату, тфокотль с любопытством стал осматривать княжеское жилище.

Было ему лет около пятидесяти. Одет бедно: старая шапка, из порванных чувяков торчит солома, брюки залатаны разноцветными лоскутами. Единственная ценность — кинжал в серебряной оправе. Да и тот, видно, не его, а взят у кого-нибудь

на время, так как тфокотль поминутно поправлял его рукой, как бывает, когда вещь непривычна.

Тфокотль не отводил восхищенного взора от большого ковра на стене, привезенного великим князем из Турции. С такой же жадностью разглядывал оружие, которого бы хватило для вооружения нескольких человек. Тфокотль растерянно переступал с ноги на ногу, так как под ногами тоже лежал ковер с красивыми узорами. Коврами не покрыт только потолок.

— Великий князь, пусть аллах умножит твои дни! — сказал тфокотль. — Я достиг цели своего приезда, будь здоров!

— Так быстро и легко достиг цели? — удивился великий князь. — Ты что, приезжал только посмотреть, как я живу?

— Не скрою от тебя, зиусхан. Казанукайские тфокотли прислали меня узнать, правда ли, что ты живешь, как в раю. Вернусь домой, расскажу, что увидел. Неплохо живет князь, ничего не скажешь, дом его полная чаша. Есть все, о чем только можно мечтать.

На одно мгновение глаза Алкеса исторгли холод. Он почувствовал в словах тфокотля скрытую угрозу, насмешку, но сдержал себя. На его губах снова появилась улыбка.

— Передай мою благодарность тем, кто тебя послал, я не знал, что они так беспокоятся о своем князе. Рай не здесь, конечно, он ждет нас в загробной жизни. Чтобы попасть в него, надо творить добро. Проявляя заботу о князе, твои друзья, и ты вместе с ними, сделали доброе дело, аллах это зачтет. Я тоже добром вспоминаю в своих молитвах казанукайских тфокотлей...

Несколько дней великий князь не мог отделаться от назойливых воспоминаний об этой встрече с тфокотлем. Тот уже уехал в свой аул, а князю все казалось, что он стоит в его комнате и смотрит на его богатые ковры. Тфокотль не только не испытывал стыда за свое праздное любопытство, но и никакого страха не проявлял, будто пришел к равному. «Зря я сердился на Мерзабеча,— сокрушался князь. — Старый байколь был прав, с тфокотлями надо быть построже. Только протяни палец, всю руку захватят».

Отвлек его от этих мыслей приезд брата.

Батчерий устал после длительной дороги, но, несмотря на это, вошел в комнату быстрым, пружинистым шагом. Густые, почти совсем черные усы делали Батчерия старше его двадцати четырех лет, сросшиеся на переносице брови придавали лицу волевое, жесткое выражение, хотя Батчерий был мягким, порывистым человеком.

— Новость, зиусхан, интересная,— начал Батчерий еще с порога. — Получилось не так, как рассчитывал Кульбакин: баткели-некрасовцы не остались жить в ауле, где расположены войска. Они переправились через реку и оказались на адыгской земле.

— Куда же они собрались? — в волнении спросил князь.

— Говорят, в сторону Шапсугии.
— А войско инерала?
— Оно осталось на той стороне, где и стояло.
— Валлахи, Батчерий! Интересные новости ты принес. А не знаешь, примут баткелей в Шапсугии или нет? Договаривались они с шапсугами заранее или те ничего не знают?
— Наверное, знают. Рассказывают, что среди тех, кто пошел против Кульбакина, было несколько адыгов.
— Наверно, абадзехи под предводительством Тамбира? — быстро спросил князь.
— Нет, зиусхан, Кульбакин и Тамбир — друзья.
— Интересные новости ты принес, зиусхан,— повторил Алкес. — Понравится ли гололицему инералу то, что некрасовские баткели ушли на адыгскую землю? Эти баткели из тех, кто когда-то восстал против своего императора. Так я слышал. А теперь они могут поссорить адыгов с инералом Суворовым.
Братья задумались.

IV

Князь Меджир, сын покойного Шерандука, с течением времени стал напоминать своего отца. Первые годы, как только он стал князем, жил мирно, никого не беспокоя. Сидел в своем родном ауле Тэмам, изредка показывался в Туабго. Спокойная жизнь сына стала настораживать отца, он видел, что нажитые богатства тают, но не пополняются. Шерандук стал бранить сына, но, так и не добившись успеха, покинул этот мир.

Таким неповоротливым оставался Меджир и дальше. Он давно знал убийцу своего отца, но это не сделало его энергичней. Когда Татау специально приехал к нему из Абадзехии, чтобы рассказать, что убийца его отца — Цицара, жена Тамбира, князь ответил:
— Недостойно мужчине обнажать саблю против женщины.
— Обнажи ее против мужа этой женщины, потому что кровь убитого легла и на мужа, и на его жену.
— Тамбир здесь ни при чем, и оставим этот разговор,— отказался Меджир.

Шли годы, семья князя росла. У него уже было шестеро сыновей и три дочери. Последний ребенок в семье родился, когда князю исполнилось пятьдесят лет. Как это свойственно всем мужчинам, он гордился сыновьями. Отказал желающим взять их на воспитание и всех до одного оставил в своем доме. А дочерей отдал в чужие семьи. Не отдал только самую младшую, и то потому, что на этом настояла жена.

Когда сыновья были маленькими, Меджир не знал забот, вечера проводил с ними. Подрастая, сыновья и дочери стали требовать не только отцовского внимания, но и кое-чего посущественнее: платья, брюки, шапки, шали и уйму других вещей. Сыновьям нужны были хорошие кони, вооружение, дочерям —

приданое. И Меджир расшевелился. Сам стал ездить по аулам и, возвращаясь, пригонял скот, привозил мед, шкуры.

Когда Джансур сообщила ему о новостях, что привез Батчерий, он в тот же вечер поехал к Алкесу и сказал:

— Не волнуйся, зиусхан, из-за некрасовских баткелей. Инералу Суворову тоже нечего делать на адыгейской земле. Да и не пустим мы его — вся Бжедугия поднимется против. Абадзехи и шапсуги тоже станут на нашу сторону.

— Слава аллаху, Меджир, что дело до этого еще не дошло!

Очень понравились Алкесу слова Меджира, он повеселел, приободрился и почувствовал себя сильным, настоящим великим князем, который заботится о своей земле, не дает ее в обиду недругам:

— На днях у нас гостил посланник инерала Суворова Кульбакин. Он сказал, что инерал настроен мирно. Кое-кому не по душе, что некрасовцы живут у нас. Но инерал не будет враждовать с нами из-за этого.

— Валлахи, у вас был такой важный гость, а вы ничего мне не сказали! — обиженно воскликнул Меджир. — Могли бы пригласить, я все-таки не последний человек в Бжедугии.

— Урысы приехали неожиданно. С ними был и твой враг Тамбир, потому я и не послал за тобой. Не сердись.

— Этот негодяй всюду сует свой нос! Как он посмел войти в дом моей сестры!

Великому князю не понравились слова «дом моей сестры». Не первый раз он слышал от Меджира эти слова, они оскорбляли его. Алкес терпел это, но сейчас сухо возразил:

— Хаджемуковы, зиусхан, ввели в свой дом женщину, но не переменили фамилии. Почему же ты говоришь «дом моей сестры»? Это дом великих князей Хаджемуковых, которые властны в нем делать что захотят.

Меджира бросило в пот, он готов был взорваться, но все-таки сдержал себя и примирительно сказал:

— Ты не ослышался, великий князь? Если я в самом деле так сказал, это нехорошо. Такое и моей сестре бы не понравилось. Видно, я рассердился из-за Тамбира и забылся...

— Прошло то время, зиусхан, когда на него нужно было сердиться. Теперь это бесполезно. Мне кажется, у Тамбира очень большая поддержка...

— Конечно, у него за спиной абадзехи.

— И не только абадзехи. Этот рожденный собакой знает язык баткелей так же хорошо, как адыгский... А теперь, когда ты успокоился, Меджир, я скажу тебе еще более удивительную вещь. Ты знаешь шапсугского эффенди Анзаура? Так вот, с русскими гостями был его сын Натар. Он тоже очень хорошо говорил по-русски. А теперь и Батчерий решил выучить этот язык.

— Зачем ему это? — изумился Меджир.

— Думаю, язык таких могущественных соседей надо знать.
Рассмеялся Меджир:
— Не о делах баткелей я приехал к тебе говорить... Думаю, Батчерию надо жениться. Сестре моей давно хочется иметь золовку.
— Ну... это должен решить сначала сам Батчерий,— уклончиво ответил Алкес.— Разве он тебе говорил что-нибудь об этом?
— Нет... Слышал, в Абадзехии есть хорошая девушка, которой очень нравится Батчерий, и она ему тоже вроде приглянулась. Вот только не знаю, согласитесь ли вы взять невесту оттуда.
— Кто она, какого рода? Лишь бы не оказалась родственницей Татау, очень он мне неприятен.
— Девушка никакого отношения к Татау не имеет. Но живет в том же ауле.
— Валлахи, Меджир, мне не хотелось говорить о женитьбе брата, но раз уж ты завел об этом речь, скажу правду: мне хочется женить Батчерия. Надо породниться с абадзехами. Они — самые беспокойные наши соседи, сколько раз затевали с нами ссоры. С тфокотлями еще ладят, а с князьями... воруют у них скот и все такое... Может, если породнимся, станут уважительнее относиться к нам — все-таки родственники. А там, смотришь, появятся у нас племянники абадзехов, тут уж наши племена и вовсе сблизятся.
— Согласен с тобою, зиусхан. Далеко смотришь вперед, ты мудрый правитель... Если так, считай, дело уже сделано. Я с сегодняшнего дня займусь этим вплотную.
— Спасибо, князь! Скажи, чем я могу тебя потом отблагодарить?
— Во-ви, зиусхан! Разве я должен у тебя, мужа моей сестры, брать плату за то, что устрою женитьбу близкому родственнику?.. Ну... если ты настаиваешь... подари кобылицу кабардинской породы, из тех, что подарил твоему отцу князь Атажукин.
Задумался Алкес:
— Боюсь, зиусхан, что не смогу выполнить твою просьбу. Мы никогда не дарили лошадей из кабардинского табуна. Есть примета — этих кобылиц нельзя дарить...
— А как же Атажукин подарил вам?
— Он допустил ошибку. Говорят, после этого заболели все лошади и погибли. Из другого табуна подарю любую, какую захочешь.
— А болезнь не нападет? — лукаво прищурившись, спросил Меджир.
— Нет. Мы давно дарим из того табуна. Дарим самым уважаемым людям.
— Хорошо,— вздохнул Меджир,— согласен. Но самую луч-

шую лошадь. Сам выберу... Где Батчерий? Я бы с ним переговорил и немедленно принялся за дело.

— Уехал в Абадзехию.

— Жениха́ться?

— Что ты говоришь? Просто прогуляться.

— Когда вернется, тогда я и встречусь с ним,— сказал Меджир и подумал: «Кажется, кобылица уплывает из моих рук».

Глава седьмая

1

В конце сенокосного месяца 1784 года в городе Суджуке, что расположен близ Пцемеза [1], высадились двенадцать тысяч турецких аскеров во главе с адмиралом Джанклы.

Об этом тревожном событии в Шапсугии узнали, едва рассвет одолел летнюю звездную ночь. И хотя достоверно никто не знал, зачем высадилось турецкое войско, это известие воспринималось как несчастье. Что хорошего, если на твою землю приходят чужие войска?

Первыми услышали об этом натухайцы. Заволновались люди, зашумели. Стали возмущаться, почему Турция не договорилась с хозяевами земли, почему самовольно привела войска.

Усток, едва войдя во двор Ахмеда Шепако, спросил:

— Скажи, зачем высадились турки на нашей земле?

— Адмирал Джанклы не докладывал мне об этом,— усмехнулся Ахмед.— Подождем, увидим. Говорят, старая лиса Бастэ уже в турецком лагере, лебезит перед адмиралом.

— Ни стыда у него и ни совести!— вспылил Усток.— Турецких широких штанов испугался или решил подороже продать свою родину?! Ты-то что думаешь делать, Ахмед? Ждать сложа руки?

— Зачем ждать? Что думают по этому поводу тфокотли? Не слышал?

— Как не слышал? Только об этом и разговоры. Недовольны тфокотли, не по душе им это.

— А родовитые?

— Не знаю...

— И знать нечего. Попрячутся в норы и будут там дрожать за свое богатство. Лишь бы их не тронули. А что касается родной земли, им наплевать... Думаю, не с нами будут воевать турки. Помнишь, на свадьбе Мишки Некраса Атажукин говорил, что Турция хочет воевать с урысами, хочет завоевать себе весь Кавказ.

— Вон какое дело... Но адыгская земля ведь не земля урысов. Воевать они будут с урысами, а аулы-то наши будут гореть, пушки будут нашу землю терзать...

---

[1] Пцемез — Цемесская бухта.

Между тем адмирал Джанклы стал приглашать к себе и родовитых, и зажиточных тфокотлей, и тех, кто пользовался уважением в Шапсугии, и просто мужественных людей.

Прислал адмирал и за Ахмедом Шепако и Устоком. Встретил их, как подобает встречать добрых знакомых или друзей. Стол ломился от угощений.

Через Бастэ, который был за толмача, сказал:

— Я говорю вам прямо: моя страна прислала меня сюда с войсками, чтобы защитить вас от урысов. На берегу Пшиза стоит сильное войско генерала Суворова, оно готовится напасть на вас. Мы это знаем точно. Они христиане и хотят уничтожить вас, мусульман. Великий аллах предупреждает нас, если мы, все мусульмане, не объединимся против гяуров, то предадим и веру свою, и родную землю. Если все тфокотли вступят добровольцами в мою армию, мы разобьем урысов, вы останетесь свободными людьми, сохраните веру своих отцов — и да воздастся вам за это аллахом стократно. Что вы можете сказать мне на это?

— Чтобы ответить на этот вопрос, надо сначала спросить у народа, натухайцы нас не присылали сюда. Мы просто ваши гости. У нас есть хасе. Надо созвать его, и как он скажет от имени всех людей, так и будет. Правильно я говорю, Усток? — обратился теперь Ахмед к своему другу.

— Во-ви-ви, Ахмед, ты верно сказал: нас сюда никто не присылал, как можем говорить за всех? Надо всех спросить.

Посуровел адмирал.

Тревожно забегали глазки у Бастэ.

Адмиралу сказали в Турции, что адыги безусловно поддержат его войска, вступят добровольцами в турецкую армию, но на деле получается не так. И не только эти простые мужики, но и некоторые родовитые виляют, ничего толком не говорят. Только Шеретлуковы да Абатовы уверили адмирала, что всеми силами будут поддерживать турецкие войска, а родовитые Наурзовы и Шикушевы, как и эти два мужика, сослались на хасе, уехали, ничего определенного не ответив.

«Как же быть, как же быть? — напряженно раздумывал адмирал. — Может, как советовал мне мой повелитель, жениться на сестре Бастэ, породниться с адыгами и тогда они будут защищать меня как своего родственника? Но все это немножко смешно, не такие наивные люди эти адыги, чтобы только из-за этого воевать на моей стороне против сильного войска Суворова. Ведь будет не просто ссора, драка, а война...»

— Не знаю, адмирал Джанклы, почему ты так говоришь об урысах,— прервал размышления адмирала Ахмед. — Они живут с нами в мире и вовсе не собираются нападать. В Бжедугии тоже так думают. Там тоже люди живут спокойно, правда, иногда тфокотли шумят, но не из-за урысов, они недовольны своими князьями.

— Валлахи, Ахмед,— возразил возмущенно Бастэ,— я не согласен с тобою! На днях я гостил у князя Меджира, мне показалось, что там уже идет настоящая война между урысами и адыгами. Говорят, будто Хаджемуковы дружат с гололицым инералом Сувором. Если это правда, они поступают плохо, предают мусульман.

— Какое нам дело до Хаджемуковых? — возразил и Ахмед. — Мы — шапсуги, и у нас свои, шапсугские, дела.

— Не говори так, хаче,— сказал адмирал Джанклы на адыгском языке. — Аллах отворачивается от того, кто садится за один стол с гяурами. Хаджемуковы поступают неправильно, никто не разрешал им дружить с урысами. Адыгская земля подвластна Турции, ей и должны подчиняться адыги. Пусть не забывают об этом ни князья, ни родовитые, ни тфокотли.

— Если ты так хорошо знаешь адыгский язык, зачем побеспокоил Бастэ? — спросил Ахмед и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Нам неизвестно, что адыги подданные турецкого султана. Мы исполняем свои обязательства перед крымским ханом, но никто не должен вмешиваться в наши дела. Их решат сами адыги. Ну, а что касается нас, то говорят: «Гость, послушав, смотрит на дверь». — И, обратясь к Устоку, добавил: — Хозяин этого дома уже побеседовал с нами. Отправимся в путь!

— Да, но дело гостя прийти и отведать кушанье, а когда ему уйти — дело хозяина. Есть и такая поговорка...

Ахмед и Усток поднялись.

— А на твой вопрос, откуда я знаю адыгский язык, отвечу так,— продолжал адмирал. — Знаю его давно, чуть ли не с детства, мне стыдно, что я давно не разговаривал на нем и многое забыл. Но надеюсь, что адыги помогут мне вспомнить, когда вольются в ряды турецкого войска.

Ахмед не ответил на это ни слова, они вышли с Устоком из дома и сели на коней, проехали через крепость молча. Завернули за каменную стену и скрылись в ущелье.

— Ты понял, Усток?

— Что именно?

— Каковы замыслы адмирала Джанклы.

— Я это понял еще тогда, когда шел к тебе. Думаешь, он не приглашал к себе родовитых и не договаривался с ними заранее?

— Конечно, приглашал.

— Интересно, что они ответили ему?

— А что они могут ему сказать без ведома хасе? Не торопись, Усток, через несколько дней все станет ясно. Но если ты спрашиваешь меня, скажу только одно: я не буду поднимать меч против урысов, ничего плохого они мне не сделали. Войско баткелей стоит на берегу Пшиза, что ж, пусть там и стоит,

от этого нам нет никакого вреда, во всяком случае, пока не было. Они не тронули нас, когда некрасовские баткели ушли жить на адыгскую землю. Зачем же нам лезть в драку? А насчет Хаджемуковых ты не верь. Они больше заботятся о себе, чем о других. Нет, не вижу я никакой причины обнажать меч.

— Верно, Ахмед,— заметил Усток. — Но если тфокотли решат на хасе воевать, тогда как?

— Боишься, что родовитые смогут обмануть тфокотлей, уговорить их?

— Кто знает, как повернется дело,— вздохнул Усток и пришпорил коня.

II

Вот уже несколько дней Али-Султан не знает покоя. Возвращаясь из Джанклы, он заехал к братьям матери, Наурзовым, посоветоваться. Не легко поднять оружие даже против заклятого врага, прежде следует хорошо все обдумать. Меч надо обнажать вовремя, обнажив, не вкладывать в ножны без славы. Но у адыгов нет заклятого врага. Адыгский народ ни с кем не враждует так, чтобы кинуться очертя голову в драку.

Побывал Али-Султан у Абатовых и Шикушевых, но ничего толком не добился — они не столько отвечали на его вопросы, сколько спрашивали.

— Не надо убиваться так, сын мой,— успокоила Дарихат, когда он передал ей разговор с Абатовыми и Шикушевыми. — Как поступит аул, так и мы. Что сказал Казджерий?

— Он только крутил свои усы да справился о твоем здоровье.

Дарихат испугалась: «Неужели Али-Султан догадался об отношениях с Казджерием? Аллах меня покарал! И Казджерий хорош, ведь совсем недавно был у нас — чего справляться о моем здоровье? Как неразумны эти мужчины... Да и я на старости лет сошла с ума. Видите ли, нравятся его усы. А что в них? Закручены, как рога у барана. Внук уже растет. Надо образумиться. Да если бы Казджерий был настоящим мужчиной, разве позволил бы Наго увезти меня? Он такой же, как и все, и нечего забивать себе голову... Пусть тешится со своей старушкой».

— А Казджерий только и может, что крутить усы,— облегченно вздохнула Дарихат. — Он никогда не был серьезным человеком, и ждать от него доброго совета не приходится... Он был другом твоего отца, и я, конечно, не могу отказывать ему в уважении... Зачем, зачем твой отец оставил меня одну на белом свете? — на глаза ее набежали слезы.

— Не надо, мать, успокойся, пожалуйста. Ведь столько времени прошло!

— Я успокоюсь, сын. Иди занимайся своими делами. Я посижу немного одна, мне станет легче.

Утром другого дня Дарихат, взглянув на себя в зеркало, заметила, что лицо ее осунулось, под глазами залегли синие круги. Она позвала Мамирхан и спросила:

— Посмотри-ка на меня внимательно. Ничего такого не замечаешь?

— Нет, гуаще, ничего такого не вижу.

— Конечно, не видишь,— упрекнула Дарихат,— потому что я тебе чужая, к матери-то отнеслась бы внимательнее. Неужели не замечаешь, как я похудела, как запали мои глаза? О, аллах мой милостивый! Один-единственный сын и тот больше женой занимается, на меня не обращает никакого внимания.

— Не говори так, гуаще. Али-Султан только и думает о тебе, такой хороший у тебя сын.

— Чего уж хорошего,— смягчилась Дарихат. Ей были приятны добрые слова о сыне. — Разгладь мне морщины на лбу своими теплыми руками.

— Да у тебя-то и морщин никаких нет, гуаще, просто так, немножечко,— сказала Мамирхан и стала гладить лоб Дарихат, расправлять морщины.

— Ты правду сказала? — обрадовалась Дарихат. — И в самом деле морщины не очень заметны?.. Будь проклята старость! Что она делает с женщинами, как уродует их! А какой я была красивой в молодости! Сколько джигитов добивалось моей руки!

— Не говори о себе плохо, гуаще. Не знаю, какой ты была в молодости, но ты и сейчас очень красива. Все говорят: какая красивая у тебя свекровь, как молодо она выглядит.

— Конечно! — возгордилась Дарихат. — Кто может сравниться со мною? Ну, хватит гладить. Подай зеркало... О аллах! — воскликнула Дарихат, взглянув на себя в зеркало. — Я просила тебя погладить, а ты изодрала мне весь лоб. Посмотри, какой он красный! Сколько раз говорила, у меня нежная кожа, а ты!..

— Когда я гладила, тебе же не было больно,— робко возразила Мамирхан.

— У тебя не руки, а грабли. И не смей со мной так говорить! Подумаешь, родила сына, так считает, что ей теперь все позволено! Не задирай носа, нечем тут хвастаться!

— Не знаю, гуаще, как вести себя. Не рожала — плохо, родила — опять плохо.

«О мой аллах! — взмолилась Мамирхан. — Научи меня, как жить, как вести себя с этой женщиной. То говорит, уходи из дома, то не уходи. Хвалю ее красоту — сердится, не хвалю — тоже. Если я рассержусь на нее, она опозорит меня на всю Шапсугию. Помоги, о великий аллах!.. Вот вернется Али-Султан из Бжедугии, поговорю с ним, скажу, что нет мне житья в его доме».

— Ладно, чего ты дрожишь, нысэ? Слова нельзя сказать, сразу дуется. Успокойся. Пойди, невестушка, принеси мне малыша, позабавлюсь с ним немного, может, и настроение улучшится.

III

Настал день, и собрался шапсугский хасе. Он должен обсудить один вопрос: поднимать оружие вместе с адмиралом Джанклы против русских или нет?

На поляне в лесу, среди диких груш, собралось очень много народа, потому что на хасе пригласили бжедугов, убыхов и абадзехов. Из Темиргойи приехал князь Хатикоепш. Из Бжедугии прибыли сам великий князь Алкес и Батчерий, князь Меджир и Казаноков. Из Абадзехии — целая группа людей во главе с Татау.

Собрались в лесу на рассвете и, хотя все были в сборе, хасе не открывали, ждали восхода солнца.

Для Алкеса такой порядок не был внове, ведь он воспитывался в Шапсугии. А вот Батчерий и Меджир удивлялись и посмеивались: «Шапсуги как были язычниками, так ими и остались».

Князь Казаноков тоже удивлялся, но виду не подавал, держался так же солидно, как Алкес.

Князь Хатикоепш смотрел на розовеющий восток и думал, что взойдет солнце и отдаст собравшимся свое вечное тепло.

Татау, не обращая ни на кого внимания, беседовал с Казджерием. Правда, изредка косился на тфокотлей во главе с Нарычем: как-то поведут себя на хасе, похоже, что-то замышляют.

Больше всех волновался эффенди Анзаур. Ему старейшие поручили открыть хасе — это большая честь, как бы не оплошать. Беспокоило и то, как решат адыги этот трудный вопрос. Быть войне или не быть? Но и как ей не быть, если турецкие войска уже высадились и бряцают оружием?

Настроение у Анзаура очень плохое. Вчера он говорил с Натаром. Разговор получился нехороший. Анзауру никак не удавалось возвыситься над сыном. Мальчишка ершился и задавал отцу такие вопросы, на которые очень трудно ответить... «Чего тебе не хватает,— думал сейчас Анзаур о сыне. — Мы с матерью только и живем для тебя. Как ты не понимаешь, что мы, мусульмане, должны взять сторону турок, наших единоверцев, а не гяуров-баткелей... Эти глупые мысли появились в голове Натара из-за Хагура и Тамбира. Ему, видишь ли, нравится говорить на языке баткелей, он хочет дружить с гяуром Мишкой. И зачем он ему, зачем?! У нас единственная опора — родовитые. У них деньги, а значит, и сила. Вот до чего довели поездки в Крым и Стамбул — переучился, в голове путаница, ни я, ни

мать его не понимаем. Ему, оказывается, неинтересно с нами, ищет себе компанию на стороне...»

Из-за горы выглянуло солнце.

Анзаур воздел руки к небу и воззвал:

— О великий Тха, о мое Солнце! Пусть твой восход будет счастливым для нас, правоверных мусульман. С твоего благословения мы откроем хасе. Пошли нам, твоим детям, хранящим в сердцах своих только добрые мысли, благополучие, укрепи наш дух и благослови на доброе дело, ради которого мы собрались. Слава всемогущему аллаху!.. — После этого Анзаур повернулся к собравшимся: — Мы с вами должны сегодня решить, как нам поступить: присоединиться ли к адмиралу Джанклы и пойти с ним войной на русских или не делать этого? Думаю, и наши гости выскажут свое мнение.

Первым взял слово Казджерий.

— О люди, о аул, о шапсугская страна и гости на нашем хасе! Будем же благоразумными в решении этого вопроса, мудрость наших отцов, мудрость великого аллаха да пребудет с нами... Адмирала Джанклы мы знаем давно, он наш добрый друг, а теперь стал родственником, взяв в жены дочь Бастевых.

— Кто сказал, что он шапсугский зять? Мы не слышали этого! — выкрикнули из толпы.

— А вот спросите посланника адмирала Джанклы.

— Если он посланник адмирала, почему присутствует на нашем хасе? — выйдя вперед, спросил Ахмед. — Это нарушение закона. Если он сейчас же не покинет хасе, то натухайцам здесь делать нечего.

Али-Султан тоже вышел вперед и, неприязненно глядя на Ахмеда спросил:

— Чем же тебе помешал посланник нашего друга? Ты всегда, Шепако, чем-то недоволен, все бы тебе смущать людей. Адмирал Джанклы пересек море со своим войском, чтобы защитить нас от гяуров, а мы вместо благодарности прогоним его посланника? Это не по-адыгски.

Казджерий, видя, что разгорается перепалка, отошел в сторону.

Рядом с Ахмедом встал Хагур:

— Шеретлуков, мы не просили турок защищать нас от баткелей, не давали согласия, чтобы Турция высадила свои войска на нашей земле. Уже много лет баткели находятся на правом берегу Пшиза, но ни разу не нарушили нашей границы, никого из адыгов не обидели. А теперь скажите, кто из вас просил адмирала Джанклы высадить в Пцемезе двенадцать тысяч аскеров? Я не просил. И мои друзья тоже. Если турецкий посланник не покинет хасе, и тфокотлям Бастука здесь делать нечего.

Ахмеда и Хагура поддержали кудакские, тозепские, пшадские тфокотли, поэтому посланник вынужден был покинуть хасе.

Великий бжедугский князь сидел молча, понимая, что нет смысла вмешиваться в это дело. Родовитый Татау втянул голову в плечи.

Али-Султан сердитым взглядом посмотрел на Бороко:

— Ты же старший брат, почему позволил младшему говорить прежде себя?

— Что толку сейчас разбираться в этом. После драки кулаками не машут. Но дай только вернуться домой, я ему покажу, как меня позорить,— ответил Бороко.

Хасе получился не таким, как бы этого хотелось родовитым. Они решили отложить обсуждение дел на завтра, но и тут тфокотли возразили.

— То, что не сказано сегодня, не скажется и завтра. Кто хочет воевать, пусть вооружается и воюет. А мы свое мнение выразили.

Шапсугские тфокотли уехали, не притронувшись к еде. Остались одни родовитые и приглашенные князья. Принесли анэ для обеда, приступили к еде. Али-Султан сказал:

— Подвели нас тфокотли, стыдно людям в глаза смотреть. Сами виноваты, что допустили это.

— Никакой беды не случилось,— возразил Казджерий,— а вот адмиралу Джанклы действительно не повезло. Он понадеялся на нас, даже женился на адыгейской девушке, стал зятем Бастевых, и все напрасно. Шапсугским тфокотлям нет никакого дела до его женитьбы. Они бы все равно отказались воевать.

— Он еще не женился, свадьба еще только должна состояться, и мы приглашены на нее. Как ты мог забыть, Казджерий? — поправил Алкес.

— Я не забыл. Я имел в виду сам факт женитьбы, а была она или еще впереди, какое это имеет значение?

— Имеет,— снова заговорил Алкес. — Как мы теперь поедем на свадьбу, что скажем адмиралу? И не поехать нельзя — нанесем обиду.

— Обманите как-нибудь,— коротко посоветовал Хатикоепш.

— Каким образом? — вскричали все чуть ли не хором.

— Не стоит враждовать с адмиралом Джанклы, нельзя показывать, что тфокотли не слушают нас. Турция покровительствует нам, и мы в безопасности, пока пользуемся ее покровительством. Пока... — назидательно повторил Алкес. — Не надо давать Джанклы твердых обещаний, но и отказывать не следует. Может, потребовать за участие в войне адыгов плату? И плату не маленькую, чтобы Джанклы добровольно отказался от нашей помощи. Надо обо всем подумать...

IV

— Никогда не выступай больше в моем присутствии. Дай слово старшему брату, а потом спроси разрешения для себя,— поучал Бороко Моса. — Опозорил меня перед людьми, это все

заметили, как мне теперь жить на белом свете? Почему ты так ведешь себя?

— Я не мог не выступить, Бороко. Я защищал не только свои интересы и выступал не только от своего имени. Но ты прости, что я нарушил законы старшинства,— оправдывался Хагур.

— Как мне было обидно перед князьями,— продолжал Бороко, радуясь, что Хагур смиренно его выслушивает.— Даже князья меня так никогда не обижали. А ведь мы тфокотли, наше слово последнее, после князей, а не перед ними, как и все в нашей жизни. А ты говорил с ними как равный, нарушая адыгейский обычай.

— На хасе все равны. Иначе зачем туда зовут тфокотлей? Могли бы собираться отдельно и обсуждать свои княжеские дела без нас. На хасе решаются такие вопросы, которые затрагивают и родовитых и тфокотлей,— спокойно возразил Хагур.

— Такого не может быть, младший брат.

— Почему не может, если так и есть?— удивился Хагур.— На хасе считаются с мнением тфокотлей. Мы сказали, что не пойдем воевать, так и получится.

— Да, но родовитые настаивали на том, чтобы присоединиться к адмиралу Джанклы, надо было их и послушаться. Тфокотли не умнее родовитых,— горячился Бороко.

— Конечно, родовитые не так уж глупы. Они ведь поняли, что воевать не им, а тфокотлям, их слишком мало, а нас много. И не стали с нами спорить. Ни к чему бы это не привело. Сам подумай, сшинахиж, для чего проливать кровь? Разве на твой дом кто-нибудь нападает? Мы находимся под покровительством Турции, но разве мы собираемся с ней воевать? Так же, как и с урысами. А если две такие большие страны что-то не поделили между собой, это уж их дело. Зачем нам нужна война, да еще на нашей земле, между чужими странами? Кто-то из них обязательно победит, а мы и в том и в ином случае проиграем. Хуже того, можем совсем потерять нашу землю, погубить адыгов. Разве не так?— Хагур говорил так страстно, что взволновал своей речью и Бороко.

— Как ты хорошо говоришь!— с невольным восхищением заметил старший брат.— И ты верно говоришь!

— Родовитые всегда стараются загребать жар чужими руками,— немного успокоившись, добавил Хагур.— Если начнется война, Али-Султан не пойдет воевать. Тем более не пойдет Алкес, отговорится тем, что не может оставить Бжедугию без главного правителя. Так же поступят остальные князья. Воевать придется мне, тебе, нашим братьям и таким, как мы. Война разрушит наши дома, многих из нас убьют на этой войне, а родовитые от всего этого нисколько не пострадают. Может быть, даже получат награду от турецкого султана.

Давно уже братья не говорили так доверительно друг с другом. Те враждебные чувства, которые они питали раньше,

как-то смягчились, они наконец-то ощутили кровное родство, вспомнили, что выросли под одной крышей, что у них одна мать. Это вдруг вспыхнувшее ощущение родства наполнило их сердца радостью. «Из-за чего мы враждуем, глупые люди? — укорял себя Хагур. — Стоило поговорить с братом спокойно и доброжелательно, и он сам пошел мне навстречу. Как можно ссориться двум братьям?» А Бороко, слушая речи Хагура, испытывал чувство гордости. «Как умно он говорит. Сам эффенди не скажет так складно и убедительно. Если Хагур такой разумный, значит, и я не хуже, ведь у нас один корень...»

— Знаешь, что меня удивляет? — спросил Бороко, вернувшись мыслью к недавнему хасе. — А то, что Батчерий вообще ничего не сказал. Аллах свидетель, он ведет себя хитрее старшего брата! Чувствуется, что его воспитал торговец Багдасар. Но к нам он относится враждебно,— разоткровенничался Бороко. — Батчерий как-то сказал мне: «Смотри, чтобы у тебя с братьями не получилось так, как в одной притче...»

— А что случилось с теми братьями? — нахмурился Хагур. Он знал, что от Батчерия не услышишь ничего хорошего, скорей всего он хотел оскорбить их своим сравнением.

— У одной матери было пять братьев. Собрались они как-то в лес за хворостом для очага. А только что прошли сильные дожди — и река разлилась, преградила дорогу. «Я предлагаю вернуться,— сказал самый старший брат,— и переждать, пока спадет вода». — «Но нам нужны дрова»,— возразили ему. «Я предлагаю переплыть реку, а на другом берегу разжечь костер и погреться»,— сказал второй. «Нет, вода очень холодная, а река — бурная, я предлагаю сбегать за лодкой и переправиться в лодке»,— вмешался третий. «Но у нас нет лодки. Будет лучше, если мы пойдем вверх по течению, туда, где река уже, и перейдем ее»,— предложил четвертый. «А я думаю, мы можем натаскать камней и перейти по ним вброд»,— вставил свое слово и самый младший. И такой они подняли крик, что ничего не разобрать. До сих пор стоят на берегу и спорят, что делать. А в доме уже погас огонь, старую мать забрали к себе добрые соседи.

— Это неправда! — вскричал Хагур. — Мы не ссоримся между собой. Пусть Батчерий живет в мире со своим братом, нечего ему совать нос в чужие дела.

— Я тоже так думаю,— согласился Бороко.

V

Боясь показаться на глаза Дарихат, эффенди Анзаур накликал на себя беду. Он считал, что виноват в поражении родовитых на шапсугском хасе, и несколько дней не выходил из дому. Жена объяснила соседям, что муж приболел, и эффенди

был рад этому, рассчитывая, что со временем все забудется. Но вышло иначе — люди стали навещать «больного», и он вынужден был лечь в постель. Прошло немного времени, и он почувствовал в теле жар и ломоту. «Накликал беду,— мысленно ругал себя эффенди. — Разве можно обманывать судьбу, притворяться больным, если ты не болен? Аллах наказал меня».

Но больше, чем физические страдания, его донимали душевные муки. Натар стал совсем независимым, слишком далеко зашли между ними споры. Не было единства у отца с сыном. Анзаур когда-то надеялся, что, женившись, сын образумится и злой дух оставит его. Разрешил ему взять жену из самой Бесленеи. Из такого далека он ни за что бы не взял себе в дом невестку, будь она хоть очень богатой, но Натар настоял, и отец уступил: пусть будет, как он хочет. И что вышло из этого? Невестка не все понимает по-шапсугски, а старики не знают бесленеевского диалекта. Они не могут по-настоящему даже поговорить друг с другом. Первое время особенно мучилась Мерем, но потом, кажется, начала привыкать. А куда денешься, если растет быстроглазая внучка, которая начинает лепетать и по-шапсугски и по-бесленейски.

Вспомнив о внучке, Анзаур улыбнулся, ему захотелось увидеть ее. Почему-то всегда казалось, что прикосновение ее детских ручек приносит ему облегчение. Он только хотел распорядиться, чтобы привели девочку, но тут вбежала Мерем:

— К нам идет Дарихат! — сообщила она, озабоченно поправляя на больном одеяло и оглядывая комнату, чтобы убедиться, что все в порядке и можно принимать такую высокую гостью, как Дарихат.

— Одна? — испугался Анзаур.

— Али-Султан с ней.

Дарихат вошла — дородная, сильная, пышущая здоровьем. Пестрое платье не шло ей, не молодило ее, как того хотела Дарихат, а, наоборот, подчеркивало, что его хозяйка стара.

— Что, эффенди, приболел? — язвительно спросила Дарихат, решительно войдя в комнату, но, увидев страдальчески сморщившегося Анзаура, немного смягчилась. — Ах, тхамич [1], вон как тебя измучила горячка!

— Сегодня, слава аллаху, чувствую себя немного лучше. Садись, Дарихат, садись и ты, Али-Султан. Как поживаете, милостью божьей?

— Мы-то ничего, не хвораем... Знаешь, эффенди, я очень рассердилась на тебя: думала, прикинулся больным после хасе, где тфокотли взяли верх. Шла сюда, чтобы поколотить тебя.

---

[1] Тхамич — бедный, бедняга.

— Валлахи, Дарихат,— натянуто улыбнулся Анзаур,— я заслужил твои упреки, но, видно, всемогущему аллаху было угодно, чтобы верх взяли тфокотли.

— Ты ни в чем не виноват, эффенди! — прервал его Али-Султан. — Ты сделал все что мог. Просто наши тфокотли окончательно охамели, для них уже слова и князей и родовитых ничего не стоят. Своим хамством они оскорбили таких уважаемых гостей.

«О, боже, какой бестолковый парень! — подумала Дарихат, с укором глядя на сына. — Говорит совсем не так, как я его учила».

— Я хожу в платке,— прервала Дарихат,— и то не дала себя в обиду нашим мужланам, а вы раскисли, размякли перед тфокотлями. И Казджерий пусть больше не считает себя мужчиной. Баба он!

— Тян, дело обстоит совсем не так, как тебе кажется...

— Хватит! — оборвала Дарихат сына. — Мы с тобой пришли сюда не для того, чтобы заниматься пустословием и раздражать больного. Ты тоже немного сплоховал, эффенди, но об этом поговорим, когда выздоровеешь. Как поживает Натар с молодой женой? Как невестка? Хорошо ли относится к Мерем и к тебе? А малышка, поди, уже бегает?

— Парень живет ничего,— ответила Мерем. — Невестка нам нравится. Послушная, ласковая.

— Очень хорошо, если так, счастливые вы.

В соседней комнате раздался детский плач — наверно, проснулась маленькая внучка, и Мерем покинула гостей. Дарихат, словно ждала этого, нагнулась к эффенди и шепотом спросила:

— Анзаур, злой дух больше не беспокоит Натара?

Эффенди вздрогнул. Стараясь не выдать себя, растянул в улыбке будто посыпанные пеплом губы. «Зачем ей это нужно? — подумал он. — Может, знает, что я поссорился с парнем? Нет, об этом никто не догадывается. Никто? А если Натар разболтал сам? Сказал Хагуру? Не должно этого быть...» И сказал:

— Нет, мы уже давно забыли об этом. После свадьбы все как рукой сняло.

— А я слышала, что он все еще ходит в лес и бормочет там какие-то странные слова.

— Неправда это, неправда, не слушай никого! — заторопился Анзаур.

Дарихат горестно покачала головой и сочувственно сказала:

— На днях Али-Султан слышал, как Натар разговаривал в лесу с белым джинном. Верно я говорю, сын мой?

— Верно, тян. Я видел Натара, он размахивал руками и что-то говорил, хотя в лесу никого, кроме него, не было, я очень испугался и убежал. Джинны до добра не доведут.

VI

Мерем внесла в комнату девочку. Внучка протянула ручки и бросилась к кровати, на которой лежал Анзаур.

— Деда, деда, это я пришла!

Давно не помнили такой жары, какая стояла сегодня. Она началась с восходом солнца. Духота, властвовавшая всю ночь, усилилась, запропали куда-то ветры, которые могли разогнать тяжелый знойный воздух.

На единственной улице крепости Суджук было пустынно, будто людей и в помине не было.

И море было пустынным. Оно затихло от жары, приникло к берегу и лежало обессиленное.

В крепости лишь несколько домов сложены из камня, а остальные — турлучные. Они так скучились на берегу, будто кто-то согнал их туда.

У моря находилась и турецкая крепость. В нее, обнесенную высокой каменной стеной, вели ворота со стороны морского берега. Они были закрыты для натухайцев. Да натухайцы не очень-то интересовались ею. Лишь изредка собирались всадники, чтобы поглазеть на пушки, направленные в сторону гор, на маршировавших аскеров.

Вначале адыгские всадники беспокоили турок, и аскеры разгоняли их. Иногда между ними даже возникали небольшие, но шумные перестрелки. Стреляли из ружей адыги. Туркам отвечать на стрельбу было категорически запрещено...

Женившись на дочери Бестэвых, адмирал Джанклы надеялся сблизиться с адыгами, но его надежды не оправдались. Узнав о решении хасе, адмирал сообщил об этом в Стамбул и теперь ждал ответа.

Адмирал сидел в своей комнате в одной рубашке — его донимала жара. Он много пил воды и сильно потел.

Гонца все не было и не было. Да и какой ответ он мог привезти? Столько денег, сколько запросили адыги за участие в войне, конечно, правительство ему не даст. Да и неизвестно, согласится ли оно на войну с русскими в такой обстановке.

А тут еще стали пропадать аскеры. Вот и сегодня пятеро уехали за водой к горной речке и не вернулись, хотя уже прошло столько времени, что можно было трижды съездить туда и обратно.

Адмирал позвал свою молодую жену.

— Опять пропало пять моих аскеров,— гневно сказал он ей,— это адыги украли их. Пошли за своим братом, пусть он немедленно едет сюда!

— Покарал меня аллах! — испугалась Саният. — Что ты задумал?

Разгневанный Джанклы шагал по комнате. Остановившись около жены, сердито сказал:

— Не твое дело! Тебе велено, пошли за братом! Мне надо с ним переговорить... Мы живем здесь тихо и мирно, а мои солдаты пропадают, будто я уже начал войну. Позор! Как я появлюсь после этого в Стамбуле! Если адыгам нужны пленники, пусть они берут их у генерала Суворова, у гяуров, а не у своих единоверцев, которые пришли к ним с братской помощью... Пропадают и пропадают мои воины, я не потерплю этого! На это оскорбление я вынужден буду ответить и отвечу — пошлю карательный отряд, сожгу аулы натухайцев!

Санният поняла, что грозит адыгам, и тут же послала верхового за братом, наказав, чтобы он приехал немедля.

Он прискакал в этот же день.

Адмирал разговаривал с ним не так резко, как с Санният, но очень серьезно:

— Я не думал, что натухайцы окажутся столь неблагодарными людьми. Мы так рассчитывали на их помощь, а они... Они крадут моих аскеров. Поговори с теми, кто там верховодит, пусть вернут моих воинов. Если им нужен порох, свинец, я дам, а если они станут куражиться, скажи им, Гарун, у меня нет иного выхода...

— Ко мне уже обращались тфокотли, но я прогнал их.

— Чего они хотели?

— Пороху и свинца.

— Сегодня же дай им знать, что я согласен. Сам займись этим важным делом.

— Хорошо, зять, я сделаю это. Если родственники не будут помогать друг другу, кто же еще поможет?

На девятый день вернулся гонец из Стамбула: адмиралу приказывали возвращаться в Турцию вместе с войском.

Выступить немедленно адмирал не мог, пока не вернутся украденные аскеры.

Настал день, и последний корабль турок покинул адыгейский берег. Когда он поднял паруса, натухайцы стали палить из ружей в воздух.

— Что они делают?! — воскликнула Санният, стоя на палубе рядом с мужем и глядя на родную землю, которую она оставляла, на всадников, паливших из ружей.

Адмирал усмехнулся:

— Желают нам доброго пути. Не жалеют пороха, который им дал адмирал Джанклы.

— На земле натухайцев больше нет турецких войск, Ахмед! — радостно воскликнул Субаш, который только что прискакал с этой новостью.

— Хорошую ты весть принес, да наградит тебя аллах. Скачи дальше, пусть узнают об этом все — и в Шапсугии, и в Бжедугии. А я поеду в Тозепс — тяжело заболел Бечкан.

1255—9.

— Какое несчастье! Я давно не видел Бечкана, надо бы с ним повидаться, но ты сказал, нужно скакать дальше.

— Если тебе так хочется видеть больного, Субаш, пошли от моего имени каких-нибудь ребят, а сам поедешь со мною.

Обрадованный Субаш ускакал. В это время подъехал Усток и сказал Ахмеду, что готов ехать в Тозепс.

— Ты знаешь новость об адмирале Джанклы? — спросил Ахмед.

— Да. Он покинул нашу землю, слава аллаху. Говорят, Бастэ в трауре, словно похоронили кого-то из родственников.

— Адмирал бросил их дочь?

— Боятся, что бросит.

Всадники поехали в Тозепс не берегом моря, а через горы — так путь короче, хотя и труднее. К вечеру они уже были на месте.

Сидевшие в комнате больного поднялись навстречу гостям. После взаимных приветствий те, кто помоложе, покинули комнату.

Ахмед сел на табурет у постели Бечкана, положил ему руку на холодный лоб:

— Что же ты слег, мой друг? Я приехал за тобой, чтобы ехать в Бесленею.

Внимательно глядя на Бечкана, Ахмед подумал, что долго он не протянет.

— Не век же мне жить, Ахмед,— попытался улыбнуться Бечкан. Лицо у него было землистое, давно не бритое. — Слава аллаху, я и так прожил немало. Хотелось бы еще пожить, но на все воля аллаха... Говорят, адмирал Джанклы уплыл со своим войском в Турцию. Правда это?

— Правда. Тфокотли оказались молодцами — стали стеной, показали, как умеют беречь свою землю. Думаю, Джанклы больше не будет соваться к нам.

— Благодарю аллаха, что он дал мне увидеть и услышать эту весть! Я очень рад. — Он благодарно смотрел на всех. Благодарно и печально, будто прощался с ними...

Бечкана знали по всей адыгской земле как человека мужественного, честного и доброго. Даже в его отсутствие тфокотли уважительно вставали, когда произносилось имя Бечкана.

Долгую жизнь прожил Бечкан, умирал в глубокой старости, и все-таки смерть есть смерть, она приносит людям печаль, и так будет во веки веков.

Тихо стало в комнате. Было слышно только трудное дыхание больного.

— Почему вы не посадите того парня, что стоит у двери? Присаживайся, сын мой. Ты, кажется, не из Тозепса?

— Он приехал с нами, Бечкан,— ответил Ахмед. — Это тфокотль из Непабля. Ему хотелось повидать тебя.

— Спасибо, сын мой. Ты чей будешь?

— Я из рода Тариковых, счастливый тхаматэ,— сказав это, Субаш подошел к больному.

— А кем тебе приходится Субаш Тариков?

— Это и есть сам Субаш,— ответил Усток.

— О, это ты не давал покоя адмиралу Джанклы, ты воровал его аскеров? — Бечкан с трудом приподнялся, протянул Субашу руку. — Спасибо, сын мой! Ты — настоящий адыг, настоящий сын своей земли. Пошли тебе аллах здоровье и силу, чтобы ты мог еще послужить своему народу...

Это были последние слова Бечкана.

Он вздрогнул и затих...

Узнав, что Бечкан скончался, заголосили, запричитали женщины. Тфокотли, находившиеся во дворе, распахнули ворота в знак того, что в доме покойник...

Хоронить Бечкана собралось много народа. Приехали тфокотли не только из ближних аулов, но и из дальних уголков адыгской земли. Как потом говорили, в Тозепсе еще никого так не хоронили, никогда на похороны не собиралось столько народа.

Мужчины подняли тело усопшего, плотно обернутое в саван и накрытое буркой. Женщины, громко, надрывно голося, проводили мужчин до ближайшего поворота и остались в ауле.

Когда могилу засыпали желтой глиной, люди стали торопливо покидать кладбище. Субаш хотел еще раз посмотреть на могильный холм, но не решился,— уходя с кладбища, нельзя оглядываться, так велит обычай.

VII

— Знаешь, мать, какие новости дошли из Тозепса? Смерть забрала тфокотля Бечкана.

— Ох-ох, пало на его голову мое проклятие! — Дарихат обрадованно всплеснула руками. — Чтоб он попал на том свете прямо в пекло, в кипящую смолу ада! Чтоб аллах отправил следом за ним Хагура с Шепако и Устоком! Скорую дорогу туда и Арсею! Не только им я желаю этого, но и всем, кто копит на нас злобу в Шапсугии, Бжедугии, Темиргойе, Абадзехии, Бесленее и Кабарде. Пусть Наго на том свете как следует пристроит врагов наших. Пусть полыхнет молния, прогремит гром и хлынет дождь, размывая их поганые могилы, а на месте тех могил пускай справляют свой шабаш шайтаны и ведьмы.

— Хватит, тян, ну хватит тебе! — Али-Султана взяла оторопь от ее проклятий.

— Ты что, жалеешь их?! — гневно воскликнула Дарихат.

— Нехорошо. Вдруг кто-нибудь услышит...

— Пусть слышат! Я не боюсь, ибо слова эти произношу перед самим аллахом. Сколько раз я говорила тебе, сын мой, чтобы ты хорошенько точил зубы против тфокотлей. Не слушался меня твой отец и преждевременно погиб. Не смогла я добиться, чтобы он одного-другого поганца заколол вилами, поэтому закололи его. О милостивый и всемогущий аллах, сделай так, чтобы мне довелось увидеть, как зарывают в землю Хагура и Ахмеда!

— Зря ты, мать, зря. Ну, умер Бечкан, а сколько тфокотлей пришло хоронить его с почетом. Он умер, а на его место стала сразу сотня. Вон в Натухае появился Субаш Тариков, который столько зла сделал адмиралу Джанклы. Из-за него и Бастэвым не стало житья. Мы надеялись, что Джанклы будет нам опорой, но ничего не вышло. Испугался адмирал, что тфокотли не присоединились, будто мы, родовитые и князья, ему не опора. Получилось, будто он приплывал сюда со своим войском только для того, чтобы жениться.

— Если родовитые потеряли свою мощь, если тфокотли сильнее нас, тогда нам и делать нечего на адыгской земле...

— А что толку от такого именитого, как Анзаур? — перебил Али-Султан мать. — Придет в мечеть, побормочет что-то — и домой. Жена там ублажает его. Кормит, поит, ноги моет. Нет у него своего слова.

— Если он не в силах держать именем аллаха в повиновении тфокотлей, я выброшу его, как рваное сито! — вспылила Дарихат.

Остыв, она заговорила иначе:

— Я думаю, сын, надо тебе поехать в Тозепс и принести свои соболезнования по поводу смерти Бечкана. Пускай все видят, как мы умеем чтить обычаи.

— Завтра же и поеду,— согласился Али-Султан.

— Только не бери с собой Анзаура. Пусть поймет, как мы к нему относимся. Возьми лучше Вотаха, его помощника. Надо как-то сгладить эту историю с сеном. Откуда я знала, что сын старого Вотаха станет помощником эффенди? По усам, по усам этому старому дураку Анзауру! Пусть преданней служит тому, кто его кормит.

На утренний намаз Али-Султан пришел вместе с Вотахом Айтеком. После молитвы Али-Султан сказал Анзауру, что едет в Тозепс, и, тут же обернувшись к Айтеку, проговорил:

— Поедешь со мною. Иди и побыстрее собирайся в дорогу.

Анзаур едва доплелся домой. Обида, нанесенная ему Али-Султаном, была тяжелее мешка соли.

Ему и есть не хотелось, и в доме не сиделось. Он вышел во двор, долго стоял, навалившись грудью на плетень, и мучительно размышлял: «Может, Шеретлуковы отказываются от меня из-за слухов о том, что Натар дружит с джинном? Но Дарихат сама дружит с ним, через него она встречается с Наго. Наверно, мне надо сходить к Шеретлуковым и поговорить с са-

мой Дарихат, все козни исходят от нее. Как она думает, так и Али-Султан говорит».

И он пошел. Едва открыл калитку, как из дома, слащаво улыбаясь, вышла навстречу Дарихат:

— Ты почему, Анзаур, не поехал с Али-Султаном в Тозепс?

— В Тозепс, говоришь? — Анзаур прикинулся, будто ничего не слышал об этом. — Разве Али-Султан туда поехал?

— Только что отправился выразить соболезнование по поводу кончины Бечкана. Жалко, жалко его! А я думала, что ты с Али-Султаном поехал.

— Чудно как-то,— тоже притворялся Анзаур. — Он ничего мне не сказал.

— Как же он мог так поступить?! — вроде бы рассердилась Дарихат. — Кого же он тогда взял с собой?

Анзаур позеленел от обиды, от того, что Дарихат так откровенно прикидывалась. Но сдержался.

— Не мог он поехать без эффенди. Должно быть, взял с собой Айтека. Больше некого... Наверно, обиделся на меня. Но за что? Неужели из-за хасе?

— Не-ет! Тут ты ни в чем не виноват. Казджерий на днях заезжал, очень хвалил тебя. Говорил, что и Бастэвы на тебя не в обиде.

— Тогда почему же Али-Султан сделал из меня посмешище? Айтек и ногтя моего не стоит, а он все-таки взял с собою не меня, а его. Правду люди говорят: у кого нет вола, тот запрягает теленка. Не скрою, Дарихат, твой сын меня очень обидел.

— Да-да, эффенди, я тебя очень хорошо понимаю. Но если уж у нас с тобою такой откровенный разговор, скажу честно: Али-Султан обиделся на тебя... Только ты, упаси аллах, не говори ему об этом. Али-Султан сказал: «Эффенди Анзаур относится к нам хорошо, а его сын Натар плохо, говорит о нас гадости людям и своему джинну». Али-Султан сам слышал, как Натар в лесу жаловался на нас джинну. И еще скажу: людям очень не нравится, что Натар связался со злым духом. Подумай об этом хорошенько, а то ведь правоверные могут отвернуться от тебя.

Анзаур испуганно слушал Дарихат, на лбу у него выступил холодный пот.

Глава восьмая

1

— Валлахи, великий князь, не пойму, почему вы лишили меня возможности выполнить свое обещание насчет женитьбы Батчерия? А ведь это было бы выгодно и для вас, и для меня,— сказал князь Меджир. — Правду говорят: сделаешь людям добро, оно обернется против тебя злом. Я бегаю за Батчерием, ищу

его повсюду, а он, оказывается, уже в Абадзехии. Сам нашел невесту. Без меня.

— Я ничего не знаю,— притворился Алкес, словно только что услышал о поездке Батчерия в Абадзехию.— Впервые слышу от тебя.

— Э-э, похоже, вам стало жалко дарить мне кобылу, вот вы и хитрите, а ведь я уже заслужил подарок.

Алкес улыбнулся холодными глазами:

— Чем же ты заслужил его? Что ты сделал для женитьбы Батчерия? Ни-че-го, а пришел с упреками.

— Как же ничего?! Я исколесил всю Бжедугию, а Батчерий, оказывается, в Абадзехии. Как видел я его на шапсугском хасе, так и все, исчез, будто провалился. Ты можешь мне ответить, великий князь, куда девался твой младший? Скажи, если это не секрет.

— Никакого секрета.

— Не говори так, зиусхан. Если это секрет, лучше не говори. Все равно я не поверю сказанному. Младший брат никуда не поедет без разрешения старшего. И это очень хорошо.

— Зачем мне скрывать, зиусхан? Батчерий поехал на ту сторону Пшиза к Исмаилу Атажукину.

Меджир как-то кисло поморщился:

— Ну зачем он портит свой язык языком баткелей? Не надо бы вам знаться с гяурами, зиусхан, это к добру не приведет.

— Это ты зря, князь. Ничего плохого не будет. Мы знаем, что делаем,— возразил Алкес. Надо бы еще добавить, не суйся, Меджир, в великокняжеские дела, да уж ладно.

А Меджир едва заметно усмехнулся: «Сегодня вы к ним пошли, а завтра они к вам придут. Потом гололицый инерал приведет свои войска на нашу землю, и что станется с твоей властью великого князя? Будешь дворовой собачонкой у порога гяурского инерала. Родовитые Шапсугии правильно говорили: «Надо нам взять сторону адмирала Джанклы. Хоть с турками у нас тоже разный язык, но зато одна вера».

— Что ж, великий князь, потому мы тебя и называем великим, что ты должен видеть дальше, чем мы. Но знаешь, чем дальше смотришь, тем хуже видно, что там, вдалеке.

— Камешек издалека не рассмотришь, а большая гора, вся ее громадина, видна только издалека.

— И все-таки мне очень больно, что твой брат дружит с теми, от чьей руки погиб мой отец. И еще имей в виду, урысам Тамбир ближе, нежели мы с тобой...

— Валлахи, не знаю, как мне понимать твои упреки, зиусхан? — прервал Меджира Алкес.— Вы же первыми помирились с теми, кто убил твоего отца... Не понимаю, что плохого, если Батчерий будет знать язык баткелей? Урысы — великая империя, урысов язык — язык великого народа. Кто сказал тебе, князь Меджир, что дружить с большим, мудрым и добрым народом — плохо? Кто сказал тебе, что наш народ должен жить

в своей скорлупе? Разве адыги настолько глупы, что им нечего сказать другим народам? Мы, адыги, по законам наших предков, даже врага обязаны принять с добром, если пришел к нам в гости... А Тамбир?.. Не Тамбир, а его жена погубила вашего отца. Не знаю, как вам теперь и быть, как поступить! Но имейте в виду — у Тамбира очень много друзей в Шапсугии, в Бжедугии, в Абадзехии. Он уважаемый человек. Соберитесь всем родом и посоветуйтесь, как вам поступить, чтобы не накликать позора и беды.

— Ты прав, зиусхан, но неотомщенная кровь нашего отца не дает нам покоя...

Спустя некоторое время после этого разговора князь Меджир поехал в Абадзехию к Макаю. После гибели Мамруко Макай еще некоторое время занимался разбойным ремеслом, а потом бросил. Не потому, что подобрел к людям,— начали донимать годы и болезни. Он поселился в небольшом ауле Азат и занялся пчеловодством.

Увидев у своих ворот князя Меджира, Макай воскликнул:

— Заходи, гость, в дом, окажи нам такую честь!

— Да будет добрым твой вечер, Макай! Ты узнал меня?

— Глаза мои ослабели да и темно уже. По голосу слышу, вроде из знакомых. Заходи в дом.

Князь не стал затевать долгий разговор, сказал, зачем приехал, чего хочет.

— Валлахи, гость, не знаю, что и сказать! Я ведь давно оставил свое ремесло, а потом Тамбир не из тех, кого так легко убрать. Да и силы в моих руках поубавилось — старость одолела.

— Я не о Тамбире говорю, Макай, а о той, которая носит на голове платок. От ее руки погиб мой отец.

— Это еще хуже, зиусхан,— усмехнулся Макай.— Знаешь как сильна и коварна она? У-у, не советую тебе встречаться с ней один на один... Сколько заплатишь? — вдруг жестко и по-деловому спросил Макай.

— Двести.

— Триста, и ни копейки меньше!

— Слишком много.

— Как знаешь, князь.

— Хорошо, Макай, триста.

— Знай же, Меджир, я согласился на это дело только потому, что твой отец был мне другом.

II

С начала весны Батчерий потерял душевный покой. Где бы он ни был, думал об абадзехском ауле Дахапе, где жила Агура. Когда гостил у Мишки Некраса, увидел ее во дворе и ждал, не зайдет ли она к гостям, но не дождался. Потом увидел ее еще раз-другой, расспросил о ней — очень она ему понравилась.

С той поры мысль о девушке не покидала его. Так было до самой осени, когда он наконец не выдержал и снова решил поехать в Дахап.

Прошлую ночь ему снилась Агура. Он сидел над обрывом реки, а она ходила на другом берегу. Рвала белые ромашки и желтые лютики, бросала, улыбаясь, в речку. Цветы подхватывало быстрым течением и несло к Батчерию, но у большого валуна, где вода кипела, как в котле, их уносило прочь. Он спустился с обрыва, подошел к воде, но Агура погрозила ему розовым пальчиком: «Не смей!» Он все-таки снял сапоги, ступил в воду и вскрикнул, такой обжигающе холодной была вода... Батчерий проснулся и, сладко потягиваясь, подошел к окну.

Шумел проливной дождь, но тучи уже уходили с неба.

— В Дахап, в Дахап! — повторял он, стоя у окна.

— В Дахап, поеду в Дахап! — говорил он себе, умываясь над тазиком.

Потом ему принесли анэ. Он съел кусок жареной телятины, запил калмыцким чаем, сдобренным черным душистым перцем и коровьим маслом. Надел дорожную черкеску, пристегнул кинжал, снял с вешалки мохнатую бурку...

— Зиусхан, тебя просила зайти княгиня,— сказала служанка, пришедшая убрать анэ.

«Что там стряслось? Еще чего доброго расстроит мою поездку»,— подумал Батчерий, направляясь к матери.

— Ты что-то хотела мне сказать? — спросил он, пытливо глядя на мать.

— Нет, нынэ, просто видела тебя во сне и захотела повстречаться с тобой.

— Пусть будет счастливым твой сон, мать!

— Да будешь ты свидетелем этого счастья, сын мой! Ты мне снился и Карина. Она упрекала меня, мол, почему так долго не приезжает Батчерий, мы все соскучились по нему.

— Давненько я не был у них.

— Чем топтать дорогу в Абедзехию, лучше бы съездил к своему аталыку,— мягко сказала княгиня. — Они там все глаза проглядели, ожидая тебя. А к абадзехам так часто ездить не надо, нынэ. Нечего тебе якшаться с тфокотлями, не княжеское это дело. И с Тамбиром незачем встречаться. Князь Меджир на тебя обижается из-за этого. Иди, нынэ, соберись в дорогу и поезжай к Бариноковым.

Княгиня Тлятаней не настолько любила или уважала Бариноковых, чтобы гнать туда сына в дождливую погоду, ей просто хотелось отвлечь сына от Абадзехии. Она узнала, что Батчерию симпатична дочь тфокотля Агура и обеспокоилась этим. «Как ни красива девушка,— думала княгиня,— княжич не должен жениться на дочери простого тфокотля. Пусть даже именитого, но все-таки тфокотля. Если он решится на это, придется ему выбирать между мной и девчонкой. Спаси меня, всемилостивый аллах, от такой беды».

Алкес тоже знал об Агуре, сначала и ему было неприятно, что брат великого князя якшается с простой девушкой, а потом он подумал: «Мне нужен союз с абадзехами, и в том, что Батчерий женится на Агуре, нет ничего плохого. Ведь, выйдя за него замуж, она станет княгиней. Пусть будет так». Правда, он еще не говорил об этом ни матери, ни Батчерию. Всему свое время.

Батчерий не мог ослушаться мать, а потому отправился с двумя уорками к аталыку. Сначала все было хорошо, но потом в разрывах туч увидел горы Абадзехии и не сдержал своего желания:

— Мне сегодня обязательно надо заехать в Дахап, а завтра уж тронемся к Бариноковым.

Прежде чем отправиться в Дахап, путники заехали в Азат, чтобы привести себя в порядок. Остановиться они решили у Макая, но его летнее жилье было забито досками и кольями. Видимо, хозяин увез свою пасеку зимовать в тепле. Пришлось расположиться под старой дикой яблоней. Совершив вечерний намаз, поев вяленого мяса и запив его кислым молоком, они направились в Дахап.

Когда путники подъехали к воротам родовитого Татау, в ауле уже зажглись в домах жировки, дымились трубы.

— Доброго вам вечера, дорогие гости, проходите в кунацкую. Аллах послал мне счастье! Проходите. Как поживаете, милостью аллаха? Не болеет ли великая княгиня Тлятаней? Как чувствует себя великий князь? Все живы-здоровы?.. Эй, парень! — крикнул Татау работнику. — Скажи там, что у нас в доме большие гости, пусть приготовят хороший стол!

«И зачем я заехал сюда? — досадливо подумал Батчерий. — Надо было ехать прямо к Тамбиру, проще было бы увидеться с Агурой. А теперь Татау вопьется в меня как клещ и ни за что не отпустит. Очень-то он мне нужен».

— Валлахи, Татау! — перебил болтливого хозяина Батчерий. — Мы не сможем у тебя долго находиться. У нас тут есть одно важное дело. Мы должны его решить сегодня же...

— Что еще за дело, которое нельзя отложить до завтра? Никуда я тебя не пущу, зиусхан. Скажи, что за дело, и я сам его сделаю. Скажи, кого позвать?

— Нет-нет! — заторопился Батчерий. — Этот человек не может сюда прийти.

— Разве есть такой человек в Дахапе? Если он не может сам сюда прийти, я принесу его на руках. Может, это баткель Мишка и ты стесняешься его назвать? Я мигом притащу и Мишку и Тамбира! Эй, парень! Сбегай и позови сюда Тамбира с Мишкой, скажи, их хочет видеть князь Батчерий! Ну, чего ты на меня уставился? Думаешь, если я враждую с Тамбиром, то не позову его в свой дом? Позову, потому что это надо моему дорогому гостю. Желание гостя — закон для хозяина. Да иди же ты быстрее, бегом!

Батчерий совсем опечалился, он понял, что сегодня ему не удастся увидеться с Агурой. Этот старый хрыч все испортил!

III

Макай до восхода солнца занимался хозяйством: выпустил овец в огород, выгнал в стадо корову с телкой. И очень обрадовался тому, что день занимался погожий, солнечный. Зарядил картечью ружье. На кабана. Приготовил пистолеты.

— Ты куда собрался, старик? — спросила жена.

Он рассердился на нее:

— Не бабе вмешиваться в мужские дела!

Он молча поел, макая лепешки в мед, смешанный с топленым маслом, напился молока. И, продолжая хмуриться, строго проговорил:

— Никуда я не еду, поняла? Сижу дома и никого не хочу видеть. Так и скажешь, если будут спрашивать... Вернусь домой к вечеру или ночью.

— Хорошо, старый, дай бог тебе удачи. Давненько ты никуда не ездил, совсем засиделся.

Макай выехал со двора не через ворота — направился в лес огородом.

Ближней дорогой, через лес, добрался до Дахапа. Неподалеку от родника привязал лошадь, а сам спрятался в кустах боярышника у берега речки — решил подкараулить Цицару здесь. Прошло довольно много времени; но вот со двора Тамбира вышли три женщины — Цицара, Агура и жена Михаила Лиза.

Макай напрягся, как волк, изготовившийся к прыжку.

— Посмотри на горы, Цицара, посмотри, какие они белые, яркие! Видно, сегодня ночью там выпал снег,— восторженно сказала Агура. — А глянь, какой лес! Боже, до чего же он красивый! И зря говорят, что осень печальная — у нее своя красота, своя радость.

Женщины залюбовались горами, лесом, затихшими полями...

Потом Цицара наполнила водой из родника кувшин и протянула его Агуре, наклонилась, чтобы наполнить второй, и в этот момент грянул выстрел, потом второй...

Первым выстрелом Макай убил Агуру, пуля попала ей в грудь, а вторым ранил в руку Цицару.

— Господь меня покарал! — закричала Лиза. — Убили, Агуру убили!

На выстрелы у реки рванулись мужчины, побежали с криками женщины и дети. А Макай был уже далеко от родника, он во весь опор скакал к князю Меджиру.

Услышал выстрелы и Батчерий. Он не знал, что это за выстрелы, но сердце его почему-то забилось в тревоге:

— Что там случилось?

— Не тревожься! — усмехнулся Татау. — Два дурака каких-нибудь поссорились. У нас это не редкость.

Вскоре от реки вернулся один из уорков:

— Беда, зиусхан! Убили Агуру...

— Агуру?! — вне себя закричал Батчерий. — Кто убил? Схватили того негодяя?!

— Нет, зиусхан...

Увидев упавших женщин, Макай решил, что убил обеих, об этом он и спешил рассказать князю Меджиру. Приехал в аул затемно, тайком пробрался во двор.

— Эй, кто там бродит? — окликнул его князь.

— Я, зиусхан,— подобно кошке мягко ступая, вошел в кунацкую Макай. — Я не в гости приехал к тебе, зиусхан. Можешь ехать с соболезнованиями к Тамбиру. Но сначала рассчитайся со мной, как уговаривались. Мне надо тут же скакать к себе, не ровен час, еще заподозрят.

— Когда это случилось?

— Сегодня утром.

Меджир достал ларец, отсчитал пиастры:

— Никто тебя не видел?

— Ты еще спрашиваешь, князь! Я свои дела делаю чисто. Счастливо оставаться!

Меджира внезапно обуял страх: а вдруг кто-нибудь узнает, что Макай убил Цицару по его заданию? Что тогда? Абадзехи не только его, Меджира, сживут со свету, но уничтожат весь его род. Внезапно мелькнула мысль: «А не прикончить ли Макая, пока не поздно?»

Одевшись и оседлав коня, он сказал:

— В знак моего уважения я провожу тебя.

— Спасибо. Если захочешь расправиться с Тамбиром, я сделаю это, но платить придется дороже.

— Будем живы, подумаем и об этом...

Всадники ехали в глубокой темноте, тихо беседуя.

Так они доехали до перекрестка.

— Счастливого пути, Макай!

— Счастливо и тебе, зиусхан!

Меджир поднял руку, будто бы приветствуя Макая, и выстрелил из пистолета в упор. Макай вскрикнул и упал на шею коня.

Кроме денег, Меджир не взял у него ничего. Привязал мертвое тело к лошади и, подхлестнув ее, направил по абадзехской дороге...

IV

Тамбир и Михаил провели целый день в поисках убийцы, но никого не нашли. Когда вернулись домой, Тамбир сказал Батчерию:

— Хочешь обижайся, князь, хочешь нет, но я скажу: смерть Агуры на совести Бжегаковых!

— На что же мне обижаться? Но разве Бжегаковы и родственники Агуры враждовали?

— Убийца целился в Цицару, но мертвой пала Агура.

— Тамбир прав,— вмешался в разговор Михаил.

— Валлахи, удивительные вещи я слышу! — печально сказал Батчерий. — В ваших словах, наверно, есть правда, но я думал, вы уже помирились.

— Это так... казалось со стороны. Я ждал мести, поэтому всегда оставлял жене заряженное ружье. Но Агура, бедная Агура, ей за какие грехи досталась такая горькая доля?..

После похорон Агуры, глубоко опечаленный и потрясенный ее смертью, Батчерий поехал домой, а не к Бариноковым.

О многом он передумал дорогой. Перед глазами все еще стояли похороны, убитые горем родители Агуры, в ушах — плач женщин. Батчерию было нелегко держать себя так, чтобы люди не увидели его горя.

После трудной дороги он спал тяжелым и тревожным сном. Проснулся, глянул в окно. Вместо вчерашнего дождя шел снег. И Батчерию представилась могила Агуры, засыпанная холодным снегом.

Снег повалил хлопьями, укрывая крыши и землю, огромными папахами ложился на деревья.

После завтрака Батчерий сел на коня и уехал.

— Куда он подался в такую погоду да еще один? — обеспокоенно спросила Алкеса великая княгиня.

— Пусть прогуляется, нечего ему дома сидеть и тосковать... А я радовался, что он нашел себе невесту в Абадзехии, и вот...

— А я не радовалась! — резко сказала княгиня. — Сыну великого князя жениться на дочке тфокотля — позор! Аллах услышал мою молитву и избавил нас от нее. И вообще, сын мой, я ничего больше не хочу слышать об Абадзехии!

— Я повторю, мать, еще раз: если Батчерий послушается меня и женится на девушке из Абадзехии, я обрадуюсь. Пусть она будет даже не из знатного рода. Мне нужна дружба с абадзехами, нам, бжедугам, нужна.

— Вот Бастэвы отдали свою дочь за турка, и чего добились, чего добились шапсуги? Адмирал сел на свои корабли и уплыл.

— Уплыл,— согласился Алкес. — Но это не значит, что между шапсугами и турками нет дружбы. Адмирал еще вернется.

— Это дело его! Ничего об этом больше не хочу слышать! Не хочу, чтобы мой сын женился на мужичке! — вспылила великая княгиня.

— Откуда ты знаешь, на ком он захочет жениться?

— Знаю — он мой сын!

— И мой брат!

— Как ты смеешь мне перечить?! — княгиня даже посинела от гнева. — Если ты великий князь, это еще не значит, что можешь кричать на меня.

— Я не кричу, мать,— смиренно ответил Алкес.

— Кричишь! Иди к своей жене и кричи на нее! Твой отец не заискивал перед абадзехами.

— То было другое время, мать. Я тоже не заискиваю перед ними, а ищу дружбы. Если все адыги — князья, уорки, родовитые, тфокотли — не объединятся во имя нашей великой земли, если не будем искать дружбы с сильными народами, нас превратят в рабов, мы пропадем.

— Говорите и делайте что хотите, но я не хочу знать абадзехов! И если будешь мне перечить, не посмотрю, что ты великий князь, хорошенько поколочу!

— Это ты можешь сделать, мать, хоть сейчас. Но в своих великокняжеских делах я буду поступать, как требует дело,— холодно и строго сказал Алкес и решительно направился к двери.

V

Тартан вышел утром на улицу и ахнул: так неузнаваемо изменился мир. Ночной буран, казалось, похоронил Туабго. Черными точками торчали только острия кольев, да чернели кое-где закоулки между сараями, под верандой.

Тартан нагнулся и взял горсть снега, он показался каким-то мягким и влажным — может, скоро растает? И он, вздохнув, подумал о путниках, которых буран застал в дороге, о бедных вдовах, у которых, наверно, не хватит на зиму дров, о скотине — ей теперь не пощипать травку...

«Вон какая погодушка, вон какой снежище, а Мач уехал против моей воли с Ламжием в Абадзехию. Конечно, в Дахапе большое горе, надо принести соболезнования, но в такую шальную погоду в дальний путь отправляться опасно».

Тартан окинул взглядом двор, где жил с двумя младшими братьями. У каждого из них свой дом, свои сараи, курятники, у каждого свое хозяйство. «Если бы Мач приехал ночью, во дворе остался бы след. Да и зашел бы ко мне».

Вышел во двор и средний из Мышоковых, направился к Тартану:

— Валлахи, сколько снегу навалило!

— Много, а нашего младшего все нет.

— Приедет сегодня,— попытался успокоить Зекох.

— Как это — сегодня, если я велел ему быть дома еще вчера? Если они не вернутся к обеду, поедем искать. Неси лопаты, будем чистить двор.

Братья работали споро и дружно. Вскоре были проложены дорожки ко всем трем домам, к сараям и курятникам.

Вспомнив, что Ламжия нет дома, Тартан сказал Зекоху:

— Пойди на подворье Ламжия и наколи дров, почисти двор и дай корм скоту, а я пойду помогу соседям...

К обеду Мач не вернулся, и братья оседлали лошадей, собрались в дорогу. Тут-то и появился Мач.

— С прибытием, Мышоков! — поздоровался Зекох. — Заждались мы тебя, собрались искать.

— Вы в самом деле собрались ехать за нами? — спросил у Тартана Мач.

— Собрались. Погода-то вон как разгулялась, ночью был такой буран.

— Ты меня, гляжу, совсем за ребенка считаешь, мой старший брат.

— А почему ты не вернулся в назначенный срок?

— Не смог. Салим не отпустил. Зачем, говорит, на ночь глядя ехать. И небо тучами заволокло, ветер стал подниматься.

— Ладно, прощается тебе этот грех,— улыбнулся Тартан. — Какие там новости в Абадзехии? Кого подозревают в убийстве?

— Трудно сказать. Одни подозревают Макая, но он сам кем-то убит. Другие думают, что Агуру убили недруги Батчерия. Какой-то парень долго добивался ее руки, а она все ему отказывала.

— А что отец думает?

— Он оказался мудрым человеком. Ему советовали мстить роду Хаджемуковых, это, мол, их дело, они не хотели брать себе невестку из тфокотлей. Он сказал — нет, никому не буду мстить, пока достоверно не узнаю, кто ее убил. Если все начнут мстить по догадкам, сказал он, не будет мира на земле.

— Княгиня Тлятаней не хотела видеть невесткой Агуру, но великий князь не возражал против нее. Так что вряд ли тут замешаны Хаджемуковы. А что говорит Тамбир? — спросил Тартан. — И как убит Макай?

— Обвиняют в убийстве князя Меджира.

— Я тоже так думаю.

В комнату вошел Ламжий:

— Валлахи, опозорился я перед вдовой Бгане! Обещал ей сено перевезти, а видишь, как сложилось? Снег выпал.

— А свое вывез? — поинтересовался Тартан.

— И свое не все вывез.

— Тогда нет никакого позора,— успокоил он Ламжия. Потом обратился к младшему брату: — Зекох, запрягай волов, поедем за сеном.

VI

Более тяжелого времени, чем минувшая осень, Батчерий не помнил. И причиной тому была смерть Агуры. Он не только любил девушку, но в женитьбе на ней видел весь смысл своей жизни. Он мечтал о том, как будет жить с любимой женщиной

отдельной семьей, в своем ауле, станет хозяином своей судьбы. Мечтал о том, что у них будет сын и дочь — продолжение их любви, их с Агурой жизни.

Алкес понимал младшего брата, старался почаще с ним встречаться, ездить на прогулки, на охоту. Пытался занять его и домашними делами и своими великокняжескими, но из этого ничего не выходило. Пока Батчерий находился с братом, с уорками и князьями, будто забывал свое горе, но стоило ему остаться одному — печаль заполняла его сердце. Печаль и такое чувство, что он один на всем белом свете.

Сегодня Батчерий решил съездить к аталыку, подумал, может, в дороге развеется немного, может, у Бариноковых, где прошло его детство и ранняя юность, будет полегче.

Алкес просил Батчерия не покидать аула без его согласия, вот он и шел теперь к брату посоветоваться. Они встретились на крыльце.

— Ты далеко собрался, брат?

— Шел к тебе: хочется мне съездить к Бариноковым. Как ты думаешь?

— Я и сам хотел тебе сегодня посоветовать съездить к аталыку. День хороший выдался, пригласи двух уорков и поезжай... Правда, я хотел поговорить с тобой об одном деле, но раз ты надумал ехать, то поезжай. Потом поговорим.

— Я могу поехать и завтра. Давай поговорим.

— Нет, это не к спеху. Вернешься от Бариноковых тогда и обсудим. Счастливой тебе дороги, передавай мой привет всем Бариноковым. Об Абадзехии хотел поговорить. Вернешься и побеседуем.

Бариноковы очень обрадовались воспитаннику. Позвали ближних и дальних друзей. Пировали весь день, а потом ночь до самого рассвета.

Выспавшись, Батчерий сказал Багдасару, что сегодня хочет ехать домой.

— Что так быстро, Батчерий? — огорчился Багдасар. — Чем мы тебе не угодили, что тебе не понравилось? Скажи.

Батчерий только пожал плечами, он просто не находил себе места.

— Если уедешь сегодня, что скажут люди? Ты опозоришь нас.

— Зачем ты говоришь так, отец? Как я могу опозорить тебя, разве я позволю себе такое? Я останусь, обязательно останусь еще на денек.

«Я знаю, сын мой,— думал Багдасар,— что тебя печалит, но ты не хочешь поговорить со мною об этом, стыдишься. Сказал бы Левану, а он передал бы потихоньку мне, и я бы все устроил. Ведь мы тоже страдаем за тебя, потому что ты нам не чужой. Если нужны деньги, их у меня хватает... Только скажу честно,

мне тоже не нравится, что вы задумали брать девушку из Абадзехии».

Багдасар вспомнил недавний разговор с великой княгиней. Она сказала ему: «Я родила княжича, а вы воспитали его, да будет аллах вами доволен! Батчерий уважает и почитает вас, поэтому и прошу: убедите его не брать невесту из Абадзехии. Не хочу видеть в семье мужичку и буду добиваться своего всеми силами».

Но как ей помочь, как подступиться к Батчерию? Наверно, надо это сделать через Левана...

Батчерий пробыл у аталыка еще два дня и, вернувшись домой, пошел к великому князю, но он был в отъезде.

Да и о чем с ним говорить? Батчерий решил, что не будет жениться вообще. Над этим он думал все время после смерти Агуры. И чем больше думал, тем тверже становилось его решение.

Глава девятая

I

Прошло около четырех лет, как адмирал Джанклы увел свои корабли от берегов адыгской земли. И вот весной 1788 года он снова высадил войско около маленькой реки Бугур. Ни у кого не спрашивая разрешения, работая днем и ночью, турки возвели за лето несколько каменных домов. Осенью маленький городок Анапэ[1] уже имел вид крепости.

О том, что турки строят крепость Анапэ, Шепако узнал только в конце лета. Он два месяца пробыл в Кабарде и Бесленее. Оттуда заехал к Дзепшу, от него — к Ламжию. И только когда возвратился в родной аул, ему сообщили эту новость.

— Не все спокойно, Ахмед, на нашей земле,— прямо с порога кунацкой начал говорить сосед Ахмеда Субаш.

— Что случилось? — обеспокоился хозяин.

— Турки на реке Бугур.

Ахмед надолго задумался: «Снова эти турки, что им надо? Ясно одно — не миновать беды. Если они строят крепости, значит, готовятся к войне против России. Прольется, прольется кровь адыгов. Что можно сделать, чтобы не впустить к себе эту кровавую чуму, которая опустошает поля и уничтожает целые селения, выбирает жертвы среди самых молодых и сильных мужчин?»

Ахмед не смог уснуть в эту ночь. Чем дальше, тем тревожнее становилось на земле адыгов.

---

[1] Анапэ — дословно — нос круглого анэ (стола).

— Почему турки так поступили? Где справедливость? — спросил как-то Ахмеда один из тфокотлей. — Неужели у них мало своей земли, что они пришли на нашу да еще распоряжаются на ней будто хозяева?

— А тебе-то что за дело? — решил испытать тфокотля Ахмед. — Дом у тебя не отняли, твое поле не тронули. Зачем тебе волноваться?

— Валлахи, Ахмед, не думал я, что ты так ответишь! Ожидал от тебя умного слова,— обиделся тфокотль. — Моя земля не кончается моим полем. Мой дом кончается там, где кончается земля адыгов. Я не полез, как вор, в дом турка, зачем он полез в мой? Он, наверно, забыл, что хозяин здесь я.

— Ну и что ты теперь думаешь делать? — обрадовался такому ответу Ахмед.

— Что я могу сделать один? Надо собрать хасе и запретить туркам строить свою крепость.

— А если они не послушаются решения хасе? — продолжал допытываться Ахмед.

— Тогда надо взять оружие и выгнать их силой.

— Как поднять оружие против огромной страны? Ты думал об этом? — с горечью спросил Ахмед. — У нас нет ни своего государства, ни хана, ни царя, как у русских. Мы живем разрозненно...

— У нас есть мужество! — вспылил тфокотль.

— Здесь одного мужества мало, надо еще иметь голову на плечах,— окончил разговор Ахмед. Он и сам не знал, что делать, какое принять решение.

Ему захотелось посоветоваться, поговорить с друзьями, и он снова собрался в путь. На этот раз недалеко. Объехал ближайшие аулы, говорил и с тфокотлями, и с родовитыми, но пользы от этого было мало. Никто ничего толком не знал, время прошло в пустых спорах. Не принес ни радости, ни облегчения и натухайский хасе, который собрался перед самыми заморозками.

— Почему ты громче всех кричишь? — уколол Ахмеда Усток. — Можно подумать, что тебе больше всех надо. Или хочешь показать, что ты один здесь умный, а все остальные дураки? Не воевать же нам с турками из-за одной-единственной крепости? Да она и не мешает нам, пусть себе стоит. Тфокотлям даже выгоднее, они будут ездить в крепость, торговать с турками, покупать товары. И еще: адыги не имеют своего войска, пусть будет войско турецкое. Оно и адыгов защитит, если придет нужда. А самое главное, что тфокотли выслушали доводы родовитых и согласились с ними. Наконец-то между нами согласие. Неужели ты хочешь его нарушить?

— Выслушал я тебя,— горько ответил Ахмед. — Сладко ты говоришь, мягко стелешь, да спать будет жестко. Сейчас тфокотли не поняли, что твои слова лживы. Потом поймут. Вам, может быть, на руку и войско адмирала. А нам все это ни к чему. Торговать и я бы согласился. Да торговать здесь соби-

раются не кожей и не зерном, а человеческими жизнями, свободой. Горько мне, что среди натухайцев не все думают так, как я и мои друзья, но придет время — и широко откроются глаза у тех, кому их закрывают сейчас. А я не успокоюсь и буду всюду повторять, что родовитые обманули народ и открыли двери врагу.

— Ты не будешь этого делать! Ты сам закрыл свои глаза и ничего не видишь вокруг! — возразил Усток. — Решение приняли единодушно. Не будешь же ты идти против всех, как неразумный осел против бурного течения многоводной реки? Да и что ты можешь один?

— Аллах свидетель, я взорву ворота крепости на Бугуре! — запальчиво вскричал Ахмед. — А если я этого не сделаю, не считай меня мужчиной!

II

— Дарихат, я прибежал к тебе, чтобы сообщить новость,— начал Бороко. Лицо его было растерянным, испуганным и оживленным. — Я видел, как Натар беседует с джиннами!

— Где видел?

— Там...

— Да где там? Говори толком! — рассердилась Дарихат.

— В лесу, под большим дубом,— нисколько не обидевшись, зашептал Бороко. — Разговаривает, руками машет... Вскакивает, снова садится, хлопает в ладоши, смеется...

— Да сохранит нас аллах! — слегка побледнела Дарихат. — Когда ты видел это?

— Только что.

— Эй там! — крикнула Дарихат. — Седлайте коней! Говорят, этот безбожник Натар устроил в лесу свадьбу с джиннами. Передайте его отцу, пусть поедет вместе с вами и посмотрит на своего сына! Да прихватите с собой еще кого-нибудь, с джиннами шутки плохи.

Пока заезжали за Анзауром, пока добирались до леса, слух о джиннах успел распространиться по всему аулу. Первыми переполошились женщины, потом поднялись и мужчины. Кто пеший, кто на коне бросились они в лес, захватив с собой вилы, грабли, ружья, чтобы отогнать джиннов от Натара. Словно в ожидании какой-то большой беды, запирали ворота, двери, женщины и дети попрятались по домам.

Увидев всадников, направлявшихся в сторону леса, Хагур упрекнул их в душе за то, что в такое страдное время они не занимаются делом. Сам он пропалывал кукурузу. Акоза шла ему навстречу с другого конца поля, ей помогал сын.

— Что за всадники поскакали в лес? — крикнула Акоза.

— Валлахи, не знаю. Видно, к Шеретлуковым приехали гости.

— А эти куда бегут? — Акоза заметила пеших. — Мос, не к добру это...

— Ты права, там что-то случилось,— забеспокоился Хагур. — Пожалуй, мне тоже следует присоединиться к ним, а ты иди домой. И жди меня дома. Да мальчишку не выпускай никуда,— и Хагур бросился седлать коня.

А тем временем Анзаура мучил страх: «Что плетут эти люди? Какие здесь могут быть джинны? Натар, конечно, опять сочиняет свои дурацкие песни. Сколько раз говорил, чтобы он бросил это пустое и вредное занятие. Если уж так хочется сочинять, писал бы о родовитых, славил их богатство, могущество, глядишь, и сам бы стал богатым. Родовитые любят сладкие речи. А то болтает о лесе, о весне, о реке да облаках — что толку? Лучше бы ты снял с меня голову, чем пустил дурной слух о нашем роде. Зря, выходит, я учился в Крыму, зря и тебя учил. Если бы знал, что так получится, не держал бы тебя в доме, отправил бы куда-нибудь подальше. Все ждал, что образумишься, женил. Невестку взял из дальней стороны, ту, которую ты сам выбрал. Делал что хотел. И я не мешал. Вот и язык баткелей выучил. А зачем было его учить? Достатка в доме он не прибавил. Разве я сказал тебе что-нибудь, когда ты приглашал в гости баткелей? А ты за добро платишь злом. К самому́ гололицему инералу Суворову ездил. Турки не раз высказывали мне свое неудовольствие, но я терпел. Правда, когда ты захотел поехать в Батырбыф, я не пустил тебя, отговорил. Но и за это ты должен сказать спасибо. Сколько бы бед наделал, если бы поехал! Урысы враждуют с турками. Зачем нам соваться в дела двух сильных? О, мой аллах, пусть обернется ложью то, о чем сказал Бороко. Ничего не пожалею, все отдам, только бы оградил аллах от несчастья. Телку пожертвую какой-нибудь бедной вдове, денег дам, только пусть на небе услышат мои молитвы! Я не верю, чтобы мой сын спутался с джиннами. Но вдруг он все-таки с ними спутался? Джинны хитрые, а Натар простодушный, глупый. Если так, надо действовать, как учили в Бжедугии: окружим и перепугаем джиннов. Я не пожалею пороха, хорошо вооружены и мои спутники»,— думал Анзаур, подъезжая к лесу.

Немного не доехав до поляны, всадники увидели Натара, который сидел, прислонившись к стволу дерева. Али-Султан предупредительно поднял руку, все остановились. Натар не смеялся, не прыгал, не разговаривал, как уверял Бороко, а сидел спокойно с отрешенным, задумчивым видом.

— Тихо,— прошептал Бороко,— не вспугните его, сейчас он снова начнет беседовать с джиннами.

— О каких джиннах ты говоришь! — облегченно вздохнул Анзаур, наблюдая за сыном. — Видишь, он совсем один.

Натар вскинул голову и, уставясь в высокое чистое небо, сверкающее яркой голубизной между ветвей, начал читать:

Как чиста синева небес,
А на землю струится зной,

И ветвями своими лес
Наклоняется надо мной...

— Окружите, чтобы джинны не смогли убежать! — крикнул Али-Султан. — Скорее окружайте со всех сторон!

Натар вскочил, недоуменно глядя на всадников, высыпавших на поляну. Из-за деревьев доносился шум толпы, приближающейся со стороны Бастука.

— Что это за всадников ты привел сюда, Шеретлуков? — спросил Натар, узнав Али-Султана. Отца он не заметил.

— Я привел людей, а ты привел на нашу беду джиннов. Бейте джиннов!.. Бейте их грудью коней!.. — кричал Али-Султан, увлекая за собой аульчан.

— Что-то шуршит в орешнике! — воскликнул один из всадников. Тотчас раздались выстрелы.

Натар понял, что дела его плохи. Началась свалка. Натара ударили кнутом, чей-то конь налетел на него и опрокинул на землю. Он вскочил, схватился руками за разбитую голову, но его опять сбили.

Увидев, что сын лежит на земле, Анзаур спрыгнул с коня.

— Остановитесь! Что вы делаете? — не помня себя, закричал он, стараясь прикрыть собой тело сына. И в этот момент показался Хагур с друзьями...

III

Когда всадники покинули Непабль, горизонт на востоке еще не собирался розоветь. Летняя, яркая луна только что проделала половину пути и остановилась на небе, словно передохнуть. Светло так, что можно увидеть оброненную на землю монету. Звезды изредка прочерчивают в небе светящиеся тропки.

Вблизи устья Бугура к всадникам должны присоединиться еще пять человек, поэтому решено ехать самой короткой дорогой, чтобы добраться до рассвета. Уже два часа скачут они, ни словом не обмолвившись друг с другом.

Ахмед вспоминает тфокотля Хурума, того, кто одним из первых высказался против строительства крепости Анапэ. Ахмед со своими единомышленниками не так давно уже совершил налет на строителей, но Хурума тогда не было. Услышав о нападении, он пришел к Ахмеду на второй день с упреком.

— В обиде я на тебя,— сказал он. — Я надеялся, что ты возьмешь меня с собой, думал, что умеешь держать слово, выходит, ошибся. Может, ты не доверяешь мне?

— Я доверяю тебе,— серьезно ответил Ахмед,— и взял бы с собой. Но в тот день тебя не было в ауле, а мы не могли откладывать. Верь мне, в следующий раз, когда мы соберемся, я предупрежу тебя заранее.

Ахмед выполнил обещание. Вчера вечером он посылал к Хуруму предупредить, чтобы он был готов выступить. Но Хурум неожиданно отказался, сославшись на то, что ждет гостей из

Тозепса. Ахмед не знал, что и подумать. Неужели Хурум испугался? Это недостойно мужчины. Плохо, когда человек не хозяин своего слова. Но еще хуже, когда он говорит о своей верности, а в трудную минуту обманывает. На душе становится совсем горько.

Если есть в Натухае настоящие мужчины, то один из них — Субаш. Говорят, не хвали того, с кем не был в дороге. С Субашем Ахмед был в дороге. Ведь именно Субаш прошлый раз бросил подожженную солому в пороховой погреб и взорвал его. Чудом спасся он от разъяренных аскеров. А сейчас снова рядом, готов напасть на крепость.

Спустившись с холма, Ахмед и Субаш встретились с пятью всадниками. Они везли две бочки пороха, которыми собирались взорвать восточные ворота Анапэ. Ахмед сказал:

— Сейчас пора самого сладкого сна. Не будем нападать на жилища, наша цель — ворота.

— Жаль тратить столько пороха на какие-то ворота,— ворчал Усток.

— Не жалей о порохе,— успокоил его Ахмед. — Он возвращается туда, откуда взят.

Высокая каменная стена закрывала постройки, не было ее только со стороны моря. В крепость вели восточные и западные ворота. Всадники разделились на две группы. Одна группа осталась в лесу на случай, если понадобится помощь. К воротам со своими людьми пошел Ахмед. Подъехав, они решили не скрываться, а, наоборот, вступить со стражей в разговор.

— Эй, кто там! — крикнул Ахмед. — Есть ли здесь часовые?

Пока Ахмед кричал, Субаш с друзьями снял бочки с порохом и подкатил их к воротам.

— Что вам нужно? — послышалось сверху.

— Нам-то ничего, мы Батал-Паше привезли мед,— отозвался Ахмед, мешая турецкие и адыгские слова.

— Не могли попозже, притащились в такую рань...

— Так получилось, мы не виноваты,— тянул время Ахмед, искоса наблюдая, как Субаш насыпал к бочкам дорожку из пороха. — Скажи там кому надо, что привезли мед, а то мы уедем и ты будешь виноват. Мы пожалуемся, что ты не хотел впустить нас только из-за своей лени.

— Что здесь за шум? — спросил кто-то за воротами, вероятно старший.

Пламя побежало по пороховой дорожке, Ахмед со своей группой рванулись назад, пришпоривая изо всей силы коней. Спустя несколько долгих секунд Субаш оглянулся, и в этот момент раздался сильный взрыв. Внутри крепости поднялся переполох, раздались выстрелы.

В ту же ночь всадники вернулись в Непабль.

Новость о взрыве пришла в аул только к вечеру, рассказывали, что взорвана вся крепость. Услышав об этом, тфокотль Хурум сразу же прибежал к Ахмеду.

— Вы совершили подвиг! — закричал он еще с порога.

— О каком подвиге ты говоришь? — спокойно спросил Ахмед.

— Разве вы не ездили туда, куда собирались ехать вчера вечером?

— Ездили,— подтвердил Ахмед. — На рыбалку. Хотели тебя с собой взять, но ты ждал гостей. А здесь уж особенно выбирать не приходится — или рыбалка, или гости.

Хурум опустил голову, он понял, что над ним насмехаются, ему перестали верить. Конечно, никаких гостей он не ждал — испугался. Испугался не за себя, за детей. Его могли убить, а что станет с его маленькими детьми? Кому они будут нужны? Кто о них позаботится?

— Знаю, Ахмед, что ты обиделся на меня, но что я могу поделать? Ведь у меня дети!

— Трудно найти тфокотля, у которого бы не было детей. Большие ли, малые — все равно дети. Все девять братьев Хагура выросли без отца и стали людьми. Они тоже были совсем маленькими, когда их отец выступил против Абатовых и погиб. В этой жизни или будь мужчиной, или умри.

IV

О том, что случилось с Натаром в Тхамезском лесу, говорили по всей Шапсугии. А самому Натару было очень худо. Сначала он глухо покашливал, а потом стал кашлять кровью. Анзаур приглашал к нему разных лекарей, но все сказали, что помочь ему не могут. Вскоре, поняв, что Натар не выживет, чапщ у его постели прекратили.

Эффенди сначала не поверил лекарям, надеялся, что сын поболеет и выздоровеет, но теперь и сам увидел — не жилец Натар на этом свете... Анзаур исправно ходил в мечеть, горячо молился аллаху, прося у него защиты для грешного сына. Не помогло и это. Он корил себя, вспоминая день, когда привез сына из леса с разбитой грудью и сказал: «Ты получил по заслугам». Теперь эти слова жгли ему сердце.

Как-то, возвращаясь из мечети после обеденного намаза, Анзаура окликнул Али-Султан:

— Как поживаешь, эффенди? Говорят, Натару стало лучше? На этот раз, Анзаур, ты ни в чем не виноват. Ты поступил как истинный мусульманин, изгнал из нашего леса джиннов. По твоему примеру стали пугать и разгонять джиннов и в других аулах. Наши тфокотли ездили в Итау-Иташ, я дал им много пороху и свинца, чтобы и там хорошенько пугнули злых духов... Я думаю, Натар поправится, пошли ему аллах доброе здоровье! А когда выздоровеет, попроси его только об одном: пусть он в своих песнях не смеется над родовитыми. Пусть лучше сложит хорошую песню о моем отце, о человеке, который был добрым и мужественным. Я не пожалею ничего для Натара.

Анзаур почувствовал, как в висках застучала горячая кровь. Обида сжала сердце, но он только сказал:

— Хорошо, Али-Султан, передам ему твои слова. Может, Натар и послушается.

— Да поможет ему аллах!

Расставшись с Али-Султаном, Анзаур задумался. «Родовитые улыбаются мне, тфокотли косятся. Что я сделал тем и другим? Даже единственный сын не хочет со мною разговаривать. Не проронил ни слова с тех пор, как я привез его из лесу. Я служу аллаху, стараюсь, чтобы люди не забывали о нем, о его всемогущей силе, всемилостивейшей доброте. Может, я и аллаху не так служу, может, он разгневался и посылает на мою голову беды?»

Прошло несколько дней. Как-то утром Анзаур зашел к сыну. Потрогал его лоб.

— Сегодня тебе, кажется, немного лучше?

Натар молча посмотрел на отца.

Анзаур сел на постель, стал гладить ноги Натара:

— Чего ты молчишь, сын мой? Если обижаешься, скажи, за что.— На глазах выступили слезы.— Не падай духом, сердце мое чувствует — ты поправишься.

— Нет, отец... Я знаю, конец мой уже близок... А на тебя совсем не обижаюсь... Я сам во всем виноват. Я обидел тебя, когда сказал, что вера, которую ты проповедуешь на чужом языке,— это не вера.

— Помню,— заволновался Анзаур,— прости меня, но мы не имеем права судить нашу веру, нашего аллаха.

— Ты веришь, отец, что ночами к Дарихат приходит из рая Наго?

— Не знаю... Они безбожники. Не будем говорить о них.

— Не приходит Наго!.. И я не дружу с джиннами!

— Знаю, сын мой, знаю!

— Зачем ты говоришь в мечети, что Наго святой?

— Не по своей воле я это говорю.

— А вот Хагур и Шепако всегда поступают по своей воле.

— Е-вой-вой, сын мой, разве люди одинаковы? Хагур и Бороко родные братья, но какие разные!.. Если бы я не восхвалял родовитых, разве они оставили бы меня в мечети? И мы с тобой по-прежнему жили бы нищими.

— Значит, пой песню тому, на чьей повозке сидишь? Но ведь это стыдно и грешно, отец...

Натар закашлялся, платок обагрился кровью. Он потерял сознание и утром следующего дня умер.

V

Когда главе турецкого государства Селиму Третьему рассказали о нападениях адыгов на крепость Анапэ, он строго-настрого приказал держать это в секрете от русских, приказал вся-

чески привлекать на свою сторону знатных людей адыгской земли. С этой целью дал денег, много шелка, пороха, соли. «Но главное,— наставлял он,— надо твердить адыгам о мусульманской вере, которой они должны быть верны, если не хотят накликать на себя гнев аллаха. Надо распространять слух, что гяуры усиленно готовятся к войне, собираются напасть на адыгов, хотят разграбить селения, а их угнать в рабство...»

Ахмеда за его нападения на Анапэ в народе прозвали Калаубатом — разрушителем города. Тфокотли рассказывали о его подвигах в кунацких. И, как водится, рядом с былью расцветали небылицы, разные захватывающие истории. Несколько раз распространялись слухи, что Ахмед убит в жестокой схватке с турками.

И в это утро в Бастук пришла весть, что убит Ахмед Шепако. Услышав об этом, Тхахох сначала не поверил, но потом все-таки решил встретиться с Хагуром, которого и нашел на берегу реки Иль. С ним они решили поехать в Непабль, чтобы все разузнать.

— Позор нам, если с Ахмедом случилась беда,— сказал Тхахох.

Они поехали и встретили кузнеца Патареза.

— Счастливой вам дороги, тхаматэ,— сказал кузнец.

— Спасибо,— ответил ему Тхахох. — Ты откуда едешь?

— Из Непабля.

— Как там дела?

— Слава аллаху, все спокойно. Пасечники мед качают. Хороший в этом году сбор.

— Ахмеда Шепако там не видел? — спросил Хагур.

— Конечно, видел. Он велел передать вам салям.

— О, алейкум салям! — радостно воскликнули Тхахох с Хагуром.

— А вы куда собрались? — спросил в свою очередь Патарез.

— Когда ты видел Ахмеда? — вопросом на вопрос ответил Тхахох.

— Сегодня утром он с Субашем и Устоком проводил меня. А вы, верно, услышали какую-нибудь весть? Должно быть, опять родовитые распространяют слух, что Ахмед убит? А он поехал в Анапэ.

— Зачем? Опять?..

— За ним прислал гонца Батал-Паша.

— Чего хотят от него турки? — встревоженно спросил Тхахох и натянул поводья.

— Откуда мне знать? Я собрался ехать с ним, однако он взял с собою только двух человек. Но многие из тфокотлей Непабля решили отправиться следом за ним и у крепости подождать, не понадобится ли их помощь Ахмеду.

— Молодцы тфокотли! — воскликнул Тхахох. — Если так, и мы должны туда ехать...

...К обеду все трое были у южных ворот, где встретили тфокотлей из Непабля.

— Вас тоже пригласил Батал-Паша? — спросил у них Хурум.

— О, сколько вас много здесь! И все из Непабля?

— Нет. Из разных аулов. Все такие же, как и вы: услышали про Ахмеда и прискакали, чтобы не дать его в обиду.

В это время на берегу Бугура показались аскеры. Они везли в бочках пресную воду в крепость. Водовозов сопровождали верховые и две пушки.

— Разве без пушек нельзя уже и воды привезти? — весело спросил Патарез.

— Они с пушками скоро будут и по нужде ходить,— выкрикнул кто-то из тфокотлей, и все дружно рассмеялись.

Заметив толпу конных адыгов, турки остановились, развернули пушки...

— Что задумали эти ничтожные люди? Собираются стрелять из пушек? — тревожно спросил Хурум.

— Пусть стреляют, если им жить надоело.

Как раз в эту минуту из-за кустов шиповника показались всадники. Их было немало. Увидев это, турки пустились наутек, бросили и повозки и пушки.

В доме Батал-Паши между тем происходил разговор — длинный, нудный. Ахмед терпеливо слушал и отмалчивался, ждал, когда же Батал-Паша начнет о деле.

— Языки у нас с вами разные,— сказал хозяин. — Но аллаху было угодно, чтобы мы служили одной вере... Если мы, мусульмане, будем делать одно, угодное аллаху дело, то нас с вами никто не одолеет, нам будут не страшны гяуры. Адыги и турки уже много лет живут в мире и дружбе, они даже породнились. Ты знаешь зятя адыгов, адмирала Джанклы?

— Слышал о нем,— сказал Ахмед и улыбнулся, вспомнив, как адыги украли у адмирала аскеров и потом продали ему же за порох и свинец. — Слышал. Говорят, он не смог поладить с шапсугами.

— Глупо повел себя, вот и не поладил... Ты очень уважаемый человек. Я много слышал о тебе добрых слов. Скажи, что ты думаешь о бжедугах?

Ахмед улыбнулся:

— Спасибо на добром слове. Но я не думаю, что меня так уж все уважают... Стараюсь не делать зла людям, помогать честным. Ну, а о бжедугах... Тфокотли в Бжедугии такие же, как всюду, трудяги, от снега до снега работают в поле, пасут скот. А что касается князей и уорков, у них холеные, как умытые молоком руки и лица. В поле и на пастбищах их не видно, а амбары у них всегда набиты зерном, скотину на пастбищах пасут для них тфокотли...

Батал-Паша пропустил эти слова мимо ушей:

— Правду ли говорят, что Батчерий, младший брат вели-

кого князя Бжедугии, ездит на ту сторону Пшиза и водит с русскими дружбу?

«Гм, ты, хитрая лиса, все сам знаешь»,— подумал Ахмед.

— Тот, кто тебе говорил, видимо, знает об этом, а я ничего не слышал. Мы не вмешиваемся в дела бжедугов, живем с ними в мире и согласии.

— Лучше было бы, если б бжедуги меньше ездили к гяурам. Ведь они — враги наши! Нам известно, что войска генерала Гудовича готовятся напасть на адыгов, забрать их земли и выйти к морю. Не знаю, как поведут себя бжедуги, а шапсуги не пустят гяуров на свою землю, будут драться до последней капли крови. Урысам в этом случае придется воевать не только с турками, но и с адыгами. К тому же, Чечня во главе с Мансуром объявила гяурам газават[1], к ним присоединилась Кабарда...

— И Кабарда? Удивительные слова ты говоришь, Хасан-Паша!

— Не только Кабарда, — победно улыбнулся Хасан-Паша. — Все народы Северного Кавказа объявят газават урысским, выгонят их вон отсюда!

— Близится вечер,— сказал Ахмед,— пусть он будет счастливым в твоем доме. А мне пора отправляться.

Батал-Паша позеленел от злости: этот мужик не хочет с ним разговаривать! Он пошел проводить Ахмеда и, увидев поодаль всадников, помрачнел:

— Не думал, что тебя приехало проводить столько всадников. А говоришь, будто тебя не уважают!

— Валлахи, не знаю, что это за всадники, первый раз их вижу! — слукавил Ахмед.

VI

— Все нас не любят, холерой бы они подавились! — прошептала Дарихат, увидев через окно Тхахоха. — Скажи, что плохого мы сделали аулу? Если в ауле беда, тфокотли винят в ней нас, если выпал добрый урожай, считают, что они его сами вырастили. Говорят, ворона, заимев глаза, захотела еще и красивые брови. Так и наши тфокотли — всюду суют свой нос, не дают нам спокойно жить.

Время не пожалело Дарихат. Она теперь не меняла, как раньше, по нескольку раз в день платья и платки, не вертелась часами перед зеркалом, потому что слишком много появилось на ее лице морщин, которые не закрасить румянами, поседела голова. Она долго не видела Казджерия, но вот недавно повстречала его на свадьбе и ужаснулась — так сильно он состарился. Увидев его таким, подумала и о себе, о своей седине. Ей теперь больше всего хотелось покоя.

---

[1] Газават — священная война.

— Чего ты так убиваешься, мать? Не надо. Закажи себе добрый обед, вели, пусть дадут меда. Наслаждайся жизнью. Нечего говорить об этих скотах. Сколько добра мы сделали Хагуровым, но все они, кроме Бороко, смотрят на нас косо.

— Не верю я и Бороко! Тоже смотрит косо, хотя гнет спину.

— Боюсь и я его покорности,— согласился Али-Султан.— В тихом омуте черти водятся. Может, готовит какую-нибудь пакость. Но больше всего мне неприятен Тхахох. Этот — настоящий зверь! Иногда мне кажется, что это он убил отца...

Потом мать с сыном заговорили об Ахмеде Шепако. Они знали, что его приглашал к себе Батал-Паша. Это привело мать и сына в ярость. Они были очень недовольны тем, что именитый и могущественный турок пригласил простого мужика и долго беседовал с ним. Дарихат готова была обругать Батал-Пашу самыми последними словами, но воздержалась, хотя в комнате кроме нее и Али-Султана никого не было — стены тоже имеют уши. Поэтому разговор получался двусмысленным и сдержанным. Мимо окна проехало трое всадников. Один из них — Музечир, брат вдовы Натара.

— Валлахи, надо встретить гостя! — воскликнул Али-Султан.

— Сиди, парень. Держись с достоинством, подумаешь, уорк, невелика птица... Не с добром они к нам пожаловали.

— Почему ты так думаешь, мать?

— Наверно, приехал, чтобы увезти домой сестру... Ну вот, видишь, они не заглянули к нам. К Анзауру направились. И хорошо, ни к чему нам это. Если Анзаур пришлет за тобой, пойди, а сам не ходи... Умер Натар, и слава аллаху! Слишком умным себя считал, да и непочтителен был.

Обидно, конечно, что уорк проехал мимо, пренебрег родовитыми. Но не ломать же перед ним шапку? И, чтобы как-то унять обиду, Али-Султан сказал:

— Да и уорк-то паршивенький, чтоб ему вместо мяса есть конский навоз! Я признаю только князей да настоящих, порядочных уорков. Не сегодня завтра приедет Батчерий, я отправлюсь с ним в поход, пусть все видят, с кем мы дружим.

— Правильно, молодец! Пошли-ка, сынок, за Бороко.

— Зачем он тебе понадобился?

— Хочу узнать, у кого остановились Музечир и его спутники.

— Я не виноват в гибели Натара,— как-то неожиданно заговорил об этом Али-Султан.— Я хотел дотронуться до него грудью своего коня, но не смог. Там была такая свалка, что невозможно было пробиться к Натару. Тфокотли его задавили. Это видел и сам Анзаур, но почему он обижается на нас?..

Уорк Музечир, приехавший за своей сестрой, после смерти Натара прожившей в доме свекра еще год, умышленно миновал дом Шеретлуковых и остановился у их заклятого врага — Хагура.

Гости сидели в кунацкой и, умолчав пока о цели визита, обсуждали разные новости. Больше всего говорили о войне Турции с Россией. Все опасались, как бы огонь войны между огромными государствами не перекинулся на адыгскую землю.

— Мансур Ушурма втравил своих людей в эту бойню,— сказал Хагур. — Там льется кровь простых чеченцев, но на земле адыгов ему это не удастся сделать. Его прогнали вон из Кабарды и из Бесленеи. Нам тоже надо крепче стоять на своем.

— Ты прав, Хагур! — поддержал Музечир. — Ни к чему нам эта война... Я приехал в Бастук, чтобы забрать свою сестру в отчий дом. Там ей будет спокойнее.

— Трудное у тебя дело, Музечир,— посочувствовал Хагур. — Не знаю, что тебе и посоветовать. Пусть решит сама Ляца. Если она уедет, Анзаур этого не переживет. Уж очень она пришлась по душе и Анзауру и Мерем.

Хагура позвали, и вскоре он вернулся в кунацкую с Ляцей, одетой во все черное.

Мужчины встали.

— Сидите, сидите,— печально промолвила Ляца. И когда мужчины сели, продолжила: — Музечир, я знаю, ты приехал за мною, но я не могу поехать с тобой, не могу оставить и без того несчастных стариков. Не обижайся, но поступить иначе я не могу.

VII

Проводив Музечира и его спутников до Абадзехии, Хагур и Тхахох решили повидаться с Селимом и Тамбиром. Да и Мишку Некрасова давно не видели. Но хозяев дома не оказалось.

Цицара пригласила гостей в дом и спросила:

— Разве вы их не встретили по дороге? Они поехали в Жегуф. С ними еще несколько тфокотлей. Слышно, туда приехали из Анапэ турки уговаривать адыгов подняться на войну с урысами.

— Я вчера взобрался на гору Шибгэ и увидел сотни полторы всадников и четыре пушки,— сказал Тхахох. — Может, это турки и направлялись в Жегуф?

— Тогда нам тоже надо туда,— встревожился Хагур. — По пути заедем за Нарычем, он уже выздоровел. Нужно поторапливаться.

Распрощавшись с Цицарой, Хагур с друзьями двинулись к Жегуфу. Прискакали туда на исходе дня. Обогнули скалу, выехали на холм неподалеку от аула и увидели на лесной опушке сотни две абадзехских всадников. Внизу по дальней дороге двигался в сторону Шапсугии конный отряд турок. Следом за ними везли четыре пушки.

Хагур с друзьями подъехали к абадзехам. Тхахох спросил:

— Что тут у вас происходит, счастливый тхаматэ?

— Пока ничего особенного,— ответил старейший. — Те вон широкоштанники с пушками стали нас частенько навещать, все уговаривают воевать против урысов. А вы откуда? Добро пожаловать!

— Из Шапсугии,— сказал Хагур. — Услышали, что в Жегуфе неспокойно, вот и приехали... Турки и к нам заглядывают. Раздают мужчинам отрезы на брюки и черкески, а женщинам на платья.

— И тфокотлей это прельщает? Неужели собираются помогать туркам?

— Нет. Пожалуй, это не так. Правда, не отказались сразу, как абадзехи, но встать под турецкие знамена не обещали. Хотя кое-кто готов. Особенно безлошадные, они надеются, что турки помогут им лошадьми...

— Худо это, худо. Потом этих лошадей, эти отрезы тфокотлям придется оплачивать кровью. К нашему стыду и у нас есть такие, кто не прочь погреть руки на чужом горе. А Мансур Ушурма не появляется у вас?

— Слышали о нем, но здесь его пока не было.

— Бойтесь его сладких речей — это злой и коварный человек...

Как-то в конце лета Казджерий привел к Шеретлуковым Мансура Ушурму. Тхахох рассказал об этом Арсею, и вскоре новость облетела весь аул. Донеслась она и до кузницы Патареза, где, по обыкновению, собрались тфокотли.

— Этот остроголовый Казджерий неспроста приволок к Шеретлуковым Мансура,— сказал Патарез. — Что-то они недоброе затевают. Надо же, придумали: Мансура святым называют, посланником аллаха!

В это время раздался голос глашатая, скакавшего вдоль улицы:

— О аул! О люди! Завтра, в пятницу, Шеретлуковы организуют скачки в честь высокого гостя, посланца аллаха Мансура Ушурмы. Будут разыгрываться три оседланных коня! Торопитесь, торопитесь на скачки, готовьте своих быстрых коней! Завтра скачки!..

И скачки состоялись. Народу собралось много. Каждый, кто крепко сидел на коне, решил помериться силами с лучшими наездниками аула.

Солнце, достигнув зенита, уже стало скатываться к вечернему пределу. Состязания к этому времени были уже закончены. Первый приз завоевал Арсей.

Вокруг победителей сгрудились все мужчины, поздравляли их с удачей — жали руки, тискали за плечи.

Арсей весь так и сиял — он гордился своей победой и радовался, что в доме будет добрый скакун.

— О аул, о люди! — воскликнул Анзаур, выйдя на середину круга. — Успокойтесь, потише!..

Все притихли, повернули головы к эффенди.

— Али-Султан поздравляет победителей и желает им счастья! Пусть каждый выигранный ими конь превратится в сто коней! А теперь наш гость Мансур Ушурма хочет сказать несколько слов. Послушаем достойнейшего мужа Чечни, посланника пророка Магомета!

— Вон как! Вот для чего они и выдумали эти скачки и призы! — взглянув на Тхахоха, проговорил Хагур.

— Подожди, подожди, Хагур,— ответил Тхахох. — Я сейчас расскажу аульчанам про эти призы, расскажу, откуда взялись кони и почему Анзаур пожелал, чтобы от каждого из них получилось еще по сто коней. Мы не дураки, нас так просто не проведешь. Послушаем, что изречет этот «святой».

Вперед выступил Мансур, человек с тяжелым лбом, густыми черными и какими-то мрачными бровями. Зычным, не терпящим возражений голосом он заговорил:

— О мусульмане, чтящие аллаха! Пусть гяуры, затеявшие войну с правоверными, погибнут все до единого, пусть пропадет в веках весь их род! Да превратится Пшиз, через который хотят переправиться гяуры и напасть на землю адыгов, в адский огонь. Я призываю всех мусульман, хранящих в своих сердцах имя аллаха, стать под знамена газавата. Помните, кто прольет кровь в священной войне, для того уготован рай на небесах! Смерть гяурам!

— Гость Мансур,— обратился к чеченцу Тхахох. — Ответь, где ты взял деньги, чтобы купить коней для сегодняшних скачек?.. Молчишь? Тогда я скажу. Деньги тебе дали турки, чтобы ты купил нас, купил нашу кровь для них!

— Тфокотль Тхахох! — возмущенно воскликнул Анзаур. — Как ты смеешь оскорблять гостя? Зачем говоришь ложные слова?!

— Я говорю то, что слышал своими ушами. Я видел, как эти деньги переходили из рук в руки... Аульчане! — возвысил голос Тхахох. — Клянусь великим Солнцем, что говорю истинную правду! А теперь обращаюсь к Али-Султану: если ты истинно мужественный человек, выйди вперед и расскажи, как все это было.

— Нечего нам слушать Али-Султана! — выкрикнул Хагур. — Мы знаем, он все равно не скажет правду! А ты, гость Мансур, передай тем, кто послал тебя: тфокотли Бастука не встанут под знамена газавата!

Мансур побагровел. Казалось, не только глаза, но и брови его позеленели от гнева. Он понял, что с тфокотлями не совла-

дать, что связываться с ними сейчас опасно, все равно, что с горным обвалом. Он сложил белые, с длинными пальцами руки на груди:

— Тфокотли Бастука, я приехал к вам в гости, сказать слово от имени всемогущего аллаха, а не затевать войну. Придет время, все мы предстанем перед лицом великого аллаха, тогда-то и выявится, кто из нас был прав. Пусть пребудет с вами добро и великое имя великого аллаха и пророка его Магомета...

Мансуру нечего было больше делать в Бастуке, и ночевать он остался в ауле только из гордости, чтобы не подумали, будто он испугался тфокотлей... Ночь он провел бессонную, поклялся, что в Бастук никогда — ни с добром, ни со злом — не приедет. Утром Мансур направился в Анапэ.

VIII

Зима 1791 года была тяжелой для всех шапсугов. До самой весны по полям и лугам, по оврагам и перелескам гуляла свирепая метель. Стихнет на день-другой и снова принимается за свое. Всю зиму скот простоял взаперти, кормов не хватило, и коровы, овцы, лошади сильно отощали. Тфокотли ждали весну, когда зазеленеет трава, чтобы хоть немного подкормить волов, подготовить их для работы в поле. Но и весна оказалась нерадостной. Долго стояли холода — дожди падали на землю пополам со снегом и не давали ходу травам.

— Что за страшная весна спустилась на нашу землю? — сказала Дарихат, слушая, как ревут в соседних базах голодные коровы и волы. — Прогневили мы, сильно прогневили аллаха, вот и шлет нам беды. У тфокотлей много пало скота. И у нас корма уже на исходе... Яловых коров надо гнать в лес, пускай там хоть ветки погрызут... Не покидай нас своей милостью, о великий аллах!

Али-Султан, молча выслушав мать, глянул за окно, где валил мокрый снег:

— Наверно, надо мне ехать за сеном. Поеду и выпрошу у убыхов, у них зима была помягче.

— Поезжай, сын мой, поезжай к убыхам, а я тем временем займусь должниками, выколочу из тех, у кого еще осталось сено.

Али-Султан уехал в сопровождении Бороко. Дарихат занялась поисками кормов в Бастуке. Ей удалось добыть немного сена, соломы, кукурузных стеблей.

Проезжая мимо подворья Тхахоха, она увидела добрую копну сена.

— Ты посмотри, сколько у этого беспутного человека сена! — воскликнула она. — И зачем ему столько? Живет бобы-

лем — ни жены, ни детей. Да если уж на то пошло, сено это он накосил на нашей земле, а скорее всего украл его у нас. Ну-ка, парни,— обратилась она к двум работникам, ездившим с нею,— заберите сено! Кому я сказала? Или оглохли? Да не трусьте, я сама буду иметь с ним дело, с этим безбожником!

Не смея ослушаться свою нахрапистую хозяйку, работники заехали во двор, благо Тхахоха не было дома, стали грузить сено.

Соседи подумали, что Тхахох сам так велел, но, когда воз въезжал во двор Шеретлуковых, туда прискакали Арсей с Мышевостом.

— Эй, Дарихат! Как тебе не стыдно лезть во двор, когда хозяина нет дома?! Это же разбой!

Хозяйка вышла им навстречу:

— Вы чего разорались в моем дворе? Во дворе родовитых! Вон отсюда, грязное отродье!.. Арсей, или ты забыл, как однажды я тебя проучила? Еще захотел?! А ну, дайте мне пистолет, я покажу этому хаму, как надо разговаривать с родовитыми!

Вспомнив свою давнюю обиду, Арсей вскипел:

— Ты не думай, баба, что я и в этот раз позволю тебе оскорблять меня, не посмотрю, что на твоей голове платок, так отделаю, что до самой смерти помнить будешь!.. А вы поворачивайте волов и везите сено обратно! — скомандовал Арсей работникам.

Дарихат тем временем принесли двуствольный пистолет, и она совсем расхрабрилась:

— Как ты смеешь командовать у меня во дворе, поганое отродье! Убирайтесь вон, а не то я сено сожгу и вас перестреляю! — Совсем рассвирепев, она подбежала к возу и в упор два раза выстрелила в сено. Потом кинулась к Мышевосту. Взяла под уздцы его коня: — Слопай и ты, дармоед, мою пулю! — крикнула она, но пистолет уже был пустой.

Мышевост выбил у нее пистолет ударом плетки, а испугавшийся конь свалил Дарихат на землю.

От выстрелов загорелось сено. Испуганные волы рванули и понеслись. Огромный живой факел несся по двору мимо амбаров, конюшни и сараев. Ветер подхватывал снопы искр и швырял их на соломенные крыши. У конюшни волы круто развернулись и опрокинули воз. Пламя перекинулось на сараи, амбары, на конюшню, а потом и на кунацкую.

Ржали кони, ревели волы и коровы, блеяли овцы. Потом обезумевшие животные выломали двери и выбрались во двор, бросились, свалив плетень, в огород.

Пожар неистовствовал.

Благим матом орала обезумевшая Дарихат:

— Люди добрые, спасите, погибаем!

— Что заслужила, то и получила,— сказал кто-то из тфо-

котлей, которые сбежались во двор и принялись тушить пожар. Бегали с ведрами воды, растаскивали горевшие постройки.

Огонь был быстр и неистов... Скоро на подворье Шеретлуковых остались груды дымящейся золы да чудом уцелевший дом. Подслеповатыми, закопченными окошками, будто слезившимися глазами, смотрел он вокруг.

Мнения тфокотлей Бастука разделились: одни говорили, что Арсей и Мышевост виновны в пожаре, оставили людей без крова, что в наказание надо сжечь подворья Арсея и Мышевоста; другие не хотели раздувать огонь ненависти и мести, этим беде не поможешь. После долгих споров и пересудов решили послать гонца к Абатовым и Наурзовым, пусть расскажет о беде.

К полуночи в Бастук вернулись Хагур с Тхахохом и тут же направились в кунацкую Патареза, где собралось довольно много народа.

— Дело не в сене, а в том, что родовитые не считают нас людьми, лезут не только в наши дома, грабя их, но и в души, стараясь перессорить тфокотлей между собой. И у нас есть право ответить родовитым тем же, надо относиться к ним так же, как они к нам. И все-таки надо быть благоразумными, не горячиться, как эта самодурка Дарихат.

— Согласен с тобой,— кивнул Тхахох,— вчера со мною плохо обошлись Шеретлуковы, и за меня вступились Арсей с Мышевостом. Так должно быть всегда, только тогда мы и сможем управиться с родовитыми... И вы посмо́трите, не я, а Шеретлуковы будут мстить мне, хотя в пожаре виновата сама Дарихат. Надо быть всем начеку — этой же ночью они затеют какую-нибудь гадость. Кроме того, наши родовитые хотят сговориться с турками, но это им не удастся. Натухайцы согласились пропустить войска урысов через свои земли, инерал Гудович скоро разгромит турок. Вот тогда и посмотрим, какую песню запоют наши родовитые...

В довершение всего по Бастуку распространился слух, будто Али-Султан ограбил двух торговцев, гостивших в ауле, и тем самым нанес оскорбление всем его жителям.

Утром множество людей — пеших и конных — направилось к уцелевшему дому Шеретлуковых, но хозяева, то ли предчувствуя беду, то ли по какой другой причине, ночью покинули Бастук, бежали в Бжедугию.

В этот же день на берегу реки Иль собрались все мужчины Бастука. На хасе должны были вынести решение, запрещающее Шеретлуковым вернуться в аул.

Хасе открыл Хагур...

Глава десятая

I

Пламя огня, загоревшегося в Бастуке в конце месяца окота овец, пошло гулять по всей Шапсугии.

От аула к аулу поскакали гонцы. Лесными и полевыми тропами, переправляясь через быстрые реки и переваливая через хребты холмов, они несли с собою новости о бурных событиях.

Наурзовы, Абатовы и Шикушевы, испугавшись надвигавшейся бури, бежали, как и Шеретлуковы, в Бжедугию, ища защиты у великого князя Алкеса.

Тфокотли не жгли поместий родовитых, а забирали все, что было создано их руками. Опасаясь, что родовитые организуются и придут расправляться с ними, тфокотли создавали в аулах боевые дружины.

Утром вставало солнце и, свершив свой путь, уходило вечером на отдых. Гонцы не знали отдыха, они скакали от аула к аулу и в знойный день, и в темную ночь...

Вскоре распространился слух, что восставших твердо решили поддержать натухайцы, убыхи и жанеевцы. Абадзехи сказали, что они тоже готовы помочь шапсугским тфокотлям. На взмыленном коне прискакал гонец и сообщил, что гуаи, которые все еще не приняли мусульманства, будут вместе с восставшими.

Узнав, что Абатовы и Шикушевы тоже покинули свои поместья и прибыли искать защиты у великого князя, Али-Султан совсем пал духом.

— События в Бастуке, похоже, только искорка, от которой занялся большой пожар по всей Шапсугии.

— Не надо поднимать панику, мой брат,— успокоил Алкес.— Посмотрим, какую весть принесут наши гонцы. Не беспокойся, бжедуги не оставят вас в беде. Если понадобится, мы сумеем хорошенько проучить смутьянов, уймем и Хагура и Тхахоха. Или мы разучились держаться в седле, или у нас мало свинца и пороха? И друзей достаточно, так что, Али-Султан, не падай духом.

— Я верю тебе, великий князь, мой брат. Знаю твою храбрость, силу бжедугов. С нами всемогущий аллах!

Гонцов, посланных в Шапсугию, ждали к вечеру, но они не вернулись и на другой, и на третий, и на пятый день... «Неужели безумные шапсуги убили моих гонцов? Выходит, они нарушили наш договор о мире, начали войну против нас? Что ж, тогда придется их хорошенько проучить»,— подумал Алкес, ложась вечером в постель.

Под окном Алкеса буйно зацвели вишни, но, выглянув утром в окно, он не заметил этого — у него было дурное настроение. Еще вчера он посылал в Селтук за Батчерием — время

тревожное, с кем же посоветоваться, если не с родным братом, кому доверять?

«Не случилось ли что-нибудь в Селтуке? Или дорогой? Сейчас всего можно ожидать,— думал Алкес за завтраком,— если не приедет к обеду, придется снова послать кого-нибудь, да понадежнее».

Незадолго до обеда Батчерий приехал:

— У меня были гости, зиусхан, поэтому я и не смог быть у тебя так скоро, как ты хотел. Я вижу озабоченность и тревогу на твоем лице.

— Шестой день пошел, как наши гонцы отправились в Шапсугию, не знаю, что и подумать. Посылать следом других?

— Потерпи еще немного, зиусхан. Думаю, они вернутся, в тревожное время день может неделей обернуться,— попытался Батчерий успокоить брата, хотя на его продолговатом лице, в строгих, немного печальных глазах тоже отразилась тревога.

— А тут еще Али-Султан! Недоволен, что мы пропускаем через свои земли войска инерала Гудовича в Анапэ. И князь Меджир, и Казджерий, и Хаджумар обвиняют меня в дружбе с гяурами. Но мы ведь не враждуем с урысами, они добром попросили нас. Похоже, шапсугские родовитые хотят поссорить меня с инералом Гудовичем и втянуть в газават, который объявил Мансур.

Алкес относился к русским не лучше, чем к туркам, но ему хотелось, чтобы Бжедугия жила в мире со своими могущественными соседями, он не хотел проливать бжедугскую кровь ни за русских, ни за турок. Алкес несколько раз ездил за Кубань к русским, ездил в Турцию и в Крым — ради покоя в Бжедугии хотел угодить всем. Ради этого же он дружил с шапсугами и темиргойцами, породнился через Батчерия с абадзехами, и вот теперь...

— Что же ты собираешься делать, зиусхан? — спросил Батчерий. — Ты ведь не сам решил пропустить урысов, такова была воля хасе.

Алкес молчал, думал.

— Чтобы угодить шапсугам и князю Меджиру, ты должен преступить волю хасе.

— Может быть, ошибусь, но не сделаю этого.

— Не ошибешься, мой старший брат.

— А если турки придут сюда, если на нашей земле разгорится война между ними и урысами? Тогда горе нам, великое горе!

— Пусть тебя это не тревожит, зиусхан,— твердо сказал Батчерий. — Турки ни разу сюда не приходили, не придут и в этот раз, потому что завтра очень сильное войско инерала Гудовича, переправившись через Пшиз, пойдет на Анапэ. Очень сильное войско, мой брат. Думаю, турки не устоят. Гость, который был у меня, рассказывал, что урысы разбили турецкий

флот на Черном море, это там, где мы переправляемся в Крым. И на другом берегу моря войска Батал-Паши позорно бегут. Не устоит Анапэ, не придут сюда турки.

— Добрые вести принес ты, мой младший брат...

В комнату великого князя вошли Али-Султан и Хаджумар. Сказали, что вернулись гонцы.

Вскоре во двор въехал старший байколь Дердер со своими спутниками. Он поспешно вошел к великому князю:

— Зиусхан,— начал он с порога,— шапсугские тфокотли не приняли наших условий. Они созвали хасе, на который пригласили нас, поэтому мы и задержались. Хасе постановил: в Шапсугии должно быть равноправие. Они сказали: каждый обязан сам обрабатывать свое поле. Тот, кто сеет и убирает хлеб, никому ничего не должен, потому что все люди равны перед аллахом. Тфокотли Шапсугии забрали скот родовитых, запасы зерна и все поделили между собою. Это не грабеж, сказали на хасе, мы только взяли свое. Если родовитые не согласны с нами, пусть остаются там, куда убежали.

Али-Султан передернулся от злости, его губы задрожали:

— Кто руководил этим хасе? Как они посмели созывать его без нас?! Анзаур открывал?

— Руководители Хагур и Тхахох. Анзаура среди них не было. Присутствовали натухайцы во главе с Ахмедом Шепако... А еще они просили передать тебе, великий князь Бжедугии, шапсугский хасе доволен тем, что ты пропускаешь войска урысов в Анапэ.

Али-Султан не мог стоять на месте от гнева. Он ходил по комнате, слушая Дердера, ломал пальцы, скрипел зубами. Дождавшись конца речи Дердера, он сказал:

— О великий князь, я заклинаю тебя молоком моей матери, которым она вскормила тебя, не допусти, чтобы грязное отродье так жестоко опозорило нас! — Он воздел руки, молитвенно закрыл глаза. — О мой великий аллах, покарай нечестивцев! Ты слышишь, мой бог, чего они хотят? Разве жалкая коптилка может когда-нибудь сравняться с солнцем?!

II

Многотысячная армия Батал-Паши пыталась наступать из Анапэ, чтобы выйти в Кабарду, но в сентябре 1791 года была наголову разбита войсками генерала Гудовича. Анапэ заняли русские.

Турки рассчитывали на поддержку адыгов, но не получили ее. Уходя из Анапэ, они сказали, что адыги предательски вонзили им нож в спину.

Не все родовитые покинули Шапсугию. Некоторые согласились с решением хасе о равноправии и вернулись домой. Сочли за лучшее пока смириться, выждать...

Бурные события, происходившие в ауле, вроде бы не трогали Анзаура. Сказавшись тяжело больным, он не ходил даже в мечеть.

Когда горело подворье Шеретлуковых, ржали обезумевшие от страха лошади, надрывно ревели коровы, туда сбежался весь аул. Анзаур не пошел на пожар. И потом, на другой день, когда аульчане пришли совершать утренний намаз, он ни единым словом не обмолвился о случившемся.

Много лет назад его сделали помощником эффенди, послали учиться в Крым, затем назначили вместо старого Шалиха. Жизнь катилась будто сама по себе, без его участия. Он вел службы, хоронил усопших, благословлял новорожденных. Хозяйство его постепенно разрасталось, из тфокотлей он выбился в богатые люди, стал влиятельным человеком в ауле. И все бы хорошо. Но вот погиб Натар.

Говорят: тот, кто не познал горя, не знает, что такое добро. Пришла беда и в дом Анзаура. А пришла беда — открывай ворота: тфокотли восстали против родовитых, зажили бурной, неистовой жизнью. Анзаура они даже не замечали, смотрели на него, как на пустое место. Тяжело было на душе у Анзаура. Он жаловался жене:

— Валлахи, старуха, тфокотли совсем забыли о нас с тобой. Сначала косились на нас, а теперь и вовсе не смотрят в мою сторону. Что я им сделал плохого?..

Мерем, два года не снимавшая траурного платья, похудела, осунулась, стала до того молчаливой, что иной раз весь день ни с кем словом не обмолвится.

— Чего же ты молчишь, старуха? — не выдержал Анзаур.

Жена подметала пол, она удивленно взглянула на мужа и ничего не ответила.

— Эй, женщина, разве я не с тобой разговариваю?!

Она выпрямилась:

— Я не обижаюсь на тфокотлей за то, что они нас забыли, мы сами в этом виноваты.

— Как это так?! — вспылил Анзаур. — Объясни мне!

— Ты ведь мужчина, разве мне, женщине, объяснять тебе? Сам должен понимать,— Мерем заплакала и вышла.

«Вот так и живем,— удрученно качая головой, думал Анзаур. — Уже больше двух лет она плачет днем и ночью. Е-вой-вой, старуха! Если бы ты знала, как тяжело мне жить. А за что? За какие грехи лишил меня аллах единственного сына? Почему меня презирают тфокотли? Ведь столько лет не они за мной, а я за ними бегаю, молюсь за них перед аллахом. Пятнадцать лет принимаю на белый свет именем аллаха их детей, я женил и выдавал их замуж, провожал на вечный покой... Глупы тфокотли, глупы — сожгли, разграбили богатство Шеретлуковых и думают, что это сойдет им с рук. Великий князь Алкес не тфокотлей, а Шеретлуковых будет защищать. И этот час настанет».

Как-то вечером пришел к Анзауру Бороко. «Зачем он пришел, зачем я понадобился этому нехорошему человеку? Если бы не обычаи, я бы и на порог его не пустил. Ведь это он привел людей в лес, где был Натар, он виновен в смерти моего сына».

— Добро пожаловать, Бороко! — радушно приветствовал Анзаур ненавистного гостя. — Заходи, давненько я тебя не видел. Как поживаешь, милостью аллаха? Садись сюда. Все ли у тебя здоровы? И мать твою Ляшину я давно уже не видел. Как она там?

— Валлахи, Анзаур! Если ты нигде не бываешь, как нам с тобой увидеться? Сидишь дома, будто в нем нет дверей.

— Стар я стал, часто болею. В груди что-то мешает, дышать трудно. Из степной Темиргойи привезли траву, может, и вылечусь... Какие новости в ауле? Рассказал бы. Говорят, к Хагуру много людей приезжает из разных аулов.

— Новости все те же: грыземся как собаки. Вот уже полгода живем так, будто сидим за столом без тамады. Голоштанные тфокотли расхрабрились по всей Шапсугии. Грабят не только богатых, родовитых, но и таких тфокотлей, как я.

— Но ведь тебя не ограбили?

— Нет пока.

— Боишься, что ограбят?

— А чего мне бояться, какие у меня богатства? Случается, и впроголодь живем... — солгал Бороко, а сам подумал: «Ты богаче меня в десять раз. Воздевая руки к аллаху, выуживаешь последнее у бедняков. Будь я на месте моих младших братьев, тряхнул бы твои амбары да кладовки!..»

— Мне нечего бояться, Анзаур. Если хочешь знать, мне нравится справедливость Тхахоха.

— А Моса?

— Он тоже честный парень. Тебя еще не трогали?

Анзаур пожал плечами:

— И Мос, и Тхахох, и Ахмед относятся ко мне очень хорошо. А Усток — мой старый друг...

— Субаш тоже друг?

— Слышал о нем, но с ним не знаком.

— Субаш еще молодой, но уже прославился своим мужеством. Он нанес большой урон туркам в Анапэ. Потом вместе с другими тфокотлями был у инерала Гудовича и храбро дрался.

— Какие удивительные истории ты рассказываешь, Бороко! — всплеснул руками Анзаур, хотя давно уже все это слышал. «Но зачем, зачем ты пришел ко мне, скажи прямо, хватит хитрить».

— У Гудовича были и два моих младших брата. Дрались на стороне гяуров. Как теперь быть? Простит ли им это аллах?

— Кто из братьев? — настороженно спросил Анзаур и както съежился весь, будто приготовился к прыжку.

— Черим и Сабех.

— Сабех?.. Он дружил с моим Натаром. Если бы Натар был жив, не отстал бы от друга и подался с ним к урысам. Несчастный, несчастный я человек! Это вы меня втянули в это дело, сделали эффенди, а потом... Не дружил Натар ни с каким джинном! Он еще до поездки в Крым складывал песни и красивые слова. Их до сих пор помнят друзья моего несчастного сына, они на вечеринках поют его песни, повторяют слова, сочиненные Натаром. Парень любил ходить в лес — вот и вся его беда.

— Но почему же ты тогда велел написать для него дуах против джиннов? — Бороко вспомнил, как били, топтали лошадьми несчастного Натара, и мороз пробежал по коже, потемнело в глазах.

Анзаур зажал в коленях ладони и, раскачиваясь из стороны в сторону, горестно сказал:

— Это я придумал, чтобы Натар бросил свое сочинительство. Глупость придумал и расплатился за нее. Один, один я виноват во всем!..

«Застонал, запричитал старый хитрый лис. Никогда с ним не поговоришь серьезно. Раскиснет, расхлюпается, прикидываясь несчастненьким».

— Хорошо мы с тобой посидели, эффенди, мне пора домой. Заваривай темиргойскую травку, пей и с помощью аллаха выздоровеешь. А мне горевать нечего: не вернутся родовитые в Бастук, моя папаха виднее станет. Первым человеком буду.

— Да пребудет с тобой милость аллаха,— сказал Анзаур и проводил гостя до калитки, досадуя, что так и не удалось узнать, зачем он приходил.

III

Али-Султан не знал в Бжедугии покоя. Еще полгода назад он надеялся, что ему помогут местные князья и уорки. Он заискивал даже перед зажиточными тфокотлями. Убеждал, доказывал. Его слушали, важно кивали головами, но делать ничего не делали. Всем было известно, что великий князь не одобряет Али-Султана, не хочет поднимать оружие против Шапсугии. Наоборот, старается все уладить миром.

Алкес, ни с кем не обсуждая свои действия, вел переговоры с Хагуром и Тхахохом. Посылал гонца к Ахмеду. Но ничего хорошего из этого не вышло. «Мы не хотим иметь дело с человеком, который укрывает в своем доме Али-Султана»,— ответили ему.

Алкес замкнулся в себе, но окружавшие его князья заме-

тили, что он часто бывает мрачен и на Али-Султана смотрит не так благосклонно, как бы тому хотелось.

В один из дождливых дней к Алкесу зашла Дарихат вместе с сыном. Как подобает гостеприимному хозяину, князь радушно встретил воспитавшую его женщину, посадил на мягкую тахту, на которую обычно садился сам, и присел рядышком.

— Как твое здоровье, мать? — мягко спросил он и погладил руки Дарихат, заглянув ей в глаза.

Лицо Дарихат дернулось, судорога исказила черты. Скривив губы, она ответила:

— Скриплю потихоньку, как давно не мазанное колесо телеги.

Хотя в словах Дарихат не было ничего утешительного, но Алкес удовлетворенно кивнул и обратился к Али-Султану:

— А ты, брат мой?

— Как видишь,— коротко ответил он и невесело усмехнулся. «Что я скажу этим людям? — мучился Алкес. — Они думают только о себе, а на моих руках вся страна, судьба многих людей. Этой осенью всем аулом построили Шеретлуковым дом, их двор даже больше, чем мой, княжеский. Я дал им земли столько, сколько не имеют самые богатые уорки. Соседние князья подарили коров, лошадей, волов, овец. Что еще они от меня хотят?»

— Валлахи, как надоел этот бесконечный дождь! — произнес Алкес, пытаясь найти другую тему для разговора. Он понимал, что его молчание было бы оскорбительно.

— Да, очень тяжело нынче,— угрюмо подтвердил Али-Султан, бросив взгляд на мать. — Бог его знает, что творится в наших краях, небо и то уже валится на землю.

«Что это они переглядываются? Видно, о чем-то договорились»,— забеспокоился Алкес, но виду не подал.

— Вот к чему пришла я, Алкес,— начала Дарихат,— пришла к тому, что нельзя сидеть сложа руки. У нас есть немного золота, у других родовитых тоже найдется. На это золото можно купить оружие и силой вернуть то, что у нас забрали. — Дарихат посмотрела на князя и, сжав в ниточку сухие, бесцветные губы, добавила: — Если мы снова вернемся в свою страну, не забудем того, кто нам помог это сделать.

Алкеса покоробили ее слова и весь ее вид. Нет, она пришла не просить, она пришла требовать и угрожать.

— Значит, ты хочешь, мать, чтобы я пошел войной на шапсугских тфокотлей? — не стал хитрить великий князь.

— Конечно! — твердо сказала Дарихат.

— Но между Шапсугией и Бжедугией есть договоренность о мире, как можно нарушить слово?

— Слово уже нарушено, и нарушили его сами шапсуги,— вмешался Али-Султан.

Алкесу показалось, что его окружили, и кольцо это сжимается все плотнее и плотнее. Ему захотелось вырваться, выпрыгнуть из этого кольца. Он почувствовал, как у него напряглись мышцы.

— Если мы пойдем войной, вынуждены будем истреблять друг друга,— стараясь, чтобы голос его звучал ровно, возразил Алкес.

— Я не успокоюсь, пока в Шапсугии останется жив хоть один тфокотль! — почти выкрикнула Дарихат и резко повернулась к сыну: — Ты что молчишь, не отнялся ли у тебя язык? Я вижу, что ни у тебя, ни у Алкеса не хватает мужества. Тогда возьмите мою шаль, ее хватит на обоих, а мне отдайте ваши шапки. Аллах наказал меня: я думала, что у меня два сына, а у меня нет ни одного. Я одинаково воспитывала вас, одинаково любила, лучше, если бы вы родились женщинами, тогда бы у меня были зятья. И уж, наверно, не потерпели, чтобы их мать осталась на старости лет без угла и скиталась, как нищенка, по чужим домам. Они бы поняли, что если сегодня обидели меня, то завтра обидят их. Горе мне, нет возле меня мужчин!

— О чем ты говоришь, мать? — вспыхнул Алкес.

— О том и говорю, что бжедугские тфокотли когда-нибудь сделают с тобой то же самое, что шапсугские сделали с нами!.. Разве можно оставлять безнаказанными этих разбойников?!. Только стоит сунуть им палец, они откусят тебе руку. Чего мы дождемся, если будем бездействовать? Войско гяуров ушло, тфокотлям неоткуда ждать помощи. Турки скорее помогут нам, чем этому сброду. Надо решаться.

Али-Султан, которого мать обвинила в трусости и нерешительности, проглотил обиду молча. Он-то как раз и не сидел сложа руки, а делал все возможное. Побывал у князей, убедил их. Не его и не их вина, что дело не двигается с мертвой точки. Препятствует Алкес. Если бы он согласился с тем, что ему советуют, Али-Султан давно бы уже был в своей стране и всем мятежникам открутил головы. Мать верно сказала, и Алкес дождется того же, и Алкеса выгонят. Но он должен сам это понять, его не заставишь сделать что-то против желания.

— Ладно, мать, не принимай все так близко к сердцу, возьми назад свои слова о том, что рядом с тобой нет мужчин. Ты не босая, не голая, слава аллаху, и крыша над твоей головой не протекает, и еды у тебя хватает. Не в чем упрекнуть тех, у кого мы ищем покровительства и защиты. Спасибо им! — и Али-Султан, повернувшись в сторону Алкеса, наклонил голову.

Дарихат сначала ничего не поняла и уже готова была рассердиться. «С чего это он задумал благодарить этого черствого Алкеса? Что он сделал хорошего?»— со злостью подумала она. Но потом смягчилась, поняла, что Али-Султан хитрит, что он решил обойти князя. Видимо, попытается его пронять не гру-

бостью и не резкостью, а лаской. И поняв это, обрадовалась: «Хорошо придумал Али-Султан. Надо и мне попробовать смягчить сердце Алкеса. Конечно, обидно унижаться перед тем, кого я вырастила, но да будет время, я рассчитаюсь со всеми!»

— Да разве я упрекаю? — наигранно удивилась Дарихат. — Как я могу упрекнуть моего сына в том, что он не заботится обо мне? Да я всему миру скажу, какой он заботливый, какой он примерный сын. Но разве дело только во мне? Что мне нужно на старости лет? Только одного, чтобы были счастливы мои дети. Чтобы они были могущественны.

— Ты права, мать,— сердце Алкеса оттаяло. — Твоя обида — это и моя обида. Я только хотел сказать, что в этом деле нельзя торопиться. Я не могу тебе сейчас обещать, что начну войну; может, нам удастся договориться. Старые люди говорят, что худой мир лучше доброй ссоры.

— Да, да, сын мой! Я подожду, а ты поступай как знаешь, только прошу тебя, думай и о себе. Тфокотли могут решить, что ты их испугался, и разговаривать с тобой не захотят. Тогда и свои и чужие от тебя отвернутся,— таким же ласковым голосом напевала Дарихат.

Вскоре она и Али-Султан покинули комнату князя.

— Валлахи, мать, ты хорошо говорила с Алкесом! — похвалил ее Али-Султан.

Польщенная Дарихат довольно рассмеялась. Она уже забыла, что именно Али-Султан подсказал ей, как вести себя с великим князем...

— Ты всегда должен слушаться меня, я знаю, что делать. Ведь недаром прожила такую большую жизнь,— снисходительно ответила она. — Не переживай, сын мой, пройдут годы, и ты тоже научишься всему, что знаю я. Если бы твой отец внимал мне, он не ушел бы из этой жизни так скоро. Но он считал, что умнее меня, и за это поплатился. Не повторяй его ошибок.

По мере того как мать откровенно расхваливала себя, у Али-Султана нарастало к ней чувство неприязни.

IV

А Шапсугия гудела, как растревоженный пчелиный улей. Богатые тфокотли, тайно сговорившись с родовитыми, пытались вернуть прежний порядок. Изгнанные из Шапсугии возвращались в родные места, но не открыто, не днем, а ночью, сторонясь людей, как воры. Они давали золото, пытались подкупить то одного, то другого нужного им человека. Если это не удавалось, составляли план кровавой расправы. Но пока положение не менялось ни в ту, ни в другую сторону.

Али-Султан решил съездить в аул Селтук к князю Батче-

рию. Он знал, что братья не ладят друг с другом, и надеялся использовать эту тайную, глухую вражду в свою пользу.

Батчерий встретил его приветливо.

— Ну, как поживает Алкес? Как здоровье твоей матери? — прозвучали обязательные слова.

— Не болеет,— ответил Али-Султан. — Все у нее хорошо. «Видимо, он еще не знает о восстании тфокотлей, живет себе спокойно, спит на мягкой постели, пользуется богатством, которого сам не наживал»,— между тем думал гость.

А у Батчерия было в голове другое: «Чего это он такой радостный и веселый? Или не понимает, что сам виноват в том, что шапсугские тфокотли взбесились. А теперь во всех уголках нашей земли тфокотли поднимают шум, сеют смуту. Даже Ламжий говорит, что хочет уехать в ту страну, где нет ни князей, ни уорков».

Вслух же он сказал:

— Конечно, Али-Султан, где найдешь лучшее место, чем родной дом. Но мы сделали для вас все, что смогли...

— Нет, не все, Батчерий! — выпрямился Али-Султан. — Совсем недавно тфокотли подняли новое восстание. Не думай, что ты далеко живешь, на краю земли. И до тебя дойдет. И твои окна осветятся пожаром.

— Валлахи, не знал... Неужели такое возможно?..

Батчерия не волновало очередное восстание в Шапсугии. Он знал о нем. Это действительно было недалеко от его дома. И в Бжедугии пошли волнения среди тфокотлей. Родовитый всегда поддержит родовитого, тфокотль — тфокотля, это закон, этого надо опасаться. Али-Султан прав только в том, что нельзя поощрять тфокотлей творить беззаконные действия, это дурной пример для других. Если бы только Али-Султану грозила беда, пусть бы выпутывался сам, как знает. Али-Султан и его жизнь глубоко безразличны Батчерию. Важно не нарушить закон: родовитый помогает родовитому, чтобы, объединившись, они встали против общих врагов.

— Надо действовать, это уже слишком далеко заходит,— сказал молодой князь. И важно добавил: — Я сам поговорю с Алкесом.

Прошло две недели. И все это время Батчерий никуда не выезжал из аула. Несколько раз он собирался поехать к великому князю, но каждый раз откладывал, надеясь, что Алкес сам его позовет. И тут вмешался случай.

После довольно дальней прогулки, возвращаясь в родной аул, Батчерий увидел несколько воловьих упряжек. Заинтересовавшись, он даже сосчитал их. Упряжек было больше двадцати. За ними следовало небольшое стадо коров. Несколько вооруженных всадников сопровождали этот своеобразный караван.

— Что это такое? — спросил Батчерий спутников. — Куда они направляются?

Ему не ответили. Да Батчерий и сам понял всю глупость своего вопроса. Лицо его побледнело. Когда, поскрипывая от наваленного на нее скарба, проехала последняя упряжка, он повернул коня не в Селтук, а в аул Туабго, к великому князю.

Все чаще и чаще встречаются на дорогах такие упряжки, которые сопровождают вооруженные всадники. От кого спешат люди защитить своих жен и детей? Конечно, от князей и уорков. Такое впечатление, что вся Бжедугия поднялась с насиженных мест и двинулась вон из этой страны, на поиски утраченного покоя.

— Зиусхан,— сказал Батчерий своему старшему брату после приветствия,— я не хотел вмешиваться в твои дела, но не могу больше молчать. Не первый раз я наблюдаю, как наши тфокотли переселяются в Шапсугию. Скоро никого не останется, некому будет обрабатывать наши поля. Останутся одни князья, а народ уйдет. Над кем же ты тогда будешь княжить, зиусхан?

— Успокойся, брат,— мягко ответил великий князь, но глаза его вспыхнули знакомым холодным огнем. — Я уже принял меры, послал человека в Шапсугию сказать, чтобы не принимали переселенцев. Если они и впредь будут принимать, то таким образом нарушат наш мирный договор и развяжут нам руки. Не могу я взять на себя ответственность быть зачинщиком вооруженной схватки, но защищать свои интересы и интересы своей земли я обязан. Ты понимаешь меня? Надо съездить к абадзехам и попытаться привлечь их на нашу сторону, пока до этого же самого не додумались шапсуги. Я велел передать всем бжедугским князьям, чтобы они были наготове.

Твердые и решительные действия Алкеса удивили Батчерия. Он едва ли не в первый раз видел брата таким, и сразу же были забыты мелкие обиды, стычки, недоразумения. Младший брат почувствовал в старшем силу. А это покоряет сердце вернее, чем любые слова...

V

— Нет пользы от безделья,— изрек Анзаур. — Хватит с меня, я столько времени стоял спиной к тфокотлям, хотя мне казалось, что был обращен к ним лицом. Ничего хорошего от родовитых я не получил, только плохое. И друзей из-за них потерял. Да что друзей, единственного сына потерял!

Мерем вздрогнула, как от удара, и отвернулась.

— Что ты все время молчишь, старуха? —продолжал Анзаур. — Хочешь, чтобы я лопнул от тех слов, что распирают меня и которые мне некому высказать? Что плохого случится с тобой, если ты поговоришь со своим мужем? Ты ведешь себя как мой кровный враг. Но ведь на самом деле ты мне не враг,

а жена. Я ни с кем не враждовал, всю жизнь служил аллаху. А меня ставят ниже тфокотля Айтека, который, сколько я его ни учил, все равно с большим трудом читает суры корана. Но все, что он ни скажет, тфокотли с радостью подхватывают...

— Потому что он понимает нужды тфокотлей,— еле слышно молвила Мерем и схватилась за веник, чтобы подмести пол. Она не могла смотреть в глаза мужу.

— Положи ты этот веник!.. — совсем расстроился Анзаур. — Только слово скажу, как ты начинаешь подметать! Что я такого сделал этим нечестивцам, что они все от меня отвернулись? Я сейчас же пойду к Хагуру. Если он и Тхахох не поймут меня, не перестанут на меня таить злобу, то ничего не останется делать, как только головой в воду.

— Что ты говоришь? — испугалась Мерем. — За этот грех аллах покарает всю нашу семью!

Анзауру был приятен испуг жены. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь его пожалел. Но он не подал виду, а стал снимать со стены украшенную серебряной насечкой палку, которую ему когда-то подарил торговец Хасан-Мурад. Снял и быстрыми шагами направился на улицу.

Выйдя за ворота, он, правда, призадумался: куда пойти — к Хагуру или Тхахоху? Решив, что Хагур его поймет скорее, свернул в сторону его дома. Но ни Хагура, ни Тхахоха дома не оказалось. Они еще три дня назад уехали на шапсугско-бжедугскую границу.

Неспокойно на этой границе. Ночами бжедугские конники нападают на шапсугские аулы, поджигают дома тфокотлей, угоняют скот, убивают людей и скрываются.

Анзаур тоже решил поехать на границу. «Я не Бороко,— сказал он себе,— я не оставлю мой народ в беде. Этот Бороко не постыдился, не побоялся людского суда и сбежал вместе с родовитыми. А чего ему не хватало? Жил в достатке, все у него было. Нет, ему захотелось большего, захотелось власти. Дал обмануть себя этим хитрым и лживым Шеретлуковым, бросил родной аул. Е-во-вой, что же теперь с ним будет? Нет, я не такой. Я останусь со всеми вместе и помогу им».

Придя домой, Анзаур стал молча облачаться в дорожную одежду, достал оружие, пылившееся многие годы. Попрощался с внучкой и уже поставил ногу в стремя, когда во дворе показалась Мерем, несшая полное ведро колодезной воды.

— Куда это ты направился в таком виде? — удивленно спросила она.

— Туда, где все мужчины аула! — несколько напыщенно ответил Анзаур.

— Мне неинтересно, где находятся мужчины аула. Я спрашиваю, куда собрался ты?

— Тогда спроси меня, где все-таки наши мужчины, и я тебе отвечу: они на границе, там и мое место.

Мерем только недоверчиво и грустно покачала головой и больше ни о чем не спросила.

На второй день Анзаур нашел Хагура и Тхахоха. В поисках их он побывал в трех шапсугских аулах, расположенных на границе, и ужаснулся увиденному: дымились полусгоревшие дома, слышался плач о погибших, шли похороны.

В ущелье находилось столько верховых, что трудно было сосчитать. Пробравшись в середину, Анзаур увидел Хагура, Тхахоха и Шепако. Потом заметил и муэдзина Айтека. Он находился среди самых достойных людей, будто так и полагается, будто это место по праву принадлежит ему, а не Анзауру.

Анзауру стало обидно. Горечь ощутил он в своем сердце, стоял, как на раскаленных углях.

— Ложь, как ее ни склеивай, все равно распадется, а правду, как ни разбивай, все равно не разобьешь! — гремел густой, сочный голос Хагура.

Толпа сдержанно гудела.

— Родовитые, изгнанные нами из Шапсугии, показали свое истинное лицо,— говорил Хагур. — Они ведут себя как разбойники. Им помогают князья и уорки. Посмотрите, что они делают на нашей земле: жгут дома, убивают людей. Пролитая кровь взывает к справедливости, к мести. Если мы не будем встречать пулю пулей, меч мечом, они перебьют нас, как стадо баранов. Черное, слепое солнце взойдет над нашими аулами, и дети наши проклянут тот горький час, когда появились на свет. Страна принадлежит нам, а не родовитым. Она принадлежит всем, кто хочет мирно жить и мирно трудиться, радоваться жизни, славить ее. Вспомните, за что убили нашего незабвенного Натара? Его убили за его песню! Но саму песню не убьешь!

Пусть не пули — птицы запоют,
Росами умоются — не кровью.
Дорогую родину мою
Я люблю сыновнею любовью!

Вот какие слова написал Натар: «Дорогую родину мою»,— повторил Хагур, и в глазах его заблестели слезы.

Анзаур, услышав имя сына, вздрогнул. А когда Хагур прочел стихи, сердце его забилось неровно, тревожно, будто хотело вырваться из груди. Необычайное волнение охватило его. И, повинуясь пленительной силе строк, захотелось сейчас же что-то сделать: заплакать, закричать, рвануться куда-то, выхватить меч и найти обидчика. «За что они убили моего мальчика, за что?»— шептали его губы.

Тяжелой и вместе с тем светлой была эта минута.

И вот уже толпа подхватила слова его сына, и они поднялись над землей до самого неба. Казалось, сама земля, горы, леса, реки заговорили человеческим языком.

После Хагура выступал Ахмед. Потом взял слово Айтек. Анзаур плохо слышал, что они говорили,— слишком сильно волновался.

Неподалеку от него стояли два тфокотля и переговаривались вполголоса. Их он расслышал. Тфокотли были ему незнакомы, но говорили о нем. Анзаур повернул к ним голову и стал прислушиваться.

— Ты знаешь того, чьи стихи читал нам Хагур? — спросил один из них.

— Как не знать! — удивился вопросу другой. — Это сын эффенди Анзаура, того самого, что удрал вместе с родовитыми.

— Как же так получилось, что у такого плохого отца вырос такой хороший сын?

— Валлахи, не знаю! Видимо, очень тяжело было парню. Да и как ему могло быть, если отец велел растоптать сына копытами лошадей.

— Что ты говоришь, разве возможно такое?

— Я тебе правду сказал.

— Выходит, он сам загубил своего сына, пролил кровь. Какой же он после этого эффенди? Разве аллах позволяет топтать своих детей конями? Наверно, он не богу служил, а нечистому, покарай его аллах за такие дела!

Анзаур не мог больше слушать это и отъехал в сторону. Вот что он, выходит, наделал! Нечистому служил всю жизнь. Золоту служил, злу, смерти! Как горько услышать такие слова под старость лет. И как теперь оправдаться перед людьми, как вернуть себе доброе имя, которое дороже жизни?

VI

Кому при рождении делают колыбель, тому выроют и могилу — этого еще никому не удавалось избежать. Все имеет начало и конец — лишь время вечно. Ровно, не спотыкаясь бежит оно своей бесконечной дорогой. Дерево, прожив сотни лет, падает на землю под тяжестью своего возраста. Врастают в землю под гнетом времени могучие крепости. Даже гранитный камень и тот стареет, морщится, рассыпается. Ничто не в силах сдержать бег времени.

Живет человек, поднимается вверх над людьми и мечтает властвовать вечно, но однажды вдруг качнется земля под его ногами, и человек уходит в небытие, а на земле и в памяти людей остаются только его дела.

Нередко люди гонят прочь мысли о справедливости, думают, что зло сильнее добра и что оно вечно в подлунном мире, но это только от слабости их ума, от скудости сердца. Как бы долго ни торжествовала ложь, все равно ей приходит конец, потому что зло лишь временный житель, а добро вечно, как само время...

Четыре года продолжались распри между шапсугскими тфокотлями и бжедугскими князьями, уорками, которые взяли под свое крылышко родовитых Шапсугии. Пришло время, и эти распри превратились в ненависть. Два родственных племени стали лютыми врагами.

Адыги говорят, что ласковым словом даже дракона можно выманить из норы, но шапсуги и бжедуги, словно потеряв разум, готовились к войне друг с другом.

— Не надо бы нам прислушиваться к словам Меджира, зиусхан,— сказал Батчерий великому князю, стараясь, чтобы его слова не услышали ехавшие сзади байколи. Великий князь был в гостях у своего брата в Селтуке, и теперь Батчерий провожал его домой. — Мне показалось неудобным сказать вслух, но я с первого же дня понимал: шапсугские родовитые и тфокотли не договорятся. Думал я и о том, как бы бжедугские тфокотли не последовали примеру шапсугских, тем более если мы пойдем войной против шапсугов.

— Что теперь об этом говорить,— ответил Алкес, несколько поразмыслив. — Все равно договор с шапсугами о мире нарушен. Видит великий аллах, я не хотел затевать братоубийственную войну, но ничего не получилось: пропасть между племенами все больше разрастается. Шапсугские дармоеды не хотят внять нашим увещеваниям. И на душе у меня так горько...

— Неужели ты и сейчас, зиусхан, сомневаешься в правильности начатого нами дела? — спросил Батчерий, прямо глядя в глаза брата. И сам ответил: — Твое дело верное! И дело тут не в Шеретлуковых. Мы ни за что не стали бы воевать из-за их богатства, из-за их чести. Причина здесь серьезнее: если мы не проучим шапсугских тфокотлей, наши тоже обязательно поднимут головы. Куда нам тогда бежать, мой старший брат? И еще одно обстоятельство. Ты стремишься объединить адыгские племена, хочешь создать государство адыгов, и, если мы покорим Шапсугию, это будет первый шаг к осуществлению твоей мечты. Я надеюсь, что атаман Захар Чепега, с которым я встречался у инерала Гудовича, поймет меня и поддержит. Он прошлой весной даже гостил у меня.

— Валлахи, я и не знал этого! — ответил Алкес, глядя на далекие шапсугские горы. И защемило сердце — ведь там была его вторая родина, на которую он должен обрушить свою силу.

Проводив старшего брата за несколько верст от своего аула, Батчерий повернул назад, поехал просторной селтукской долиной, прилегающей к левому берегу Пшиза.

«И чего еще сомневается, чего колеблется Алкес? — думал он. — Ведь каждый день тфокотли из Бжедугии уезжают в Шапсугию. Зачем? А все просто — им нравится своеволие тамошнего мужичья. Они уже исподлобья поглядывают на нас и

уорков. Так и жди, что выхватят кинжалы и кинутся на хозяев. Нет, Алкес, тебе надо выбросить из головы жалость, мягкость. Великий князь должен быть крепким как кремень».

Утром следующего дня Батчерий уехал в Екатеринодар к кошевому атаману Захару Чепеге. Встретил его атаман радушно. Он знал, зачем приехал князь, и был этим доволен. Тут же пригласил гостя к столу, уставленному русскими и кавказскими яствами, винами.

Батчерию не хотелось есть, но он из приличия отведал баранины, зажаренной большим куском, запил калмыцким чаем, а к вину не прикоснулся.

Атаман ел быстро и много. Опрокинул две стопки водки и все потчевал, потчевал гостя. Батчерий благодарно улыбался ему и тут же, прямо за обеденным столом, заговорил о деле:

— Я приехал к тебе, сосед, узнать насчет пушек. Они нам сейчас очень нужны, поэтому я и заявился раньше назначенного срока. И хочу сказать тебе, что пушки эти укрепят дружбу между урысами и бжедугами. Если уважишь мою просьбу, кроме платы я тут же пришлю тебе в подарок оседланного жеребца кабардинской породы.

Атаман покрутил пышный ус, согласно кивнул и вышел, попросив гостя подождать минутку. Минутка эта Батчерию показалась целым часом. Наконец атаман вошел и с улыбкой сожаления сказал:

— Не могу я продать пушки. Мы решили не вмешиваться в дела черкесов.

— Почему так решили? — удивился Батчерий.

— Потому что земля черкесов подвластна Турции...

— Валлахи, зачем нам Турция?! — воскликнул Батчерий. — Турки далеко, а вы рядом! Мы хотим с вами дружить... Если на то пошло, я поеду к вашей императрице, она поймет меня лучше, чем ты.

— На то она и императрица, чтобы понимать лучше. Только не знаю, сумеешь ли ты с нею встретиться... — уклончиво проговорил атаман, но решительность князя ему понравилась.

— Валлахи, еще как встречусь!

Проводив Батчерия и вернувшись в дом, атаман Чепега улыбнулся, он остался доволен собою: «Именно этого и хочет матушка императрица. Она так и повелела, пусть, говорит, черкесы сами приедут ко мне, тут и решим. Не надо нам вмешиваться в дела черкесов, еще раз ссориться из-за них с турками».

Императрица хитрила. Она знала, что на Северный Кавказ ушли некрасовцы, туда хотел податься разбитый на Урале Пугачев, чтобы собрать новое войско. Екатерина внимательно следила за многолетней борьбой адыгских тфокотлей с князья-

ми и уорками. Она понимала, что эта борьба, хотя и значительно меньших масштабов, сродни бунту Пугачева, французской революции. И если понадобится, она всей силой русского оружия расправится с взбунтовавшейся чернью и на черкесской земле.

Она хитрила, выжидала...

Весной прошлого года Екатерине доложили, что два якобинца направились к восставшим адыгским крестьянам.

— Кто сообщил эту новость? — спросила императрица.

— Наши люди из Парижа, великая государыня.

— Насколько верны эти сведения? — поинтересовалась Екатерина и подумала: «Как быстро распространяется этот пожар. И каким образом? Какая связь между пугачевской и якобинской заразой, какими ветрами разносится она по земле? И вот теперь перекинулась на Кавказ».

— Сведения, ваше величество, свежие и совершенно верны.

— Кто эти якобинцы и сколько их? — нахмурившись, спросила Екатерина.

— Полковник Анжели и Соменвиль, ваше величество.

Императрица поднялась и строжайше приказала:

— Сегодня, сию же минуту сообщите всем нашим послам в европейских государствах, чтобы они приложили необходимые усилия и перекрыли пути этой заразе в Россию. Самым жесточайшим образом!

Спустя месяц после этого приказа полковник Анжели и Соменвиль были схвачены в Венеции и отправлены в Париж. К этому времени власть якобинцев была свергнута. Анжели и Соменвиль были казнены без суда и следствия...

Екатерина уже знала о намерении адыгов обратиться к ней за помощью и ждала посланцев, хотя сама способствовать их появлению не хотела — пусть просьба исходит от народа, и она, императрица, подаст руку помощи.

Батчерию же осуществить свой замысел было непросто. Когда он рассказал о нем Алкесу, тот воспротивился: неизвестно, как к этому отнесется императрица, как посмотрят турки. Игра, мол, эта очень опасна.

Не знал Батчерий, как встретят его замысел и князья с уорками. Он начал потихоньку вести переговоры с каждым князем и уорком в отдельности. Большинство из них тоже колебалось, но в конце концов с ним согласились.

Заручившись согласием князей, Батчерий снова завел разговор с Алкесом:

— Я пришел к тебе, зиусхан, за твоим последним и решительным словом. Что ты скажешь о моей поездке к Катерине, к урысам?

Алкесу вдруг показалось, что стоявший перед ним белолицый, черноволосый человек — вовсе и не брат ему, а какой-то пришелец, который напористо вмешивается в его великокняже-

ские дела. Чего он хочет? Зачем ему понадобилось брать на свои плечи тяжесть братоубийственной войны? «Не торопись, мой младший брат, дойдет очередь и до тебя. Получив титул великого князя, ты проклянешь его, когда дело дойдет до горячего, когда ты останешься один на один со своей совестью, когда подумаешь, что рано или поздно тебе придется предстать пред очами великого и вечного судьи и ответить за кровь твоих братьев, которая пролита по твоей воле... Ты думаешь, я не знаю, что ты тайно встречался с князьями и уорками? Знаю, все знаю. Не ревностью за свою власть, а печалью я томим».

— Что сказать тебе, мой младший брат? — заговорил Алкес, отогнав печальные мысли. — По воле рока мы наступили на горячие угли... Скажи мне, Батчерий, что скажут шапсугские тфокотли, узнав о твоей поездке к императрице урысов? А не ответят ли они тем, что пошлют своих ходатаев в Стамбул?

— Может и такое статься, но я думаю, зиусхан, турки тоже будут поддерживать родовитых, а не тфокотлей. Ведь это так понятно. И Катерина поможет нам не из-за любви к нам, а из страха перед бунтом рабов. Она много натерпелась от Пугача.

— Ладно! — прервал Алкес. — Когда думаешь ехать?

— Как только разрешишь, зиусхан,— обрадовался Батчерий.

— Счастливой дороги тебе, мой младший брат! Пусть удача сопутствует тебе...

Больше месяца добирался Батчерий от Селтука до Петербурга. У него было время для размышлений.

«Алкес,— думал он,— слишком робок, чтобы из разрозненных адыгских племен создать единое, крепкое государство. Государство со своим войском, с твердыми границами, с послами в разных странах. Земли, на которых живут адыги, просторны, плодородны, у них есть морской берег, леса, горы. Есть все, чтобы сделать адыгскую землю могучей страной. Править такой страной должен сильный и мудрый человек, не чета Алкесу». Не из зависти к власти старшего брата думал так Батчерий, а из желания видеть свой народ единым и сильным...

Приехав в Петербург, он надеялся, что его тут же проведут к императрице. Ведь не простой холоп, а князь приехал из дальнего далека. По адыгским-то обычаям перед ним тут же распахнулись бы все ворота и двери. Но в России были свои порядки. Батчерию сказали, что ему придется ждать не меньше месяца. Он внутренне взбунтовался, почувствовал себя оскорбленным, однако вернуться, не поговорив с императрицей, не мог. Пришлось ждать, тосковать в громадном, совершенно ему непонятном городе — суетном, шумном...

И настал день, когда князя Батчерия повели во дворец к императрице. Его ввели в огромную комнату с блестящим полом

и усадили в такое мягкое кресло, что он, как ему показалось, чуть в нем не утонул.

И опять пришлось ждать больше часа...

Наконец распахнулись узорчатые, горевшие золотом двери.

Все встали.

Поднялся и Батчерий.

В дверях показалась императрица, и все мужчины склонились.

Мужчины склонились перед женщиной?.. О аллах! Делать было нечего — склонился и Батчерий, а то еще, чего доброго, обидятся.

Екатерина была одета в белоснежное воздушное платье. Ее грудь была бессовестно оголена. Батчерий зажмурился от стыда и смущения. «Покарай меня бог, не по своей воле я совершаю этот грех, при всех глядя на обнаженную грудь женщины». Ее пышные волосы были такими белыми, будто их посыпали мукой.

Императрица посмотрела на адыгского князя яркими глазами. Брови ее были удивительно тонкими. Батчерий вздрогнул от ее взгляда, а потом почувствовал: ему приятно видеть их свет, их ласку и кокетливое лукавство. «У-у, наверно, в молодости была такой красивой, что глаз не отвести. И до срама, и до позора с такой дойдешь». Красива его жена, очень красивой была Агура, но они не могли сравниться с Екатериной.

— Александр Андреевич,— обратилась царица к Безбородко, немного не дойдя до гостя,— как же это могли заставить так долго ждать нас этакого красавца? Нехорошо, нехорошо. Таких женщины должны ждать...

Все, что говорилось, Батчерию переводил на адыгейский язык переводчик, нашептывая сзади на ухо.

— Что поделаешь, ваше величество,— учтиво улыбаясь, воркующим голосом произнес Безбородко,— государственные дела превыше всего. Думаю, этот прекрасный князь не обидится на нас.

— Не согласна я с тобой, Александр Андреевич,— продолжала она, кокетливо поглядывая на Батчерия и повергая его тем самым в крайнее смущение,— и не пытайся загладить свою вину. Я наказываю тебя за это тем, что ты устроишь хороший вечер и пригласишь на него нас с князем. Он должен хорошенько отдохнуть от скуки ожидания, должен повеселиться и тогда, конечно, простит тебе... Я слушаю тебя, князь!

Расправив необъятное платье, она уселась в свое царское кресло. Батчерию тоже подали мягкий стул.

— Садись, князь, и говори.

— Я приехал к тебе, зиусхан, чтобы просить помощи. В Шапсугии восстали тфокотли. Они сеют смуту, грабят родо-

витых. Чтобы усмирить их, нужны пушки и другое хорошее оружие, нужна твоя сила...

Екатерина знала, зачем приехал князь, и все-таки, когда он сказал о бунте, ее глаза засветились и гневом и болью, слишком свежа была рана, нанесенная ее империи Емельяном Пугачевым, хотя прошло уже много лет. Есть раны, которые не заживают.

VII

Бжедугские князья с уорками ждали весеннего хасе, ждали, когда солнце, собравшись с силой, растопит снега, согреет озябшую землю. Шапсугские родовитые мучительно переносили положение пришельцев и нетерпеливо ждали, когда же придет срок их возвращения домой.

Вести, которые привез Батчерий из Петербурга, обрадовали родовитых, появилась уверенность, что они обязательно вернутся в свои поместья и рассчитаются с тфокотлями, поставят их на колени.

Всю зиму, будто своенравные метели, по адыгской земле ходили разные слухи. Одни говорили, что сильная русская армия весной перейдет Кубань и усмирит тфокотлей Шапсугии. Другие уверяли, будто Турция, договорившись с Россией, в это же время обрушится на повстанцев со стороны моря.

За несколько дней до начала весеннего бжедугского хасе аталык Батчерия Багдасар приехал к своему воспитаннику. Ему тоже было небезразлично, чем кончатся распри между Бжедугией и шапсугскими тфокотлями.

— Что говорит твой брат, великий князь, по поводу дела, которое будет обсуждаться на хасе?

— Говорит, что будем воевать,— ответил Батчерий.

— Я так и думал.

— Почему ты так думал?

— Алкес был каким-то нерешительным, а теперь сильно изменился, стал настоящим великим князем. Говорят, он хочет стать во главе войска... Алкес совсем забыл о своем обещании сходить в Каабу. Большой грех нарушать клятву... Есть и еще одно обстоятельство: нелегко идти войной на шапсугов, будучи их воспитанником. Может быть, в этом и кроется причина нерешительности Алкеса.

Вон куда клонит Багдасар. Хитер! Батчерий и сам думал, что Алкесу тяжело объявлять войну шапсугам, тяжело жечь землю, на которой вырос. Но разве скажешь это старшему брату? Ведь он может подумать, будто Батчерий хочет занять его великокняжеское кресло. Хотя в глубине души, даже тайком от самого себя, Батчерий подумывал об этом. Титул великого князя, а потом, может быть, главы всего адыгейского государства манил его.

— Ничего не скажешь, великий князь попал в очень трудное положение,— сказал Батчерий, испытующе глядя на Багдасара. — Но как быть, как облегчить участь Алкеса? В Каабу он должен пойти — это его клятва. Преступить ее — великий грех перед аллахом.

Весенним утром в четверг возле местечка Чигудж собрался наконец бжедугский хасе. Кроме князей и уорков были приглашены наиболее богатые тфокотли.

Открыл хасе великий князь:

— О люди, о хасе, речь моя будет короткой. Нарушен договор между Бжедугией и Шапсугией. Пробовали мы и так и этак говорить с шапсугскими тфокотлями, но они не вняли ни одному нашему слову. Больше того, грозятся напасть на нас. Что вы на это скажете?

— Шапсугские тфокотли взбесились, зиусхан,— сказал князь Меджир. — Обида, нанесенная шапсугским родовитым,— и наша обида. Родовитые, хоть и не князья, не уорки, но одной с нами кости, одна благородная кровь течет в их и наших жилах. Думаю, восстановить справедливость может только оружие. То, что тфокотли втоптали в землю, мы заставим их поднять зубами. О хасе! Если ты скажешь: по коням, я первый оседлаю боевого скакуна. Я говорю это от имени трех аулов, пославших меня сюда.

Никто не сомневался, что бжедуги пойдут войной на шапсугов, ведь к войне готовились целых три года. А когда то и дело пересыпают порох, когда не дают ему покоя, он рано или поздно взорвется. Дымился уже, дымился фитиль, все больше приближался к пороховой бочке. Все были готовы воевать, особенно после того, как Батчерий вернулся из Петербурга. Теперь хасе только должен дать ход делу, которое уже катилось под гору.

С речами выступили князья, уорки, богатые тфокотли, все говорили: надо идти войной на шапсугов! Хамирзепш Хаджемуков два раза выступал, призывал бжедугов к войне, а в заключение выстрелил из пистолета, будто собирался подбить полуденное солнце.

Единственным, кто не вмешивался в течение событий, был князь Батчерий. Своим молчанием, своими взглядами он будто говорил: я сделал все, что мог, теперь дело за вами.

Аталык Багдасар стоял вблизи воспитанника и все бросал на него вопрошающие взгляды. Он знал, что хасе объявит войну шапсугам, а вот как будет с Алкесом? Хватит ли у князя Казанокова смелости заговорить о великом князе?..

— О аллах,— Алкес вышел на середину круга. Встав лицом к югу, продолжал: — С твоего согласия и благословения бжедугский хасе говорит: быть войне!

— Быть войне!—повторили все хором, положив правые руки на кинжалы.

— Сердцем и душой молим тебя, о великий аллах, стань нам опорой, дай силы для победы! — снова воздел руки великий князь.

— Аминь!—сказали все, оглаживая лица ладонями.

Дул холодный ветер — дышала в горах уходившая зима. Все торопились закончить разговор и разойтись по домам. Восьмидесятилетний эффенди Мирбах поднял руку, требуя тишины и внимания. Все затихли, ожидая, пожалуй, самого важного.

Эффенди сказал:

— Нашим предводителем в войне будет великий князь Алкес!

— Алке-ес!

— Его оружие — наше оружие!

— Его воля — наша воля!

Багдасар испугался: ему показалось, что князь Казаноков оробел, как-то сжался и стал меньше ростом.

Нахмурился, глядя исподлобья, Батчерий.

Но вот вышел на середину князь Казаноков:

— О люди, о хасе! — громким, но дрожащим от волнения голосом заговорил он. — Я думаю иначе. Мужество и мудрость великого князя Алкеса знают не только в Бжедугии, но и по всей адыгейской земле. — Воцарилась напряженная тишина. Только свистел ветер в ветках деревьев, шуршал в прошлогодней траве. — Я верю, мы все верим великому князю, но я все-таки не послал бы воспитанника шапсугов воевать в Шапсугию, это было бы жестоко с нашей стороны!

Умолк Казаноков.

Кто-то выкрикнул:

— Великого князя Алкеса воспитали не голодранцы-тфокотли, а родовитые!

На середину вышел князь Кунчук и обратился к князю Казанокову:

— Спасибо тебе, зиусхан, ты оказался мудрее нас... — Пробежал шумок — быстрый и неспокойный. — Ты уберег нас от жестокой ошибки. Не может не дрогнуть рука, поднявшая меч на своих воспитателей, не может земля, на которой он вырос, не жечь ему ноги. Я предлагаю избрать предводителем князя Батчерия. У него крепкая рука, он мудрый человек. Ведь это он добрался до самого Бытырбыфа и добился от царицы урысов помощи для нас!..

Опустил голову великий князь Алкес. Ему вспомнилась старинная притча: в горном ущелье схватились в битве абадзехи и бжедуги. Кровавой была схватка. Поредели ряды бжедугов. Они отступили, оставив на поле боя раненых. Оставили и сво-

его князя. Предводитель абадзехов узнал в князе абадзехского воспитанника:

— Вырежьте его сердце тупым ножом и бросьте собакам — мы воспитали князя, а он поднял на нас оружие, хотя вскормлен молоком абадзехской женщины!..

Алкес поднял взор. Шумел, волновался хасе.

Великий князь вышел на середину круга и поднял руку...

VIII

Никто не услышит несказанного слова, а сказанное ветер разнесет по всей земле: по всей адыгской земле разнеслись слова, произнесенные на бжедугском хасе.

— Я знал, что бжедугские князья и уорки пойдут на нас войной, но никак не мог предположить, что хасе изберет предводителем не Алкеса, а Батчерия. Они наши враги, но если вдуматься, то окажется, что хасе поступил правильно, он уберег голову нашего воспитанника от нашего же меча,— Тхахох достал кисет, набил трубку, раскурил ее. В последние шесть месяцев он побывал во всех шапсугских аулах. Дело в том, что его избрали предводителем шапсугских войск,— вот он и разъезжал на своем скакуне, не знавшем устали, по аулам, смотрел, все ли готово к битве.

Ахмеду Шепако поручили командовать кавалерией — у него все было хорошо. А вот пешее войско, которым командовал Хагур, беспокоило Тхахоха. Ведь адыги испокон века — кавалеристы. У каждого были сабля и кинжал, а для пеших нужны щиты, мечи, копья. Их было очень мало, хотя всю зиму кузнецы в аулах готовили оружие. Не хватало угля и булата, мало было пороха и свинца. Торговцы, почуяв приближение войны, взвинтили цены. Кожи и воск у шапсугов были, но где взять золото и серебро? Мужчины отдали серебряные пояса, сняли отделку кинжалов и пистолетов, женщины — серьги, кольца, подвески. Но разве много их у тфокотлей — людей, которые добывают себе на жизнь руками.

Посасывая трубку, заговорил Тхахох:

— Я не верю, что войска урысов на стороне бжедугов, что пойдут на нас войной. Не может этого сделать царица Катарина. Но если и так, мы все равно будем драться до последней капли крови. У нас нет иного выхода.

— А не попросить ли нам помощи у Турции? — несмело спросил муэдзин Айтек.

— Нет,— решительно возразил Тхахох. — Обойдемся без Турции. Вчера две телеги оружия прислали нам темиргойцы. Темиргойских всадников приведет Дзепш. Абадзехи, убыхи, бесленеевцы тоже пришлют свои дружины. Слава аллаху, тфо-

котли не оставляют нас в беде. Меня очень беспокоит пехота — мало у нее оружия. Что ты скажешь, Хагур?

— Талат просил своего дядю Фазиля помочь нам. Его корабль скоро должен пристать к нашим берегам. Ятаганами, которые привезут из Турции, я вооружу натухайскую пехоту. Спасибо Талату. На собранные турецкими тфокотлями деньги он закупил ятаганы и отправил нам. Правда, его предал Хасан-Мурад, и теперь Талат томится в тюрьме.

— Спасибо и Фазилю, что предоставил под оружие свой корабль.

Прошел месяц окота овец, и наступил месяц вспашки земли.

Вечерами тфокотли готовили боевое снаряжение, а днем пахали землю, ведь она не хочет знать войны — настало время родить людям хлеб, и это нельзя остановить, как нельзя прекратить саму жизнь.

Много забот и горестей у Ляшины. Бороко вернулся из Бжедугии и хоть не враждовал с младшими братьями, но и не знался с ними. Если встречался с кем-нибудь из них, обходил стороной.

Восемь братьев работали в поле, готовились оборонять свою землю от нападения, а Бороко не было до этого никакого дела. Он, как крот, зарылся в свое хозяйство и ничего не хотел видеть. Мать и братья считали, что он позорит их. Даже сын Бороко Сальбий стыдился отца.

Что было делать Ляшине? Ведь и Бороко ее сын. Какой палец ни порежь, больно всему телу.

Сегодня вечером Хагур вернулся из аула Кудако и, не заезжая домой, направился к Тхахоху, чтобы рассказать о положении дел в Кудако.

— С добрым прибытием, Хагур! Какие новости привез?

— Дела неплохие... Что это за золото у тебя на столе, Тхахох?

— А ты сейчас никого не встретил у моего двора?.. Только что был Бороко. Бросил на стол золото и сказал, что помочь нам может только этим. Откуда у него все это?

— Я знаю, Тхахох,— сумрачно ответил Хагур и взял в руки серебряный пояс, когда-то принадлежавший отцу Дзепша. «Вон как все оборачивается в жизни. Золото твое, Мамруко, поможет нам драться за справедливость...»

IX

Если ехать от реки Кубани в сторону побережья Пцемеза по просторным сочным лугам, то на востоке увидишь холмистые горы в могучих лесах, а на юго-западе — снежные вершины Большого Кавказа. В этом месте протекает речушка Бзюик, здесь же раскинулась и поляна Неджид. Если ты пеший, то,

пока пройдешь ее из конца в конец, поймешь, как она велика. А если на добром коне, то проскачешь ее в момент, доберешься до другого края в тот миг, когда почувствуешь, что свист ветра в гриве коня стал слабеть. Она доходит до болот, заросших непроходимыми камышами, и по ширине намного уступает длине. И сколько ни гляди во все четыре стороны, поблизости не увидишь ни одного аула.

Случилось так, что именно на этой поляне 29 июня 1796 года, во второй день недели, суждено было произойти сражению между войском шапсугских тфокотлей и княжеско-уоркским войском бжедугов.

Батчерий привел свое войско еще вчера и, в ожидании шапсугов, поставил кавалерию в юго-западной части поляны в густых зарослях кустарника. Неподалеку от кавалерии за холмом спрятали пехоту. Рядом с пехотой расположилась сотня казаков во главе с полковником Тимофеем Еремеевым. С этой сотней прибыли из Екатеринодара две пушки.

План сражения был таков: бой начнется атакой кавалерии, а когда шапсугские конники станут контратаковать, бжедуги, сделав вид, что ослабели, начнут отходить и заманят шапсугов, их кавалерию и пехоту, туда, где расположена бжедугская пехота, казачья сотня и пушки. Заманят, окружат и уничтожат. Путь в Шапсугию будет свободен...

Притихли люди в томительном, тревожном ожидании. Тревога и напряжение передались лошадям, они приглушенно всхрапывали, переступали в нетерпении с ноги на ногу.

Князь Батчерий со вчерашнего дня не знал ни сна, ни отдыха. Закончив с полковником Еремеевым расстановку войск, резерв в четыреста всадников они решили расположить за оврагом, по соседству с пушками, а семьсот пеших воинов спрятали в камышах. Они должны пойти в атаку вслед за конниками.

— Задерживаются наши гонцы. Что с ними? — сказал Батчерий, прислушиваясь, не раздастся ли топот лошадей со стороны гор. — Валлахи, странно, почему до сих пор нет шапсугов? Неужели они передумали и пошли другой дорогой? Неужели пронюхали, что мы ждем их здесь?

— Не могли они пронюхать, зиусхан,— успокоил князя уорк Мерзабеч,— все соблюдалось в строгой тайне... Скоро рассвет, хорошо бы тебе немного поспать. Хотя бы до рассвета. Не волнуйся, все будет как надо. И пусть великий князь Алкес не волнуется,— если потребуется, мы все бросимся в огонь и в воду, на острия кинжалов и пик... Поспи, зиусхан!

— Спасибо, Мерзабеч, что ты не ожесточился против великого князя, когда он лишил тебя звания старшего байколя. Вот победим этих хамов, и ты станешь главным байколем над всеми тфокотлями, покажешь шапсугам свою волю и власть.

— Я буду верным слугой. Тому, кто не захочет перед вами склониться, сломаю спину. Они будут плясать на горячих углях

и благодарно улыбаться. Это время настанет... Конечно, мне было обидно, что Алкес сместил меня, но я никогда не таил против него злобы, оставался преданным роду Хаджемуковых. А тебе до самой могилы буду благодарен, что ты снова поднял меня и доверил быть рядом с тобою...

— Не торопись, Мерзабеч. — Было темно, но Батчерию показалось, что он увидел, как горят яростью и преданностью глаза уорка. — Говорят, не поднимай подола, не войдя в воду. Подождем до утра — оно многое может изменить в наших судьбах.

— Не говори так, зиусхан! Верь в нашу силу, только тогда и победишь. Не беспокойся — шапсуги разбегутся, как мыши, под нашими ударами.

Чтобы как-то расслабиться, умерить напряжение, князь стал прохаживаться по свежепробитой тропе. Он верил в силу своих воинов. Князья и уорки были вооружены до зубов. Вдоволь было свинца и пороха — русские не поскупились. И драться князья, уорки умели. Ведь с детства их учили не землю пахать, а владеть оружием... И все-таки князь волновался, опасался сам не зная чего. Он прохаживался, и ему все время чудилось, будто его кто-то окликает, все время хотелось оглянуться, но он сдерживался, старался ни воинам, ни полковнику, ни Мерзабечу не выдать беспокойства и тревоги.

— Мой покойный отец говорил: «Не все, что светится в ночи,— огонь. А если это и спасительный огонь, не верь глазам, будто он совсем близко, имей мужество идти и идти»,— сказал князь Мерзабечу. — Я прилягу и посплю немного. Разбуди меня, как только вернутся гонцы.

Он прилег на ворох скошенной травы, но уснуть не смог...

Алкесу было больно, когда хасе не его, а Батчерия назначил предводителем войска. А теперь кому тяжелей? Ведь Батчерий сейчас в ответе за славу и срам бжедугов, за братскую кровь адыгов. Что готовило ему утро? «Не надо было брать на плечи этот груз... Слаб я, слаб, поддался соблазну. Даже если суждена победа, как буду жить с родным братом? Как стану смотреть ему в глаза? — размышлял он. — Ведь он знает о моем сговоре с князьями и уорками...»

Большая, яркая звезда, недвижно висевшая над Шапсугией, сорвалась и устремилась к земле, оставляя за собою огненный мост. Упала где-то на абадзехской земле.

Опять вспомнилась Агура, ее яркие, как эта звезда, глаза. Князь не смог лежать:

— Эй, позовите ко мне Мизага!

— Я здесь, зиусхан.

— Почему здесь, а не рядом со своими воинами?! — вспылил Батчерий.

— Я все время был там, а сейчас пришел узнать, нет ли вестей с той стороны?

— Мог это узнать через посыльного, а не бросать войско... Хорошо запомнил, что должны делать твои конники, как только покажутся шапсуги?

— Да, зиусхан.

— Смотри же, с поляны никто не должен уйти живым. Ни шапсуги, ни убыхи, ни абадзехи!..

— Говорят, к шапсугам прибыла дружина из Темиргойи.

— И эти станут пищей для стервятников...

Вернулись гонцы и доложили, что шапсуги движутся, как и ожидалось, по дороге к Неджидской поляне.

На рассвете кавалерия под предводительством Ахмеда Шепако вышла к поляне, расположилась на опушке леса. Позади кавалерии — пешие воины.

Противники уже видели друг друга.

— Говорят, что у этих голодранцев,— сказал князь Хамирзепш, обращаясь к Батчерию,— восемнадцать тысяч воинов.

— Вот когда начнешь драться, тогда и узнаешь, сколько их,— сердито ответил Батчерий.

— Вы посмотрите, это грязное отродье будто на свадьбу собралось! Прибыли с флагом,— горя ненавистью, сказал Хаджумару Али-Султан. — Насадить бы на то древко голову Хагура!

Хаджумар будто не слышал слов племянника. Он поднял к небу старческое, с седыми, поредевшими усами лицо:

— О мой всеславный аллах! Дай нам сегодня увидеть победу! — Холодная, пугающая сердце дрожь пробежала по всему телу. — Дай мне пройтись по этим поганым спинам, помоги мне вернуться в родной дом хозяином. Я молю тебя об этом на старости лет.

За спиной Батчерия раздался торопливый топот коней. Он оглянулся и увидел Алкеса, подъезжавшего с байколями.

— Зиусхан, я не мог усидеть дома... Мы с тобой, мой младший брат, оба стоим босыми ногами на лезвии кинжала.

— Ты нарушаешь решение хасе, князь,— недовольно сказал Батчерий.

— Меня никто не лишал титула великого князя! — вспыхнул Алкес, гневно глядя на брата.

Всплыло на востоке солнце, осветило холмистую Бжедугию, выхватило из серой мглы снежную вершину Пепау, что высилась над Шапсугией.

Ни ветерка. Не шелохнется лист на дереве. Только игриво журчал Бзюик, забавляясь солнечными зайчиками.

Бороко был сегодня у поляны вместе со своими младшими братьями, стоял рядом с Мосом. Хагур, вооруженный ятаганом, со щитом, был сосредоточен и неприступен. Бороко не хотел идти в бой, не помирившись с младшим братом. Вот уже три дня ему не удавалось это сделать, и теперь, прислонившись спи-

ной к старому коряжистому дубу, он мучился: «Наш бедный отец любил говорить: «Богатство в нашей долгой жизни — как быстро пропадающая роса». Как же случилось, что я не понял этой пословицы, поссорился из-за проклятых денег с братом, как же теперь с ним заговорить в этот... страшный день?»

Бороко поднял глаза и встретился взглядом с Хагуром.

— Как идут дела, мой младший брат? — неторопливо, спокойно, будто не смертный бой их ждал, а мирный ужин в кунацкой, заговорил он.

— Идут дела. Ждем, когда пойдут на нас князья и уорки.

— А не лучше ли нам первыми напасть на них?

— Нет. Это они пришли к нам с войной, пусть и начинают.

— Ты, пожалуй, прав, младший брат. Садись, посидим немного. Садись рядом.

Хагур опустился на траву по левую руку от Бороко, как того требовал порядок старшинства. Бороко заметил это:

— Спасибо, младший брат! Теперь у меня на душе стало немного легче... Прости мне все дурное, что я сделал тебе, всем своим братьям. Я не смог поступить так же мужественно, как Анзаур. Он раньше меня пришел к вам с повинной, отдал деньги на оружие... Жадность погубила меня. Получается, что я впустую прожил жизнь. А твое золото я отдал Тхахоху...

— Знаю. Спасибо!

— Последи за младшими, когда начнется бой. Каждый раз, когда под твой ятаган подвернется родовитый, вспоминай отца, рази их с его именем на устах. Так просила передать тебе мать.

Неожиданно с юга подул ветер — зашумел в ветвях деревьев, осыпал речку сорванными листками, сухими ветками. В черных, клубящихся тучах, что двигались с гор, блеснула быстрая молния. Тут же ударил гром, полился густой проливной дождь. Он длился с полчаса и прекратился так же неожиданно, как возник.

Хуже всех досталось шапсугам. Они не только сами вымокли до нитки, но и порох промок на полках ружей. Промок он и у бжедугов, но у тех его было много, они сменили промокший сухим.

Вновь прояснилось небо, заиграло солнце. Только вода Бзюика стала мутной, словно разгневалась.

— Как бы узнать, где у них стоят пушки,— сказал Ахмед, глядя в сторону холма. — Думаю, что вон в тех зарослях. Субаш, возьми свою сотню и постарайся захватить пушки. Тамбир и Мишка тоже пойдут туда со своей сотней. Только левей.

— А если пушек там нет?

— Если нет, жди, когда начнут стрелять. Обязательно отбей, как это ты делал с турками.

— Неважно складываются дела,— вздохнул Тхахох. — Стрелкам делать нечего, придется за конницей пустить людей с саблями и ятаганами.

— Думаю — так. Нам это выгодней. Обороняться всегда легче, чем нападать.

— Верно,— согласился Ахмед. — Они хотят, чтобы мы пошли первыми и подставили себя под их пушки. Не дождутся. Вот они, гляди!

Сверкая саблями, в сторону шапсугов двигалась конница бжедугов. Ей навстречу устремились джигиты, ведомые Хагуром и Тхахохом. Через несколько мгновений враги столкнулись, сбивая друг друга конями, разя саблями и кинжалами.

Полилась кровь.

Не помня себя, в неистовстве и злобе кричали и стонали люди. Ржали обезумевшие лошади. Сверкала, звенела разящая сталь.

И над всем этим ярко сияло солнце, далекое и безразличное к людским страданиям.

В пылу битвы бжедуги забыли, что им надо было только вызвать шапсугов на бой и потом заманить их под огонь пушек и стрелков. Все смешалось, разгоряченные воины не слышали команды. Копыта коней уже скользили в крови и ступали по трупам. А бой все кипел, не ослабевая.

— Мизаг! Что он делает? Сошел с ума?! — заволновался Батчерий, наблюдавший за боем с возвышенности. — Или он забыл, как ему надо действовать?! А что там за всадники помчались со стороны шапсугов к нашим пушкам? Мерзабеч, бери своих людей и отрежь им путь!

Мерзабеч поскакал наперерез Субашу. У самого берега речки Бзюик вспыхнула новая схватка.

Мерзабеч с налета срубил голову тфокотлю, второму рассек плечо, отбил удар Черима и выстрелом из пистолета убил его коня.

Навстречу Мерзабечу несся Субаш. Их сабли скрестились, рассыпав искры.

Наконец Мизаг сумел повернуть своих конников, сделав вид, будто убегает от шапсугов. Увидев бегущего врага, шапсуги с гиком кинулись за ним. Вдруг конница противника распалась на две половины, открывая цель засаде. Шапсугов встретил плотный огонь стрелков и пушек. Они повернули назад, но за ними шла их же пехота и не давала двигаться. Бжедуги бросились их преследовать. Еще яростнее закипела сеча. Пехотинцы стаскивали всадников с лошадей, кололи их ятаганами, пиками, вилами, рубили саблями.

Хагур и Тхахох на обезумевших конях прокладывали саблями дорогу туда, куда, не вытерпев, прискакал и дрался князь Батчерий.

Хагур увидал Бороко. Тот корчился на траве с распоротым животом. Рядом неподвижно лежали Рашид и Лак. Был тут и Ламжий с кинжалом в груди.

Анзаур тоже был в самой гуще схватки. Вот его сбили с ног

лошадью, и когда он поднялся, то увидел, что Али-Султан вонзил кинжал в уже мертвого Бороко.

— Шеретлуков! — закричал эффенди, взмахивая дубиной. — Прими смерть достойно! — и обрушил на голову Али-Султана свое оружие. Тот повалился на окровавленную траву. В эту же минуту Анзаур упал, сраженный ударом вражеской сабли. Ряды тфокотлей заметно поредели. Уже погибли трое братьев Хагуровых, убит Тартан, Дзепш, Субаш. Хагур был ранен, кончик сабли задел его шею. Он не обращал на кровь внимания и продолжал драться. Уже совсем близко был князь Батчерий. Еще немного, еще... Путь Хагуру преградил Хаджумар, а сзади заходил князь Хамирзепш:

— Хагур, твоя голова еще цела?! — крикнул князь.

— С каких это пор ты стал мужчиной? — Ответил Хагур и бросился на князя, но того сзади кто-то сбил пикой. Князь упал. Хагур вскочил на княжеского коня и кинулся за Хаджумаром. Но на него со свитой кинулся Батчерий. Хагур щитом отбил удар Батчерия и успел воткнуть кинжал в княжеский бок, смертельно ранив его, но и сам пал от сабельного удара...

Раненого Батчерия окружили князья и уорки. Пешие образовали вокруг них кольцо в два ряда.

— Предводителя уби-и-ли-и! — истошно закричал кто-то.

— Батчерий, брат мой! — вскрикнул Леван и тут же упал с коня, пронзенный пикой.

Князя Батчерия вынесли с поля боя и положили на пригорке под деревом. Тяжело дыша, раненый попросил:

— Поднимите меня. Посадите к дереву...

Отсюда хорошо было видно все поле сражения, слышался звон стали, выстрелы и отчаянные крики воинов.

Батчерию показалось, что шапсуги отступают, он напряг зрение, но в глазах потемнело. Потом он увидел тфокотлей, огромную толпу с вилами, копьями. Казалось, толпе этой не будет конца, она бежала, как нескончаемая река.

— Бог мой, сколько их!... — простонал Батчерий. — Почему не вступает в бой конница Бия Хевсокова? И казаки, казаки почему не крушат поганое мужичье!..

Солнце миновало зенит, стало клониться к вечеру, а битва все еще кипела, не давая перевеса ни одной из сторон. Но бжедуги наконец пробились через шапсугское войско, разделили его на две части и, развернув коней, напали на них с тыла. Силы у тфокотлей иссякли, и они стали отходить к лесу...

Бой затихал. Над поляной раздались крики отчаяния и горя — это князья и уорки оплакивали своего предводителя, князя Батчерия.

Тхахох, придерживая рассеченное правое плечо, окликнул Тамбира:

— Тамбир, ты слышишь, как князья оплакивают своего предводителя?

— Нет в живых Тамбира,— откликнулся израненный Патарез. — Пришел конец этому мерзавцу Батчерию... Слышит тебя и Мишка Некрас, он лежит рядом со мной.

— А Хагур жив?

— Не знаю...

Закончилась битва на Неджидской поляне. Зеленая трава стала красной. Противники, словно они никогда и не были врагами, стали бродить по поляне, разыскивать своих раненых и убитых.

Сгорбившись под тяжестью горя, ходил седой эффенди, призывая правоверных к милосердию. Он, кажется, только сейчас понял, как далеки еще люди от братской любви, и ужаснулся бездне между людьми и богом.

Чалма эффенди сползла к плечу, но он не замечал этого, у него тряслись руки — жалок и ничтожен он был перед тем, что случилось на прекрасной поляне, под прекрасным небом.

— О люди, не будьте жестоки, да внушит вам великий аллах сострадание к ближним — помогите раненым! Помогите, о, помогите! Ведь мы дети одного бога, одной веры.

— Да, мы одной веры, но сначала поможем князьям,— это сказал князь Хамирзепш. Раненый, с саблей в руках, он лежал, придавленный конем. — Помогите мне выбраться из-под этой дохлятины, но грязные шапсуги пусть не подходят.

— Не надо злобиться, зиусхан,— увещевал его эффенди.

Тхахох увидел Хамирзепша и двинулся к нему, переползая через трупы: «Убить, убить этого гада!»

Увидел Тхахоха и князь:

— Ты чего ползешь, собачий выродок? Не для того великий аллах оставил мне жизнь, чтобы ты убил меня. Остановись!

Но Тхахох полз...

— О люди, будьте милосердны!— молил эффенди.

Тхахох увидел Тамбира с кинжалом в спине. Рядом с ним лежал князь Меджир с рассеченной головой. Хамирзепш был уже совсем рядом. Он с ужасом смотрел на Тхахоха.

— А ты, князь, оказывается, трус, презренный трус! Как же ты мог выйти на поле боя...

— О люди! — застонал Хамирзепш Хаджемуков,— помогите!.. Пожалей, Тхахох, ведь мы оба адыги... Погибнет наш народ, если мы...

— Вот как ты заговорил!. Хорошо, битва окончена, я помогу тебе, но ты не забывай своих слов об адыгском народе!

Вдруг он увидел тело Хагура и пополз к нему, но, обессилев, потерял сознание.

Тфокотли унесли в лес Тхахоха, Патареза, Мишку Некраса. Потом вытащили из-под коня и князя Хамирзепша.

— Радуйся, князь, что остался жив... Посадите его на телегу!..

— Я не хочу на телегу, отпустите меня! — взмолился князь.

Сидевший на телеге Тхахох сказал Устоку:

— Поймайте коня, помогите князю взобраться на него. Пусть уезжает.

Князь не верил своим ушам: его отпускают, не позорят... Слезы выступили на глазах...

Длительная борьба шапсугских тфокотлей с адыгской знатью закончилась Бзюикской битвой, которая длилась менее полдня. В этой битве с обеих сторон погибло несколько тысяч адыгов.

Тхахох оставался на поляне, пока не увезли всех раненых, не погрузили на повозки убитых. На одной из повозок лежали все девять братьев Хагуровых.

— Тфокотли, никогда не забывайте этого дня! — обратился к стоявшим у повозок Тхахох. — Пусть о нем помнят наши дети и внуки. Мы не пустили князей в Шапсугию. Мы выстояли, хотя наши потери так тяжелы. О мой бог! О мое Солнце! Пошли нашей многострадальной земле, нашему народу свое милосердие, позволь нам возделывать землю, растить детей. Пошли нам счастье!

— Аминь! — хором ответили ему.

Кроме братьев Хагуровых в Бастук привезли восемьдесят шесть убитых тфокотлей.

Ляшина, одетая в черное, стояла рядом с Сальбием, сыном Бороко, и смотрела на тела сыновей. Ее глаза были сухими — такое горе не смоешь никакими слезами. Она словно оцепенела.

Тхахох подошел к Ляшине:

— Твои сыновья были достойны своего народа. Они храбро бились. Пусть это неизмеримое горе будет последним в твоем доме. У тебя есть внуки, рядом с тобою будут жить люди, которые никогда не забудут твоих сыновей. Прости нас, мать...

X

Прошло более сорока дней, как застыла в скорби Бжедугия. Ни свадеб, ни скачек, ни веселых песен. Великий князь Алкес сильно изменился после похорон своего младшего брата; лицо его стало землисто-восковым, глаза провалились. Он почти никуда не выезжал из Туабго, разве только в некоторые аулы, чтобы принести соболезнования княжеским семьям.

Бзюикская битва унесла больше тфокотльских жизней из Шапсугии, но бжедугские князья и уорки не считали, что одержали победу. Им не удалось разгромить повстанцев и навязать свою волю этой земле и ее людям.

Однажды к великому князю зашел Али-Султан. Он сильно похудел, поседели его усы и борода, а в глазах появилась печальная отрешенность.

— Ты, наверно, был в отъезде? Давно не показывался у меня,— сказал Алкес.

— Куда ехать, зачем? Мне стыдно из дома выходить, не то что ездить куда-то... Появились мы здесь и принесли вам столько бед,— ответил Али-Султан. Он искоса взглянул на Алкеса, хотел увидеть, как тот отнесется к его словам.

Тот холодно спросил:

— Ты говоришь о Бзюикской битве?.. Не считайте себя виновными. Мы должны были пойти войной, чтобы проучить взбесившихся тфокотлей. Да и не мы начали... Нам просто не повезло. Если бы не погиб бедный Батчерий, все было бы иначе. О, великий аллах! Открой двери рая для моего младшего брата!

— Не повезло,— согласился Али-Султан, горестно качая головой,— не надо было Батчерию так горячиться. Зачем предводителю бросаться в гущу схватки? Его дело стоять на возвышенности и руководить боем, а он... И войско осталось без предводителя, как семья без отца. Гибель Батчерия воодушевила тфокотлей, поэтому и не было полной победы. А теперь мы ни здесь ни там. Повисли между небом и землей. Как жить нам дальше, что делать? — Али-Султан говорил о своем горе, забыв, что сидит перед великим князем, у которого горе куда больше. Али-Султан помолчал, а потом продолжил: — Бжедугия понесла такие тяжкие потери. Мы в неоплатном долгу у тебя, у князей и уорков Бжедугии.

Алкес не слушал Али-Султана, он думал о своем: «Как могло получиться, что плохо вооруженные, ничего не знающие в военном деле мужики устояли перед пушками, отлично обученными военному делу казаками, перед прирожденными воинами — князьями и уорками? У тфокотлей было мало пороха, ружей и пистолетов, они дрались вилами, дубинами да саблями. Почему на сторону шапсугских тфокотлей встали тфокотли Темиргойи, Абадзехии, Убыхии, Бесленеи, Махошии? Почему для них прислали оружие крестьяне из Турции? Что думали князья Темиргойи, когда отказались нам помогать? А теперь князь Хатикоепш приехал, видите ли, с соболезнованиями. Почему? Почему?..»

Алкес измучился над этими вопросами, но ответа не находил.

Ему передали слова Тхахоха: «Князья и уорки думают, что защищают свою землю от тфокотлей, но если тфокотлей отделить от земли, кто будет ее обрабатывать? Не князья же. Поэтому и получается, они защищали пустое место, защищали свою гордыню, а мы дрались за землю, за право жить и работать на ней».

«А если он прав, этот мужлан, что тогда?..»

Алкес прогнал прочь эти мысли:

— Не могу понять, чему радуются шапсугские тфокотли, ведь их так много погибло в битве? Говорят, они не стали их оплакивать — мол, нельзя оплакивать тех, кто погиб на поле боя, сражаясь как герои, за свою родную землю. Мне это совсем непонятно, в голове не укладывается... И еще говорят, будто мать девяти погибших сыновей Ляшина не проронила ни единой слезы и сказала: «Шапсугские женщины родят вдвое больше сыновей, чем их погибло на войне, а бжедугские женщины не родят ни одного такого, как Батчерия».

— Что это значит? — удивился Али-Султан.

— А то, что один Батчерий стоит больше всей Шапсугии,— ответил Алкес, а сам подумал: «Ничего не понял Али-Султан. Старая мать сказала, что женщины должны рожать добрых, мирных земледельцев, а не жестоких предводителей воинов, от которых только горе всей жизни. Без них земля будет радовать людей, а без добрых она зачахнет и пропадет». — Хватит об этом,— очнулся Алкес. — Как здоровье нашей матери?

— Спасибо, она здорова... Все смотрит на гору Пепау и говорит, что не вернется в Шапсугию до тех пор, пока тфокотли не приползут на коленях и не позовут ее.

Вошел байколь Дердер:

— Зиусхан, приехал гость! Атаман Захар.

— Зови.

Сверкая золотом погон, вошел атаман Захар Чепега. Он остановился у дверей, вытянулся по-военному, вскинул руку к козырьку фуражки. С атаманом было двое спутников — они тоже замерли у двери.

Чепега подошел к великому князю с саблей в серебряных ножнах на вытянутых руках:

— Зиусхан! Мы приехали, чтобы вручить тебе серебряную шашку от имени императрицы Екатерины Алексеевны в знак ее уважения к тебе, к твоему мужеству, проявленному в битве с бунтарями, которых вы хорошо проучили. Ее величество желает тебе счастливого царствования и благоденствия.

Великий князь стоя выслушал Чепегу, принял шашку и взволнованно сказал:

— Передайте императрице мою великую благодарность за то, что она не оставила нас в трудное время. Весь род Хаджемуковых, до самых дальних его потомков, не забудет этой великой чести и будет хранить шашку как бесценную реликвию. Добро пожаловать, дорогие гости!..

XI

Нет тяжелее участи, чем одному остаться на белом свете, похоронив всех своих друзей. Именно такая участь выпала Тхахоху...

Прошло полгода после Бзюикской битвы. В Бастуке рождались дети, им давали имена тех, кто не вернулся с поля боя за родную землю. В аулах росли Хагуры, Тамбиры, Дзепши, Ахмеды, Ламжии, Селимы, Тартаны. Придет время — и повзрослевшим детям расскажут о тех, чьи имена они носят. Нет, не один остался на земле Тхахох, его друзья будут вечно с ним, будут жить в их потомках.

Шли годы...

Тфокотли теперь работали только на себя, постепенно обрастали хозяйством. Стали смягчаться сердца, некогда ожесточившиеся в Бзюикской битве, ушла, заглохла нестерпимая боль того времени. В кунацких поговаривали о том, что, может, стоит разрешить родовитым вернуться в свои поместья, если они согласятся признать равноправие, установленное тфокотлями.

Как-то вечером Патарез сказал Тхахоху:

— Валлахи, не знаю, как жить дальше! Получается, мы зря затеяли борьбу с родовитыми, зря пролили кровь на Неджидской поляне.

— Почему зря? — возразил Арсей.

— Мы думали, что покончили с родовитыми, но их места заняли наши же тфокотли-богатеи: все хапают, хапают, теряют совесть и начинают грабить бедных.

— А какое тебе дело до бездельников? — начал сердиться Арсей. — Каждый живет как может. Все, что у меня есть, заработано моими руками. Разве я виноват, что стал богаче Ханана? Что умею работать больше и лучше его? Ты посмотри, даже деревья в лесу и те неодинаковы. Что будет, если мы начнем срезать им верхушки, уравнивать. Просто загубим лес.

Тхахох ухмыльнулся:

— Говоришь, все богатство добыл своими руками? А те тридцать лошадей, которых ты забрал из конюшни Шеретлуковых? Их ты тоже пóтом своим добыл?

— Почему ты так рассуждаешь, Тхахох? Разве только я взял лошадей и скот Шеретлуковых? Многие взяли. Зря ты на меня все взваливаешь.

— Не зря,— со сдержанным гневом возразил Тхахох. — Хагур, Патарез, Вотах и другие тогда ничего не взяли, а ты позарился. Ты остался в живых, а девять сыновей Ляшины полегли на поляне. Видно, ты забыл, как гуляла по твоей спине плеть Дарихат.

— Не оскорбляй меня, Тхахох! — полыхнув гневом, вскричал Арсей. — На поляне я дрался не хуже других, не одного уорка заколол!

— Верно, храбро дрался,—примирительно сказал Тхахох.— Но я советую тебе: меньше якшайся с богатеями, не подпевай им. И насчет леса ты тоже не прав. Мы не собираемся обрубать вершины высоким деревьям, но нельзя же, чтобы огром-

ные деревья душили те, которые поменьше, послабее. Ведь каждое дерево — живое, оно создано аллахом, и для него светит солнце, идет дождик... Так думают и Усток в Натухае, Мишка Некрас и Трам в Абадзехии, Махош в Темиргойе и другие. К тому же я должен сказать тебе: теперь, когда умерла императрица Катарина, Хаджемуковым, а с ними и Шеретлуковым не на кого надеяться. Думаю, нам с тобой, Арсей, не надо ссориться. Многие хотят, чтобы мы рассорились, особенно перед хасе, который решит, как быть с родовитыми. Одно тебе скажу: к прошлому возврата нет. Если родовитые согласятся признать равноправие, позволим им вернуться домой, а если нет — пусть живут и умирают на чужбине.

Тхахох проводил гостей, задул жировку и улегся в свою холодную постель. Но сон не шел к нему. «Многое возвращается к своему началу — весной вернутся на родину птицы из дальних краев, утром снова взойдет солнце, возвратятся родовитые в свои дома, но есть такое, чего никогда не вернешь...»

Сегодня Тхахох встретился наедине с Акозой. Он по-прежнему любил ее. И намекнул ей об этом: «Зачем тебе жить одной, иди ко мне в дом, будь в нем хозяйкой». Она ответила: «Ты видишь, в моих волосах уже много седины, нет той Акозы, которую ты... Не могу я покинуть Ляшину, она совсем уже состарилась. Кто, кроме меня, закроет ей глаза? На кого я оставлю дом Хагура? Не тревожь себя, Тхахох, и меня не смущай. У нас с тобою разные дорожки в подлунном мире, им никогда не сойтись. Так рассудил аллах!» Вот и все, что ему осталось. Правда, еще есть и вечно будет жить Бастук, земля, которая ждет его каждую весну,— это и есть, наверное, его единственная и вечная любовь.

А Тхахох и после этих ее слов подумал: «Ведь говорят же люди — надеждой живет человек... Настоящая любовь и камень плавит. Да и Акозу нужно понять — видно, жива еще ее боль о Хагуре...»

Шел 1803 год.

Великий князь Алкес ждал возвращения родовитых, которые несколько дней назад уехали в Шапсугию на хасе. По тому, как долго они не возвращались, Алкес понял: дела их плохи. Шеретлуковы, Наурзовы посылали в Шапсугию подарки, чтобы задобрить именитых тфокотлей. Они думали, что те на хасе возьмут их сторону. Алкес предупреждал: «Не надо этого делать. Того, чего не добыл силой, подачками не купишь. Зачем именитым господа, если они сами стали господами?» Если на хасе в Псичетуке тфокотли не склонят свои головы перед родовитыми, если отстоят равноправие, будет плохо не только шапсугским родовитым. Они покажут дурной пример тфокотлям всей адыгской земли. Как жить тогда?

Наконец прибыли люди из Шапсугии и сказали великому князю, что тфокотли непреклонны.

— Я знал, что так будет! — вскипел Алкес. — Выходит, зря мы пролили на поляне Неджид княжескую кровь, зря погиб Батчерий! Где Али-Султан?

— Поехал к себе. Сказал, скоро будет у тебя.

— Я не хочу видеть этого глупца! Если придет, скажите, что меня нет дома!

— Хорошо, зиусхан,— смиренно ответил Дердер.—Али-Султан несколько раз выступал на хасе, но его не хотели слушать. А все потому, что некоторые родовитые согласились принять равноправие и тфокотли разрешили им возвратиться в Шапсугию, пообещали вернуть землю и поместья.

— А кто не согласился?

— Только Шикушевы и Наурзовы.

— Уходите! Все уходите! Я хочу остаться один...

Великий князь остался один. Ему показалось — один на всем белом свете. Он подошел к стене, на которой висела серебряная шашка, подаренная покойной императрицей Екатериной.

Мерцало холодное серебро. Оно словно излучало едкую насмешку: «Как поживаешь, о великий князь? Счастлив ли ты, доволен ли своею судьбою?..»

Ему захотелось сорвать со стены дорогой подарок и выбросить вон, он даже потянулся к шашке, но остановился: «При чем здесь мертвый металл? Ты прожил на земле много лет, князь, жил среди людей, но так их и не понял. Уходи, пора! Уходи!»

— Дердер! — громко и нервно позвал Алкес.

— Слушаю тебя, зиусхан.

— Что с песней? Этот старец, которому я дал столько денег, когда он наконец сложит песню, когда споет о мужестве князей в Бзюикской битве?

— Он сложил ее, зиусхан. Пел в нескольких кунацких,— переминаясь с ноги на ногу, ответил Дердер.

— Хорошая песня?

— Да, зиусхан.

— Ее поют в аулах?.. Чего же ты молчишь?

— Поют о Бзюикской битве во многих аулах, но... другую.

— О чем поется в этой песне?

— О мужестве тфокотлей, о большом горе адыгской земли.

— Кто посмел сложить такую песню?!

— Поют все, а кто сложил, этого никто не знает. Земля сложила...

— Уходи!

Алкес хотел сесть в свое великокняжеское кресло, но оно вдруг стало ему ненавистным. Он опустился на тахту.

«Пора, пора!..»

Вот уже целый год Алкес тайком от всех собирался в Каабу. В сундуки было уложено серебро и золото. Собирался и все надеялся, что проглянет и в его судьбе солнышко, хоть немного согреет.

Утром следующего дня во дворе Хаджемуковых собрались все родственники Алкеса, дети, мать, жена. Он смотрел на них, и ему казалось, что они стоят очень далеко, так далеко, что он едва различает их лица. Его не трогали ни слезы на их глазах, ни горестные вздохи.

Со стороны гор, тяжело ворочаясь, двигались черные тучи со зловещими белыми боками, обещая град и бурю. Блеснула ослепительная молния, над землей прокатился отдаленный рокот грома. В разрыве мрачных туч на миг появилось какое-то мутнолицее солнце. Оно тоже показалось Алкесу таким далеким и чужим, что у него защемило сердце. Он сел в коляску:

— Трогай!

И колеса дробно застучали по каменистой, тряской дороге...

ОГЛАВЛЕНИЕ

Исхак Шумафович Машбаш

РАСКАТЫ ДАЛЕКОГО ГРОМА

М., «Советский писатель», 1982, 536 стр.
План выпуска 1982 г. № 264

Редактор А. А. Логинова
Худож. редактор Е. М. Дробязин
Тех. редактор Е. Ф. Шараева
Корректор Л. Н. Чагина

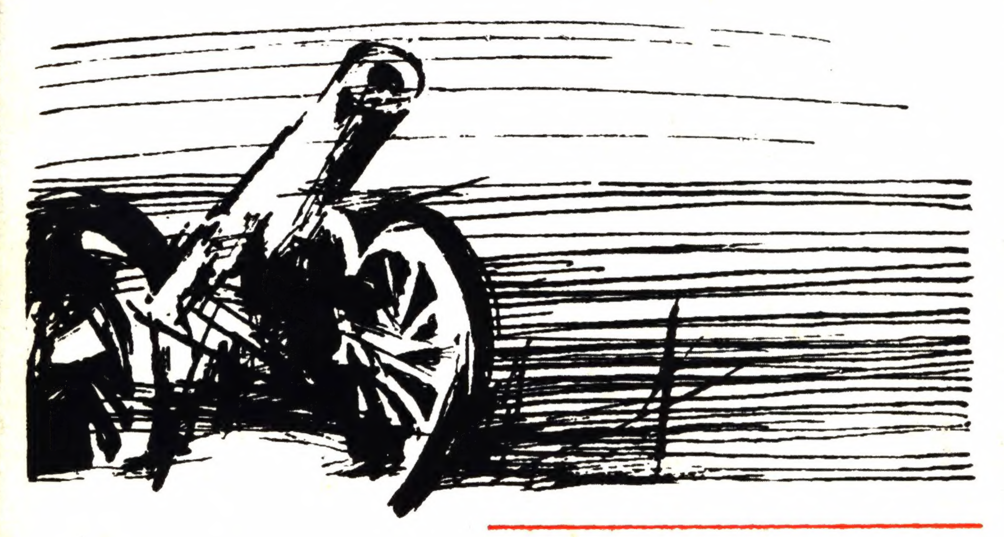
ИБ № 2988

Сдано в набор 26.10.81. Подписано к печати 14.05.82. А 09107. Формат 60×90[1]/16. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 33.5. Уч.-изд. л. 37,5. Тираж 30 000 экз. Заказ № 197. Цена 2 р. 60 коп. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, Воровского 11, Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.





2 р. 60 к.




Исхак Машбаш
Раскаты далекого грома